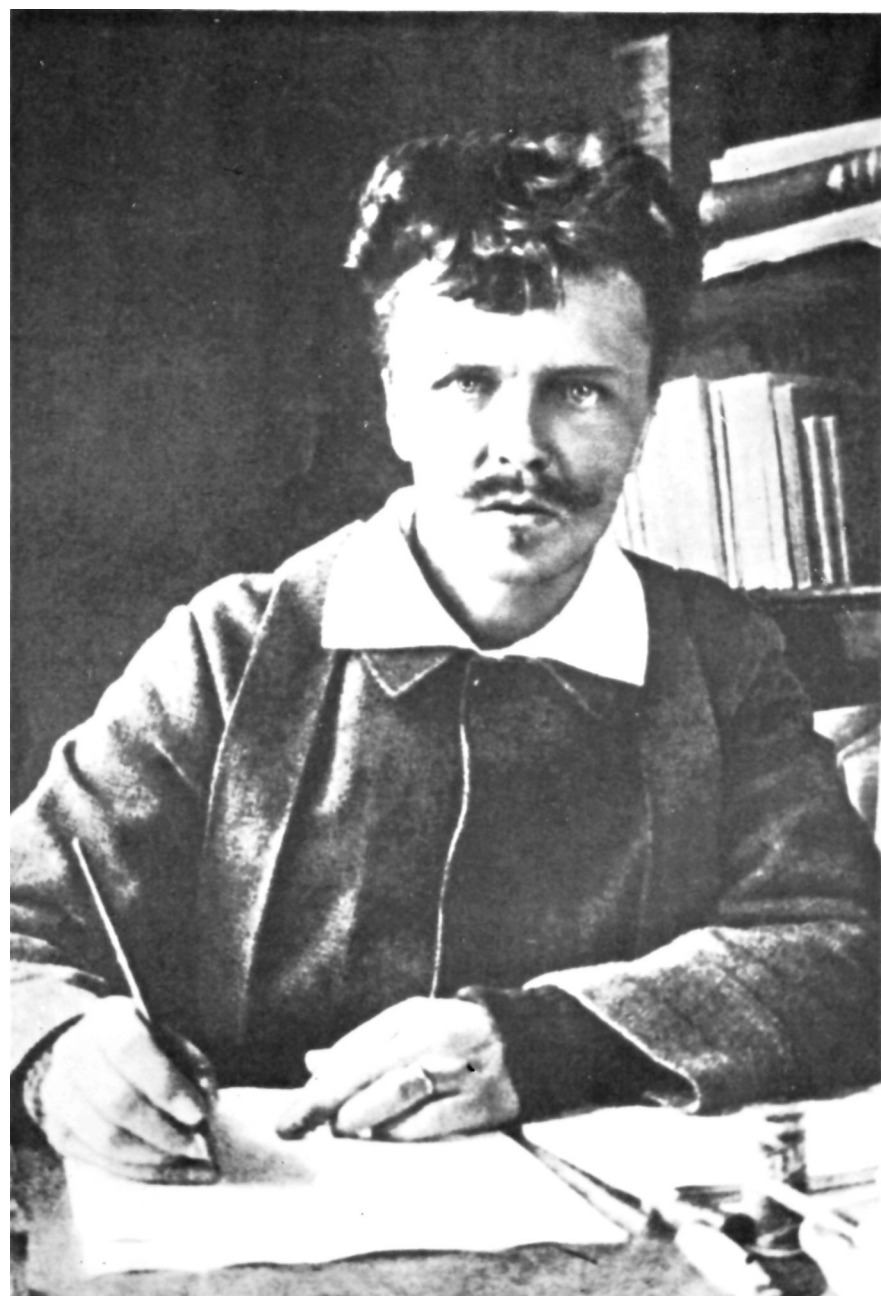




АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ







**АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ**

Избранные произведения
в двух томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986



**АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ**

Избранные произведения
Том первый

Перевод с шведского

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

И (Швед)
С85

AUGUST STRINDBERG
(1849—1912)

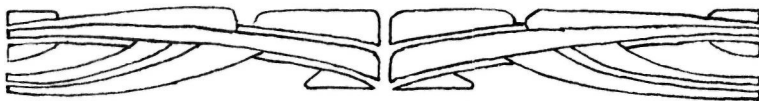
Вступительная статья
В. НЕУСТРОЕВА

Комментарии
Е. СОЛОВЬЕВОЙ

Оформление художника
Ю. КОПЫЛОВА

С 470300000-029 119-86
028(01)-86

© Вступ. статья, переводы, кроме
отмеченных в содержании *,
комментарии, оформление.
Издательство «Художествен-
ная литература», 1986 г.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СТРИНДБЕРГА

Он стоял перед явлениями жизни, точно полководец, и ничто не ускользало от его орлиного взгляда, все касалось его сердца, все исторгало из души его созвучный отзвук или гордый крик протеста.

М. Горький

1

Он очень велик, но и калейдоскопичен — этот мир, полный богатой и причудливой фантазии, странных героев и неожиданных поворотов событий и все же единый в высоком душевном настрое, верный суровой — почти жестокой — правде. Мир Августа Стриндберга — это великое в малом, космос, вмещенный в сознание и чувства личности, переживающей боль человечества.

Стриндберговский герой — одинокий и неприкаянный, бродяга и пария, оказывающийся подчас марионеткой во власти неведомых ему — казавшихся роковыми — сил и обстоятельств, вынужденный носить маску, играть несвойственную ему роль. Но он и человек, оглядывающийся на прошлое, ищущий опоры в настоящем, с трепетом и надеждой всматривающийся в будущее. Находясь в постоянных поисках истины, Стриндберг и многие из его героев часто обращаются к первоосновам бытия, прислушиваются к голосу природы, становятся поверенными и современной жизни — бурной и нервной, не принимающей ада на земле, стихии несчастий, опустошительных и кровопролитных войн. Противник социального зла и насилия, писатель болезненно и остро переживает конфликты окружающей действительности, стремится вырваться из замкнутого пространства, представляющегося ему в образе тюрьмы — от государственных форм подавления личности до такой ячейки буржуазного общества, как семья. При этом он не щадит и себя, поскольку переживаемый им кризис индивидуалистического сознания явно обнаруживает несостоятельность культа ницшеанского героя, в котором шведский писатель одно время видел якорь спасения.

В своей темпераментной драматургии и публицистике, в исповедальной прозе Август Стриндберг пытался смело ставить нерешенные проблемы времени, стремился один на один сражаться со Злом; находясь в состоянии трагической безысходности, «бросал вызов божественным силам». В жесткой прямоте, которая оказывалась формой остранения, выражалось

его бунтарство, бескомпромиссная позиция в борьбе против «волчьих» законов и инстинктов.

Стриндберг нередко переносит действие и героев из житейского плана в иное измерение, повествование его переходит в сказку и притчу, становится философски и психологически насыщенным, даже детали наполняются метафорическим смыслом. Показав Швецию «с черного хода», писатель, по сути, дает реалистическую обобщающую картину, характерную вообще для собственного мира. Картины жизни, запечатленные часто гротескно и экспрессионистски выразительно, предстают в стриндберговском театре многозначительными символами, олицетворяющими абсурд, бессмыслицу, становятся «тенью вещей».

«Гофманский» мотив двойничества и у Стриндберга выражал творческую индивидуальность — крайнюю противоречивость мировоззрения, характеризующуюся раздвоенностью его натуры. «Словом безумца в свою защиту» вызывающе именовал писатель свой отчужденный взгляд на кодекс прописных истин, подчеркивая этим свое резкое неприятие внешней упорядоченности, мещанского благополучия, бездуховности. Буржуазная же критика, истолковывавшая наследие писателя прямолинейно и негативно, преувеличивала моменты психического состояния писателя и в этом ключе решала вопрос об автобиографическом характере его творчества в целом. Так создавались легенды о его декадентстве и оккультизме, анархизме, женоненавистничестве... Однако отнюдь не кризисные моменты в его жизни и творчестве (которые, кстати, также бывали формой и итогом мучительных исканий) определяли наиболее существенные и ценные стороны художественного наследия писателя. В юности и затем особенно в 80-е годы, в пору расцвета его реализма, наконец, на позднем этапе — на рубеже веков — Стриндберг, демократически мыслящий литератор и общественный деятель, неоднократно обращавшийся к социалистическим идеям и дававший бой церковникам и политической реакции, решительно порывал с нищезантовством и мистическими настроениями, интересно экспериментировал в жанрах реально-психологической прозы, социальной, исторической и камерной драматургии.

2

Многие факты из жизни и творчества Юхана Августа Стриндберга (1849—1912) его биографами и критиками нередко истолковывались в духе психоанализа. Писателю ставили в вину его происхождение (он был сыном служанки), легкомысленные, с точки зрения мещанской морали, стороны его личной жизни и особенно его непримиримую позицию в нравственных и социальных вопросах в широком диапазоне — от так называемого антифеминизма до резких выступлений против полицейских методов подавления прав личности государственным аппаратом.

Между тем вызывающий тон чаще всего был ответной реакцией на проникновение жестокости, стяжательства во все поры жизни, даже в ее святая святых — в семейные отношения. Движение за женское равноправие — в его буржуазном варианте — оказывалось часто карикатурным, призрачным, а потому писатель по праву ополчался и на него. В связи

с этим известный общественный и литературный деятель Георг Брандес в статье, посвященной Стриндбергу, с горечью писал о таких «печальных вещах» современности, как «ненависть и война между народами», как «расовая ненависть и расовая война» и, наконец, как «война и ненависть между двумя полами, между двумя половинами человечества». Закljučая эту мысль, датский критик повторял настойчивый призыв одной из сказок Андерсена: «Будем же людьми!»

Понятно, что «войну полов» начал не Стриндберг. По словам его современницы норвежской писательницы Камиллы Коллет, воинственные крики уже давно раздавались из «лагеря немых». Стриндберг же заговорил об этом во весь голос, допуская, правда, известные преувеличения. «Учитель народа», он стремился по-своему воплотить и в собственном творчестве принцип развития — по образцу своей темпераментной жизни, а жил он действительно бурно, чувствовал сильно, и мозг его находился постоянно в состоянии кипения. Он не пасовал перед конфликтными ситуациями, если считал себя правым, — смело пошел на разрыв с отцом-коммерсантом, оставил казавшиеся ему однообразными и сухими занятия в Упсальском университете. В течение некоторого времени он увлекается медициной и театром, литературой, живописью и скульптурой, пробует профессии школьного учителя, журналиста, телеграфиста на шхерах. Лишь служба в столичной Королевской библиотеке (в 70-х — начале 80-х гг.) и активная журналистская деятельность несколько стабилизируют его интересы, позволяют серьезно заняться историей, вплотную приблизив его к художественному творчеству.

Семья, школа, университет откладывают, конечно, отпечаток в сознании Стриндберга. Дед будущего писателя, страстный поклонник театра, был даже автором «Оригинальных шведских драм». Однако театральный эпизод в жизни юноши по сути начался с... увлечения анатомией: медик-актер с восхищением размышлял о красоте человеческого тела. Картины родной северной природы также привлекали его пристальное внимание. Начинаящий писатель обуреваем фаустовскими сомнениями и устремлениями. Но ответы на мучившие вопросы он ищет не столько в окружающем дисгармоничном мире, а в «подполье каждой натуры» и потому пытается в «истории развития одной души» — в «Слове безумца в свою защиту» запечатлеть тайны жизни, в частице выстраданного одиночкой утвердить самоценность личности, своего рода разумный эгоизм.

В конце 60-х — начале 70-х годов молодой писатель почти всецело отдается стихии увлечения культурой предшествующих эпох: таковы в его «малой» драматургии отзвуки античности («Гермиона»), поры древнескандинавских саг и введения на Севере христианства («Изгнанник»); романтическое начало и здесь сказалось в резком противопоставлении возвышенной личности — косной среде. Ярким воплощением подобной ибсеновской концепции явился трагический образ датского скульптора Торвальдсена («В Риме»).

Своеобразным теоретическим комментарием к исторической драме датского романтика Адама Эленслегера явилось сочинение Стриндберга на звание кандидата — «Хакон ярл, или Идеализм и реализм» (1871), в котором выдвинуто положение о том, что подлинное поэтическое искусство определяется правдой действительности наподобие древних саг и тво-

рений Шекспира. В цикле статей «Перспективы» (1872) писатель продолжает противопоставлять абстрактной романтике поэзию реальной жизни. Отчасти эти эстетические положения он реализует в таких юношеских «лирических» пьесах, как «Секрет гильдии», «Жена господина Бенгта», «Странствия Счастливого Пера» и др., — впрочем, разных по типологии, но одинаково насыщенных социальной и этической проблематикой, по-руссоистски противопоставляющих чувство, природную простоту и патриархальность уродливой цивилизации.

Первым крупным реалистическим произведением Стриндберга, созданным «в духе Шекспира», явилась историческая драма «Местер Улоф» (1872), в которой автор обратился к знаменательным событиям национального прошлого — эпохе Реформации и времени правления Густава Васы (XVI в.). Сам автор указывал на актуальный характер своего произведения, по его словам, «реалистически под впечатлением франко-прусской войны и Коммуны». Двойной план драматического конфликта реализован в идеях и поступках основных персонажей — не только Олауса Петри, ученика и последователя Лютера, но и более радикально настроенных представителей «черни», печатника Йерда, анабаптистов.

Основная концепция драмы все же связана с трактовкой образа главного героя. Как и шекспировские персонажи (Юлий Цезарь, Гамлет), Улоф не может быть определен однозначно. Из исторических хроник, поэтических произведений и научных исследований Стриндберг почерпнул сведения о выдающемся деятеле шведской Реформации и ученом-историке. Размышляя о правах и достоинствах человека, драматург стремился показать своего героя как сильную личность в духе ибсеновского Бранда. Однако трагический конфликт в пьесе строился зигзагообразно — Улоф, энтузиаст и идеалист, оказывается не в состоянии последовательно идти к достижению цели. Разрыв с католической церковью осложняется побочными мотивами — противоречивым отношением его к королевской власти, неравным браком, вызывающим осуждение окружающих, вступлением в союз с мятежниками, а затем и отступничеством от дела не только анабаптистов, но и Реформации. Загадка Улофа, личности сильной, внутренне, подобно Галилею, остающейся непреклонной, верной высоким принципам, решается, таким образом, не логикой внешних событий, а его собственным характером, сложным путем избранной им титанической борьбы.

Обстоятельства вынудили Стриндберга продолжать в течение длительного времени работу над новыми — сценическими — редакциями драмы. Задачи писателя при этом не были связаны лишь с требованиями дирекции театров и цензуры, то есть с необходимостью «исправить» или убрать особо опасные места. Психологические мотивировки событий и поступков героев особенно усилены в третьем, стихотворном варианте драмы (1879). Возможные — этические — решения теперь вынесены автором в подтекст. В аллегорических сценах эпилога Стриндберг осуждает тактику отступничества, всякого рода приспособленчество, утверждает идею неизбежной победы добра над злом. Как видно, художественная концепция героя не укладывалась в понятие компромисса, она позволяла показать и объяснить его сложный характер и поступки цепью обстоятельств, даже случайностей, раскрывавшихся порою в существенных деталях. Если исторический деятель Реформации ратовал за обновление в рамках религиозного учения, то

герой Стриндберга помышлял об изменениях более радикальных — нравственных, социальных, политических.

С конца 70-х годов в творчестве Стриндберга происходит значительная перестройка. Интересы писателя сосредоточены отныне на социальном романе и современной драматургии.

3

Общественные идеалы Стриндберга критика обычно связывала с концепцией непрерывного исторического прогресса, заимствованной из книги Бокля «История цивилизации в Англии». По существу же свои основные задачи писатель, близкий к деятелям возглавлявшегося Г. Брандесом движения прорыва, видел в активной борьбе за такое реалистическое искусство, в котором «глубокая и непрерывная критика» буржуазного общества осуществлялась «во имя прогресса». Подлинным источником вдохновения Стриндберга была реальная действительность, заставлявшая его ставить на обсуждение актуальные проблемы современности, мучительно размышлять о настоящем и будущем человечества и цивилизации. Ответы на волнующие вопросы писатель попытался дать в своем первом крупном социальном романе «Красная комната».

«Красная комната» (1879) — выдающееся явление в национальной литературе, поставившее автора рядом с крупнейшими европейскими писателями того времени. Действие «стокгольмского романа» происходит в конце 60-годов XIX столетия, в условиях назревания общественного подъема, оппозиционных настроений, явно обозначившихся в среде столичной молодежи. Но это было и время духовного разброда в рядах буржуазной интеллигенции. Поэтому естественным было желание Стриндберга разобраться в сложных процессах духовной жизни и по возможности, как сообщал он в одном из писем к жене Сири фон Эссен, дать в романе «резюме истории нашего времени». В этом плане писатель как бы перебрасывал мост от прошлого к современности, от проблем «Местера Улофа» непосредственно переходил к проблемам «Красной комнаты».

По признанию самого Стриндберга, в годы работы над романом он продолжал оставаться «коммунар», «стоял на стороне угнетенных», был «социалистом, нигилистом, республиканцем, всем, что может быть противоположностью реакционерам». Правда, положительная программа автора была еще довольно туманной и противоречивой, порой в ней проступали даже положения анархистского толка. Но более устойчивыми были идеи социального утопизма. В выступлениях писателя против «высших классов» содержится немало суждений, заимствованных из сочинений шведского социолога Нильса Квидинга, находившегося, в свою очередь, под влиянием идей Фурье. Непримируемость к буржуазному обществу и порожденным им учреждениям позволила Стриндбергу, с одной стороны, выступить с их критикой, а с другой — показать себя защитником людей труда, носителей высочайших нравственных принципов.

В подзаголовке роман «Красная комната» определен как «Очерки из жизни художников и литераторов». Главный герой его молодой чиновник Арвид Фальк стремится вырваться из гнетущей мещанской обстановки, мечтает о литературной деятельности и славе. Среди либерально настроен-

ных посетителей Красной комнаты, одного из клубов стокгольмской молодежи, Арвид и его друзья — художники, актеры, журналисты, ученые, помышляющие о свободе, своего рода новой реформации, но чаще всего убеждающиеся в том, что и сфера искусства заражена стяжательством, лицемерием, ложью, и потому, не имея твердой опоры, они вскоре теряют свои боевые лозунги, утрачивают юношеские иллюзии.

На этом основании критика резко отрицательно оценивала идейную деградацию героев романа. Но подобного рода прямолинейные выводы были далеки от определения задач, ставившихся писателем-реалистом. Конечно, не столько о крушении идеалов, оказавшихся несостоятельными перед лицом реальности, хотел рассказать автор. Картина идейной капитуляции — это не только повторение мотива отступничества. Стриндберг не мог торопить исторические события, которые со всей очевидностью развернутся и в скандинавских странах со следующего десятилетия, в условиях значительного общественного подъема. Тем контрастнее и убедительнее была воссоздана в романе атмосфера интеллектуального застоя. Любопытно, что одного из издателей не удовлетворил нулевой финал романа. По его настоянию Стриндберг был вынужден в небольшом эпилоге (1882 г.) дополнить историю Арвида Фалька сообщением о его женитьбе. А между тем суть финала заключалась именно в «завесе» перед «неизвестным», в показе пути героя от универсального символа к реальному человеку, в размышлении юноши о близком будущем, в котором решающую роль будут играть уже новые общественные силы — поскольку вся буржуазная политика, по словам писателя, «по сравнению с рабочим движением гроша медного не стоит».

«Красную комнату» принято считать романом автобиографическим. Но это справедливо лишь отчасти. В образе Арвида Фалька, своего рода литературного героя, рассматривающего жизнь сквозь призму литературы (как, впрочем, и других персонажей; например, одного из них — Борга критик К. Смедмарк сравнивал с тургеневским Базаровым), действительно, немало от самого Стриндберга. Тот же критический взгляд на окружающее, философский склад мышления, демократичность убеждений. И все же автор романа в значительной степени превосходил своих героев, он лучше видел процесс и перспективы общественного развития.

Откликаясь на учение Г. Брандеса и французских позитивистов (Огюста Конта, Ипполита Тэна) относительно роли среды, Стриндберг особо останавливается на законе взаимной зависимости. В романе каждый из социальных слоев — буржуа, чиновники, интеллигенция, рабочие — составляет часть единого организма. И все же находятся они в состоянии сложных взаимодействий или антагонистических противоречий. Автор показал себя здесь превосходным мастером сатиры (вначале он ограничивался карикатурой), объектом которой оказываются в первую очередь люди деловой сферы и бюрократической системы управления государством (вплоть до риксдага), деятели исторических партий («шапок», «шляп» и др.).

По-бальзаковски ярко и убедительно раскрыта преступная натура коммерсанта Карла-Николауса Фалька, хищника, самым беззастенчивым образом отторгающего в свою пользу часть наследства младшего брата. Гротескно передана картина подкупов, царящих в среде чиновников, лжи и беспринципности официальной прессы. Не щадит писатель и нравов,

бытующих в среде буржуазной интеллигенции, с огорчением говорит об упадке искусства. Именно в эту пору он решительно расходится с либерально настроенными литераторами из группы «Молодая Швеция».

Надежды Стриндберг возлагает на людей труда. Его интерес к пролетариату, высказывавшийся и в публицистике (статья «Рабочие», 1872), укрепляется в связи с экономическим кризисом и ростом рабочего движения в Швеции в конце 70-х годов. Последние одиннадцать глав «Красной комнаты» писались по свежим следам сундсвальской стачки лесорубов. В эту пору писатель читал «Манифест Коммунистической партии» и, видимо, под влиянием вступительных слов «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма» — в черновом варианте романа писал о газете «Красный призрак». В 80-х годах он даже начинает изучение «Капитала» К. Маркса.

Сам Стриндберг считал «Красную комнату» произведением документальным, поскольку случаи и факты в романе были им заимствованы из реальной действительности, из газетной хроники, из протоколов заседаний риксдага и т. д. Критика нередко сетовала на хаотичность композиции романа, объясняя это влиянием эстетики натурализма. Но газетные жанры органически вписывались в структуру «свободного романа», в котором писатель сознательно отходил от традиционных форм, даже, по сути, поступился выигрышной любовной интригой. Каждая из двадцати девяти глав романа, рисующих своего рода «шведский Пиквикский клуб», имеет в известной степени самостоятельное значение. В современных картинах — поэтических пейзажных зарисовках, физиологических очерках, письмах и памфлетах, в философских и политических дискуссиях, — объединенных единством замысла и определенными персонажами, писатель действительно сумел дать широкую панораму жизни Швеции. Именно в органическом слиянии поэта и журналиста, по словам Бьёрнсона, заключена особенность метода Стриндберга, писателя будущего.

4

«Красная комната» и последовавшие за ней публицистические произведения (памфлет «Новое царство», 1882, и др.), по свидетельству одного из современников писателя, произвели «впечатление ночного набата». Яростные нападки со стороны официальных кругов и реакционной прессы, обвинявших их автора в подрыве государственных устоев и в аморализме, заставили Стриндберга покинуть родину. С 1883 года начинается пятнадцатилетний период добровольного изгнания, скитаний по разным странам Европы — время, полное тревог и горестных раздумий. Но европейский опыт вместе с тем расширил кругозор писателя, приобщил его ко многим духовным ценностям.

Повествовательному искусству Стриндберга, в котором А. П. Чехов видел «силу не совсем обыкновенную», в немалой степени обязан своим развитием скандинавский социально-психологический роман, ставший в ряд с лучшими образцами современной прозы. Во многих романах и новеллах писателя явственно ощущается также вдохновенное чувство и мастерство поэта и драматурга. В них захватывают трагические конфликты, лиризм, умелое построение интриги, смелое введение монолога и диалога, приемы

косвенной характеристики и авторский комментарий — словом, все то, чем будет насыщена эпическая форма романа XX века.

В больших и малых повествовательных жанрах 80-х годов (как, впрочем, и в его драматургии) обозначилась и такая существенная особенность стиля Стриндберга, как тяга к циклическому построению. Таковы, например, новеллистические сборники «Браки» (в двух томах), «Утопии в действительности» и другие. Роман «Готические комнаты» возвращает читателя к некоторым персонажам и к проблематике «Красной комнаты». Своеобразную автобиографическую тетралогия составляют романы «Сын служанки», «Время брожения», «В Красной комнате» и «Писатель». В дальнейшем в циклы будут объединены басни и сказки, исторические и камерные пьесы, публицистические статьи и книги и т. д.

Концепция нравственного противостояния характерна для большинства произведений Стриндберга, посвященных проблемам брака, семьи и воспитания. Причем воспитания не только детей, но и взрослых. Жестокости, бессердечию писатель противопоставляет чуткость, ранимость, великое чувство любви. В «брачных» новеллах Стриндберг выдвинул новое — по сравнению с Ибсеном, автором «Кукольного дома» и «Привидений», — решение женского вопроса. Так, в предисловии к сборнику «Браки» морали и идеологии буржуазного брака он принципиально противопоставляет свой идеал — «крестьянскую семью с ее «естественным» распределением обязанностей между полами».

«Малая» проза создавалась Стриндбергом в обстановке острых эстетических споров, в которых центральное место занимали проблемы реализма и натурализма. Продолжая свои теоретические положения 70-х годов, писатель в программной статье «О реализме» (1882) решительно относил себя к такому искусству, которое соотнобразится с «правдой жизни», выбирает из нее «характерные черты». Но и в натурализме, верном природе, он стремился увидеть важный, по его мнению, научный, дарвиновский подход к явлениям действительности. Открытым вызовом мешанской морали стали уже брачные новеллы. Критика (например, М. Ламм, В. Берендзон) отмечает, что именно здесь Стриндберг не только «бросил перчатку эмансипированным женщинам», но и сделал «шаг к натурализму Золя», дал «коллекцию случаев», вырванных из жизни и выражающих общий «закон». И все же клинические случаи (влияние наследственности, психическая неуравновешенность и т. п.) для писателя не были главными, служили своего рода фоном, отзвуком прошлого, предрассудков и пороков старого мира, враждебного природе человека.

Круг духовных и творческих интересов Стриндберга в 80-е годы, на новом этапе его пути, продолжает оставаться обширным, разнообразным. Особый интерес представляют очерки и новеллы «Утопии в действительности» (1885), написанные под воздействием социалистических учений Сен-Симона, Фурье и особенно романа Чернышевского «Что делать?». Продолжая критику буржуазной цивилизации, писатель мечтает о руссоистском осуществлении принципов социальной справедливости. Герои этих,

так называемых швейцарских, новелл — люди разных национальностей, главным образом эмигранты (шведы, русские, французы), оставившие по воле обстоятельств родину и стремящиеся на чужбине по-новому строить свою жизнь.

Иным здесь предстает у Стриндберга и решение семейных проблем. В фаланстере Годена отношения между мужчиной и женщиной гармоничны. Убежденный социалист, писатель выражает твердую уверенность в том, что и войны между народами Европы будут навсегда уничтожены. Правда, образы «новых людей» в его новеллах (Бланш, Эмиль Сешар, Павел), в отличие от героев романа Чернышевского, прямых и страстных в борьбе за социальную справедливость, еще слишком непоследовательны, сентиментальны.

Во второй половине 80-х годов в мировоззрении и творчестве Стриндберга происходит перелом. Знакомство его с учением Фридриха Ницше, закрепленное их перепиской, оказывает заметное влияние на писателя, хотя его увлечение ницшеанством не было всепоглощающим и длительным. Натуралистические тенденции, явно обозначившиеся в брачных новеллах, усиливаются в драматургии и эстетической теории. Не удовлетворенный состоянием современного шведского сценического искусства, Стриндберг подверг резкой критике принципы псевдоромантической и мешанской драмы.

Оригинальным теоретиком Стриндберг выступил в статьях «Натуралистическая драма» (предпослана в качестве предисловия к пьесе «Фрёкен Жюли», стала манифестом новой драмы) и «О современной драме и современном театре». Реформу натуралистической драмы Стриндберг предлагает начать с более четкого определения ее идейно-эстетических основ и структуры. «Пьеса, доведенная до одной сцены», не должна поступаться ни сложной передачей внутреннего мира героев, ни максимальной напряженностью диалога, психологически тонкого и философски многозначительного. И если все-таки характеры оказываются в ней бесхарактерными, неустойчивыми, то объяснить это можно не новой техникой композиции одноактной драмы, а наличием этих свойств в самой жизни, в людях с разорванным сознанием, истеричных. Художник-реалист, действительно, хотел раскрыть природу и жизнь человека прежде всего как борьбу. По его словам, «сложностью мотивов» он гордился и считал ее «очень современной».

Внешне иным теперь предстает и индивидуализм героев Стриндберга — агрессивным, ницшеанским. В наибольшей степени это подтверждают драмы «Отец», «Фрёкен Жюли», «Кредиторы», «Товарищи» и другие. Неудовлетворенность женщины своим зависимым положением в семье, высказанная еще Кристиной, героиней драмы «Местер Улоф», теперь перерождается, носит гипертрофированный, гротескный характер и, как писал Стриндберг в статье «Равенство и тирания» (1885), движение женщин высшего класса даже оказывается «надежной опорой реакции».

Главная коллизия стриндберговских натуралистических пьес заключена не только в противоположности характеров мужчины и женщины. В борьбе полов, в условиях, казалось бы, камерных событий проступают тенденции социальные, предстающие как трагический результат, «последний акт» жизненного конфликта.

Начало цикла социально-психологических драм было положено пьесой «Товарищи» (первое название «Мародеры») (1886), которая, по замыслу автора, должна была стать второй частью трилогии (первая часть ее — «Отец» — к тому времени еще не была написана). Конфликт между Бертой и Акселем, людьми искусства, вырастает не только в ненависть супругов, но и в дискредитацию женщины как художника, творческой личности — ведь, по мысли писателя, женщины — это массы песка, а мужчины — крупницы золота.

Трагедия «Отец» (1887), вышедшая во Франции с предисловием Э. Золя, считается своеобразным манифестом не только натурализма, но и «женоненавистничества» Стриндберга. Ненависть Лауры к мужу беспредельна: жена не ограничивается отставанием своих интересов, права воспитывать дочь Берту в духе «художественных» принципов, но и поселяет в Адольфе сомнение в его отцовстве, внушает ему и окружающим мысль о неизлечимости его психического заболевания.

Ротмистр борется за право на «естественное» воспитание дочери, которую хочет оградить от тлетворного влияния религиозных фанатиков. По своей сложности его характер критикой определяется как «шекспировский». Величественный и мятежный, он бросает вызов мещанству, но гибнет от того, что сам, человек своей среды и эпохи, в своей борьбе не выходит за рамки мелкобуржуазного бунтарства. Натуралистические мотивы в основном связаны здесь с описанием течения его болезни, а сам Ротмистр предстает как жертва условий жизни.

Конфликт в трагедии отнюдь не случаен. И хотя видимой завязки здесь нет, на протяжении трех действий пьеса разыгрывается, по сути, затянувшийся финал столь острых и кажущихся роковыми событий. Лаура становится мрачным символом времени и обстоятельств. И когда Пастор, ее брат, признается, что с чувством удовлетворения увидел бы ее на эшафоте, писатель со всей очевидностью показывает, насколько сам он далек в данном случае от однозначного решения.

Не один человек, по Стриндбергу, повинен в дисгармонии жизни — и потому осуждение в адрес женщины воспринимается как приговор всей буржуазной действительности. Пьеса, которую высоко оценил Ницше, тем не менее не стала апологией «сверхчеловека» и преступления. В одном из писем к немецкому философу (в конце 1888 г.) писатель даже самую мысль о том, что идеалом может стать преступник, называет безумной. Оттого и во многих произведениях 80—90-х годов — одноактных романтических драмах и в прозе он постоянно возвращается к проблемам моральной ответственности личности и общества в целом, вступает в прямую полемику с ницшеанством. В повестях «Чандала», «На шхерах», в пьесе «Преступление и преступление» и других, написанных, очевидно, и под воздействием Достоевского, Стриндберг решительно осуждает людей, возмнивших себя избранными, но по воле обстоятельств ставшими преступниками — на деле или в своих помыслах. Писатель заставляет их самих (ученых — Тернера, Акселя Борга, молодого писателя Мориса и других) осознать глубину своего нравственного падения, осудить и разоблачить себя, поставить перед судом собственной совести. Сам же Стриндберг, по сути, оказывается близким к автору «Братьев Карамазовых». В одном из поучений старца Зосимы Достоевский также говорил

об «одном спасении себе» — сделать себя ответственным за весь грех людской.

Сильно и последовательно пафос обличения мещанства и аристократизма — в их крайних проявлениях — развернут в драме «Фрёкен Жюли» (1888). Сюжет пьесы отличается исключительной простотой: юная графиня в минуту слабости отдается молодому лакею, а затем, убедившись в его низости и ничтожестве, из врожденного или наследственного чувства чести приходит к мысли о самоубийстве. Чрезвычайно скупое и внешнее действие, ограниченное событиями, происходящими «в графской кухне в Иванову ночь».

Гораздо сложнее конфликт драмы и психологические мотивировки поступков персонажей, отличающихся многоплановостью и глубиной. Особенно выразительны речевые характеристики: кокетливый и полупрезрительный тон капризной барышни и смесь вульгарности и галантности пройдохи слуги. Воспитанная на кухне, которую, как и конюшню, еще ее мать предпочитала гостиной, Жюли также ощущала какое-то непонятное влечение к грязи жизни. Отказавшая недавно своему жениху, которым она помыкала как хотела, скучающая и легкомысленная графиня увлекается Жаном, поддерживающим свою мужскую репутацию грубоватой обходительностью, обращением к Жюли по-французски, умением изящно танцевать.

Свидетельница семейных раздоров, то и дело возникавших между родителями, Жюли унаследовала от матери (напоминающей демоническую Лауру из пьесы «Отец») ненависть и недоверие к мужчине, мстительность и жестокость. Но Стриндберг не шадит и мужчину. Жан в его характеристике — натура противоречивая. Свое превосходство по отношению к фрёкен Жюли он чувствует не только в силу «аристократизма пола». Хитрый и изворотливый, он действует, как писал о нем М. Горький, «с грубостью раба и с барским недостатком чувствительности». Обязанны своим качеством среде, которую он теперь презирает, которой боится и избегает, Жан предстает как живое олицетворение вульгарности и цинизма. Он, по определению Стриндберга, «зерно раба, в котором заметна дифференциация», приведшая к ненасытной жажде обогащения.

И все же ниспровержение «прирожденного лакея» отнюдь не означало отрицательного отношения Стриндберга к социальным низам. В этом отношении показателен не образ Жана, по сути давно «отделившегося от массы», а характер кухарки — «рабыни, несамостоятельной, отупевшей от жара плиты, набитой моралью и религией». Кристина принадлежит (подобно пастору или доктору в трагедии «Отец») к людям обыденным и, будучи персонажем второстепенным, нарисована менее конкретно, поскольку, по мысли Стриндберга, «все будничные люди в известной степени абстрактны в своих профессиональных занятиях».

Своеобразна стилистика драмы «Фрёкен Жюли». Действующих лиц ее писатель определял как «характеры-конгломераты», таившие, однако, немалые потенциальные возможности художественного воплощения: графиня и лакей раскрываются в сложнейшей гамме реальных и символических мотивов. Каждый из них олицетворяет упадок своего сословия. Жюли — это, по словам Стриндберга, «остаток старинной военной аристократии, которая теперь уступает место аристократии нервов или

большого мозга». Она жертва не только семейного разлада, но и заблуждений века, обстоятельств. Кульминацией нравственного падения Жана является сцена, когда он в роли гипнотизера хладнокровно вкладывает в ее руку бритву — орудие самоубийства. Многие ключевые эпизоды пьесы происходят за сценой (в комнате лакея, на конюшне) или возникают в воспоминаниях, благодаря чему раздвигаются пространственные и временные решения. Поэтичность тексту придает музыкальное построение фраз, что сам автор в одном из писем определял как стремление к ритмичности, использованию размеров, свойственных свободному стиху. Вульгарные выражения, в которых не стесняются ни лакей, ни графиня, нередко сменяются поэтическим текстом.

В одноактной драме «Кредиторы», которая должна была составить заключительную часть трилогии из жизни художников, Стриндберг в новом варианте «проигрывает» трагикомедию брачных отношений, с еще большей силой показывает яростную схватку различных этических принципов. В центре событий — муж, являющийся неумолимым кредитором к своей бывшей жене, некогда убежавшей с любовником. Основа действия пьесы — дискуссия, широко обсуждающая не только причины и характер происходящего, но и теоретические проблемы — нравственные и эстетические. Каждый из персонажей чувствует себя опустошенным, дискредитированным и потому призванным к отпущению.

В других — «малых» — пьесах («Узы», «Перед смертью», «Кто сильнее», «Пасха») Стриндберг не ставит целью только раскрытие различного рода тайн (жизни, психологии поведения и т. д.). Главное для писателя — дойти до сути (ведь нередко бывает и так, что порок оказывается похожим на добродетель), вернуться к истокам, при помощи ретроспективной композиции составить все звенья цепи, через прошлое разобраться в настоящем. В нашей критике (Б. Михайловский, Б. Зингерман) справедливо отмечалось, что у Стриндберга — подобно Ф. Достоевскому и А. Блоку — «климат» в социальных и семейных отношениях одинаков и что, замкнувшись на «отдельно взятом, истерзанном человеке», писатель надеялся на возможность разрыва трагических связей: по правилам игры это могло быть достигнуто победой сильнеешего над слабым либо гибелью одного из героев. Стриндберг стал создателем личностных категорий, в равной степени сказавшихся и на характерах героев, и на формах времени, и на средствах художественного выражения. Вера в возможности человека позволила ему с уверенностью смотреть в будущее. И потому глубоко прав был Блок, говоривший, что Стриндберг — «менее всего конец, более всего — начало».

6

Поздняя проза Стриндберга отнюдь не была «придатком» или «отголоском» его драматургии. Типология его романа и новеллистики весьма многогранна. Еще в середине 80-х годов шведский романист говорил о своей близости к Л. Н. Толстому, называл себя его союзником. И по-видимому, прежде всего это можно отнести к крестьянскому роману Стриндберга — «Жители острова Хемсё» (1887), в котором писатель

опирается на народнические традиции своего соотечественника Альмквиста и в известной степени возвращается к нравственным и социальным проблемам собственных «швейцарских новелл».

К созданию романа из народной жизни Стриндберг подошел с особой тщательностью. Личные наблюдения во время пребывания на Киммендэ, одном из островов Стокгольмского архипелага, сбор материалов для очерка «Среди французских крестьян» позволили ему, используя традиционную форму комического романа, нарисовать достаточно выразительную панораму быта и дать сатиру на мещанские нравы, воссоздать конфликт сил природы и буржуазной цивилизации. Героя романа — батрака Карлссона, чужака и странника, — человека деятельного и предприимчивого, похожего на гамсуновских бродяг, писатель резко противопоставляет собственникам и филистерам, для которых он оставался проходимцем. Позже в одном из писем (к Августу Линдбергу в апреле 1889 г.) Стриндберг скажет, что его Карлссон «обрушился на Хемсё как снежный вихрь апрельским вечером». И в названиях глав, развернутых в традиции просветительского романа, и в тексте повествования автор не раз подчеркнет активный — хотя и противоречивый — характер своего героя.

Иной вариант личности и среды писатель дает в серии автобиографических романов. Продолжая художественную историю «сына служанки», Стриндберг рисует не только прошлое, но и настоящее безумца, своего двойника, раскрывает довольно широкую картину общественной и литературной жизни. На пути осуществления в современных условиях принципов свободомыслия писатель видел немало преград. Выход из кризиса сознания он еще продолжает искать с позиций крайнего индивидуализма, трактуемого им, однако, своеобразно.

В романе «Слово безумца в свою защиту» (1897), написанном по-французски и первоначально опубликованном в Германии и во Франции (в шведском переводе на родине писателя книга была издана лишь посмертно), Стриндберг реализует свои замыслы в нескольких направлениях. В отличие от семейных драм, отличающихся преимущественно сатирической тенденцией, в романе-исповеди, носящем в не меньшей степени характер «защитительной речи», автор стремится к объективному повествованию, к полифонической структуре. Считается, что в романе (как и в трагедии «Отец») Стриндберг воссоздал женский характер, напоминающий его первую жену — актрису Сири фон Эссен. И все же, в отличие от Лауры, Мария и другая героиня романа, между которыми автор как бы распределяет роли, в значительной степени ослаблены. Введены обстоятельства, поясняющие или даже оправдывающие некоторые из их поступков. Себя же писатель, от имени которого ведется повествование, ставит в равное положение, открыто говорит о «кризисе мужского сознания», отдает и себя на суд общества. Но гамлетовская маска и игра в «безумца» не проходит для него безнаказанно. Справедливо отмечалось, что, лишившись своего «я», герой романа в конце концов утрачивает способность различать личину и реальность.

Замысел романа «Слово безумца в свою защиту» связан с решением Стриндберга опубликовать свою переписку с женой и тем самым объяснить причины их развода. Но эпистолярный жанр, по его мысли, оказывался недостаточным для успешного выполнения поставленной творческой задачи.

Идея «исповеди» и «защитительной речи» вытекала из размышлений писателя о «психологических убийствах — вымышленных и реальных» (статья «Духовное убийство», 1887), навеянных драмой Ибсена «Росмерсхольм» и особенно романами Достоевского. В отличие от тех своих произведений, в которых герои — одинокие и отчужденные — вызывают порывали всякую связь с обществом, здесь (и в некоторых поздних драмах — исторических и камерных) писатель избирает другой путь — активного вторжения в окружающую жизнь — под маской безумца или шута. По-своему это было «безумством храбрых».

Действительно, новый роман Стриндберга — один из наиболее выдающихся романов о любви в мировой литературе. История Акселя и его мучительной любви к замужней женщине, баронессе, которая после развода с мужем становится его женой, — это великая радость, счастье, но вместе с тем и любовные страдания и унижения. Своего рода любовно-ненависть — чувство, подобное грому и бурному потоку, развивающееся противоречиво, беспощадно, способное довести до безумия.

События романа разворачиваются на широком фоне — на родине писателя и в странах Западной Европы. Глубокий психологический анализ захватывает различные сферы — личную жизнь, социальные отношения, искусство. Герои, натуры творческие, не могут да и не хотят поступиться своими интересами, правом человека. Каждая из враждующих сторон видит цельность характера противника, но по условиям торговой сделки, бытующей в буржуазной семье, каждый из них действует открыто (иногда демонстративно) или, наоборот, бессознательно умалчивает об этом — даже ценой игры на проигрыш.

Женщине, красоте ее тела и духа, Стриндберг слагает вдохновенный гимн. Ставшая божеством, она предстает как новый миф, глубокую символику и тайну которого раскрыть может не каждый. Препятствия, возникающие на трудном пути любви Акселя и Марии, новых Тристана и Изольды, способны породить горечь, но и разжечь страсть, заставить забыть о нанесенных оскорблениях. Правда, разлад между супругами, достигающий апогея в финале романа, неминуемо приводит к разрыву. Но поучительная история их отношений, воссозданная в романе, это не только месть со стороны повествователя. Ему, выходцу из народа, определенное удовлетворение давало и пережитое счастье любви, и то, что он, простолюдин, покорил родовитую женщину, ведь, говоря словами андерсеновской сказки, «свинопас стал супругом принцессы». Но хотя Стриндберг считал, что быть свободомыслящим — значит «стать сверхчеловеком», все же в «Слове безумца в свою защиту» проблема ставится гораздо сложнее. Герой провозглашает себя аристократом в том смысле, что он стремится «к вершинам таланта, а не к вершинам мнимой родовой аристократии». И это позволяет ему «чувствовать страдания обездоленных».

Одной из легенд, созданных о Стриндберге, была аксиома о его духовном падении. Декадентство писателя обычно связывали с его обращением к религии, с проникнутыми мистицизмом книгами «Inferno» («Ад») и «Легенды». Однако такая концепция противоречит действительным фактам его идейного и творческого развития на рубеже веков. По сути, inferнальными произведениями, вызванными обострением психического заболе-

вания и кратковременной полосой идейного кризиса писателя (1897 г.), завершились полные необыкновенных трудностей последние годы эмиграции.

По признанию самого Стриндберга, еще в «Легендах» проявились противоборствующие тенденции. Да и увлечение оккультизмом, буддизмом и учением шведского мистика XVIII века Эмануэля Сведенборга носило романтический характер. Недаром Т. Манн по универсальности ума сравнивал Стриндберга с Гете и называл законным наследником не только Сведенборга, но и Цельсия, Линнея. В романтической сфере, как и в алхимических опытах, проявилась тяга художника-мыслителя — пусть в вызывающей форме — проникнуть в тайны мироздания, уяснить природу подсознательного. Мистицизм писателя нельзя воспринимать в прямом смысле как религиозную одержимость, фанатизм и мракобесие. Разочарование в затронутых позитивизмом различных областях естественных наук, переживавших кризис, порождало скептицизм ученого, будило поэтическую фантазию.

Но и носить маску просвещенного скептика удавалось не всегда. Нередко приходилось вступать в схватки с клеветниками, распространявшими о писателе различного рода измышления и называвшими его обольстителем молодежи. Особенно тяжело Стриндберг переживал вынужденную изоляцию от родины. Видя вокруг «безотрадное положение», не рассчитывая на улучшение жизни при помощи хилых реформ и понимая, что большинство «ожидает чего-то нового», он мечтает о возможности для себя оказаться «на одной высоте с современной эпохой», стать «свободным от предрассудков и вдохновленным лишь мыслью о земном счастье», считает, что подлинное благородство теперь можно встретить только «среди простого народа».

Ницше и другие «современные боги», по словам Стриндберга, хотели заставить его «опуститься на колени перед всем мелким, перед ничтожеством, перед физической, нравственной и интеллектуальной слабостью», но писатель, «напротив, служил обойденным, боролся в освободительной войне за угнетенных».

В 1898 году Стриндберг наконец возвращается на родину. Живя в Стокгольме, он уже не ощущает себя таким одиноким, как прежде. Полоса временного острого кризиса быстро шла на убыль. Писатель активно вступает в творческую жизнь, ищет пути социального и эстетического обновления.

7

Двадцатое столетие Стриндберг встречает с большим душевным и творческим подъемом. Будучи верным принципам реалистического искусства, писатель одновременно смело экспериментирует и в других художественных системах. По словам Томаса Манна, «оставаясь вне школ и течений, возвышаясь над ними, он все их вобрал в себя. Натуралист и столько же неоромантик, он превосходит экспрессионизм...». Но, «обогнав свое время», Стриндберг сохраняет до конца жизни привязанность к творчеству Гюго, Диккенса и Андерсена, к полотнам Уильяма Тернера и Бёклина, к величественной музыке Бетховена.

Одно из центральных мест в позднем творчестве Стриндберга заняла историческая драматургия. Созданная на рубеже веков, она продолжила — на новом этапе — разработку проблем, поднимавшихся писателем в этом жанре в юношескую пору. Вдумчивый истолкователь национальной истории, начиная от эпохи средневековья и вплоть до нового времени, Стриндберг глубже, чем прежде, объясняет исторические судьбы столкновением личности (весьма различных по характеру шведских королей) и стихийно действующей народной массы. С новой силой проявляются теперь и шекспировские традиции, идущие от хроник и от «Гамлета». Связывая идею о движущих силах истории с ростом самосознания масс и с принципом народоправия, драматург прослеживает эти тенденции в различных формах исторического конфликта (от XIII до XVIII века) — универсального и потому повторяющегося. В этом писателе видят и важнейшие для современности нравственные уроки прошлого.

Спустя четверть века после «Местера Улофа», научившего писателя быть критиком и исследователем, Стриндберг возвращается к полюбавшемуся ему жанру с задачей — в духе «учителя Шекспира» — «изображать людей, в которых сочеталось бы высокое и низкое... сделать историю лишь фоном и укоротить исторические периоды, дабы избежать летописной или повествовательной формы, неприемлемой в драматургии».

Авторский комментарий к «королевским» драмам позволяет разобраться в особенностях художественного историзма и в основных драматургических решениях Стриндберга. Глубоко продумывая различного рода свидетельства о характерах и поступках исторических деятелей, писатель стремится к принципиальной и детальной мотивировке событий, поворотных моментов общественного процесса, к психологически убедительной передаче чувств и настроений героев. В равной степени его интересуют и волнуют широкие проблемы (кровавая история династии Фолькунгов, судьба Густава Васы и его потомков, «непостижимый парадокс» жизни просвещенного деспота Густава III, погибающего от руки революционера, разгул военной истерии в болезненном сознании и трагических поступках злого гения Швеции Карла XII, проблемы Крестьянской войны, Реформации и др.) и микромир отдельной личности (гамлетовские сомнения и неразрешимые противоречия Эрика XIV, трагизм женской природы королевы Кристины, «драма катастрофы» Карла XII, сознание которого подточено внутренним разладом и проснувшимися сомнениями, противоречие с самим собой Энгельбректа, нелегкий путь борьбы «виттенбергского соловья» Мартина Лютера и т. д.).

Основной конфликт в исторических драмах строится, как правило, на столкновении различных социальных и этических принципов, воплощенных в противостоящих друг другу персонажах. Но характеры их не однозначны. В дискуссиях, в спорах героя со своим двойником, с собственной совестью — это сложнейшая гамма чувств и понятий, диалектически раскрывающих различные типы человеческой природы и обусловленность их характеров. И это относится к героям разным по общественному положению, будь то король или представитель старинного рода «свободных рудокопов» Энгельбрект, простой солдат Монс и его дочь Карин, становящаяся женой короля, настоятельница монастыря Биргитта, Лютер... Представляя одного из героев драмы

«Эрик XIV» Йорана Перссона, ближайшего сподвижника короля, Стриндберг признается в том, что «не утаил мелких добрых дел злодея» и в этом видел свой «долг поэта, который пишет драму, а не пасквиль или панегирик». То же можно сказать и о Кристине, «женщине до кончиков ногтей», но и «женоненавистнице», хотевшей «победить свою женскую природу», однако в конце концов уступившей ей. «Беспечность, непостоянство, легкомыслие», по словам канцлера Оксеншёрны, не к лицу правителю. Так подготавливается неизбежность ее отречения от престола.

В двух выдающихся драмах — «Эрик XIV» (1899) и «Энгельбрект» (вторая редакция — 1901) — Стриндберг в наибольшей степени выразил тенденции, характерные для его исторической концепции.

«Эрик XIV» — заключительная часть «трилогии Васов». В предыдущих пьесах («Местер Улоф» и «Густав Васа») показано время восхождения этой королевской династии, теперь же выдвигаются мотивы кризиса и упадка (действие драмы относится к середине XVI века). Здесь Стриндберг решительно разошелся с буржуазной историографией, восхвалявшей этот королевский род. Эрик — один из сыновей Густава Васы — показан как характер бесхарактерного человека.

«Эрик XIV» — драма политическая и психологическая. В ней выражены самые сокровенные мысли автора, озабоченного и проблемами форм государственного правления, и этическими отношениями в сферах общественной и семейной жизни. Своевольный и эгоистичный, Эрик ненавидит не только дворян, но и народ, опасается черни, хотя ему и льстит прозвище крестьянского короля.

Судьба Васов представлялась Стриндбергу «необъятным эпосом», который невозможно вместить в рамки драматического произведения. Избранный драматургом мотив враждующих братьев, по сути, перерастает рамки семейных отношений. Незаурядная натура, Эрик поражает, однако, своими странными, внешне кажущимися немотивированными поступками. Чужой среди окружающих его людей, он порою появляется словно «призрак на сцене». И именно в этих случаях обнаруживается в наибольшей степени его сходство с Гамлетом. Здесь кроется загадка героя: подобно тому, как Толстой, сравнивая сагу о Гамлете с шекспировской трагедией, находил, что если в легенде все понятно, то в пьесе — все неразумно. Особенность своей художественной концепции в данном случае Стриндберг видел в «несколько сглаженном толковании» образа Эрика.

Так возникает концепция безличия героя. Действительно, «гамлетовское» сумасшествие Эрика часто оказывалось призрачным, актерской игрой. О явных соответствиях пьес свидетельствовали и другие параллельные персонажи, мотивы и эпизоды: убийство Стуре и Полония, Карин Монсдоттер — Офелия, Йоран Перссон — Горацио, мачеха Эрика — отчим Гамлета, герцоги Юхан и Карл — Фортинбрас и другие. Лишь маска безумия вызвана иными, чем у Гамлета, причинами. Безумен ли Эрик? Разве не разумны его помыслы о благе государства, когда он решает жениться на Елизавете, английской королеве, и тем укрепить Север (правда, сватовство его было отвергнуто), а также женить брата на Екатерине Польской и получить, таким образом, поддержку на юге и на востоке?

Но положительные силы нации драматург видит прежде всего в людях из народа, в уста которых вкладывает слова правды. Таковы солдат

Монс, матушка Перссон, суждения которых символизируют народную мудрость. Простая девушка Карин тяготится незаконной связью с королем, но именно она сдерживает бурные порывы Эрика, пытается исправить его ошибки. И потому по праву наконец становится королевой. Народная масса у Стриндберга не безмолвствует, но выступает преимущественно как необузданная стихийная сила. Особенно ярко это проявилось в сцене свадебного пира.

Сознание Эрика остается расколотым, разорванным. По словам Е. Вахтангова, готовившего пьесу к постановке, Эрик «то гневный, то нежный... то безрассудно несправедливый, то гениально сообразительный, то беспомощный». В обстановке хаоса, превосходно переданного в финале драмы в вихревом, карнавальном темпе, происходит падение Эрика в результате дворцового заговора. В стиле аналитической драмы Стриндберг обычно ограничивает действие своих пьес «последним актом долгой истории». Финал «Эрика XIV» — пример исключительной сконцентрированности в подаче событий и столкновении мотивов. Зигзагообразность развития действия, коллизии случайностей, аффектированная речь героев производят впечатление калейдоскопа. И именно на этом фоне особенно очевидным становится несоответствие в образе главного героя его сущности и маски, то, что в наиболее острые моменты жизни он оказывается шахматной фигурой в руках неведомых ему сил.

Иного плана проблемы и характер их художественного выражения предстают в драме «Энгельбрект». Здесь на авансцене — психология масс, картины героической борьбы шведов (восстание середины 30-х годов XV века) против Кальмарской унии, под прикрытием которой Померания и Дания управляли Швецией и Норвегией. Напоминание об униженной унии было актуально и в эпоху Стриндберга, когда в зависимом положении (на этот раз от Швеции) продолжала оставаться Норвегия, народ которой продолжал борьбу за осуществление полной национальной независимости. Каким смелым, лишенным шовинизма было выступление Стриндберга!

Сочувственно писатель показал и участников Крестьянской войны, убедительно раскрыл, как вызревало всеобщее негодование, из каких ручейков росла река народного гнева. На гребне решающих событий в этих условиях оказываются простые люди, такие как стражник Энгельбрект, его верный соратник Эрик Пуке, бывший раб Варг, кузнецы и крестьяне, познавшие на себе двойной гнет тиранической власти — шведской земельной знати и иноземных правителей.

Драматург психологически тонко воссоздал образ Энгельбректа в соотвествии с летописными свидетельствами, показав предводителя восстания как «мужа большого ума и энергии», сумевшего защитить свой народ и покончить с противниками справедливости и взявшегося за оружие не из высокомерия ума или желания властвовать, а исключительно из сочувствия к страждущим. Стриндберг считал своим долгом создать «образ столь же чистый и возвышенный, как шиллеровский Вильгельм Телль», хотя и не лишенный известных противоречий.

Широта тематического диапазона характерна и для «Исторических миниатюр» — одного из циклов поздней новеллистики Стриндберга: античность и средневековье, Эллада и Рим, эпохи Перикла и фараонов,

Фермопилы и Семиречье, христианизация Европы. Но реальные события и легенды интересуют писателя не сами по себе, а в определенных преломлениях — преимущественно в сфере культуры. Случаи из жизни государственных и общественных деятелей, ученых, художников и поэтов становятся отправной точкой для размышлений о смысле бытия, для оценки тех или иных деяний и феномена творчества.

Философское учение Сократа, искусство Фидия, греческих трагиков и поэтов оказываются интересными в соотношении с их характерами и этикой, в панораме случайных моментов бытовой обстановки. Универсальные свойства подобного рода реминисценций становятся очевидными. Красочные романтические пейзажи, духовный мир личности могут быть восприняты и как явления современности, ибо прошлое «готовит новую эпоху», природа и жизнь находятся в вечном обновлении: ведь еще пифия предсказывала, что кончится железный век и вновь наступит золотой, хотя во время пожара в Капитолии и сгорели книги Сивилл... Изящество стиля, ирония, философское остроумие непринужденных бесед в «Миниатюрах» напоминают искрометную философскую прозу Анатоля Франса.

8

Последнее десятилетие творческой жизни Стриндберга идет под знаком теории и практики «камерного театра», о создании которого писатель страстно мечтал. Предвестия его явно ощущались еще в стриндберговской эстетике 80-х годов. Однако, как это бывало и прежде, писатель и теперь одновременно работает в разных сферах литературного творчества. Его поздняя «большая» и «малая» проза — и в определенной степени публицистика — в проблематике и стилевых исканиях тесно связана с его театром. Трагедия масок, гротеск и парадокс, экспрессионистская стремительность конфликта характерны и для повествовательной манеры писателя.

Роман «Одинокий» (1903) — один из маленьких шедевров Стриндберга. Снова — исповедь, возвращение к трагедии одиночества. Но какую эволюцию претерпело решение этих психологических проблем у писателя! Здесь налицо противоречие фабулы и характера героя, для которого десятилетнее пребывание в деревне оказалось целительным. Внешне в его городской жизни все, кажется, остается по-прежнему: окружающая среда представлялась безличной, а беседы с друзьями — «топтанием на месте». Не потому ли вставная новелла об Агасфере должна была убедить в том, что и для героя романа время проходит мимо? Такому состоянию человека соответствует и внешняя обстановка: зимний пейзаж, серое небо, улицы без настроения...

И все же герой романа, сочинитель комедий, — внутренне чистый, много переживший сам и потому оказавшийся в состоянии сочувствовать чужим страданиям. Выход из одиночества, которое он ощущает как изгнание, дается ему нелегко, приходится прежде всего одержать победу над самим собой. Уже с самого начала этот долгий процесс связан с желанием «побывать во всех веках» и во имя жизни, подобно Фаусту, вступить в борьбу с богом, быть непримиримым, не склоняться перед роковыми предначертаниями. Но главное для него — это ответственность перед

современностью, ощущение себя в центре разыгрывающихся мировых событий, желание любить других, умение жить настоящим. Правда, ощущение трагизма бытия, безысходности и пессимизма сохранится еще в психоаналитических романах «Готические комнаты» и «Черные флаги».

В поздних — преимущественно реалистических — новеллах писателя на современные сюжеты преобладает бытовая тематика, простота и ясность композиции. В баснях же, отличающихся притчевой аллегоричностью, дидактической прямолинейностью и известной иллюстративностью (тем, что Гамсун, говоря о манере, свойственной памфлету Стриндберга, называл «реферативной поэзией»), и в сказках, привлекающих, наоборот, андерсеновской поэтичностью, вероятностью действия, богатством фантазии, явно ощущается субъективность стиля в передаче настроений, хотя и проявляющихся, как видно, по-разному. Здесь он близок романтике его соотечественницы и современницы Сельмы Лагерлёф. В символическом ключе выдержана и искрометная комедия «Ключи от рая» — яркая сатира на церковную догматику.

В истории крестьянской семьи («Только начало»), нравах швейцарских охотников и ремесленников («Сказание о Сен-Готарде») писатель стремится к достаточно глубокому обобщению. В новелле «Листок бумаги» нет ни характеров, ни действия. Отрывочные записи на клочке бумаги у телефона позволяют ретроспективно обозреть прошлое, пережить в течение двух минут важные события в жизни человека.

И публицистика последних лет («Новые судьбы шведов», «Синяя книга», «Речи к шведской нации» и др.), и переписка (с полярным путешественником А. Е. Норденшёльдом, с политическими деятелями Я. Брантингом, Ц. Хёглундом и др.) — пример взволнованного отношения писателя к происходящим событиям, глубокой заинтересованности в проблемах внутренней и внешней политики, свидетельство его активной общественной позиции.

Мечта Стриндберга о создании экспериментальной сцены была, наконец, реализована с открытием Интимного театра в Стокгольме. С помощью режиссера театра А. Фалька драматургу удалось здесь поставить лучшие из своих «камерных» пьес. На экспериментальной сцене предстояло также проверить и применить новые теоретические концепции в области театра.

Считая себя современником и продолжателем известных режиссеров европейской Свободной и Камерной сцены (А. Антуана, М. Рейнгардта), а также «театра молчания» Мориса Метерлинка, Стриндберг в своих «Открытых письмах к Интимному театру» (1908), в комментариях к программным пьесам «Игра грёз» и другим драмам, в специальном разборе шекспировского «Гамлета», в переписке с театральными деятелями рисует широкую перспективу преобразования сценического искусства, органически сочетающего традиции классики и новаторство современных художников.

Определяя принципы Интимного театра, Стриндберг в своем «меморандуме» выдвигает идею «камерной сцены», рассчитанной на немногих. В пьесе и в игре актеров не должно быть, по его словам, «доминирующего значительного мотива», подавляющего остальное действие, подчеркнутых эффектов, акцентов, вызывающих аплодисменты, блестящих ролей, сольных номеров, крика, напыщенной аффектации. Ведь «интимное при-

знание», «объяснение в любви», «сердечная тайна» не должны сообщаться «во все горло». Умело «создать иллюзию» можно в «небольшом помещении», позволяющем «слышать во всех углах ненапряженные и некричащие голоса».

В «пьесах игры грез» Стриндберг настаивает на субъективном — нередко подсознательном и музыкальном — самовыражении, на импровизации и случайности, отказывается от принципа внешнего правдоподобия, на котором настаивал прежде. Кинематографический стиль его поздней драматургии позволял воспринимать пьесу как цепь фрагментов, а пастельный колорит картин и монологов делал их расплывчатыми, как бы покрытыми туманом. Персонажи, как обычно у экспрессионистов, лишены имен и обозначаются как господа X и Y, Отец, Мать, Сын, Невестка и т. д. Герои оказываются центром сил (общества, мироздания), «разрывающих» действительность, и потому их поступки, обусловленные глубоким смыслом, и слова, эмоциональные — вдохновенные или барочные, трагические, — становятся «синтезом антитез», символом жизни, титанической борьбы.

Процесс идейно-творческой эволюции Стриндберга в поздней эстетике и драматургии убеждает в том, что новые художественные задачи писатель отказывался решать средствами социальной реалистической драмы и шел на смелый новаторский эксперимент, создавая символистскую драматургию, превосходящую поэтику экспрессионистского театра. Здесь он близок к эстетике драмы позднего Ибсена, Шоу, Л. Андреева и других писателей рубежа веков.

Воздействие модернистской эстетики, естественно, не могло не отразиться на стилевых исканиях Стриндберга. В символично-экспрессионистических пьесах философски-обобщенно выражена накаленность атмосферы, острота социальных отношений и политической ситуации. Рисуя личность мятущегося интеллигента, «униженного и оскорбленного», но напуганного возможностью социальной революции («Путь в Дамаск») или приходящего к пессимистическому выводу о тщетности земного существования («Буря», «Пеликан»), пытающегося уйти из мира чистогана и эгоизма в потусторонний мир («Игра грез», «Соната призраков», «Черная перчатка», фрагмент «Toten Insel» и др.), Стриндберг объективно продолжает отрицать буржуазное бытие, сатирически разоблачает его бессмысленность.

Герои «Пляски смерти» (1901) — капитан Эдгар, его жена Алиса, в прошлом актриса, ее кузен (и бывший любовник), Курт — проигрывают свои роли в традиционной коллизии треугольника. Драматизм отношений между супругами усугубляется и внешним фоном: действие пьесы происходит на пустынном острове, в башне бывшей тюрьмы. Таинственные стихии чувств соотносены с бурной стихией Северного моря. Трагические события стремительно идут к роковой развязке — смерти Эдгара, завершающей длительный семейный конфликт. Но Стриндберг и здесь далек от безысходности: веру в будущее воплощает образ юной Юдифи, дочери Эдгара и Алисы.

В трехактной драме «Соната «призраков» (1907), остро разрабатывающей проблему противоположности между внешней видимостью и сущностью людей и явлений жизни, в конечном счете выразился тот

«кризис современного индивидуализма», о котором применительно к Стриндбергу писал А. В. Луначарский.

Объект осмеяния в драме — мир ловких биржевиков и мещанства, причудливые персонажи которого карикатурны, подчеркнута шаржированность. Беспощадный в своем «адском комизме», Стриндберг действительно бросил, по словам Т. Манна, «недобрый» взгляд на жизнь, вернее, на то, что из нее сделал человек. Его персонажи — фигуры-автоматы, символы прошлого, предстающие в своей неприглядной сущности перед лицом Времени, которое непрестанно движется вперед. Им противопоставлены молодые силы: в образе студента выражена вера в нового человека, способного на самопожертвование и самоотверженный труд. Как и в пьесе «Пасха», вдохновляющие начала несет здесь и музыка. Построенная по типу бетховенской сонаты, драма в каждом из трех актов соответственно представляет экспозицию (аллегро), медленный темп (адажио) и лирическое, спокойное анданте. Так «богодыхновенный» и «богоотверженный» дух — по терминологии Т. Манна — утверждал себя как нечто чуждое миру собственничества, тосковавшее «по небу, чистоте и красоте».

9

Каковы же уроки Стриндберга? Они, конечно, не равнозначны. Как мыслитель, он отдал дань различного рода социологическим и философским учениям, приводившим его к суждениям противоречивым, но почти всегда поучительным. Как художник огромного дарования, он — «чудесный бунтарь», по слову М. Горького, и «истинный демократ», как говорил о нем А. Блок, считавший, что у Стриндберга «не может быть никаких наследников, кроме человечества». И при жизни писателя, и особенно в определенные периоды на протяжении XX столетия интерес к его наследию вспыхивал многократно, свидетельствуя о богатстве эстетической мысли одного из создателей новой драмы и новой прозы, остающегося живым примером для художников, осознающих свою ответственность перед обществом и историей.

Принимая эстафету от Стриндберга, писателя-гуманиста, каждый из выдающихся художников современности, так или иначе ощутивших мощь его творческого воздействия, по сути, воспринимал и истолковывал его по-своему: Луиджи Пиранделло и Юджин О'Нил, Томас Манн и Франц Кафка, Кай Мунк, Пер Лагерквист, Ингмар Бергман и Свен Дельбланк, Жан Ануи и Жан-Поль Сартр, Эдвард Олби и многие другие. Оригинальные обработки стриндберговских пьес у Бертольта Брехта («Энгельбрект») и Фридриха Дюрренматта («Пляска смерти»). Режиссеры начиная от В. Мейерхольда и Е. Вахтангова и вплоть до наших дней «играют Стриндберга» по-разному, находя в его театре романтику и трезвый реализм, полифонию и моноструктуры, кричащий экспрессионизм и философскую параболу, высокий трагизм или гротеск. Но по сути, постоянной в его наследии остается выверенная временем верность великого художника большой правде жизни, высоким идеалам.

В. Неустроев



КРАСНАЯ КОМНАТА

Очерки
из жизни художников
и литераторов

Роман

Перевод

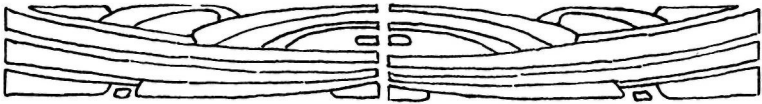
К. Телятникова

Rien n'est si désagréable
que d'être pendu obscurément.

Voltaire.

Ничего нет хуже, чем
быть повешенным втихомолку.

Вольтер.



Глава первая
СТОКГОЛЬМ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Был вечер в начале мая. Маленький парк на Моисеевой горе еще не открыли для публики, клумбы пока что оставались невскопанными; сквозь кучи прошлогодней листвы украдкой пробивались подснежники и заканчивали свое короткое существование, уступая место нежным цветам шафрана, притаившимся под сенью дикой груши; сирень терпеливо дожидалась южного ветра, чтобы наконец расцвести, а липы давали пристанище среди нераскрывшихся почек влюбленным зябликам, которые уже начинали вить между ветвями одетые лишайником гнезда; еще ни разу с тех пор, как сошел снег, по этим аллеям не ступала нога человека, и потому животным и цветам здесь жилось легко и привольно. Воробьи целыми днями собирали всякий хлам, который прятали под черепицами кровли мореходного училища; они рылись в обломках ракетных гильз, разбросанных там и сям после осеннего фейерверка, таскали солому, оставшуюся на молодых деревцах, привезенных сюда в прошлом году из школы в Русендале, — ничто не могло укрыться от их глаз! Они отыскивали обрывки тряпок в беседках, а с ножек садовых скамеек склеивали ключья собачьей шерсти, застрявшей здесь после жестоких схваток, которых не было с прошлого года, со дня святой Жозефины. Жизнь была ключом!

А солнце стояло уже над самым Лильехольменом и щедро бросало на восток целые снопы лучей; они насквозь пронизывали клубы дыма над Бергсундом, пролетали над заливом Риддарфьёрден, взбирались на крест Риддархольмского храма, перескакивали на крутую крышу Немецкой церкви, играли вымпелами на мачтах стоящих вдоль набережной судов, вспыхивали ярким пламенем в окнах Большой Морской таможни, озаряли леса на острове Лидин и гасли в розоватом облаке далеко-далеко над морем. А оттуда им навстречу задул ветер и помчался по тому же самому пути обратно через Ваксхольм, мимо крепости, мимо Морской таможни, пронесся над островом Сикла, миновал Хестхольм и залетел ненадолго в летние дачи, а потом помчался дальше, ворвался в Данвикен и, ужаснувшись, продолжил свой полет вдоль южного берега, где его подстергала запах угля, дегтя и ворвани, а он понесся дальше, к городской ратуше, взлетел на Моисееву гору, в маленький парк и ударился о какую-то стену. И в этот самый миг открылось окно, потому что кухарка как раз счищала зимнюю

замазку с внутренних рам, и из окна вырвался омерзительный запах подгорелого сала, прокисшего пива, еловых веток и опилок, и пока кухарка глубоко вдыхала свежий воздух, все это зловоние унесло ветром, заодно подхватившим и оконную вату, сплошь усыпанную блестящими, ягодами барбариса и лепестками шиповника, и затеявшим на аллеях хоровод, в котором закружились и воробы и зяблики, когда увидели, что все их трудности со строительством жилья теперь преодолены.

Между тем кухарка по-прежнему возилась с рамами, и через несколько минут дверь из погребка на веранду отворилась, и в парк вышел молодой человек, одетый просто, но со вкусом. В чертах его лица не было ничего необычного, лишь во взгляде застыло какое-то странное беспокойство, которое, однако, тотчас же исчезло, едва он вырвался на свежий воздух из тесного и душного погребка и ему открылся бескрайний морской простор. Он повернулся лицом к ветру, расстегнул пальто и несколько раз глубоко вдохнул всей грудью, что, очевидно, принесло ему облегчение. И тогда он стал прохаживаться вдоль парапета, который отделял парк от крутого склона, обрывавшегося к морю.

А далеко внизу шумел и грохотал недавно пробудившийся город; в гавани скрипели и визжали паровые лебедки; громыхали на весах железные брусья; пронзительно звучали свистки шлюзовщиков; пыхтели пароходы у причала; по неровной мостовой, гремя и подпрыгивая, двигались omnibusы; и еще разноголосый гомон рыбного рынка, паруса и флаги, трепетавшие на ветру над проливом, крики чаек, сигнальные гудки со стороны Шепсхольмена, команды, доносившиеся с военного плаца Сёдермальмсторг, стук деревянных башмаков рабочего люда, сплошным потоком идущего по Гласбрюкsgатан, — казалось, все вокруг находится в непрерывном движении, и это наполнило молодого человека новым зарядом бодрости, потому что на его лице внезапно появилось выражение упорства, решимости и жажды жизни, и когда он перегнулся через парапет и взглянул на город, раскинувшийся у его ног, можно было подумать, будто он смотрит на своего заклятого врага; ноздри его раздувались, глаза пылали огнем, и он поднял кулак, словно угрожая бедному городу или вызывая его на смертный бой.

Пробил семь часов колокол на церкви святой Екатерины, ему вторила надтреснутым дискантом святая Мария, а следом за ними загудели басом кафедральный собор и Немецкая церковь, и вот уже все вокруг гремит и вибрирует от звона десятков колоколов; потом они умолкают один за другим, но еще долго-долго откуда-то издалека доносится голос последнего, допевающего мирную вечернюю песнь, и кажется, будто голос у него выше, звук чище, а темп быстрее, чем у всех остальных колоколов. Молодой человек вслушивался, стараясь определить, откуда доносится звон, который словно будил в нем какие-то неясные воспоминания. Выражение его лица резко изменилось, стало несчастным, как у ребенка, который чувствует себя одиноким и всеми покинутым.

И он действительно был одинок, потому что его отец и мать лежали на кладбище святой Клары, откуда все еще неслись удары колокола, и он все еще оставался ребенком, ибо верил всему на свете, и правде и вымыслу.

Колокол на кладбище святой Клары затих, а его мысли внезапно прервал шум шагов по аллее парка. Со стороны веранды к нему приближался человек небольшого роста с пышными бакенбардами и в очках — очки эти не столько помогали его глазам лучше видеть, сколько скрывали их от посторонних взглядов; рот у него был злой, хотя он неизменно старался придать ему не только дружелюбное, но и добродушное выражение; на нем была помятая шляпа, довольно скверное пальто без нескольких пуговиц, чуть приспущенные брюки, а походка казалась и самоуверенной и робкой. Его внешность была такого неопределенного свойства, что по ней трудно было судить о его общественном положении или возрасте. Его можно было принять и за ремесленника и за чиновника и дать ему что-то между двадцатью девятью и сорока пятью годами. По-видимому, он был в полном восторге от предстоящей встречи, ибо высоко поднял повидавшую виды шляпу и изобразил на лице самую добродушную из улыбок.

— Надеюсь, господин ассессор, вам не пришлось ждать?

— Ни секунды! Только что пробило семь. Благодарю вас, что вы так любезно согласились встретиться со мной; должен признаться, я придаю очень большое значение этой встрече, короче говоря, господин Струве, речь идет о моем будущем.

— О боже.

Господин Струве выразительно моргнул глазами, так как рассчитывал лишь на пунш и меньше всего был расположен вести серьезную беседу, и не без причины.

— Чтобы нам было удобнее разговаривать, — продолжал тот, кого назвали господином ассессором, — если вы не возражаете, давайте расположимся здесь и выпьем по стакану пунша.

Господин Струве потянул себя за правый бакенбард, осторожно нахлобучил шляпу и поблагодарил за приглашение, но его явно что-то беспокоило.

— Прежде всего вынужден просить вас не величать меня ассессором, — возобновил беседу молодой человек, — потому что ассессором я никогда не был и лишь занимал должность сверхштатного нотариуса, каковым с сегодняшнего дня перестал быть, и теперь я лишь господин Фальк, не более.

— Ничего не понимаю...

У господина Струве был такой вид, будто он неожиданно потерял очень важное для себя знакомство, но по-прежнему старался казаться любезным.

— Как человек либеральных взглядов, вы...

Господин Струве безуспешно пытался подыскать нужное слово, чтобы развить свою мысль, но Фальк продолжал:

— Мне хотелось поговорить с вами как с сотрудником свободомыслящей «Красной шапочки».

— Пожалуйста, но мое сотрудничество мало что значит...

— Я читал ваши пламенные статьи по вопросам рабочего движения, а также по другим вопросам, которые нас тревожат. Мы вступили в год третий по новому летосчислению, третий римскими цифрами, потому что вот уже третий год заседает новый парламент, наши народные представители, и скоро наши надежды воплотятся в жизнь. Я читал в «Друге крестьян» ваши великолепные жизнеописания главных политических деятелей страны, людей из народа, которые смогли наконец во всеуслышанье заявить о том, что так долго оставалось невысказанным; вы человек прогресса, и я отношусь к вам с величайшим уважением.

Струве, глаза которого не только не загорелись ярким огнем от зажигательной речи Фалька, а, наоборот, окончательно погасли, радостно ухватился за предложенный ему громоотвод и в свою очередь взял слово.

— Должен признаться, что мне доставила истинную радость похвала такого молодого и, я бы сказал, незаурядного человека, как господин ассессор, но, с другой стороны, почему мы обязаны говорить о вещах столь серьезных, чтобы не сказать прискорбных, когда мы здесь, на лоне природы, в первый день весны, и все цветет, а солнце заливает своим теплом и небо и землю; так забудем же о тревогах наших и с миром поднимем стаканы. Простите, но я, кажется, старше вас... и потому... беру на себя смелость... предложить вам выпить по-братски на «ты»...

Фальк, разлетевшийся было как кремень по огниву, вдруг почувствовал, что удар его пришелся по дереву. Он принял предложение Струве без особого восторга. Так и сидели новоявленные братья, не зная, что друг другу сказать, их физиономии не выражали ничего, кроме разочарования.

— Я уже говорил, — снова начал Фальк, — что сегодня порвал со своим прошлым и навсегда оставил карьеру чиновника. Могу лишь добавить, что хотел бы стать литератором.

— Литератором? Господи, зачем это тебе? Нет, это ужасно!

— Ничего ужасного; но хочу тебя спросить, не посоветуешь ли, куда мне обратиться за какой-нибудь литературной работой?

— Гм! Даже не знаю, что тебе сказать. Все теперь хотят писать. Лучше выкинь все это из головы. Право же, мне очень жаль, что ты ломаешь свою карьеру. Литература — отнюдь не легкое поприще.

У Струве, действительно, был такой сокрушенный вид, будто ему страшно жаль Фалька, и все-таки он не мог скрыть радости по поводу того, что приобрел товарища по несчастью.

— Но объясни мне в таком случае, — продолжал Струве, — почему ты отказываешься от карьеры, которая дает тебе и почет и власть?

— Почет тем, кто присвоил власть, а власть захватили люди беспринципные и беззастенчивые.

— А, все одни слова! Не так уж все плохо, как тебе представляется.

— Не так? Что ж, тогда поговорим о чем-нибудь другом. Я только обрисую тебе, что творится лишь в одном из шести учреждений, в которых я работал. Из первых пяти я сразу ушел по той причине, что там вовсе нечего было делать. Каждый раз, когда я приходил на службу и спрашивал, есть ли какая-нибудь работа, мне всегда отвечали: «Нет!» И я действительно никогда не видел, чтобы кто-нибудь занимался каким-то делом. А ведь я служил в таких почтенных ведомствах, как *Коллегия винокурения*, *Канцелярия по налогообложению* или *Генеральная дирекция чиновничьих пенсий*. Увидев это великое множество чиновников, которые буквально сидели друг на друге, я подумал, что должна же быть хоть какая-то работа в учреждении, где занимаются выплатой им всем жалованья. Исходя из этого, я поступил в *Коллегию выплат чиновничьих окладов*.

— Ты служил в этой коллегии? — спросил Струве, вдруг заинтересовавшись.

— Служил. И никогда не забуду, какое глубокое впечатление в первый же день службы произвел на меня этот четко и эффективно действующий аппарат. Я явился ровно в одиннадцать утра, ибо именно в одиннадцать открывалось это замечательное учреждение. В вестибюле два молодых служителя, навалившись грудью на стол, читали «Отечество».

— «Отечество»?

Струве, который перед тем бросал воробьям кусочки сахара, наострил уши.

— Да, «Отечество»! Я пожелал им доброго утра. Легкое змееподобное движение их спин, по-видимому, означало, что мое приветствие было принято без особого отвращения, а один из них даже подвинул правый каблук, что в его представлении, очевидно, заменяло рукопожатие. Я спросил, не располагает ли кто-нибудь из этих господ свободным временем, чтобы показать мне помещение. Но они объяснили, что это невозможно, поскольку им приказано никуда не отлучаться из вестибюля. Тогда я осведомился, нет ли здесь других служителей. Вообще-то они есть, сказали мне. Но главный служитель в очередном отпуску, первый служитель в краткосрочном отпуску, второй отпросился со службы, третий отправился на почту, четвертый болен, пятый пошел за водой, шестой во дворе «и сидит там целый день»; и вообще «служащие никогда не приходят на службу раньше часа». Тем самым мне дали понять, как мешает работе всего ведомства мое столь раннее и бесцеремонное вторжение, и в то же время напомнили, что служители тоже принадлежат к категории служащих.

Но поскольку я все-таки заявил о своей решимости во что бы то ни стало осмотреть служебные кабинеты, чтобы получить хоть какое-то представление об этом столь авторитетном и многоплановом учреждении, младший из служителей в конце концов согласился сопроводить меня. Когда он распахнул передо мной двери, моему взору открылась величественная картина — анфилада из шестнадцати комнат разной величины. Здесь, должно

быть, всем хватает дела, подумал я, вдруг осознав, какая это была счастливая мысль поступить сюда на службу. В шестнадцати кафельных печах, где горели шестнадцать охапок березовых дров, весело гудел огонь, прогоняя атмосферу заброшенности, которая здесь царила.

Между тем Струве, внимательно слушавший Фалька, достал из-под подкладки жилета карандаш и написал на левом манжете цифру 16.

— «В этой комнате сидят сверхштатные служащие», — сообщил мне служитель.

«Понятно! А много здесь сверхштатных?» — спросил я.

«Хватает».

«Чем же они занимаются?»

«Ну, понятное дело, пишут...» При этих словах он напустил на себя совсем уж таинственный вид, и я понял, что настало время прекратить наш разговор. Мы прошли через комнаты, где сидели переписчики, нотариусы, канцеляристы, ревизор и секретарь ревизора, контролер и секретарь контролера, юрисконсульт, администратор, архивариус и библиотекарь, главный бухгалтер, кассир, поверенный, главный нотариус, протоколист, актуарий, регистратор, секретарь экспедиции, заведующий бюро и начальник экспедиции, и остановились, наконец, перед дверью, на которой золотыми буквами было выведено: *«Президент»*. Я хотел было отворить дверь и войти в кабинет, но мне помешал служитель, который почтительно схватил меня за руку и с неподдельной тревогой в голосе прошептал: «Тише!» Я не мог удержаться, чтобы не спросить: «Он что, спит?» — «Ради бога, молчите; сюда никто не имеет права входить, пока президент сам не позвонит». — «И часто президент звонит?» — «Нет, не часто... За тот год, что я здесь работаю, я ни разу не слышал, чтобы он звонил». Тут мне показалось, что наша беседа снова зашла в область таинственных недомолвок, и я замолчал.

Когда стрелки часов приблизились к двенадцати, стали прибывать сверхштатные сотрудники, и я был весьма изумлен, узнав среди них немало старых знакомых из Генеральной дирекции чиновничьих пенсий и Коллегии винокурения. Однако мое изумление еще более возросло, когда мимо меня прошествовал администратор из Канцелярии по налогообложению, вошел в кабинет актуария и уселся в кожаное кресло, явно чувствуя себя здесь так же уверенно, как и в Канцелярии по налогообложению.

Я отвел одного из молодых людей в сторону и спросил, не надо ли мне зайти к президенту и засвидетельствовать ему почтение. «Тише!» — последовал загадочный ответ, когда он вводил меня в восьмую комнату. Опять это загадочное «тише!».

Мы очутились в комнате такой же мрачной, как и все остальные, но еще грязнее. Из дыр в кожаной обивке кресел торчали ключья конского волоса; письменный стол, где стояла чернильница с высохшими чернилами, толстым слоем покрывала пыль;

кроме того, на столе лежала ни разу не использованная палочка сургуча, на которой англосаксонскими буквами было выведено имя ее бывшего владельца, ножницы для бумаги со слипшимися от ржавчины лезвиями, календарь, которым перестали пользоваться в один прекрасный летний день пять лет тому назад, и еще один календарь, тоже пятилетней давности, и, наконец, лист серой оберточной бумаги; на нем было написано *Юлий Цезарь, Юлий Цезарь, Юлий Цезарь* — не менее ста раз и столько же раз — *старик Ной, старик Ной, старик Ной*.

«Это кабинет архивариуса, здесь мы можем спокойно посидеть», — сказал мой спутник.

«Разве архивариус сюда не заходит?» — спросил я.

«Его не было на работе вот уже пять лет. И теперь ему, вероятно, стыдно появляться здесь!»

«Но кто в таком случае работает за него?»

«Библиотекарь».

«Чем же они занимаются в таком учреждении, как Коллегия выплат чиновничьих окладов?»

«Служители сортируют квитанции в хронологическом порядке и по алфавиту и отправляют переплетчику, после чего библиотекарь обязан проследить, чтобы их правильно расставили на соответствующих полках».

Струве с явным удовольствием слушал рассказ Фалька, время от времени делал какие-то заметки на манжете и, когда Фальк замолчал, счел необходимым спросить что-нибудь существенное.

— Каким же образом архивариус получал жалованье? — спросил он.

— Жалованье ему присылали прямо домой! Видишь, как просто! Между тем мой спутник посоветовал мне зайти к актуарию, представиться ему и попросить представить меня остальным сотрудникам, которые начали приходить один за другим, чтобы помешать раскаленные уголья в кафельных печах и насладиться последними вспышками пламени. Актуарий — человек могущественный и к тому же доброжелательный, — сообщил мне мой юный друг, — и любит, чтобы ему оказывали внимание.

Поскольку я знал актуария еще в бытность его администратором, то составил о нем совершенно иное мнение, однако поверил своему другу на слово и вошел в кабинет.

Великий человек сидел в широком кресле перед кафельной печью, и его вытянутые ноги покоились на оленьей шкуре. Он занимался тем, что старательно обкуривал мундштук из настоящей морской пенки. А чтобы не сидеть без дела и в то же время получать информацию о пожеланиях правительства, он держал перед собой вчерашнюю «Почтовую газету».

При моем появлении, которое, кажется, подействовало на него удручающим образом, он поднял очки на лысую макушку, правый глаз спрятал за газетой, а левым прострелил меня насквозь. Я изложил ему цель своего визита. Он взял мундштук в правую руку и внимательно осмотрел его. Гнетущая тишина, воцарившаяся

в кабинете, говорила о том, что мои самые мрачные опасения оправдались. Сначала он откашлялся, исторгнув из раскаленных угольев громкое шипенье. Потом вспомнил про газету и вновь углубился в нее. Я счел уместным снова повторить все, что уже сказал, правда с незначительными вариациями. И тут терпение его лопнуло. «Какого черта вам здесь нужно? Какого черта вы влезли в мой кабинет? Можно ко мне не приставать хотя бы в моем собственном кабинете? Ну? Вон отсюда, милостивый государь! Вы что, черт побери, не видите, что я занят! Пришли по делу, ну и обращайтесь к главному нотариусу! Не ко мне!» И я пошел к главному нотариусу.

В кабинете главного нотариуса заседала Коллегия по материально-техническому обеспечению; она заседала уже три недели. Председательствовал главный нотариус, а трое канцеляристов вели протокол. Образцы товаров, присланные поставщиками, были разложены на столах, вокруг которых разместились остальные канцеляристы, переписчики и нотариусы. В конце концов было решено, хотя и при значительном расхождении во мнениях, приобрести две кипы лессебовской бумаги, а после многочисленных конкурсных испытаний на остроту — сорок восемь ножниц неоднократно премированной фабрики Гроторпа (двадцатью пятью акциями которой владел актуарий); на конкурсные испытания стальных перьев потребовалась целая неделя, а на соответствующий протокол ушло уже две стопы бумаги по пятьсот листов в каждой; теперь стоял вопрос о покупке перочинных ножей, и члены коллегии как раз испытывали их на черных досках столов.

«Предлагаю шеффилдский перочинный нож с двумя лезвиями № 4, без штопора, — сказал главный нотариус, отковыривая от стола щепку, достаточно большую, чтобы развести в печке огонь. — Что скажет старший нотариус?»

Старший нотариус, испытывая «Эскильстуна № 2» с тремя лезвиями, вонзил его слишком глубоко в стол, наткнулся на гвоздь и повредил нож, поэтому он предложил именно эту марку.

После того как каждый из присутствующих высказал свое основательно мотивированное и тщательно аргументированное мнение с приложением результатов практических испытаний, председатель принял решение закупить двадцать четыре дюжины шеффилдских перочинных ножей.

С этим не согласился старший нотариус, выступив в обоснование своего особого мнения с пространной речью, которая была занесена в протокол, размножена в двух экземплярах, зарегистрирована, рассортирована (по алфавиту и в хронологическом порядке), переплетена и установлена служителем под неусыпным надзором библиотекаря на соответствующей полке. Это особое мнение, всецело проникнутое горячим патриотическим чувством, в основном сводилось к тому, что государство обязано всеми силами содействовать развитию отечественной промышленности. Но поскольку оно содержало обвинение против правительства, ибо метило в правительственного чиновника, главному нотариусу ничего не оста-

валось, как взять защиту правительства на себя. Свою защитительную речь он начал с небольшого экскурса в историю вопроса об учете векселей при товарных сделках (услышав слово «учет», сверхштатные сотрудники навострили уши), бросил ретроспективный взгляд на экономическое развитие страны за последние двадцать лет и настолько углубился во всякого рода второстепенные детали, что часы на Риддархольмском храме пробили два еще до того, как он добрался до сути дела. Едва прозвучал этот роковой звон, как все чиновники сорвались со своих мест, будто на пожар. Когда я спросил одного молодого сотрудника, что бы это могло значить, пожилой нотариус, услышав мой вопрос, заметил назидательно: «Первейшая обязанность чиновника, милостивый государь, — пунктуальность!» Через две минуты в кабинетах не было ни живой души! «Завтра у нас трудный день», — шепнул мне один из моих коллег на лестнице. «Ради бога, скажите, что такое будем мы делать завтра?» — испуганно спросил я. «Карандаши!» — ответил он. И действительно, настали трудные дни! Сургучные палочки, конверты, ножи для бумаги, промокательная бумага, шпагат... Но до поры до времени все шло не так уж плохо, потому что у всех было хоть какое-то занятие. И все же наступил день, когда заниматься стало нечем. Тогда я набрался смелости и попросил дать мне какую-нибудь работу. Мне дали семь стоп бумаги для переписки черновиков, дабы я мог, как полагали мои коллеги, «обрести расположение начальства». Эту работу я сделал очень быстро, однако ни расположения, ни одобрения не добился, зато ко мне стали относиться с явным недоверием, потому что людей трудолюбивых здесь не очень жаловали. Больше мне ничего не поручали. Я избавлю тебя от нудного описания унижительных сцен, бесчисленных уколов, всей той безграничной горечи, которой был заполнен последний год. Ко всему, что я считал нелепым и ничтожным, здесь относились торжественно и крайне серьезно, а все, что я ценил превыше всего на свете, обливали грязью. Народ называли быдлом и считали, что он годится только на то, чтобы при соответствующих обстоятельствах стать пушечным мясом. Во всеуслышанье носили новые государственные институты, а крестьян называли изменниками¹. В течение семи месяцев я вынужден был выслушивать всю эту брань, а поскольку сам никаких издевательских высказываний не допускал, ко мне стали относиться с недоверием и всячески старались как-нибудь уязвить. Когда в очередной раз они напали на «собак от оппозиции», я взорвался и произнес речь, в которой высказал все, что о них думал; в результате они поняли, с кем имеют дело, и мое положение стало невыносимо. И вот теперь я поступаю так же, как поступали до меня многие другие, потерпев на служебном поприще к р а х , — бросаюсь в объятия литературы!

¹ После того как была предпринята крупная реорганизация государственных учреждений и ведомств, нарисованная здесь картина, естественно, уже не соответствует существующему положению дел. (Примеч. автора.)

Струве, которого, по-видимому, огорчило столь неожиданное завершение беседы, засунул карандаш за подкладку, допил пунш, и вид у него при этом был рассеянный. Тем не менее он счел себя обязанным что-то сказать Фальку.

— Дорогой брат, ты еще не овладел искусством жить; ты увидишь, как тяжело добывать хлеб насущный, как это постепенно становится главным делом жизни. Ты работаешь ради хлеба и ешь этот хлеб ради того, чтобы работать и зарабатывать на хлеб, чтобы иметь возможность работать... Поверь, у меня жена и дети, и я знаю, что это значит. Понимаешь, нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Нужно приспосабливаться! А ты даже не знаешь, что такое положение литератора. Литератор стоит вне общества!

— Ну, это расплата за то, что он хочет стоять над обществом. Впрочем, я ненавижу общество, потому что оно основано не на свободном соглашении, а на хитросплетениях лжи — и я с радостью бегу от него!

— Становится холодно, — заметил Струве.

— Да! Тогда пошли?

— Пожалуй, пойдем.

И огонь беседы тихо угас.

Тем временем зашло солнце, на горизонте появился полумесяц и застыл над городской окраиной, звезды одна за другой вступали в единоборство с дневным светом, который никак не хотел покидать неба; на улицах загорелись газовые фонари, и город стал медленно затихать.

Фальк и Струве брели по городским улицам, беседуя о торговле, судоходстве, промышленности и обо всем остальном, что также их нисколько не интересовало, и наконец расстались, к обоюдному удовольствию.

Фальк неторопливо спускался по Стрёмгатан к Шепсхольмену, а в голове у него рождались все новые и новые мысли. Он был как птица, которая лежит, поверженная, ударившись об оконное стекло в тот самый миг, когда одним взмахом крыльев хотела подняться в воздух и улететь на волю. Дойдя до берега, он сел на скамью, вслушиваясь в плеск волн; легкий бриз шелестел в цветущих кленах; над черной водой слабо светился серебряный полумесяц; пришвартованные к причалу, раскачивались двадцать или тридцать лодок, они рвались на цепях, одна за другой поднимали голову, но лишь на одно мгновение, и снова ныряли; ветер и волны, казалось, гнали их все вперед и вперед, и они бросались к набережной, как свора собак, преследующих дичь, но цепь отдергивала их обратно, и они металась и вставали на дыбы, словно хотели вырваться на свободу.

Он просидел там до полуночи; между тем ветер уснул, улеглись волны, прикованные к причалу лодки уже не пытались сорваться с цепей, не шелестели больше клены, и выпала роса.

Наконец он встал и, погруженный в невеселые думы, направился в свою одинокую мансарду на далекой окраине города, в Ладугорде.

Так провел остаток вечера молодой Фальк, а старый Струве, который в этот самый день поступил в «Серый плащ», поскольку распрощался с «Красной шапочкой», вернулся домой и настроил в небезызвестное «Знамя народа» статью «О Коллегии выплат чиновничьих окладов» на четыре столбца по пять риксдалеров за столбец.

Глава вторая

БРАТЬЯ

Торговец льном Карл-Николаус Фальк, сын покойного торговца льном, одного из пятидесяти старейшин города, капитана гражданской гвардии, члена церковного совета и члена дирекции Стокгольмского городского общества страхования от пожара господина Карла-Юхана Фалька, брат бывшего сверхштатного нотариуса, а ныне литератора Арвида Фалька, владел магазином, или, как называли его недруги, лавкой, на Восточной улице наискось от переулка Ферркенс-грэнд, так что приказчик, оторвавшись от книги, которую украдкой читал, спрятав ее под прилавок, мог бы при желании увидеть надстройку парохода, рубку рулевого или мачту и еще верхушку дерева на Шепсхольмене и кусочек неба над ним. Приказчик, который откликнулся на не слишком редкое имя Андерссон — а он уже научился откликаться, когда его звали, — рано утром отпер лавку, вывесил сноп льна, мережу, связку удочек и другие рыболовные снасти, потом подмел, посыпал пол опилками и уселся за прилавок, где из пустого ящика из-под свечей он соорудил нечто похожее на крысоловку, которую установил с помощью железного крюка и куда мгновенно падала книга, едва на пороге появлялся хозяин или кто-нибудь из его знакомых. Покупателей он, по-видимому, не опасался, потому что было еще рано, а кроме того, он вообще не привык к обилию посетителей.

Предприятие это было основано еще при блаженной памяти короле Фридрихе (так же как и все остальное, Карл-Николаус унаследовал его от своего отца, который в свою очередь унаследовал его по прямой нисходящей линии от деда); в те благословенные времена оно приносило приличный доход, пока несколько лет назад не приняли злосчастную «парламентскую реформу», которая подсекла под корень торговлю, не оставила никаких надежд на будущее, положила конец всякой деловой активности и угрожала неминуемой гибелью всему сословию предпринимателей. Так, во всяком случае, утверждал сам Фальк, однако многие поговаривали о том, что дело запущено, а кроме того, на Шлюзовой площади у Фалька появился сильный конкурент. Однако без крайней на то необходимости Фальк не распространялся о трудностях, переживаемых фирмой; он был достаточно умен, чтобы правильно выбрать и обстоятельность и слушателей, когда ему хотелось поговорить на эту тему. И если кто-либо из его старых знакомых-коммерсантов, дружелюбно улыбаясь, выражал изумление в связи

с падением товарооборота, Фальк говорил, что прежде всего делает ставку на оптовую торговлю с древесиной, а лавка — это просто вывеска, и ему верили, потому что в лавке у него еще была маленькая контора, где он проводил большую часть времени, если не отлучался в город или на биржу. Но когда его приятели — правда, уже не коммерсанты, а нотариус или магистр — не менее дружелюбно выражали беспокойство по поводу упадка в делах, то виной всему были тяжелые времена, наступившие из-за парламентской реформы, вызвавшей экономической застой.

Между тем Андерссон, которого отвлекли от чтения ребяташки, спросившие, сколько стоят удочки, случайно выглянул на улицу и увидел молодого Арвида Фалька. Поскольку Андерссон получил книгу именно у него, то она осталась лежать где лежала, и когда Фальк вошел в лавку, Андерссон сердечно приветствовал своего друга детства, и на лице его было написано, что он хоть и не показывает виду, но все прекрасно понимает.

— Он у себя? — спросил Фальк с некоторым беспокойством.

— Пьет кофе, — ответил Андерссон, показывая на потолок. В этот самый миг они услышали, как кто-то передвинул стул у них над головой.

— Теперь он встал из-за стола, — заметил Андерссон.

Судя по всему, они оба хорошо знали, что означает этот звук. Потом наверху послышались тяжелые, скрипучие шаги, которые мерили комнату во всех направлениях, и чье-то приглушенное бормотание, доносившееся до них сквозь потолочное перекрытие.

— Он был дома вчера вечером? — спросил Фальк.

— Нет, уходил.

— С друзьями или просто знакомыми?

— Со знакомыми.

— И домой вернулся поздно?

— Довольно поздно.

— Как ты думаешь, Андерссон, он скоро спустится? Мне не хочется подыматься к нему, потому что там невестка.

— Он скоро будет здесь. Я знаю это по его шагам.

Внезапно наверху хлопнула дверь, и молодые люди обменялись многозначительными взглядами. Арвид сделал движение, словно хотел уйти, но потом овладел собой.

Через несколько секунд в конторе послышался шум. Раздраженный кашель сотряс тесную комнатушку, и снова послышались знакомые шаги: рапп-рапп, рапп-рапп!

Арвид зашел за прилавок и постучался в дверь конторы.

— Войдите!

Арвид стоял перед своим братом. Тот выглядел лет на сорок, и ему действительно исполнилось что-то около того, так как он был на пятнадцать лет старше Арвида и поэтому, а также по ряду других причин, привык смотреть на него как на ребенка, которому стал отцом. У него были светлые волосы, светлые усы, светлые брови и ресницы. Он отличался некоторой полнотой, и потому сапоги так громко скрипели под тяжестью его коренастой фигуры.

— А, это всего-навсего ты? — спросил Карл с легким оттенком благожелательности, смешанной с презрением; эти два чувства были у него неразрывно связаны друг с другом, ибо он нисколько не сердился на тех, кто в каком-то отношении стоял ниже его: он просто презирал их. Но сейчас он казался еще и немного разочарованным в своих ожиданиях, потому что надеялся увидеть более благодарный объект, чтобы обрушиться на него, тогда как брат его был натурой робкой и деликатной и без крайней на то необходимости ни с кем старался не спорить.

— Я тебе не помешал, брат Карл? — спросил Арвид, оставиваясь в дверях. В этом вопросе прозвучало столько покорности, что брат Карл на этот раз решил быть благожелательным. Себе он достал сигару из большого кожаного футляра с вышивкой, а брату — из коробки, что стояла возле камина, потому что эти сигары, «сигары для друзей», как весьма откровенно называл их сам Карл, — а он по своей натуре был человек откровенный, — сначала попали в кораблекрушение, что возбуждало к ним интерес, но не делало их лучше, а потом на аукцион, где их распродавали по дешевке.

— Итак, что ты хочешь мне сказать? — спросил Карл-Николаус, раскуривая сигару и запихивая спичку по рассеянности к себе в карман, ибо он не мог сосредоточить свои мысли более чем на одном предмете, в одной какой-то области, не слишком обширной; его портной мог бы легко определить ее величину, если бы измерил его талию вместе с животом.

— Я хотел бы поговорить о наших делах, — сказал Фальк, разминая между пальцами незажженную сигару.

— Садись! — приказал брат.

Он всегда предлагал человеку сесть, когда намеревался изничтожить его, ибо тот становился как бы ниже ростом и его легче было раздавить — при необходимости.

— О наших делах! Разве у нас с тобой есть какие-нибудь дела? — начал он. — Мне об этом ничего не известно. Может быть, у *тебя* есть какие-нибудь дела? У тебя, а не у меня!

— Я только хотел узнать, не могу ли я получить что-нибудь из наследства?

— Что же именно, позволь спросить? Может быть, деньги? Ну? — иронизировал Карл-Николаус, давая брату возможность насладиться ароматом своей сигары. Не услышав ответа, которого и не ждал, он продолжал говорить сам.

— Получить? Разве ты не получил все, что тебе причиталось? Разве ты не подписал счет, переданный в опекунский совет? Разве я не кормил и не одевал тебя по твоей просьбе, то есть тратил на тебя деньги, которые ты вернешь, когда сможешь? У меня все записано, чтобы получить с тебя, когда ты сам начнешь зарабатывать себе на хлеб, а ты даже еще не начал.

— Как раз это я собираюсь сделать; вот я и пришел сюда выяснить, могу ли я что-нибудь получить или сам тебе должен какую-то сумму.

Карл-Николаус бросил пронизывающий взгляд на свою жертву, будто хотел узнать, что у нее на уме. Затем он стал вышагивать в своих скрипучих сапогах по диагонали между плевательницей и стойкой для зонтов; цепочка для часов звенела брелоками, предупреждая людей не попадаться ему на пути, табачный дым поднимался к потолку и вился длинными зловещими клубами между кафельной печью и дверью, как бы предвещающая грозу. Он стремительно ходил взад и вперед, опустив голову и приподняв плечи, словно заучивал роль. Когда Карл-Николаус решил, что знает ее назубок, он остановился перед братом и посмотрел ему прямо в глаза долгим, холодным, как море, скорбным взглядом, который должен был выразить участие и боль, и голосом, звучавшим будто из семейного склепа на кладбище святой Клары, сказал:

— Ты нечестный человек, Арвид! Нечестный!

Любой свидетель этой сцены, кроме одного, пожалуй, Андерссона, подслушавшего под дверью, был бы глубоко тронут этими словами, которые высказал с глубокой братской болью брату брат.

Между тем Арвид, с детства привыкший к мысли, что все люди прекрасны и один он плохой, действительно задумался на миг о том, честный он человек или нечестный, и поскольку его воспитатель всеми доступными ему средствами сделал Арвида в высшей степени чувствительным и совестливым, то он заключил, что был не совсем честным или, во всяком случае, не совсем искренним, постеснявшись спросить напрямик, не мошенник ли его брат.

— Я пришел к выводу, — сказал он, — что ты обманул меня, лишив части моего наследства; я подсчитал, что ты взял слишком дорого за скудную еду и старую поношенную одежду; я знаю, что причитающаяся мне доля наследства не могла вся уйти на мое жалкое образование, и я полагаю, что ты должен мне довольно крупную сумму, которая мне сейчас очень нужна и которую я намерен получить!

Светлый лик брата озарила улыбка, и он с таким спокойствием на лице и таким уверенным движением, словно в течение многих лет отработывал его, чтобы сделать в тот самый миг, когда будет подана реплика, сунул руку в карман брюк и, прежде чем вынуть ее, потряс связкой ключей, потом подбросил ее в воздух и благоговейно подошел к сейфу. Карл-Николаус открыл его несколько быстрее, чем намеревался и чего, вероятно, требовала святость этого места, достал бумагу, которая лежала наготове, словно дожидаясь соответствующей реплики. Он протянул ее брату.

— Это ты писал? Отвечай! Это ты писал?

— Я!

Арвид встал, намереваясь уйти.

— Нет, сиди! Сиди! Сиди!

Если бы здесь оказалась собака, даже она бы, наверное, села.

— Ну, что здесь написано? Читай!.. «Я, Арвид Фальк, признаю и удостоверяю, что... от... брата моего... Карла-Николауса Фалька... назначенного моим опекуном... получил сполна причитающуюся мне долю наследства... в сумме и т. д.».

Он постеснялся назвать сумму.

— Значит, ты признал и засвидетельствовал то, во что сам не верил! Разве это честно, позволь тебя спросить? Нет, отвечай на мой вопрос! Разве это честно? Нет! Ergo¹, ты дал ложное свидетельство. Следовательно, ты мошенник! Да, да, ты мошенник! Разве я не прав?

Сцена эта была столь эффектна, а триумф столь велик, что он не мог наслаждаться им без публики. Ему, безвинно обвиненному, нужны были свидетели его торжества; он распахнул дверь в лавку.

— Андерссон! — крикнул о н . — Слушай внимательно и ответь мне на один вопрос! Если я дал ложное свидетельство, мошенник я после этого или не мошенник?

— Ну конечно, хозяин, вы мошенник! — не задумываясь и с чувством выпалил Андерссон.

— Слышал? Он сказал, что я мошенник... если подпишу фальшивый документ. Так о чем я только что говорил? Ах да, ты нечестный человек, Арвид, нечестный! Я всегда это утверждал! Скромники на поверку чаще всего оказываются мошенниками; ты всегда казался скромным и уступчивым, но я прекрасно видел, что про себя ты таил совершенно другие мысли; ты мошенник! То же самое говорил твой отец, а он всегда говорил то, что думал, он был честный человек, а ты... нет... не честный! И не сомневайся, будь он жив, он с болью и досадой сказал бы: «Арвид, ты нечестный человек! Не-чест-ный!»

Он прочертил еще несколько диагоналей, вышагивая по комнате, словно аплодировал ногами только что сыгранной сцене, и позвенел ключами, как бы давая сигнал опустить занавес. Заключительная реплика была такой завершенной, что каждая последующая фраза могла лишь испортить весь спектакль. Несмотря на тяжесть обвинения, которого, по правде сказать, Карл-Николаус ждал уже многие годы, ибо всегда полагал, что у брата фальшивое сердце, он был бесконечно рад, что все закончилось, закончилось так хорошо, так удачно и так ярко, и чувствовал себя почти счастливым, и в какой-то мере был даже благодарен брату за доставленное удовольствие. Кроме того, он получил блестящую возможность сорвать на ком-нибудь свою злость, потому что рассердился еще наверху, так сказать, в кругу семьи, однако набрасываться на Андерссона ему с годами приелось, а набрасываться на жену расхотелось.

Арвид онемел; из-за своего воспитания он стал таким запуганным, что ему всегда казалось, будто он неправ; с самого детства, ежедневно и ежечасно, в его ушах звучали одни и те же выпревшие слова: справедливость, честность, искренность, правдивость; они словно судьи выносили ему только один приговор: ВИНОВЕН! Какую-то секунду ему казалось, что, возможно, он ошибся в расчетах, и брат не виноват, а сам он, действительно, мошенник, но уже в следующий момент Арвид ясно увидел, что брат обыкновенный обманщик, который просто сбил его с толку своей наглой и нелепой

¹ Следовательно (*лат.*).

софистикой, и ему захотелось поскорее убежать, только бы не спорить понапрасну и не сообщать брату о том, что он оставил службу.

Пауза затянулась несколько дольше, чем предполагалось. Зато у Карла-Николауса было время мысленно проиграть всю сцену с самого начала и вновь насладиться своим триумфом. Слово «мошенник» было так приятно произносить, почти так же приятно, как короткое и выразительное «вон!». А как эффектно он распахнул дверь, как убедительно прозвучал ответ Андерссона, как удачно, словно из-под земли, появился нужный документ! Связку ключей удалось не забыть на ночном столике, замок сейфа открылся легко и свободно, улика была как сеть, из которой уже не выпутаешься, а вывод сверкнул как блесна, на которую попалась щука. Настроение у Карла-Николауса было прекрасное, он все простил, нет, забыл, все начисто забыл, и когда он захлопнул сейф, ему показалось, что он навсегда покончил с этим крайне неприятным делом. Но расставаться с братом не хотелось; у него вдруг возникла потребность поговорить с ним о чем-нибудь другом, засыпать неприятную тему несколькими лопатами пустой болтовни, побыть с братом просто так, не вороша прошлое, например посидеть с ним за столом, чтобы он ел и пил; люди всегда бывают веселы и довольны, когда едят и пьют, и Карлу-Николаусу захотелось увидеть брата веселым и довольным, чтобы лицо его стало спокойным, а голос перестал дрожать — и он решил пригласить его позавтракать. Трудность заключалась лишь в том, как отыскать переход, подходящий мостик, по которому можно было бы перебраться через пропасть. Он попытался найти что-нибудь у себя в голове, но там было пусто, тогда он порылся в кармане и нашел там... коробку спичек.

— Черт побери, малыш, ты же не зажег сигару! — сказал он с искренней, не притворной теплотой.

Но малыш в ходе беседы так смял сигару, что ее больше невозможно было зажечь.

— На, возьми другую!

Карл-Николаус вытащил большой кожаный футляр:

— На, бери! Отличные сигары!

Арвид, который, к несчастью, никого не мог обидеть, с благодарностью взял сигару, словно протянутую для примирения руку.

— Итак, старина, — продолжал Карл-Николаус с дружеской интонацией в голосе, которой так хорошо владел, — пошли в «Ригу» и позавтракаем! Пошли!

Арвид, не привыкший к такой любезности брата, был настолько тронут, что поспешно пожал ему руку и опрометью выбежал через лавку на улицу, даже не попрощавшись с Андерссоном.

Карл-Николаус остолбенел; этого он никак не мог понять; что это значит: удрать, когда его пригласили позавтракать, удрать, когда он больше на него не сердится! Удрал! Даже собака не удерет, когда ей бросают кусок мяса!

— Вот чудак! — пробормотал Карл-Николаус и снова зашагал по комнате. Потом подошел к конторке, подкрутил сиденье стула

как можно выше и взгромоздился на него. Сидя на этом возвышении, он видел людей и обстоятельства как бы с высоты, и они казались совсем маленькими, но не настолько маленькими, чтобы их нельзя было использовать в своих целях.

Глава третья
ОБИТАТЕЛИ ЛИЛЬ-ЯНСА

В девятом часу этого прекрасного майского утра после семейной сцены у брата по улицам города медленно шел Арвид Фальк, недовольный самим собой, братом и вообще всем на свете. Ему хотелось, чтобы была плохая погода и его окружали плохие люди. Ему не очень верилось, что он мошенник, но и в восторге от собственной персоны он тоже не был; он слишком привык предъясвлять себе самые высокие требования, привык считать брата почти что приемным отцом и относиться к нему с должным уважением, чуть ли не с благоговением. Но ему в голову приходили и мысли совсем иного рода, и они особенно удручали его. Он остался без денег и без работы. Это последнее обстоятельство было, пожалуй, хуже всего, ибо для него, одаренного буйной фантазией, праздность всегда была злейшим врагом.

Погруженный в эти крайне неприятные размышления, Арвид шел по узенькой Садовой улице; пройдя по левой стороне мимо Драматического театра, он вскоре очутился на Норрландской улице; он шел без всякой цели, вперед и вперед; мостовая становилась все более неровной, а вместо каменных домов появлялось все больше деревянных; бедно одетые люди бросали подозрительные взгляды на господина в опрятном платье, который так рано заявился в их квартал, а изголодавшиеся собаки злобно рычали на чужака. Арвид миновал группы артиллеристов, рабочих, подручных с пивоварен, прачек и подмастерьев и, добравшись до конца Норрландской улицы, очутился на широкой Хмельной улице. Он вошел в Хмельник. Там паслись коровы генерал-интенданта, голые яблони еще только начинали зеленеть, а липы уже покрылись листвой, и в их зеленых кронах резвились белки. Арвид прошел карусель и оказался на аллее, ведущей к театру; прогульщики-школьники играли в «пуговки»; немного поодаль в траве лежал на спине подмастерье маляра и смотрел на облака сквозь высокий зеленый свод из листьев. Он что-то насвистывал так весело и беззаботно, будто ни мастер, ни остальные подмастерья не ждали его, а тем временем к нему со всех сторон слетались мухи и другие насекомые и тонули в ведрах с краской.

Фальк поднялся на пригорок возле Утиногo пруда. Здесь он остановился и стал наблюдать за метаморфозами, которые претерпевали у него на глазах лягушки, потом поймал жука-плавунца. А потом принялся бросать камни. От этого кровь быстрее побежала по жилам, и он словно помолодел, почувствовал себя мальчишкой, школьником, сбегавшим с уроков и совсем свободным, вызывающе свободным, потому что это была свобода, которую он завоевал ценой

слишком большой жертвы. При мысли о том, что теперь он свободно и легко может общаться с природой, которую понимал гораздо лучше, чем людей, только мучивших его и причинявших зло, он повеселел, и вся накопившаяся в нем горечь вдруг отхлынула от сердца, и он двинулся дальше. Миновав перекресток, Арвид вышел на Северную Хмельную улицу. Тут он увидел, что прямо перед ним в заборе недостает нескольких досок, а с другой стороны забора протоптана тропинка. Он пролез в дыру, напугав старуху, которая собирала крапиву, пересек большое поле, заросшее табаком, и очутился перед Лилль-Янсом.

Здесь весна уже полностью вступила в свои права, и прелестное маленькое селение из трех крошечных домиков утопало в зелени цветущей сирени и яблонь, защищенных от северного ветра ельником по другую сторону дороги. Настоящая идиллия. На дышле водозобной бочки сидел петух и кукарекал, на солнцепеке лежала цепная собака, отгоняя мух, вокруг ульев тучей роились пчелы, возле парника садовник прореживал редиску, в кустах крыжовника распевали пеночки и горихвостки, а полуголые детишки воевали с курами, которые были не прочь проверить всхожесть недавно посеянных цветочных семян. И над всем этим привольем простиралось светло-голубое небо, а позади темнел лес.

Неподалеку от парника у забора сидели двое. Один из них был в черном цилиндре и лоснящемся от многократной чистки черном платье, лицо его казалось длинным, узким, бледным, и всем своим обликом он походил на священника. Другой представлял собой тип цивилизованного крестьянина с изломанной работой, но ожиревшим телом, припухшими веками и монгольскими усами; он был очень плохо одет, и его можно было принять за кого угодно: портового бродягу, ремесленника или художника; весь он как-то странно обветшал.

Худой, который, очевидно, мерз, хотя сидел на самом солнцепеке, читал вслух толстому, у которого был такой вид, будто ему нипочем любой климат.

Миновав ворота, Фальк явственно услышал голос чтеца из-за забора и решил, что не будет нескромным, если остановится и немного послушает.

Худой читал сухим монотонным голосом, лишенным всякой интонации, а толстый выражал свое удовольствие фырканьем, которое время от времени переходило в хрюканье, а когда слова мудрости становились уж вовсе недоступны восприятию обычного человеческого разума, превращалось в невнятное клокотание.

Худой читал:

— «Главных, основополагающих тезисов, как было сказано, три: один абсолютно безусловный и два относительно безусловных. *Pro primo*¹: первый, абсолютно и совершенно безусловный тезис выражает действие, заложенное в основе всякого сознания и утверждающее его возможность. Этот тезис есть тождество: $A = A$. Оно незыблемо и никоим образом не может быть предано забвению при

¹ Во-первых (лат.).

попытках провести четкие грани между эмпирическими определениями сознания. Это исходный, основополагающий фактор сознания и потому неизбежно и необходимо должен быть признан как таковой; кроме того, в отличие от других эмпирических факторов это тождество не является чем-то условным, а, напротив, как следствие и содержание свободного действия, представляет собой категорию абсолютно безусловную». Понимаешь, Олле? — спросил худой.

— О да, это прелестно! «В отличие от других эмпирических факторов это тождество не является чем-то условным...» Вот это мужик! Читай дальше, дальше!

— «Если допустить, — продолжал читать худой, — что этот тезис верен без всякого дальнейшего обоснования...»

— Ах он плут... «без всякого дальнейшего обоснования», — повторил благодарный слушатель, который тем самым хотел отвести от себя всякое подозрение в том, что ничего не понимает, — «без всякого дальнейшего обоснования...», как изящно, как изящно, вместо того чтобы просто сказать «без всякого обоснования».

— Читать дальше? Или ты намерен прерывать меня на каждом слове? — спросил разобиженный чтец.

— Я больше не буду тебя прерывать, читай, читай, дальше!

— «...В этом случае...» — теперь следует вывод (действительно великолепно) — «в этом случае мы обретаем возможность постулировать какие-то положения».

Олле зафыркал от восторга.

— «Отсюда следует, что мы постулируем не существование А (А большого), а лишь утверждаем тезис, что $A = A$, если и поскольку А вообще существует. Таким образом, речь идет не о содержании тезиса, а лишь о его форме. Следовательно, по своему содержанию тезис $A = A$ представляет собой категорию условную (гипотетическую) и лишь по форме — безусловную».

— Ты заметил, что это А — большое?

Фальк наслушался предостаточно; это была та самая ужасно замысловатая философия с Польской горы, которая достигла здешних мест, сбивая с толку и покоряя неотесанного столичного обывателя; он осмотрелся, стараясь убедиться в том, что куры не свалились с насеста и петрушка не засохла, услышав самые глубокомысленные изречения, какие когда-либо изрекались на диалекте Лилль-Янса. Его весьма изумило, что небо не обрушилось, хотя оказалось невольным свидетелем такого жестокого испытания мощи человеческого духа; в то же время его более низменная человеческая природа выдвигала свои собственные требования, и, ощутив, что в горле у него пересохло, он решил зайти в один из домиков и попросить стакан воды.

Он повернулся и вошел в домик, что стоял справа от дороги, если идти из города. Дверь в большую комнату оказалась открытой, а прихожая была не больше чемодана. Вся обстановку комнаты составляли скамья для спанья, сломанный стул и мольберт, а еще здесь находилось двое людей; один, в рубашке и брюках, державшихся на ремне, стоял перед мольбертом. Его можно было принять

за подмастерье, но он был художником, поскольку писал красками эскиз для запрестольного образа. На другом молодом человеке приятной наружности было весьма элегантно для этой невзрачной обстановки платье. Сняв пиджак и приспустив рубашку, он позировал художнику, демонстрируя свою широкую грудь. Его красивое благородное лицо носило следы бурно проведенной ночи, а голова то и дело клонилась на грудь, чем он постоянно навлекал на себя нареkania художника, взявшего его, очевидно, под свою опеку. Заключительные фразы обвинительной речи, с которой в очередной раз выступил художник, и услышал Фальк, входя в прихожую.

— Какая же ты свинья: всю ночь пропьянствовал с этим прощелыгой Селленом! И вот теперь тратишь утро черт знает на что, вместо того чтобы сидеть в коммерческом училище... Чуть подними правое плечо... так! Неужели ты пропил всю квартирную плату? А теперь боишься идти домой? И ничего не осталось? Ни эре?

— Нет, немного осталось, но этого хватит ненадолго.

Молодой человек достал из кармана брюк смятую бумажку, развернул и показал два риксдалера.

— Давай сюда, я спрячу их для т е б я , — сказал художник и наложил на них свою отеческую руку.

Фальк, который в течение некоторого времени безуспешно пытался привлечь к себе внимание, решил уйти так же незаметно, как и явился. Он снова прошел мимо кучи компоста, мимо двух философов и свернул налево, на дорогу королевы Кристины. Пройдя еще немного, он увидел молодого человека, поставившего свой мольберт на берегу небольшого озерка, обведенного у кромки леса ольшаником. У него была тонкая, стройная, почти элегантная фигура и несколько заостренное смуглое лицо; глядя, как он пишет красками, нетрудно было догадаться, что весь он кипит жизнью. Сняв шляпу и пиджак, он явно чувствовал себя великолепно и пребывал в наилучшем расположении духа. Он что-то насивистывал, напевал и болтал сам с собой.

Когда Фальк уже отошел довольно далеко и увидел художника в профиль, тот обернулся.

— Селлен! Здорово, старый дружище!

— Фальк! Старые приятели встречаются в лесу! Ради бога, что это значит? Разве тебе не полагается в это время быть на службе?

— Нет. А ты что, здесь живешь?

— Да, первого апреля я переселился сюда с несколькими приятелями; жить в городе стало слишком дорого... да и от хозяев нет покоя.

Лукавая улыбка заиграла в уголке рта, а в карих глазах вспыхнул огонь.

— Понятно, — снова заговорил Ф а л ь к . — Так, может быть, ты знаешь тех двоих, что сидят возле парников и что-то читают?

— Философы? Еще бы не знать! Длинный работает сверхштатным сотрудником в ведомстве аукционов за восемьдесят риксдалеров в год, а коротышке, Олле Монтанусу, следовало бы, собственно говоря, сидеть дома и заниматься скульптурой, но он

вместе с Игбергом увлекся философией, совсем перестал работать и теперь быстро деградирует. Он вдруг обнаружил, что искусство есть нечто чувственное!

— На что же он живет?

— А ни на что! Иногда позирует практичному Лунделлю за кусок хлеба с кровяной колбасой и так может протянуть день или два, а тот разрешает ему зимой спать у него в комнате на полу, так как «он немного согревает комнату», — говорит Лунделль; дрова нынче дорогие, а здесь в апреле было чертовски холодно.

— Как он может позировать, он ведь страшен, как Квазимодо?

— Для картины «Снятие с креста» он изображает того разбойника, которому уже перебили кости; у бедняги радикулит, и когда он перевешивается через подлокотник кресла, получается очень естественно и живо. Иногда он поворачивается к художнику спиной и тогда становится вторым разбойником.

— Почему же он сам ничего не делает? Бездарен?

— Дорогой мой, Олле Монтанус — гений, но он не хочет работать; он философ и стал бы великим, если бы учился. Ты знаешь, послушать их споры с Игбергом бывает очень интересно; разумеется, Игберг больше читал, но у Монтануса такая светлая голова, что порой он кладет Игберга на обе лопатки, и тот бежит домой, чтобы прочитать соответствующий кусок, но никогда не дает Монтанусу своей книги.

— Значит, тебе нравится философия Игберга? — спросил Фальк.

— О, это прекрасно, это прекрасно! Ты ведь любишь Фихте? Ой, ой, ой! Вот это человек!

— Ну, ладно, — прервал его Фальк, который не любил Фихте, — а кто же тогда те двое в комнате?

— Вот как? Ты их тоже видел? Один из них — практичный Лунделль, художник-жанрист, а вернее, церковный живописец, другой — мой друг Реньельм.

Последние слова он произнес подчеркнуто безразличным тоном, чтобы они произвели тем большее впечатление.

— Реньельм?

— Да, очень славный малый.

— Это который позировал?

— Он позировал? Ах, этот Лунделль! Умеет заставить людей делать то, что ему нужно; удивительно практичный парень. А теперь пошли, подразним его немного; здесь это мое единственное развлечение; тогда тебе, может быть, удастся послушать и Монтануса, а это действительно интересно.

Фальк, которого перспектива послушать Монтануса прельщала гораздо меньше, чем получить стакан воды, тем не менее последовал за Селленом, помогая ему нести мольберт и ящик с красками.

За это время обстановка в домике несколько переменялась; натурщик теперь сидел на сломанном стуле, а Монтанус с Игбергом расположились на скамье. Лунделль стоял перед мольбертом

и раскуривал надрывно хрипевшую деревянную носогрейку, а его неимущие приятели наслаждались одним лишь тем, что присутствуют при курении трубки.

Когда ассессора Фалька представили честной компании, за него тотчас же взялся Лунделль, потребовав высказать свое мнение о его картине. Предполагалось, что это почти Рубенс, во всяком случае, по сюжету, если не по совершенству колорита и рисунка. Затем Лунделль принялся разглагольствовать о тяжелых для художника временах, обругал Академию и раскритиковал правительство, которое палец о палец не ударит, чтобы помочь отечественному искусству. Он пишет эскиз к запрестольному образу для церкви в Тресколе, но убежден, что его не примут, потому что без интриг и связей в наше время ничего не добьешься. При этом он окинул испытующим взглядом костюм Фалька, определяя, нельзя ли будет воспользоваться его протекцией.

Совершенно по-иному отнеслись к приходу Фалька оба философа. Они сразу же почуяли в нем «ученого» и люто возненавидели, ибо он мог лишить их того престижа, каким они пользовались в этой компании. Они обменялись многозначительными взглядами, тотчас же замеченными Селленом, который не мог устоять перед соблазном показать своих друзей в полном блеске, а если удастся, то и столкнуть их лбами. Вскоре он нашел подходящее яблоко раздора, прицелился, метнул и попал в точку.

— Игберг, что ты скажешь о картине Лунделля?

Игберг, не ожидавший, что ему так скоро дадут слово, задумался. Потом заговорил, слегка возвысив голос:

— По-моему, всякое произведение искусства можно разложить на две категории: содержание и форму. Если говорить о содержании данного произведения, то оно, несомненно, глубоко и общечеловечно, а сюжет уже сам по себе весьма и весьма плодотворен как таковой и содержит все те эстетические понятия и возможности, которые находят свое выражение в художественном творчестве. Что же касается формы, которая выражает *de facto*¹ эстетическое понятие, так сказать, абсолютную идентичность, бытие, свое личное «я», то я считаю ее не менее адекватной.

Лунделль был чрезвычайно польщен этим отзывом, Олле улыбался своей самой блаженной улыбкой, словно вдруг узрел небесное воинство, натурщик спал, а Селлен нашел, что Игберг выступил блистательно. Теперь все взоры были обращены на Фалька, которому ничего другого не оставалось, как поднять брошенную ему перчатку, а в том, что это перчатка, ни у кого не было никаких сомнений.

Фальк забавлялся и злился одновременно; он порывался в кладовых своей памяти, стараясь отыскать какое-нибудь философское ружье, и взгляд его упал на Олле Монтануса, у которого вдруг перекопилось лицо, а это означало, что Олле хочет говорить. Фальк зарядил свое ружье Аристотелем и, не целясь, выстрелил:

¹ Фактически, на деле (*лат.*).

— Что вы понимаете под словом «адекватный»? Я что-то не припомню, чтобы Аристотель употреблял это слово в своей метафизике.

В комнате стало совсем тихо; каждый понимал, что происходит сражение между Лилль-Янсом и Густавианумом. Пауза затягивалась дольше, чем было желательно, так как Игберг не читал Аристотеля, но скорее бы умер, чем признал этот прискорбный факт. А поскольку он не умел быстро делать необходимые выводы, то не заметил бреши, которую оставил Фальк, ссылаясь на Аристотеля; однако Олле ее заметил и, подхватив обеими руками летящего в него Аристотеля, метнул его обратно в своего противника:

— Хотя я и не учился в университете, меня все же несколько удивляет довод, с помощью которого господин ассессор пытается опровергнуть аргументацию своего противника. Полагаю, что слово «адекватный» можно употреблять в качестве определения при логических умозаключениях независимо от того, использовал Аристотель это слово в своей метафизике или не использовал. Вы согласны со мной, господа? Не знаю, я не учился в университете, а господин ассессор все это изучал!

Он говорил, чуть прикрыв веками глаза; теперь же он совсем закрыл их, изо всех сил стараясь показаться застенчивым и робким. — Олле п р а в , — послышалось со всех сторон.

Фальк понял, что, если он хочет спасти честь Упсалы, то за дело надо браться засучив рукава и немедленно; он передернул свою философскую колоду карт и открыл туза.

— Господин Монтанус отрицает исходный тезис или, проще говоря, *negō majorem*¹! Хорошо! Тем не менее я еще раз объясняю, что он допустил *posterius prius*; желая построить силлогизм, он запутался в посылках и вместо *barbara* поставил *ferioque*; он предал забвению золотое правило: *Caesare camestes festino barocco secundo*, и потому его вывод оказался лимитативным! Ну разве я не прав, господа?

— Ну конечно прав, конечно прав! — ответили все в один голос, за исключением обоих философов, которые никогда не изучали логики.

У Игберга был такой вид, будто он напоролся на гвоздь, а Олле так скривился, словно в глаза ему попал нюхательный табак; однако поскольку он был малый не промах, то быстро раскрыл тактический замысел противника. Поэтому он решил не отвечать на заданный ему вопрос, а поговорить о чем-нибудь другом. Он извлек из своей памяти все, что когда-либо узнал или где-нибудь услышал, и начал с того самого реферата о философской концепции Фихте, чтение которого Фальк недавно слышал из-за забора; его речь затянулась почти до полудня.

Между тем Лунделль продолжал писать, надсадно хрипя трубкой. Натурщик все еще спал на своем ветхом стуле, голова его клонилась все ниже и ниже, пока часам к двенадцати не свесилась между

¹ Здесь и далее оратор пересыпает свою речь отдельными терминами формальной логики.

колен, так что математик мог бы без труда рассчитать, когда она достигнет центра Земли.

Селлен с довольным видом сидел возле открытого окна, а бедняга Фальк, которому давно осточертел этот дурацкий философский диспут, с ожесточением бросал целые пригоршни философского табаку в глаза своим противникам. Его мукам не было бы конца, если бы центр тяжести нашего натурщика понемногу не переместился на одно из самых слабых мест в конструкции стула, который с треском развалился, и Реньельм рухнул на пол, что дало Лунделлю повод гневно осудить пьянство и его печальные последствия как для самого пьяницы, так и для окружающих; под окружающими Лунделль имел в виду себя.

Стараясь хоть как-то помочь смущенному юноше, попавшему в такое затруднительное положение, Фальк поспешил поставить на обсуждение вопрос, который должен был вызвать всеобщий интерес:

— Господа, где вы сегодня собираетесь обедать?

Стало так тихо, что можно было услышать, как жужжат мухи; Фальк не догадывался, что наступил сразу на пять мозолей. Лунделль первый нарушил молчание. Они с Реньельмом пообедают, как всегда, в «Чугунке», поскольку им там открыли кредит; Селлен туда не пойдет, так как ему там не нравится кухня, и вообще он еще не решил, где ему обедать; сочинив эту ложь, Селлен вопросительно и несколько встревоженно посмотрел на натурщика. Игберг и Монтанус были «очень заняты» и не хотели «разбивать день», потому что в этом случае им пришлось бы «одеваться и ехать в город», вместо того чтобы приготовить что-нибудь дома; что именно, они не уточнили.

Потом молодые люди приступили к туалету, который весь свелся к тому, что они умылись возле старого колодца в саду. Тем не менее у Селлена, прославшего франтом, под скамьей был припрятан пакет из газеты, откуда он извлек воротничок, манжеты и манишку — все бумажное; потом он довольно долго провозился, стоя на коленях перед колодцем, куда заглядывал, чтобы увидеть свое отражение, пока повязывал вместо галстука коричневато-зеленую ленту, подаренную ему одной девицей, и укладывал особым образом волосы; затем он потер башмаки листом репейника, почистил шляпу рукавом пиджака, воткнул в петлицу гиацинт, взял свою коричневую камышовую трость и был готов. На его вопрос, скоро ли освободится Реньельм, Лунделль ответил, что не раньше, чем через несколько часов, так как должен помочь ему писать, а Лунделль всегда имел обыкновение писать между двенадцатью и двумя. Реньельму ничего не оставалось, как покорно уступить, хотя ему очень не хотелось расставаться со своим другом Селленом, которого он любил, тогда как к Лунделлю испытывал сильную неприязнь.

— Во всяком случае, вечером мы встречаемся в Красной комнате, не так ли? — предложил Селлен в утешение Реньельму, и все с ним согласилось, даже оба философа и высокоморальный Лунделль.

По дороге в город Селлен посвятил своего друга Фалька в различные аспекты жизни обитателей Лилль-Янса, и Фальк узнал, что сам

Селлен порвал с Академией из-за несходства взглядов на искусство, однако он знает, что у него есть талант, и в конце концов он обязательно добьется успеха, хотя, возможно, на это потребуется время, потому что без королевской медали сейчас завоевать признание бесконечно трудно. Даже естественные обстоятельства его жизни складывались не в его пользу: он родился на безлюдном побережье Халланда и с детства любил его простую и величественную природу; между тем публике и критике подавай детали, всякого рода мелочи, и потому его картины не покупают; ему ничего не стоит писать как и все остальные художники, но он не хочет.

Зато Лунделль — человек практичный; слово «практичный» Селлен всегда произносил с оттенком презрения. Он всегда писал, соображаясь с вкусами и требованиями толпы, и никогда не страдал от нерасположения к нему публики; конечно, он расстался с Академией, но из деловых, одному лишь ему известных соображений, а не порвал с ней, хотя кричит об этом на каждом перекрестке. Он неплохо зарабатывает, рисуя для иллюстрированных журналов, и когда-нибудь, несмотря на отсутствие таланта, непременно добьется успеха благодаря своим связям и особенно интригам, которым научился у Монтануса, уже предложившего несколько хитроумных планов, успешно реализованных Лунделлем; что же касается самого Монтануса, то он, несомненно, гений, но гений страшно непрактичный.

Реньельм — сын некогда очень богатого человека из Норрланда. У отца было имение, которое он промотал, и оно в конце концов перешло в руки его управляющего. Теперь старый барон был довольно беден, и больше всего на свете ему хотелось, чтобы сын извлек урок из его прошлого и, став управляющим, вернул семейству имение; поэтому Реньельм посещал Коммерческое училище, изучая экономику сельскохозяйственного производства, которое люто ненавидел. Он был добрым малым, но не отличался сильным характером и позволял хитрому Лунделлю верховодить собой, а тот, оказывая Реньельму моральную поддержку и защиту, не отказывался брать гонорар натурой.

Тем временем Лунделль и молодой барон принялись за работу, которая заключалась в том, что барон рисовал, а маэстро возлежал на скамье и надзирал за учеником — иными словами, курил.

— Если проявишь усердие, возьму тебя пообедать в «Оловянную пуговицу», — великодушно пообещал Лунделль, который чувствовал себя богачом с теми двумя риксдалерами, что спас от неминуемой гибели.

Игберг с Олле поднялись на лесной холм, намереваясь проспать до обеда. Олле весь сиял, упиваясь своей победой, однако Игберг был мрачнее тучи: его превзошел его собственный ученик. Кроме того, у него замерзли ноги и он был страшно голоден; разговоры о еде пробудили дремлющие в нем чувства, которые целый год не давали о себе знать. Они улеглись под елью; Игберг спрятал под голову завернутую в бумагу драгоценную книгу, которую никак не хотел давать Олле, и вытянулся во весь рост. Он был бледен, как

труп, и холоден и спокоен, как труп, утративший всякую надежду на воскресение из мертвых. Он наблюдал, как маленькие птички у него над головой выклеивают зернышки из еловых шишек, роняя на него шелуху, как тучная корова пасется в зарослях ольхи, как поднимается дым из трубы над кухней садовника.

— Олле, тебе хочется есть? — спросил Игберг слабым голосом.

— Нет, не хочется, — ответил Олле, поглядывая голодными глазами на замечательную книгу.

— Хорошо быть коровой, — вздохнул Игберг, сложил руки на груди и отдал душу всемилостивейшему сну.

Когда слабое дыхание Игберга стало более или менее ровным, его бодрствующий друг осторожно, стараясь не потревожить его сон, вытащил у него из-под головы заветную книгу и, перевернувшись на живот, стал поглощать ее драгоценное содержание, совершенно забыв о существовании «Оловянной пуговицы» и «Чугунка».

Глава четвертая **ГОСПОДА И СОБАКИ**

Прошло несколько дней. Двадцатидвухлетняя жена Карла-Николауса Фалька только что напилась кофе, лежа на громадной кровати красного дерева в огромной спальне. Было еще только десять. Ее муж ушел в семь часов утра принимать на причале партию льна; однако молодая женщина позволила себе вольность все утро проваляться в постели, хотя это и противоречило нравам и обычаям дома, вовсе не потому, что была уверена, будто муж не может скоро вернуться. Скорее, ей доставляло удовольствие действовать именно вопреки царящим здесь нравам и обычаям. Она была замужем лишь два года, но уже успела осуществить глубокие реформы в этом старом консервативном мещанском доме, где все было старым, даже прислуга, а власть она обрела еще в те дни, когда ее будущий супруг только объяснился ей в любви и она милостиво дала свое согласие, вырвавшись таким образом из-под ненавистного ей родительского крова, где ей приходилось вставать в шесть часов утра и работать целый день не покладая рук. Она весьма разумно использовала время между обручением и свадьбой; именно тогда она вырвала у мужа все необходимые гарантии, обеспечившие ей право на свободную и независимую жизнь без какого-либо вмешательства с его стороны; правда, эти гарантии заключались в одних лишь клятвах, которые щедро давал страстно влюбленный мужчина, однако она отнюдь не теряла головы и, выслушивая их, все записывала в своей памяти. Напротив, ее муж после двух лет бездетного брака был, пожалуй, склонен забыть свои обязательства не мешать жене спать сколько угодно, пить кофе в постели и так далее; он был настолько бестактен, что не раз напоминал ей, будто вытащил ее из грязи, из ада, принеся себя в жертву, ибо допустил мезальянс: ведь ее отец был всего навсего шкипером. Лежа сейчас в постели, она занималась тем, что

обдумывала, как лучше ответить на эти и тому подобные обвинения, а поскольку за все время их знакомства ее здравый смысл никогда не затуманивало упоение чувств, он неизменно оставался в полном ее распоряжении — и она умела распорядиться им наилучшим образом. Поэтому с неподдельной радостью она услышала звуки, свидетельствующие о том, что ее муж вернулся домой позавтракать. Громко хлопнула дверь в столовую и одновременно раздалось злобное рычание; она спрятала голову под одеяло, чтобы не было слышно, как она смеется. Потом шум шагов донесся из гостиной, и в дверях спальни, не снимая шляпы, появился разъяренный супруг. Его супруга повернулась к нему спиной и ласково позвала:

— Это ты, мой маленький медвежонок? Иди же, иди же ко мне!

Маленький медвежонок (одно из его ласкательных имен, и все они звучали весьма оригинально) не только не захотел подойти, но, оставшись стоять в дверях, закричал:

— Почему не подан завтрак? А?

— Спроси прислугу; не мне же возиться с завтраком! И пожалуйста, дорогой мой муж, снимай шляпу, когдаходишь ко мне.

— Куда ты девала мою ермолку?

— Сожгла! Она такая засаленная, что просто стыдно!

— Сожгла! Впрочем, об этом мы еще поговорим! А почему ты чуть не до полудня валяешься в постели, вместо того чтобы присматривать за прислугой?

— Потому что мне это приятно!

— Неужели я женился на женщине, которой совершенно все равно, что творится у нее в доме?

— Да, именно на такой ты и женился! А почему, по-твоему, я вышла за тебя замуж? Я объясняла тебе тысячу раз: чтобы не работать, и ты мне это клятвенно обещал. Разве не обещал? Отвечай честно: обещал ты мне или не обещал? Теперь видишь, что ты за человек! Такой же, как и все!

— Ну, обещал! Но это было тогда!

— Тогда? Когда тогда? Разве обещания даются не навсегда? Или, может быть, их дают на какой-нибудь определенный сезон?

Супруг слишком хорошо знал цену этой несокрушимой логики; в подобных случаях хорошее настроение любимой супруги оказывало на него такое же сильное действие, как и слезы: он сдался.

— Сегодня вечером я жду гостей, — объявил он.

— Вот как? Мужчин?

— Конечно! Женщин я не выношу!

— Ты уже все купил для стола?

— Нет, это сделаешь ты!

— Я? У меня нет денег на гостей! А тратить деньги, которые мне нужны для расходов по хозяйству, я не стану.

— Не для расходов по хозяйству они тебе нужны, а чтобы тратить их на туалеты и прочую ненужную дрянь.

— Значит, ты называешь ненужной дрянью все, что я для тебя делаю? Значит, и колпачок для твоей трубки тебе не нужен? А может быть, и туфли тебе не нужны? Ну? Так отвечай же?

Она всегда умела формулировать свои вопросы таким образом, чтобы ответы на них оборачивались погибелью для ее собеседника. В этой области семейной жизни ее муж прошел хорошую школу. И поскольку он не хотел себе погибели, то постарался поскорее изменить тему беседы.

— У меня действительно есть повод, — сказал он с некоторым волнением в голосе, — пригласить вечером гостей; мой старый друг Фриц Левин из почтового ведомства после девятнадцати лет усердной службы из сверхштатных служащих переведен в штатные... сообщение об этом во вчерашнем вечернем выпуске «Почтовой газеты». Но если тебя это не устраивает — а ведь ты знаешь, что я все делаю, как ты захочешь, — то не буду настаивать и приму Левина и магистра Нистрёма внизу, в конторе.

— Так, значит, этот растяпа Левин стал штатным? Вот хорошо! Может быть, теперь он вернет тебе все те деньги, которые за-должал.

— Ну конечно вернет.

— Только скажи на милость, зачем тебе нужен этот растяпа Левин? И этот магистр? Ну как есть оба настоящие обрванцы.

— Послушай, старушка, я ведь не лезу в твои дела, а уж ты не вмешивайся, пожалуйста, в мои.

— Если ты собираешься принимать своих гостей внизу, то почему бы мне не принять моих наверху?

— Ради бога, принимай кого хочешь!

— Правда? Тогда пойдй сюда, мой маленький медвежонок, и дай мне немного денег.

Медвежонок, весьма довольный достигнутым соглашением, охотно выполнил приказание жены.

— Сколько тебе нужно? У меня сегодня туго с деньгами.

— Пятидесяти хватит.

— Ты что, спятила?

— Спятила или нет, но дай мне столько, сколько я прошу; ты ходишь по кабакам, ешь и пьешь сколько влезет, а мне — голодать?

Тем не менее мир был заключен, и, к обоюдному удовольствию, супруги расстались. Теперь он может не есть невкусный завтрак, приготовленный дома, он позавтракает в каком-нибудь кафе; он избавлен от необходимости есть противный суп в компании баб, которых стеснялся, потому что слишком долго был холостяком; и ему не в чем упрекнуть себя, уж во всяком случае не в том, что его жена остается одна — у нее самой будут гости, и она почти хотела, чтобы он не докучал ей — и все это ему обошлось всего в пятьдесят риксдалеров!

Когда муж ушел, жена позвонила горничной, из-за которой сегодня так долго провалялась в постели, поскольку та заявила, что в этом доме принято вставать в семь часов утра. Потом она приказала принести бумагу и перо и написала ревизорше Хуман, жившей напротив, записку следующего содержания:

«Дорогая Эвелина!

Приходи вечером на чашку чая, и мы поговорим об уставе нашего общества «За права женщины». Быть может, имеет смысл устроить благотворительный базар или любительский спектакль. Мне бы действительно очень хотелось учредить такое общество; ты права, в нем назрела глубокая необходимость, и я чувствую это всем сердцем. Как ты полагаешь, не окажет ли мне ее милость честь своим посещением или я первая должна нанести ей визит? Заходи за мной часов в двенадцать, пойдем в «Берген» пить шоколад. Мой муж ушел.

Твоя Эжени.

P. S. Мой муж ушел».

Затем она встала и оделась, чтобы к двенадцати часам быть готовой.

* * *

Наступил вечер. Когда часы на Немецкой церкви пробили семь, Восточную улицу уже окутали сумерки. Лишь бледная полоска света из переулка Феркенс-грэнд пробивалась в торговое заведение Фалька, которое запирал Андерссон. В конторе было уже подметено и прибрано, закрыты ставни и зажжен газ. Возле дверей гордо стояли две корзины, из которых торчали горлышки бутылок, украшенные красным и желтым лаком, оловянной фольгой и даже розовой шелковой бумагой. Посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью; на нем — чаша для пунша старинной работы, привезенная из Ост-Индии, и тяжелый многолапый серебряный канделябр. По комнате взад и вперед прохаживался Карл-Николаус Фальк. Он надел черный сюртук, и вид у него был не только весьма внушительный, но и вполне довольный. Он имел право на приятный вечер; он сам оплатил и сам подготовил его; он был у себя дома, и его не стесняли никакие бабы, а его гости принадлежали к той породе людей, от которых он чувствовал себя вправе требовать не только внимания и почтительности, но и кое-чего побольше. Гостей, правда, будет всего двое, но Карл-Николаус не любил больших скоплений народа; это его друзья, надежные и преданные, как собаки, смиренные и покорные, очень удобные, всегда готовые польстить ему и никогда не противоречащие. Конечно, за свои деньги он мог бы собирать и более изысканное общество, что он и делал дважды в год, приглашая старых друзей своего отца, но, откровенно говоря, он был слишком большой деспот, чтобы ему это доставляло удовольствие.

Однако часы показывали уже три минуты восьмого, а гости все не появлялись. Фальк начал проявлять признаки раздражения. Он привык, чтобы, когда он созывает своих людей, они являлись точно в назначенное время. Еще какую-то минуту его терпенье питала мысль о потрясающем великолепии предстоящего приема, и тут в комнату вошел нотариус Фриц Левин из почтового ведомства.

— Добрый вечер, мой дорогой брат... Нет, не может быть! — И он даже перестал расстегивать пальто, сняв очки и изобразив

крайнее изумление, якобы вызванное необыкновенной роскошью стола, словно он вот-вот упадет от восторга в обморок. — Канделябр на семь свечей и дарохранильница! Господи, господи! — воскликнул он, увидев корзины с бутылками.

Тот, кто, извергая поток хорошо заученных восторженных похвал, снимал сейчас пальто, был человеком средних лет и принадлежал к тому типу чиновников королевской администрации, что был в моде лет двадцать назад; он носил усы, образующие единое целое с бакенбардами, волосы на косой пробор и *coop-de-vent*¹. Он был бледен как полотно, худ как соломина, одет довольно элегантно, но казалось, будто его все время знобит и тайком он водит знакомство с нищетой.

Фальк приветствовал его грубовато и с видом превосходства, словно хотел сказать, что, во-первых, презирает лесть, особенно со стороны гостя, а во-вторых, гость этот имеет право на его доверие и дружбу. Он считал, что в данном случае самым лучшим поздравлением будет установление связи между повышением Левина по службе и королевскими полномочиями на должность капитана гражданской гвардии, которые в свое время обрел отец.

— Да, как приятно, наверное, получить королевские полномочия! Верно? У моего отца тоже ведь были королевские полномочия...

— Прости, братец, но у меня вовсе не королевские.

— Королевские или не королевские — какая разница! Ты что, вздумал меня учить? У моего отца тоже были королевские полномочия...

— Уверю тебя, братец!

— Уверю! В чем же ты меня уверяешь? Ты хочешь сказать, что я лгу. Да? Ты на самом деле думаешь, что я лгу?

— Ни в коем случае! Ради бога, перестань горячиться!

— Значит, ты признаешь, что я не лгу, и, следовательно, у тебя есть королевские полномочия. Чего же ты тогда мелешь вздор! Мой отец...

Бледнолицый чиновник, у которого уже в дверях был такой вид, будто за ним гонятся все фурии ада, теперь бросился к своему благодетелю с твердой решимостью закончить деловую часть визита как можно скорее, до начала пиршества, чтобы потом есть и пить со спокойной душой.

— Помоги мне, — простонал он, как утопающий, вытаскивая долговое обязательство из нагрудного кармана.

Фальк сел на диван, позвал Андерссона, приказал ему вытащить из корзины бутылки и начал готовить пунш. Затем он ответил своему бледнолицему другу:

— Помочь? Разве я не помогал тебе? Разве не занимал ты у меня денег несчетное число раз, нисколько не заботясь о том, чтобы вернуть долг? А? Разве я тебе не помогал? Так или не так?

— Мой дорогой брат, я прекрасно знаю, что ты всегда был добр ко мне.

¹ Дословно: порыв ветра (*фр.*).

— Так разве тебя не повесили в чине? Ведь ты теперь штатный. И все пойдет как по маслу. Ты заплатишь все долги и начнешь новую жизнь. Я слышу это уже восемнадцать лет. Сколько ты теперь получаешь?

— Тысячу двести риксдалеров вместо восьмисот, которые мне платили до сих пор; но все не так-то просто. Назначение на должность стоит сто двадцать пять, отчисления в пенсионную кассу составляют пятьдесят, итого — сто семьдесят пять риксдалеров, а где их взять? Но что хуже всего, мои кредиторы забирают у меня половину оклада, так что теперь мне остается на жизнь всего шестьсот риксдалеров, вместо восьмисот, которые у меня были раньше; вот чего я дождался девятнадцать лет — и дождался. Как приятно быть штатным!

— Ну, а зачем ты влезал в долги? Не надо влезать в долги. Никогда... не надо... влезать...

— А что делать, если многие годы получаешь какую-то сотню риксдалеров.

— Смени место работы. Впрочем, меня это не касается! Не... касается!

— Ты не подпишешь мне долговое обязательство в последний раз?

— Ты знаешь мои принципы, я никогда не подписываю долговых обязательств. И кончим с этим раз и навсегда!

Для Левина, по-видимому, отказ, сделанный в такой форме, не был чем-то непривычным, и он сразу успокоился. Внезапно появился Нистрём и весьма кстати прервал этот разговор. Он был сухощав, внешность его казалась такой же загадочной, как и возраст; род занятий тоже представлялся загадкой; говорили, что он учителем в школе в одном из южных районов города, но в какой именно школе, никто его не спрашивал, а сам он не был склонен распространяться на этот счет. В круг обязанностей, которые он выполнял в доме Фалька, входило: во-первых, в присутствии посторонних именоваться магистром, во-вторых, вести себя смиренно и учтиво, в-третьих, время от времени занимать у Фалька деньги, но максимум пятерку, ибо одной из духовных потребностей Карла-Николауса было принимать людей, которые просят у него в долг, естественно, совсем немного, и, в-четвертых, по торжественным случаям писать стихи, что было отнюдь не наименее ответственной из его обязанностей.

И вот Карл-Николаус Фальк сидел посередине кожаного дивана, ибо никто не должен был забывать, что это все-таки его диван, в окружении своего генерального штаба, или, если можно так выразиться, в окружении своих собак. Левину все представлялось великолепным: чаша для пунша, бокалы, разливательная ложка, сигары (из коробки, которую принесли с камина), спички, пепельницы, бутылки, пробки — все. У магистра был вполне довольный вид: ему не обязательно было разговаривать, потому что этим занимались другие, а лишь присутствовать при сем, чтобы в случае необходимости выступить свидетелем.

Фальк поднял первый бокал и выпил... за кого, этого так никто и не узнал, но магистр решил, что за героя дня, и, вытащив из кармана стихи, без промедления начал читать «Фрицу Левину, ставшему штатным».

Но на Фалька почему-то вдруг напал сильный кашель, который самым пагубным образом отразился на чтении стихов, и наиболее остроумные строки не имели того эффекта, на какой мог рассчитывать автор; однако Нистрём, как человек неглупый, предусмотрел подобную возможность и вплел в художественную ткань произведения изящно задуманную и не менее изящно изреченную мысль о том, что «ничего бы Фриц Левин добиться не смог, если б Карл Фальк ему не помог!». Этот тонкий намек на многочисленные маленькие займы, которые Фальк предоставлял своему штатному другу, оказался настолько целительным, что кашель прекратился, и уже можно было разобрать последнюю строфу, которую автор совершенно бестактно посвятил Левину, каковой просчет снова грозил разрушить гармонию, обретенную обществом. Фальк снова вылил в себя бокал, словно выпил чашу, до краев наполненную неблагодарностью.

— Нистрём, сегодня у тебя получилось хуже, чем обычно! — сказал он.

— Да, да, в твой день рождения, когда тебе исполнилось тридцать восемь, у него вышло гораздо интересней, — поддержал своего господина Левин, быстро сообразивший, в чем дело.

Фальк тщательно обшарил взглядом сокровеннейшие уголки его души, словно стараясь обнаружить, не затаились ли там коварство и измена, но поскольку он был слишком горделив, чтобы уметь видеть, то ничего и не увидел. И тогда он сказал:

— Совершенно с тобой согласен. Ничего забавнее тех стихов мне никогда не доводилось слышать; это было так здорово, что их вполне можно было и напечатать; тебе следовало бы издавать свои произведения. Послушай-ка, Нистрём, ты ведь наверняка помнишь эти стихи наизусть, а?

У Нистрёма была очень скверная память, а сказать по правде, он считал, что они выпили еще слишком мало, чтобы так грубо насиловать хотя бы самую элементарную скромность и хороший вкус; во всяком случае, он попросил дать ему отсрочку; однако Фальк, взбешенный этим молчаливым сопротивлением, ибо он уже слишком далеко зашел в своих притязаниях, чтобы так сразу отступить, упорно настаивал на своем. Он даже высказал предположение, что переписал эти стихи, порывшись в бумажнике — да, так оно и есть, — они там и оказались. Скромность вовсе не мешала ему прочесть вслух эти вирши самому, потому что он уже делал это великое множество раз, но они звучали гораздо лучше в чужом исполнении. Бедный пес отчаянно грыз свою цепь, но она крепко держала его. Он был тонко чувствующей натурой, этот несчастный магистр, но, чтобы иметь возможность распорядиться драгоценным даром жизни, он должен был стать грубым, и он стал грубым, беззащитно грубым. Он обнажал все самые интимные человеческие отношения, высмеивал все, что так или иначе было связано с рождением, воспитанием и

жизненным поприщем этого тридцативосьмилетнего новорожденного, высмеивал так грубо, что это могло бы вызвать отвращение у Фалька, но только при том условии, если бы речь шла о ком-нибудь другом; в данном случае все было великолепно, поскольку объектом внимания служила его собственная персона. Когда чтение стихов закончилось, гости стали пить за здоровье Фалька, восторженно поднимая тост за тостом, ибо прекрасно сознавали, что оставались еще слишком трезвыми, чтобы свободно управлять своими чувствами.

Потом пунш убрали и принесли роскошный ужин, состоявший из устриц, дичи и всякой прочей снеди. Фальк ходил вокруг стола, обнюхивая закуски, что-то отсылал обратно на кухню, следил, чтобы английский портер был хорошо охлажден и все вина тоже охлаждены или подогреты до надлежащей температуры. Теперь настал черед для его собак послужить и сыграть для него приятный спектакль. Когда все было готово, он вынул из кармана золотые часы и, держа их в руках, обратился к гостям с шутивным вопросом, к которому они уже так привыкли, так привыкли:

— Господа, сколько сейчас на ваших серебряных?

Угодливо улыбаясь, как того требовала процедура, они дали раз и навсегда заученный ответ: их часы у часовщика. Это привело Фалька в отличное расположение духа, и он отнюдь не неожиданно изрек:

— Зверей кормят в восемь часов!

После этого он сам наполнил водкой три рюмки, одну взял себе и предложил остальным сделать то же.

— Я начинаю, раз вы сами никак не хотите начать! Без церемоний, ребята! Лопай кто во что горазд!

И кормление началось. Карл-Николаус, который не особенно проголодался, с большим удовольствием созерцал голодные физиономии своих гостей и, осыпая их шлепками и оскорблениями, понуждал как можно энергичнее браться за еду. Когда он увидел, с каким усердием они работают ножами и вилками, бесконечно благодатная улыбка озарила его светлый солнечный лик, и трудно было понять, чему он радуется больше: тому ли, что они так хорошо едят, или тому, что они такие голодные. Словно кучер на козлах, он щелкал кнутом, подгоняя их:

— Ешь, Нистрём! Кто знает, когда тебе еще придется поесть! Наворачивай, нотариус, тебе совсем не лишне нарастить немного мяса на костях. Ты что пялишься на устриц, или они тебе не по вкусу? А? Скушай еще одну! Да ты ешь, не смущайся! Не можешь больше? Что за чепуха! Ну! Давайте-ка по второй! И пиво пейте, ребята! А ты возьми-ка еще лососины! Черт побери, ты обязательно должен съесть еще кусочек лососины! Ешь, черт побери! Сколько ни съешь, все равно не тебе платить.

Когда разрешили и разложили по тарелкам дичь, Карл-Николаус торжественно наполнил бокалы красным вином, и гости тотчас же примолкли в тревожном ожидании застольной речи. Между тем хозяин поднял бокал, понюхал его и с глубокой серьезностью в голосе приветствовал своих друзей следующим образом:

— Ваше здоровье, свиньи!

Нистрём с благодарностью принял тост и, подняв в ответ бокал, выпил его, однако Левин к своему бокалу не притронулся, сидя с таким видом, будто точит в заднем кармане нож.

Когда трапеза уже близилась к концу и Левин чувствовал, что вдоволь наелся и напился, а голову ему туманили винные пары, он вдруг ощутил некое опасное стремление к независимости, и в нем неожиданно-негаданно проснулась жажда свободы. Голос у него сразу же стал более звучным, слова он произносил более уверенно, а двигался легко и свободно.

— Давай сюда сигару, — приказал он хозяину, — только хорошую сигару! Не какую-нибудь там дрянь!

Карл-Николаус, который принял это высказывание за удачную шутку, послушно выполнил приказание.

— Что-то я не вижу здесь твоего брата! — небрежно заметил Левин.

В его голосе было что-то зловещее и угрожающее; Фальк это почувствовал, и настроение у него сразу же испортилось.

— Его нет, — ответил он коротко, но как-то неопределенно.

Левин немного помедлил, прежде чем нанести следующий удар. Одним из самых прибыльных его занятий было, как говорится, совать свой нос в чужие дела, переносить сплетни, сеять там и сям семена раздора, чтобы потом выступать в благодарной роли посредника и миротворца. В результате, манипулируя людьми, как куклами, он стал влиятельной и опасной личностью. Фальк тоже ощущал на себе это тягостное влияние и хотел бы освободиться от него, но не мог, потому что Левин посредством всевозможных уловок умел раздражить его любопытство, а поскольку Левин всегда делал вид, будто ему известно гораздо больше, чем он знал на самом деле, то таким образом выманивал у людей их тайны.

И вот теперь кнут попал в руки Левина, и тот поклялся, что вволю поедит на своем угнетателе. Пока что он только щелкал кнутом в воздухе, но Фальк каждую минуту ждал удара. Он попытался переменить тему беседы. Предложил еще выпить, и они выпили. Левин становился все бледнее и спокойнее, но все больше пьянел. Он играл со своей жертвой.

— У твоей жены сегодня гости, — заметил он безразличным тоном.

— Откуда ты знаешь? — обеспокоенно спросил Фальк.

— Я все знаю, — ответил Левин, оскалив зубы.

И он действительно знал все или почти все. Его деловые связи были столь обширны, что он целыми днями бегал по городу, умудряясь многое услышать: то, что говорилось и в его присутствии, и в присутствии других людей.

Между тем Фальк по-настоящему испугался, без видимой на то причины, и решил отворотить нависшую над ним опасность. Он стал любезным, почти покорным, но Левин держался все смелее и смелее. В конце концов, хозяину ничего не оставалось, как произнести речь и напомнить о причине, послужившей истинным поводом для по-

требления такого несметного количества еды и вина, короче говоря, отдать должное виновнику торжества. У него, не было другого выхода; правда, он не умел произносить речи, но чему быть, того не миновать! Он постучал по чаше с пуншем, наполнил бокал и постарался припомнить речь, которую когда-то произнес его отец, когда Карл-Николаус начал самостоятельную жизнь; потом он поднялся с места и стал медленно, очень медленно говорить:

— Господа! Вот уже восемь лет, как я живу совершенно самостоятельно; тогда мне было всего тридцать.

Поднимаясь, он резко изменил положение тела, и это вызвало сильный прилив крови к голове; он смутился, а презрительные взгляды Левина окончательно сбили его с толку. Он совсем растерялся, и число тридцать вдруг показалось таким невероятно большим, что он пришел в изумление...

— Я сказал тридцать? Я имел в виду... не это. Я ведь тогда стажировался у отца... много лет, я сейчас... не могу точно припомнить... сколько. М-да. Вспоминать все, что я пережил и испытал за эти годы, — дело чересчур долгое, но уж такова человеческая судьба. Вы, может быть, думаете, что я эгоист...

— Послушайте! — простонал Нистрём, уронив на стол усталую голову.

Левин пустил в оратора струю дыма, словно плюнул в него.

Фальк, окончательно опьяневший, продолжал говорить, а взгляд его блуждал в поисках далекой цели, которую ему никак не удавалось достичь.

— Человек эгоистичен, это мы знаем все. М-да. Мой отец, который сказал речь в тот день, когда я начал самостоятельную жизнь, как я уже говорил...

Тут оратор вытащил свои золотые часы и снял их с цепочки. Оба его слушателя широко раскрыли глаза. Неужели он решил сделать Левину такой щедрый подарок?

— Так вот, мой отец передал мне тогда эти часы, которые получил от своего отца в тысяча...

Опять эти проклятые цифры, надо немного вернуться назад...

— Эти золотые часы, господа, я получил от отца, и никогда... не могу... без волнения думать о той минуте... Может быть, вы полагаете, господа, что я эгоист? Я не эгоист. Конечно, нехорошо говорить о себе самом, но раз мы собрались по такому важному поводу, непременно хочется оглянуться назад... бросить взгляд в прошлое. Я только расскажу вам об одном маленьком обстоятельстве.

Он совсем забыл о Левине, забыл, почему они здесь собрались, и вдруг решил, что это мальчишник. Но тут перед его глазами вдруг возникла утренняя встреча с братом, и он тотчас вспомнил о своем триумфе. Ему захотелось поведать своим гостям об этом триумфе, но он не мог вспомнить никаких подробностей, кроме одной: он неопровержимо доказал брату, что тот мошенник; вся цепь доказательств полностью выпала из его памяти, осталось лишь два факта: брат и мошенник; он старался как-то увязать их воедино, но они упрямо разбежались в разные стороны. Его мозг лихорадоч-

но работал, и перед его мысленным взором появлялись все новые картины. Он испытывал неодолимую потребность рассказать о каком-нибудь своем великодушном поступке и вспомнил, что утром дал жене денег, разрешил ей спать сколько вздумается и пить кофе в постели, но едва ли сейчас стоило об этом говорить; он оказался в очень трудном положении и опомнился, лишь почувствовав страх от внезапно наступившей тишины и неотрывно устремленных на него глаз. До него дошло, что он все еще стоит с часами в руках. Часы? Откуда они взялись? Почему эти люди сидят, а он стоит? Ах, вот оно что, он рассказывал им о часах, и теперь они ждут продолжения его рассказа.

— Эти часы, господа, не представляют никакой ценности. Это ведь всего-навсего французское золото.

Оба бывших обладателя серебряных часов вытарашили глаза. Вот так новость!

— И полагаю, что они только на семи камнях... Нет, их никак не назовешь хорошими... скорее даже это дрянные часы!

Он вдруг обозлился по какой-то скрытой причине, которую вряд ли осознал его мозг, и ему непременно нужно было сорвать на чем-нибудь свою злость. Он ударил часами по столу и закричал:

— Это чертовски дрянные часы, понятно? А вы слушайте, когда я говорю! Ты что, не веришь мне, Фриц? Отвечай! Уж очень у тебя фальшивый вид. Ты мне не веришь! Я по твоим глазам вижу, Фриц, что ты мне не веришь! Кто-кто, а я разбираюсь в людях. Ведь мне ничего не стоит еще раз поручиться за тебя. Либо лжешь ты, либо — я. Послушай, хочешь, я докажу, что ты мошенник? М-да! Слышишь, Нистрём? Если... я... напишу ложное свидетельство, значит, я мошенник?

— Ну конечно, черт побери, ты мошенник, — моментально ответил Нистрём.

— Да!.. М-да!

Он тщетно пытался припомнить, не подписывал ли Левин какого-нибудь ложного свидетельства или вообще какого-нибудь свидетельства, но ничего подобного тот не совершил. Между тем Левин уже устал и боялся, что жертва его окончательно утратит здравый смысл, а у него самого совсем не останется сил, чтобы насладиться решающим ударом, который он намеревался нанести. Поэтому он прервал Фалька шуткой в духе самого Фалька:

— За твое здоровье, старый мошенник!

И тотчас пустил в ход свой кнут. Вытащив из кармана газету, он спросил Фалька с напускным равнодушием:

— Ты читал «Знамя народа»?

Фальк пристально посмотрел на бульварную газетенку, но промолчал. Незбежное должно было вот-вот совершиться.

— Здесь напечатана небезынтересная статейка о «Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Фальк побледнел.

— Говорят, ее написал твой брат!

— Это ложь! Мой брат не газетный писака! Во всяком случае, это не *мой* брат!

— К сожалению, ему это даром не прошло. Его прогнали со службы.

— Ты лжешь!

— Не лгу! Между прочим, я видел его сегодня около полудня с одним проходившем в «Оловянной пуговице». Ужасно жалко парня!

Да, ничего более страшного не могло случиться с Карлом-Николаусом Фальком. Его опозорили. Его честное имя и имя его отца... Все, чего его почтенные предки добились, теперь пошло прахом. Если бы ему вдруг сказали, что умерла его жена, он как-нибудь пережил бы утрату, потеря денег — тоже дело поправимое. Узнай он, что его друзья Левин или Нистрём попали в тюрьму за подлог, он просто бы отсекся от них, заявив, что никогда не был с ними знаком, потому что никогда ни с одним из них не появлялся вне стен своего дома. Но родство со своим братом он не мог отрицать. Брат опозорил его; от этого никуда не уйти!

Левин не без удовольствия поведал Фальку эту грустную историю; дело в том, что Карл-Николаус, который ни разу доброго слова не сказал своему брату, любил похвастаться им и его достоинствами перед своими друзьями. «Мой брат — ассессор! Гм! Это голова! Вот увидите, он далеко пойдет». Левина раздражали эти постоянные косвенные уколы, на которые не скупился Карл-Николаус, тем более что он делал четкое различие между нотариусами и ассессорами, хотя и не мог сформулировать, в чем оно заключается.

Не пошевелив пальцем и без всяких лишних затрат Левин так здорово отомстил своему обидчику, что теперь решил проявить великодушие и взять на себя роль утешителя.

— Ну, не принимай все это так близко к сердцу. Ведь можно оставаться человеком, даже если ты газетчик; что же касается скандала, то дело обстоит вовсе не так уж плохо. Если не затронуты отдельные личности, это еще не скандал; к тому же статья написана очень живо и остроумно — ее читает весь город.

Эта последняя утешительная пилюля привела Фалька в ярость.

— Он украл мое доброе имя, мое имя! Как я завтра покажусь на бирже? Что скажут люди!

Под людьми Карл-Николаус, в сущности, подразумевал свою жену, которая, вне всякого сомнения, очень обрадуется случившемуся, ибо отныне их брак уже не будет мезальянсом. Жена окажется ничем не хуже его, станет равной ему по положению! — эта мысль приводила Фалька в бешенство. Его охватила неугасимая ненависть ко всему человечеству. Был бы он хотя бы отцом этого прощельяги, тогда бы он мог по крайней мере воспользоваться высоким правом отца и, предав его проклятью, благополучно умыть руки, освободившись от тяжкого бремени, — но он никогда не слышал, чтобы брат проклинал брата!

Может быть, он сам, Карл-Николаус, виноват в своем бесчестье? Может быть, он допустил насилие, подавив природные склонности брата, когда тот выбирал свой жизненный путь? Или

виной всему скандал, который он устроил брату утром? Или безденежье, в которое брат попал по его милости? Его, Карла-Николауса Фалька? Это он всему виной? Нет! Он никогда в жизни не совершал подлых поступков; он чист перед богом и людьми, пользуется почетом и уважением, не пишет скандальных статей, его не выгоняли с работы; разве у него не лежит в кармане свистельство о том, что он хороший друг и у него доброе сердце, разве магистр не прочитал этого вслух? Ну, конечно, прочитал! И Карл-Николаус взялся за выпивку — всерьез, — но вовсе не для того, чтобы заглушить упреки совести, в этом не было необходимости, ибо он не совершил ничего дурного; он просто хотел подавить свой гнев. Но ничто не помогало, гнев кипел и клокотал, выплескиваясь через край, и обжигал тех, кто сидел рядом.

— Пейте, негодяи! А этот болван сидит себе и спит! И это называется друзья! Разбуди-ка его, Левин! Ну, давай!

— Ты на кого кричишь? — злобно спросил оскорбленный Левин.

— На тебя, конечно!

Они обменялись взглядами, не предвещавшими обоим ничего хорошего. Фальк, который пришел в несколько лучшее расположение духа, увидев, что гость рассвирепел, зачерпнул полную ложку пунша и вылил на голову магистру, так что пунш потек ему за воротник рубашки.

— Не смей этого делать! — сказал Левин решительно и грозно.

— А кто мне помешает, хотел бы я знать?

— Я! Да, именно я! Я не позволю тебе безобразничать и портить его одежду!

— *Его* одежду! — захохотал Фальк. — *Его* одежду! Да разве это не мой пиджак, разве он получил его не от меня?

— Ну, это уж слишком... — сказал Левин, поднимаясь, чтобы уйти.

— А теперь ты уходишь! Наелся, пить не можешь, и вообще сегодня я тебе больше не нужен: так не соизволишь ли взять займы пятерку? А? Не окажешь ли мне честь занять у меня немного денег? Или, может быть, подписать тебе долговое обязательство? Ну как, подписать?

При слове «подписать» Левин насторожил уши. Вот если бы удалось застать его врасплох, когда он весь пребывает в расстроенных чувствах! При этой мысли Левин смягчился.

— Будь справедлив, брат мой, — вернулся он к прерванному разговору. — Я вовсе не неблагодарное существо, как ты, наверное, подумал, и высоко ценю твою доброту; я беден, так беден, как ты даже представить себе не можешь, и перенес такие унижения, какие тебе и во сне не снились, но я всегда считал тебя своим другом. Я говорю «друг» и именно это имею в виду. Ты немного выпил сегодня и расстроен и потому несправедлив ко мне, и тем не менее я завещаю вас, господа, что нет сердца добрее, чем у тебя, Карл-Николаус! И я говорю об этом не впервые. Спасибо тебе за те знаки внимания, которые ты нам оказал, и, конечно, за роскошные яства, которыми ты нас угощал, и за великолепные вина, лившиеся рекой. Я благода-

рю тебя, мой брат, и пью за твое здоровье. Твое здоровье, брат Карл-Николаус! Спасибо, сердечное спасибо! Твои благодеяния не пропадут даром! Когда-нибудь ты вспомнишь мои слова!

Эта речь, произнесенная дрожащим от волнения (душевного волнения) голосом, произвела на Фалька, как это ни странно, сильное впечатление. Настроение его сразу изменилось к лучшему; разве ему не сказали в который уже раз, что у него доброе сердце? Он верил этому. Их опьянение перешло теперь в ту стадию, когда человек становится сентиментальным. Они стали как-то ближе друг другу, роднее, наперебой говорили о том добром и хорошем, что было заложено в них от природы, о мировом зле, о теплоте чувств и чистоте намерений; они держали друг друга за руки. Фальк говорил о своей жене, о том, как хорошо он к ней относится; жаловался на духовную бедность своей профессии, на то, как глубоко чувствует недостаток образования, как бесцельно прожита его жизнь; после Десятой рюмки ликера он признался Левину, что когда-то собирался посвятить себя религиозной деятельности, да-да, хотел стать миссионером. Их охватило воодушевление. Левин рассказал о своей покойной матери, о ее кончине и погребении, о своей отвергнутой любви и, наконец, о своих религиозных убеждениях, «о которых никогда не говорил с кем попало», и они перешли к вопросам религии. Было уже между часом и двумя ночи, Нистрём преспокойно спал, положив голову и руки на стол, а они все говорили и никак не могли наговориться. Контору заволакивал табачный дым, от которого едва были видны язычки газового пламени; семь свечей канделябра давно догорели, и теперь стол имел весьма неприглядный вид. Несколько бокалов остались без ножек, вся в пятнах, скатерть была усыпана сигарным пеплом, по полу были разбросаны спички. Сквозь отверстия в ставнях в комнату пробивался свет и, протыкая своими длинными лучами облака табачного дыма, рисовал какие-то диковинные кабалистические знаки на скатерти между двумя ревностными поборниками веры, которые усердно редактировали текст Аугсбургского исповедания. Они уже не говорили, а шипели, их мозг отупел, слова звучали отрывисто и сухо, оживление ушло, и, несмотря на все их попытки снова разжечь огонек беседы и довести себя до экстаза, он все угасал и угасал, воодушевление улетучилось, и, хотя какие-то лишённые смысла слова еще срывались с их губ, скоро потухла и последняя искра; их парализованный мозг, который теперь работал как юла, крутящаяся, лишь пока ее подхлестывают, замедлил свое движение и, наконец, беспомощно застыл на месте. Ясной оставалась одна-единственная мысль: если они не хотят вызвать друг у друга отвращение, нужно уходить и ложиться спать; сейчас каждый из них нуждался в уединении.

Разбудили Нистрёма. Левин обнял Карла-Николауса, ухитрившись засунуть при этом себе в карман три сигары. Они только что беседовали о слишком высоких материях, чтобы вот так сразу спуститься с облаков и заговорить о долговых обязательствах. Они распрощались, хозяин проводил гостей — и остался один! Он открыл ставни, в комнате стало светло; отворил окно, и со стороны

моря, через узкий переулок, одна сторона которого была озарена лучами восходящего солнца, в комнату ворвался поток свежего воздуха. Часы пробили четыре, этот тихий, странный бой слышит лишь тот страдалец, что на бессонном ложе печали или болезни нетерпеливо ожидает наступления утра. Даже Восточная улица, улица грязи, порока и драк, сейчас казалась тихой, уединенной, чистой. Фальк почувствовал себя глубоко несчастным. Он опозорен и он одинок! Закрыв окно и ставни, он обернулся, увидел царящий в комнате разгром и принялся за уборку: подобрал сигарные окурки и бросил их в камин, убрал со стола, подмел пол, вытер пыль и поставил каждую вещь на свое место. Потом вымыл лицо и руки и причесался; полицейский принял бы его сейчас за убийцу, который старается замести следы преступления. Но, совершая эти действия, он все время неотступно думал — целеустремленно, ясно и отчетливо. И когда он привел в порядок и комнату, и самого себя, то принял решение, которое уже хорошо обдумал, а теперь должен был претворить в жизнь. Он смое позор со своего имени, возвысится над людьми, добьется известности и власти; он начнет новую жизнь; он во что бы то ни стало восстановит свое доброе имя и придаст ему еще больший блеск. Он знал, что только ценой невероятных усилий сможет оправиться от нанесенного ему сегодня удара; честолюбие долго дремало в его душе; его разбудили — и он, Карл-Николаус Фальк, к бою готов.

Он уже совсем протрезвел, зажег сигару, выпил рюмку коньяку и поднялся наверх, осторожно и тихо, чтобы не разбудить жену.

Глава пятая

У ИЗДАТЕЛЯ

Первую попытку Арвид Фальк решил предпринять, обратившись к всемогущему Смиуту, который взял это имя, придя в бешеный восторг от всего американского, когда в дни своей юности совершил небольшую поездку по этой великой стране, к грозному тысячерукому Смиуту, способному всего за двенадцать месяцев сделать писателя даже из очень скверного материала. Этот метод был всем известен, но никто не решался им воспользоваться, потому что он требовал беспримерного бесстыдства. Писатель, который попадал под эгиду Смиута, мог быть совершенно уверен в том, что тот сделает ему имя, и поэтому вокруг Смиута всегда кружил рой писателей без имени. В качестве примера того, каким он был пробивным и неодолимым и как умел продвигать людей, не обращая ни малейшего внимания на читателей и критику, приводили следующий эпизод. Один молодой человек, впервые взявшийся за перо, написал плохой роман и отнес его Смиуту. Как это ни странно, Смиуту понравилась первая глава — дальше первой главы он никогда не читал, — и он решил осчастливить мир новым литературным дарованием. Роман напечатали. На оборотной стороне обложки было написано *«Кровь и меч»*. Роман Густава Шёхольма. Это работа молодого многообещающего

автора, имя которого уже хорошо известно и пользуется всеобщим признанием в самых широких читательских кругах и т. д. Глубокое проникновение в характеры... ясность изложения... сила... Горячо рекомендуем этот роман нашим читателям». Книга вышла в свет третьего апреля. А уже четвертого апреля на нее появилась рецензия в довольно популярной столичной газете «Серый плащ», в которой Смигу принадлежало пятьдесят акций. Рецензия заканчивалась следующими словами: «Густав Шёхольм — это уже имя; нам нет нужды завоевывать ему известность, она у него есть, и мы весьма рекомендуем этот роман не только читательской, но и писательской общественности». Пятого апреля о книге писали все столичные газеты, цитируя вчерашнюю рецензию: «Густав Шёхольм — это уже имя; нам нет нужды завоевывать ему известность, она у него есть» («Серый плащ»).

В тот же самый вечер рецензия на роман появилась в «Неподкупном», который вообще никто не читал. Рецензент отмечал, что книга — образчик самой низкопробной литературы, и клялся всеми святыми, что Густав Шёблум (намеренная опечатка) вообще никакое не имя. Но поскольку «Неподкупного» никто не читал, то никто и не узнал, что существует диаметрально противоположное мнение об этой книге. Другие столичные газеты, которые не желали вступать в литературную перепалку с достопочтенным «Серым плащом» и не решались открыто выступить против Смига, высказывались не столь восторженно, но не более того. Они выразили мнение, что если Густав Шёхольм будет работать основательно и усердно, то в будущем, несомненно, составит себе имя.

Несколько дней газеты молчали, но потом во всех, даже в «Неподкупном», жирным шрифтом было напечатано объявление, кричавшее на весь мир: «Густав Шёхольм — это уже имя». А затем в «Н—ском калейдоскопе» появилось письмо одного читателя, который осуждал столичную прессу за суровость в отношении молодых писателей. Возмущенный автор заканчивал свое письмо следующими словами: «Густав Шёхольм — несомненно, гений, что бы там ни доказывали твердолобые доктринеры».

На другой день во всех газетах снова появилось кричащее объявление: «Густав Шёхольм — это уже имя» и т. д. («Серый плащ»), «Густав Шёхольм — гений!» («Н—ский калейдоскоп»). На обложке следующего номера журнала «Наша страна», издаваемого Смитом, было напечатано: «Нам приятно сообщить нашим многочисленным читателям, что *знаменитый* писатель Густав Шёхольм *обещал* для следующего номера журнала свою новую новеллу» и т. д. И такое же объявление появилось в газетах! К рождеству вышел, наконец, календарь «Наш народ». На его титульном листе стояли имена таких писателей, как Орвар Одд, Талис Квалис, Густав Шёхольм и другие. Факт оставался фактом: уже на восьмой месяц у Густава Шёхольма было имя. И публике ничего другого не оставалось, как признать это имя. Войдя в книжный магазин, вы в поисках нужной книги обязательно натыкались на имя Густава Шёхольма, а взяв в руки старую газету, непременно находили в ней набран-

ное жирным шрифтом имя Густава Шёхольма, и вообще трудно было представить себе жизненную ситуацию, в которой вам не бросалось бы в глаза это имя, отпечатанное на каком-нибудь листе бумаги; хозяйки клали его по субботам в корзинки для провизии, служанки приносили из продовольственных лавок, дворники выметали с тротуаров и мостовых, а господа находили у себя в карманах халата.

Зная об огромной власти, которой обладал Смит, наш молодой автор не без трепета взбирался по темной лестнице дома на Соборной горе. Он довольно долго просидел в передней, предаваясь самым горестным размышлениям, но вот, наконец, дверь распахнулась, и из комнаты пулей вылетел молодой человек с выражением отчаяния на лице и бумажным свертком под мышкой. Оробев, Фальк вошел в комнату, где принимал грозный Смит. Сидя на низком диване, седобородый, спокойный и величественный, как бог, он любезно кивнул головой в синей шапочке, так безмятежно посасывая трубку, словно не убил только что человеческую надежду и не оттолкнул от себя несчастного.

— Добрый день, добрый день!

Окинув взглядом небожителя одежду посетителя, он нашел ее вполне приличной, но сесть ему не предложил.

— Меня зовут... Фальк.

— Этого имени я еще не слышал. Кто ваш отец?

— Мой отец умер.

— Умер! Превосходно! Чем могу быть полезен?

Фальк вытащил из нагрудного кармана рукопись и передал ее Смицу; тот даже не взглянул на нее.

— Вы хотите, чтобы я ее напечатал? Это стихи? Да, конечно! А вы знаете, сударь, сколько стоит печать одного листа? Нет, вы этого не знаете!

И он ткнул несведущего чубуком в грудь.

— У вас есть имя? Нет! Может быть, вы проявили себя каким-нибудь образом? Тоже нет!

— Об этих стихах с похвалой отозвались в Академии.

— В какой Академии? В Литературной? В той самой, что издает все эти штучки? Так!

— Какие штучки?

— Ну конечно. Вы же знаете, Литературная академия! В музее у пролива! Верно?

— Нет, господин Смит. Шведская академия, возле биржи.

— Вот оно что! Это где стеариновые свечи? Впрочем, неважно! Кому она нужна! Нет, поймите, милостивый государь, надо иметь имя, как Тегнель, как Эреншлегель, как... Да! В нашей стране было много великих скальдов, имена которых я сейчас просто не могу припомнить; но все равно надо иметь имя. Господин Фальк! Гм! Кто знает господина Фалька? Я, во всяком случае, не знаю, хотя знаком со многими замечательными поэтами. На днях я сказал своему другу Ибсену: «Послушай, И б с е н, — мы с ним на « т ы », — послушай, Ибсен, напиши-ка что-нибудь для моего журнала; заплачу, сколько пожелаешь!» Он написал, я заплатил, но и мне заплатили. Так-то вот!

Сраженный наповал юноша готов был заползти в любую щель и спрятаться там, узнав, что стоит перед человеком, который говорит Ибсену «ты»... Теперь он хотел одного: как можно скорее забрать свою рукопись и убежать куда глаза глядят, как только что убежал другой юноша, убежать далеко-далеко, на берег какой-нибудь большой реки. Смит понял, что посетитель сейчас уйдет.

— Подождите! Вы ведь умеете писать по-шведски, думаю, что умеете! И нашу литературу тоже знаете лучше, чем я! Так, хорошо! У меня идея! Я слышал, что когда-то, давным-давно, были прекрасные писатели, которые творили на религиозные темы: не то при Густаве Эрикссоне, не то при дочери его, Кристине, впрочем, это неважно. У одного из них, я помню, было очень, очень громкое имя; он, кажется, написал большую поэму о делах господних. Если не ошибаюсь, его звали Хокан.

— Вы имеете в виду Хаквина Спегеля, господин Смит. «Дела и отдохновение всевышнего».

— Правда? Ладно! Я подумываю о том, чтобы издать ее. В наше время народ тянется к религии; я это заметил; и мы обязаны дать ему что-нибудь в таком духе. Правда, я уже издавал таких писателей, как, скажем, Герман Франке и Арндт, но Большое благотворительное общество имеет возможность продавать книги дешевле, чем я, вот я и решил выпустить в свет что-нибудь очень хорошее и продать за хорошую цену. Не угодно ли вам, сударь, заняться этим делом?

— Но я не совсем понимаю, в чем заключаются мои обязанности, потому что речь, по-видимому, идет только о переиздании, — ответил Фальк, не решаясь ответить отказом.

— Вот что значит пребывать в блаженном неведении. А кто, по-вашему, будет редактировать текст и вести корректуру? Итак, договорились? Все это делаете вы! Так! Напишем маленькую бумажку? Книга выходит несколькими выпусками. Маленькую бумажку! Дайте мне перо и чернила. Так!

Фальк подчинился; у него не было сил сопротивляться. Смит написал «бумажку», Фальк ее подписал.

— Так! С этим делом мы покончили! Теперь возьмемся за другое! Дайте-ка мне вон ту маленькую книжку, что лежит на полке. На третьей полке! Так! Ну-ка, взгляните. Брошюра! Название: «Der Schutzengel»¹. А вот виньетка! Видите? Ангел с якорем и корабль — полагаю, что это потерпевшая бедствие шхуна! Известно, какую большую роль в жизни общества играет морское страхование. Ведь каждый, хотя бы несколько раз в жизни, посылал какие-то вещи — неважно, много вещей или мало — морем. Верно? Так! А все ли об этом знают? Нет, далеко не все! Отсюда разве не следует, что те, кто знает, должны просветить тех, кто не знает? Так! Мы знаем, вы и я, следовательно, наш долг — просвещать! В этой книге речь как раз идет о том, что, отправляя свои вещи морем, каждый обязан их застраховать! Но книга эта написана плохо! Значит,

¹ «Ангел-хранитель» (нем.).

мы с вами должны написать лучше! Верно? Итак, вы пишете для моего журнала «Наша страна» новеллу на десять страниц, и я требую, чтобы вы каким-то образом употребили в новелле название «Тритон» — это новое акционерное общество, основанное моим племянником, которому я хочу помочь — мы ведь всегда должны помогать своему ближнему, верно? Название «Тритон» нужно повторить дважды, не больше и не меньше, но так, чтобы это не бросалось в глаза! Понятно, милостивый государь?

Фальк чувствовал, что в этом деле есть что-то нечистое, хотя, с другой стороны, предложение Смита не требовало от него никаких сделок с совестью, а кроме того, он получал работу у влиятельного человека, и все это словно по мановению руки, без всяких усилий со своей стороны. Он поблагодарил и согласился.

— Вы знаете объем? Четыре столбца на странице, итого — сорок столбцов по тридцать две строчки в каждом. Так! И напишем, пожалуй, маленькую бумажку.

Смит написал бумажку, и Фальк подписал ее.

— Значит, так! Послушайте, сударь, вы разбираетесь в шведской истории? Загляните еще раз на полку! Там лежит клише, доска! Правее! Так! Вы не знаете, кто эта дама? Говорят, какая-то королева.

Фальк, который сначала не увидел ничего, кроме сплошной черноты, в конце концов разглядел черты человеческого лица и объявил, что, как он полагает, это Ульрика-Элеонора.

— А я что говорил? Хи-хи-хи! Эту колоду принимали за королеву Елизавету Английскую и поместили в одной из книг американской «Народной библиотеки», а я купил ее по дешевке вместе с кучей всякого другого хлама. Теперь она сойдет у меня за Ульрику-Элеонору в *моей* «Народной библиотеке». Какой хороший у нас народ! Как охотно он раскупает мои книги! Значит, так! Хотите написать текст?

Несмотря на свою крайне обостренную совестливость, Фальк не мог усмотреть ничего предосудительного в предложении Смита, и все же, слушая его, он испытывал какое-то неприятное чувство.

— Так! Теперь напишем маленькую бумажку! Шестнадцать страниц малого формата в одну восьмую долю листа по три столбца, двадцать четыре строки на странице. Хорошо!

И снова написали маленькую бумажку! Поскольку Фальк решил, что аудиенция закончена, он изобразил на лице желание получить обратно свою рукопись, на которой Смит все это время сидел. Но тот не захотел выпускать ее из рук, он прочтет ее, но с этим придется немного подождать.

— Вы человек разумный и знаете цену времени. Здесь только что побывал один молодой человек, он тоже приносил стихи — большую поэму, которая, по-моему, никому не нужна. Я предложил ему ту же работу, что и вам, и знаете, что он мне ответил? Он посоветовал мне сделать нечто такое, о чем и не скажешь. Да! И был таков. Этот молодой человек долго не протянет! Прощайте! Прощайте! И беритесь за Хокана Спегеля! Так. Прощайте. Прощайте.

Смит указал чубуком на дверь, и Фальк удалился.

Каждый шаг давался с трудом. Деревянное клише в кармане казалось ужасно тяжелым и тянуло к земле, мешая идти. Он вспомнил о бледном молодом человеке с рукописью под мышкой, который осмелился сказать *такое* самому Смиту, и мысли его приняли несколько тщеславный оборот. Но тут в памяти возникли старые предостережения и советы отцов, а на ум пришла старая басня о том, что всякая работа одинаково достойна уважения, и он устыдился своего тщеславия и, снова став благоразумным, отправился домой, чтобы написать сорок восемь столбцов об Ульрике-Элеоноре.

Времени даром он не терял и в девять часов уже сидел за письменным столом. Набив табаком большую трубку, он взял два листа бумаги, вытер несколько перьев и попытался вспомнить, что ему известно об Ульрике-Элеоноре. Он открыл энциклопедию Экелунда и Фрикселя. Статья под рубрикой *Ульрика-Элеонора* оказалась довольно длинной, но о ней самой не было почти ничего. К половине десятого он исчерпал весь материал, какой содержала эта статья; он написал, когда она родилась, когда умерла, когда вступила на престол и когда от него отреклась, как звали ее родителей и за кем она была замужем. Получилась самая заурядная выписка из церковных книг, и занимала она не более трех страниц: оставалось написать еще тринадцать. Он выкурил несколько трубок подряд. Потом зарылся пером в чернильницу, словно хотел поймать там змея Мидгорда, но не выудил оттуда ничего. Нужно было что-то сказать о ее личности, обрисовать как-то ее характер; он понимал, что должен дать ей какую-то свою оценку, вынести ей тот или иной приговор. Но как поступить: расхвалить ее или разругать? Поскольку ему это было совершенно все равно, то до одиннадцати часов он не мог решиться ни на то, ни на другое. В одиннадцать часов он разругал ее, дописав четвертую страницу: осталось еще двенадцать. Надо было срочно что-то придумать. Он хотел было рассказать о ее правлении, но она не правила, и, следовательно, рассказывать было не о чем. Он написал о государственном совете — одну страницу: осталось одиннадцать; он спас честь Гёрца — одна страница: осталось десять. А он не прошел еще и полдороги! Как он ненавидел эту женщину! Он снова курил и снова вытирал перья. Потом он бросил взгляд в прошлое, сделал небольшой экскурс в историю и, поскольку был раздражен, ниспроверг своего прежнего идола — Карла XII, но все это произошло так быстро, что заняло только одну страницу. Осталось девять! Он двинулся дальше, в глубь времен, взяв в оборот Фредерика I. Полстраницы! Тоскливо смотрел он на лист бумаги, в то место, где было как раз полпути, но добраться туда никак не мог. И все-таки ему удалось сделать семь с половиной страниц из того, что у Экелунда занимало только полторы! Он швырнул клише на пол, затолкал ногой под секретер, потом, поползав по полу, вытащил его оттуда, стер пыль и снова положил на стол. Господи, какая мука! Его душа высохла, как самшитовая палка, он пытался убедить себя в том, во что никогда не верил, старался почувствовать хоть какую-то симпатию к покойной королеве, но ее унылое лицо, вырезанное на дереве, производило на него не больше впечатления, чем он

сам на эту деревяшку. Вот тогда-то, осознав свое ничтожество, бесконечно униженный, он впал в отчаяние. И это поприще он предпочел всем другим. Взяв себя в руки и призвав на помощь все свое благоразумие, он решил заняться ангелом-хранителем. Первоначально эта книжонка предназначалась для немецкой акционерной компании «Нерей», занимавшейся морским страхованием. Ее содержание вкратце сводилось к следующему. Господин и госпожа Шлосс уехали в Америку и приобрели там большую недвижимость, которую, ради будущего повествования и в силу своей непрактичности, превратили в дорогостоящее движимое имущество и всякого рода изящные безделушки, а чтобы все это наверняка погибло и ничего нельзя было спасти, они заранее отправили груз морем на первоклассном пароходе «Вашингтон», который был обшит медью, снабжен водонепроницаемыми переборками, а также застрахован в крупной немецкой морской страховой компании «Нерей» на четыреста тысяч талеров. Между тем господин и госпожа Шлосс вместе со своими детьми отбыли в Европу на прекрасном пароходе «Боливар» компании «Уайт-Стар-Лайн», застрахованном в крупной немецкой морской страховой компании «Нерей» с основным капиталом в десять миллионов долларов, и благополучно прибыли в Ливерпуль. Потом пароход отправился дальше и уже приближался к мысу Скаген. Весь путь погода, разумеется, была великолепная, небо чистое и ясное, но на подходе к грозному мысу Скаген, естественно, разыгралась буря; пароход пошел ко дну, родители, своевременно застраховавшие свою жизнь, утонули и тем самым обеспечили своим спасшимся от неминуемой гибели детям кругленькую сумму в полторы тысячи фунтов стерлингов. Дети, разумеется, страшно обрадовались и в самом хорошем настроении прибыли в Гамбург, чтобы получить страховое вознаграждение и родительское наследство. И только представьте себе, как они были расстроены, когда узнали, что за две недели до этого «Вашингтон» потерпел кораблекрушение в районе Доггеровской банки, и все их имущество, оставшееся незастрахованным, пошло ко дну. Теперь бедные дети могли рассчитывать лишь на ту сумму, на которую их родители застраховали свою жизнь. Они со всех ног бросились в бюро страховой компании, но — о ужас! — выясняется, что родители пропустили срок уплаты последнего страхового взноса, который истек — вот уж не повезло! — как раз за день до их гибели. Дети были всем этим ужасно огорчены и горько оплакивали своих родителей, которые так много сделали для их благополучия. Громко рыдая, они упали друг другу в объятия и поклялись, что отныне будут всегда страховать свое имущество, отправленное морем, и не станут пропускать сроков очередного страхового взноса.

Все это надо было перенести на шведскую почву, приспособив к шведским условиям жизни, сделать удобочитаемым и превратить в новеллу, благодаря которой он, Фальк, войдет в литературу. Но тут снова в нем проснулся бес тщеславия и стал нащепывать ему, что он подлец, если берется за такое грязное дело, но его быстро заставил замолчать другой голос, который исходил из желудка под

аккомпанемент каких-то необычных колющих и сосущих ощущений. Он выпил стакан воды и выкурил еще одну трубку, однако неприятные ощущения усилились; мысли приняли мрачный оборот; комната вдруг показалась неуютной, время тянулось медленно и однообразно; он чувствовал себя усталым и разбитым; все вызывало у него отвращение; в мыслях царил беспорядок, в голове было пусто или думалось только о каких-то неприятных вещах, и все это сопровождалось чисто физическим недомоганием. Наверное, от голода, решил он. Странно, был всего час, а он никогда не ел раньше трех! Он с беспокойством обследовал свою кассу. Тридцать пять эре! Значит, без обеда! Первый раз в жизни! Никогда еще ему не приходилось ломать голову над тем, как раздобыть обед! Но с тридцатью пятью эре не обязательно голодать. Можно послать за хлебом и пивом. Впрочем, нет, нельзя, не годится, неудобно; так, может, самому пойти в молочную? Нет! А если взять у кого-нибудь в долг? Невозможно! Нет никого, кто мог бы ему помочь! Прознав это, голод набросился на него, как дикий зверь, стал рвать и терзать его, гоняя по комнате. Чтобы оглушить чудовище, он курил трубку за трубкой, но ничто не помогало. На плацу перед казармой раздалась барабанная дробь, и он увидел, как гвардейцы с медными котелками строем отправились в столовую на обед; из всех окрестных труб валил дым, прозвонили к обеду на Шепсхольме, что-то шипело на кухне у его соседа полицейского, и через открытые двери в переднюю доносился запах подгоревшего мяса; он слышал звон ножей и лязг тарелок из соседней комнаты, а также голоса детей, читавших предобеденную молитву; рабочие, мостившие улицу, крепко спали после сытного обеда, положив под голову кульки из-под провизии; он был совершенно убежден, что весь город сейчас обедает, едят все, кроме него одного! И он рассердился на бога. Внезапно у него мелькнула светлая мысль. Завернув в пакет Ульрику-Элеонору и ангела-хранителя, он написал имя и адрес Смита и отдал посыльному свои последние тридцать пять эре. Потом облегченно вздохнул и лег на диван, голодный, но с чистой совестью.

Глава шестая
КРАСНАЯ КОМНАТА

То же самое полуденное солнце, которое только что видело мучения Арвида Фалька в его первой битве с голодом, теперь весело заглядывало в домик в Лилль-Янсе, где Селлен, стоя без пиджака перед мольбертом, дописывал свою картину, которую на следующий день нужно было доставить до десяти часов утра на выставку — законченную, отлакированную и в раме. Олле Монтанус сидел на скамье и читал замечательную книгу, которую позаимствовал на один день у Игберга в обмен на галстук; время от времени он бросал взгляд на картину Селлена и выражал одобрение, потому что всегда восхищался его огромным талантом. Лунделль мирно занимался своим «Снятием с креста»; у него на выставке было уже три картины,

и он, как и многие другие художники, с немалым нетерпением ожидал, когда же их купят.

— Хорошо, Селлен! — сказал О л л е . — Ты пишешь божественно!

— Разреши-ка и мне взглянуть на твой шпинат, — вмешался Лунделль, который из принципа никогда и ничем не восхищался.

Сюжет картины был прост и величествен. Песчаная равнина на побережье Халланда, на заднем плане море; осеннее настроение, сквозь разорванные облака пробиваются солнечные блики; на переднем плане — песчаный берег, на нем озаренные солнцем только что выброшенные из моря, еще покрытые капельками воды водоросли; чуть подалее — море с наброшенной на него тенью от облаков и белыми гребнями волн, а еще дальше, на самом горизонте, снова сияет солнце, освещая уходящий в бесконечность морской простор. Второстепенные элементы живописной композиции были представлены лишь стаей перелетных птиц. Картина обладала даром речи и могла многое поведать неиспорченной душе, имеющей мужество познавать те сокровенные тайны, что открывает нам одиночество, и видеть, как зыбучие пески душат многообещающие молодые всходы. И написана она была вдохновенно и талантливо; настроение определяло цвет, а не наоборот.

— Надо поместить что-нибудь на переднем плане, — посоветовал Лунделль. — Ну хотя бы корову.

— Не болтай глупостей! — ответил Селлен.

— Делай, как я говорю, дурак, а то не продашь ее. Нарисуй какую-нибудь фигуру, например девушку; хочешь я тебе помогу, если ты не можешь, посмотри...

— Отстань! Давай без глупостей! А что мне делать с ее юбками, развевающимися на ветру? Ты просто помешался на юбках!

— Ну, поступай как знаешь, — ответил Лунделль, несколько уязвленный намеком на одну из своих слабостей. — А вместо этих серых чаек, которых даже невозможно узнать, нужно нарисовать аистов. Представляешь, красные ноги на фоне темного облака, какой контраст!

— Ах, ничего-то ты не понимаешь!

Селлен не был силен в искусстве аргументации, но верил в свою правоту, и его здоровый инстинкт помогал ему избегать многих ошибок.

— Но ты не продашь ее, — повторил Лунделль, который проявлял трогательную заботу о материальном благополучии своих друзей.

— Ничего, как-нибудь проживу! Разве мне когда-либо удалось хоть что-нибудь продать? И я не стал от этого хуже! Поверь, я хорошо знаю, что прекрасно продавал бы свои картины, если бы писал как все остальные. Думаешь, я не умею писать так же плохо, как они? Не беспокойся, умею! Но не хочю!

— Не забывай, что тебе надо заплатить долги! Одному Лунду из «Чугунка» ты должен пару сотен риксдалеров.

— Если я сейчас и не заплачу, он не обеднеет от этого. Кстати, я подарил ему картину, которая стоит вдвое больше.

— Ну и самомнение у тебя! Да она не стоит и двадцати риксдалеров.

— А я оценил ее в пятьсот, по рыночным ценам. Но, увы, о вкусах не спорят в нашем прекрасном мире... Мне, например, кажется, что твое «Снятие с креста» — мазня, а тебе оно нравится, и никто тебя не осудит. О вкусах не спорят!

— Но ты ведь лишил нас всех кредита в «Чугунке»; вчера Лунд прямо заявил об этом, и я не знаю, где мы будем сегодня обедать!

— Ничего не поделаешь! Как-нибудь проживем! Я уже целый год не обедал!

— Зато ты ободрал как липку этого несчастного ассессора, который попал тебе в когти.

— Да, это правда! Какой славный малый! И к тому же талант; сколько неподдельного чувства в его стихах; я их читал тут как-то вечером. Но боюсь, он слишком мягкий по натуре, чтобы чего-нибудь добиться; у него, у канальи, такая чувствительная душа!

— Ничего, в твоём обществе это у него скоро пройдет. И как тебе только не стыдно: за такое короткое время совершенно испортил юного Реньельма. Зачем-то вбил ему в голову, что он обязательно должен поступить на сцену.

— И он все тебе разболтал! Вот молодец! Впрочем, у него все устроится, если только он выживет, что не так-то уж просто, когда нечего есть. Господи! Кончилась краска! Нет ли у тебя немного белил? Боже милостивый, из тюбиков выжато все до последней капли; Лунделль, дай мне немного краски, пожалуйста.

— У меня осталось ровно столько, сколько мне самому может понадобиться, а если бы и было, я бы поостерегся тебе что-нибудь давать!

— Не болтай чепухи; ты ведь знаешь, что времени у меня в обрез.

— Ну правда же, нет у меня для тебя красок! Был бы ты по-экономнее, их хватило бы дольше...

— Ну конечно, это мы уже слышали! Тогда дай мне денег!

— Денег? Мы же только что говорили о деньгах!

— Тогда возьмемся за тебя, Олле; ты сходишь в ломбард!

При слове «ломбард» Олле просиял: он знал, что теперь можно будет поесть. Селлен принялся шарить по комнате.

— Что у нас тут такое? Пара сапог! В ломбарде за них дадут всего двадцать пять эре, так что лучше уж продать их совсем.

— Это же сапоги Реньельма, не трогай и х, — вмешался Лунделль, который сам собирался воспользоваться ими после обеда, когда пойдет в город. — Ты хочешь заложить чужие вещи?

— А какая разница? Потом он получит за них деньги! Что это за пакет? Бархатный жилет! Какая прелесть! Его я сам надену, а мой жилет Олле отнесет в ломбард! Воротнички и манжеты! Ах, к сожалению, бумажные! И пара носков. Олле, вот еще двадцать пять эре! Клади их в жилет. Пустые бутылки можешь продать. По-моему, самое лучшее — все остальное тоже продать!

— Какое ты имеешь право продавать чужие вещи? — снова прервал его Лунделль, который сильно надеялся на то, что методом

убеждения ему все-таки удастся завладеть жилетом, уже давно прельщавшим его.

— Не надо расстраиваться, потом он за все получит деньги! Придется забрать у него еще пару простынь! Какая разница! Обойдется без простынь! Давай, Олле! Складывай!

Несмотря на решительные протесты Лунделля, Олле ловко связал простыни в узел и сложил в него вещи.

Потом взял его под мышку, тщательно застегнул свой рваный сюртук, чтобы скрыть отсутствие жилета, и отправился в город.

— Он здорово смахивает на в о р а , — заметил Селлен, который, стоя у окна, с лукавой улыбкой смотрел на дорогу. — Хорошо еще, если к нему не пристанет полицейский! Быстрее, Олле! — закричал он ему в след. — Купи еще шесть французских булочек и две бутылки пива, если у тебя останутся деньги.

Олле обернулся и так уверенно помахал шляпой, словно все эти яства уже были у него в карманах.

Лунделль и Селлен остались одни. Селлен восхищался новым бархатным жилетом, которого так долго с тайным вожелением домогался Лунделль. Лунделль чистил палитру и бросал завистливые взгляды на безвозвратно утраченное сокровище. Но не это было тем главным, что его сейчас волновало, не об этом ему было так трудно заговорить с Селленом.

— Взгляни на мою картину, — попросил о н . — Как тебе она? Только серьезно!

— Зря ты копаешься в мелочах и вырисовываешь каждую деталь, надо не рисовать, а писать. Откуда у тебя падает свет? От одежды, от нагого тела? Нелепо! Чем дышат эти люди? Краской, маслом! А где воздух?

— Но , — возразил Лунделль, — ты же сам говорил, что о вкусах не спорят. А что ты скажешь о композиции?

— Пожалуй, слишком много народа?

— Не думаю; я хотел было добавить еще пару фигур.

— Подожди-ка, дай я еще раз взгляну. Так, вот еще один промах! — Селлен посмотрел на картину тем долгим пристальным взглядом, какой бывает у жителей равнины или побережья.

— Да, з н а ю , — согласился Лунделль. — Ты тоже заметил?

— Здесь одни мужчины. Это немножко сухо.

— Вот-вот. И как ты углядел?

— Значит, тебе нужна женщина?

Лунделль подумал, уж не подтрунивает ли над ним Селлен, но разобраться в этом было нелегко, так как Селлен уже что-то насвистывал.

— Мне нужна женская *фигура*, — ответил Лунделль.

Воцарилось молчание, довольно натянутое, если учесть, что молчали, оставшись наедине, два старых друга.

— Даже не представляю, где искать натурщицу. Из Академии брать не хочется, их знает весь мир, а сюжет все-таки религиозный.

— Тебе нужно что-нибудь более утонченное? Понимаю. Если ей не нужно позировать обнаженной, то я мог бы...

— Ей вовсе не надо быть обнаженной, ты с ума сошел, вокруг нее слишком много мужчин; и кроме того, сюжет-то ведь все-таки религиозный.

— Да, да, понимаю. На ней тем не менее будут одежды немного в восточном стиле, она стоит, наклонившись вперед, как я себе представляю, будто что-то поднимает с земли, видны плечи, шея и верхняя часть спины. Но все очень пристойно, как у Магдалины. Верно? Мы смотрим на нее откуда-то сверху.

— Ты надо всем издеваешься, все стараешься так или иначе принизить.

— К делу! К делу! Тебе нужна натурщица, потому что без нее тебе не обойтись, но сам ты никого не знаешь. Ладно! Твои религиозные чувства запрещают тебе искать нечто подобное, и вот два легкомысленных парня, Реньельм и я, берутся раздобыть тебе натурщицу!

— Но она должна быть порядочной девушкой, предупреждаю заранее.

— Само собой разумеется. Послезавтра получим деньги и тогда посмотрим, чем тебе можно помочь.

И они снова взялись за кисти, притихшие и молчаливые, и все работали, работали, а на часах было уже четыре, а потом пять. Иногда они бросали беспокойные взгляды на дорогу. Селлен первым нарушил тревожное молчание.

— Олле задерживается. Наверняка с ним что-то приключилось, — сказал он.

— Да, что-то стряслось неладное, но почему ты постоянно посылаешь беднягу с какими-нибудь поручениями? Ходи сам по своим делам.

— А ему больше нечего делать, потому он так охотно мне помогает.

— Ну, охотно или неохотно, ты этого не знаешь, и вообще, скажу тебе, никто не знает, какая судьба уготована Олле. У него большие замыслы, и в любой день он может снова стать на ноги; тогда будет совсем не лишне оказаться в числе его близких друзей.

— Все это одни разговоры. А что за шедевр он задумал? Впрочем, я верю, что когда-нибудь Олле будет большим человеком, хотя и не обязательно как скульптор. Но куда он, разбойник, запропастился? Как по-твоему, не может он взять и просто так просадить деньги?

— Вполне может. У него давно не было денег, а соблазн, возможно, оказался слишком велик... — ответил Лунделль и затянул пояс на две дырки, представив себе, как бы он сам поступил на месте Олле.

— Ну, человек — это всего лишь человек, и любовь к ближнему для него — это прежде всего любовь к себе самому, — сказал Селлен, которому было совершенно ясно, как бы он поступил на месте Олле. — Но я не могу больше ждать; мне нужны краски, хотя бы мне пришлось их украсть! Пойду поищу Фалька.

— Снова будешь высасывать деньги из бедняги. Ты же только вчера взял у него на раму. И немалые деньги!

— Мой дорогой! Видно, мне придется еще раз сгореть от стыда, ничего уж тут не поделаешь. И на что только не приходится идти, даже подумать страшно. Но Фальк между прочим — благородный человек, он нас поймет. А теперь я пошел. Когда Олле вернется, скажи ему, что он скотина. Всего доброго! Загляни в Красную комнату; посмотрим, настолько ли милостив еще к нам господь, что ниспошлет нам немного еды до захода солнца. Когда будешь уходить, запри двери, а ключ положи под порог. Пока!

Он ушел и вскоре оказался перед домом Фалька на Гревмагнагатам. Он постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда он открыл дверь и вошел в комнату. Фальк, которому, очевидно, снились дурные сны, пробудился и недоуменно уставился на Селлена, не узнавая его.

— Добрый вечер, б р а т , — приветствовал его Селлен.

— О господи, это ты! Мне, кажется, приснилось что-то очень странное. Добрый вечер, садись и закуривай трубку. Неужели уже вечер?

Хотя Селлену показались знакомыми некоторые симптомы, он сделал вид, что ничего не замечает, и начал беседу:

— Ты не был сегодня в «Оловянной пуговице»?

— Н е т , — смущенно ответил Фальк, — не был. Я ходил в «Идуну».

Он действительно не знал, был ли он там во сне или наяву, но порадовался тому, что так удачно ответил, ибо стыдился своей бедности.

— И правильно сделал, — одобрил его Селлен. — В «Оловянной пуговице» плохая кухня.

— Не могу не согласиться с т о б о й , — сказал Ф а л ь к . — Мясной суп они готовят чертовски плохо.

— Верно, а тамошний старик официант, этакий жулик, глаз не спускает, все считает бутерброды, которые я ем.

При слове «бутерброды» Фальк окончательно пришел в себя, но уже не ощущал голода, хотя ноги у него были как ватные. Однако тема беседы была ему неприятна, и он поспешил при первой же возможности ее изменить.

— Ну как, закончишь к завтрашнему дню свою картину? — спросил Фальк.

— Увы, нет.

— А что случилось?

— Не успеваю.

— Не успеваешь? Почему же в таком случае ты не сидишь дома и не работаешь?

— Ах, дорогой брат, все та же старая вечная история. Нет красок! Красок!

— Но ведь это дело поправимое. Может, у тебя нет денег?

— Были бы деньги, были бы и краски.

— У меня тоже нет. Какой же выход?

Взгляд Селлена заскользил вниз, пока не остановился на уровне жилетного кармана Фалька, откуда выползала довольно толстая золотая цепочка; Селлену даже в голову не пришло, что это золото, настоящее пробированное золото, ибо ему казалось просто непостижимым, что можно быть таким расточительным: носить на жилете целое богатство! Однако его мысли скоро приняли совершенно определенное направление, и он как бы невзначай заметил:

— Если бы у меня осталось хоть что-нибудь для заклада... Но мы были так неосмотрительны, что отнесли в ломбард зимние пальто еще в апреле, в первый же солнечный день.

Фальк покраснел. Операциями подобного рода до сих пор ему еще не приходилось заниматься.

— Вы заложили свои пальто? — спросил он . — И за, них можно что-нибудь получить?

— Получить можно за все... за все , — подчеркнул Селлен . — Надо только иметь *что-нибудь*.

У Фалька вдруг все поплыло перед глазами. Ему пришлось сесть. Потом он вынул свои золотые часы.

— Как ты думаешь, сколько дадут за них вместе с цепочкой?

Селлен взвесил на руке будущий заклад и с видом знатока внимательно обозрел его.

— Золото? — спросил он слабым голосом.

— Золото!

— Пробированное?

— Пробированное!

— И цепочка?

— И цепочка!

— Сто риксдалеров! — объявил Селлен и потряс рукой так, что золотая цепь загремела . — Но ведь это ужасно! Тебе не следует закладывать свои вещи ради меня.

— Ну ладно, заложу ради самого себя , — сказал Фальк, не желая окружать себя ореолом бескорыстия, на которое он не имел никакого права . — Мне тоже нужны деньги. Если ты превратишь часы и цепочку в деньги, то окажешь мне большую услугу.

— Тогда пошли , — ответил Селлен, не желая досаждать своему другу нескромными вопросами . — Я заложу их. А ты не унывай, брат! В жизни всякое бывает, понимаешь, но ты держись!

Он похлопал Фалька по плечу с той сердечностью, которой не так уж часто удавалось пробиться сквозь злой сарказм, защищавший его от остального мира, и они вышли на улицу.

К семи часам все было сделано как надо. Они купили краски и отправились в Красную комнату.

Это было время, когда салон Берна начинал играть важную культурно-историческую роль в жизни Стокгольма, положив конец нездоровой кафешантанной распущенности, которая процветала, или, вернее, свирепствовала, в шестидесятых годах в столице и оттуда распространилась по всей стране. Здесь часам к семи собиралось множество молодых людей, пребывавших в том не

совсем обычном состоянии, которое начинается со дня их ухода из-под родительского крова и продолжается до тех пор, пока они не обзаведутся собственным домом; у Бернса сидели компании холостяков, удравших из своих одиноких комнат и мансард в поисках света, тепла и человеческого существа, с которым можно было бы поговорить и отвести душу. Хозяин салона неоднократно пытался развлекать своих гостей пантомимой, акробатикой, балетом и так далее, но те ясно дали ему понять, что приходят сюда не развлекаться, а спокойно посидеть в какой-нибудь из комнат, где всегда можно встретить знакомого или друга; а поскольку музыка ни в коей мере не мешала беседе, а скорее наоборот, то с ней примирились, и постепенно она прочно вошла в вечернее меню наравне с пуншем и табаком. Таким образом салон Бернса превратился в стокгольмский клуб холостяков. Каждая компания облюбовала тут свой уютный уголок; обитатели Лилль-Янса захватили шахматную комнату возле южной галереи, обставленную красной мебелью, и потому ради краткости ее называли Красной комнатой. Они всегда знали, что вечером там обязательно встретятся, хотя бы днем их и разбросало по всему городу; когда же они окончательно впадали в нищету и им позарез нужны были деньги, они устраивали отсюда настоящие облавы на сидящих в зале гостей; они двигались цепью — двое блокировали галереи, а двое брали приступом салон; они словно ловили сетью рыбу и крайне редко вытаскивали ее пустой, потому что весь вечер сюда валом валили все новые и новые гости. Этим вечером в проведении подобной операции особой необходимости не было, и поэтому Селлен с независимым и спокойным видом уселся на большом красном диване рядом с Фальком.

Разыграв для начала друг перед другом небольшую комедию на тему, что они будут пить, они, в конце концов, пришли к выводу о необходимости сперва поесть. Едва они принялись за еду и Фальк почувствовал, что к нему возвращаются силы, как на стол упала чья-то длинная тень, и перед ними возник Игберг, как всегда бледный и изможденный. Селлен, которому так повезло, и он при этом всегда становился добрым и любезным, тотчас же пригласил Игберга составить им компанию, и Селлена незамедлительно поддержал Фальк. Игберг начал было отнекиваться для вида, но все-таки взглянул на содержимое блюд, прикидывая, сможет ли он полностью утолить свой голод или только наполовину.

— У вас, господин ассессор, острое перо, — заметил Игберг, желая отвлечь внимание присутствующих от своей вилки, которая тщательно обшаривала стоящее перед ним блюдо.

— Правда? Откуда вы знаете? — удивился Фальк, краснея; он не слышал, чтобы кто-нибудь уже свел знакомство с его пером.

— Ваша статья наделала много шума.

— Какая статья? Ничего не понимаю.

— Ну как же! Статья в «Знамени народа» о Коллегии выплат чиновничьих окладов!

— Это не моя статья!

— Зато в Коллегии считают, что ваша! На днях я встретил одного сверхштатного служащего Коллегии; он сказал, что статью написали именно вы, и она вызвала всеобщее негодование.

— Что вы говорите?

Фальк чувствовал, что отчасти он действительно виноват, и только теперь понял, почему Струве все время что-то записывал, пока они беседовали в тот памятный вечер в маленьком парке на Моисеевой горе. Но Струве лишь письменно изложил то, что рассказал ему Фальк, и следовательно, он не имеет права отрекаться от своих собственных слов, хотя и рискует при этом прослыть скандальным писакой. И когда он понял, что все пути к отступлению отрезаны, для него остался только один путь: вперед!

— Да, верно, — сказал он, — статья была написана по моей инициативе. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом. Что вы думаете об Ульрике-Элеоноре? По-моему, это очень интересная личность. Или, может быть, поговорим о «Гритоне», акционерном обществе, которое занимается морским страхованием? Или о Хаквине Спегеле?

— Ульрика-Элеонора — пожалуй, самая интересная личность во всей шведской истории, — очень серьезно ответил Игберг. — Меня как раз попросили написать о ней небольшую статью.

— Кто? Смит? — спросил Фальк.

— Да, откуда вы знаете?

— Значит, вы знакомы и с Ангелом-хранителем?

— А это откуда вам известно?

— Сегодня я отказался от статьи.

— Нельзя отказываться от работы. Вы еще пожалеете об этом! Вот увидите!

На щеках у Фалька выступил лихорадочный румянец, и он стал с жаром говорить, отстаивая свою точку зрения. Селлен же курил, не вмешиваясь в беседу, и больше прислушивался к музыке, чем к разговору, который был ему и неинтересен и непонятен. Со своего места в углу дивана он видел через открытые двери обе галереи сразу, и северную и южную, и еще зал между ними. Сквозь густые облака табачного дыма, клубившиеся между галереями, он все же мог различить лица тех, кто сидел по другую сторону зала. Внезапно Селлен разглядел кого-то в самом дальнем конце галереи. Он схватил Фалька за руку.

— Нет, ты только посмотри, какой плут! Вон там, за левой гардиной!

— Лунделль!

— Вот именно, Лунделль! Он ищет свою Магдалину! Смотри, уже разговаривает с ней! Ловкий малый!

Фальк так покраснел, что Селлен это заметил.

— Неужели он ищет там своих натурщиц? — изумленно спросил Фальк.

— А где еще ему искать? Не на улице же впотьмах?

Лунделль тотчас же подошел к ним, и Селлен приветствовал его покровительственным кивком, значение которого Лунделль,

очевидно, понял, потому что поклонился Фальку немного любезнее, чем обычно, и в довольно оскорбительной манере выразил свое крайнее изумление по поводу присутствия здесь Игберга. Игберг, который все это прекрасно заметил, воспользовался удобным случаем, ехидно спросив, что Лунделль изволит откушать; Лунделль вытарашил глаза от изумления — не иначе, он попал в компанию вельмож и магнатов. Он сразу же почувствовал себя вполне счастливым, подобрел и ощутил прилив человеколюбия, а когда расправился с ужином, у него немедленно появилась потребность излить обуревавшие его чувства. Видимо, ему хотелось сказать Фальку что-нибудь приятное, но он никак не мог найти подходящий повод. Весьма не вовремя оркестр вдруг заиграл «Внимай нам, Швеция», а потом «Господь — наша крепость».

Фальк заказал еще спиртного.

— Вы, господин ассессор, вероятно, любите, так же как и я, добрые старые песнопения? — начал Лунделль.

Фальк отнюдь не был уверен в том, что предпочитает церковные песнопения всем другим музыкальным жанрам, и потому спросил Лунделля, не хочет ли он пунша. Лунделль заколебался, стоит ли ему рисковать. Может быть, ему следует сначала еще немного поесть; он слишком ослаб, чтобы пить, и он счел своим долгом проиллюстрировать это коротким, но жестоким приступом кашля, который вдруг напал на него после третьей рюмки.

— *Факел примирения!* Какой великолепный образ! — продолжал Лунделль. — Он символизирует одновременно и глубокую религиозную потребность в примирении, и свет, разлившийся над миром, когда свершилось величайшее из чудес, к вящей досаде высокомерия и чванства.

Он засунул в рот, за самый последний коренной зуб, кусок мяса и с любопытством посмотрел, какое впечатление произвела его речь, но был весьма разочарован в своих ожиданиях, увидев три глупые физиономии, выражавшие полнейшее недоумение. По-видимому, ему следовало изъясняться понятнее.

— Спегель — большое имя, его язык — это не язык фарисеев. Мы все помним его замечательный псалом «Умолкли жалобные звуки», равного которому нет! Ваше здоровье, ассессор! Был весьма рад с вами познакомиться!

Тут Лунделль обнаружил, что в рюмке у него пусто.

— Позволю себе выпить еще рюмку.

Две мысли упрямо жужжали в голове у Фалька: первая — ведь этот малый хлещет водку! Вторая — откуда он знает про Спегеля? Внезапно молнией мелькнуло подозрение, но ни во что вникать не хотелось, и он только сказал:

— Ваше здоровье, господин Лунделль!

Неприятному разговору, грозившему теперь воспоследовать, помешало неожиданное появление Олле. Да, то был действительно он — более оборванный, чем обычно, более грязный, чем обычно, и казалось, ноги у него были еще более кривые, чем обычно; они как два бушприта торчали из-под сюртука, который держался теперь

лишь на одной застегнутой над верхним ребром пуговице. Но он радовался и смеялся, увидев на столе такое обилие еды и питья, и, предварительно сложив с себя полномочия, начал, к ужасу Селлена, подробно отчитываться в том, как он выполнил свою высокую миссию. Его действительно задержал полицейский.

— Вот квитанции!

И он протянул Селлену через стол две зеленые закладные квитанции, которые тот моментально превратил в бумажный шарик.

Потом его препроводили в полицейский участок. Олле продемонстрировал наполовину оторванный воротник сюртука. Ему пришлось назвать свое имя. Разумеется, они заявили, что это ложь. Ни одного человека в мире не зовут Монтанус. Затем место рождения: Вестманланд. Тоже, разумеется, ложь, потому что старший полицейский сам оттуда и прекрасно знает всех своих земляков. Далее возраст: двадцать восемь лет. Опять ложь, «поскольку ему не менее сорока». Место жительства: Лилль-Янс. Ложь, так как там вообще никто не живет, кроме садовника. Профессия: художник. Тоже ложь, «потому что по виду он не что иное, как портовый бродяга».

— Вот краски, четыре тюбика! Смотри!

Затем они развязали узел, порвав при этом одну из простынь.

— Поэтому мне и дали за обе только один риксдалер двадцать пять эре. Проверь по квитанции!

Потом его спросили, где он украл все эти вещи. Олле ответил, что он их не крал; тогда старший полицейский обратил его внимание на то, что вовсе не спрашивает, украл он или не украл, а спрашивает, *где* украл! Где? Где? *Где?*

— Вот сдача, двадцать пять эре! Я не взял себе ни эре.

После этого составили протокол об «украденных вещах», на каковом были проставлены три печати. Напрасно Олле уверял, что ни в чем не виноват, напрасно взывал к чувству справедливости и гуманности. Упоминание о гуманности привело лишь к тому, что полицейский предложил записать, будто в момент задержания арестованный — он уже был арестованным — находился в состоянии сильного опьянения крепкими напитками, и это также было занесено в протокол, без упоминания, впрочем, о крепости напитков. Затем старший полицейский настоятельно и неоднократно просил полицейского припомнить, не пытался ли арестованный оказать сопротивление при задержании, но тот заверил, что не может поклясться, будто арестованный оказывал сопротивление (что странно, поскольку у того весьма коварный и угрожающий вид), однако можно было «предположить», что арестованный пытался оказать сопротивление, забежав в ворота, и предположение старшего полицейского также было занесено в протокол.

Затем был составлен рапорт, который Олле приказали подписать. Рапорт гласил, что некий субъект с весьма подозрительной и внушающей опасения наружностью был замечен в тот момент, когда крадся по левой стороне Норрландской улицы в четыре часа тридцать пять минут пополудни с узлом подозрительного вида. На задержанном субъекте был сюртук из зеленого сукна (без

жилета), брюки из синей байки, рубашка с инициалами на изнанке воротничка «П. Л.» (что неопровержимо свидетельствует о том, что она либо украдена, либо задержанный скрыл свое настоящее имя), серые в полоску носки и фетровая шляпа с низкой тульей и петушиным пером. Задержанный назвался Олле Монтанусом и заявил, что родом якобы из Вестманланда, по происхождению из крестьян, и уверял, что по профессии он художник, а проживает в Лилль-Янсе, что, несомненно, не соответствует действительности. При задержании пытался оказать сопротивление, забежав в ворота.

Далее следовало перечисление похищенных вещей, изъятых из узла. Поскольку Олле отказался признать обвинения, содержащиеся в рапорте, блюстители порядка немедленно связались с тюрьмой и отправили туда арестованного вместе с узлом в пролетке в сопровождении полицейского. Когда они проезжали по Монетной улице, Олле вдруг увидел депутата риксадага Пера Ильссона из Тресколы, своего земляка, а теперь и спасителя, к которому воззвал о помощи, и тот засвидетельствовал, что рапорт лжив от начала и до конца, после чего Олле отпустили с миром и даже вернули ему узел. И вот он здесь и...

— Вот ваши французские булочки! Осталось только пять, одну я съел. А вот пиво.

Он действительно выложил на стол пять булочек, достав их из задних карманов брюк, после чего его фигура приняла свои обычные диспропорции.

— Брат Фальк, прости, пожалуйста, нашего Олле, он не привык бывать в обществе; а ты, Олле, убери куда-нибудь подальше свои булки и перестань валять дурака, — сказал Селлен.

Олле послушался. Между тем Лунделль никак не хотел расставаться с блюдом, хотя так тщательно очистил его, что на нем не осталось никаких следов, по которым можно было бы судить о содержимом тарелок, а бутылка с водкой время от времени, словно сама по себе, вдруг приближалась к его рюмке, и Лунделль как бы ненароком наполнял ее. Изредка он вставал или поворачивался на стуле, чтобы «посмотреть», что играют, причем Селлен внимательно следил за каждым его движением. Вскоре пришел Реньельм. Совершенно пьяный, он молча уселся и под пространные увещевания Лунделля стал искать, на чем бы ему остановить свой блуждающий взгляд. В конце концов его усталые глаза наткнулись на Селлена и замерли в безмолвном созерцании бархатного жилета, который на весь остаток вечера дал богатую пищу его молчаливым размышлениям. На какой-то миг лицо его вдруг просветлело, словно он увидел старого знакомого, но потом вновь погасло, когда Селлен сказал, что «ужасно дует», и застегнул пиджак. Игберг опекал Олле, потчuya его ужином, без устали призывая отведать какого-нибудь блюда, и постоянно подливал в его рюмку. Время шло, музыка гремела все веселее, а беседа становилась все оживленнее. Это состояние упоения казалось Фальку удивительно приятным; здесь было тепло, светло, шумно, накурено, рядом сидели люди, которым он продлил жизнь на несколько часов, и вот

они рады и счастливы, как мухи, ожившие, когда на них упало несколько солнечных лучей. Он почувствовал, что близок им, а они — ему, потому что все они одинаково несчастливы и достаточно деликатны, и все хорошо понимали то, что он хотел им сказать, и когда сами хотели что-нибудь сказать, то говорили на языке человеческого, а не книжном; даже в их грубости была известная прелесть, потому что она выражала нечто совершенно первозданное, наивное, и даже лицемерие Лунделля не вызывало у него неприязни, поскольку было таким ребяческим и таким нелепым, что никто не принимал его всерьез. Так прошел этот вечер, а с ним и закончился день, который безвозвратно и бесповоротно толкнул Арвида Фалька на тернистый путь литератора.

Глава седьмая ПОСЛЕДОВАНИЕ ИИСУСУ

На другое утро Фалька разбудила уборщица, которая передала ему письмо следующего содержания:

«Тимоф. гл. X, ст. 27, 28, 29. Перв. коринф.
гл. 6, ст. 3, 4, 5.

Дорогой бр.!

Да пребудут с тобой Мир, Любовь и Милость Господа нашего Иисуса Христа и Бога Отца и Святого Духа и т. д. и т. п. Аминь!

Я прочитал вчера вечером в «Сером плаще», что ты намерен издавать «Факел примирения». Навести меня завтра пораньше, до девяти утра.


Твой многогрешный


Натанаель Скорее.

Теперь он разгадал наконец загадку Лунделля, во всяком случае отчасти!

Разумеется, он не был лично знаком с ревностным служителем бога Натанаелем Скорее и не имел ни малейшего понятия о «Факеле примирения», однако его одолевало любопытство, и он решил откликнуться на столь настоятельное приглашение.

Ровно в девять он стоял на Правительственной улице перед громадным четырехэтажным домом, весь фасад которого, от подвального этажа и до венчающего крышу карниза, был сплошь обвешан табличками: «Типография Христианского акционерного общества «Мир», 3-й эт. Редакция журнала «Наследие детей божьих», 1-й эт. Экспедиция журнала «Труба мира», 3-й эт. Экспедиция журнала «Страшный суд», 2-й эт. Редакция журнала для детей «Накорми моих ягнят», 2-й эт. Дирекция Христианского акционерного общества «Милостью божьей» осуществляет выплаты и выдает ссуды под залог недвижимого имущества, 4-й эт.

Приди к Иисусу, 4-й эт. Внимание!  Опытные продавцы по внесению залога могут получить работу. *Миссионерское акционерное общество «Орел»* выдает акционерам прибыль за 1867 г., 3-й эт. *Контора парохода «Зулуду»*, принадлежащего *Христианскому миссионерскому обществу*, 2-й эт.

 Судно отбывает, если будет на то божья воля, 28-го сего месяца; грузы принимаются под накладные и сертификаты в конторе на набережной Шепсбрун, где происходит погрузка. *Союз портных «Муравейник»* принимает пожертвования на первом этаже. *Пасторские воротники* принимают в стирку и глажение у *сторожа*. *Облатки* по полтора риксдалера за фунт продаются у *сторожа*. Внимание! Там же можно получить напрокат *черные фраки* для подростков, допущенных к причастию. Молодое вино (Матф., 19; 32) можно купить у *сторожа*. По семьдесят пять эре за бутылку, без посуды.

На нижнем этаже слева от ворот находилась «Книжная лавка христиан». Фальк остановился и начал читать названия выставленных в витрине книг. Все — навязшее в зубах старье: нескромные вопросы, пакостные намеки, оскорбительная интимность — все так хорошо и так давно знакомое. Несколько более его внимание привлекли многочисленные иллюстрированные журналы, разложенные таким образом, чтобы большие яркие картинки соблазняли покупателей. Особый интерес вызывали журналы для детей — книгопродавец мог бы немало порассказать о стариках и старухах, которые часами простаивали перед витриной, разглядывая иллюстрации, и было что-то бесконечно трогательное в том, какое сильное впечатление эти картинки, очевидно, производили на их благочестивые души, вызывая воспоминания об ушедшей и, возможно, нелепо растраченной молодости.

Он поднимается по широкой лестнице, разглядывая стенную роспись в духе фресок древней Помпеи, которая напоминает о пути, что отнюдь не ведет к вечному блаженству, и входит в большую комнату, обставленную как банковский зал, с конторками для главного бухгалтера, счетовода и кассиров, пока еще отсутствующих. Посреди комнаты стоит письменный стол, огромный как алтарь, но скорее похожий на многоголосый орган с целой клавиатурой кнопок пневматического телеграфа и переговорным устройством в виде трубок, проведенных через все помещения здания. Возле стола стоит крупный мужчина в сапогах, в пасторском облачении, застегнутом на одну пуговицу у самой шеи и потому похожем на форменный сюртук, в белом галстуке, а над галстуком — маска капитана дальнего плавания, ибо истинное его лицо исчезло не то за откидной крышкой конторки, не то в упаковочном ящике. Он постегивает свои сверкающие голенища хлыстом с набалдашником, весьма символично изображающим копыто, и курит крепкую сигару, которую усердно жует, очевидно для того, чтобы рот ни секунды не пребывал в бездействии. Фальк изумленно воззрился на этого исполненного величия человека.

То был последний крик моды на людей подобного типа, ибо на людей ведь тоже существует мода. Перед Фальком стоял великий проповедник, которому удалось сделать модными грех, жажду искупления, унижения, нужду и нищету — короче говоря, все самое плохое, что отравляет людям жизнь. Саму идею спасения души он сделал фешенебельной. Он сочинил евангелие для Большой Садовой улицы, где обитает высший свет. Его стараниями искупительная жертва превратилась в спорт. Происходили соревнования по греховности, и чемпионом становился тот, кто оказывался отвратительнее всех; они охотились за бедными душами, которые подлежали спасению, устраивали, не будем этого отрицать, настоящие облавы на обездоленных, на которых намеревались поупражняться в самосовершенствовании, превращая их в предмет самой жестокой благодетельности.

— А, господин Фальк! — говорит маска. — Добро пожаловать, мой друг! Не желаете ли посмотреть, как я работаю? Простите, господин Фальк, вы не торопитесь? Так, прекрасно! Это экспедиция типографии... простите, один момент!

Он подходит к органу и вытягивает несколько кнопок, после чего раздается громкий свист.

— Пожалуйста, присядьте!

Он прикладывает губы к трубке и кричит:

— *Седьмая труба, восьмой регистр!* Нистрём! Медивал, восьмой, в строку, заголовки фрактурой, имена в разрядку!

Из той же трубы в ответ доносится голос:

— Нет рукописи!

Маска садится к органу, берет перо и лист бумаги, перо бегаёт по бумаге, а маска говорит, не выпуская изо рта сигары:

— Объем работы... здесь... настолько вырос... что скоро превзойдет... мои силы и возможности... я бы давно слег... если бы... так... не следил... за собой!

Он вскакивает с места, вытягивает еще одну кнопку и кричит в другую трубку:

— Принесите корректуру «Оплатил ли ты свои долги?»!

И снова продолжает говорить одно, а писать другое.

— Вас удивляет... почему... я... расхаживаю здесь... в сапогах. Потому что... во-первых... я... езжу верхом... что полезно... для... здоровья...

Появляется мальчик с корректурой. Маска передает ее Фальку и говорит в нос, потому что рот занят: «Почитайте-ка!» Одновременно он одними глазами приказывает мальчику: «Подожди!»

— Во-вторых, (поведа ушами, словно хвастаясь «Все вижу и все слышу!»)... я считаю... что человек духа... не должен... отличаться... своим... внешним... обликом... от... других... людей... ибо... это... называется... духовным... высокомерием... и... может стать... предметом осуждения.

Входит счетовод, и маска приветствует его движением кожи на лбу — единственное, что еще осталось в бездействии.

Чтобы не сидеть без дела, Фальк берет корректуру и начинает читать. Сигара продолжает говорить:

— У всех... людей... есть сапоги... я ни в коем случае... не хочу... отличаться от них... своим внешним... видом... поэтому... хотя я не... какой-нибудь там... лицемер... я хожу... в сапогах.

Он передает рукопись мальчику и приказывает одними губами:

— Четыре верстатки, *седьмая труба*, к Нистрёму!

Потом обращается к Фальку:

— На пять минут я свободен! Пойдемте на склад.

Счетоводу:

— «Зулулу» грузят?

— Да, водкой, — отвечает счетовод хриплым голосом.

— Подойдет? — спрашивает маска.

— Подойдет! — отвечает счетовод.

— Тогда с богом! Пойдемте, господин Фальк.

Они входят в комнату, сплошь увешанную полками, заставленными кипами книг. Маска бьет по корешкам хлыстом и гордо — без обиняков заявляет:

— Все это написал я. Ну, что скажете? Неплохо? Вы, я слышал, тоже пописываете... помаленьку. Если возьметесь за дело как следует, тоже напишете не меньше!

Он кусал и жевал сигару, выплевывая обрывки табачных листьев, которые кружились, как мотыльки, пока не застревали на корешках книг, и вид у него при этом был такой, будто он думал о чем-то заслуживающем всяческого презрения.

— «Факел примирения»? Гм! По-моему, глупое название! Не находите? Это ваша идея?

Фальк впервые получил возможность ответить, ибо, как и все великие люди, его собеседник сам отвечал на свои вопросы. Фальк сказал, что идея не его, но больше не успел вымолвить ни слова, потому что маска заговорила снова:

— По-моему, очень глупое название! А по-вашему, оно пройдет?

— Я ничего об этом не знаю и даже не понимаю, о чем вы говорите.

— Ничего не знаете?

Он берет газету и показывает Фальку.

Фальк с изумлением читает следующее объявление:

«Принимается подписка на журнал «Факел примирения». Предназначен для верующих христиан. Скоро выйдет из печати первый номер под редакцией Арвида Фалька, лауреата премии Литературной академии. В первых выпусках журнала будет опубликована поэма Хокана Спегеля «Творение господя», глубоко проникнутая христианским духом и благочестием».

Фальк забыл отказаться от заказа на Спегеля и теперь не знал, что отвечать!

— Какой тираж? Э? Полагаю, две тысячи. Слишком мало! Никуда не годится! Мой «Страшный суд» выходит тиражом десять тысяч экземпляров, и я кладу в карман — сколько бы вы думали? — чистоганом пятнадцать!

— Пятнадцать?

— Тысяч, юноша!

Маска, по-видимому, забыла принятую на себя роль и заговорила в своем обычном стиле.

— И так, — продолжал он, — вам, вероятно, известно, что я чрезвычайно популярный проповедник, скажу не хвастаясь, потому что это знает весь мир! Я очень, очень популярен и ничего не могу с этим поделать, но это так! Я был бы лицемером, если бы сказал, что не знаю того, о чем знает весь мир! Итак, я с самого начала поддерживаю ваше предприятие! Видите этот мешок? Если я скажу, что в нем письма от людей, женщин — не волнуйтесь, я женат, — которые просят прислать мою фотографию, то я скажу очень мало.

На самом деле это был не мешок, а небольшой мешочек, по которому он ударил своим хлыстом.

— Чтобы избавить их и меня от лишних хлопот, — продолжал он, — и в то же время оказать читателям большую услугу, я разрешаю вам написать мою биографию и опубликовать ее вместе с портретом; тогда ваш первый номер выйдет десятитысячным тиражом и вы заработаете на нем чистоганом тысячу!

— Но, господин пастор, — он чуть было не сказал «капитан», — я ведь ничего не знаю об этом деле!

— Не имеет значения! Никакого! Издатель сам обратился ко мне и просил прислать мой портрет! А вы напишите мою биографию! Чтобы облегчить вам задачу, я попросил одного своего приятеля набросать ее в общих чертах, так что вам остается только написать вступление, краткое и выразительное, несколько удачных фраз! Вот, пожалуйста!

Фальк был даже несколько ошарашен подобной предусмотрительностью, и его немало изумило то, что портрет был так непохож на оригинал, а почерк приятеля оказался очень похож на почерк маски.

Передав Фальку портрет и рукопись, маска протянула ему руку, дабы тот мог выразить свою благодарность.

— Кланяйтесь... издателю!

Он чуть было не сказал — «Смиту», и легкий румянец выступил у него между бакенбардами.

— Но вы же не знаете моих убеждений, — пытался протестовать Фальк.

— Ваших убеждений? Э? Разве я спрашивал вас о ваших убеждениях? Я никогда и никого не спрашиваю об убеждениях! Сохрани господь! Я? Никогда!

Он еще раз ударил хлыстом по книжным корешкам, открыл дверь, выпроводил своего биографа и вернулся к служебному алтарю.

К несчастью, Фальк никогда не мог найти вовремя подходящий ответ, вот и сейчас он сообразил, что надо было сказать, лишь после того, как очутился на улице. По чистой случайности подвальное окно дома оказалось открыто (и не завешано табличками)

и потому гостеприимно приняло брошенные в него биографию и портрет. Потом он отправился в редакцию газеты, написал опровержение насчет своего участия в издании «Факела примирения» и пошел навстречу неминуемой голодной смерти.

Глава восьмая
БЕДНОЕ ОТЕЧЕСТВО

Прошло несколько дней; часы на Риддархольмской церкви пробили десять, когда Фальк подходил к зданию риксдага, чтобы помочь корреспонденту «Красной шапочки» написать отчет о заседаниях Нижней палаты. Он ускорил шаги, так как был непоколебимо убежден, что в этом учреждении, где такие высокие оклады, опаздывать не полагается. Он поднялся вверх по лестнице и прошел на левую галерею Нижней палаты, предназначенную для прессы. С каким-то благоговейным чувством он ступил на узенький балкон, прилепившийся, как голубятня, под самым потолком, где «поборники свободного слова слушали, как самые достойные люди страны обсуждают ее священнейшие интересы». Для Фалька все здесь было совершенно новым, однако он не испытал сколько-нибудь серьезного потрясения, когда, взглянув со своей голубятни вниз, увидел под собой совсем пустой, похожий на ланкастерскую школу зал. Часы уже показывали пять минут одиннадцатого, но в риксдаге, кроме него, еще не было ни души. Несколько минут вокруг царит мертвая тишина, как в деревенской церкви перед проповедью; но вот до него доносится какой-то тихий звук, словно кто-то скребется. «Крыса!» — думает Фальк, но внезапно замечает прямо напротив, на галерее для прессы, маленького сутулого человечка, который чинит карандаш у барьера, и вниз в зал летят стружки, ложась на столы и кресла депутатов. Взгляд Фалька медленно скользит по голым стенам, но не находит ничего достойного внимания, пока, наконец, не останавливается на старинных стенных часах эпохи Наполеона I с заново позолоченными императорскими эмблемами, которые символизируют новую форму для старого содержания. Стрелки, показывающие уже десять минут одиннадцатого, тоже что-то символизируют — в ироническом смысле; в этот момент двери в конце зала открываются, и на пороге появляется человек; он стар, его плечи искривились под бременем государственных забот, а спина согнулась под тяжестью муниципальных обязанностей, шея ушла в плечи от длительного пребывания в сырых кабинетах, в залах, где заседают всевозможные комитеты, в помещениях банков и т. д.; есть что-то отрешенное от жизни в его бесстрастной походке, когда он медленно идет по ковровой дорожке из косового волокна к своему председательскому месту. Дойдя до середины пути, откуда ближе всего до стенных часов, он останавливается, — по-видимому, он привык останавливаться на середине пути, смотреть по сторонам и даже оглядываться назад; однако

сейчас, остановившись, он сверяет свои часы со стенными и недовольно трясет старой усталой головой: спешат! спешат! — а лицо его выражает неземное спокойствие, спокойствие, ибо его часы не отстают. Он продолжает свое движение по ковровой дорожке все тем же размеренным шагом, словно идет к конечной цели всей своей жизни; и это еще большой вопрос, не достиг ли он этой цели, усевшись в почетное председательское кресло.

Добравшись до кафедры, он останавливается, вытаскивает из кармана носовой платок и стоя сморкается, после чего окидывает взглядом внимающую ему аудиторию, состоящую из множества скамеек и столов, и произносит что-то весьма многозначительное, вроде «Уважаемые господа, итак, я высморкался!»; затем садится и, как и подобает председателю, погружается в полную неподвижность, которая могла бы перейти в сон, если бы не надо было бодрствовать. Полагая, что он один в этом огромном зале, один наедине со своим богом, он хочет набраться сил, чтобы подготовить себя к трудам предстоящего дня, как вдруг откуда-то слева, из-под самого потолка, до него доносится громкий скребущий звук; вздрогнув, он поворачивает голову, чтобы одним своим взглядом убить крысу, осмелившуюся скрестись в его присутствии. Фальк, не рассчитавший силу резонанса на своей голубятне, принимает на себя смертельный удар убийственного взгляда, который, однако, смягчается по мере того, как совершает движение от карниза вниз и словно шепчет, ибо не решается говорить громко: «Это всего-навсего корреспондент, а я боялся, что это крыса». Но потом убийцу охватывает глубокое раскаяние в том ужасном преступлении, которое содеяли его глаза, и он закрывает рукой лицо — и плачет? Вовсе нет, просто он стирает пятно, которое оставило на сетчатке его глаза созерцание чего-то отвратительного.

Но вот распахиваются настежь двери, и начинают прибывать депутаты, а стрелки на стенных часах ползут все вперед и вперед. Председатель оделяет верных правительству депутатов кивками и рукопожатиями, а неверных карает, отворачиваясь от них, ибо он справедлив, как сам всевышний.

Появляется корреспондент «Красной шапочки», неказистый, нетрезвый и невыспавшийся; тем не менее ему, видимо, доставляет некоторое удовольствие давать обстоятельные ответы на вопросы новичка.

Двери снова распахиваются, и в зал входит некто такой уверенной походкой, словно он у себя дома; это управляющий Канцелярией налогообложения и актуарий Коллегии выплат чиновничьих окладов; он подходит к председательскому креслу, здоровается с председателем запросто, как со старым знакомым, и роется в его бумагах, как в своих собственных.

— Кто это? — спрашивает Фальк.

— Главный писарь палаты, — отвечает его приятель из «Красной шапочки».

— Неужели и здесь занимаются писаниной?

— Еще как! Скоро сам увидишь! У них тут целый этаж забит писарями, они уже расползлись по всем чердакам, а завтра будут и в подвале!

Депутаты в зале теперь так и кишат, словно муравьи в муравейнике. Но вот на кафедру со стуком опускается молоток председателя, и воцаряется тишина. Главный писарь палаты читает протокол предыдущего заседания, и его единогласно утверждают. Потом он зачитывает ходатайство о предоставлении депутату Йону Йонссону из Лербака двухнедельного отпуска.

Предоставить!

— Как, и здесь берут отпуска? — спрашивает новичок изумленно.

— Ну конечно! Надо же Йону Йонссону съездить домой в Лербак и посадить картошку.

Возвышение возле кафедры начинают заполнять молодые люди, вооруженные перьями и бумагой. Сплошь его старые знакомые со старой службы. Они усаживаются вокруг маленьких столиков, словно собираются играть в преферанс.

— Это писари палаты, — объясняет «Красная шапочка». — Помоему, они узнали тебя.

Должно быть, они действительно узнали Фалька, потому что водружают на нос пенсне и все, как один, смотрят на голубятню, смотрят так снисходительно, как в театре партер смотрит на галерку. Они перешептываются и обмениваются мнениями по поводу того отсутствующего, кто, судя по всему, должен был находиться там, где сейчас сидит Фальк. Фальк настолько глубоко тронут таким изобильным вниманием, что не слишком любезно здоровается со Струве, который только что поднялся на голубятню — неразговорчивый, нагловатый, неопрятный и консервативный.

Главный писарь зачитывает просьбу или предложение об ассигновании средств на покупку новых циновок для вестибюля и медных номерков для галошниц.

Ассигновать!

— А где сидит оппозиция? — спрашивает непосвященный.

— А черт ее знает, где она сидит.

— Они все принимают единогласно, я не слышал ни одного голоса против.

— Подожди немного, еще услышишь.

— Что, представители оппозиции еще не пришли?

— Здесь приходят и уходят, кому когда вздумается.

— Совсем как в любом другом учреждении.

Услышав эти легкомысленные речи, консерватор Струве считает своим гражданским долгом выступить от имени правительства:

— О чем это здесь разглагольствует маленький Фальк? Не надо ворчать!

Фальк так долго подбирает подобающий ответ, что внизу уже успевают начать дебаты.

— Не обращай на него внимания, — утешает Фалька «Красная шапочка». — Он всегда крайне консервативен, когда у него есть деньги на обед, а он только что занял у меня пятерку.

Главный писарь палаты читает:

— «Заключение государственной комиссии номер пятьдесят четыре на предложение Улы Хипссона о ликвидации заборов».

Лесопромышленник Ларссон из Норрланда выражает свое безоговорочное одобрение: «А что станет с нашими лесами? — восклицает он. — Я только спрашиваю: что станет с нашими лесами?» — и, задыхаясь от волнения, садится на свое место. Поскольку за последние двадцать лет красноречие подобного рода окончательно вышло из моды, заявление Ларссона встречено смешками и улюлюканьем, после чего подрывная деятельность на скамье для представителей Норрланда прекращается сама собой.

Представитель Эланда предлагает вместо деревянных заборов воздвигать стены из песчаника; представитель Сконе предпочитает живые изгороди из самшита; уроженец Норрботтена в свою очередь считает, что заборы вообще не нужны, если они не огораживают пашню, а депутат от Стокгольма полагает, что вопрос этот следует передать в комитет экспертов, причем он делает это на слове «экспертов». И тогда в зале поднимается буря. Лучше смерть, чем комитет! Депутаты требуют голосования. Предложение отвергнуто, и заборы будут стоять, пока не завалятся сами собой.

Главный писарь снова читает:

— «Заклучение государственной комиссии номер шестьдесят шесть на предложение Карла Ионссона об отмене ассигнований на деятельность Библейского комитета».

При упоминании почтенного имени этого столетнего учреждения иронические улыбки на лицах депутатов гаснут сами собой, и в зале воцаряется благоговейная тишина. Кто отважится посягнуть на самые основы религии? Кто отважится подвергнуть себя всеобщему осуждению? Слово просит епископ Истадский.

— Записывать? — спрашивает Фальк.

— Нет, нас не интересует, что он скажет.

Однако консерватор Струве делает следующие записи:

«Свящ. интересы отечества. Религия и ее объединяющая человечество роль. 829 г. 1632 г. Неверие. Жажда новизны. Слово божие. Слово человеческое. Столетие. Усердие. Честность. Справедливость. Порядочность. Ученость. На чем зиждется шведская церковь. Честь и слава древних шведских традиций. Густав I. Густав II. Холмы Лютцена. Глаза Европы. Приговор грядущих поколений. Скорбь. Позор. Зеленый дерн. Умывание рук. Решайте».

Слово просит Карл Ионссон.

— Теперь записываем мы! — говорит «Красная шапочка».

И пока Струве всячески разукрашивает речь епископа, они записывают.

«Болтовня. Пустословие. Сидят уже 100 лет. Обошлось в 100 000 рдр. 9 архиепископов. 30 профессоров. Еще 500 лет. Платим жалованье. Секретари. Ассистенты. Ничего не сделано. Одни предположения. Негодная работа. Деньги, деньги и деньги! Будем называть вещи своими именами. Надувательство. Чинуши. Высасывание денег. Система».

Никто не выступает в поддержку этого предложения, однако в результате молчаливого голосования оно принято.

Пока «Красная шапочка» привычной рукой наводит глянец на шероховатую речь Ионссона и придумывает ей броский заголовок, Фальк отдыхает. Но вот взгляд его падает на галерею для публики, и он замечает хорошо знакомую ему голову, склоненную на барьер; ее обладателя зовут Олле Монтанус. В этот момент Олле похож на собаку, стерегущую кость, и возможно, так оно и есть на самом деле, но Фальк ничего об этом не знает, потому что Олле человек очень скрытный.

Между тем под правой галереей, как раз возле скамьи, на которую сутулое существо сбрасывало стружки от карандаша, появляется господин в мундире государственного чиновника с треугольной шляпой под мышкой и рулоном бумаги в руке.

Председательский молоток стучит по кафедре, и в зале воцаряется ироническая и несколько зловещая тишина.

— П и ш и , — приказывает «Красная шапочка», — но бери только цифры, а я возьму все остальное.

— Кто это?

— Королевские законопроекты.

Рулон начинает разворачиваться, и чиновник читает:

— «Законопроект его королевского величества об увеличении ассигнований на департамент изучения живых языков юношами дворянского звания по статье «Письменные принадлежности и другие расходы» с пятидесяти тысяч риксдалеров до пятидесяти шести тысяч риксдалеров тридцати семи эре».

— А что такое «другие расходы»? — спрашивает Фальк.

— Графины для воды, стойки для зонтов, плевательницы, шторы, обеды на Хассельбаккене, денежные вознаграждения и так далее. А теперь помолчи и слушай дальше!

Бумажный рулон продолжает разворачиваться:

— «Законопроект его королевского величества об ассигновании средств для учреждения шестидесяти новых офицерских должностей в Вестготской кавалерии».

— Шестидесяти? — переспрашивает Фальк, не имеющий ни малейшего представления о государственных делах.

— Шестидесяти, шестидесяти! Ты знай себе пиши!

Бумажный рулон все разворачивается и становится все длиннее и длиннее.

— «Законопроект его королевского величества об ассигновании средств для учреждения пяти новых штатных канцелярских должностей в Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Сильное движение за столиками для игры в преферанс; движение на стуле, где сидит Фальк.

Бумага снова сворачивается в рулон, председатель встает и с поклоном благодарит владельца рулона, словно спрашивает: «Не угодно ли что-нибудь еще?», после чего тот садится на скамью и начинает сдвигать карандашные стружки, которые сбросил сутулый, однако его жесткий, расшитый золотом воротник мешает ему упасть в искушение, которому поддался председатель палаты.

Дебаты продолжаются. Свен Свенссон из Торрлэсы просит предоставить ему слово по вопросу о призрении бедных. Как по команде, все корреспонденты поднимаются с мест и начинают зевать и потягиваться.

— Пойдем вниз, позавтракаем, — говорит «Красная шапочка» своему подопечному. — В нашем распоряжении час десять минут.

Однако Свен Свенссон начинает говорить.

Парламентарии встают, некоторые выходят из зала. Председатель беседует с несколькими верными правительству депутатами и тем самым от лица правительства выражает свое неодобрение по поводу того, что намеревается сказать Свен Свенссон. Два пожилых парламентария из Стокгольма подводят к трибуне молодого человека, судя по внешнему виду — новичка, и показывают ему на оратора, словно на диковинного зверя; некоторое время они с интересом рассматривают Свена Свенссона и, найдя его ужасно смешным и нелепым, поворачиваются к нему спиной.

«Красная шапочка» любезно информирует Фалька о том, что Свен Свенссон — форменное наказание для всей палаты. Он ни то и ни се, не берет сторону ни одной из партий, никому не удается заручиться его поддержкой, а он только говорит и говорит. Но о чем он говорит — никто не знает, потому что ни одна газета не публикует отчетов о его выступлениях, а в протоколы заседаний все равно никто не заглядывает.

Однако Фальк, который питает слабость ко всему, что остается другими незамеченным, не идет завтракать, и ему удается услышать то, чего он уже давно не слышал, — услышать честного человека, который, не сворачивая, идет по намеченному пути и высказывает свой голос в защиту униженных и оскорбленных... но этот голос никто не слышит.

Между тем Струве, увидев на трибуне Свена Свенссона, вместе со всеми направляется в буфет, где уже собралась половина палаты.

Поев и немного выпив, они снова собираются на своем месте и еще некоторое время слушают Свена Свенссона или, вернее, смотрят, ибо после завтрака в палате стоит такой многоголосый шум, что из речи оратора не слышно уже ни слова.

Наконец Свен Свенссон замолкает. Ни у кого нет никаких возражений, не надо принимать никакого решения, и вообще все ведут себя так, будто никакого Свена Свенссона нет и никогда не было.

Главный писарь палаты, который за это время успел побывать в своих коллегиях, поглядеть газеты и помешать огонь в печах, снова поднимается на трибуну и читает:

— «Заключение государственной комиссии номер семьдесят два в связи с просьбой Пера Ильссона из Тресколы об ассигновании десяти тысяч риксдалеров на реставрацию старинных скульптур в трескольской церкви».

Собачья голова на барьере галереи для публики приняла угрожающий вид, словно преисполнилась решимости не упустить свою кость.

— Ты знаешь вон того уroda на галерее? — спрашивает «Красная шапочка».

— Полагаю, что это Олле Монтанус.

— А ты знаешь, что он из Тресколы? Ловкий малый! Взгляни на его выразительную физиономию, когда речь пойдет о Тресколе. Слово предоставляется Перу Ильссону.

Струве с презрением поворачивается к оратору спиной и вынимает табак, однако Фальк и «Красная шапочка» берут перья на изготовку.

— Ты записываешь ф р а з ы , — говорит «Красная шапочка», — а я — факты!

Через четверть часа лист бумаги, лежавший перед Фальком, исписан следующими словами:

«Достояние отечеств. культуры. Эконом. интересы. Охрана памятников старины. Как писал Фихте. Отечеств. культ. не материальн. интересы. *Ergo*, это обвинение опровергн. Священ. храм. В сиянии утреннего солнца. Чей шпиль до небес. С незапамятных времен. О чем не мечтали философы. Свящ. права нации. Отечеств. культ. Академия литературы, истории и искусства».

Вся эта тарабарщина, порядком повеселившая депутатов, особенно в связи с эксгумацией покойного Фихте, тем не менее вызвала дебаты, в которых приняли участие депутаты от столицы и Упсалы.

Представитель Стокгольма сказал, что, хотя он никогда не был в трескольской церкви и не знает Фихте и хотя ему неизвестно, стоят ли древние гипсовые старики десять тысяч риксдалеров, тем не менее он проголосует за это предложение, дабы поддержать в палате это прекрасное начинание, поскольку за все годы его участия в работе парламентского большинства он впервые слышит, чтобы кто-то требовал ассигнований на что-нибудь другое, кроме мостов, народных школ и тому подобного.

Представитель Упсалы заявил (согласно записям Струве), что автор этого предложения *à priori*¹ прав, его исходная посылка — необходимость поддержать отечественную культуру — абсолютно верна, окончательный вывод — ассигнование десяти тысяч риксдалеров — совершенно неопровержим, конечная цель, намерение, общая тенденция — прекрасны, похвальны, патриотичны, но здесь допущена ошибка. Кем? Отечеством? Государством? Церковью?

¹ Независимо от опыта (*лат.*).

Нет! Автором этого предложения! С точки зрения здравого смысла автор безусловно прав, и оратору — он повторяет это снова и снова — не остается ничего другого, как похвалить конечную цель, намерение и общую тенденцию и отнестись к судьбе этого предложения с самой горячей симпатией, и он призывает депутатов во имя отечества, во имя культуры и во имя искусства отдать этому предложению свои голоса, но он сам, рассматривая это предложение с позиций логики и считая его ошибочным, немотивированным и вредным, будет вынужден проголосовать против, поскольку оно распространяет понятие государства на отдельные области страны.

Пока происходило голосование, голова на галерее для публики дико вращала глазами, а губы у нее конвульсивно подергивались, но как только голоса были подсчитаны, а деньги ассигнованы, голова куда-то метнулась и исчезла в хлынувшей к дверям толпе тех, кто остался недоволен исходом голосования.

Фальк понял наконец связь между предложением Пера Ильссона и присутствием, а потом и исчезновением Олле. Струве, у которого после завтрака взгляды стали еще консервативнее, а голос еще громче, во всеулышанье разглагольствовал о том и о сем. «Красная шапочка» оставалась спокойной и ко всему безразличной; она уже давно разучилась удивляться.

Но тут в темной туче людской толпы, сквозь которую только что пробился Олле, вдруг появилось лицо, ясное, светлое и сияющее, как солнце, и Арвид Фальк, обративший было в ту сторону свой взор, вынужден был тотчас же опустить глаза и отвернуться, ибо там стоял его брат, глава семьи, честь имени, которое он сделает славным и знаменитым. Из-за плеча Карла-Николауса Фалька высовывалась половина еще одного лица, смуглого, лицемерного и фальшивого, и оно с таинственным видом что-то нашептывало в спину Карла-Николауса. Арвид Фальк не успел прийти в себя от изумления, увидев здесь брата, поскольку знал о его неприязни к новому государственному правопорядку, как председатель разрешил внести предложение Андерсу Андерссону, каковым разрешением тот незамедлительно воспользовался и зачитал следующее:

— «На основании многочисленных фактов предлагаю, чтобы риксдаг принял постановление, в соответствии с которым корона несет солидарную ответственность с теми акционерными обществами, чьи уставы она санкционирует».

Солнце на галерее для публики тотчас померкло, а в зале разразилась буря! Слово предоставляется графу фон Шплинт.

— *Quousque tandem Catilina...*¹ Дальше уже некуда! Есть люди, которые забываются настолько, что отваживаются критиковать правительство или, что еще хуже, делают его предметом насмешек, грубых насмешек, ибо никак иначе я не могу квалифицировать это предложение. Насмешка, говорю я, нет, покушение, предательство! О! Мое отечество! Твои недостойные сыны забыли, чем они тебе обязаны! Но разве могло быть иначе, если ты утратило свое ры-

¹ До каких же пор, Катилина... (*лат.*)

царское воинство, свой щит, свой оплот. Я предлагаю этому человеку, Перу Андерссону, или как там его еще зовут, снять свое предложение, а не то, видит бог, он убедится, что у короля и отечества есть еще верные защитники, которые могут поднять камень и метнуть его в многоголовую гидру предательства!

Одобрительные возгласы с галереи для публики, недовольный ропот в зале.

— Ха, вы думаете, я вас боюсь!

Оратор так размахивает руками, словно уже бросает камни, но гидра смеется всей сотней своих лиц. Оратор ищет другую гидру, которая не смеется, и находит ее на галерее для прессы.

— Там, там! — восклицает он, показывая на голубятню, и бросает такие неистовые взгляды, будто стена разверзлась и ему открылась бездна. — Вот оно, воронье гнездо! Я слышу их карканье, но они не испугают меня! Поднимайтесь, шведы, рубите дерево, пилите бревна, срывайте доски, ломайте столы и стулья в щепки, такие мелкие, как в о т . . . — и он показывает на свой м и з и н е ц, — и сожгите дотла этот рассадник зла, и вы увидите, каким пышным цветом в мире и покое расцветет наше государство, его города и селения. Это говорит вам шведский дворянин! Когда-нибудь вы вспомните его слова, крестьяне!

Эта речь, которую каких-нибудь три года назад встретили бы криками восторга на площади перед Рыцарским замком и все до последнего слова включили бы в протокол, чтобы потом напечатать и разослать по всей стране во все народные школы и другие благотворительные учреждения, была встречена весьма иронически и основательно отредактирована, прежде чем попала в протокол, и отчеты о ней, как это ни странно, появились лишь в оппозиционных газетах, которые обычно не публикуют подобного рода материалы.

Затем слово попросил представитель Упсалы. Он целиком и полностью согласился по существу вопроса с предыдущим оратором, и его чуткое ухо даже уловило в этом выступлении бряцание мечей былых времен; однако сам он будет говорить об идее, лежащей в основе акционерного общества, об идее как таковой, и в этой связи хочет пояснить, что акционерное общество отнюдь не является скоплением денег, как не является и объединением личностей, оно само по себе является личностью и, как таковое, не может считаться вмняемым...

Тут в зале поднялся такой смех и шум, что на галерее для прессы совсем не стало слышно оратора, закончившего свою речь предостережением, что на карту, в некотором роде, поставлены интересы отечества и если это предложение не будет отвергнуто, интересы отечества серьезно пострадают, и государство таким образом окажется в опасности.

До обеда выступили еще шесть ораторов, которые приводили данные официальной шведской статистики, цитировали законы, юридический справочник и «Гётеборгскую торговую газету», и все приходили к выводу, что отечество окажется в опасности, если риксдаг возложит на корону солидарную ответственность за все акцио-

нерные общества, уставы которых она санкционирует, и интересы отечества будут, таким образом, поставлены на карту. Правда, у следующего оратора даже хватило смелости сказать, что интересы отечества разыгрывают в кости, третий утверждал, что их разыгрывают в преферанс, четвертый и пятый считали, что они висят на волоске, а последний оратор был убежден, что они висят на ниточке.

Около полудня это предложение было отвергнуто, и таким образом отечество избежало грустной необходимости проходить через жернова парламентских комиссий, через канцелярское сито, через государственную соломорезку, молотилку, трепалку и газетную шумиху. Отечество было спасено! Бедное отечество!

Глава девятая **ПРЕДПИСАНИЯ**

Однажды утром, через несколько дней после событий, описанных в предыдущей главе, Карл-Николаус Фальк и его дражайшая супруга сидели за столом и пили кофе. Против обыкновения, супруг был не в халате и домашних туфлях, а супруга надела дорогой капот.

— Понимаешь, они приходили вчера, и все пятеро выражали свои соболезнования, — сказала супруга, радостно усмехаясь.

— Черт побери...

— Николаус, опомнись! Ведь ты не за прилавком!

— А что тут такого, если я разозлился?

— Во-первых, ты не разозлился, а рассердился! И нужно сказать: «Меня это поражает!»

— Да, меня даже слишком поражает, что ты вечно преподношишь мне всякие неприятные известия. Перестань говорить о том, что меня бесит.

— *Возмущает*, мой старичок! Ну что ж! Я как-нибудь сама справлюсь со своими невзгодами, но ведь ты всегда стараешься взвалить на...

— Ты хочешь сказать, свалить!

— Я хочу сказать взвалить, взвалить на меня все свои невзгоды и огорчения. Послушай! Разве это ты мне обещал, когда мы поженились?

— Ну ладно, хватит! Во всем, что ты говоришь, нет ни смысла, ни логики! Продолжай! Они приходили все пятеро, мама и пять сестер?

— Четыре сестры! Не очень-то ты любишь своих родственников.

— Твоих родственников! Да и ты их не слишком жалуешь!

— Не слишком! Я их просто не переносю.

— Так, значит, они были здесь и выражали свое сочувствие по поводу того, что твоего деверя прогнали со службы. Они прочли об этом в «Отечестве»? Не так ли?

— Именно так! И они совершенно обнаглели — заявили, что это хоть немного собьет с меня спесь.

— Высокомерие, моя старушка!

— Спесь, сказали они; я никогда не унижалась до подобных выражений.

— А ты что ответила? Наверно, задала им перцу?

— Уж можешь не сомневаться! Старуха пригрозила даже, что ноги ее больше не будет в этом доме!

— Правда? Так и сказала? Как по-твоему, сдержит она слово?

— Не думаю. Но старик наверняка...

— Не надо называть своего отца стариком, а то кто-нибудь услышит.

— Неужели ты думаешь, я могу себе это позволить при посторонних? Но, между нами говоря... старик больше никогда сюда не придет.

Фальк погрузился в глубокие раздумья. Потом снова заговорил:

— Твоя мать самолюбива? Обидчива? Ты ведь знаешь, я не люблю обижать людей! Скажи мне, где ее слабое место, где она наиболее уязвима, и я постараюсь не причинять ей боль.

— Самолюбива? Ты же сам знаешь, по-своему — да. Если, например, ей скажут, что мы пригласили гостей, а ее и сестер не пригласили, она никогда больше не появится в нашем доме.

— Ты уверена?

— Можешь не сомневаться!

— Меня поражает, что люди в ее положении...

— О чем ты болтаешь?

— Ну, ну! Почему все женщины такие обидчивые! Послушай, так как дела с твоим союзом? Какое вы ему придумали название?

— «За права женщины!».

— А что это такое?

— Как что? Женщина должна иметь право сама распоряжаться своей собственностью.

— А разве у тебя нет такого права?

— Нет, такого права у меня нет!

— И какой же собственностью ты не имеешь права распоряжаться?

— Половиной твоей, мой старичок! Я, как твоя супруга, имею все права на твое имущество, вернее, на наше общее имущество.

— Господи, кто вбил тебе в голову подобные глупости?

— Это вовсе не глупости, а дух времени, понятно? Новое законодательство должно предоставить мне право при вступлении в брак распоряжаться половиной нашего имущества, и на эту половину я вольна купить все, что мне заблагорассудится.

— И когда ты это купишь и растранижишь все деньги, я буду обязан еще и содержать тебя? Ничего себе, ловко придумано!

— Ну так тебя заставят, а не то попадешь в тюрьму! Закон карает всякого, кто отказывается содержать свою супругу.

— Ну нет, так дело не пойдет! А вы уже хоть раз собирались? Расскажи!

— Пока что мы работаем только над уставом на подготовительных заседаниях.

— И кто же это?

— Жена ревизора Хумана и ее милость госпожа Реньельм.

— Реньельм! Весьма почтенное имя! Кажется, я уже слышал его раньше. А что там с союзом кройки и шитья, который вы собирались основать?

— Все в порядке! Только не основать, а учредить! И представляешь, как-нибудь вечером к нам приедет пастор Скоре и прочтет проповедь.

— Пастор Скоре — превосходный проповедник и вращается в высшем свете. Ты молодчина, моя старушка, и правильно делаешь, что избегаешь дурного общества. Нет ничего опаснее дурного общества. Эти слова моего покойного отца стали одним из моих главных жизненных принципов.

Супруга собрала со стола в свою кофейную чашку хлебные крошки. Супруг стал искать в жилетном кармане зубочистку, чтобы удалить кофейную гущу, застрявшую между зубами.

Супруги чувствовали себя несколько неловко в обществе друг друга. Каждый из них знал, о чем в данный момент думает другой, и оба прекрасно понимали, что первый, кто нарушит молчание, обязательно сморозит какую-нибудь глупость и скомпрометирует себя. Мысленно перебирая возможные темы для разговора, они продумывали их и тотчас отвергали за непригодностью; все они были так или иначе связаны или могли быть связаны с тем, о чем они только что беседовали. Фальк безуспешно пытался найти какой-нибудь изъясн в сервировке стола, дабы использовать его как повод для выражения недовольства. Его супруга смотрела в окно в тайной надежде увидеть перемену в погоде, но — напрасно.

И тут появился лакей со спасительным кругом в виде газет и доложил о приходе нотариуса Левина.

— Пусть подождет! — распорядился Фальк.

После этого он некоторое время ходил по комнате, скрипя сапогами, дабы своевременно оповестить беднягу, ожидавшего аудиенции в прихожей, о своем высочайшем прибытии.

Левин, на которого эта новая затея хозяина — томительное ожидание в прихожей — произвела достаточно сильное впечатление, наконец был допущен в господский кабинет, где его, дрожащего от волнения, приняли довольно сурово, как просителя.

— Ты принес бланк? — спросил Фальк.

— Кажется, принес, — ответил ошарашенный Левин, выгребая из кармана целую пачку долговых обязательств и вексельных бланков на самые различные суммы. — Какой бланк ты предпочитаешь? У меня векселя во все банки, кроме одного.

Несмотря на значительность происходящего, Фальк не мог не усмехнуться при виде долговых обязательств, на которых не хватало только имени, векселей, выписанных без указания о принятии их к платежу, и опротестованных векселей.

— Ну, тогда Банк канатной фабрики.

— Это и есть тот единственный банк, который нам не годится, потому что... меня там знают!

— Ладно, тогда Банк сапожников, Банк портных, в конце концов, любой банк, но только решай побыстрей.

Остановились на Банке столяров.

— Ну, — сказал Фальк и посмотрел на Левина так, словно тот уже продал ему свою душу, — а теперь иди и закажи себе новое платье; пусть портной сошьет тебе мундир в кредит.

— Мундир? Но я не ношу...

— Молчать, когда я говорю! Мундир должен быть готов к четвергу — на будущей неделе я устраиваю званый вечер. Ты ведь знаешь, что я продал лавку со складом и как оптовый торговец получаю завтра гражданство.

— О, поздравляю...

— Молчать, когда я говорю! Сейчас ты отправишься с визитом на Шепсхольмен! Благодаря своей лицемерной манере держаться и неслыханному умению болтать всякий вздор тебе удалось завоевать расположение моей тещи. Так! Спросишь, как ей понравился званый вечер, который я устраивал у себя дома в прошлое воскресенье.

— У себя дома? Ты устраивал...

— Молчи и слушай! Она вытаращит глаза и спросит, был ли ты приглашен. Тебя, естественно, не пригласили, потому что никакого званого вечера вообще не было. Так! Каждый из вас выразит по этому поводу свое возмущение, вы станете добрыми друзьями и приметесь бранить меня на все корки; я знаю, ты это умеешь. Но мою жену ты будешь всячески расхваливать. Понял?

— Не совсем.

— Это и не обязательно, твое дело только слушать, слушать и повиноваться. И еще: скажешь Нистрёму, что я так занесся, что больше не желаю с ним знаться. Выложи ему все, и тогда хоть раз в жизни ты скажешь правду... Впрочем, не надо. С этим можно подождать... пока. Пойди к нему, наплети с три короба о званом вечере в четверг, о выгодах, которые он сможет извлечь, о бесконечных благодеяниях, блестящих перспективах и тому подобное. Понятно?

— Понятно!

— А потом ты возьмешь рукопись, отправишься в типографию и... тогда...

— И тогда мы ниспровергнем его!

— Называй это как тебе угодно, но все должно быть сделано именно так, а не иначе!

— На вечере я читаю стихи и раздаю их гостям?

— Гм, да! И еще! Постарайся встретиться с моим братом. Разузнай, чем он занимается и с кем водит знакомство! Нужно завоевать его расположение, втереться к нему в доверие; это нетрудно; стань его другом! Скажи ему, что я его обманул, что я чванлив и спесив, и спроси его, сколько он хочет за то, чтобы изменить свое имя!

Бледное лицо Левина подернулось зеленоватой тенью, которая означала, что он покраснел.

— Ну, это, пожалуй, немного гадко, — сказал он.

— Что такое? И еще! Как деловой человек, я хочу, чтобы в делах у меня был порядок! Я представляю поручительство на довольно крупную сумму, которую мне придется уплатить, ясно как день!

— О! О!

— Не болтай! На случай твоей смерти у меня нет от тебя никакого обеспечения. Подпиши-ка мне долговое обязательство на предъявителя, подлежащее оплате по первому требованию; ведь это чистая формальность.

Когда Левин услышал про предъявителя, по его телу пробежала легкая дрожь, и он очень нерешительно и боязливо взялся за перо, хотя прекрасно понимал, что все пути к отступлению отрезаны. Перед его мысленным взором вдруг возникли малосимпатичные парни, стоящие шпалерами с палками в руках; перед глазами — лорнеты, распухшие от проштампованных бумаг нагрудные карманы; он слышит хлопанье дверей, топот ног на лестницах, его вызывают в суд, угрожают, но потом дают отсрочку, и вот на ратуше бьют часы, а малосимпатичные парни берут свои палки на караул и ведут его в колодках к месту казни — тут его отпускают, но его гражданская честь гибнет под топором палача под шумное ликование толпы.

Он подписал. Аудиенция закончена.

Глава десятая

ГАЗЕТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕРЫЙ ПЛАЩ»

В течение сорока лет Швеция трудилась не покладая рук, чтобы завоевать себе то право, которым сейчас обладает каждый, когда достигает совершеннолетия. Мы писали брошюры, основывали газеты, бросались камнями, устраивали обеды и произносили речи; мы заседали и писали петиции, разъезжали по железной дороге, пожимали руки, сформировали армию из добровольцев и наконец с большой помпой обрели то, чего так долго добивались. Энтузиазм был велик и вполне оправдан. Старые березовые столы в винном погребке при Опере превратились в политические трибуны, а реформаторский дух, исходивший от пунша, породил многочисленных политиканов, которые впоследствии много шумели и кричали; реформаторский чад сигар разбудил честолюбивые мечты, которым так и не суждено было сбыться; мы смывали с себя старую пыль мылом реформ и были убеждены, что все прекрасно, и после невероятной трескотни расположились поудобней и стали ждать замечательных результатов, которые должны были родиться сами собой. Мы проспали несколько лет, а когда проснулись и перед нами предстала реальная действительность, то поняли, что просчитались. Отовсюду слышался ропот; государственные деятели, которых еще совсем недавно превозносили до небес, теперь

подвергались суровой критике. Короче говоря, эти годы были отмечены некоторой растерянностью, которая скоро вылилась в форму всеобщего недовольства, или, как это теперь принято называть, в оппозицию. Однако то был новый вид оппозиции, ибо она выступала не против правительства, а против риксадага. Это была консервативная оппозиция, и к ней примкнули и либералы, и консерваторы, и молодежь, и старики, так что страна оказалась в крайне бедственном положении.

Между тем газетное акционерное общество «Серый плащ», взращенное при либеральной конъюнктуре, стало постепенно хиреть, поскольку ему приходилось отстаивать взгляды (если вообще можно говорить о взглядах акционерного общества), которые отнюдь не пользовались популярностью у читателей. Тогда правление общества внесло на рассмотрение общего собрания акционеров предложение изменить кое-какие взгляды, коль скоро они уже не привлекают необходимого для существования газеты количество подписчиков. Общее собрание приняло предложение правления, и отныне «Серый плащ» стал консервативным. Однако существовало одно «но», которое, правда, не слишком смущало издателей: чтобы не осрамиться перед читателями, нужно было сменить главного редактора; то, что невидимая редакция останется в прежнем составе, воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся. Главный редактор, человек честный и порядочный, подал в отставку. Редакция, которую уже давно поругивали за ее красноватый оттенок, отставку с радостью приняла, чтобы таким образом без всяких лишних затрат завоевать расположение состоятельной публики. Оставалось лишь найти нового главного редактора. В соответствии с новой программой «Серого плаща» он должен был обладать следующими качествами: пользоваться безграничным доверием читателей как человек и гражданин, принадлежать к сословию государственных служащих, владеть титулом, узурпированным или купленным, который в случае необходимости мог бы стать еще более высоким; кроме того, он должен был обладать респектабельной внешностью, чтобы появляться на всевозможных празднествах и других общественных увеселениях, быть несамостоятельным и немножко глупым, поскольку акционеры знали, что истинная глупость всегда ведет к консервативному образу мыслей и вместе с тем вырабатывает довольно тонкий нюх, который позволяет заранее угадывать пожелания начальства и постоянно напоминает о том, что общественное благо по сути дела есть благо личное; он должен быть средних лет, поскольку такими легче управлять, и женат, так как акционерное общество состояло из деловых людей, которые считали, что женатые ведут себя лучше, чем холостяки.

Такого человека наконец нашли, и он в значительной степени обладал упомянутыми выше качествами. Это был на редкость красивый мужчина, довольно хорошо сложенный, с длинной вьющейся светлой окладистой бородой, скрывававшей от посторонних глаз все то уродливое, что было на его лице, которое поэтому

никак не могло считаться зеркалом его души. Большие, широко открытые лживые глаза зачаровывали собеседника и располагали к доверию, которым он впоследствии всячески злоупотреблял; своим глуховатым голосом он говорил о любви, мире, справедливости и прежде всего о патриотизме, соблазняя введенных в заблуждение собеседников собираться вечерами за пуншем, где этот замечательный человек без устали распространялся о равноправии и любви к родине. Надо было послушать, какое огромное влияние он, человек долга, оказывал на свое дурное окружение; *увидеть* это было нельзя, можно было только услышать. Вся эта свора, которую многие годы натравливали на все добропорядочное и почтенное, науськивали на правительство и чиновников, которая набрасывалась даже на более высокие инстанции, теперь притихла и возлюбила всех, кроме своих старых друзей, стала честной, высоконравственной и справедливой — только для вида. Они во всем следовали новой программе, которую, придя к власти, выработал новый главный редактор; ее смысл, в нескольких словах, сводился к тому, чтобы преследовать все новое и хорошее, продвигать все старое и плохое, ползть на брюхе перед властью преержавшей, возвеличивать тех, кому повезло, и топтать тех, кто пытается подняться, обожествлять успех и издеваться над несчастьем, хотя в самой программе эти предложения были сформулированы в вольном переводе следующим образом: «Признавать и поддерживать лишь то, что одобрено жизнью и проверено на практике, противодействовать всевозможным новшествам, строго, но справедливо наказывать тех, кто стремится достичь успеха порочными средствами, а не честным трудом».

Потаенный смысл этого последнего пункта, особенно дорогого сердцу каждого сотрудника редакции, имел свое объяснение, которое не надо было искать слишком далеко. Редакция в основном состояла из людей, чьи надежды так или иначе пошли прахом, у большинства по их же собственной вине, главным образом из-за лени и пьянства. Некоторые еще в юности прослыли гениями; певцы, ораторы, поэты, салонные остряки, они со временем оказались преданы справедливому забвению, которое считали несправедливым. Многие годы им приходилось, к их большой досаде, поощрять и хвалить тех, кто создавал что-то новое, и вообще все то, что было новым, и, следовательно, не было ничего удивительного в том, что теперь при первом же удобном случае они набрасывались под самыми благовидными предлогами на все новое, не делая различия между хорошим и плохим.

Особенно острый нюх на всякого рода жульничество и нечестность был у главного редактора. Если какой-нибудь депутат риксадага выступал против предложения, которое наносило ущерб всей стране в угоду частным интересам той или иной корпорации, его тотчас же обзывали жуликом, претендующим на оригинальность и домогающимся министерского фрака; главный редактор не говорил «портфеля», потому что главное значение придавал одежде. Однако политика не была его сильной стороной, так же

как и не была его слабостью, ибо слабость он питал лишь к литературе. Как-то раз на каком-то празднестве в Упсале он произнес стихотворный тост в честь одной женщины, внеся тем самым значительный вклад в шведскую поэзию; этот вклад был воспроизведен и опубликован в стольких провинциальных газетах, какое количество автор посчитал достаточным, чтобы обрести бессмертие. Таким образом, теперь он был поэтом и, сдав последний экзамен, купил билет второго класса и отправился в Стокгольм, чтобы начать новую жизнь и принять восторги почитателей своего таланта, на которые мог претендовать как поэт. Увы, жители столицы не читают провинциальных газет. О молодом человеке ничего не знали, и его талант не был по достоинству оценен. Как человек разумный — а его маленький разум никогда не подвергался пагубному воздействию неумеренной фантазии, — он спрятал от посторонних глаз свою кровоточащую рану, которая осталась тайной всей его жизни. Горечь, вызванная тем грустным обстоятельством, что его честный труд, как он называл его, остался без вознаграждения, сделало его весьма подходящим на роль литературного критика, однако сам он не писал, поскольку занимаемая им должность запрещала ему давать личные оценки тому или иному произведению, а препоручал это рядовому рецензенту, честному и неподкупному, который и выносил строгий и окончательный приговор. На протяжении шестнадцати лет рецензент этот тоже писал стихи, которые никто не читал, и хотя подписывал их псевдонимом, никого не интересовало настоящее имя автора. Однако каждый год на рождество его стихи выкапывались из пыли, и их восхвалял в «Сером плаще» какой-нибудь беспристрастный критик, неизменно ставя под статьей свою подпись, чтобы публика не подумала, будто статью написал сам автор стихов, поскольку еще не умерла надежда, что читатели его знают. Но на семнадцатый год поэт счел целесообразным поставить на своей новой книге (новое издание старой книги) свое настоящее имя. К несчастью, «Красная шапочка», в которой сотрудничали сплошь молодые люди, слыхом не слыхавшие настоящего имени поэта, приняли маститого автора за новичка, выразив свое удивление по поводу того, что начинающий автор, впервые выступающий в печати, подписался своим настоящим именем, а также в связи с тем, что молодой человек может писать так сухо и старомодно. Это был жестокий удар; маститый поэт даже схватил лихорадку, но вскоре оправился и был блистательно реабилитирован в «Сером плаще», который одним духом заклеил всю читательскую общественность, назвав ее безнравственной, бесчестной и не способной оценить по достоинству честную, здоровую и высоконравственную книгу, которую можно дать почитать даже ребенку без малейшего для него ущерба. По этому поводу проехался один юмористический журнал, да так удачно, что у старого поэта снова началась лихорадка, а когда он немного оправился, то во гневе проклял всю отечественную литературу, все книги, какие отныне будут выходить в свет... Впрочем, не все, ибо внимательный читатель не раз замечал, что «Серый

плащ» зачастую хвалил крайне слабые литературные произведения, хотя похвалы эти звучали весьма неубедительно, а порой и двусмысленно, и еще он замечал, что все эти произведения выходят в издательстве одного небезызвестного издателя, из чего, правда, вовсе не следует, что старый поэт поддавался воздействию каких-то внешних факторов, таких, как, скажем, салака или голубцы, поскольку он, как и вся редакция, был честным человеком, который наверняка не решился бы судить других людей, если бы сам не был безупречен.

Теперь о театральном критике. Он получил образование и изучал драматическое искусство в почтовой конторе одного провинциального городка, где служил посыльным и где случайно влюбился в великую актрису, которая, правда, была великой только тогда, когда выступала в этом городке. Поскольку он был не настолько просвещенным, чтобы делать различие между своим личным мнением и мнением общественным, то его любовное приключение привело к тому, что, когда «Серый плащ» впервые предоставил ему свои полосы, он разнес в пух и прах первую актрису страны, утверждая, будто в роли, о которой шла речь, она подражала его мамзели... как там ее звали. Не будем заострять внимание на том, что все это было написано неуклюже и грубо и еще до того, как «Серый плащ», всегда державший нос по ветру, изменил свою ориентацию. Эта история создала ему имя, для всех ненавистное, всеми презираемое, но все-таки имя, защищавшее его от постоянных нападков. К его наиболее выдающимся, хотя и с опозданием признанным достоинствам как театрального критика относилось и то, что он был глух. А поскольку о его глухоте стало известно лишь по прошествии нескольких лет, то никому не приходило в голову, что обстоятельство это как-то связано с потасовкой при погашенных огнях в вестибюле Оперы, вызванной одной из его рецензий. С тех пор он испытывал силу своих рук лишь на желторотых юнцах, и люди сведущие могли безошибочно определить по его рецензии, когда он терпел очередное фиаско за кулисами, ибо тщеславные провинциалы где-то вычитали, будто Стокгольм — тот же Париж, и твердо уверовали в это.

Вопросами изобразительного искусства в редакции занимался один старый академик, который ни разу в жизни не держал в руках кисти, но зато был членом почтенного художественного общества «Минерва», что давало ему возможность рецензировать произведения искусства еще до того, как они были закончены, и тем самым избавлять публику от необходимости высказывать свое собственное суждение. Он всегда был настроен очень благожелательно... в отношении своих знакомых, и когда писал отчет о какой-нибудь выставке, никого из них никогда не забывал и благодаря этой многолетней привычке так набил себе руку, восхваляя и х, — а ничего другого он просто не мог себе позволить, — что на половине столбца ухитрялся втиснуть не менее двадцати имен. Напротив, о молодых художниках он добросовестно избегал говорить, так что публика, которая в течение десяти лет не слышала никаких

иных имен, кроме имен стариков, стала приходить в отчаяние, задумываясь о будущем отечественного искусства. Впрочем, одно исключение он все-таки сделал, сделал именно сейчас, и, к сожалению, в весьма неподходящий момент; вот почему сегодня утром «Серый плащ» пребывал в таком смятенном расположении духа.

А произошло следующее.

Селлен, если только читатель еще помнит это никому не известное имя, связанное с ничем не примечательными событиями, так вот Селлен в самый последний момент все-таки представил на выставку свою картину. После того как картину повесили на самом плохом месте, какое только можно себе представить, поскольку автор ее не был награжден королевской медалью и не состоял в Академии, явился «профессор Карл IX». Его прозвали так потому, что он не писал ничего другого, кроме сюжетов из хроники царствования Карла IX, а это немаловажное обстоятельство в свою очередь объясняется тем, что однажды он купил на аукционе бокал, скатерть, стул и пергамент эпохи Карла IX и с тех пор вот уже двадцать лет рисовал только эти предметы, иногда с королем, а иногда без него. За это время он стал профессором и кавалером каких-то орденов, и справиться с ним теперь было нелегко. На выставку он пришел в сопровождении искусствоведа-академика, и взгляд его случайно упал на молчаливого молодого человека из оппозиционного лагеря и его картину.

— Значит, сударь, вы опять здесь? — спросил он, надевая пенсне. — Это и есть новый стиль! Гм! Знаете что, сударь! Послушайте старика! Уберите ее отсюда! Уберите совсем, если не хотите, чтобы я умер! И вы окажете себе самому большую услугу. А что скажет по этому поводу мой дорогой брат?

Дорогой брат высказался в том смысле, что это не картина, а просто какое-то нахальство и как друг он советует молодому человеку переквалифицироваться в маляры.

Кротко, но проникновенно Селлен возразил, что на этом поприще уже подвизается столько народу, что он предпочел путь художника, на котором, оказывается, гораздо легче обрести почет и славу. Этот дерзкий ответ вывел профессора из себя, и он, повернувшись к Селлену спиной, обрушил на него несколько угроз, которые академик разнообразил еще парой обещаний.

Потом начались заседания высокопросвещенной закупочной комиссии при закрытых дверях. А когда двери снова открылись, стало известно, что на деньги, пожертвованные общественностью на развитие отечественного искусства, куплено шесть картин. Выписка из протокола, опубликованная в газетах, гласила: «Художественное общество купило вчера следующие работы: 1. «Вода и быки». Пейзаж. Оптовый торговец К. 2. «Густав-Адольф перед сожжением Макдебурга». Исторический сюжет. Торговец полотном Л. 3. «Сморкающееся дитя». Жанровая картина. Лейтенант М. 4. «Пароход «Буре» в гавани». Морской пейзаж. Диспашер Н. 5. «Деревья и женщины». Пейзаж. Королев-

ский секретарь О. 6. «Курица с шампиньонами». Натюрморт. Актер П.».

Эти произведения искусства, которые стоили в среднем по тысяче риксдалеров, потом расхвалил «Серый плащ», уделив им два и три четверти столбца (пятнадцать риксдалеров за столбец), что, в общем, было вполне естественным, однако критик, отчасти чтобы заполнить место, а отчасти дабы вовремя пресечь зло, набросился на новый прискорбный обычай, который все более входит в моду, когда молодые, никому не известные авантюристы, убежавшие из академии и совершенно невежественные, в погоне за сенсацией и с помощью всевозможных уловок пытаются сбить с толку здравомыслящую публику. И, взяв за уши Селлена, он так изничтожил его, что даже его врагам подобные нападки показались несправедливыми, а уж это что-нибудь да значит. Критику, однако, мало было лишить Селлена даже малейшего намека на талант и обозвать жуликом, — он напал на материальное положение Селлена, разругал заведения, где тому приходилось обедать, разругал его скверную одежду, его низкую мораль и нежелание трудиться и в заключение предсказал ему, во имя религии и нравственности, что рано или поздно он все равно попадет на принудительные работы, если только вовремя не возьмется за ум.

Это было чудовищное злодеяние, содеянное корыстолюбием и легкомыслием, и только чудом можно объяснить то, что никто не наложил на себя рук в тот вечер, когда вышел «Серый плащ».

А на следующий день вышел «Неподкупный». Он обратил самое пристальное внимание на то, что общественными деньгами бесконтрольно распоряжается небольшая группа людей, что на последней выставке у настоящих живописцев не было куплено ни одной картины, поскольку закупочная комиссия предпочла им чиновников и предпринимателей, обнаглевших настолько, что они решились конкурировать с профессиональными художниками, у которых нет другой возможности продать свои полотна, и эти разбойники лишь портят вкус у настоящих художников и деморализуют их; в результате их единственным желанием станет научиться писать так же плохо, как те, чьи картины находят покупателя, поскольку они не хотят умереть с голоду. Потом речь зашла о Селлене. Это была первая картина за десять лет, в которой присутствовала человеческая душа; в течение десяти лет живописные полотна создавались лишь красками и кистью; картина Селлена — это честная работа, наполненная вдохновением и экстазом, совершенно самобытная, и ее мог создать лишь тот, кто ощутил дыхание природы. Далее критик предостерегал молодого художника от выступления против стариков, которых он все равно уже превзошел, и призывал его верить и надеяться, потому что у него есть талант и т. д.

«Серый плащ» кипел от злости.

— Вот увидите, этот малый добьется успеха! — воскликнул главный редактор. — Черт побери, зачем нам понадобилось устраи-

вать ему такой разнос! А что, если он действительно добьется успеха? Тогда мы осрамялись!

Однако академик поклялся, что Селлен ни за что не добьется успеха, и в большом смятении отправился домой, кое-что прочитал и написал целый трактат, который неопровержимо доказывал, что Селлен жулик, а «Неподкупный» подкуплен.

«Серый плащ» перевел дух, но тут же получил новый удар.

На другой день утренние газеты сообщили, что его величество купил картину Селлена, «написанный с большим мастерством пейзаж, который вот уже несколько дней привлекает на выставку истинных ценителей живописи».

Над «Серым плащом» разразилась буря, и его трепало, как тряпку на жерди. Возвращаться назад или идти напролом вперед? Чему отдать предпочтение: чести газеты или чести критики? И главный редактор решил (по приказу директора) пожертвовать критиком и спасти газету. Но как? И тогда вспомнили о Струве, который чувствовал себя как дома в запутанных ситуациях, связанных с газетным делом, и его позвали на помощь. Он моментально разобрался в обстановке и обещал через несколько дней вернуть судно и направить против ветра. Чтобы лучше понять замысел Струве, нужно познакомиться с некоторыми обстоятельствами его биографии. Вечный студент, он занялся журналистикой не по призванию, а по необходимости. Сначала был главным редактором социал-демократического «Знамени народа», потом перебрался в консервативный «Враг крестьян», но когда «Враг» переехал в другой город со всем инвентарем, типографией и главным редактором, он изменил вывеску и стал называться «Другом крестьян», а вместе с тем несколько иную окраску приняли и взгляды сотрудников редакции. Затем Струве продали «Красной шапочке», где благодаря своему близкому знакомству со всеми мыслимыми уловками консерваторов он очень пришепнулся ко двору: так же как и теперь в «Сером плаще», одним из его главных достоинств оказалось знание всех тайн их смертельного врага — «Красной шапочки», а этим знанием он злоупотреблял бессовестно и бесцеремонно.

Реабилитацию «Серого плаща» Струве начал с корреспонденции в «Знамени народа», из которой несколько строк перепечатал «Серый плащ», сообщая о большом наплыве посетителей на выставку. Затем Струве написал в редакцию «Серого плаща» «письмо читателя», в котором разругал критика-академика; письмо сопровождала умиротворяющая приписка от имени редакции, гласившая: «Хотя мы никогда не разделяли мнения нашего уважаемого критика о пейзаже господина Селлена, высоко и по достоинству оцененного публикой, тем не менее мы не можем полностью согласиться и с мнением нашего уважаемого читателя, но поскольку в основе всей нашей деятельности — право каждого изложить свое мнение, хотя бы оно и не совпадало с нашим, то мы не колеблясь публикуем данное письмо».

Итак, лед бы сломан. Струве, который, как известно, писал обо всем, кроме куфийских монет, опубликовал блестящую критическую статью о картине Селлена и подписал ее в высшей степени симптоматично — «Dixi»¹. Таким образом, «Серый плащ» был спасен, а с ним, естественно, и Селлен, но последнее не так уж важно.

Глава одиннадцатая СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Семь часов вечера. Оркестр в заведении у Бернса играет «Свадебный марш» из «Сна в летнюю ночь», и под его торжественные звуки Олле Монтанус шествует в Красную комнату, где пока еще никого нет. Олле сегодня великолепен. На нем цилиндр, который он в последний раз надевал по случаю конфирмации, новый костюм, хорошие сапоги, он вымыт, свежевыбрит и завит, будто пришел на собственную свадьбу; поверх жилета свисает тяжелая медная цепочка, исчезая в левом жилетном кармане, который явно оттопыривается. На его лице играет солнечная улыбка, и вообще у него такой блаженный вид, будто он хочет осчастливить весь мир, дав ему займы немного денег. Он снимает пальто, которое раньше всегда так тщательно застегивал на все пуговицы, и садится на диван, потом расстегивает пиджак и расправляет белую манишку, так что она с легким треском выгибается, как свод, и при каждом его движении подкладка на новых брюках и жилете тихо шуршит. По-видимому, это доставляет ему огромное удовольствие, не меньшее, чем поскрипывание его сапог. Он достает часы, свои добрые старые часы, которые целый год и еще месяц отсрочки пролежали в ломбарде, в башне на Риддархольмене, и оба друга бесконечно рады своей вновь обретенной свободе. Что же произошло с этим беднягой, у которого сейчас такой несказанно счастливый вид? Мы знаем, что он не выиграл в лотерею, не получил наследства, не стяжал славы, не обрел того великого счастья, какое не поддается описанию; что же тогда произошло? Очень просто: он получил работу!

И вот появляется Селлен: бархатная куртка, лакированные башмаки, дорожный плед и полевой бинокль на ремне, трость, желтый шелковый галстук, розовые перчатки и цветок в петлице. Спокойный и довольный, как всегда; тяжелые потрясения, какие ему пришлось пережить за последние несколько дней, не оставили ни малейшего следа на его интеллигентном худощавом лице. Вместе с Селленом входит Реньельм, который сегодня молчаливее, чем обычно, ибо знает, что скоро ему придется расстаться со своим покровителем и другом.

— Ну, Селлен, — говорит Олле, — теперь ты счастлив? Не так ли?

¹ Я сказал, я высказался (*лат.*).

— Счастлив? Не болтай ерунды! Просто мне удалось продать свою картину. Первую за пять лет! Не так уж много.

— Но ты же читал газеты. Теперь у тебя есть имя!

— Подумаешь! Стоит ли ломать над этим голову. И не подумай, что такие пустяки меня хотя бы в малейшей степени интересуют. Я прекрасно знаю, сколько мне еще придется пробиваться, прежде чем я чего-нибудь добьюсь. Лет через десять, брат Олле, мы снова поговорим с тобой на эту тему.

Олле верит первой половине этого высказывания и не верит второй и снова трещит манишкой и так шуршит шелковой подкладкой, что привлекает к себе внимание Селлена, который не может удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Господи, какой ты сегодня красивый!

— Нет, серьезно? А ты выглядишь как настоящий лев.

И Селлен, постукивая тростью по лакированным башмакам, скромно нюхает цветок в петлице, и вид у него при этом самый безмятежный.

Но вот Олле снова достает часы, прикидывая, скоро ли придет Лунделль, и тогда Селлен в поисках Лунделля оглядывает галерею в бинокль. Потом Олле проводит ладонью по его бархатной куртке, чтобы почувствовать на ощупь, какая она мягкая, так как Селлен уверяет, что это необыкновенно хороший бархат, хоть и стоит совсем недорого. И тогда Олле ничего не остается, как спросить, сколько же стоит куртка, и Селлен отвечает ему и в свою очередь восторгается запонками Олле, сделанными из раковин.

Наконец появляется Лунделль, которому тоже кое-что перепало с пиршественного стола: за ничтожную плату он пишет за престольный образ для трескольской церкви, однако этот заказ еще не оказал видимого влияния на его внешность, если не считать сияющей физиономии и толстых щек, которые красноречиво говорят о том, что он отнюдь не сидит на голодной диете. Вместе с Лунделлем в комнату входит Фальк, как всегда серьезный, но очень довольный, искренне довольный тем, что справедливость все-таки восторжествовала и талант его друга оценили по достоинству.

— Поздравляю тебя, Селлен, хотя они ведь просто отдали тебе должное, не больше того, — говорит Фальк, и Селлен соглашается с ним.

— Все эти пять лет я писал не хуже, и надо мной только смеялись, понимаешь, смеялись еще только вчера, а теперь! Черт бы их побрал! Посмотри, какое письмо я получил от этого идиота-профессора, специалиста по Карлу Девятому.

В их глазах возмущение и гнев, им хотелось бы воочию увидеть этого бандита, отделать его как следует и уж по крайней мере изорвать в клочки бумагу, на которой стоит его имя.

— «Мой дорогой господин Селлен!» Нет, вы только послушайте! «От души рад приветствовать Вас», как он перепугался, однако, каналья! «Я всегда ценил Ваш талант», лицемер паршивый! Какой бред! Разорвите письмо и давите поскорее забудем старого болвана!

Селлен предлагает выпить, он поднимает тост за здоровье Фалька и выражает надежду, что своим пером тот скоро завоюет известность. Фальк в этом не уверен; краснея от смущения, он обещает, что когда-нибудь снова вернется к своим друзьям, но учиться ему придется долго, и пусть они его подождут, если он немного задержится, и он благодарит Селлена за дружбу, которая научила его ни при каких обстоятельствах не терять терпения и спокойно переносить страдания и лишения. А Селлен просит Фалька не болтать глупостей: для того чтобы страдать, когда ничего другого больше не остается, большого умения не требуется, а переносить лишения, когда кроме лишений у тебя все равно ничего нет, тоже доблесть небольшая.

Олле добродушно улыбается, манишка на его груди раздувается от избытка чувств, из-под нее вылезают красные подтяжки, и Олле пьет за здоровье Лунделля и просит его брать пример с Селлена и не забывать ради египетских горшков о земле обетованной, потому что он, безусловно, талантлив, в этом Олле убедился, но талантлив, лишь пока остается самим собой и выражает свои собственные мысли, а когда начинает лицемерить и выражает мысли других, то и пишет хуже других, поэтому запрестольный образ — всего лишь коммерческое предприятие, которое позволит ему в дальнейшем писать только по велению сердца и ума.

Воспользовавшись удобным случаем, Фальк хочет узнать, что думает Олле о себе самом и своем искусстве — это уже давно было для него загадкой, — как вдруг в комнату входит Игберг. Его тут же усаживают за стол и начинают энергично угощать, потому что в эти последние столь бурные дни о нем совсем забыли, и теперь они изо всех сил стараются показать, что это не было вызвано какими-нибудь эгоистическими соображениями. Между тем Олле роется в своем правом жилетном кармане и незаметно, как ему кажется, сует Игбергу в карман свернутую бумажку, и Игберг, очевидно, знает, что это за бумажка, потому что отвечает благодарной улыбкой.

Он поднимает бокал за Селлена и высказывает мнение, что, с одной стороны, он может повторить то, о чем уже не раз говорил: Селлен добился успеха. С другой стороны, можно предположить, что это не совсем так. Селлен еще не достиг высот мастерства, для этого ему понадобятся многие годы, ибо в искусстве все совершается бесконечно долго, это знает сам Игберг, который решительно ничего не добился, и поэтому его никак нельзя заподозрить в том, что он завидует такому признанному мастеру, как Селлен.

Явная зависть, прозвучавшая в словах Игберга, затянула солнечное небо дружеской беседы облаками невысказанной горечи, но все понимали, что причиной этой зависти были долгие годы несбывшихся надежд.

Тем большим было удовлетворение Игберга, когда он с покровительственным видом протянул Фальку только что вышедшую из печати брошюрку, на обложке которой тот с изумлением увидел черное изображение Ульрики-Элеоноры. Игберг сообщил Фальку,

что написал брошюру в тот же самый день, когда получил заказ. Смит очень спокойно воспринял отказ Фалька и теперь собирается издать его стихи.

Газовый свет вдруг утратил для Фалька свою яркость, и он погружился в глубокие раздумья, а сердце билось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Его стихи будут напечатаны, и Смит оплатит эту дорогостоящую операцию. Значит, в его стихах что-то есть! Этой новости было для него достаточно, чтобы ни о чем другом не думать весь вечер.

Быстро пролетели вечерние часы для этих счастливых людей, музыка умолкла, и газовое пламя стало гаснуть; пора было уходить, но было еще слишком рано и расставаться не хотелось, — они отправились гулять по набережной и завели бесконечную философскую беседу, пока не устали и не почувствовали жажду, и тогда Лунделль предложил проводить их к Марии, где им дадут пиво. Они вышли на окраину города и повернули в переулок, упавшийся в забор, за которым находилось табачное поле, прошли по узенькой улице и очутились перед старым двухэтажным каменным домом фасадом на улицу. Над входной дверью усмехались вделанные в стену две головы из песчаника с ушами и подбородками в виде листьев и раковин, а между ними были изваяны меч и топор. Когда-то это было жилище палача. Лунделль, который, очевидно, бывал здесь не раз, постучал в окно нижнего этажа, после чего шторы поднялись, окно приоткрылось и высунувшаяся из него женщина спросила, не Альберт ли это. Когда Лунделль подтвердил это свое *nom de guerre*¹, дверь отворилась, и женщина впустила их в дом, предварительно потребовав с них обещание вести себя тихо, а поскольку такое обещание они охотно дали, то вся Красная комната в полном составе и без дальнейших отлагательств оказалась в гостини и была представлена Марии под нарочно для этого случая придуманными именами.

Комната была невелика: прежде здесь находилась кухня, и до сих пор в углу еще стояла плита. Из мебели здесь был комод, каким обычно пользуется прислуга: на нем стояло зеркало, обвитое белой муслиновой занавеской; над зеркалом висела цветная литография с изображением распятого на кресте Спасителя, весь комод был заставлен фарфоровыми фигурками и флаконами от духов, кроме того, на нем лежал псалтырь и стояла подставка для сигар, и все это вместе с зеркалом и двумя зажженными стеариновыми свечами составляло как бы маленький домашний алтарь. Над раскладным диваном, который еще не застелили, сидел на лошади Карл XV, обрамленный вырезками из «Отечества» с изображением полицейских — извечных врагов всех магдалин. На окне стояли совсем поблекшие фуксия, герань и мирт — гордый мирт Венеры в прибежище бедности и запустения. На швейном столике лежал альбом с фотографиями. На первой странице — король, на второй и третьей — папа и мама, бедные крестьяне, на

¹ Прозвище (*фр.*).

четвертой — соблазнитель-студент, на пятой — ребенок и на последней — жених, подмастерье. То была история ее жизни, такая же, как и у многих других. На гвозде возле плиты висели элегантное плиссированное платье, бархатная накидка и шляпка с пером, — в этом облике профессиональной чаровницы она выходила завлекать юношей. А она сама? Высокая двадцатичетырехлетняя женщина с довольно заурядной внешностью. Праздность и бессонные ночи придали ее лицу прозрачную белизну, обычно свойственную богатым бездельницам, однако руки Марии еще сохранили следы тяжелого труда, которым она занималась в юности. В красивой ночной сорочке и с распущенными волосами она вполне могла сойти за Магдалину. С виду относительно скромная, она держалась мило, приветливо и вполне прилично.

Общество разделилось на группы: одни продолжали прерванный разговор, другие завели беседу на новую тему. Фальк, теперь считавший себя настоящим поэтом и потому проявлявший интерес ко всему, даже к самому банальному, завел душещипательный разговор с Марией, явно польщенной тем, что с ней обращаются как с человеком. Естественно, речь зашла о том, как и почему она выбрала этот путь. О первом совращении она особенно не распространялась, «тут не о чем и говорить»; тем более мрачными красками расписывала она свою работу служанки, рабскую жизнь под вечную воркотню и брань праздной барыни, жизнь, в которой было только одно: работа, работа, работа. Ну нет, лучше свобода!

— А что, если тебе когда-нибудь эта жизнь надоест?

— Тогда я выйду замуж за Вестергрена.

— А он захочет на тебе жениться?

— Еще как захочет! А я открою лавочку на деньги, которые скопила. Но об этом меня уже столько раз спрашивали... У тебя есть сигары?

— Есть. Вот, пожалуйста. Но мне бы хотелось задать тебе еще несколько вопросов.

Фальк взял альбом и открыл его на странице, где красовался студент; как и все студенты, он носил белый галстук, на коленях у него лежала студенческая шапочка, а выражение лица было несколько неестественное, под Мефистофеля.

— Кто это?

— Один очень хороший малый.

— Твой соблазнитель? Да?

— Замолчи! Я виновата не меньше, чем он. Да ведь это всегда так, мой дорогой, виноваты оба. А вот мой ребенок. Его прибрал господь, оно и к лучшему. Давай поговорим лучше о чем-нибудь другом. Что это за чудак, которого привел Альберт, вон тот, на плите, возле того длинного, что головой достает до трубы?

Олле, о котором в данном случае шла речь, был ужасно смущен тем лестным вниманием, какое было оказано его персоне, и слегка подкрутил свои завитые волосы, которые от неумеренных возлияний начали распрямляться.

— Это дьякон Монссон, — сказал Лунделль.

— Черт возьми, так это поп? Как же я сразу не догадалась по его хитрым глазкам? А знаете, у меня на прошлой неделе был здесь поп! Поди сюда, Массе, дай я погляжу на тебя!

Олле сполз с плиты, сидя на которой подвергал вместе с Игбергом критике категорический императив Канта. Внимание женщин было для него так непривычно, что он сразу помолодел и вихляющей походкой приблизился к очаровательной красавице, на которую уже посматривал одним глазом. Он лихо закрутил усы и, отвесив поклон, какому не учат в школе танцев, очень манерно спросил:

— Вам кажется, фрёкен, что я похож на попа?

— Нет, ведь я вижу теперь, что у тебя усы. Но для ремесленника ты слишком хорошо одет... Покажи-ка мне руку... а, так ты кузнец!

Олле почувствовал себя глубоко уязвленным.

— Неужели, фрёкен, я такой некрасивый? — взволнованно спросил он.

— Ты ужасно некрасивый! Но ты симпатичный!

— Ах, дорогая фрёкен, если бы вы знали, как раните мое сердце. Я никогда не встречал женщины, которой мог бы понравиться, а ведь сколько мужчин еще более некрасивых стали счастливыми; да, поистине женщина — дьявольская загадка, которую никому не дано разгадать, и потому я презираю ее!

— Великолепно, Олле, — донесся голос со стороны трубы, где виднелась голова Игберга. — Великолепно!

Олле вознамерился было снова забраться на плиту, но затронутая им тема слишком уж интересовала Марию, чтобы она дала прерваться их беседе; он задел струну, звук которой был ей хорошо знаком. Она села рядом с Олле, и скоро они погрузились в глубокомысленные рассуждения на вечно живую тему — о женщине и о любви.

Между тем Реньельм, который за весь вечер не проронил ни слова и был еще молчаливее, чем обычно, и никто не мог понять, что с ним происходит, под конец немного оживился и подсел на диван к Фальку. Очевидно, его уже давно мучила какая-то мысль, которую он никак не мог высказать. Он взял стакан и постучал по столу, словно хотел произнести речь, и, когда его соседи замолкли, сказал дрожащим невнятным голосом:

— Господа! Вы считаете меня дураком; я знаю, Фальк, я знаю, ты думаешь, я глуп, но вы еще увидите, ребята, вы увидите, черт побери...

Он возвысил голос и так ударил стаканом по столу, что разбил его вдребезги, а потом откинулся на спинку дивана и тут же заснул.

Эта сцена, ничем особенно не примечательная, тем не менее привлекла внимание Марии. Она встала, прервав разговор с Олле, которого теперь все меньше интересовала чисто абстрактная сторона вопроса.

— Нет, вы посмотрите, какой красивый мальчик! Где вы его взяли? Бедняжка! Ему так хотелось спать! А я и не заметила его!

Мария положила ему под голову подушку и укрыла шалью.

— Какие у него маленькие руки! Не то что у вас, мужланов! А какое лицо! Сама невинность! Как тебе не стыдно, Альберт, это ты испортил его!

Кто его спил, Лунделль или кто-нибудь другой, в данном случае уже не имело никакого значения — он был смертельно пьян; одно можно было сказать определенно: спаивать его не было никакой необходимости, ибо он постоянно горел желанием заглушить какое-то внутреннее беспокойство, которое словно гнало его от работы.

Лунделлю, однако, не очень понравились замечания о его красивом друге, сорвавшиеся с уст Марии, а все возрастающее опьянение вновь обострило его религиозное чувство, которое слегка притупилось от обильной еды. А поскольку уже все были пьяны, он счел своим долгом напомнить присутствующим о значении этого вечера, о чувствах, которые должна вызывать близкая разлука. Он встал, наполнил стакан пивом, оперся о комод и попросил минуту внимания.

— Милостивые государи, — начал он, но, вспомнив про Магдалину, добавил: — и милостивые государыни. В этот вечер мы ели и пили и, говоря по существу вопроса, делали это с намерением, которое, если отвлечься от всего материального, составляющего лишь низменную, чувственную, животную часть нашего существования, в такую минуту, как эта, когда близится час разлуки... мы видим печальный пример порока, который называется пьянством! И воистину приходит в смятение наше религиозное чувство, когда после вечера, проведенного в компании друзей, кто-то испытывает потребность поднять тост за человека, доказавшего, что он обладает возвышенным талантом — я подразумеваю Селлена, — но при этом нужно хотя бы в какой-то мере сохранять чувство собственного достоинства. Этот печальный пример, о котором я уже говорил... в высокой степени... дает о себе знать... и поэтому я вспоминаю прекрасные слова, которые всегда будут звучать у меня в ушах, и я убежден, что мы все помним те замечательные слова, хотя здесь не самое подходящее место, где их можно произнести. Этот молодой человек, павший жертвой порока, который называется пьянством, к сожалению, пролез в наше общество, что, короче говоря, привело к более печальным последствиям, чем можно было предполагать. Твое здоровье, мой благородный друг Селлен, желаю тебе всего того счастья, которого заслуживает твое благородное сердце, а также твое здоровье, Олле Монтанус. Фальк — тоже благородный человек, который добьется многого, когда его религиозное чувство окрепнет настолько, что станет соответствовать твердости его характера. Я не называю Игберга, ибо он уже выбрал свою стезю, и я желаю ему всяческого успеха на поприще, на котором он так блистательно сделал первые шаги, на поприще философии;

это трудное поприще, и я говорю, как псалмопевец: кто знает, что ожидает нас впереди? И тем не менее у нас есть все основания уповать на будущее, и я верю, что мы можем надеяться на лучшее, но лишь при условии, что не изменим чистоте наших помыслов и не возмечтаем о гнусной наживе, ибо, милостивые государи, человек без веры есть скот. Поэтому я предлагаю поднять стаканы и выпить их до дна за все благородное, прекрасное и честное, к чему мы стремимся. Ваше здоровье, господа!

Религиозное чувство все сильнее овладевало Лунделлем, и друзья стали подумывать о том, что пора уходить.

Сквозь штору уже давно пробивался дневной свет, изображенный на ней пейзаж с рыцарским замком и юной девой озаряли первые лучи утреннего солнца. Когда штору подняли, солнце залило комнату, осветив тех, что находились ближе к окну: они были похожи на трупы. На лицо Игберга, спавшего на плите со стаканом в руках, помимо солнечных лучей падали красноватые отблески стеариновой свечи, и это создавало совершенно удивительную игру красок. А Олле произносил тосты за женщину, за весну, за солнце, за вселенную и даже открыл окно, чтобы дать простор своим чувствам. Спящих растолкали, попрощались с хозяйкой, и вся компания вышла на улицу. Когда они сворачивали в переулок, Фальк обернулся: у окна стояла Магдалина; солнце озаряло ее белое лицо, а длинные черные волосы, окрашенные его лучами в темно-красный цвет, ниспадали на шею и кровавыми ручейками стекали вниз, на улицу; над ее головой нависли меч и топор и две физиономии оскалились в злобной ухмылке; а на другой стороне переулочка на яблоне сидела черно-белая мухоловка и распевала свою незамысловатую песенку, радуясь тому, что ночь прошла и наступило утро.

Глава двенадцатая **СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ТРИТОН»**

Леви, молодой человек, которому от рождения была уготована карьера коммерсанта, подумывал о том, как бы получше устроиться при поддержке богатого отца, когда тот неожиданно умер, не оставив после себя ничего, кроме необеспеченной семьи. Молодой человек понял, что жестоко просчитался в своих ожиданиях; он достиг того возраста, когда, по его мнению, уже можно перестать работать самому и заставить других работать на себя; ему исполнилось двадцать пять лет, и у него была очень выгодная внешность; широкие плечи при полном отсутствии бедер позволяли ему чрезвычайно эффектно носить сюртук на манер иностранных дипломатов, которыми он не раз восхищался; широкая грудь элегантно вырисовывалась под манишкой

с четырьмя пуговицами, упруго приподнимая ее, даже когда он опускался в глубокое кресло в конце длинного стола, за которым заседало правление; аккуратно расчесанная окладистая борода придавала его лицу привлекательность и внушающий доверие вид; маленькие ноги были словно созданы для того, чтобы ступать по брюссельскому ковру в кабинете директора, а холеные руки более всего подходили для какой-нибудь легкой работы, особенно такой, как подписывание бумаг, предпочтительно печатных формуляров.

В то памятное время, которое сейчас называют добрым, хотя на самом деле для многих оно оказалось в достаточной мере злым, было сделано великое, пожалуй даже, величайшее открытие века, смысл которого сводится к тому, что на чужие деньги жить гораздо проще и приятнее, чем на заработанные своим трудом. Многие, очень многие воспользовались этим открытием, и поскольку оно не было защищено патентом, пусть никого не удивляет, что Леви тоже поспешил обратить его себе на пользу, ибо у него самого не было денег, так же как и не было желания работать на чужую для него семью. И вот в один прекрасный день он надел свой лучший костюм и отправился к дядюшке Смигу.

— Так, значит, у тебя есть идея, ну что ж, послушаем! Хорошо, когда возникают идеи!

— Я хочу основать акционерное общество.

— Прекрасно! Арон будет главным бухгалтером, Симон — секретарем, Исаак — кассиром, а остальные братья счетоводами, прекрасная идея. Ну, дальше! И что же это за акционерное общество?

— Акционерное общество морского страхования.

— Так, так! Превосходно! Все должны страховать свои вещи, когда совершают морское путешествие. Но в чем заключается твоя идея? Ну?

— Это и есть моя идея.

— Никакая это не идея! У нас уже есть крупное акционерное общество «Нептун», которое тоже занимается морским страхованием. Хорошее общество. Но если ты хочешь конкурировать с ним, твое должно быть еще лучше. Чем твое общество будет отличаться от «Нептуна»?

— А, теперь понимаю. Я понижу страховую премию, и тогда все клиенты «Нептуна» перейдут ко мне.

— Так! Вот это идея. Итак, проспект, который я, естественно, напечатаю, начинается с такой преамбулы: «В связи с давно назревшей необходимостью снизить премии при морском страховании и покончить раз и навсегда с отсутствием здоровой конкуренции в этой важной отрасли экономики, нижеподписавшиеся имеют честь предложить акции общества...» Какого общества?

— «Тритон»!

— «Тритон»? Это еще кто такой?

— Это морское божество!

— А, хорошо! «Тритон»! Хорошая получится вывеска! Закажешь ее у Рауха в Берлине, а мы потом воспроизведем ее на отдельной полосе в «Нашей стране». Так! Нижеподписавшиеся! Да! Начнем с меня. Но нужны громкие имена. Дай-ка мне государственный календарь. Так!

В течение некоторого времени Смит перелистывал страницы.

— В правление акционерного общества морского страхования обязательно должен входить высокопоставленный морской офицер. Ну-ка, давай посмотрим! Нам нужен адмирал!

— Но ведь у адмиралов нет денег!

— Ай-ай-ай! Как мало ты смыслишь в серьезных делах, мой мальчик! Они не платят денег, а лишь ставят свои подписи и получают свою долю прибыли за то, что сидят на заседаниях и директорских обедах! Так! Вот тебе на выбор два адмирала. Один из них кавалер ордена Полярной звезды, а другой кавалер русского ордена святой Анны. Что будем делать? Так! Возьмем русского, потому что Россия — страна с хорошо налаженным морским страхованием.

— Думаете, дядюшка, они согласятся?

— Лучше помолчи! Еще нам нужен министр! Так! Его величают ваше превосходительство. Хорошо! И еще нужен граф! Вот это уже потруднее. У графов денег хоть отбавляй. Придется взять и профессора! У них мало денег. Есть профессора по мореплаванию? Такой бы нам очень пригодился для дела! Да, так! С этим все ясно. Ах да, забыл самое главное. Нужен юрист! Член верховного суда. Так! Юрист у нас есть!

— Да, есть, но у нас пока что нет денег!

— Денег? Зачем тебе деньги, когда ты учреждаешь акционерное общество? Разве тебе не заплатит тот, кто страхует свой груз? Заплатит. Или, может быть, мы будем платить за него? Не будем! Значит, он сам заплатит свою страховую премию. Так!

— А основной фонд?

— Что основной фонд? Выпустим облигации на сумму, равную основному фонду.

— Да, но какую-то сумму все-таки надо платить наличными?

— Вот этими облигациями мы и уплатим как наличными. Разве они не годятся к платежу? Если я даю тебе облигацию на какую-то сумму, ты получишь в обмен на нее деньги в любом банке. Ведь облигация — это все равно что деньги. В каком законе сказано, что наличные деньги — это только банкноты? Следовательно, наличными можно считать не одни лишь банковые билеты. Так?

— Какую сумму примерно должен составлять основной фонд?

— Очень небольшую! Не надо вкладывать слишком больших капиталов. Один миллион! Из которого только триста тысяч выплачиваются наличными, а остальное — облигациями.

— Но, но, но! Триста-то тысяч риксдалеров должны быть в банкнотах.

— О господи! В банкнотах? Но деньги — это не только банкноты. Есть у тебя банкноты — хорошо, нет — обойдешься! Так! Значит, надо заинтересовать людей с небольшим доходом, у них есть только банкноты.

— А богатые? Чем они расплачиваются?

— Акциями, облигациями государственных займов, чеками, разумеется. Со временем все так и будет. Сейчас пусть они только поставят свои подписи, а об остальном мы позаботимся сами.

— Говоришь, только триста тысяч? Но ведь столько стоит один лишь большой пароход? А если застрахуют тысячу пароходов?

— Тысячу? У «Нептуна» в прошлом году было сорок восемь тысяч страхований, и, как видишь, он процветает.

— Тем хуже для нас! Ну, а если катастрофа...

— Тогда ликвидируем!

— Ликвидируем?

— Ну, объявляем банкротство! Это так называется. А что происходит, когда акционерное общество терпит банкротство? Не ты же обанкротился, и не я, и не он! Иногда в таких случаях пускают в продажу новые акции или, скажем, облигации, которые в трудную минуту может за хорошую цену выкупить государство.

— Значит, риска никакого?

— Ни малейшего! И вообще, чем ты рискуешь? У тебя есть хоть одно эре? Нет! Так! Чем я рискую? Пятьюстами риксдалерами! Я куплю не больше пяти акций. Понятно? Пятьсот риксдалеров — с меня достаточно!

Он взял понюшку табаку, и разговор был завершен.

Хоть это и кажется невероятным, но акционерное общество «Тритон» действительно было учреждено и за десять лет своей деятельности давало соответственно по годам шесть, десять, десять, одиннадцать, двадцать, одиннадцать, пять, десять, тридцать шесть и двадцать процентов прибыли. Акции шли нарасхват, и для расширения дела были выпущены новые акции, но сразу после этого состоялось общее собрание акционеров, на котором присутствовал в качестве сверхштатного корреспондента «Красной шапочки» и Арвид Фальк.

Когда в этот солнечный июньский день он вошел в Малый зал биржи, он уже кишел народом. Здесь собралось блестящее общество. Государственные деятели, великие умы, ученые, военные и чиновники высшего ранга; мундиры, докторские фраки, орденские звезды и орденские ленты; всех их призвал сюда общий всепоглощающий интерес к такому замечательному порождению человеколюбия, каким является морское страхование. И нужно действительно обладать большим человеколюбием, чтобы рисковать деньгами ради своих ближних, потерпевших бедствие, и этого человеколюбия здесь было предостаточно. Фальку еще никогда не приходилось наблюдать подобного скопления любви в таких огромных количествах. Он был почти удивлен, глядя на

открывшуюся ему картину, хотя и лелеял еще кое-какие иллюзии на этот счет. Но еще более он удивился, увидев бывшего социал-демократа Струве, плюгавого мерзавца, который ползал в толпе, словно некое гадкое насекомое, а высокопоставленные персоны кивали ему, пожимали руку, хлопали по плечу и даже заговаривали с ним. С особым интересом Фальк наблюдал, как со Струве поздоровался какой-то пожилой господин с орденской лентой через плечо, причем Струве почему-то покраснел и спрятался за чьей-то расшитой спиной, после чего оказался рядом с Фальком, который не замедлил спросить, с кем это он поздоровался.

Замешательство Струве еще более усилилось, и ему понадобилась вся его наглость, чтобы ответить: «А тебе следовало бы знать: это председатель Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Сказав это, он под каким-то благовидным предлогом ретировался в дальний конец зала, но так поспешно, что у Фалька мелькнуло подозрение: «Уж не стесняется ли он моего общества?» Бесчестный человек стеснялся показаться в обществе человека честного?

Наконец почтенное собрание начало рассаживаться по местам. Однако кресло председателя все еще оставалось пустым. Фальк поискал глазами стол для корреспондентов и, увидев, что Струве вместе с корреспондентом «Консерватора» сидит за столом справа от секретаря, набрался храбрости и направился туда через весь зал; но едва он дошел до стола, как его остановил секретарь, который спросил: «Какая газета?»

На мгновение в зале воцарилась мертвая тишина, и дрожащим голосом Фальк ответил: «Красная шапочка», потому что секретарем оказался актуарий Коллегии выплат чиновничьих окладов.

Сдавленный ропот пробежал по залу, после чего секретарь громко сказал: «Ваше место там», и показал на дверь, возле которой действительно стоял маленький столик. В один миг Фальк постиг и осознал, что значит быть консерватором и что значит быть журналистом, но не консерватором, и, весь кипя от возмущения, двинулся обратно сквозь ухмылявшуюся толпу; но, окидывая ее своим горящим взглядом, словно бросая ей вызов, он вдруг встретил взгляд, устремленный на него издалека, от самой стены, и эти глаза, которые теперь потухли, но когда-то смотрели на него с нежностью, были зеленые от злобы и вонзались в него как иглы, и он чуть не расплакался при мысли, что брат может так смотреть на брата.

Он не ушел, а занял свое скромное место у дверей только потому, что не хотел обращаться в постыдное бегство. Скоро его вывел из состояния мнимого покоя какой-то господин, который вошел в зал и, снимая пальто, толкнул его в спину, а потом поставил ему под стул свои галоши. Зал приветствовал вошедшего, поднявшись как один человек. Это был председатель правления страхового

общества «Тритон» — но не только. Он был бывший председатель риксдага, барон, член Шведской академии, его превосходительство, кавалер королевского ордена... и прочее.

Стукнул председательский молоток, и при гробовом молчании всего зала председатель шепотом зачитал приветственную речь следующего содержания (такую же речь он недавно произнес на заседании Каменноугольного акционерного общества в помещении ремесленного училища):

— Милостивые государи! Среди всех патриотических и наиболее благотворных для человечества институтов лишь немногие, если вообще таковые есть, носят такой благородный и целеустремленно гуманный характер, как институт страхования.

— Bravo, bravo! — пронеслось по залу, что, впрочем, не произвело особого впечатления на председателя.

— Что такое человеческая жизнь, как не смертельная борьба, если можно так выразиться, с силами природы, и почти каждому из нас рано или поздно приходится вступить в эту борьбу.

— Bravo!

— В течение долгого времени, особенно на первобытной стадии своего развития, человек был легкой добычей для стихии, мячиком, перчаткой, которую, как тростинку, ветер бросает из стороны в сторону. Но теперь все изменилось! Да, да, все изменилось. Человек совершил революцию, бескровную революцию, не такую, какую много раз пытались совершить потерявшие честь и совесть изменники родины против своих законных правителей, нет, он выступил против сил природы! Он объявил войну силам природы и сказал: «Здесь граница, которую вам не перейти!»

— Bravo! Bravo! (Аплодисменты.)

— Коммерсант отправляет в море свое судно, пароход, бриг, шхуну, барк, яхту, все, что угодно. Шторм топит судно... да! Коммерсант говорит: «Пожалуйста, топи!» Он ничего не теряет! В этом и заключается великий смысл или идея страхования. Вы только подумайте, милостивые государи, коммерсант объявил шторму войну — и коммерсант победил.

Буря возгласов «bravo» вызвала победоносную улыбку на губах великого человека, и, судя по его виду, на этот раз буря доставила ему удовольствие.

— Однако, милостивые государи, мы не должны считать институт страхования коммерческим предприятием! Это не коммерческое предприятие, а мы не коммерсанты, ни в коем случае! Мы лишь собрали деньги, которыми готовы рискнуть, не правда ли, милостивые государи?

— Правда, правда!

— Мы собрали деньги, сказал я, чтобы всегда быть готовыми оказать помощь человеку, которого постигло несчастье, ибо тот процент, всего-навсего один, если я не ошибаюсь, который он оплачивает, даже нельзя назвать платежом, и потому его весьма справедливо называют премией, хотя и не в том смысле, будто мы

хотим получить какое-то вознаграждение — премия означает вознаграждение — за те маленькие услуги, которые мы оказываем, я со своей стороны хочу это подчеркнуть, исключительно в интересах дела, и я повторяю: я не верю, будто у кого-нибудь из вас могут явиться сомнения, об этом не может быть и речи, или он может пожалеть, что его взнос, который я теперь назову акциями, будет использован в интересах дела.

— Нет! Нет!

— Предоставляю слово директору, который прочтет годовой отчет.

Директор встал. Он был бледен, словно попал в бурю; его широкие манжеты с запонками из оникса не могли скрыть легкое дрожание рук, а хитрые глазки искали утешение и силу духа на бородатой физиономии Смита; он распахнул сюртук и расправил грудь, прикрытую широкой манишкой, как бы подставляя ее под пущенные в него стрелы — и начал читать:

— Воистину удивительны и неисповедимы пути провидения...

Услышав о «путях провидения», многие из собравшихся в зале побледнели, а председатель возвел глаза к потолку, словно приготовился принять роковой удар (убыток в размере двухсот риксдалеров).

— Недавно закончившийся страхового года навеки останется в анналах истории как крест на могиле тех бедствий, которые презрели предусмотрительность мудрейших и опровергли расчеты осторожнейших.

Председатель прикрыл глаза рукой, будто молился, однако Струве решил, что ему мешает белая стена за окном, и бросился опускать шторы, но его опередил секретарь.

Докладчик выпил стакан воды. Это вызвало взрыв нетерпенья.

— Ближе к делу! Цифры!

Председатель отнял руку от лица и удивился, что в зале стало темнее, чем секунду назад. Минутное замешательство, и уже начинается буря. Собрание утратило всякое чувство такта.

— Ближе к делу! Продолжайте!

Директору пришлось перескочить через несколько заранее подготовленных фраз и сразу перейти к существу вопроса:

— Хорошо, милостивые государи, я буду краток!

— Да продолжайте же, черт возьми!

Стукнул председательский молоток.

— Господа. — В этом одном-единственном «господа» было столько от Рыцарского замка, что собравшиеся тут же вспомнили об уважении, с каким должны относиться хотя бы к самим себе.

— В отчетном году наше страховое общество несло ответственность округленно за сто шестьдесят девять миллионов риксдалеров.

— О, о!

— В виде страховых премий оно получило еще полтора миллиона.

— Браво!

Фальк быстро сделал небольшой расчет и обнаружил, что, если вычесть все премиальные поступления — полтора миллиона — и весь основной фонд — один миллион (как это и было на самом деле), то остается еще около ста шестидесяти миллионов, за которые у общества хватает наглости нести ответственность, и он начал постигать истинный смысл слов о неисповедимых путях провидения.

— В возмещение убытков, к моему большому прискорбию, обществу пришлось выплатить один миллион семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят риксдалеров восемь эре.

— Позор!

— Как видите, милостивые государи, провидение...

— Оставьте в покое провидение! Цифры! Цифры! Дивиденд!

— Пребывая в достойной всяческого сожаления роли директора, с глубокой болью и огорчением вынужден сообщить, что при нынешней неблагоприятной конъюнктуре я не могу предложить иного дивиденда, кроме пяти процентов с вложенного капитала.

Вот теперь разразилась настоящая буря, которую не сумел бы победить ни один коммерсант в мире.

— Позор! Наглецы! Мошенники! Пять процентов! Черт побери, лучше уж просто взять да и подарить кому-нибудь свои деньги!

Однако раздавались и более человеколюбивые высказывания примерно такого содержания: «Ах, эти бедные мелкие капиталисты, которым не на что жить, кроме как на жалкие проценты со своего капитала. И что с ними только будет! Господи, какое несчастье! Государство должно как можно скорее прийти к ним на помощь. О! о!»

Когда докладчик получил наконец возможность продолжать, он зачитал от имени правления панегирик в честь директора и всех служащих общества, которые «не жалея сил и с безграничным усердием занимались неблагодарной работой и т. д.». Это вызвало откровенный смех всего собрания.

Далее был зачитан доклад ревизионной комиссии. Комиссия, еще раз напомнив о провидении, пришла к выводу, что дела находятся в полном, чтобы не сказать идеальном, порядке, инвентаризация не обнаружила никаких упущений (!), связанных с финансовыми обязательствами по гарантийному фонду, на основании чего комиссия предлагает полностью освободить правление от финансовой ответственности и выразить ему благодарность за честный и тяжкий труд.

От финансовой ответственности правление, естественно, было освобождено. Затем директор заявил, что считает невозможным принять причитающуюся ему тантьему (сто риксдалеров) и передает ее в резервный фонд. Это заявление было встречено аплодисментами и смехом. После короткой вечерней молитвы, а вернее смиренной мольбы, чтобы на будущий год провидение даровало «Тритону» двадцать процентов прибыли, председатель объявил заседание закрытым.

Глава тринадцатая
ПУТИ ПРОВИДЕНИЯ

В тот самый день, когда Карл Фальк отправился на заседание акционеров страхового общества «Тритон», госпоже Фальк принесли новое голубое бархатное платье, которым ей сразу же захотелось авансом позлить жену ревизора Хумана, что жила прямо напротив, по другую сторону улицы. И не было ничего легче и проще, ибо для достижения этой цели ей нужно было только появиться в окне, а для этого она могла воспользоваться тысячью поводов, поскольку надзирала за приготовлениями, посредством которых намеревалась «сразить» своих гостей, приглашенных на заседание к семи часам. Правление детских яслей «Вифлеем» должно было заслушать первый месячный отчет. В его составе были жена ревизора Хумана, который, как считала госпожа Фальк, очень заносился, потому что служил чиновником, и ее милость госпожа Реньельм, которая тоже заносилась, потому что была дворянкой, и пастор Скоре, который был духовником во всех знатных домах, и уже потому его следовало сразить, так что все правление нужно было во что бы то ни стало сразить самым эффектным и обходительным способом из всех возможных. Подготовка к спектаклю началась еще с большого званого вечера, когда вся старая мебель, которая не была антиквариатом и не обладала художественной ценностью, оказалась забракованной и была заменена новой. Главные действующие лица, по замыслу госпожи Фальк, появятся лишь в конце вечера, когда господин Фальк привезет домой адмирала — он обещал супруге как минимум адмирала, в мундире и с орденами, — после чего Фальк и адмирал попросят принять их в члены правления яслей и Фальк пожертвует на ясли часть той суммы, которая на него как с неба свалилась в качестве дивиденда в страховом обществе «Тритон».

Покончив с делами, какие нужно было улаживать у окна, супруга начала приводить в порядок отделанный перламутром стол розового палисандрового дерева, за которым члены правления заслушают годовой отчет. Она стерла пыль с агатовой чернильницы, положила на черепаховую подставку ручку с серебряным пером, повернула печатку с хризопразовой ручкой таким образом, чтобы не было видно купеческой фамилии, и осторожно встряхнула изготовленную из тончайшей проволоки шкатулку для денег, чтобы можно было прочесть стоимость хранившихся в ней ценных бумаг (ее личные деньги на мелкие расходы), после чего отдала последние распоряжения лакею, одетому в парадное платье. Затем она уселась в гостиной, приняв беззаботный вид, чтобы вдруг с удивлением услышать о приходе ее подруги-ревизорши, которая наверняка явится первая, как, впрочем, и оказалось на самом деле. Госпожа Фальк обняла Эвелину и поцеловала в щеку, а госпожа Хуман обняла Эжени, которая встретила ее в столовой, где задержала ненадолго, чтобы спросить ее мнение относительно новой мебели. Однако ревизорша не захотела останавливаться возле

похожего на старинную крепость буфета времен Карла XII с высокими японскими вазами, поскольку чувствовала себя сраженной наповал; зато она обратила внимание на люстру, которая показалась ей слишком современной, и на обеденный стол, который, по ее мнению, выбивался из общего стиля; кроме того, она полагала, что олеографиям не место среди фамильных портретов, и ей понадобилось изрядное количество времени, чтобы растолковать госпоже Фальк разницу между написанной маслом картиной и ее цветной репродукцией. Госпожа Фальк то и дело задевала мебель, пытаясь шуршанием своего нового бархатного платья привлечь к нему внимание подруги, но все было тщетно. Потом она спросила госпожу Хуман, как ей нравится новый брюссельский ковер в гостиной, который та нашла слишком кричащим рядом с гардинами, и тогда госпожа Фальк не на шутку рассердилась и вообще перестала о чем-либо спрашивать.

В гостиной они сели за стол и тотчас же ухватились за спасательный круг в виде старых фотографий, сборников стихов и так далее. Потом в руки ревизорши попал небольшой лист розовой бумаги с золотым обрезом, на котором было напечатано: «Оптовому торговцу Николаусу Фальку в день его сорокалетия».

— О, да ведь это стихи, которые читали на том вечере. А кто их автор?

— Один очень талантливый человек. Хороший приятель моего мужа. Его зовут Нистрём.

— Гм! Странно, но я никогда не слышала этого имени. Какой талант! А почему его не было на вечере?

— К сожалению, он заболел, моя дорогая, и не смог прийти.

— Понятно! Ах, дорогая Эжени, какая ужасная история вышла с твоим деверем. Ему сейчас приходится несладко!

— Ради бога, не говори о нем; это позор и несчастье всей семьи; просто кошмар какой-то!

— Да, ты знаешь, было действительно крайне неприятно, когда гости подходили и расспрашивали о нем. Моя дорогая Эжени, представляю, как тебе было стыдно.

Это тебе за буфет времен Карла XII и японские вазы, думала ревизорша.

— Мне стыдно? Извини, пожалуйста, ты хотела сказать, моему мужу было стыдно? — возразила госпожа Фальк.

— Я полагаю, это то же самое!

— Нет, это совсем не то же самое! Я не могу быть в ответе за всех шалопаев, с которыми мой супруг имеет удовольствие быть в родстве.

— Ах, вот жалость, что в тот вечер твои родители тоже были больны. Как себя чувствует сейчас твой дорогой папа?

— Спасибо, хорошо! Очень мило с твоей стороны, что ты обо всех помнишь.

— Нельзя же думать только о себе. Он что, немного прихварывает, этот старый... Как мне называть его?

— Капитан, если тебе угодно.

— Капитан? Помнится, мой муж называл его флаг-шкипером, но это, вероятно, одно и то же. И никого из девиц на вечере тоже не было.

Это тебе за брюссельский ковер, думала ревизорша.

— Да, их не было! Они до того капризны, что на них никогда нельзя рассчитывать.

Госпожа Фальк с таким ожесточением листала альбом с фотографиями, что корешок переплета жалобно потрескивал. Она багровела от злости.

— Послушай, моя маленькая Эжени, — продолжала ревизорша, — как звали того неприятного господина, который читал на вечере стихи?

— Ты имеешь в виду Левина, королевского секретаря Левина? Это ближайший друг моего мужа.

— Правда? Гм! Как странно! Мой муж занимает должность ревизора в том же самом ведомстве, где Левин служит нотариусом, я, конечно, не хочу тебя огорчать или говорить неприятные вещи, я никогда не говорю людям то, что их может расстроить, но мой муж утверждает, что дела его плохи и он, безусловно, не слишком подходящее общество для твоего супруга.

— Он так считает? Мне об этом ничего не известно, и я ничего не собираюсь выяснять, потому что, моя дорогая Эвелина, я никогда не вмешиваюсь в дела моего мужа, хотя некоторые только этим и занимаются.

— Извини, дорогая, но я думала оказать тебе услугу, сообщив об этом.

А это тебе за люстру и обеденный стол! Остается еще бархатное платье!

— Кстати, — снова заговорила добрая ревизорша, — кажется, твой деверь...

— Пощади мои чувства, ни слова больше об этом аморальном человеке!

— Он действительно аморален? Я слышала, он общается с самыми ужасными людьми, хуже которых нет...

И тут к госпоже Фальк пришло спасение: лакей доложил о приходе ее милости госпожи Реньельм.

О, какая это была желанная гостья! И как мило с ее стороны оказать им эту честь!

И действительно она была очень милой, эта пожилая дама с добрым лицом, какое бывает только у тех, кто с истинным мужеством перенес не одну житейскую бурю.

— Дорогая госпожа Фальк, — сказала ее милость, присаживаясь, — хочу передать вам привет от вашего деверя!

Госпожа Фальк недоумевала, чем она могла так досадить госпоже Реньельм, что та ни с того ни с сего тоже решила уколоть ее, и ответила немного обиженно:

— Правда?

— О, это очень приятный юноша; он был сегодня у нас, заходил навестить моего племянника; они такие хорошие друзья! Он действительно очень приятный молодой человек.

— Совершенно с вами согласна, — отозвалась ревизорша, которая никогда не терялась при изменении обстановки на фронте. — Мы как раз говорили о нем.

— Вот как! И что меня больше всего восхищает в этом молодом человеке, так это мужество, с каким он ступил на новое для себя поприще, на котором так легко сесть на мель; но за него можно не бояться, потому что у него есть характер и принципы, вы согласны со мной, дорогая госпожа Фальк?

— Я всегда утверждала то же самое, но мой муж придерживается другого мнения.

— Ах, у твоего мужа, — вмешалась ревизорша, — всегда какое-нибудь особое мнение.

— Так вы говорите, — с большой заинтересованностью спросила госпожа Фальк, — что он дружен с племянником вашей милости?

— Да, у них небольшой кружок, в котором есть и художники. Вы, верно, читали про молодого Селлена, чью картину приобрел его величество король?

— Конечно, мы были на выставке и видели ее. Он тоже в их кружке?

— Разумеется! И порой им приходится очень нелегко, этим молодым людям, как, впрочем, всегда бывает с молодежью, когда она хочет чего-нибудь добиться в жизни.

— Я слышала, твой деверь поэт? — спросила ревизорша.

— Да, поэт; гм! Он прекрасно пишет и в этом году получил премию академии. Со временем он станет великим поэтом, — убежденно сказала госпожа Фальк.

— А разве я не говорила этого всегда? — подтвердила ревизорша.

Теперь Арвида Фалька расхваливали на все лады; еще немного — и он очутился бы в храме славы, но тут лакей доложил о пасторе Сгоре. Пастор вошел торопливыми шагами и торопливо поздоровался с дамами.

— Извините за опоздание, но у меня всего несколько свободных минут; в половине девятого я должен быть на собрании у графини фон Фабелькранц, и я пришел к вам прямо из редакции.

— О, господин пастор, неужели вы так спешите?

— Увы, да; моя обширная деятельность не оставляет мне ни минуты покоя. Поэтому, может быть, мы сразу перейдем к делу?

Лакей принес на подносе чай и прохладительные напитки.

— Не угодно ли вам, господин пастор, выпить сначала чашечку чая? — спросила хозяйка, снова испытывая легкое разочарование.

Пастор быстрым взглядом окинул поднос.

— Благодарю вас, но я лучше выпью пунш. Я взял себе за правило, дорогие дамы, внешне ничем не отличаться от своих ближних. Все люди пьют пунш; я не люблю этого напитка, но не хочу, чтобы про меня говорили, что я лучше других; тщеславие — порок, который я ненавижу! Разрешите, я зачитаю отчет.

Он уселся за стол, обмакнул перо в чернила и начал:

— Отчет правления детских яслей «Вифлеем» о пожертвованиях, поступивших в мае месяце сего года. Подписали: Эжени Фальк. Урожденная... разрешите спросить...

— Ах, это неважно, — завершила пастора госпожа Фальк.

— Эвелина Хуман. Урожденная... будьте добры...

— Фон Бэр, дорогой господин пастор.

— Антуанетта Реньельм. Урожденная, если будет угодно вашей милости...

— Реньельм, господин пастор.

— Ах да, вышла замуж за кузена, супруг умер, детей нет! Продолжаем! Пожертвования...

Всеобщее (почти всеобщее) замешательство.

— Но, господин пастор, — спросила ревизорша, — разве вы не подпишетесь?

— Ах, милые дамы, я так боюсь прослыть тщеславным, но если вы настаиваете, то пожалуйста. Вот! Натанаель Скорее.

— Ваше здоровье, господин пастор, и, прежде чем мы начнем нашу работу, давайте немножко выпьем, — сказала хозяйка с очаровательной улыбкой, которая тут же погасла, когда она заметила, что стакан пастора уже пуст; ей пришлось снова наполнить его.

— Благодарю вас, дорогая госпожа Фальк, но нам следует быть воздержаннее. Итак, начнем! Не угодно ли вам заслушать отчет? Пожертвования: ее величество королева — сорок риксдалеров. Графиня фон Фабелькранц — пять риксдалеров и пара шерстяных чулок. Оптовый торговец Шалин — два риксдалера, пачка конвертов, шесть карандашей и бутылка чернил. Фрёкен Аманда Либерт — бутылка одеколona. Фрёкен Анна Фейф — пара манжет. Маленькая Калле — двадцать пять эре из копилки. Госпожа Йоханна Петтерссон — полдюжины носовых платков. Фрёкен Эмили Бьёрн — Новый завет. Хозяин продовольственной лавки Перссон — пакет овсяной крупы, четыре килограмма картофеля и банка маринованного лука. Торговец Шейке — две пары шерстяных...

— Господа! — прервала его госпожа Реньельм. — Разрешите задать вам вопрос: вы полагаете, что все это будет опубликовано в печати?

— Разумеется, — ответил пастор.

— Тогда я выхожу из правления.

— Неужели вы считаете, ваша милость, что общество сможет существовать на добровольные пожертвования, если имена жертвователей не будут опубликованы? Нет, не сможет!

— И значит, под видом благотворительности будет процветать гадкое тщеславие?

— Нет, нет, совсем не так! Тщеславие — зло, согласен; но мы превращаем это зло в добро, в благотворительность, что же в этом плохого?

— Но нельзя же называть красивыми именами то, что по сути своей гадко; это лицемерие!

— Вы слишком строги, ваша милость! Священное писание учит, что нужно уметь прощать; простите же им их тщеславие!

— Да, господин пастор, им я прощаю, но не самой себе. Допустим, то, что несколько праздных женщин превращают благотворительность в развлечение, еще можно простить, но называть чуть ли не подвигом то, что на самом деле доставляет удовольствие, очень большое удовольствие, потому что обеспечивает известность, и притом самую широкую известность, посредством публикации в печати, — это просто позор.

— Неужели? — возразила госпожа Фальк со всей силой своей непостижимой логики. — Неужели позорно творить добро?

— Нет, мой дружок, но писать в газетах о том, что кто-то подарил кому-то пару шерстяных чулок, — это гнусно.

— Но подарить пару шерстяных чулок значит творить добро, и таким образом получается, что творить добро — это гнусно...

— Нет, гнусно писать об этом, дитя мое, понимаете? — пыталась втолковать ее милость упрямой хозяйке, которая, однако, не сдавалась и упорно повторяла:

— Значит, гнусно писать об этом! Но Библию тоже написали, и, следовательно, те, что ее написали, поступили гнусно...

— Господин пастор, будьте добры, продолжайте читать отчет, — прервала ее госпожа Реньельм, несколько раздосадованная той бестактной манерой преподносимой своим благоглупости, которая отличала госпожу Фальк. Однако госпожа Фальк не сложила оружия:

— Значит, вы, ваша милость, считаете ниже своего достоинства обменяться мнениями с такой ничтожной личностью, как я...

— Нет, дитя мое, оставайтесь при своем мнении, я просто не хочу спорить.

— Кажется, это называется дискуссией? Господин пастор, разъясните, пожалуйста, какая же это дискуссия, если одна сторона не желает отвечать на доводы другой стороны?

— Моя дорогая госпожа Фальк, разумеется, это не дискуссия, — ответил пастор с двусмысленной улыбкой, от которой госпожа Фальк чуть не расплакалась горячими слезами. — Но, дорогие дамы, постараемся не погубить нашего благородного дела мелкими дрызгами. Давайте отложим публикацию отчета до той поры, пока наш фонд не станет больше. Мы видим, что наше молодое предприятие произрастает на благодатной почве, и множество доброжелательных рук выращивают это юное растение; но мы должны думать о будущем. У нашего общества есть фонд; этим фондом нужно управлять, иными словами, нам необходимо подыскать управляющего, делового человека, который сумеет сбывать поступающие в фонд вещи и превращать их в деньги; короче говоря, нам нужно подобрать коммерческого директора. Чтобы найти подходящую кандидатуру, нам, естественно, придется пойти на определенные финансовые жертвы, но всякое настоящее дело требует жертв. Есть ли у вас, дамы, на примете человек, которому можно было бы предложить эту должность?

Нет, такого человека у дам на примете не было.

— Тогда я позволю себе предложить вам одного молодого человека с весьма серьезным складом ума, который, как я полагаю, вполне подходит для этой должности. Есть ли у правления какие-нибудь возражения против того, чтобы нотариус Эклунд за умеренное вознаграждение стал коммерческим директором детских яслей «Вифлеем»?

Нет, у дам никаких возражений не было, тем более что Эклунда рекомендовал сам пастор Скорре, а пастор Скорре делал это с тем большим основанием, что нотариус приходился пастору близким родственником. Таким образом, общество приобрело коммерческого директора за шестьсот риксдалеров в год.

— Итак, дорогие дамы, — снова заговорил пастор, — мы, кажется, неплохо потрудились сегодня в нашем винограднике.

Молчание. Госпожа Фальк поглядывает на дверь, не идет ли муж.

— У меня мало времени, мне пора уходить. Не хочет ли кто-нибудь что-либо добавить? Нет! Уповая на божью помощь нашему предприятию, которое так уверенно делает свои первые шаги, я молю его о милости и благословении и не могу выразить это лучше, чем он сам, научивший нас молитве «Отче наш...».

Он замолк, словно боялся услышать свой собственный голос, и собравшиеся закрыли руками глаза, будто стыдились смотреть друг на друга. Пауза тянулась долго, дольше, чем можно было предполагать, пожалуй, даже слишком долго, но никто не решался ее прервать; они поглядывали друг на друга между пальцами, ожидая, чтобы кто-нибудь начал двигаться, когда громкий звонок в прихожей вернул их с неба на землю.

Пастор взял шляпу и допил свой стакан, чем-то напоминая человека, который хочет незаметно улизнуть. Госпожа Фальк сияла, ибо час возмездия настал, и наконец она их сразу окончательно, и справедливость восторжествует. Глаза ее пылали огнем.

И час возмездия настал, но сражена была она сама, ибо лакей принес письмо от мужа, в котором сообщалось, что... впрочем, этого гости так и не узнали, зато быстро сообразили сказать хозяйке, что не станут больше ее беспокоить, тем более что их уже ждут дома.

Госпожа Реньельм хотела было немного задержаться, чтобы как-то успокоить молодую женщину, лицо которой выражало крайнюю досаду и огорчение, однако это ее поползновение не встретило надлежащего отклика со стороны хозяйки, которая, напротив, с таким преувеличенным вниманием помогала ее милости одеться, словно торопилась как можно скорее выпроводить ее за дверь.

При расставании в прихожей царило некоторое замешательство, но вот шаги на лестнице стихли, и дверь за гостями захлопнула с той нервной поспешностью, которая явно говорила о том, что бедная хозяйка хочет остаться одна, чтобы дать волю своим чувствам. Она так и сделала. Совсем одна в этих огромных

комнатах, она разразилась рыданиями; но это были не те слезы, что словно майский дождь падают на старое запыленное сердце, это были ядовитые слезы ярости и злобы, которые отравляют душу и, стекая по каплям на землю, разъедают, как кислота, розы юности и жизни.

Глава четырнадцатая

АБСЕНТ

Жаркое послеполуденное солнце обжигало брусчатку в большом горнопромышленном городе N. В зале погребка было еще тихо и спокойно; на полу лежали еловые ветки, пахнувшие похоронами; бутылки с ликером различной крепости стояли на полках и спали мирным послеобеденным сном среди водочных бутылок с орденскими лентами вокруг горлышка, которым тоже предоставили отпуск до вечера. Долговязые часы, обходившиеся без послеобеденного сна, стояли, привалившись к стене, и отсчитывали минуту за минутой и при этом, казалось, разглядывали широченную театральную афишу, прибитую к вешалке; зал был длинный и узкий, и во всю его длину стояли березовые столы, придвинутые вплотную к стене, так что он напоминал огромное стойло, а столы на четырех ножках казались лошадьми, привязанными к стене и обращенными крупом в зал; но сейчас они тоже спали, оторвав немного от земли заднюю ногу, потому что пол в погребке был неровный, и все видели, что они спят, так как по их спинам беспрепятственно бегали мухи; однако шестнадцатилетний официант, который сидел прислонившись к долговязым часам возле театральной афиши, не спал: своим белым фартуком он то и дело отмахивался от мух, которые только что побывали на кухне и отлично там пообедали, а теперь слетелись сюда, чтобы поиграть; оставив в покое фартук, официант откинулся назад и прижался ухом к широкому боку часов, словно пытался узнать, что им дали на обед. И скоро он узнал все, что хотел, ибо долговязая бестия вдруг захрипела, а ровно через четыре минуты снова захрипела и стала так греметь и грохотать всеми своими сочленениями, что парень вскочил и под ужасающий скрежет металла услышал, как часы пробили шесть раз, после чего снова вернулись к своей обычной работе в тишине и молчании.

Но парню тоже пора было браться за работу. Он обошел стойло, почистил фартуком кляч и навел кое-какой порядок, словно поджидал кого-то. Он достал спички и положил их на стол в самом конце зала, откуда можно было держать под неусыпным наблюдением весь погребок. Возле спичек он поставил бутылку абсента и два бокала, рюмку и стакан. Потом сходил к колодцу и принес большой графин с водой, который поставил на стол рядом с огнеопасными предметами, и несколько раз прошелся по залу, принимая самые неожиданные позы, будто кому-то подражал. Он то останавливался, скрестив руки на груди, опустив голову и выставив вперед

левую ногу, и орлиным взором оглядывал стены, обклеенные старыми обшарпанными обоями, то опирался костяшками пальцев правой руки о край стола, скрестив при этом ноги, а в левой держал лорнет, сделанный из проволоки от бутылок с портером, и надменно созерцал карниз; внезапно дверь распахнулась, и в зал вошел мужчина лет тридцати пяти с таким уверенным видом, будто вернулся к себе домой. Резко обозначенные черты его безбородого лица говорили о том, что его лицевые мускулы были хорошо натренированы, как это бывает только у актеров и представителей еще одной социальной группы; сквозь оставшуюся после бритвы легкую синеву кожи просвечивали мышцы и сухожилия. Высокий, чуть узковатый лоб с впалыми висками вздымался, как коринфская капитель, и по нему, словно дикие растения, спускались разбросанные в беспорядке черные локоны, между которыми, вытянувшись во всю длину, бросались вниз маленькие змейки волос, будто хотели достать до глазниц, чего им никак не удавалось. Когда он был спокоен, его глаза смотрели мягко и немного грустно, но порой они стреляли, и тогда зрачки вдруг превращались в дула револьвера.

Он сел за накрытый для него стол и удрученно взглянул на графин с водой.

— Зачем ты всегда притаскиваешь сюда воду, Густав?

— Чтобы вы, господин Фаландер, не сожгли себя.

— А тебе какое до этого дело? Разве я не могу сжечь себя, если захочу?

— Господин Фаландер, не будьте сегодня нигилистом!

— Нигилистом! Кто тебя научил этому слову? Откуда оно у тебя? Ты с ума сошел, парень? Ну, говори!

Он поднялся из-за стола и сделал пару выстрелов из своих темных револьверов.

Густав даже потерял дар речи, настолько его поразило и испугало выражение лица актера.

— Ну, отвечай, мой мальчик, откуда у тебя это слово?

— Его сказал господин Монтанус, он приезжал сегодня из Тресколы, — ответил Густав боязливо.

— Вот оно что, Монтанус! — повторил мрачный гость и снова сел за стол. — Монтанус — мой человек. Этот парень знает, что говорит. Послушай, Густав, скажи мне, пожалуйста, как меня называют... ну, понимаешь, как меня называет этот театральный сброд. Давай, выкладывай! Не бойся!

— Нет, это так некрасиво, что я не могу сказать.

— Почему не можешь, если доставишь мне этим маленькое удовольствие. Тебе не кажется, что мне нужно немного развеселиться? Или, быть может, у меня такой довольный вид? Ну, давай! Как они спрашивают, был ли я здесь? Вероятно, говорят: был ли здесь этот...

— Дьявол...

— Дьявол? Это хорошее прозвище. По-твоему, они ненавидят меня?

— Да, ужасно!
— Великолепно! Но почему? Что я им сделал дурного?
— Не знаю. Да они и сами не знают.
— Я тоже так думаю.
— Они говорят, что вы, господин Фаландер, портите людей.
— Порчу?
— Да, они говорят, что вы испортили меня, и теперь мне все кажется старым!
— Гм, гм! Ты сказал им, что их остроты стары?
— Да, и, кстати, все, что они говорят, тоже старо, и сами они такие старые, что меня от них просто воротит!
— Понятно. А тебе не кажется, что быть официантом тоже старо?

— Конечно, старо; и жить тоже старо, и умирать старо, и все на свете старо... нет, не все... быть актером не старо.

— Вот уж нет, мой друг, старше этого нет ничего. А теперь помолчи, мне надо немного оглушить себя!

Он выпил абсент и откинул назад голову, прислонив ее к стене, по которой тянулась длинная коричневая полоса, прочерченная дымом его сигары, поднимавшимся к потолку в течение шести долгих лет, что он здесь сидел. Через окно в зал проникали солнечные лучи, но сначала они пробивались сквозь легкую листву высоких осин, трепетавшую под порывами вечернего ветерка, и тень от нее на противоположной от окна стене казалась непрерывно движущейся сетью, в нижнем углу которой вырисовывалась тень от головы с всклокоченными волосами, похожая на огромного паука.

А Густав тем временем снова сел возле долговязых часов и погрузился в нигилистическое молчание, наблюдая, как мухи водят хоровод под потолком вокруг аргандской лампы.

— Густав! — послышалось из паутины на стене.

— Да? — откликнулся голос откуда-то из-за часов.

— Твои родители живы?

— Нет, вы же знаете, господин Фаландер, что они умерли.

— Тебе повезло.

Продолжительная пауза.

— Густав!

— Да?

— Ты по ночам спишь?

— Что вы имеете в виду, господин Фаландер? — спросил Густав, краснея.

— То, что я сказал!

— Конечно, сплю! Отчего бы мне не спать?

— Почему ты хочешь стать актером?

— Мне трудно это объяснить. Мне кажется, что тогда я буду счастлив.

— А разве сейчас ты не счастлив?

— Не знаю. Думаю, что нет.

— Господин Реньельм был здесь после приезда в город?

— Нет, не был, но он хотел с вами встретиться сегодня, примерно в это время.

Продолжительная пауза; вдруг дверь открывается, и в широкую, чуть вздрагивающую сеть на стене вползает тень, а паук в углу делает торопливое движение.

— Господин Реньельм? — спрашивает мрачный гость.

— Господин Фаландер?

— Милости прошу! Вы искали меня сегодня?

— Да, я приехал утром и сразу же отправился на поиски. Вы, конечно, догадываетесь, о чем мне нужно с вами поговорить; Я хочу поступить в театр.

— О! Правда? Меня это удивляет!

— Удивляет?

— Да, удивляет! Но почему вы решили говорить именно со мной?

— Потому, что вы выдающийся актер, и еще потому, что наш общий знакомый, скульптор Монтанус, рекомендовал мне вас как прекрасного человека.

— Да? И чем я могу вам помочь?

— Советом!

— Не хотите ли присесть за мой стол?

— С удовольствием, если вы разрешите мне быть хозяином.

— Этого я не могу вам разрешить...

— Тогда каждый за себя... если вы ничего не имеете против.

— Как угодно! Вам нужен совет? Гм! Будем говорить начистоту, да? Тогда слушайте и принимайте к сведению все, что я сейчас скажу, и никогда не забывайте, что в такой-то день я сказал вам все это, ибо я полностью отвечаю за свои слова.

— Слушаю вас.

— Вы заказали лошадей? Еще нет? Тогда заказывайте и немедленно возвращайтесь домой!

— Вы считаете, что я не способен стать актером?

— Нет, почему же! Я никого не считаю неспособным играть на сцене. Напротив. Каждый человек в большей или меньшей степени способен исполнять роль другого человека.

— Да?

— Ах, все это совсем не так, как вы себе представляете. Вы молоды, кровь бурлит в ваших жилах, перед вашим мысленным взором возникают тысячи образов, прекрасных и светлых, как в древних сагах, они теснятся в вашем воображении, и вам не хочется их прятать, вы сгораете от желания вынести их на свет, взять на руки и показать, показать всему миру и испытать от этого огромное, неповторимое счастье... так?

— Да, именно так. Вы словно читаете мои мысли.

— Я просто предположил самый высокий и самый благородный побудительный мотив, потому что не хочу видеть во всем одни лишь дурные побуждения, хотя и убежден, что в подавляющем большинстве они именно такие. И ваше призвание так велико, что вы готовы терпеть нужду, сносить всяческие унижения, давать сосать

свою кровь вампирам, потерять уважение общества, стать банкротом, погибнуть... но не свернуть с избранного пути. Верно?

— Верно! Ах, как вы хорошо меня понимаете!

— Когда-то я знал одного молодого человека... теперь я его не знаю, потому что он сильно переменялся. Ему было пятнадцать лет, когда он вышел из одного исправительного заведения, какие содержит каждая община для детей, совершивших весьма банальное преступление, а именно: они явились на свет божий; и вот эти невинные малютки вынуждены искупать грехопадение родителей, ибо ничего другого им не остается... пожалуйста, не разрешайте мне отклоняться от темы. Потом он пять лет провел в Упсале и прочитал невероятное количество книг; его мозг был разделен на шесть ящиков, которые он заполнял сведениями, тоже разделенными на шесть категорий: цифры, имена, факты... целый склад готовых мнений, выводов, теорий, причуд, глупостей. До поры до времени все было терпимо, потому что человеческий мозг довольно вместительный; но ему пришлось, кроме всего прочего, воспринимать чужие мысли, старые, давно прогнившие мысли, которые люди жевали всю свою жизнь, а потом выплюнули; его стошнило, и тогда он, двадцатилетним юношей, поступил в театр. Взгляните на мои часы, на секундную стрелку: она сделает шестьдесят движений, пока пройдет одна минута; шестьдесят на шестьдесят составит час, и даже если умножить на двадцать четыре, то пройдут всего лишь сутки, а если еще умножить на триста шестьдесят пять, то будет только год. А теперь представьте себе, что такое *десять* лет. Господи! Приходилось ли вам когда-нибудь дожидаться у ворот своего хорошего знакомого? Первые четверть часа проходят незаметно; вторые четверть часа — о, чего не сделаешь с охотой и удовольствием ради того, кого любишь; третьи четверть часа — его все нет; четвертые — надежда и страх; пятые — вы уходите, но потом возвращаетесь; шестые — господа, как нелепо я растратил время; седьмые — подожду еще, раз уж я прождал так долго; восьмые — ярость, проклятье; девятые — вы возвращаетесь домой и ложитесь на диван, ощущая неземной покой, словно идете под руку со смертью... Он ждал десять лет, десять лет! Посмотрите на мои волосы! Не встают ли они дыбом, когда я говорю: десять лет? Приглядитесь! Кажется, еще нет! Десять лет миновало, прежде чем он получил роль. И тогда все пошло как по маслу... сразу. А он сходил с ума, думая о нелепо растраченных десяти годах, и приходил в бешенство, когда спрашивал себя, почему это не произошло десять лет назад, и его охватывало изумление, почему выпавшее на его долю счастье не сделало его счастливым, и он стал несчастен.

— А может, эти десять лет ему понадобились, чтобы изучить искусство актера?

— Ничего он не изучал, потому что ему не давали играть; мало-помалу он превратился в посмешище, имя которого никогда не появлялось на театральной афише; по мнению дирекции театра, он ни на что не был годен, а когда он обращался в другой театр, ему говорили, что у него нет репертуара!

— Но почему он не был счастлив, когда счастье наконец пришло к нему?

— Вы думаете, что для бессмертной души достаточно такого счастья? Впрочем, о чем мы спорим? Ваше решение окончательно. Мои советы излишни. Нет лучшего учителя, чем опыт, а он либо прихотлив, либо расчетлив, совсем как школьный учитель; одним всегда похвалы, другим всегда выволочка; вам от рождения предопределены похвалы; не подумайте, что я намекаю на ваше происхождение; у меня хватает ума не приписывать все происхождению, и добро и зло; в данном случае этот фактор совершенно не имеет значения, потому что речь идет просто о человеке как таковом. И я от всей души желаю, чтобы вам улыбнулось счастье, как можно скорей, и чтобы вы сами все poznali... как можно скорей! Уверен, вы этого заслуживаете.

— Неужели вы не сохранили ни капли уважения к своему искусству? Величайшему и прекраснейшему на свете?

— Его переоценивают, как, впрочем, и все то, о чем люди пишут книги. К тому же оно опасно, ибо может принести вред. Красиво высказанная ложь производит в достаточной мере сильное впечатление. Как в народном собрании, где все решает невежественное большинство. Чем проще, тем лучше — чем хуже, тем лучше. Поэтому-то я и не утверждаю, что оно никому не нужно.

— Никогда не поверю, что вы действительно так думаете.

— Но я действительно так думаю, хотя вовсе не настаиваю, что всегда прав.

— И вы на самом деле не питаете уважения к своему искусству?

— Своему? А почему я должен питать к нему уважение большее, чем к другим видам искусства?

— И это говорите вы, кто играл такие наполненные величайшим смыслом роли; ведь вы играли Шекспира? Играли Гамлета? Неужели вас не потрясло, когда вы произносили этот удивительно глубокий монолог «Быть или не быть»?

— Что вы подразумеваете под словом «глубокий»?

— Глубокий по мысли, глубокий по идее.

— Объясните мне, что вы усматриваете в этом глубокомысленного: «Покончить с жизнью или нет? Охотно я покончил бы с собой, когда бы знал, что ждет меня потом, уж после смерти, и то же самое свершили бы все без исключения, но этого сейчас не знаем мы и потому боимся расстаться с жизнью». Уж так ли это глубокомысленно?

— Но...

— Подождите! Вам наверняка когда-нибудь приходила мысль покончить с собой? Не так ли?

— Да, вероятно, как и всем!

— Так почему вы этого не сделали? Да потому, что вы, как и Гамлет, не могли на это решиться, ибо не знали, что будет потом. Это что, проявление вашего глубокомыслия?

— Конечно нет!

— Значит, все это просто банальность. Короче... Густав, как это называется?

— Старо! — слышалось из-за часов, где, по-видимому, только и ждали момента, чтобы подать реплику.

— Да, старо! Вот если бы автор высказался, как он примерно представляет себе нашу будущую жизнь, тогда в этом было бы что-то новое!

— Разве все новое так уж хорошо? — спросил Реньельм, несколько обескураженный всем тем новым, что ему довелось услышать.

— У нового есть во всяком случае одно достоинство: то, что оно новое. Попробуйте сами разобраться в своих мыслях, и они всегда покажутся вам новыми. Вы ведь понимаете, что я знал о вашем намерении поговорить со мной еще до вашего прихода, и я знаю, о чем вы меня спросите, когда мы снова заговорим о Шекспире.

— Вы поразительный человек; должен признаться, что все так и есть, как вы говорите, хотя я и не согласен с вами.

— Что вы думаете о надгробном слове Антония у катафалка с телом Цезаря? Разве оно не прекрасно?

— Я как раз хотел спросить вас об этом. И впрямь вы обладаете способностью читать мои мысли.

— Так оно и есть. И ничего особо удивительного тут нет, ведь все люди думают, или, вернее, говорят, примерно одно и то же. Ну так что же здесь такого глубокомысленного?

— Мне трудно выразить...

— А вам не кажется, что это совершенно обычная форма иронического высказывания? Вы говорите нечто прямо противоположное тому, что думаете на самом деле; ведь если как следует наточить острие, то никому не избежать укола. А вы читали что-нибудь прекраснее, чем диалог Ромео и Джульетты после брачной ночи?

— Ах, вы имеете в виду то место, где он говорит, что принял жаворонка за соловья?

— Что же еще я могу иметь в виду, если весь мир это имеет в виду. В общем, довольно заезженный поэтический образ, построенный на внешнем эффекте. Неужели вы всерьез считаете, что величие Шекспира основано на поэтических образах?

— Почему вы разрушаете все, что мне дорого, почему лишаете меня всякой опоры?

— Я выбросил ваши костыли, чтобы вы научились ходить — самостоятельно! И потом, разве я прошу вас следовать моим советам?

— Вы не просите, вы заставляете!

— Тогда вам надо избегать моего общества. Ваши родители, наверно, недовольны вашим решением?

— Конечно! Но откуда вы это знаете?

— Все родители думают примерно одинаково. Однако не преувеличивайте моего здравомыслия. И вообще не надо ничего преувеличивать.

— Вы считаете, что тогда будешь счастливее?

— Счастливее? Гм! Вы знаете кого-нибудь, кто счастлив? Только я хочу услышать ваше собственное мнение, а не чужое.

— Нет, не знаю.

— Но если вы не знаете никого, кто был бы счастлив, то зачем спрашиваете, можно ли стать счастливее?.. Значит, у вас есть родители! Очень глупо иметь родителей!

— Как так? Что вы хотите сказать?

— Вам не кажется противоестественным, что старое поколение воспитывает молодое и забивает ему голову своими давно отжившими глупостями? Ваши родители требуют от вас благодарности? Правда?

— Разве можно не быть благодарным своим родителям?

— Благодарным за то, что на законном основании они произвели нас на свет, обрекая на постоянную нищету, кормили скверной пищей, били, всячески угнетали, унижали, подавляли наши желания. Понимаете, нам нужна еще одна революция! Нет, две! Почему вы не пьете абсент? Вы боитесь его? О! Взгляните, ведь на нем женеvский красный крест! Он исцеляет раненых на поле битвы, и друзей и врагов, унимает боль, притупляет мысль, лишает памяти, душит все благородные чувства, которые толкают нас на всякие сумасбродства, и, в конце концов, гасит свет разума. Вы знаете, что такое свет разума? Во-первых, это фраза, во-вторых — блуждающий огонек, этаким язычок пламени, что блуждает там, где гниет рыба и выделяет фосфорный водород; свет разума — это и есть фосфорный водород, который выделяет серое вещество нашего мозга. И все-таки удивительно, что все хорошее на земле гибнет и предается забвению. За десять лет своего бродяжничества и кажущейся бездеятельности я прочитал все книги во всех библиотеках провинциальных городков; все мелкое и незначительное, что содержится в этих книгах, цитируют и перепечатывают сотни раз, все достойное внимания остается лежать под спудом. Я хочу сказать, что... напоминайте мне, чтобы я придерживался темы...

Между тем часы снова начали греметь и пробили семь раз. Двери распахнулись, и в зал с шумом и грохотом ввалился человек лет пятидесяти. У него было жирное лицо и массивная голова, которая, как мортира на лафете, высилась над жирными плечами под постоянным углом в сорок пять градусов, и казалось, будто она вот-вот начнет обстреливать снарядами звезды. У него было такое лицо, словно ему присущи самые изощренные пороки и он способен на самые изощренные преступления, и если не совершает их, то только из трусости. Он немедленно выпустил снаряд в Фаландера и атаковал официанта, потребовав у него грогу, при этом он изъяснялся, как капрал перед строем, на малопристойном, хотя и грамматически правильном языке.

— Вот владыка вашей судьбы, — прошептал Фаландер Реньельму. — К тому же великий драматург, режиссер и директор театра, мой смертельный враг.

Реньельм содрогнулся, глядя на это чудовище, которое обменялось с Фаландером взглядами, полными глубочайшей ненависти, и теперь обстреливало залпами своей слюны проход между столиками.

Потом дверь снова отворилась, и в нее проскользнул мужчина средних лет, довольно элегантный, с напомаженными волосами и нафабранными усами. Он фамильярно уселся рядом с директором, который дал ему пожать средний палец, украшенный сердоликовым перстнем.

— Это редактор местной консервативной газеты, опора трона и алтаря. У него свободный доступ за кулисы, и он соблазняет всех девушек, которым удалось избежать благосклонности директора. Когда-то он был королевским чиновником, но ему пришлось расстаться с этой должностью по причине, о которой даже говорить стыдно. Однако мне не менее стыдно сидеть в одной комнате с этими господами, а кроме того, я устраиваю сегодня маленькую вечеринку для своих друзей по случаю моего вчерашнего бенефиса. Если у вас есть желание провести вечер в обществе самых плохих артистов на свете, двух дам сомнительной репутации и старого бродяги в роли хозяина, то милости прошу к восьми часам.

Не колеблясь ни секунды, Реньельм тотчас же принял приглашение.

Паук стал карабкаться вверх по стене, словно осматривая свою сеть, и тут же исчез. Муха еще некоторое время оставалась на месте. Но вот солнце скрылось за собором, и сеть расплылась по стене, будто ее никогда и не было, а за окном от дуновения ветра затрепетали осины. И тогда громадина директор прокричал во весь голос, потому что давно разучился говорить:

— Послушай! Ты видел, «Еженедельник» снова вылез с нападками на меня?

— Ах, не обращай внимания на эту болтовню!

— Как это не обращай внимания! Черт побери, что ты хочешь сказать? Разве его не читает весь город? Ну, я покажу этому мерзавцу! Приду к нему домой и набью морду! Он нагло утверждает, что у меня все неестественно и аффектировано.

— Ну так сунь ему на лапу! Только не устраивай скандала!

— Сунуть на лапу? Ты думаешь, я не пытался? Чертовски странный народ эти либеральные газетные писаки. Если тебе удастся познакомиться или подружиться с ними, они, может, и напишут о тебе что-нибудь хорошее, но купить их невозможно, как бы бедны они ни были.

— Ничего-то ты не понимаешь. С ними нельзя действовать напрямик; им нужно посылать подарки, которые при случае можно заложить, или даже наличные деньги...

— Как посылают тебе? Нет, с ними этот номер не пройдет; я много раз пытался. Дьявольски трудно обломать человека с убеждениями. Кстати, чтобы сменить тему разговора, что за новая жертва попала в когти этому дьяволу?

— Не знаю, меня это не касается.

— Может быть, пока и не касается. Густав! Кто сидел рядом с Фаландером?

— Он хочет поступить на сцену, и его зовут Реньельм.

— Что такое? Хочет поступить на сцену? Он! — закричал директор.

— Да, хочет, — ответил Густав.

— Хочет, понятное дело, играть в трагедиях! И под покровительством Фаландера? И не обращаться ко мне за содействием? И играть роли в моих пьесах? Оказать мне честь? И я об этом ничего не знаю? Я? Я? Мне жаль его! Какое ужасное будущее его ждет! Разумеется, я окажу ему покровительство! Возьму под свое крылышко! Все знают, какие сильные у меня крылья, даже если я не летаю! Иногда ими можно и ударить! Какой славный малый! Отличный малый! Красивый, как Антигон! Как жаль, что он сразу не пришел ко мне, я отдал бы ему все роли Фаландера, все до единой! Ой! Ой! Ой! Но еще не поздно! Ха! Пусть сначала дьявол немного испортит его! Он еще чуть-чуть зелен, этот юнец! И такой наивный с виду! Бедный мальчик! Да, мне остается только сказать: сохрани его бог!

Последние звуки этой мольбы потонули в адском шуме, когда вдруг в зал разом ввалились любители грога со всего города.

Глава пятнадцатая

ТЕАТРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕНИКС»

На другое утро Реньельм проснулся в своей комнате в отеле, когда было уже около полудня. Перед ним как призраки возникли воспоминания минувшей ночи и при свете летнего дня возбудили его кровать. Он увидел красивую комнату всю в цветах, где за закрытыми ставнями происходит развеселая оргия; потом увидел тридцатипятилетнюю актрису, которую в результате происков соперницы перевели на ампула старухи; от все новых и новых обид она приходит в отчаяние и неистовство и, напившись допьяна, кладет ногу на край дивана, а когда в комнате становится совсем жарко, расстегивает лиф платья так же беспечно, как мужчина расстегивает жилет после сытного обеда; вон там хорохорится старый комик, которому слишком рано пришлось оставить ампула любовника и после недолгого процветания перейти на выходные роли, теперь он потешает публику забавными куплетами и, главным образом, рассказами о своем былом величии; но вот в облаках табачного дыма, среди фантастических видений, вызванных опьянением, он видит юную шестнадцатилетнюю девушку, которая со слезами на глазах жалуется мрачному Фаландеру на негодяя директора, который снова приставал к ней с непристойными предложениями, поклявшись, что в случае отказа он отомстит ей, и она будет играть только служанок и горничных.

Вот он видит Фаландера, все поверяют ему свои горести и печали, а он одним мановением руки все развеивает в прах, абсолютно все: оскорбления, унижения, пинки, несчастья, нужду, нищету, стоны и проклятья, — и призывает своих друзей ничего не преувеличивать и не переоценивать, особенно свои невзгоды. Но снова и снова он видит перед собой изящную шестнадцатилетнюю девушку с невинным личиком. Он стал ее другом и получил на прощанье поцелуй, горячий и страстный, который, как напомнил Реньельму его воспаленный мозг, поскольку всегда был искренним, показался ему несколько неожиданным. Но как же ее зовут?

Он встает, чтобы взять графин с водой, и рука его вдруг касается маленького носового платочка в пятнах от вина! Ах! На нем несмываемыми чернилами написано — Агнес! Он дважды целует платочек там, где он чище всего, и засовывает в чемодан. Потом одевается и идет в театральную дирекцию, где легче всего попасть на прием между двенадцатью и тремя.

Чтобы потом не упрекать себя за опоздание, он подходит к конторе театра ровно в двенадцать часов; там его встречает театральный служитель и спрашивает, что ему угодно и чем он может ему помочь. Реньельм отвечает, что ничем, и в свою очередь спрашивает, можно ли поговорить с директором, но узнает, что в настоящий момент тот находится на фабрике, однако к обеду, вероятно, придет. Реньельм думает, что фабрикой фамильярно называют театр, но ему объясняют, что директор является владельцем спичечной фабрики, его шурин, театральный бухгалтер, работает на почте и не появляется здесь раньше двух часов, а его сын, секретарь дирекции, служит на телеграфе, и поэтому никто не знает заранее, придет он вообще или не придет. Поскольку служитель все-таки сообразил, что привело сюда Реньельма, то от себя лично и от имени всего театра он вручил юному дебютанту театральные уставы, за которыми тот сможет коротать время до прихода кого-либо из дирекции. Итак, Реньельм вооружился терпением и, усевшись на диван, принялся изучать устав. Когда он прочитал все его предписания и положения, было всего половина первого. Еще четверть часа он проболтал со служителем. После этого он приступил к более углубленному изучению первого параграфа, который гласил: «Театр является моральным учреждением, и поэтому все, кто работает в театре, должны быть богобоязненными, добродетельными и благонравными». Реньельм вчитывался в эту фразу, стараясь проникнуть в ее истинный смысл, но безуспешно. Если театр уже сам по себе моральное учреждение, то все, кто в нем работает (вместе с директором, бухгалтером, секретарем, всевозможным оборудованием и декорациями) вовсе не обязаны стремиться к тому совершенству, какого требует от них устав. Вот если бы в уставе было написано, что театр учреждение аморальное, и поэтому... — тогда бы эти слова приобрели какой-то смысл, но наверняка не тот, какой вкладывала в них дирекция. И тогда он подумал о гамлетовском «слова, слова» и тотчас же вспомнил, что цитировать Гамлета старо и свои мысли надо

выражать своими собственными словами, и он остановился на том, что все это сплошная галиматья, но потом отверг и эту мысль как тоже не оригинальную, хотя и это тоже было не оригинально.

Параграф второй устава позволил ему еще на четверть часа погрузиться в размышления над текстом следующего содержания: «Театр существует не для забавы. Это не только развлечение». Итак, здесь написано: театр не развлечение, а немного дальше: театр не только развлечение; значит, театр — это все-таки и развлечение. Потом он припомнил, когда в театре бывает забавно: ну, во-первых, когда по ходу пьесы дети, особенно если это сыновья, обманом выманивают у родителей деньги, и это тем более забавно, если родители бережливы, добросердечны и разумны; во-вторых, когда жена обманывает мужа, — особенно смешно, если муж старый и нуждается в поддержке жены; Реньельм вспомнил, как однажды смеялся над двумя стариками, которые чуть не умирали с голоду, поскольку дела их пошатнулись, но над этим и сегодня еще хохочут до упаду, когда смотрят пьесу одного известного классика. Далее он припомнил, как потешался над несчастьем одного старика, потерявшего слух, и как смеялся вместе с шестьюстами других зрителей над священником, который весьма естественным путем искал лекарство от помешательства, вызванного длительным воздержанием, а также над лицемерием, служившим ему главным средством достижения цели. Так над чем же смеются зрители? — спросил он себя. И поскольку ему больше нечего было делать, то сам попытался ответить на этот вопрос. Да, над несчастьем, нуждой, горем, пороком, добродетелью, над поражением добра и торжеством зла. Этот вывод, который показался ему в какой-то мере оригинальным и новым, привел его в хорошее расположение духа, и надо сказать, что подобная игра мысли доставила ему огромное удовольствие. Поскольку никто из дирекции пока не давал о себе знать, Реньельм продолжил эту игру, и не прошло и пяти минут, как он сделал еще один вывод: когда люди смотрят трагедию, они плачут над тем же, над чем смеются, когда смотрят комедию. На этом мысли его прервались, потому что в комнату ворвался громадина директор, проскочил мимо Реньельма, даже не показав виду, что заметил его, и влетел в комнату слева, откуда через секунду послышался звон колокольчика, который трясла сильная рука. Служителю понадобилось всего полминуты, чтобы войти в кабинет и выйти из него, доложив, что их высочество примет его.

Когда Реньельм вошел в кабинет, директор уже выпятил грудь и направил свою мортиру под таким большим углом, что никак не мог увидеть простого смертного, который, трепеща, приближался к нему. Но, должно быть, он услышал его шаги, потому что весьма пренебрежительным тоном спросил, что ему угодно.

Реньельм объяснил, что хотел бы получить дебют.

— Да! Большой дебют! Большой энтузиазм! А у вас, сударь, есть репертуар? Вы играли Гамлета, Лира, Ричарда Шеридана, Волонтера, публика десять раз вызывала вас на сцену после третьего акта? Да?

— Я никогда еще не выступал на сцене.

— Ах так! Тогда другое дело!

Он уселся в широкое посеребренное кресло, обитое голубым шелком, и лицо его превратилось в маску, словно было иллюстрацией к одной из биографий Светония.

— Разрешите мне совершенно откровенно высказать вам свое мнение? Можно? Так вот, пока не поздно, забудьте о театре!

— Ни за что!

— Повторяю: забудьте о театре! Это самый ужасный путь, какой только можно себе представить. На нем вас ждут бесконечные унижения, всевозможные неприятности, весьма болезненные уколы и удары, которые отравят вам жизнь, и вы пожалеете, что родились на свет божий!

Он действительно говорил очень искренне, но Реньельм был непоколебим в своей решимости.

— Запомните то, что я вам сейчас скажу! Я совершенно серьезно отговариваю вас от этого шага и очень плохо представляю себе ваше будущее; возможно, многие годы вам придется быть просто статистом! Поразмыслите об этом! И не вздумайте потом являться ко мне с жалобами на свою несчастную судьбу. Это дьявольски тяжелый путь, сударь, и если бы вы отдавали себе в этом отчет, то никогда не ступили бы на него. Вы идете прямой дорогой в ад, поверьте мне, — вот что я хотел вам сказать.

Однако слова отскакивали от Реньельма, как от стены горох.

— В таком случае, сударь, не хотите ли получить ангажемент сразу, без дебюта? Так меньше риска.

— Ну конечно, мне и в голову не приходило, что это возможно.

— Пожалуйста, тогда подпишите контракт. Оклад — тысяча двести риксдалеров, срок действия контракта — два года. Устраивает?

Директор достал из-под бювара уже готовый и подписанный всей дирекцией контракт и протянул Реньельму, у которого даже голова пошла кругом при упоминании о тысяче двухстах риксдалеров, и он не глядя подписал контракт.

Затем директор протянул ему толстый средний палец с сердоликовым перстнем и сказал: «Милости просим!», после чего показал десну верхней челюсти и желтые, в кровавых прожилках белки глаз с мыльной зеленой радужной оболочки.

Итак, аудиенция была закончена. Однако Реньельм, которому казалось, что все произошло слишком быстро, не торопился уходить и даже позволил себе вольность спросить, не подождать ли ему, пока соберется дирекция.

— Дирекция? — прогремел великий драматург. — Дирекция — это я! Если вам нужно что-нибудь спросить, обращайтесь только ко мне! Если вам нужен совет, обращайтесь ко мне! Ко мне, сударь! И ни к кому другому! Понятно? Ступайте!

Выходя из директорского кабинета, Реньельм вдруг остановился как вкопанный, словно зацепился полкой сюртука за гвоздь, и резко повернулся, будто хотел посмотреть, как выглядят эти

последние слова, но увидел лишь красную десну, похожую на орудие пытки, и кровью мраморированные глаза, после чего у него прошла всякая охота требовать каких-либо объяснений, и он поспешил в погребок, чтобы пообедать и встретиться там с Фаландером.

Фаландер уже сидел за своим столом, спокойный и невозмутимый, словно был готов к самому худшему. Поэтому его несколько не удивило, что Реньельм получил ангажемент, хотя он и помрачнел, когда услышал об этом.

— Как тебе понравился директор? — спросил Фаландер.

— Я хотел дать ему оплеуху, да не решился.

— Дирекция тоже никак не может решиться, вот он и делает что хочет. Так всегда бывает: кто грубее и наглее, тот и правит. Тебе известно, что он еще и драматург?

— Да, слышал!

— Он пишет нечто вроде исторических драм, и они всегда пользуются успехом у публики, потому что он создает не характеры, а роли; он заранее готовит выходы, которые сорвут аплодисменты, и всю игру играет на так называемом чувстве патриотизма. Между прочим, его герои не умеют разговаривать, а только ссорятся или бранятся: мужчины и женщины, старые и молодые — все до единого; недаром его известную пьесу «Сыновья короля Йёсты» называют исторической бранью в пяти стычках, потому что никакого действия там нет, а есть только стычки: стычки семейные, стычки уличные, стычки в риксаде и так далее. Действующие лица обмениваются не репликами, а колкостями, в результате чего получается не спектакль, а ужаснейший скандал. Вместо диалогов — словесная перебранка, в ходе которой стороны осыпают друг друга ругательствами, а вершиной драматического действия становится рукопашная схватка. Критика утверждает, что особенно он силен в изображении исторических личностей. Как, по-твоему, он изобразил в своей пьесе Густава Васу? Этаким широкоплечим, длиннородым, громогласным, необузданным силачом: он разносит в щепки стол на заседании риксадага в Вестеросе и ногой выламывает дверную филенку на встрече в Вадстене. А однажды критика отметила, что его пьесам не хватает смысла; он страшно рассердился и решил написать комедию нравов со смыслом. У этого чудовища есть сын (директор женат), который ходит в школу и за дурное поведение не раз получал взбучку. И вот папочка написал комедию нравов, в которой вывел учителей и показал, какому бесчеловечному обращению подвергаются в наше время дети. В другой раз, в ответ на справедливые упреки рецензента, он тут же написал комедию нравов, в которой высмеял наших либеральных журналистов! Впрочем, ну его к черту!

— А почему он ненавидит тебя?

— Потому что на репетиции я однажды сказал «дон Паскуале», хотя он утверждал, что того зовут Паскаль; в результате мне было приказано под угрозой штрафа говорить так, как он велел, причем он заявил, что, пусть хоть весь мир называет его как, черт

поberi, ему заблагорассудится, но здесь его будут звать Паскаль, потому что именно *так его зовут!*

— Откуда он взялся? Что он делал раньше?

— Разве ты не знаешь, что он был подмастерьем у каретника? Но узнай он, что тебе это известно, он бы тебя отравил! Впрочем, давай поговорим о чем-нибудь другом. Как ты себя чувствуешь после вчерашней вечеринки?

— Чудесно! Ведь я забыл поблагодарить тебя!

— Ничего! А как тебе понравилась эта девушка? Агнес?

— Очень понравилась!

— И она в тебя влюбилась! Все устраивается как нельзя лучше! Бери же ее!

— Ах, о чем ты болтаешь! Мы же не можем пожениться!

— А кто сказал, что вам обязательно нужно жениться?

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что тебе восемнадцать лет, ей шестнадцать! Вы любите друг друга! Ну и хорошо! И если оба вы не против, то остается только решить один весьма интимный вопрос...

— Я тебя не понимаю. Ты мне советуешь совершить какой-то очень гадкий поступок? Или я ошибаюсь?

— Я советую тебе слушаться голоса великой природы, а не глупых людей. Если люди будут осуждать ваше поведение, то только из зависти, а мораль, которую они проповедуют, лишь выражает их злобу, принявшую удобную и приличную форму. Вот уже несколько лет природа приглашает вас на свой великий пир, ставший радостью богов и кошмаром общества, которое боится, что ему придется тратить деньги на воспитание детей.

— Почему ты не хочешь, чтобы мы поженились?

— Потому что брак — это нечто совершенно другое! Едва ли нужно связывать себя на всю жизнь после одного лишь вечера, проведенного вместе, и ведь нигде не сказано, что разделивший с тобой радость разделит и горе! Брак — это склонность души, а об этом пока говорить рано! Да и нет никакой необходимости призывать вас к тому, что рано или поздно все равно совершится. Любите друг друга, пока вы молоды, а то будет поздно, любите, как птицы небесные, не думая о домашнем очаге, или как цветы, которые называются *Dioecia*.

— Не смей говорить так непочтительно об этой девушке! Она добра, невинна и несчастлива, и тот, кто утверждает обратное, — просто лжец. Ты видел когда-нибудь глаза более невинные, чем у нее? Разве не сама искренность звучит в ее голосе? Она достойна великой и чистой любви, не той, о какой говоришь ты, и я надеюсь, что подобные высказывания слышу от тебя в последний раз! И передай ей, что я сочту за величайшее счастье и величайшую честь предложить ей когда-нибудь, когда буду ее достоин, свою руку и сердце!

Фаландер так тряхнул головой, что его змееподобные волосы вдруг зашевелились.

— Достоин ее? Свою руку? Что ты говоришь?

— То, в чем я убежден!

— Но это ужасно! Ведь если я скажу тебе, что эта девушка не только не обладает всеми теми достоинствами, которые ты ей приписываешь, но и представляет собой нечто прямо противоположное, ты все равно не поверишь, и мы поссоримся!

— Обязательно поссоримся!

— Мир так переполнен ложью, что когда говоришь правду, тебе все равно не верят.

— Как же тебе верить, если ты человек без морали?

— Опять это слово! Удивительное слово — оно отвечает на все вопросы, обрывает на полуслове любые возражения, оправдывает любые ошибки, свои собственные, правда, а не чужие, повергает в прах всех противников, говорит «за» и «против», совсем как адвокат! Сегодня ты сокрушил меня этим словом, завтра я сокрушу тебя! Прощай, мне пора домой, в три часа у меня урок. Всего хорошего! Прощай!

И Реньельм остался наедине со своим обедом и своими размышлениями.

* * *

Вернувшись домой, Фаландер надел халат и туфли, словно и не ожидал, что к нему кто-нибудь придет. Однако снедавшая его душевная тревога, казалось, все время заставляла его совершать какие-то действия: он то ходил взад и вперед по комнате, то останавливался у окна и, спрятавшись за штору, глядел на улицу. Потом он подошел к зеркалу и, отстегнув воротничок, бросил его на столик возле дивана. Походив еще немного по комнате, он сел на диван, взял с подноса для визитных карточек фотографию женщины, положил ее под огромное увеличительное стекло и стал рассматривать, как рассматривают под микроскопом какой-нибудь препарат. Этому занятию он уделил довольно много времени. Услышав шаги на лестнице, он торопливо сунул фотографию на прежнее место, вскочил с дивана и уселся за письменный стол — спиной к двери. Он что-то писал и весь был поглощен своей работой, когда в дверь тихонько постучали — два коротких двойных удара.

— Войдите, — крикнул Фаландер таким тоном, каким обычно предлагают не войти, а убраться вон.

В комнату вошла молодая девушка небольшого роста, но с очень изящной фигуркой. Тонкое овальное лицо обрамляли такие светлые волосы, словно их отбелило солнце: у них был совершенно другой оттенок, нежели тот, что бывает у белокурых от природы волос. Маленький носик и красиво очерченный рот создавали причудливую игру линий ее милого лица, которые непрерывно меняли форму, как в калейдоскопе; когда, например, у нее слегка раздувались ноздри, обрисовывая розоватый хрящик, похожий на лист фиалки, то губки ее раскрывались и обнажали маленькие ровные зубки, которые, хотя и были ее собственными, казались слишком

ровными и слишком белыми, чтобы не внушать кое-каких подозрений на этот счет. Ее чуть удлинненные глаза от переносицы опускались к вискам, и потому у них всегда было молящее меланхолическое выражение, которое составляло волшебный контраст с игривыми чертами нижней части лица; однако зрачки находились в постоянном движении: в один миг они сужались и становились как острие иглы, а уже в следующее мгновение широко раскрывались и смотрели так, словно это были линзы подзорной трубы.

Тем временем она вошла в комнату и заперла дверь на ключ. Фаландер по-прежнему сидел и писал.

— Ты что-то поздно сегодня, Агнес, — сказал он.

— Да, поздно, — ответила она несколько вызывающе, снимая шляпу и осматриваясь.

— Мы довольно долго засиделись вчера вечером.

— Почему бы тебе не встать и не поздороваться со мной? Ведь не так же ты устал?

— Ах, прости, совсем забыл.

— Забыл? Я заметила, что последнее время ты стал часто забываться.

— Правда? И давно ты это заметила?

— Давно? Что ты хочешь этим сказать? И сними, пожалуйста, халат и туфли!

— Видишь, дорогая, первый раз в жизни я что-то забыл, а ты говоришь: последнее время, часто! Ну разве не удивительно? А?

— Да ты издеваешься надо мной? Что с тобой происходит? Последнее время ты стал какой-то странный.

— Опять — последнее время? Почему ты все время говоришь о каком-то последнем времени? Ты же сама понимаешь, что это ложь. Зачем тебе нужно лгать?

— Так, теперь ты обвиняешь меня во лжи!

— Ну что ты. Я просто шучу.

— Думаешь, я не вижу, что я тебе надоела? Думаешь, я не видела, сколько внимания ты уделял вчера этой проститутке Женни и за весь вечер не сказал мне ни слова?

— Ты, кажется, ревнуешь?

— Я? Представь себе, нисколько! Если ты предпочитаешь ее — пожалуйста! Меня это не трогает ни в малейшей степени!

— Правда? Значит, ты не ревнуешь? Прежде это было бы весьма досадным обстоятельством.

— Прежде? Ты о чем?

— О том... очень просто... что ты мне надоела, как ты только что сама выразилась.

— Ты лжешь! Не может этого быть!

Она раздула ноздри, показала свои острые зубки и уколола глазами-иголками.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал Фаландер. — Тебе понравился Реньельм?

— Очень! Такой славный мальчик! И такой милый!

— Он по уши в тебя влюбился.
— Брось болтать!
— Но хуже всего то, что он хочет на тебе жениться.
— Пожалуйста, избавь меня от подобных глупостей.
— Но поскольку ему всего двадцать лет, он намерен подождать, пока не будет достоин тебя, как он сам выросился.

— Вот чудак!
— Он считает, что будет достоин тебя, когда станет известным артистом. А известным артистом он не станет до тех пор, пока не будет получать роли. Ты не сможешь ему раздобыть какую-нибудь роль?

Агнес покраснела и забилась в угол дивана, показав ему пару элегантных ботинок с золотыми кисточками.

— Я? Когда у меня самой нет ни одной роли? Ты опять издеваешься надо мной.

— Да, пожалуй.

— Ты дьявол, Густав! Понимаешь? Настоящий дьявол!

— Может быть. А может быть и нет. Это не так-то просто решить. И все-таки, если ты разумная девочка...

— Замолчи...

Она схватила со стола острый нож для бумаги и угрожающе замахнулась им как бы в шутку, но так, словно это было всерьез.

— Ты сегодня такая красивая, Агнес! — сказал Фаландер.

— Сегодня? Почему только сегодня? А раньше ты этого не замечал?

— Отчего же? Замечал.

— Почему ты вздыхаешь?

— Это я всегда после того, как напьюсь.

— Дай-ка я взгляну. У тебя что, болят глаза?

— Бессонная ночь, моя дорогая.

— Сейчас я уйду, и ты выспишься.

— Не уходи. Я все равно не засну.

— Мне в любом случае лучше уйти. Собственно, я и пришла только затем, чтобы сказать тебе об этом.

Голос ее стал нежным, а веки медленно опустились, словно занавес после сцены смерти одного из героев.

— Спасибо, что ты все-таки пришла сказать мне об этом, — ответил Фаландер.

Она встала и надела шляпу перед зеркалом.

— У тебя есть какие-нибудь духи? — спросила она.

— Нет, только в театре.

— Прекрати курить свою трубку; вся одежда пропахла этой мерзостью.

— Ладно, не буду.

Она наклонилась и застегнула подвязку.

— Извини! — сказала она, бросив на Фаландера умоляющий взгляд.

— А что такое? — спросил он безразлично, словно ничего не заметил.

Поскольку ответа не последовало, он собрался с духом, глубоко вздохнул и спросил:

— Куда ты идешь?

— Пойду примерить новое платье, так что можешь не беспокоиться, — ответила Агнес, как ей казалось, очень непринужденно. Но по фальшивым ноткам в ее голосе Фаландер понял, что все это заранее отрепетировано, и сказал только:

— Тогда прощай!

Она подошла, чтобы он ее поцеловал. Фаландер обнял ее и так прижал к груди, словно хотел задушить, потом поцеловал в лоб, проводил до дверей и, когда она выходила, коротко бросил:

— Прощай!

Глава шестнадцатая

НА БЕЛЫХ ГОРАХ

В этот августовский день Фальк снова сидит в маленьком парке на Моисеевой горе, такой же одинокий, каким оставался все лето, и припоминает все, что ему пришлось пережить с тех пор, как три месяца назад он был здесь в последний раз, такой уверенный в себе, такой мужественный и сильный. Сейчас он чувствует себя старым, усталым, ко всему безразличным; он заглянул во все эти дома, что громоздятся там, далеко внизу, и ему открылась картина совсем не та, которую он себе представлял. Он многое повидал за это время и наблюдал людей в такой обстановке, в какой их может увидеть только врач, лечащий бедняков, да газетный репортер, с той лишь разницей, что репортер видит их такими, какими они хотят казаться, а врач — такими, какие они есть на самом деле; Фальку предоставилась возможность наблюдать людей как общественных животных во всем многообразии их видов и форм. Он посещал заседания риксадага и церковных советов, правления акционерных обществ и благотворительных организаций, присутствовал при полицейских расследованиях, бывал на празднествах, похоронах и народных собраниях; и повсюду слышал красивые слова, великое множество слов, слов, какими никогда не пользуются в повседневной речи, тех весьма специфических слов, которые отнюдь не служат для выражения какой-то определенной мысли, во всяком случае, той, какую нужно высказать. В результате он получил крайне одностороннее представление о человеке как о лживом общественном животном, которое и не может быть ничем иным, поскольку цивилизация запрещает открытую войну; у него почти не было живого общения с людьми, и потому он начисто забыл, что существует еще одно животное, которое за бокалом вина и в компании друзей, если только его не дразнят, бывает чрезвычайно приятным и обходительным и охотно появляется в обществе со всеми своими слабостями и недостатками, когда поблизости нет посторонних. О нем Фальк совершенно забыл и потому был преисполнен горечи. Но было

еще одно досадное обстоятельство: он потерял уважение к самому себе! При том, что не совершил ни единого поступка, которого ему следовало бы стыдиться! Самоуважения его лишили другие, и произошло это очень легко и просто. Везде и всюду, где он только появлялся, каждый старался выказать свое неуважение к нему, и он, которого с самого детства пытались лишить чувства собственного достоинства, никак не мог уважать того, кого все презирают! Но особенно он приходил в отчаяние, когда видел, как любезно и предупредительно обращаются с журналистами консервативного толка, теми самыми, кто защищал или, в лучшем случае, оставлял без внимания несправедливость и зло. Значит, он вызывал всеобщее презрение не потому, что был журналистом, а потому, что выступал в защиту бедных и обездоленных! Порой его охватывали мучительные сомнения. Так, в отчете о заседании акционеров общества «Тритон» он употребил слово «мошеничество». «Серый плащ» ответил длинной статьей, в которой настолько ясно и убедительно обосновал национально-патриотический характер предприятия, что Фальк уже сам был близок к тому, чтобы убедиться в своей неправоте, и его еще долго мучили угрызения совести из-за того, что он так легкомысленно опорочил репутацию ни в чем не повинных людей. Теперь он пребывал в том удрученном состоянии духа, которое было чем-то средним между крайней нетерпимостью и абсолютным безразличием, и лишь от каждого последующего импульса зависело, какое направление примут его мысли.

В это лето жизнь казалась ему такой мерзкой, что он со скрытым злорадством приветствовал каждый дождливый день и испытывал какое-то странное удовольствие, глядя, как на аллее, шурша, ложатся увядшие листья. Он сидел и в утешение себе наслаждался дьявольски веселыми размышлениями о своей жизни и ее предназначении, когда вдруг почувствовал, что на его плечо легла чья-то костлявая рука, а другая схватила чуть выше локтя, словно сама смерть, поверив в искренность его чувств, пригласила его на танец. Он поднял глаза и ужаснулся: перед ним стоял Игберг, бледный как труп, с изможденным лицом и такими обезвоженными и обесцвеченными глазами, какими их может сделать только голод.

— Добрый день, Фальк, — проговорил он едва слышным голосом.

— Добрый день, брат Игберг, — ответил Фальк, к которому сразу вернулось хорошее настроение. — Садись. Присаживайся и выпей чашку кофе, черт побери! Как поживаешь? У тебя такой вид, будто ты только что вылез из проруби.

— О, я болел. Очень болел.

— У тебя, кажется, было хорошее лето! Как и у меня!

— Тебе тоже пришлось нелегко? — спросил Игберг, и слабая надежда, что именно так оно и было, осветила его желто-зеленое лицо.

— Скажу только одно: слава богу, что это проклятое лето кончилось. По мне, так пусть бы весь год была зима. Мало того,

что страдаешь сам, так нет, изволь еще любоваться, как радуются другие. Я даже ни разу не был за городом. А ты?

— С тех пор, как Лунделль в июне уехал из Лилль-Янса, я не видел ни одной елки. Впрочем, зачем нам смотреть на елки? Так ли уж это необходимо? И так ли интересно? Но когда у нас нет такой возможности, мы ужасно переживаем.

— Да, теперь уж можно не переживать; смотри, на востоке сгущаются тучи, — значит, завтра будет дождь, а когда снова проглянет солнце, уже наступит осень. Твое здоровье!

Игберг посмотрел на пунш так, словно это был яд, но все-таки выпил.

— К с т а т и, — снова заговорил Ф а л ь к, — ведь это ты написал для Смита замечательный рассказ об Ангеле-хранителе и страховом обществе «Тритон»? Разве это не противоречит твоим убеждениям?

— Убеждениям? У меня нет убеждений!

— Нет убеждений?

— Нет! Убеждения есть только у дураков!

— Выходит, ты отрицаешь всякую мораль, Игберг?

— Вообще нет. Видишь ли, когда дурака осеняет какая-нибудь мысль, своя или чужая, он превращает ее в убеждение, держится за него и носится с ним не потому, что это убеждение, а потому, что это *его* убеждение. Что же касается общества «Тритон», то, разумеется, это сплошное надувательство. Многим «Тритон» наносит немалый вред, прежде всего акционерам, но тем больше радости доставляет другим — дирекции и служащим; значит, в конечном счете он все-таки приносит немало пользы.

— Неужели ты совсем утратил всякое понятие о чести, мой друг?

— Нужно жертвовать всем ради исполнения своего долга.

— Согласен.

— А первейший и самый главный долг человека — выжить, выжить любой ценой. Этого требует закон божеский, этого требует закон человеческий.

— Но жертвовать честью нельзя!

— Оба эти закона требуют, чтобы мы жертвовали, как было сказано, всем, и от бедняка они требуют, чтобы он приносил в жертву и так называемую честь. Это жестоко, но бедняк здесь не виноват.

— У тебя не слишком веселые взгляды на жизнь.

— А откуда им быть веселыми?

— Да, это верно.

— Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Я получил от Реньельма письмо. Если хочешь, я прочту тебе кое-что из него.

— Я слышал — он поступил в театр?

— Да, и похоже, ему там приходится несладко.

Игберг достал из нагрудного кармана письмо, сунул в рот кусок сахара и начал читать:

— «Если в загробной жизни существует ад, в чем я, правда, сильно сомневаюсь...»

— А ведь мальчик стал вольнодумцем!

— «... то и там не может быть хуже, чем мне приходится сейчас. Я проработал в театре всего два месяца, но они для меня как два года. Моя судьба теперь целиком и полностью во власти одного дьявола, бывшего каретника, а теперь директора театра, который обращается со мной так, что я трижды на день подумываю, куда бы удрать; к сожалению, штрафные меры, предусмотренные условиями контракта, настолько суровы, что я навеки обесчестил бы имя своих родителей, если бы дело дошло до суда, и я остаюсь в театре. Представляешь, я каждый вечер выступаю в качестве статиста и еще не произнес на сцене ни единого слова. Двадцать вечеров подряд я раскрашиваю умброй лицо и расхаживаю в цыганском костюме, каждая деталь которого мне либо велика, либо мала; трико слишком длинное, башмаки слишком большие, куртка слишком короткая. Помощник дьявола, которого здесь называют закулисным суфлером, неусыпно следит, чтобы я не сменил всю эту дрянь на что-нибудь, более подходящее мне по размеру, и всякий раз, когда я пытаюсь спрятаться за толпой, состоящей из рабочих фабриканта-директора, они немедленно расступаются и выталкивают меня на авансцену; если я гляжу за кулисы, то вижу, как надо мной смеется помощник дьявола, а если смотрю в зрительный зал, то в директорской ложе передо мной возникает сам дьявол, который тоже смеется. Мне кажется, он нанял меня просто ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы я приносил театру хоть какую-нибудь пользу. Однажды я решился обратить его внимание на то, что, если мне предстоит стать актером, я должен проверить себя хоть в нескольких ролях со словами. В ответ он нагло заявил, что, прежде чем я научусь ходить, мне надо поползть! Я ответил, что умею ходить. Это ложь, возразил он и спросил, уж не считаю ли я, что искусство актера, прекраснейшее и сложнейшее из всех искусств, не требует никакой школы. Я ответил, что конечно требует и я с нетерпением жду, чтобы начать обучение в этой школе. Тогда он обозвал меня невежественной собакой, сказал, что даст мне пинка! Поскольку у меня были на этот счет кое-какие возражения, он спросил, не принимаю ли я его театр за приют для юношей с плохими задатками, и я радостно ответил, что, безусловно, так оно и есть. Тогда он заявил, что убьет меня, и все осталось по-прежнему. Я чувствую, как душа моя сгорает, словно свеча на сквозняке, и глубоко убежден, что «в конце концов зло победит, хотя пока еще прячется за тучей», или как там еще сказано в катехизисе. Но что хуже всего, я утратил всякое уважение к искусству, которое было любовью и мечтой моей юности. Оно все более обесценивается в моих глазах, да и разве может быть иначе, если я вижу, как на сцену приходят люди с улицы, без воспитания, без образования, рабочие и ремесленники, движимые только тщеславием и леностью, лишенные энтузиазма и сообразительности, и уже через несколько месяцев исполняют характерные роли, роли исторических деятелей, играют довольно сносно, но у них нет ни малейшего представления о времени,

в котором они живут на сцене, об исторической значимости тех, кого они играют.

Происходит медленное убийство из-за угла, и в окружении этой толпы (некоторые члены труппы даже не в ладах с уголовным кодексом), которая всячески притесняет меня, я становлюсь тем, чем никогда не был, — аристократом, ибо гнет людей образованных никогда так болезненно не ощущается, как гнет необразованных.

И все-таки в этом мраке есть светлый проблеск: я люблю. Это девушка из чистейшего золота, попавшая в окружение мерзости и порока. Естественно, ею тоже помыкают, и она, так же как и я, подвергается медленной мучительной казни, поскольку с гордостью и презрением отвергла постыдные домогательства режиссера. Она — единственная женщина с живой душой среди всех этих ползающих в грязи животных, она любит меня всем сердцем, и мы с ней тайно обручились. О, я жду не дожусь того дня, когда ко мне придет успех и я смогу предложить ей руку, но когда это будет? Нам часто приходит мысль вместе покончить счеты с жизнью, но потом воскресает обманчивая надежда, и мы продолжаем это жалкое существование! Видеть, как она, невинное дитя, страдает и стыдится, когда ей приходится выходить на сцену в непристойных костюмах, более чем невыносимо. Но оставим пока эту грустную тему.

Привет тебе от Олле, а также от Лунделля. Олле сильно переменялся. Он увлекся каким-то новым философским учением, которое все ниспровергает, все переворачивает и ставит с ног на голову. Слушать его бывает довольно забавно, и звучит это нередко очень убедительно, но ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, все эти идеи он позаимствовал у одного здешнего актера, у которого хорошая голова и большие познания, но он не признает никакой морали; я и люблю и ненавижу его одновременно. Странный человек! В сущности, он добр, великодушен, благороден, готов пойти на самопожертвование; короче говоря, я не вижу у него никаких недостатков, но он аморален, а без морали человек — жалкое существо. Согласен?

Кончаю писать, потому что появился мой ангел, мой добрый гений, и снова наступают счастливые минуты, когда все грустные мысли отлетят и я снова почувствую себя человеком. Передай привет Фальку и скажи, что если ему придется уж очень плохо, пусть вспомнит о моей горькой участи.

Твоей Р.»

— Ну, что скажешь?

— Старая история о грызне диких зверей. Знаешь, Игберг, мне кажется, если хочешь чего-нибудь добиться, надо быть очень плохим.

— Попробуй! Быть может, это не так уж просто.

— У тебя есть еще какие-нибудь дела со Смитом?

— К сожалению, нет. А у тебя?

— Я заходил к нему насчет своих стихов. Он купил их у меня, заплатив по десять риксдалеров за лист, так что он убивает меня таким же точно способом, как тот каретник — Реньельма! Боюсь, со мной произойдет нечто, подобное, ибо я до сих пор ничего не знаю о судьбе своих стихов. Он был так ужасающе добродушен, что теперь я могу ожидать самого худшего; если бы я только знал, что он задумал. Но что с тобой, брат? Ты совсем побледнел.

— Да, наверное, — ответил Игберг и ухватился за перила. — Последние два дня я ничего не ел, — только эти пять кусочков сахара. Кажется, я сейчас упаду в обморок.

— Если тебе нужно поесть, чтобы почувствовать себя лучше, то все прекрасно. К счастью, у меня сегодня есть деньги.

— Наверное, надо поесть, — чуть слышно ответил Игберг.

Но поесть ему не удалось: когда они вошли в зал и им принесли еду, Игбергу стало совсем плохо, и Фальку пришлось взять его под руку и проводить домой, на Белые горы.

Это был старый одноэтажный деревянный дом, который с трудом вскарабкался вверх по склону холма, казалось, будто у него болят ноги; он был весь пегий, как прокаженный: когда-то его хотели покрасить, но дальше шпаклевки дело не пошло; у него во всех отношениях был чрезвычайно жалкий вид, и трудно было поверить, что, как обещала надпись на медной дощечке, сделанная обществом страхования от пожара, феникс возродится из пламени. Вокруг дома росли одуванчики, крапива и подорожник, верные спутники человека, терпящего нужду; воробьи купались в раскаленной солнцем пыли, взметая ее вокруг себя, а пузатые детишки с бледными прозрачными лицами, словно они от рождения на девяносто процентов состояли из воды, плели ожерелья и браслеты из одуванчиков, а также всячески старались колотушками и руганью еще более отравить друг друга и без того безрадостное существование.

Фальк и Игберг поднялись по шаткой, скрипучей деревянной лестнице и вошли в большую комнату, в которой размещалось три отдельных хозяйства, и потому она была разделена мелом на три части. Здесь жили два ремесленника, столяр и сапожник, и вдова с детьми. Когда дети поднимали крик, что происходило через каждые четверть часа, столяр приходил в бешенство и начинал неистово ругаться и проклинать все на свете, а сапожник терпеливо утешивал его, то и дело прибегая к изречениям из Библии. Из-за этих постоянных воплей, ругани и драк у столяра были так напряжены нервы, что, хотя он и был полон решимости вооружиться терпением, уже через пять минут после очередного воззвания сапожника к примирению снова приходил в бешенство и бесился чуть не целый день; но самое худшее наступало после того, как он вопрошал женщину, «зачем они, чертовки, плодят так много детей», потому что в этом случае оказывался затронутым женский вопрос, и на замечание столяра следовал весьма обстоятельный ответ.

Чтобы попасть в каморку Игберга, нужно было пройти через эту комнату, и хотя Фальк с Игбергом шли медленно и тихо, они

все-таки разбудили двоих детей, и пока происходил оживленный обмен мнениями между сапожником и столяром, мать запела колыбельную, отчего столяр тотчас же пришел в неистовство:

— Замолчи, ведьма!

— Сам замолчи! Дай детям заснуть!

— Пошла к черту со своими детьми! Разве это мои дети? Почему я должен страдать из-за чужого распутства? Почему? Разве я распутник? Ну? Разве у меня самого есть дети? Заткнись, а то получишь рубанком по голове!

— Послушай, мастер, мастер! — заговорил сапожник. — Так не годится говорить о детях: детей посылает нам бог!

— Вранье, сапожник! Детей посылает черт, да, да, детей посылает черт! А распутные родители ссылаются потом на бога. Постыдились бы!

— Мастер, мастер! Не сквернословь! В писании сказано, что детям уготовано царствие небесное.

— Да, только их и не хватает в царствии небесном!

— Господи, что он такое говорит! — взорвалась разъяренная мать. — Если у него когда-нибудь будут дети, я попрошу господ бога, чтобы их разбил паралич, чтобы они онемели, оглохли и ослепли, чтобы попали в исправительный дом, а потом и на виселицу! Вот что я сделаю!

— Делай что хочешь, потаскуха! Я не собираюсь плодить детей, чтобы они потом всю жизнь мучились, как собаки; всех бы вас засадить в тюрьму за то, что рожаете этих бедняг, обрекаете их на голод и нищету. Ты ведь не замужем? Конечно нет! Выходит, если не замужем, так, значит, можно распутничать? Да?

— Мастер, мастер! Детей посылает бог!

— Вранье, сапожник! Я прочитал в газете, что у бедняков так много детей из-за этой проклятой картошки. Понимаете, в картошке есть два вещества, которые называются кислород и азот; и когда они соединяются в определенных условиях и в определенных количествах, то женщины становятся очень плодовитыми.

— Ну, и как же нам быть в таком случае? — спросила разбуженная мать, которая стала понемногу успокаиваться, прослушав интересную лекцию.

— Понятное дело, не есть картошку!

— А что же тогда нам есть, если не картошку?

— Бифштекс будешь есть, старуха! Бифштекс с луком! Годится? Или шато-бриан! Знаешь, что это такое? Не знаешь? Я тут недавно прочитал в «Отечестве», как одна женщина поела спорынью и вместе с ребенком чуть не отправилась на тот свет!

— О чем ты это? — спросила женщина, насторожив уши.

— Какая ты любопытная! Чего тебе?

— Это правда насчет спорыньи? — спросил сапожник, сощурившись.

— Чистая правда! Она тебя наизнанку вывернет, и, между прочим, за это полагается суровое наказание, и правильно полагается.

— Правильно, говоришь? — спросил сапожник глухим голосом.

— Конечно правильно! Того, кто распутничает, надо наказывать, а детей убивать нельзя.

— Детей! Все-таки здесь есть кое-какая разница, — покорно сказала разобиженная мать. — Но что это за вещество, о котором ты говорил?

— Ах ты, потаскушка! Только и думаешь о том, как бы нарожать детей, хотя ты вдова и у тебя уже пятеро! Берегись этого черта сапожника; он хоть и набожный, но с женщинами обходится круто.

— Значит, правда, есть такая трава...

— Кто сказал, что это трава? Разве я говорил, что это трава? Никогда! Это зоологическое вещество. Понимаете, все вещества — а в природе существует около шестидесяти веществ, — так вот все вещества можно разделить на химические и зоологические; это вещество по-латыни называется *cornutibus secalias* и встречается за границей, например на Калабрийском полуострове.

— Оно, наверное, очень дорого стоит, мастер? — спросил сапожник.

— Дорого! — повторил столяр, подняв рубанок так, словно стрелял из карабина. — Оно стоит дьявольски дорого!

Фальк, который с большим интересом прислушивался к этому разговору, вздрогнул, услышав через открытое окно шум подъехавшего к дому экипажа и два женских голоса, показавшихся ему знакомыми:

— У этого дома очень подходящий вид.

— Подходящий? — возразила женщина постарше. — По-моему, у него ужасный вид.

— Я хочу сказать, что у него подходящий вид для наших целей. Кучер, вы не знаете, живут ли в этом доме бедняки?

— Точно не знаю, но готов поклясться, что здесь их хватает.

— Клясться грешно, так что обойдемся без клятв. Подождите нас, пожалуйста, а мы зайдем в дом и займемся делами.

— Послушай, Эжени, может быть, сначала поговорим с детьми? — спросила ревизорша Хуман у госпожи Фальк.

— Давай поговорим! Пойди сюда, мальчик, как тебя зовут?

— Альберт! — ответил маленький бледный мальчуган лет шести.

— Ты знаешь, кто такой Иисус, мальчик?

— Нет! — ответил мальчуган, улыбаясь, и засунул в рот палец.

— Это ужасно, — сказала госпожа Фальк, доставая записную книжку. — «Приход святой Екатерины. Белые горы. Глубокий духовный мрак у малолетних». Можно сказать «мрак»? Так, а ты хотел бы узнать? — продолжала она свои расспросы.

— Нет!

— А хочешь получить монетку, мальчик?

— Да!

— Надо сказать спасибо! «В высшей степени непочтительны; однако мягкостью и убеждением можно заставить их вести себя лучше».

— Какой ужасный запах, пойдем, Э ж е н и , — попросила госпожа Хуман.

Они поднялись по лестнице и без стука вошли в большую комнату.

Столяр взял рубанок и принялся строгать суковатую доску, так что обеим дамам приходилось кричать, чтобы их можно было услышать.

— Жаждет ли кто-нибудь из вас спасения и милости господя? — прокричала госпожа Хуман, а госпожа Фальк опрыскивала в это время одеколоном из пульверизатора детей, которые стали громко плакать от жгучей боли в глазах.

— Вы предлагаете нам спасение? — спросил столяр, перестав строгать. — А где вы его достали? Быть может, у вас есть еще и благотворительность, а также унижение и высокомерие? А?

— Вы грубый человек и обречены на гибель, — ответила госпожа Хуман. Тем временем госпожа Фальк что-то записала в свою записную книжечку и сказала: «Неплохо».

— Послушаем, что он еще скажет! — заявила ревизорша.

— А то, что все это мы уже слышали! Не хотите ли поговорить со мной о религии? Я могу говорить о чем угодно! Вам известно, что в восьмьсот двадцать девятом году состоялся Никейский собор и выработанные им Шмакхалдинские тезисы стали воплощением святого духа?

— Нет, добрый человек, об этом нам ничего не известно.

— Вы называете меня добрым? Единый бог добр, сказано в священном писании, и больше никто! Значит, вы ничего не знаете о Никейском соборе восьмьсот двадцать девятого года? Как же вы тогда можете поучать других, если сами ничего не знаете? Ну, а если уж вы теперь собираетесь заняться благотворительностью, то принимайтесь скорее за дело, а я повернусь к вам спиной, ибо подлинная благотворительность совершается втайне. Однако испытывайте свою благотворительность на детях, они еще не умеют защищаться, а к нам не подходите! Лучше дайте нам работу и научитесь оплачивать наш труд, тогда вам не нужно будет столько бегать и суетиться!

— Можно это записать так, Эвелина? — спросила госпожа Фальк. — «Глубокое неверие, закоренелость...»

— Лучше — «ожесточение», дорогая Эжени!

— Что изволите записывать? Наши грехи? Тогда понадобится книжечка побольше...

— «Результат так называемых рабочих союзов...»

— Очень х о р о ш о , — заметила ревизорша.

— Берегитесь рабочих союзов, — сказал столяр. — Сотни лет мы били по королям и только теперь сообразили, что не в них дело; в следующий раз мы ударим по бездельникам, которые живут за счет чужого труда, черт поberi, посмотрим, что будет!

— Тише, тише! — успокаивал его сапожник.

Разобиженная мать, которая все это время не спускала глаз с госпожи Фальк, воспользовалась наступившей паузой и спросила:

— Простите, вы не госпожа Фальк?

— Конечно нет! — ответила госпожа Фальк с убежденностью, которая поразила даже госпожу Хуман.

— О господи, как же вы похожи на ту женщину; я знала ее отца, шкипера Ронока с Хольмана, еще когда он был простым матросом.

— Все это, конечно, очень интересно, но к делу не относится... Есть здесь еще нуждающиеся в спасении?..

— Нет, — ответил столяр, — они нуждаются не в спасении, а в пище и одежде, но больше всего им нужна работа, много работы, и хорошо оплачиваемой работы. Но не советую дамам заходить к ним, потому что у одного из них оспа.

— Оспа! — воскликнула госпожа Хуман. — И нам не сказали ни слова! Пошли скорее, Эжени, и вызовем сюда полицию. Фу, какие люди!

— А как же дети! Чьи это дети? Отвечайте! — приказала госпожа Фальк, погрозив карандашом.

— Мои, добрая госпожа, — сказала мать.

— А муж? Где муж?

— Его и след простыл, — заметил столяр.

— Так! Тогда мы сообщим о нем в полицию. И засадим его в рабочий дом. Мы все здесь перевернем вверх дном! Действительно, это очень подходящий для нас дом, Эвелина!

— Не угодно ли вам присесть? — спросил столяр. — Беседовать ведь лучше сидя; правда, у нас нет стульев, но это не беда; к сожалению, у нас нет и кроватей, ими мы заплатили налог. *Pro primo*¹, за газовое отопление, чтобы не нужно было по вечерам возвращаться из театра в темноте, хотя, как видите, газа у нас нет; *pro secundo*², за водопровод, чтобы прислуге не надо было бегать по лестницам, хотя водопровода у нас тоже нет; *pro tertio*³, за больницу, чтобы нашим сыновьям не надо было болеть дома...

— Пошли, Эжени, ради бога; это становится невыносимым...

— Уверяю вас, дорогие дамы, это уже невыносимо, — заметил столяр. — И наступит день, когда станет еще хуже, но тогда, тогда мы спустимся и с Бельх гор, и с Прибрежных гор, и с Немецких гор, и спустимся с большим грохотом, подобно грохоту водопада, и потребуем, чтобы нам вернули наши кровати. Потребуем? Нет, заберем! А вы будете спать на верстаках, как сейчас сплю я, и будете есть картошку, так что ваши животы раздуются, словно вас подвергли пытке водой, как нас...

Обе дамы исчезли, оставив кипу брошюр.

— Фу-ты, черт, как пахнет одеколоном! Совсем как от уличных девок! — сказал столяр. — Так-то вот, сапожник!

Он вытер своим синим фартуком лоб и снова взялся за рубанок, а остальные погрузились в размышления.

¹ Во-первых (лат.).

² Во-вторых (лат.).

³ В-третьих (лат.).

Игберг, который все это время дремал, теперь очнулся и стал приводить себя в порядок, чтобы уйти вместе с Фальком. С улицы через открытое окно снова послышался голос госпожи Хуман:

— Почему она говорила о каком-то шкипере? Ведь твой отец капитан?

— Его так прозвали. Впрочем, шкипер и капитан — одно и то же. Ты ведь знаешь. Но до чего наглый сброд! Сюда я больше ни ногой! А отчет получится неплохой, вот увидишь. Поехали на Хассельбаккен!

Глава семнадцатая **ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА**

После обеда Фаландер сидел дома и разучивал роль, когда слышался легкий стук в дверь, два двойных удара. Он вскочил, набросил халат и открыл дверь.

— Агнес! Какая редкая гостя!

— Да, вот решила зайти проведать тебя; чертовски скучно живется!

— Ты, оказывается, умеешь ругаться.

— Позволь мне немного поругаться, это так приятно.

— Гм! Гм!

— И дай папиросу — я уже шесть недель не курила. С ума можно сойти от этих уроков воспитания.

— Он такой строгий?

— Черт бы его побрал!

— О, Агнес, как ты выражаешься!

— Мне нельзя курить, нельзя ругаться, нельзя пить пунш, нельзя отлучаться по вечерам! Только бы выйти замуж! А уж тогда!

— Это он всерьез?

— Абсолютно всерьез! Взгляни на этот носовой платок!

— Инициалы «А. Р.» с короной? Семейный герб?

— У нас с ним одинаковые инициалы, я и позаимствовала у него платок! Здорово?

— Здорово! Значит, дело зашло довольно далеко!

Ангел в голубом платье бросился, как капризное дитя, на диван и затянулся папиросой. Фаландер окинул всю ее взглядом, словно мысленно прикидывал, сколько она стоит, потом спросил:

— Выпьешь пунша?

— С удовольствием!

— Ну, а ты любишь своего жениха?

— Он не из тех мужчин, кого можно по-настоящему любить. Впрочем, не знаю. Люблю? Гм! А что это, собственно, такое?

— Да, что это такое?

— О! Ну, уж ты-то знаешь, что это такое. Он очень достойный человек, даже слишком... но, но, но...

— Что но?

— Он слишком уж порядочный...

Она посмотрела на Фаландера с такой улыбкой, что, если бы ее жених увидел ее, он был бы немедленно спасен.

— Он не позволяет себе никаких вольностей в отношении тебя? — спросил Фаландер с любопытством и беспокойством в голосе.

Она выпила пунш, выразительно помолчала, покачала головой и наконец сказала, театрально вздохнув:

— Никаких!

Фаландер, видимо, остался доволен ответом, и у него явно отлегло от сердца. Затем он продолжал свой инквизиторский допрос:

— Может пройти немало времени, прежде чем вы поженитесь. Он не получил еще ни одной роли.

— Знаю.

— Тебе не надоест ждать?

— Наберусь терпения.

«Придется прибегнуть к пытке», — подумал Фаландер.

— Ты ведь знаешь, что Женни сейчас моя любовница?

— Старая уродливая потаскуха!

На лице Агнес вдруг возник целый сноп белых всполохов северного сияния и все мускулы пришли в движение, словно от прикосновения к гальваническому столбу.

— Не такая уж она старая, — хладнокровно ответил Фаландер. — Ты слышала, официант из погребка дебютирует в новой пьесе в роли дона Диэго, а Реньельм сыграет его слугу. Официант, несомненно, будет иметь успех, роль эта играетса сама собой, а бедняга Реньельм сгорит со стыда.

— Господи, что ты говоришь!

— Говорю то, что есть.

— Этого нельзя допустить!

— А кто может помешать?

Она вскочила с дивана, осушила стакан с пуншем и, горько расплакавшись, воскликнула:

— О, какой гадкий, гадкий мир! Слово какакая-то злая сила сидит в засаде и подстерегает наши желания, чтобы убить их, подкарауливает наши надежды, чтобы разрушить их, выведывает наши мысли, чтобы задушить их. Если бы кто-нибудь мог пожелать себе самому всего самого плохого, то ему стоило бы рискнуть, чтобы одурачить эту силу!

— Совершенно верно, друг мой. Поэтому всегда нужно рассчитывать на самое худшее. И не так уж это все страшно, как кажется на первый взгляд. Послушай, вот что я тебе скажу в утешение. Всякий раз, когда тебе что-то удастся, это происходит за счет кого-нибудь другого; если ты получаешь роль, другой остается без роли и корчится, как раздавленный червяк, а ты, следовательно, невольно совершаешь зло и само твое счастье оказывается отравленным. Пусть твоим утешением в несчастье будет мысль, что при каждой неудаче ты совершаешь, хотя и преднамеренно, доброе дело, а наши добрые дела — ведь это единственное, что доставляет нам чистое наслаждение.

— Я не хочу совершать никаких добрых дел, мне не нужны чистые наслаждения, у меня есть такое же право на счастье, как и у всех других, и я... буду... счастлива!

— Чего бы это тебе ни стоило?

— Чего бы это мне ни стоило, я перестану играть роли камеристок твоей любовницы!

— А, ты ревнуешь! Научись, мой друг, находить удовольствие в несчастье, это мудрее... и гораздо интереснее.

— Ответь мне на один вопрос: она любит тебя?

— Боюсь, она даже слишком привязалась ко мне.

— А ты?

— Я? Я никого не буду любить, кроме тебя, Агнес!

Он схватил ее за руку.

Она порывисто вскочила с дивана.

— Как по-твоему, а существует на самом деле то, что мы называем любовью? — спросила она, устремив на него огромные зрачки своих глаз.

— Думаю, что любовь бывает разная.

Она прошла по комнате и остановилась у двери.

— Ты любишь меня всю целиком, безраздельно? — спросила она, положив руку на дверной замок.

Подумав две секунды, он ответил:

— У тебя злая душа, а я не люблю зла!

— При чем тут душа? Любишь ли ты меня? Меня?

— Да! Очень...

— Зачем же ты отдал меня Реньельму?

— Затем, чтобы проверить, смогу ли жить без тебя.

— Значит, ты лгал, когда говорил, что я надоела тебе?

— Да, лгал!

— О, дьявол!

Она вынула из замка ключ, а он опустил жалюзи.

Глава восемнадцатая

НИГИЛИЗМ

Когда дождливым сентябрьским вечером Фальк возвращался домой, то, выйдя на Грев-Магнигатан, он увидел, к своему удивлению, у себя в окне свет. Подойдя ближе и заглянув в комнату, он заметил на потолке тень, смутно напоминающую кого-то, кого он уже видел раньше, но кого именно, он никак не мог припомнить. Это была крайне жалкая фигура, а с близкого расстояния она казалась еще более жалкой. Фальк вошел в комнату — за его письменным столом сидел, опустив голову на руки, Струве. Мокрая от дождя одежда висела на нем как тряпка, по полу бежали ручейки воды, стекая в щели; его волосы космами свисали на лоб, а английские бакенбарды, всегда такие ухоженные, опускались как сталактиты на мокрый сюртук. Возле него на столе лежал черный

цилиндр, прогнувшийся от собственной тяжести, словно оплакивал утраченную молодость — на нем был траурный креп.

— Добрый вечер! — сказал Фальк. — Какой знатный гость пожаловал.

— Не издевайся надо мной, — попросил Струве.

— А почему бы мне и не поиздеваться над тобой? Что мне может помешать?

— Я вижу, ты тоже сильно изменился.

— Ну, в этом можешь не сомневаться; не исключено даже, что я, по твоему примеру, скоро стану консерватором. А ты в трауре; надеюсь, тебя можно поздравить.

— Я потерял ребенка.

— Тогда поздравить надо его! Ну ладно, что тебе, собственно, от меня нужно? Ты ведь знаешь, что я презираю тебя; полагаю, ты и сам себя презираешь. Не правда ли?

— Правда, но послушай, друг мой, тебе не кажется, что жизнь и без того такая горькая, что едва ли стоит делать ее еще горше, досаждая друг другу? Если господу богу и провидению это и доставляет удовольствие, то человеку все-таки не следует вести себя так низко.

— Что ж, мысль разумная; она делает тебе честь. Надень халат, пока твой сюртук высохнет; а то ты совсем замерз.

— Спасибо, но мне скоро надо идти.

— Может, останешься ненадолго, поговорим немного?

— Не люблю говорить о своих несчастьях.

— Тогда расскажи о своих преступлениях.

— Я не совершал преступлений.

— О, еще как совершал! Страшные преступления! Ты давил своей тяжелой рукой угнетенных, топтал оскорбленных, издевался над обездоленными! Ты помнишь последнюю забастовку, когда выступал на стороне полиции?

— На стороне закона, брат мой.

— Ха, на стороне закона! А кто писал законы для бедняков, безумец? Богатые! Иными словами, господа пишут законы для рабов.

— Законы пишет весь народ и его общественное правосознание; их пишет сам господь.

— Оставь эти красивые слова, когда говоришь со мной! Кто придумал закон от тысяча семьсот тридцать четвертого года? Господин Кронельм! Кто придумал последний закон о телесных наказаниях? Полковник Сабельман! Он внес этот законопроект на рассмотрение риксадага, заручившись поддержкой своих приятелей, которые составляли тогда большинство. Полковник Сабельман — это еще не народ, а его приятели — не общественное правосознание. Кто предложил закон о правах акционерных обществ? Председатель суда Свиндельгрэн! Кто написал новое положение о риксадаге? Ассессор Валониус! Кто внес законопроект о «законной защите», то есть закон о защите богатых от законных требований бедняков? Оптовый торговец Кридгрэн! Молчи! Я наперед знаю все твои

высокопарные слова! Кто придумал закон о престолонаследии? Преступники! А закон об охране лесов? Воры! А кто подготовил закон о правах частных банков в связи с эмиссией банковских билетов? Мошенники! И ты утверждаешь, что все это делает бог? Бедный бог!

— Разрешите дать тебе один совет, совет на всю жизнь, который мне самому подсказал опыт. Если ты все-таки хочешь избежать самосожжения, совершить которое так фанатично стремишься, то тебе нужно как можно скорее выработать новый взгляд на вещи; научись смотреть на мир с высоты птичьего полета, и ты увидишь, как все это мелко и ничтожно; исходи из того, что мир — это помойка, люди — жалкие отбросы, яичная скорлупа, морковная ботва, капустные листья, грязное тряпье, и тебя больше никогда не застанут врасплох, у тебя не останется никаких иллюзий, но зато ты испытываешь радость всякий раз, когда тебе откроется что-то действительно красивое или кто-нибудь совершит действительно благородный поступок; относись к миру со спокойным и молчаливым презрением — тебе нечего бояться, что из-за этого ты станешь бессердечным.

— Такого взгляда на вещи я, правда, еще не выработал, но презрением к миру в какой-то мере уже проникся. Но моя беда в том, что, когда я вижу хотя бы одно-единственное проявление доброты или благородства, я снова люблю людей и переоцениваю их и снова бываю обманут.

— Стань эгоистом! А людей отправь ко всем чертям!

— Боюсь, это у меня не получится.

— Тогда найди себе другое занятие. Договорись, в конце концов, с братом; он, кажется, преуспевает. Я видел его вчера на церковном совете в приходе святого Николая.

— На церковном совете?

— Да, он член церковного совета. У этого человека большое будущее. Пастор примариус весьма любезно поздоровался с ним. Скоро он станет членом городского муниципалитета, как и все владельцы земельных участков.

— А как сейчас обстоят дела у «Тритона»?

— Они занялись облигациями; твой брат ничего не потерял, хотя и ничего не приобрел; нет, у него другие замыслы.

— Не будем больше говорить о нем.

— Но ведь он твой брат!

— Разве это его заслуга, что он мой брат? Ну что ж, кажется, мы уже обо всем переговорили; теперь скажи, что привело тебя ко мне?

— Понимаешь, завтра похороны, а у меня нет фрака.

— Пожалуйста, возьми мой...

— Спасибо, брат, ты помогаешь мне выйти из очень затруднительного положения. Но это еще не все: есть одно дело еще более щекотливого свойства...

— И все-таки я не понимаю, почему ты выбрал именно меня, своего врага, в качестве поверенного в таких щекотливых вопросах?

— Потому что у тебя есть сердце...

— На это теперь не очень рассчитывай. Ну ладно, продолжай...

— Ты стал такой раздражительный, совсем не похож на себя!
А ведь когда-то ты был такой мягкий.

— Это было когда-то, я же сказал. Ну, что дальше?

— Я хотел спросить, не сможешь ли ты поехать со мной на кладбище?

— Гм! Я? Почему ты не обратишься к кому-нибудь из «Серого плаща»?

— Потому что есть кое-какие обстоятельства! Я могу сказать тебе. Я не венчался в церкви.

— Не венчался? Ты, защитник алтаря и нравственности, пренебрегаешь священными узами брака?

— Бедность, обстоятельства! И все равно я счастлив! Моя жена любит меня, а я люблю ее! Но есть еще одно неприятное обстоятельство. По целому ряду причин ребенка не успели крестить; ему было всего три недели, когда он умер, поэтому на похоронах не будет священника, но я не решаюсь сообщить об этом жене, потому что тогда она придет в отчаяние; я сказал ей, что священник придет прямо на кладбище; я это говорю, чтобы ты знал. А она, конечно, останется дома. Ты встретишься только с двумя людьми: одного зовут Леви, он младший брат директора «Тритона» и служит в правлении общества; это очень милый молодой человек, у него необычайно светлая голова и еще более светлая душа. Не улыбайся, пожалуйста, я знаю, ты думаешь, что я беру у него в долг деньги; конечно, это случается, но все равно, вот увидишь, он тебе понравится. И еще там будет мой старый друг доктор Борг, который лечил ребенка. Это человек без предрассудков, с очень передовыми взглядами на жизнь, впрочем, ты сам убедишься. Так я могу рассчитывать на тебя? Нас в карете будет всего четверо и, конечно, дитя в гробу.

— Да, я приду.

— Но я хочу попросить тебя еще об одном одолжении. Понимаешь, моя жена очень религиозна, и ее терзают сомнения, обретет ли душа ребенка вечное блаженство, поскольку он умер некрещеным, и, чтобы вернуть себе душевный покой, она спрашивает всех подряд, что они думают по этому поводу.

— Но ведь ты знаешь Аугсбургское исповедание?

— А при чем здесь исповедание?

— А при том, что если ты работаешь в газете, то должен придерживаться официальной веры.

— Газета, да... но газету издает акционерное общество, и если общество хочет укреплять веру, устои христианства, то я укрепляю их, поскольку работаю на общество... но это совсем другое дело... Будь добр, успокой ее, если она станет спрашивать, обретет ли ребенок вечное блаженство.

— Ну, конечно. Чтобы сделать человека счастливым, я даже сам готов отречься от веры, особенно если сам не верю. Но не забудь сказать, где ты живешь.

— Ты знаешь, где находятся Белые горы?

— Знаю. Ты, наверное, живешь в том вымазанном шпаклевкой доме, что стоит на холме?

— Откуда тебе это известно?

— Я там был однажды.

— Может быть, ты знаком с этим социалистом Игбергом, который портит мне людей? Я помощник домовладельца и живу там бесплатно, за то что собираю для Смита квартирную плату с остальных жильцов; но когда у них нет денег, они начинают молотить всякий вздор, которому их научил Игберг, насчет «труда и капитала» и разную прочую чепуху, что появляется в газетах, жадных на скандалы.

Фальк промолчал.

— Так ты знаешь этого Игберга?

— Да, знаю. Не хочешь ли примерить фрак?

Надев фрак, Струве натянул поверх него свой мокрый сюртук, застегнул его на все пуговицы до самого подбородка, зажег основательно разжеванный окурок сигары, насаженный на спичку, и вышел из комнаты.

Фальк вышел следом за ним посветить ему на лестнице.

— Тебе далеко и д т и , — заметил Фальк, чтобы как-то сгладить остроту положения.

— Да, не близко. А я без зонтика.

— И без пальто. Может, возьмешь пока мое зимнее пальто?

— О, большое спасибо, ты так добр!

— Ничего, занесешь, когда представится случай!

Фальк вернулся в комнату, достал пальто и, снова выйдя на лестницу, сбросил его Струве, который дожидался внизу в прихожей, потом коротко пожелал ему доброй ночи и вошел в комнату. Ему показалось, что в комнате душно, и он открыл окно. Шел проливной осенний дождь, стучал по крышам и потоками воды низвергался на грязную улицу. В казарме напротив пробили вечернюю зорю, потом запел хор, и через открытые окна стали доноситься отрывочные строфы псалма.

Фальк чувствовал себя усталым и опустошенным. Он намеревался сразиться с человеком, который был в его глазах олицетворением всего самого враждебного ему на свете, но враг бежал, одержав в известном смысле над ним победу. Фальк никак не мог понять, о чем же они все-таки спорили, точно так же как не мог четко уяснить, кто же из них в конечном счете оказался прав. И тогда он стал размышлять: уж не является ли дело, которому он решил посвятить свою жизнь — борьба за права угнетенных, чем-то совершенно нереальным, просто химерой. Но уже в следующее мгновение он упрекнул себя в малодушии, и фанатическая вера в добро, которая постоянно тлела в его душе, вновь разгорелась ярким пламенем. Он сурово осудил свою слабость, которая вечно делала его таким уступчивым; враг только что был у него в руках, а он даже не выказал ему своего глубочайшего отвращения, более того, отнесся к нему в высшей мере благожелательно

и сочувственно; теперь тот может думать о нем все, что угодно. Эта его снисходительность — никакое не достоинство, потому что помешала ему принять твердое решение; это просто моральная расхлябанность, лишавшая его сил в той борьбе, вести которую ему становилось все труднее. Он живо ощущал необходимость потушить как можно скорее огонь под котлами, которые больше не выдерживают такого высокого давления, поскольку пар не производит никакой работы; задумавшись над советом Струве, он думал так долго, что мысли его пришли в то хаотическое состояние, когда правда и ложь, законность и произвол в трогательном согласии вдруг пускаются в пляс, а мозг, в котором благодаря академическому образованию все понятия лежали разложенные по полочкам, скоро стал похож на растасованную колоду карт. Весьма успешно он сумел настроить себя на полное безразличие ко всему на свете, потом принялся выискивать у своего врага добрые намерения, побуждавшие его совершать те или иные поступки, постепенно убедился в своей неправоте, почувствовал себя примиренным с существующим миропорядком и в конце концов пришел к пониманию той высокой истины, что, в сущности, вообще не имеет значения, какого все цвета — черного или белого. И если черное, то у него, Фалька, нет никакой уверенности в том, что это не должно быть именно черным, а следовательно, ему вовсе не подобает желать чего-то другого. Такое душевное состояние показалось ему очень приятным, ибо создавало то ощущение покоя, какого он не испытывал уже многие годы, посвятив их попечению о страждущем человечестве. Он сидел и наслаждался покоем, так хорошо сочетавшимся с трубкой крепкого табаку, пока не пришла уборщица, чтобы застелить постель и передать ему письмо, которое принес почтальон. Письмо было от Олле Монтануса, очень длинное, и, кажется, произвело на Фалька довольно сильное впечатление. Оно гласило:

«Дорогой брат!

Хотя мы с Лунделлем наконец закончили нашу работу и скоро будем в Стокгольме, у меня все же появилась потребность изложить тебе впечатления минувших дней, так как они приобретают немалое значение для меня и всего моего духовного развития, ибо я сделал важный для себя вывод и теперь похож на недавно вылупившегося цыпленка, который изумленно смотрит на мир внезапно открывшимися глазами и разбрасывает яичную скорлупу, что так долго затмевала свет. Конечно, вывод этот не нов; его сделал Платон еще до возникновения христианства: действительность, видимый мир — это лишь подобие и отражение идей, иными словами, действительность есть нечто низменное, незначительное, второстепенное, случайное. Именно так! Но воспользуюсь синтетическим методом и начну с частного, чтобы потом перейти к всеобщему.

Сперва расскажу немного о своей работе, которая стала предметом совместной заботы риксдага и правительства. На алтаре трескольской церкви когда-то стояли две деревянные статуи, потом

одну из них разломали, а другая осталась целой и невредимой. Это была женская фигура, и в руке она держала крест; обломки другой статуи в двух мешках хранились в ризнице. Один ученый археолог исследовал содержимое обоих мешков, чтобы восстановить облик статуи, однако мог лишь примерно догадываться, какой она была раньше. Тем не менее ученый этот принялся за дело весьма основательно; он взял на пробу немного белой краски, которой была загрунтована статуя, отослал ее в фармацевтический институт и получил оттуда подтверждение, что краска содержит свинец, а не цинк, и следовательно, статуя была изваяна до 1844 года, поскольку цинковыми белилами начали пользоваться именно в том году. (Чего стоит подобный вывод, если предположить, что статую перекрасили.) Потом он отослал в Стокгольм на какое-то столярное предприятие пробу материала и получил ответ, что это береза. Таким образом, оказалось, что статуя из березы и сделана до тысяча восемьсот сорок четвертого года. Однако ученому археологу хотелось получить совсем другие данные; у него были основания (!), а вернее, горячее желание установить ради чести своего имени, что обе статуи были созданы в шестнадцатом веке, и лучше всего, чтобы их создателем оказался великий (ну, разумеется, великий, поскольку его имя было вырезано на дубе и потому сохранилось до наших дней) Бурхардт фон Шиденханне, который украсил резьбой стулья на хорах собора в Вестеросе. Научные исследования продолжались. Ученый отколупнул немного гипса от статуи в Вестеросе и вместе с пробами гипса из ризницы трескольской церкви послал его в Париж в Политехнический институт. Для скептиков и клеветников ответ был убийственный: и в Вестеросе и в Тресколе гипс был одинаковый по составу — семьдесят семь процентов извести и двадцать три процента серной кислоты, и следовательно, статуи принадлежали к одной и той же эпохе. Итак, возраст статуй был установлен; неповрежденную статую срисовали и отослали (ужасная страсть у этих ученых все куда-нибудь «отсылать») в Академию памятников старины; теперь оставалось только реконструировать разломанную статую. В течение двух лет оба мешка отсылались из Упсалы в Лунд, а из Лунда обратно в Упсалу; к счастью, оба профессора, из Лунда и из Упсалы, на этот раз разошлись во мнениях, в результате чего разгорелась острая борьба. Профессор из Лунда, который незадолго перед тем стал ректором, написал исследование о статуе, включив его в свою учебную программу, и разбил в пух и прах профессора из Упсалы, который в ответ опубликовал целую брошюру. В это же время выступил профессор Академии искусств в Стокгольме, который придерживался совершенно иного мнения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, Ирод и Пилат быстро пришли к «соглашению» и, вместе напав на столичного профессора, разгромили его со всей злостью, на какую только способны провинциалы. Смысл этого «соглашения» сводился к тому, что разломанная статуя изображает Неверие, а неповрежденная — Веру, символом которой является крест. Догадку (профессора из Лунда), будто

разломанная статуя изображает Надежду, поскольку в мешке нашли коготь якоря, пришлось отвергнуть, ибо она предполагала существование третьей статуи, изображавшей Любовь, никаких следов которой, а также места, где она стояла, обнаружить не удалось; кроме того, оказалось (о чем свидетельствует богатая коллекция наконечников стрел в экспозиции Исторического музея), что якорный коготь вовсе никакой не коготь, а наконечник стрелы, то есть оружие, символизирующее Неверие, смотри «К евреям», гл. 7, ст. 12, где говорится о слепых стрелах неверия, а также у Исаии, гл. 29, ст. 3, где не раз упоминаются все те же стрелы неверия. Форма наконечника, который ничем не отличается от наконечников эпохи регента Стуре, рассеяла последние сомнения относительно возраста статуй.

Моя работа заключалась в том, чтобы, как предложили оба профессора, создать изображение Неверия, которое противопоставляется Вере. Задача была поставлена, и все казалось абсолютно ясным. Я начал искать натурщика, ибо здесь нужен был именно мужчина; я искал долго, но в конце концов нашел, и мне представляется, что я нашел само неверие в человеческом образе. Мой замысел удался — и блестяще! Слева от алтаря теперь стоит актер Фаландер с мексиканским луком из спектакля «Фердинанд Кортес» и в разбойничьем плаще из «Фра Дьяволе»; однако прихожане убеждены, что это Неверие, которое сложило оружие перед Верой, а пробст, заказавший мне эту работу, произнес проповедь по случаю освящения статуй, упомянув о тех чудесных дарах, что господь посылает порой людям, а теперь ниспослал и мне; граф, устроивший по этому поводу праздничный обед, заявил, что я создал шедевр, который можно поставить в один ряд с произведениями античного искусства (он видел их в Италии), а студент, живущий у графа в качестве репетитора, воспользовавшись удобным случаем, опубликовал стихи, в которых рассматривал понятие возвышенно прекрасного и делал небольшой экскурс в историю мифа о дьяволе.

До сих пор, как настоящий эгоист, я распространялся только о самом себе! Что же можно сказать о запрестольном образе Лунделля? Он изображает такой сюжет: на заднем плане Христос (Реньельм), распятый на кресте; слева — нераскаявшийся разбойник (я, — этот негодяй нарисовал меня еще более некрасивым, чем я есть на самом деле); справа — раскаявшийся разбойник (сам Лунделль, устремивший на Реньельма свой ханжеский взгляд); у подножья креста: Мария Магдалина (Мария, ты помнишь ее, в одежде с глубоким вырезом) и римский центурион (Фаландер) верхом на лошади (племенной жеребец присяжного заседателя Олссона).

Не поддается описанию, какое ужасное впечатление произвела на меня эта картина, когда после проповеди занавеска упала, и все эти столь хорошо знакомые нам лица устремили взгляд на прихожан, которые благоговейно внимали выпренним словам пастора о высоком предназначении искусства, особенно если оно

служит делу религии. В это мгновение с моих глаз спала пелена, и мне открылось многое, многое, и когда-нибудь я тебе расскажу, что теперь думаю о вере и неверии. Что же касается искусства и его высокой миссии, то свои соображения на этот счет я изложу в публичной лекции, которую прочту, как только вернусь в Стокгольм.

Какого огромного накала достигло в эти «незабываемые» дни религиозное чувство Лунделля, ты сам легко можешь себе представить. Он счастлив, относительно, поддавшись этому колоссальному самообману, и не отдает себе отчета в том, что сам он всего лишь обманщик.

Я, кажется, сообщил тебе все самое главное, а остальное до- скажу при встрече.

До свидания и всего доброго.

Твой верный друг

Олле Монтанус.

Р. S. Кстати, я забыл тебе рассказать об исходе исследований в области памятников старины. Они закончились тем, что некий Ян из приюта для бедных неожиданно вспомнил, что еще в детстве видел эти статуи; их было три, и они назывались Вера, Надежда и Любовь, и поскольку Любовь была самая большая (Матф., 12 и 9), то она стояла над алтарем. Примерно в тысяча девятьсот десятом году или немного позднее она и Вера раскололись от удара молнии. Эти статуи изготовил его отец, корабельный столяр.

О. М.».

Прочтя письмо, Фальк сел за письменный стол, проверил, есть ли в лампе керосин, зажег трубку и, вытащив из ящика стола рукопись, начал писать.

Глава девятнадцатая

С НОВОГО КЛАДБИЩА В «СЕВЕРНУЮ ГОРУ»

Сентябрьский день над столицей был серым, теплым и тихим, а Фальк все шел и шел, поднимаясь к южным холмам. На кладбище святой Екатерины он присел отдохнуть; он испытывал истинное наслаждение, видя, как покраснели прихваченные ночными заморозками клены, и сердечно приветствовал осень с ее мраком, серыми облаками и опадающей листвой. Не было ни ветерка; казалось, сама природа отдыхает, утомленная недолгим летним трудом; здесь все отдыхало, люди лежали в своих могилах, обложенных дерном, такие спокойные и кроткие, какими никогда не были при жизни, и ему захотелось, чтобы все лежали здесь, все, включая и его самого. Пробили часы на башне; Фальк встал и пошел дальше, миновал Садовую улицу, свернул на Новую улицу, которая, казалось, была новой вот уже добрую сотню лет, перешел Новую

площадь и оказался на Белых горах. Он остановился перед измазанным шпаклевкой домом и стал прислушиваться к болтовне детей, расположившихся на пригорке; они говорили громко и в достаточной мере откровенно и за разговором обтачивали небольшие камушки из кирпича, чтобы играть в «классики».

— Янне, что у вас было на обед?

— А тебе какое дело?

— Какое дело? Говоришь, какое дело? Смотри, получишь у меня!

— У тебя? Тоже мне нашелся! Вот как дам в глаз!

— Да, нашелся! На днях я тебе уже наподдал, когда мы были на Хаммарском озере! Еще хочешь?

— А, заткнись!

Янне «наподдали», и снова воцарилось спокойствие.

— Послушай, Янне, это ты украл салат с огорода возле святой Екатерины? А?

— Тебе хромой Олле наболтал?

— И тебя не зацапали в полицию?

— Думаешь, я боюсь полиции? Как бы не так!

— Ну, раз не боишься, пошли вечером за грушами.

— Там забор, а за забором злые собаки.

— Ерунда, трубочист Пелле в один миг перемахнет через забор, а собак можно прогнать.

Шлифовку кирпичей прерывает уборщица, которая выходит из дома и разбрасывает по заросшей травой улице еловые ветки.

— Кого это сегодня хоронят, черт бы их всех подрал? — спрашивает она.

— Ребенка, которого помощник хозяина снова прижил со своей бабой!

— Ну и гад этот помощник хозяина; чуть что — придирается!

Вместо ответа мальчуган стал насвистывать какую-то странную мелодию, которая в его исполнении звучала очень своеобразно.

— Зато мы лупим его щенят, когда они возвращаются из школы. А его баба, уж можешь мне поверить, опять слегка опухла. Недавно мы не смогли заплатить за квартиру, так эта чертова сука выгнала нас ночью на мороз, и нам пришлось ночевать в сарае.

Разговор прекратился, поскольку последнее сообщение, по-видимому, не произвело на их собеседницу должного впечатления.

Нельзя сказать, чтобы у Фалька, когда он входил в дом, было особенно радужное настроение после всего того, что он услышал от уличных мальчишек.

В дверях его встретил Струве, — изобразив на лице скорбь и схватив его за руку, он словно хотел поведать ему какую-то тайну или выжать хотя бы одну слезинку: во всяком случае, что-то надо было делать, и Фальк обнял его.

Он очутился в большой комнате, где стояли обеденный стол, буфет, шесть стульев и гроб. На окнах висели белые простыни, сквозь которые пробивался дневной свет, сливаясь с красноватым

сиянием двух стеариновых свечей; на стол поставили поднос с зелеными бокалами и суповую миску с георгинами, левкоями и астрами.

Струве взял Фалька за руку и подвел к гробу, в котором на покрытых тюлем стружках лежало безымянное дитя, осыпанное красными, словно капельки крови, лепестками.

— В о т , — сказало н , — вот!

Фальк не испытывал никаких других чувств, кроме тех, что всегда вызывает присутствие покойника, и потому не нашел подходящих случаю слов, ограничившись тем, что крепко сжал руку безутешного отца, который сказал в ответ:

— Благодарю, благодарю! — и удалился в соседнюю комнату.

Фальк остался один; сначала он услышал взволнованный шепот из-за двери, за которой только что исчез Струве; потом какое-то время было тихо, но затем послышалось неясное бормотание, проникавшее сквозь тонкую дощатую стену; он различал лишь отдельные слова, но ему показалось, что он узнает голоса.

Сначала чей-то пронзительный дискант быстро, скороговоркой, произносил длинные фразы.

Бабебибубюбыбобэбё. Бабебибубюбыбобэбё. Бабебибубюбыбобэбё, — доносилось из-за стены.

Ему отвечал под аккомпанемент рубанка сердитый мужской голос: вичо-вичо-вич-вич-хич-хич.

Потом медленное раскатистое мум-мум-мум-мум. Мум-мум-мум-мум. После этого рубанок снова начинал чихать и откашливать свое «вич-вич». А затем целая буря бабили-бебили-бибили-бубили-бюбили-быбили-бобили-бэбили-бё!

Фальку казалось, что он понимает, какие вопросы обсуждаются за стеной — судя по интонации, речь шла о покойном младенце.

И снова из-за двери донесся взволнованный шепот, прерываемый рыданиями; потом дверь отворилась, и в комнату вошел Струве, ведя за руку жену, прачку, одетую в черное, с красными заплаканными глазами. Струве представил ее с достоинством главы семейства:

— Моя жена; ассессор Фальк, мой старый друг!

Она протянула Фальку руку, жесткую, как стиральная доска, и изобразила улыбку, кислую, как уксус. Фальк торопливо старался построить фразу, в которой непременно должны были присутствовать два слова: «сударыня» и «скорбь», что ему кое-как удалось, и Струве заключил его в свои объятия.

Супруга, которой непременно хотелось поддержать разговор, сказав что-нибудь любезное, принялась чистить своему супругу спину, а потом заметила:

— Просто ужасно, как Кристиан умеет выпачкаться; спина у него все время грязная. Не правда ли, господин ассессор, он у меня настоящий поросенок?

Этот преисполненный любви вопрос бедняге Фальку удалось оставить без ответа, ибо в этот самый миг за материнской спиной вдруг появились две рыжие головы и с насмешливой ухмылкой уставились на гостя. Мать нежно потрепала их по волосам и спросила:

— Вы когда-нибудь еще видели, господин ассессор, таких уродов? По-моему, они очень похожи на маленьких лисят.

Это наблюдение в такой мере соответствовало действительности, что у Фалька тут же возникло желание категорически отвергнуть этот непреложный факт.

Внезапно дверь отворилась, и в комнату вошли двое. Один — широкоплечий мужчина лет тридцати с квадратной головой, передняя сторона которой обозначала лицо; кожа на лице напоминала полусгнившую половицу, в которой черви прогрызли бесчисленные лабиринты; широкий, словно вырезанный ножом рот был постоянно приоткрыт, и из него торчали четыре остро отточенных клыка; когда он смеялся, его лицо как бы раскалывалось пополам и ему можно было посмотреть в пасть и увидеть все до четвертого коренного зуба; ни единого волоска не выросло на этой неплодородной земле; нос был приделан так неудачно, что не составляло большого труда заглянуть через ноздри в самый череп; макушка была покрыта какой-то жидкой растительностью, похожей на кокосовое волокно.

Струве, который умел повысить в звании каждого в своем окружении, представил кандидата Борга как доктора Борга. Тот не выразил по этому поводу ни удовольствия, ни досады и протянул рукав пальто своему спутнику, который тотчас же помог его снять и повесил на дверную петлю, причем супруга заметила, что «в этом старом доме все так плохо, что нет даже вешалки». Того, кто снял с Борга пальто, представили как господина Леви. Это был высокий молодой человек; его череп, казалось, возник в результате усиленного развития носовой кости в направлении к затылку, а туловище, достававшее до самых колен, производило такое впечатление, будто образовалось из черепа, который протянули через волоочильню, как стальную проволоку; плечи круто опускались вниз, будто водосточные трубы, бедра не было вовсе, голени доходили чуть ли не до самого таза, ноги напоминали старые башмаки, стоптанные наружу, как у рабочего, который всю жизнь носил тяжести или простоял у станка; в общем, у него был типичный облик раба.

Освободившись от пальто, кандидат остался возле двери; он снял перчатки, прислонил к стене палку, высморкался и засунул обратно в карман носовой платок, делая вид, что не замечает неоднократных попыток Струве представить ему Фалька; он считал, что все еще находится в прихожей; но вот он снял шляпу, шаркнул ногой и сделал шаг.

— Здравствуй, Женни! Как поживаешь? — спросил он, беря жену Струве за руку с таким важным видом, словно от этого зависела вся ее жизнь. Потом он чуть заметно поклонился Фальку, построив при этом такую гримасу, что стал похож на пса, который увидел на своем дворе чужую собаку.

Юный господин Леви следовал за кандидатом по пятам, ловил его улыбки, аплодировал его саркастическим замечаниям и разрешал всячески угнетать себя, признавая его превосходство.

Супруга принесла бутылку рейнского и разлила его по бокалам. Струве взял бокал и приветствовал гостей. Кандидат открыл пасть, вылил содержимое бокала на язык, превратившийся в водосточную канаву, оскалил зубы, будто собирался принять лекарство, и проглотил.

— Вино ужасно кислое и невкусное, — сказала супруга. — Может быть, вы выпьете пунша, Хенрик?

— Да, вино действительно скверное, — согласился кандидат, которого тут же с готовностью поддержал господин Леви.

Появился пунш. Лицо Борга просветлело; он поискал глазами стул, который тотчас же принес господин Леви.

Общество расположилось вокруг обеденного стола. Сильно пахли левкои, их аромат смешивался с запахом вина, в бокалах отражалось пламя свечей, беседа становилась все оживленнее, и скоро оттуда, где сидел кандидат, стали подниматься клубы табачного дыма. Супруга бросила тревожный взгляд на окно, возле которого лежал младенец и спал, но глаза ее не видели ничего.

Потом они услышали, как к дому подъехала карета. Все встали, кроме доктора. Струве откашлялся и сказал, понизив голос, словно собирался сообщить что-то неприятное:

— Давайте приведем себя в порядок!

Его жена подошла к гробу, наклонилась над ним и горько заплакала; когда она выпрямилась, то увидела, что муж уже держит крышку гроба, и разразилась отчаянными рыданиями.

— Ну успокойся! Успокойся! — сказал Струве и поспешил приладить крышку, будто хотел что-то спрятать. Борг вылил пунш в свою водосточную канаву и стал при этом похож на зевающую лошадь. Господин Леви помог Струве привинтить крышку гроба, что проделал с большой сноровкой, словно упаковывал ящик с товаром.

Гости простились с госпожой Струве, надели пальто и направились к двери; госпожа Струве попросила их быть поосторожнее на лестнице, «она такая старая и шаткая».

Струве шел впереди с гробом; когда он спустился на улицу и увидел небольшую толпу, собравшуюся в его честь, он так возгордился, что тут же набросился на кучера, позволившего себе не отворить дверцу кареты и не опустить подножку; для вящего эффекта он говорил «ты» этому рослому, одетому в ливрею мужчине, который, сняв шляпу, спешил выполнить его распоряжения; это вызвало отрывистый и несколько угрожающий кашель у одного мальчугана по имени Янне, который, после того как привлек тем самым к себе внимание окружающих, стал внимательно разглядывать дымовые трубы, словно поджидал трубочиста.

Наконец все четверо сели в карету, и дверца захлопнулась, а между несколькими юными представителями толпы, которая теперь немного успокоилась, произошел следующий разговор:

— Послушай! Гроб-то словно распух! Видел?

— Еще бы не видеть! А ты видел, что на табличке не было имени?

— Не было имени?

— Не было, я это сразу заметил; она была совершенно чистая!

— А что это значит?

— Не знаешь? А то, что это сын шлюхи!

К счастью, кучер щелкнул кнутом, и карета покати́лась по улице. Фальк взглянул на окно; там стояла жена Струве, которая уже успела снять с окон простыни и потушить свечи, позади нее расположились лисята с бокалами в руках.

Карета грохотала по мостовой, то поднималась вверх, то катилась под гору, минуя одну улицу за другой; никто не пытался заговорить. Струве, который держал на коленях гроб, казался усталым и измученным.

До Нового кладбища было недалеко, но, в конце концов, они приехали и остановились у ворот. Здесь уже стояло, вытянувшись в ряд, множество карет. Они купили венки, могильщик взял гроб. Маленькая процессия шла довольно долго, пока наконец не остановилась на новом участке кладбища на его северной стороне. Могильщик опоясал гроб веревками, доктор скомандовал: «Держи! Опускай! Так!» — и безмянный младенец опустился на три локтя под землю; стало совсем тихо; все стояли молча, склонив голову и глядели в могилу, будто чего-то ожидали; серое небо тяжело распростерлось над широким пустынным полем, на котором там и сям торчали белые палочки, похожие на призраки детей, заблудившихся среди могил; вдали, будто в самой глубине сцены в театре теней, чернела опушка леса; не было ни единого дуновения ветерка. И тогда послышался голос, который сначала дрожал, но скоро стал ясным и твердым, словно обретая уверенность в том, о чем говорил; Леви, с непокрытой головой, поднялся на грудь земли, которой потом засыпят могилу, и сказал:

— Пребывая под защитой всевышнего, обретаю покой под сенью его всемогущества. Тебе, предвечному, говорю я: ты мое верное прибежище. Ты моя твердыня, мой вечный хранитель, бог, которому я вверяю свою судьбу. Всемогущий господь, пусть твое святое имя превозносит и благословляет весь мир, которому когда-нибудь ты даруешь обновление, ты, что воскрешаешь умерших и призываешь их к новой жизни. Ты, у которого на небесах царят вечный мир и покой, даруй мир и покой своему народу, аминь!

Спи спокойно, дитя, которому не дали имени; он, всеведущий, зовет тебя по имени; спи спокойно осенней ночью, ни один злой дух не нарушит твоего покоя, хотя тебя и не окунули в святую воду; тебе повезло, ибо ты избежал треволнений жизни, а без ее радостей ты прекрасно обойдешься. Счастлив ты, который ушел, так и не познав мира; чистой и без единого пятнышка покинула твоя душа свое крошечное тельце, поэтому мы не станем бросать тебе вслед землю, ибо земля означает брэнность, а мы осыплем тебя цветами, и подобно тому, как цветок вырастает из земли, так и твоя душа из мрака могилы поднимется к свету, ибо от духа ты пришел и духом снова станешь!

Он опустил в могилу венок и надел шляпу.

К нему подошел Струве, схватил за руку и горячо пожал, на его глаза навернулись слезы, и ему пришлось попросить у Леви носовой платок. Доктор, который уже бросил в могилу свой венок, направился к выходу, а следом за ним медленно двинулись остальные. Однако Фальк по-прежнему стоял, склонившись над могилой, и задумчиво смотрел в ее глубину. Сначала он видел лишь черный прямоугольник мрака, но постепенно из мрака стало проступать светлое пятно, которое все росло и принимало определенную форму, становилось круглым, белым и блестящим, как зеркало: это была металлическая табличка с ненаписанной историей маленькой жизни, и она светилась во тьме, отражая сияние неба. Фальк выпустил из рук свой венок: слабый глухой звук, и свет погас. Тогда он повернулся и пошел следом за остальными.

Возле кареты они остановились, раздумывая, куда им ехать. Чтобы не терять времени даром, Борг скомандовал: «В «Северную гору»!»

Через несколько минут они очутились в большом зале на втором этаже, где их встретила молодая девушка-официантка, которую Борг обнял и поцеловал; бросив шляпу на диван, он приказал Леви снять с себя пальто и заказал кувшин пунша, двадцать пять сигар, полкружки коньяку и голову сахара. Потом снял пиджак и удобно расположился на единственном в зале диване.

Струве даже просиял, когда увидел приготовления к выпивке; кроме того, он любил музыку. Леви сел за рояль и отбарабанил вальс, а Струве обнял Фалька и стал прохаживаться с ним по залу, заведя легкую беседу о жизни вообще, о горе и радости, о непостоянстве человеческой природы и тому подобном, из чего следовал вывод, что грешно оплакивать то, что боги — он намеренно употребил слово «боги» после слова «грешно», чтобы Фальк не заподозрил его в религиозном фанатизме, — дали и боги взяли.

Эти умозаключения стали как бы прелюдией к вальсу, который он тут же станцевал с официанткой, поставившей на стол кувшин с пуншем. Борг наполнил бокалы, подозвал Леви, кивком головы указал на один из бокалов и сказал:

— А теперь давай выпьем с тобой на брудершафт, чтобы можно было сколько угодно дерзить друг другу!

Леви выразил величайшую радость по этому поводу.

— Твое здоровье, Исаак! — промолвил Борг.

— Меня зовут не Исаак...

— Неужели ты думаешь, что мне есть какое-нибудь дело до того, как тебя зовут? Я называю тебя Исааком, и все тут!

— А ты шутник, дьявол...

— Дьявол! Ты что, обалдел, паршивец?

— Ведь мы договорились дерзить друг другу...

— Мы? Это я буду дерзить тебе! Понял?

Струве счел нужным вмешаться.

— Спасибо тебе, брат Леви, — сказал он, — за твои прекрасные слова. Что это за молитва, которую ты прочел?

— Это наша надгробная молитва.

— Очень красивая!

— Пустые фразы! — вмешался Борг. — Этот неверный пес молится только за своих, и, следовательно, его молитва к покойному не имеет никакого отношения.

— Всех некрещеных мы считаем своими, — ответил Леви.

— И к тому же он выступил против обряда крещения, — продолжал Борг. — Я не потерплю, чтобы в моем присутствии нападали на крещение: надо будет, мы и сами нападём! И еще навывдумывал всяких оправданий! Прекрати, пока не поздно! Я не потерплю, чтобы порочили нашу религию!

— Борг прав, — сказал Струве, — нам не пристало выступать ни против крещения, ни против какой другой святой истины, и я прошу, чтобы сегодня вечером никто из нас не заводил бесед такого легкомысленного свойства.

— Ты просишь? — закричал Борг. — О чем же ты просишь? Ладно, я прощаю тебя, если ты наконец заткнешься. Играй, Исаак! Музыка! Немеет музыка на праздничном пиру! Музыка! Но не какую-нибудь там старую рухлядь! Давай что-нибудь новенькое!

Леви сел за рояль и сыграл увертюру к «Немой».

— Хорошо, а теперь побеседуем, — сказал Борг. — Господин ассессор, у вас очень грустный вид, выпьем, а?

Фальк, который чувствовал себя в присутствии Борга немного подавленным, принял это предложение довольно сдержанно. Но беседы все равно не получилось — все боялись ссоры. В поисках развлечений и удовольствий Струве как моль метался по залу, но, ничего не найдя, снова возвращался к столу с пуншем; время от времени он делал несколько па, будто от души веселился, однако смотреть на его ужимки было крайне неприятно. Леви курсировал между роялем и пуншем и даже пытался спеть какие-то развеселые куплеты, но они были такие старые-престарые, что их никто не захотел слушать. Борг громко кричал, чтобы «настроиться», как он это называл, но атмосфера становилась все более натянутой, почти тревожной. Фальк ходил взад и вперед, молчаливый и зловещий, как заряженная молниями грозовая туча.

По требованию Борга принесли обильный ужин. В грозном молчании все уселись за стол. Струве и Борг неумеренно пили водку. Лицо Борга напоминало заплывшую печную дверцу с двумя отверстиями; там и сям на нем выступили красные пятна, а глаза пожелтели; Струве, напротив, стал похож на глазированный эдамский сыр, красный и жирный. В этой компании Фальк и Леви походили на двух детей, доедающих свой последний ужин в гостях у великанов.

— Дай-ка нашему скандальному писаке лососины! —скомандовал Борг, глядя на Леви, чтобы прервать затянувшееся молчание.

Леви подал Струве блюдо с лососиной. Резким движением Струве поднял очки на лоб.

— Ни стыда у тебя, ни совести, е в ре й, — прошипел он, бросая в лицо Леви салфетку.

Борг положил свою тяжелую руку на лысую макушку Струве и приказал:

— Молчать, газетная крыса!

— В какое общество я попал! Должен заметить вам, господа, что я не привык к подобным выходкам и слишком стар, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, — сказал Струве дрожащим голосом, забыв о своем напускном добродушии.

Борг, который наконец насытился, встал из-за стола и заявил:

— Ну и компания, черт побери! Исаак, расплатись, а я потом тебе отдам; я ухожу!

Он надел пальто и шляпу, наполнил бокал пуншем, долил в него коньяк, залпом осушил бокал, мимоходом потушил пару свечей, разбил несколько бокалов, сунул в карман несколько сигар и коробку спичек и, пошатываясь, вышел на улицу.

— Какая жалость, что такой гениальный человек так ужасно пьет, — благоговейно промолвил Леви.

Через минуту в дверях снова появился Борг; подошел к столу, взял канделябр и зажег сигару, выпустил дым прямо в лицо Струве, потом высунул язык, показав коренные зубы, погасил свечи и опять вышел из зала. Склонившись над столом, Леви вопил от восторга.

— Что это за выродец, с которым тебе было угодно меня свести? — мрачно спросил Фальк.

— О, мой дорогой, конечно, он сейчас пьян, но, понимаешь, он сын военного врача, профессора...

— Я спрашиваю не чей он сын, а что он собой представляет, ты же мне лишь объяснил, почему позволяешь этой собаке так унижать себя! А теперь объясни, пожалуйста, что тебя связывает с ним?

— Я оставляю за собой право делать любые глупости, — гордо сказал Струве.

— Вот и делай любые глупости, только оставь их при себе!

— Что с тобой, брат Леви? — вкрадчиво спросил Струве. — У тебя такой мрачный вид!

— Какая жалость, что такой гениальный человек так ужасно пьет! — повторил Леви.

— В чем же и когда проявляется его гениальность? — поинтересовался Фальк.

— Можно быть гением и не сочиняя стихов, — ядовито заметил Струве.

— Разумеется, ибо, чтобы писать стихи, вовсе не обязательно быть гением, так же как и не обязательно превращаться в скота, — ответил Фальк.

— Не пора ли нам расплатиться? — спросил Струве, давая понять, что нужно уходить.

Фальк и Леви расплатились. Когда они вышли на улицу, накрапывал дождь, небо было черное и лишь на юге над городом красным облаком полыхал газовый свет. Наемная карета уже уехала, и им не оставалось ничего другого, как поднять воротники пальто и добираться домой пешком. Однако они дошли

лишь до кегельбана, когда услышали откуда-то сверху отчаянный крик.

— Проклятье! — вопил кто-то у них над головой, и тут они увидели Борга, который раскачивался, уцепившись за одну из самых верхних веток высокой липы. Ветка то опускалась к земле, то снова взлетала вверх, описывая при этом какую-то немислимую кривую.

— О, это колоссально! — воскликнул Леви. — Это колоссально!

— Вот сумасшедший, — улыбнулся Струве, гордясь своим протеже.

— Иди сюда, Исаак! — прорычал Борг сверху. — Иди сюда, паршивец, и мы возьмем друг у друга взаймы!

— Сколько тебе нужно? — осведомился Леви, помахивая бумажником.

— Я никогда не занимаю меньше пятидесяти!

Уже в следующее мгновение Борг соскочил с дерева и засунул деньги себе в карман. Потом снял пальто.

— Надень пальто! — сказал Струве повелительно.

— Надень? Ты что такое говоришь? Ты мне приказываешь? Да? Может быть, хочешь подраться?

Борг с такой силой запустил своей шляпой в дерево, что продавил ее, после чего снял фрак и жилет, оставшись под дождем в одной рубашке.

— Теперь иди сюда, газетный писака, сейчас я тебе задам!

Он бросился на Струве, крепко обхватил его, отступил немного назад, не выпуская его из рук, и оба свалились в канаву.

Фальк быстрым шагом направился к городу, но еще долго слышал у себя за спиной взрывы смеха и восторженные возгласы Леви: это божественно, это колоссально! — и крики Борга: предатель, предатель.

Глава двадцатая

НА АЛТАРЕ

Был октябрьский вечер, и долговязые часы в погребке города N только что пробили семь часов, когда в дверь ввалился директор городского театра. Директор сиял, как сияет жаба, которой удалось хорошо поест, он весь излучал довольство, но его лицевые мускулы не привыкли к выражению подобных эмоций и поэтому морщили кожу беспокойными складками, отчего его уродливое лицо делалось еще более уродливым. Он благосклонно поздоровался с маленьким сухопарым хозяином погребка, который стоял за стойкой и пересчитывал гостей.

— Wie steht's? ¹ — прокричал директор театра, который, как мы помним, уже давным-давно разучился говорить.

— Schön Dank! ² — ответил хозяин погребка.

¹ Как поживаете? (нем.).

² Спасибо, хорошо! (нем.).

Поскольку на этом их познания в области немецкого языка оказались исчерпаны, они перешли на шведский.

— Ну, что скажешь об этом парне, о Густаве? Разве не великолепно он сыграл дона Диго? А? Кажется, я умею делать актеров?

— Да, верно. Он просто молодец. Но, как вы сами говорили, талантливому артисту легче сделать из человека, еще не испорченного всеми этими дурацкими книжками...

— Книги — зло! Уж мне-то это известно лучше, чем кому бы то ни было! Кстати, ты знаешь, о чем пишут в книгах? А я знаю, да! Вот увидите, как молодой Реньельм сыграет Горацио, чем это кончится. А кончится все великолепно! Я обещал ему эту роль, потому что он, как нищий, выпрашивал ее, но я наотрез отказался ему помогать, потому что не хочу отвечать за его провал. И объяснил, что даю ему эту роль только для того, чтобы показать, как трудно играть на сцене тому, кого природа обделила талантом. О, я раздавлю его как букашку и надолго отобью охоту выклянчивать у меня роли. Вот увидишь! Но я пришел поговорить с тобой о другом. Послушай, у тебя есть свободные комнаты?

— Те две маленькие?

— Именно!

— Они всегда в вашем полном распоряжении.

— Превосходно, ужин на двоих! В восемь! Гостей обслужи-ваешь ты сам!

Последние фразы директор произносил уже тихо, а хозяин поклонился в знак того, что все понимает.

В это время появился Фаландер. Не здороваясь с директором, он прошел через зал и сел на свое обычное место. Директор тотчас же поднялся и, проходя мимо стойки, таинственно сказал: итак, в восемь — и вышел из погребка.

Между тем хозяин поставил перед Фаландером бутылку абсента и все, что к нему полагалось. Поскольку по лицу гостя не было видно, чтобы он хотел начать разговор, хозяин взял салфетку и стал вытирать стол; когда и это не помогло, он наполнил спичечницу и заметил:

— Сегодня вечером будет ужин... в маленьких комнатах! Гм!

— О ком и о чем вы?

— Полагаю, о том, кто только что ушел.

— Вот оно что. Это странно, ведь он так скуп. Ужин, вероятно, на *одну* персону?

— Нет, на две! — ответил хозяин, заморгав глазами. — В маленьких комнатах! Гм!

Фаландер наострил было уши, но тут же решил прекратить разговор, устыдившись, что слушает всякие сплетни; однако хозяин погребка решил по-другому.

— Кто бы это мог быть? Его жена нездорова и...

— Какое нам дело до того, с кем это чудовище собирается ужинать. У вас есть какая-нибудь вечерняя газета?

Хозяину не пришлось отвечать Фаландеру, потому что в зал вошел Реньельм, сияя, как может сиять только юноша, перед которым забрезжил рассвет.

— Сегодня обойдемся без абсента, и разреши мне считать тебя своим гостем. Я так счастлив, что хочется плакать.

— Что случилось? — спросил Фаландер с тревогой в голосе. — Неужели ты получил роль?

— Да, пессимист ты этакий, я буду играть Горацио...

Фаландер нахмурился.

— А она — Офелию, — заметил он.

— Откуда ты знаешь?

— Догадался.

— Все твои догадки! Впрочем, не так-то уж трудно и догадаться. Разве она не заслуживает этой роли? Найдется ли во всем театре хоть одна актриса лучше нее?

— Согласен, не найдется. Ну, а тебе самому нравится Горацио?

— О, он прекрасен!

— Да, удивительно, что люди могут думать так по-разному.

— А что думаешь ты?

— Думаю, он самый большой негодяй из всех царедворцев; на все вопросы он отвечает: «Да, мой принц; да, мой добрый принц». Если он друг Гамлета, то хотя бы несколько раз должен был сказать «нет», а не вести себя так же, как остальные льстецы.

— Ты хочешь опять все разрушить?

— Да, я хочу все разрушить! Как ты можешь стремиться к чему-то возвышенному и непреходящему, считая в то же время великим и прекрасным все самое ничтожное из созданного людьми; если ты во всем видишь совершенство и красоту, то как можешь ты желать истинного совершенства? Поверь, пессимизм — это подлинный идеализм, и, если это может успокоить твою совесть, пессимизм ни в чем не противоречит христианскому учению, ибо христианство говорит о бренности мира, избавление от которого приносит смерть.

— Почему ты лишаешь меня веры в то, что мир прекрасен, почему мне не дано испытывать чувство благодарности к тому, кто посылает нам все хорошее, и радоваться тем дарам, которые предлагает нам жизнь?

— Нет, нет, радуйся, мой мальчик, радуйся, верь и надейся. Но поскольку все люди на земле гонятся за одним и тем же — за счастьем, — то вероятность того, что ты обретешь счастье, равно

всего $\frac{1}{1\ 439\ 145\ 300}$, ибо число людей на земле равно именно знаменателю этой дроби. А разве счастье, которое ты сегодня обрел, стоит всех унижений и мук, перенесенных тобой за последние месяцы? И кстати, в чем же твое счастье? В том, что ты получил плохую роль, которая все равно не позволит тебе добиться того, что называется успехом? Я вовсе не хочу сказать, что тебя ждет провал. И еще: ты уверен, что... — Фаландер вынужден был перевести

д у х , — что Агнес будет иметь успех в роли Офелии? Возможно, конечно, чтобы не упустить такой редкий случай, она и выжмет что-нибудь из этой роли, всякое бывает. Я очень сожалею, что огорчил тебя, и, как всегда, прошу выкинуть из головы все, что тебе наговорил: ведь никто не может утверждать, так это или не так.

— Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты мне завидуешь.

— Нет, мой мальчик, я желаю тебе, как и всем, скорейшего исполнения ваших желаний, желаю вам обратить свои мысли на нечто более возвышенное, что стало бы целью всей вашей жизни.

— Тебе легко говорить так, ведь ты уже добился успеха.

— А разве для нас не самое главное просто поговорить? И отсюда следует, что мы ищем не успеха, а возможности посидеть и посмеяться над нашими великими устремлениями, великими, слышишь!

Часы с такой силой пробили восемь, что в зале все загремело. Фаландер торопливо поднялся со стула, словно собрался уходить, провел рукой по лбу и снова сел.

— Агнес сегодня вечером у тетки Беаты? — спросил он безразличным тоном.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, об этом нетрудно догадаться, раз ты так спокойно сидишь здесь. Думаю, она решила прочитать Беате свою роль, а то у вас остается не так уж много времени.

— Да, да! Но если тебе и это известно, то, вероятно, ты видел ее сегодня?

— Нет, клянусь честью! Просто я не знаю, чем еще можно объяснить ее отсутствие в свободный от театра день.

— В таком случае ты мыслишь абсолютно правильно. Между прочим, она сказала, что я слишком засиделся дома, и посоветовала пойти в гости. Она такая заботливая и такая нежная, моя дорогая девочка.

— Да, она очень нежная.

— Лишь один-единственный вечер она провела без меня; она осталась у тетки и не предупредила меня. Я не спал всю ночь, думал, сойду с ума.

— Это было шестого июля, да?

— Ты меня пугаешь. Можно подумать, что ты шпионишь за нами.

— Зачем мне это? Я знаю о ваших отношениях и всячески стараюсь помочь вам. А о том, что произошло во вторник шестого июля, я знаю от тебя самого, потому что ты говорил об этом много раз.

— Да, правда.

Они долго молчали.

— Странно, — наконец нарушил затянувшееся молчание Реньельм, — что счастье может сделать человека меланхоликом; весь вечер я почему-то испытываю какое-то непонятное беспокойство, и мне очень хотелось бы сейчас быть вместе с Агнес. Может,

пойдем в маленькие комнаты и пошлем за ней? Пусть скажет тетке, что к ней приехали гости.

— Этого она не сделает, да она просто не сможет заставить себя сказать неправду.

— Сможет! Все женщины могут!

Фаландер пристально посмотрел на Реньельма, который так и не понял, что означает этот взгляд, и сказал:

— Пойду сначала посмотрю, свободны ли маленькие комнаты; ведь все зависит от этого.

— Да, пойдем.

Заметив по лицу Реньельма, что тот собирается идти вместе с ним, Фаландер удержал его и вышел из зала. Через две минуты он вернулся. Он был бледен как полотно, но совершенно спокоен, и только сказал:

— Заняты.

— Как досадно!

— Что ж, постараемся как можно лучше провести время в компании друг друга.

И они провели время в компании друг друга, ели и пили и говорили о жизни, и о любви, и о человеческой злобе; они наелись и напились, а потом разошлись по домам и легли спать.

Глава двадцать первая

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

На другое утро Реньельм проснулся в четыре часа: ему почудилось, будто его кто-то позвал. Он сел на постели и прислушался — было тихо. Он поднял шторы — за окном было серое осеннее утро, дождливое и ветреное. Он снова улегся, тщетно пытаясь заснуть. У ветра было так много удивительных голосов. Они жаловались и предостерегали, рычали и стонали. Реньельм попытался думать о чем-нибудь приятном — о своем счастье; потом взял роль и начал читать, но все исчерпывалось фразой «да, мой принц», и он невольно вспомнил слова Фаландера, подумав, что тот был не так уж далек от истины. Реньельм попытался представить себя на сцене в роли Горацио, а Агнес в роли Офелии, но видел в Офелии лишь лицемерную интриганку, по наущению Полония расставлявшую ему сети. Он постарался прогнать этот образ, но вместо Агнес тут же появилась очаровательная мамзель Жакет, которую он недавно видел в городском театре в роли Офелии. Напрасно он пытался выбросить из головы все эти неприятные мысли и образы, они неотступно, словно комары, преследовали его. Изнуренный борьбой, он наконец заснул, но и во сне его мучили те же кошмары, что и наяву, а когда он вырвался из их цепких рук, то проснулся и тут же снова уснул, и снова перед ним возникли те же видения. Часов около девяти он проснулся от собственного крика и вскочил с кровати, словно хотел убежать

от злых духов, которые гнались за ним по пятам. Подойдя к зеркалу, он увидел, что глаза у него заплаканные. Он стал торопливо одеваться; натягивая сапоги, он заметил, как по полу пробежал паук. Реньельм обрадовался: как и многие другие, он верил, что пауки приносят счастье; да, он пришел в хорошее расположение духа и сказал себе: если хочешь хорошо спать, накануне вечером не надо есть раков. Он выпил кофе, закурил трубку и сидел, улыбаясь дождю и ветру, как вдруг кто-то постучал в дверь. Реньельм вздрогнул от неожиданности: сам не зная почему, он ужасно боялся сегодня каких бы то ни было известий, но потом вспомнил про паука и спокойно пошел открыть дверь.

Это была служанка Фаландера, которая попросила его непременно прийти к господину Фаландеру ровно в десять часов по крайне важному делу.

И снова Реньельма охватил тот неопиcуемый страх, который терзал его под утро во сне. Он попытался как-то убить время, оставшееся до назначенного часа. Но все было напрасно. Тогда он оделся и поспешил к Фаландеру, а сердце его уже билось где-то под мышкой левой руки.

В комнате Фаландера было чисто прибрано, а сам он явно приготовился к приему гостей. Он поздоровался с Реньельмом очень приветливо, но вид у него при этом был необычайно озабоченный. Реньельм набросился на него с расспросами, но Фаландер ответил, что ничего не может сказать до десяти часов. Реньельм встревожился и попытался выяснить, не ждет ли его какое-то неприятное известие; Фаландер сказал, что не может быть ничего неприятного, если научиться правильно смотреть на вещи. И объяснил, что многое, что кажется нам невыносимым, легко можно вынести, если только не придавать этому слишком большого значения. Так прошло время до десяти часов.

Но вот кто-то дважды тихо постучал в дверь, которая тотчас же отворилась, и на пороге появилась Агнес. Не глядя на присутствующих, она вынула снаружи ключ, заперла дверь и вошла в комнату. Однако выражение замешательства, когда вместо одного она увидела сразу двоих, оставалось на ее лице всего секунду и перешло в приятное изумление, вызванное присутствием еще и Реньельма. Она скинула дождевик и бросилась к Реньельму; он обнял ее и так крепко прижал к груди, словно тосковал о ней целый год.

— Как долго тебя не было со мной, Агнес!

— Долго? Разве уж так долго?

— Мне кажется, ты не видел тебя целую вечность. Ты чудесно выглядишь сегодня; ты хорошо спала?

— По-твоему, я выгляжу лучше, чем обычно?

— По-моему, да. Ты не хочешь поздороваться с Фаландером?

Фаландер спокойно стоял, слушая этот разговор, но лицо его было белым как гипс — казалось, он что-то обдумывает.

— Господи, какой у тебя изможденный вид, — сказала Агнес и, вырвавшись из объятий Реньельма, потянулась к нему движением мягким, как у котенка.

Фаландер не ответил. Агнес посмотрела на него внимательней и, казалось, в один миг все поняла; ее лицо вдруг преобразилось, словно поверхность воды от поднявшегося ветерка, но только на секунду; в следующее мгновение она снова была спокойна; бросив испытующий взгляд на Реньельма, она поняла обстановку и приготовилась к самому худшему.

— Можно узнать, какие важные обстоятельства призвали нас сюда в такую рань? — весело спросила она, хлопнув Фаландера по плечу.

— Конечно можно, — ответил тот так твердо и решительно, что Агнес побледнела, но при этом так тряхнул головой, будто хотел придать своим мыслям иное направление. — Сегодня у меня день рождения, и я хочу угостить вас завтраком.

Агнес, которая чувствовала себя так, словно на нее чуть было не наехал поезд, разразилась громким смехом и обняла Фаландера.

— Но поскольку завтрак заказан на одиннадцать, нам придется немного подождать. Прошу вас, садитесь!

Воцарилась тишина, напряженная тишина.

— Тихий ангел пролетел, — промолвила Агнес.

— Это ты — ангел, — сказал Реньельм, почтительно и нежно целуя ей руку.

У Фаландера был такой вид, будто его только что выбили из седла и он пытается снова взобраться на коня.

— Сегодня утром я видел паука, — сказал Реньельм. — Это предвещает счастье!

— *Agaînée matin: chagrin*, — возразил Фаландер, — так что не очень полагайся на такое счастье.

— А что это значит? — спросила Агнес.

— Увидишь паука утром — жди беды.

— Гм!

Снова воцарилось молчание, беседу теперь заменял дробный стук дождя, хлеставшего по окнам.

— Ночью я читал такую потрясающую книгу, — заговорил Фаландер, — что почти не сомкнул глаз.

— Какую книгу? — спросил Реньельм без особого интереса, так как все еще испытывал беспокойство.

— Она называется «Пьер Клеман»; это обычная история женщины, но написанная так живо и непосредственно, что производит довольно сильное впечатление.

— Можно спросить, что это за обычная история женщины? — сказала Агнес.

— Разумеется, история неверности и вероломства!

— А Пьер Клеман?

— Его, конечно, обманули. Он молодой художник и любит любовницу другого...

— Теперь припоминаю, что когда-то читала этот роман, — сказала Агнес, — и он мне понравился. Кажется, она потом все-таки обручилась с тем, кого действительно любила? Да, так оно и было; однако она поддерживала и старую связь. Тем самым автор хотел показать, что женщина любит по-разному, а мужчина — всегда одинаково. Это очень верно подмечено, не так ли?

— Конечно! Но потом настал день, когда жениху захотелось представить на конкурс свою картину... короче говоря... она отдалась префекту, и счастливый Пьер Клеман смог наконец жениться.

— Этим автор хотел сказать, что женщина способна пожертвовать всем ради любимого человека, тогда как мужчина...

— Гнуснее этого я еще никогда ничего не слышал! — взорвался вдруг Фаландер.

Он встал и подошел к секретеру. Резким движением откинул крышку и достал черную шкатулку.

— Вот возьми, — сказал он, передавая Агнес шкатулку, — убирайся домой и освободи мир от накипи!

— Что здесь такое? — улыбаясь, спросила Агнес, открыла шкатулку и вынула шестиствольный револьвер¹. — Нет, вы только посмотрите, какая прелестная вещица. Не с ним ли ты играл Карла Моора? Да, кажется, с ним. По-моему, он заряжен!

Она подняла револьвер, прицелилась в печную заслонку и спустила курок.

— А теперь положи его обратно! — сказала она. — Это не игрушка, друзья мои!

Реньельм сидел безмолвный и неподвижный. Он уже все понял, но не мог произнести ни слова; настолько сильна была над ним власть ее волшебных чар, что даже сейчас он не испытывал к ней неприязни. Он сознавал, что в его сердце вонзили нож, но еще не успел почувствовать боли.

Фаландер даже растерялся от такой безмерной наглости, и ему понадобилось время, чтобы прийти в себя: он понял, что задуманная им сцена моральной казни потерпела провал, и он ничего не выиграл от этого спектакля.

— Так мы идем? — спросила Агнес, поправляя перед зеркалом прическу.

Фаландер открыл дверь.

— Иди! — сказал он. — Иди! И будь ты проклята; ты нарушила покой честного человека.

— О чем ты болтаешь? Закрой дверь, здесь не так уж тепло.

— Что ж, придется говорить яснее. Где ты была вчера вечером?

— Ялмар знает, где я была, а тебя это совершенно не касается!

— Тебя не было у тетки — ты ужинала с директором!

— Неправда!

— В девять часов я видел тебя в погребке!

¹ По-видимому, имеется в виду шестизарядный револьвер.

— Ложь! В это время я была дома; можешь спросить у тетиной служанки, которая проводила меня домой!

— Такого я не ожидал даже от тебя!

— Может, все-таки прекратим этот разговор и наконец пойдем? Не надо читать по ночам дурацкие книги, тогда не будешь сумасбродить днем. А теперь одевайтесь!

Реньельму пришлось схватиться за голову, чтобы убедиться, что она все еще находится на своем месте: все у него перед глазами перевернулось и встало вверх ногами. Убедившись, что с его головой все в порядке, он стал судорожно искать какое-нибудь готовое объяснение, проливающее свет на все происшедшее, но так ничего и не нашел.

— А где ты была шестого июля? — спросил Фаландер и посмотрел на нее.

— Что за дурацкие вопросы! Посуди сам, ну как я могу помнить, что произошло три месяца назад?

— Ты была у меня, а Ялмару солгала, что была у своей тетки.

— Не слушай его, — ласково сказала Агнес, подходя к Реньельму. — Он болтает глупости.

В следующее мгновение Реньельм схватил ее за горло и отбросил к печке, где она и осталась лежать на поленнице дров, молча и неподвижно.

Потом он надел шляпу, однако Фаландеру пришлось помочь ему влезть в пальто, потому что он весь дрожал.

— Пошли, — сказал Реньельм, плюнул на печной кафель и вышел из комнаты.

Фаландер помедлил немного, пощупал у Агнес пульс и быстро последовал за Реньельмом, догнав его уже внизу, в прихожей.

— Я восхищен тобой! — сказал Фаландер Реньельму. — Наглость ее действительно перешла все границы.

— Не оставляй меня, пожалуйста, мы можем провести вместе всего несколько часов; я убегаю отсюда, уезжаю ближайшим поездом домой, чтобы работать и обо всем забыть. Пойдем в погребок, оглушим себя, как ты это называешь.

Они вошли в погребок и заняли отдельный кабинет, попросив избавить их от «маленьких комнат».

Скоро они уже сидели за накрытым столом.

— Я не поседел? — спросил Реньельм, проведя рукой по волосам, влажным и слипшимся.

— Нет, мой друг, это случается далеко не сразу; во всяком случае, я еще не поседел.

— Она не ушиблась?

— Нет!

— И подумать только, что все произошло в той самой комнате!

Реньельм встал из-за стола, сделал несколько шагов, пошатнулся, упал на колени возле дивана, опустив на него голову, и разрыдался, как ребенок, уткнувший голову в колени матери.

Фаландер сел рядом, сжав его голову ладонями. Реньельм почувствовал на шее что-то горячее, словно ее обожгла искра.

— Где же твоя философия, мой друг? — воскликнул Реньельм. — Давай ее сюда! Я тону! Тону! Соломинку! Соломинку! Скорей!

— Бедный, бедный мальчик!

— Я должен ее увидеть! Должен попросить у нее прощения! Я люблю ее! Все равно люблю! Все равно! Она не ушиблась? Господи, как можно жить на свете и быть таким несчастным, как я!

* * *

В три часа дня Реньельм уехал в Стокгольм. Фаландер сам затворил за ним дверь купе и запер ее на крючок.

Глава двадцать вторая

СУРОВЫЕ ВРЕМЕНА

Селлену осень тоже принесла большие перемены. Его высокий покровитель умер, и все, что было связано с его именем, старались выгравить из памяти людей; даже память о его добрых делах не должна была пережить его. Само собой разумеется, Селлену сразу же прекратили выплачивать стипендию, тем более что он был не из тех, кто ходит и просит о помощи; впрочем, он и сам теперь не считал, что нуждается в чьей-то поддержке, поскольку в свое время получил такую щедрую помощь, а сейчас его окружали художники, которые были гораздо моложе его и испытывали гораздо более острую нужду. Однако вскоре ему пришлось убедиться, что погасло не только солнце, но и все планеты оказались в крошечной тьме. Хотя все лето Селлен без усталости работал, оттачивая свое мастерство, префект заявил, что он стал писать хуже и весенний его успех — всего лишь удача и везение. Профессор пейзажной живописи по-дружески намекнул ему, что из него все равно ничего не выйдет, а критик-академик воспользовался удобным случаем, чтобы реабилитировать и подтвердить свою прежнюю оценку картины Селлена. Кроме того, изменились вкусы покупателей картин, этой небольшой кучки богатых и невежественных людей, которые определяли моду на живопись; чтобы продать пейзаж, художнику приходилось изображать такую пошловатую сельскую идиллию, и все равно найти покупателя было нелегко, потому что наибольшим спросом пользовались слезливые жанровые сценки и полуобнаженная натура. Для Селлена наступили суровые времена, и жилось ему очень тяжело — он не мог заставить себя писать то, что противоречило его чувству прекрасного.

Между тем он снял на далекой Правительственной улице пустующее фотоателье. Жилье его состояло из самого ателье с насквозь прогнившим полом и протекающей крышей, что зимой было не так уж страшно, поскольку ее покрывал снег, и бывшей лаборатории, так пропахшей коллодиумом, что она ни на что больше не годилась, как для хранения угля и дров, когда обстоятельства позволяли их приобрести. Единственной мебелью здесь была садовая скамейка из орешника с торчащими из нее гвоздями и такая короткая, что если ее использовали в качестве кровати — а это случалось всегда, когда ее владелец (временный) ночевал дома, — колени висели в воздухе. Постельными принадлежностями служили половина пледа — другая половина была заложена в ломбарде — и распухшая от эскизов папка. В бывшей лаборатории были водопроводный кран и отверстие для стока воды — туалет.

Однажды в холодный зимний день перед самым рождеством Селлен стоял у мольберта и в третий раз писал на старом холсте новую картину. Он только что поднялся со своей жесткой постели; служанка не пришла затопить камин, во-первых, потому что у него не было служанки, а во-вторых — нечем было топить; по тем же причинам служанка не почистила ему платье и не принесла кофе. И тем не менее он что-то весело и довольно насвистывал, накладывая краски на великолепный огненный закат в горах Госта, когда послышались четыре двойных удара в дверь. Без малейшего колебания Селлен открыл дверь, и в комнату вошел Олле Монтанус, одетый чрезвычайно просто и легко, без пальто.

— Доброе утро, Олле! Как поживаешь? Как спал?

— Спасибо, хорошо.

— Как обстоят в городе дела со звонкой монетой?

— О, очень плохо.

— А с кредитками?

— Их почти не осталось в обращении.

— Значит, их больше не хотят выпускать. Так, ну а как с валютой?

— Совсем пропала.

— По-твоему, зима будет суровая?

— Сегодня утром возле Бельсты я видел очень много свирестелей, а это к холодной зиме.

— Ты совершал утреннюю прогулку?

— Я ушел из Красной комнаты в двенадцать часов и пробродил всю ночь по городу.

— Значит, ты был там вчера вечером?

— Да, был и завел два новых знакомства: с доктором Боргом и нотариусом Левином.

— А, эти проходимцы! Знаю я их! А почему ты не напросился к ним переночевать?

— Понимаешь, они смотрели на меня несколько свысока, потому что у меня не было пальто, я и постеснялся. Я так устал;

можно мне прилечь, ладно? Сначала я дошел до Катринберга возле Кунгсхольмской таможни, потом вернулся в город, миновал Северную таможню и добрался до самой Бельсты. А сегодня, наверно, пойду наниматься к скульптору-орнаментщику, а то ведь умру с голоду.

— Это правда, что ты вступил в рабочий союз «Северная звезда»?

— Правда. В воскресенье делаю там доклад о Швеции.

— Прекрасная тема! Великолепная!

— Если я засну здесь у тебя, не буди меня; я так устал!

— Пожалуйста, не стесняйся! Спи!

Через несколько минут Олле спал глубоким сном и громко храпел. Голова его перевешивалась через подлокотник, который подпирал его толстую шею, а ноги перевешивались через другой подлокотник.

— Бедняга, — сказал Селлен, накрывая его пледом.

Снова послышался стук в дверь, но он не был условным сигналом, и Селлен не торопился открывать; однако стук возобновился с такой неистовой силой, что уже можно было не опасаться каких-нибудь серьезных неприятностей, и Селлен отворил дверь: это были доктор Борг и нотариус Левин. Борг сразу же повел себя как хозяин:

— Фальк здесь?

— Нет!

— А что это за мешок с дровами валяется? — продолжал он, показывая сапогом на Олле.

— Олле Монтанус.

— А, это тот самый чудака, что был с Фальком вчера вечером. Он еще спит?

— Да, спит.

— Он ночевал здесь?

— Ночевал.

— Почему ты не затопишь? У тебя дьявольски холодно!

— Потому что у меня нет дров.

— Вели принести! Где уборщица? Давай ее сюда! Я ее слегка встряхну!

— Уборщица пошла исповедоваться.

— Так разбуди этого вола, что разлегся здесь и сопит! Я пошлю его за дровами.

— Нет, дай ему поспать, — сказал Селлен, поправляя плед на Олле, который все это время храпел не переставая.

— Ладно, я научу тебя кое-чему. У тебя под полом земля или строительный мусор?

— Я в этом ничего не понимаю, — ответил Селлен, осторожно усаживаясь на один из кусков картона, разложенных на полу.

— Есть у тебя еще картон?

— Есть, а зачем тебе? — спросил Селлен, и лицо его покрылось легким румянцем.

— Мне нужны картон и кочерга!

Борг получил то, что требовал, а Селлен, так и не поняв, зачем это ему нужно, расположился на кусках картона и сидел, словно под ним был драгоценный клад.

Борг сбросил пиджак и кочергой стал выламывать половицу, насквозь прогнившую от кислот и дождя.

— Ты что, с ума сошел? — закричал Селлен.

— Я всегда так делал в Упсале, — объяснил Борг.

— Но так не делают в Стокгольме!

— А мне какое дело до Стокгольма? Здесь холодно, и сейчас мы затопим печку!

— Но не ломай пол! Ведь это сразу заметят!

— Поверь, мне совершенно все равно, заметят или не заметят; ведь не я здесь живу; какая она твердая, эта чертова деляшка!

Приблизившись к Селлену, он слегка толкнул его, и тот растянулся на полу; падая, он сдвинул куски картона, и под ним стали видны прогнившие доски.

— Ах ты плут! У него здесь целый дровяной склад, а он сидит и помалкивает.

— Это потолок протекает, вот все и прогнило.

— Меня не интересует, почему прогнило; главное, у нас будет огонь.

Ловко орудуя кочергой, Борг отломал несколько досок, и скоро в камине действительно пылал огонь.

Во время этой сцены Левин держался спокойно, выжидательно и почтительно. Между тем Борг уселся перед камином и стал накаливать кочергу.

В дверь снова постучали, но на этот раз последовали три коротких и один длинный удар.

— Это Фальк, — заметил Селлен и пошел открывать. Когда Фальк переступил порог, вид у него был довольно возбужденный.

— Тебе нужны деньги? — спросил его Борг, хлопнув себя по нагрудному карману.

— И ты еще спрашиваешь! — ответил Фальк неуверенно.

— Сколько тебе нужно? Я могу достать!

— Ты это серьезно? — спросил Фальк, и лицо его просветлело.

— Серьезно! Гм! *Wie viel?*¹ Сумма! Цифра! Называй!

— О, шестидесяти риксдалеров было бы достаточно.

— Какой скромный малый, — сказал Борг, поворачиваясь к Левину.

— Да, немного же ему и у ж н о, — подхватил т о т. — Бери больше, Фальк, пока дают.

— Нет, нельзя! Больше мне сейчас не нужно, и я не могу лезать в долги. Между прочим, я еще не знаю, как буду расплачиваться.

¹ Сколько? (*нем.*).

— По двенадцать риксдалеров каждые шесть месяцев, двадцать четыре риксдалера в год двумя взносами, — ответил Левин уверенно и четко.

— Очень удобные условия, — заметил Фальк. — А где вы достаете деньги на такие ссуды?

— В Банке каретников. Левин, готовь бумагу и перо!

В руках у Левина уже было долговое обязательство, перо и портивная чернильница. Долговое обязательство оказалось кем-то заполненным. Увидев цифру восемьсот, Фальк на какое-то мгновение заколебался.

— Восемьсот риксдалеров? — спросил он изумленно.

— Если этого мало, бери больше.

— Нет, больше не надо; значит, не имеет значения, кто берет деньги, лишь бы аккуратно платил. Кстати, вам дают деньги по долговому обязательству просто так, без всяких гарантий?

— Без гарантий? Ты же получаешь наше поручительство, — ответил Левин насмешливо и в то же время доверительно.

— Нет, я говорю не об этом, — сказал Фальк. — Я очень благодарен вам за ваше поручительство, но мне кажется, что из этого ничего не выйдет.

— Хо! Хо! Хо! Уже вышло! Деньги выделены, — сказал Борг, доставая «банковский чек», как он назвал этот документ. — Ну, подписывай!

Фальк написал свое имя. Борг и Левин стояли над ним как полицейские.

— «Вице-ассессор», — продиктовал Борг.

— Нет, я литератор, — ответил Фальк.

— Не годится! Ты заявлен как вице-ассессор, и между прочим как таковой ты до сих пор значишься в адресной книге.

— А вы проверили?

— Нужно строго соблюдать формальности, — ответил Борг серьезно.

Фальк подписал.

— Пойди сюда, Селлен, и засвидетельствуй! — приказал Борг.

— Не знаю, стоит ли, — ответил Селлен. — Я своими глазами видел, сколько бед у нас в деревне натворили эти подписи...

— Ты сейчас не в деревне и имеешь дело не с мужиками! Засвидетельствуй, что Фальк поставил свое имя сам, по доброй воле; ведь это ты можешь написать!

Селлен написал, но покачал головой.

— А теперь разбудите этого вола, он тоже должен подписать.

Однако сколько Олле ни трясли, все было напрасно, и тогда Борг взял раскаленную докрасна кочергу и поднес ее к самому носу спящего.

— Просыпайся, собака, а не то получишь у меня! — закричал Борг.

Олле тут же вскочил на ноги и стал протирать глаза.

— Засвидетельствуешь подпись Фалька! Понял?

Олле взял перо и под диктовку обоих поручителей написал то, что от него требовалось, после чего хотел было снова лечь спать, но Борг не отпустил его:

— Подожди еще немножко! Сначала Фальк напишет дополнительное поручительство.

— Не пиши никаких поручительств, Фальк, — посоветовал Олле. — От них добра не жди, одни неприятности!

— Молчи, собака! — зарычал Борг. — Иди сюда, Фальк. Мы только что поручились за тебя, понимаешь, это имущественное поручительство. А теперь ты должен написать дополнительное поручительство за Струве, с которого взыскивают деньги судебным порядком.

— А что такое дополнительное поручительство?

— Это пустая формальность; он получил ссуду в размере семисот риксдалеров в Банке маляров, сделал первый взнос, но пропустил следующий, и против него возбудили судебное дело; теперь нам надо найти дополнительного поручителя. Это добрый старый заем, так что нет никакого риска.

Фальк написал поручительство, а оба свидетеля подписались.

С видом знатока Борг аккуратно сложил долговые обязательства и передал их Левину, который тотчас же направился к двери.

— Через час вернешься с деньгами, — сказал Борг, — а не то я сразу же иду в полицию и тебя быстро разыщут!

Он встал и, довольный собой, улегся на скамейку, где раньше лежал Олле. Олле доплелся до камина и лег на пол, свернувшись по-собачьи клубком.

Некоторое время царило молчание.

— Послушай, Олле, — сказал Селлен, — а если и нам взять да написать такую вот бумажку?

— Тогда попадете на Риндён, — сказал Борг.

— А что такое Риндён? — спросил Селлен.

— Есть такое местечко в шхерах, но если господа предпочитают Меларен, то и там для них найдется подходящее место, которое называется Лонгхольмен.

— Ну, а если говорить серьезно, — спросил Фальк, — что происходит, когда ко дню платежа у тебя нет денег?

— Тогда ты берешь новую ссуду в Банке портных, — ответил Борг.

— А почему не в Государственном банке? — поинтересовался Фальк.

— Он нас не устраивает! — объяснил Борг.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил Олле Селлена.

— Ни бельмеса! — ответил Селлен.

— Ничего, когда-нибудь поймете, когда будете в Академии и попадете в адресную книгу!

Утром в канун сочельника Николаус Фальк сидел у себя в конторе. Он несколько изменился; время проредило его белокурые волосы, а страсти избородили лицо узкими каналами, чтобы по ним стекала вся та кислота, которая выделялась из этой заболоченной земли. Он сидел, склонившись над маленькой узкой книжкой в формате катехизиса, и так усердно работал пером, словно выкалывал узоры.

В дверь постучали, и книжка моментально исчезла под крышкой конторки, а на ее месте появилась утренняя газета. Когда госпожа Фальк вошла в комнату, ее супруг был погружен в чтение.

— Садись! — сказал Фальк.

— Мне некогда. Ты читал утреннюю газету?

— Нет.

— Вот как! А мне показалось, ты ее как раз читаешь.

— Я только что начал.

— Прочитал уже о стихах Арвида?

— Да, прочитал.

— Видишь! Его очень хвалят.

— Это он сам написал!

— То же самое ты говорил вчера вечером, когда читал «Серый плащ».

— Ладно, чего ты хочешь?

— Я только что встретила адмиральшу; она поблагодарила за приглашение и сказала, что будет очень рада познакомиться с молодым поэтом.

— Так и сказала?

— Да, так и сказала!

— Гм! Каждый *может* ошибаться. Но я не уверен, что ошибся. Тебе, наверное, опять нужны деньги?

— Опять? Когда в последний раз я, по-твоему, получала от тебя деньги?

— Вот, возьми! А теперь уходи! И до самого рождества денег больше не проси; ты сама знаешь, какой это был тяжелый год.

— Ничего я не знаю. Все говорят, что год был хороший.

— Для земледельцев, да, но не для страховых обществ. Всего доброго!

Супруга удалилась, и в контору осторожно, словно боялся попасть в засаду, вошел Фриц Левин.

— Что надо? — приветствовал его Фальк.

— Просто хотел заглянуть мимоходом.

— Очень разумно с твоей стороны; мне как раз нужно поговорить с тобой.

— Правда?

— Ты знаешь молодого Леви?

— Конечно!

— Прочти эту заметку, вслух!

Левин прочел:

— *«Щедрое пожертвование.* С отнюдь не необычной теперь для наших коммерсантов щедростью оптовый торговец Карл Николаус Фальк в ознаменование годовщины своего счастливого брака передал правлению детских яслей «Вифлеем» дарственную запись на двадцать тысяч крон, из которых половина выплачивается сразу, а половина после смерти жертвователя. Дар этот приобретает тем большую ценность, что госпожа Фальк является одним из учредителей этого гуманного учреждения».

— Годится? — спросил Фальк.

— Превосходно! К Новому году получишь орден Васы!

— А теперь ты пойдешь в правление яслей, то есть к моей жене, с дарственной записью и деньгами, а потом разыщешь молодого Леви. Понял?

— Вполне!

Фальк передал Левину дарственную запись, сделанную на пергаменте, и пачку денег.

— Пересчитай, чтобы не ошибиться, — сказал он.

Распечатав пачку, Левин вытаращил глаза. В ней было пятьдесят литографированных листов всех цветов и оттенков на большую сумму.

— Это деньги? — спросил он.

— Это ценные бумаги, — ответил Фальк, — пятьдесят акций «Тритона» по двести крон, которые я дарю детским яслям «Вифлеем».

— Они, надо думать, обесценятся, когда крысы побегут с корабля?

— Этого никто не знает, — ответил Фальк, злобно ухмыляясь.

— Но тогда ясли обанкротятся!

— Меня это мало касается, а тебя и того меньше. Теперь слушай! Ты должен... ты ведь знаешь, что я имею в виду, когда говорю должен...

— Знаю, знаю... взыскать судебным порядком, запутать какое-нибудь дело, проверить платежные обязательства... продолжай, продолжай!

— На третий день рождества доставишь мне к обеду Ар-вида!

— Это все равно что вырвать три волоска из бороды великана. Хорошо еще, что я весной не передал ему всего, что ты мне наговорил. Разве я не предупредил тебя, что так оно и будет?

— Предупреждал! Черт бы побрал твои предупреждения! А теперь помолчи и делай, что тебе сказано! И так, с этим покончено. Теперь осталось еще одно дело. Я заметил у своей жены некоторые симптомы, свидетельствующие о том, что она испытывает угрызения совести. Очевидно, она встречалась с матерью или с кем-нибудь

из сестер. Рождество располагает к сентиментальности. Сходи к ним на Хольмен и разнюхай, что там и как!

— Да, поручение не из приятных...

— Следующий!

Левин вышел из конторы, и его сменил магистр Нистрём, которого впустили через потайную дверь в задней стене комнаты, после чего дверь тут же заперли. Между тем утренняя газета исчезла, и на столе снова появилась маленькая узкая книжка.

У Нистрёма был какой-то поникший и обветшалый вид. Его тело уменьшилось на добрую треть своего первоначального объема, да и одежда его была в крайне жалком состоянии. Он смиренно остановился в дверях, достал старый потрепанный бумажник и стал ждать дальнейших распоряжений.

— Ясно? — спросил Фальк, ткнув указательным пальцем в свою книжку.

— Ясно! — ответил Нистрём, раскрывая бумажник.

— Номер двадцать шесть. Лейтенант Клинг: тысяча пятьсот риксдалеров. Уплачено?

— Не уплачено!

— Дать отсрочку с выплатой штрафных процентов и комиссионных. Разыскать по месту жительства!

— Дома его никогда не бывает.

— Пригрозить письмом, что его разыщут в казарме! Номер двадцать семь. Ассессор Дальберг: восемьсот риксдалеров. Покажи-ка! Сын оптового торговца, которого оценивают в тридцать пять тысяч риксдалеров; дать отсрочку, пусть только заплатит проценты. Проследи!

— Он никогда не платит процентов.

— Пошли открытку... ну, знаешь, без конверта... Номер двадцать восемь. Капитан Гилленборст: четыре тысячи. Попался мальчик! Не уплачено?

— Не уплачено.

— Прекрасно! Установка такая: являешься к нему в казарму около двенадцати. Одежда — обычная, а именно — компрометирующая. Рыжее пальто, которое летом кажется желтым... ну, сам знаешь!

— Не помогает; я уже приходил к нему в караульное помещение в одном сюртуке в разгар зимы.

— Тогда сходи к поручителям!

— Ходил, и оба послали меня к черту! Это было чисто формальное поручительство, сказали они.

— В таком случае ты явишься к нему самому в среду в час дня, когда он заседает в правлении «Тритона»; и захвати с собой Андерссона, чтобы вас было двое!

— И это мы уже проделывали!

— И какой же вид был при этом у членов правления? — спросил Фальк, моргая глазами.

— Они были смущены.

— Ах, они были смущены! Очень смущены?

— Да, по-моему, очень.

— А он сам?

— Он выпроводил нас в вестибюль и обещал заплатить, если только мы дадим слово никогда больше не являться к нему.

— Ах, вот оно что! Заседает два часа в неделю и получает шесть тысяч только за то, что его зовут Гилленборст! Дай-ка мне посмотреть. Сегодня суббота. Будешь в «Тритоне» ровно в половине первого; если увидишь меня там — а ты обязательно меня увидишь, — мы с тобой незнакомы. Понял? Хорошо! Еще просьбы об отсрочке?

— Тридцать пять!

— Вот что значит — завтра сочельник.

Фальк стал перелистывать пачку векселей; время от времени на его губах появлялась усмешка, и он отрывисто говорил:

— Господи! Далеко же у него зашло дело! И он... и он... а ведь считался таким надежным! Да-да, да-да! Ну и времена! Вот оно что, ему нужны деньги? Тогда я куплю у него дом!

В дверь постучали. В мгновение ока крышка конторки захлопнулась, бумаги и узкую книжку как ветром сдуло, а Нистрём вышел через потайную дверь.

— В половине первого, — шепнул ему вслед Фальк. — И еще: поэма готова?

— Готова, — послышалось словно из-под земли.

— Хорошо! Приготовь вексель Левина, чтобы предъявить его в канцелярию. Хочу на этих днях немного прищемить ему нос. Весь он насквозь фальшивый, черт бы его побрал!

Он поправил галстук, подтянул манжеты и открыл дверь в гостиную.

— Кого я вижу! Добрый день, господин Лунделль! Ваш покорный слуга! Пожалуйста, заходите, прошу вас! А я тут немножко занялся делами!

Это действительно был Лунделль, одетый как конторский служащий, по последней моде, с цепочкой для часов и кольцом на пальце, в перчатках и галошах.

— Я не помешал вам, господин коммерсант?

— Ну что вы, нисколько! Как вы думаете, господин Лунделль, к завтрашнему дню картина будет готова?

— Она обязательно должна быть готова завтра?

— Непременно! Я устраиваю в яслях праздник, и моя жена публично передаст правлению этот портрет, который затем повесит в столовой!

— Тогда нам ничто не может помешать, — ответил Лунделль и принес из чулана мольберт с почти готовым холстом. — Не угодно ли вам будет, господин коммерсант, немного посидеть, пока я кое-что дорисую?

— Охотно! Охотно! Пожалуйста!

Фальк уселся на стул, скрестил ноги, приняв позу государственного деятеля, и на лице его застыло презрительно-надменное выражение.

— Пожалуйста, говорите что-нибудь! — сказал Лунделль. — Конечно, ваше лицо и само по себе представляет значительный интерес, но чем больше изменений настроения отразится на нем, тем лучше.

Фальк ухмыльнулся, и его грубое лицо изобразило удовлетворение и самодовольство.

— Господин Лунделль, позвольте пригласить вас на обед на третий день рождества!

— Благодарю...

— Вы увидите людей весьма заслуженных и, возможно, гораздо более достойных быть запечатленными на холсте, нежели я.

— Может, мне будет оказана честь написать их портреты?

— Разумеется, если я порекомендую вас.

— Неужели?

— Конечно!

— Сейчас я увидел на вашем лице какие-то новые черты. Пожалуйста, постарайтесь сохранить это выражение! Так! Великолпно! Боюсь, господин коммерсант, нам не управиться до самого вечера. Множество небольших черточек можно подметить только вот так, исподволь, во время работы. У вас очень интересное лицо.

— В таком случае мы с вами вместе где-нибудь пообедаем. И вообще нам надо почаще встречаться, тогда вы, господин Лунделль, будете иметь возможность лучше изучить мое лицо для второго портрета, который всегда пригодится. Должен вам сказать, что мало кто производил на меня такое приятное впечатление, как вы, господин Лунделль!...

— О, весьма вам признателен.

— К тому же я весьма проницателен и всегда умею отличить правду от лести.

— Я сразу это заметил, — бессовестно солгал Лунделль. — Моя профессия научила меня разбираться в людях.

— У вас наметанный глаз; не всякому дано меня понять. Моя жена, например...

— Этого и нельзя требовать от женщин.

— Нет, я говорю о другом... Господин Лунделль, можно предложить вам стакан хорошего портвейна?

— Спасибо, господин коммерсант, но мой принцип — ни в коем случае не пить во время работы...

— Вы совершенно правы. Я уважаю этот принцип — я всегда уважаю принципы, — тем более что это и мой принцип.

— Но когда я не работаю, то охотно пропускаю стаканчик.

— Как и я... совсем как я.

Часы пробили половину первого. Фальк вскочил с места.

— Извините, я должен ненадолго отлучиться по одному важному делу, но скоро вернусь.

— Пожалуйста, пожалуйста! Дела прежде всего!

Фальк оделся и вышел. Лунделль остался в конторе один.

Он закурил сигару и встал, пристально рассматривая портрет. Тот, кто наблюдал бы сейчас за его лицом, ни за что не догадался бы, о чем он думает, ибо он уже настолько постиг искусство жизни, что и одиночеству не доверял своих мыслей; да, он даже боялся разговаривать с самим собой.

Глава двадцать четвертая

О ШВЕЦИИ

Подали десерт. В бокалах искрилось шампанское, отражая сияние люстры в столовой Николауса Фалька, в его квартире неподалеку от набережной. Со всех сторон Арвид принимал дружеские рукопожатия, сопровождаемые комплиментами и поздравлениями, предостережениями и советами; всем хотелось хотя бы в какой-то мере разделить с ним его успех, ибо теперь это был несомненный успех.

— Ассессор Фальк! Имею честь поздравить вас! — сказал председатель Коллегии чиновничьих окладов, кивнув ему через стол. — Вот это жанр, жанр, который я люблю и понимаю!

Фальк спокойно выслушал этот обидный для него комплимент.

— Почему вы пишете так меланхолически? — спросила юная красавица, которая сидела справа от поэта. — Можно подумать, что вы несчастливы в любви!

— Ассессор Фальк! Разрешите выпить за ваше здоровье! — сказал сидевший слева редактор «Серого плаща», разглаживая свою длинную светлую бороду. — Почему вы не пишете для моей газеты?

— Боюсь, вы не опубликуете того, что я напишу, — ответил Фальк.

— Что же может нам помешать?

— Взгляды!

— Ах, взгляды! Ну, это еще не так страшно. И потом, это дело поправимое. К тому же у нас вообще нет никаких взглядов!

— Твое здоровье, Фальк! — закричал через стол уже совершенно ошалевший Лунделль. — Привет!

Леви и Боргу пришлось изо всех сил удерживать его, чтобы он не встал и не начал произносить речь.

Он впервые попал на званый вечер — изысканное общество и прекрасный стол несколько ошеломили его, но поскольку все гости уже были в довольно приподнятом настроении, он не привлекал к себе излишнего внимания.

Арвиду Фальку было тепло и уютно среди этих людей, которые снова приняли его в свое общество, не требуя взамен ни объяснений, ни повинной. Он испытывал чувство уверенности и покоя, сидя на этих старых стульях, которые были неотъемлемой частью дома, где прошло его детство; с грустью он узнал большой сервиз, который

прежде ставили на стол только раз в году; однако здесь присутствовало так много новых людей, что мысли его все время рассеивались. Его нисколько не обманывало дружелюбие, написанное на их лицах; конечно, они не желали ему зла, но их благосклонность всецело зависела от конъюнктуры. Да и само празднество представлялось ему каким-то удивительным маскарадом. Что общего может быть у профессора Борга, ученого с большим именем, и у его необразованного брата? Наверное, они состоят в одном и том же акционерном обществе. А что делает здесь этот чванливый капитан Гилленборст? Пришел сюда поесть? Едва ли, хотя нередко людям приходится довольно далеко идти, чтобы поесть. А председатель? А адмирал? Очевидно, всех их связывают какие-то невидимые узы, крепкие и нерасторжимые.

Гости веселились вовсю, но смех звучал слишком резко и пронзительно. Каждый блистал остроумием, но оно было каким-то вымученным; Фальк вдруг почувствовал себя ужасно подавленным, и ему почудилось, что с портрета над роялем отец с негодованием смотрит на гостей.

Николаус Фальк сиял от удовольствия; он не видел и не слышал ничего неприятного, но избегал, насколько это было возможно, встречаться глазами с братом. Они еще не сказали друг другу ни слова — следуя указанию Левина, Арвид пришел, только когда гости уже собрались.

Обед близился к концу. Николаус произнес речь о «силе духа и твердости воли», которые ведут человека к цели — «экономической независимости» и «высокому общественному положению». «Все это вместе взятое, — сказал оратор, — развивает чувство собственного достоинства и придает характеру ту твердость, без которой мы не можем приносить ровно никакой пользы, не можем трудиться на благо человечества, что является, господа, нашей высшей целью, к достижению которой мы всегда стремимся! Я поднимаю тост за здоровье уважаемых гостей, которые оказали сегодня столь высокую честь моему дому, и надеюсь, что эта честь будет и впредь мне неоднократно оказана!»

В ответ капитан Гилленборст, уже немного захмелевший, произнес довольно длинную шутистую речь, которая при другом настроении и в другом доме неминуемо вызвала бы скандал.

Для начала он обрушился на торгашеский дух, захвативший все и вся, и шутиливо заметил, что ему всегда доставало чувства собственного достоинства, хотя и весьма недоставало экономической независимости; не далее как сегодня утром ему пришлось столкнуться с одним весьма неприятным делом, и тем не менее у него хватило твердости характера явиться на этот обед; что же касается его общественного положения, то, как ему представляется, оно ничуть не хуже, чем у любого другого, и, по-видимому, все присутствующие придерживаются того же мнения, поскольку он имеет честь сидеть за этим столом у таких очаровательных хозяев!

Когда он закончил, все облегченно вздохнули, потому что «было такое чувство, словно над ними нависла грозная туча», заметила

юная красавица Арвиду Фальку, который высоко оценил это высказывание.

Атмосфера была настолько пропитана ложью и фальшью, что Арвид, подавленный и усталый, думал только о том, как бы поскорее убежать. Он видел, что эти люди, вне всякого сомнения честные и достойные уважения, были словно прикованы к невидимой цепи, которую время от времени в бессильной ярости пытались разгрызть; да, капитан Гилленборст относился к хозяину дома с неприкрытым, хотя и шутивным презрением. Он курил в гостиной сигару, принимал неприличные позы, делая вид, что не замечает присутствия дам. Он плевал на печной кафель, немилосердно ругал развешанные по стенам олеографии и весьма пренебрежительно высказывался о мебели красного дерева. Остальные гости вели себя с равнодушным достоинством, словно находились при исполнении служебных обязанностей.

Недовольный и удрученный, Арвид Фальк незаметно оделся и ушел. На улице его поджидал Олле Монтанус.

— А я думал, ты уже не придешь, — сказал Олле. — В окнах наверху все сверкает — красота!

— Вот почему ты так думал! Жаль, тебя там не было!

— А как там наш Лунделль среди всей этой знати?

— Не завидуй ему. Он еще хлебнет горя, если станет портретистом. Поговорим лучше о другом. Я действительно жду не дождусь сегодняшнего вечера, когда увижу совсем рядом рабочих. Мне кажется, это будет как глоток свежего воздуха после долгого пребывания в духоте. У меня такое ощущение, будто я иду на прогулку в лес после долгих дней, проведенных в больнице. Надеюсь, меня не лишат и этой иллюзии?

— Рабочий недоверчив, ты должен соблюдать осторожность.

— Он благороден? Не мещанин? Или гнет богатых изуродовал его?

— Сам увидишь. Ведь многое оказывается совсем не таким, как мы себе представляем.

— К сожалению, это так!

Через полчаса они сидели в большом зале рабочего союза «Северная звезда», который был уже полон. Черный фрак Фалька произвел не слишком благоприятное впечатление на окружающих; он видел вокруг угрюмые лица и то и дело ловил на себе враждебные взгляды.

Олле представил Фалька высокому худошавому мужчине с лицом фанатика; он все время покашливал.

— Столяр Эрикссон.

— Так, — сказал Эрикссон. — Этот господин тоже желает стать членом риксадага? По-моему, для риксадага он слишком тощий.

— Нет, нет, — сказал Олле, — он из газеты.

— Из какой газеты? Есть много разных газет. Может быть, он пришел посмеяться над нами?

— Нет, ни в коем случае, — заверил его Олле. — Он друг рабочих и сделает для вас все, что в его силах.

— Если так, тогда другое дело. И все-таки я побаиваюсь подобного рода господ; жил тут у нас в доме на Белых горах один такой; собирал с нас квартирную плату; Струве зовут эту каналью!

Стукнул молоток, и председательское место занял человек средних лет. Это был каретник Лёфгрэн, член городского муниципалитета и обладатель медали «Litteris et Artibus»¹. Выполняя поручения городского муниципалитета, он приобрел немалые актерские навыки, а его внешность стала настолько величественной, что позволяла ему без труда водворять тишину и спокойствие, когда бушевала буря. Его широкое лицо, украшенное бакенбардами и очками, обрамлял большой судейский парик.

Возле него сидел секретарь, в котором Фальк узнал бухгалтера из Большой коллегии. Он носил пенсне и презрительной усмешкой выражал свое неодобрение по поводу большинства высказываний, которые можно было услышать в этом зале. На передней скамье сидели наиболее именитые члены этого рабочего союза — офицеры, чиновники, оптовые торговцы, которые оказывали весьма мощную поддержку всем благонамеренным предложениям и, обладая большим опытом парламентской борьбы, с необыкновенной легкостью проваливали все проекты каких-либо реформ.

Секретарь зачитал протокол, который затем был уточнен и одобрен передней скамьей. Потом заслушали сообщение по первому пункту повестки дня.

— «Подготовительный комитет предлагает от имени рабочего союза «Северная звезда» выразить возмущение, которое должен испытывать каждый честный гражданин нашей страны в связи с тем противозаконным движением, что под названием забастовочного охватило сейчас почти всю Европу».

— Союз считает...

— Правильно! — воскликнула передняя скамья.

— Господин председатель! — закричал столяр с Белой горы.

— Кто это там шумит? — спросил председатель, глядя из-под очков с таким выражением, словно собирался взять розги.

— Никто здесь не шумит; просто я требую, чтобы мне дали слово! — ответил столяр.

— Кто это я?

— Столярный мастер Эрикссон!

— Мастер? Когда же это вы стали мастером?

— Я подмастерье, закончивший полный курс обучения; у меня никогда не было возможности приобрести патент, но я не менее искусен, чем любой другой мастер, и я работаю на самого себя. Вот что я вам скажу!

— Подмастерье Эрикссон, пожалуйста, сядьте и не мешайте нам. Принимает ли союз предложение комитета?

— Господин председатель!

¹ «Литература и искусство» (лат.).

— В чем дело?

— Я прошу слова! Выслушайте меня! — заорал Эрикссон.

— Дайте Эрикссону слово! — послышался ропот в конце зала.

— Подмастерье Эрикссон... пишется через одно или через два «с»? — спросил председатель, которому суфлировал секретарь.

На передней скамейке раздался громкий смех.

— Я никак не пишушь, господа, я доказываю и спорю! Если бы у меня была возможность говорить, я сказал бы, что забастовщики правы: помещики и фабриканты, которые ничего больше не делают, как бегают друг к другу с визитами и занимаются тому подобной ерундой, богатеют и жиреют, потому что живут потом своих рабочих! Но мы знаем, почему вы не хотите оплачивать наш труд; потому что мы можем получить право голоса на выборах в риксдаг, а этого вы боитесь...

— Господин председатель!

— Ротмистр фон Спорн!

— И мы знаем, что налоговый комитет снижает налог на богатых всякий раз, когда он достигает определенного уровня. Если бы у меня была возможность говорить, я сказал бы еще много чего другого, но от этого все равно толку мало...

— Ротмистр фон Спорн!

— Господин председатель, господа! Для меня явилось полнейшей неожиданностью, что в столь почтенном собрании, завоевавшем с высочайшего соизволения своим достойным поведением столь высокую репутацию, разрешают людям без всякого парламентского такта компрометировать наш уважаемый союз своим наглým пренебрежением всеми правилами приличия. Поверьте мне, господа, ничего подобного не могло бы случиться в стране, где люди с юности знают, что такое военная дисциплина...

— Всеобщая воинская повинность! — сказал Эрикссон Олле.

— ...которая приучает человека управлять самим собой и другими! Я выражаю нашу общую надежду, что подобные выходки никогда больше не будут иметь места среди нас... я говорю «нас», ибо я тоже рабочий... перед лицом всевышнего мы все рабочие... и я это говорю как член нашего союза, и для меня стал бы траурным тот день, когда мне пришлось бы взять обратно свои слова, сказанные недавно на другом собрании, да, на собрании Национального союза друзей воинской повинности: «Я высоко ценю шведского рабочего!»

— Bravo! Bravo! Bravo!

— Союз принимает предложение подготовительного комитета?

— Да! Да!

Следующий пункт повестки дня:

— «По предложению некоторых членов союза подготовительный комитет ставит вопрос о том, чтобы в связи с конфирмацией его высочества герцога Дальсландского и в знак признательности шведских рабочих королевскому двору, а в настоящее время и как выражение их негодования по поводу рабочих беспорядков, которые под именем Парижской коммуны несут неисчислимые бедствия столице

Франции, собрать средства на приобретение с последующим подношением почетного дара, стоимость которого, однако, не должна превышать трех тысяч риксдалеров».

— Господин председатель!

— Доктор Хаберфельд!

— Нет, это я, Эрикссон, я прошу слова!

— Ну что ж! Слово предоставляется Эрикссону!

— Я хочу сообщить, что Парижская коммуна — дело рук не рабочих, а чиновников, адвокатов, офицеров — таких же вот друзей воинской повинности — и журналистов! И если уж на то пошло, я предложил бы всем этим господам выразить свои чувства в поздравлении по случаю конфирмации его высочества!

— Принимает ли союз предложение, внесенное подготовительным комитетом?

— Да! Да!

Писари тут же начали что-то писать и что-то сверять, и все разом заговорили, как в самом риксдаге.

— Здесь всегда так? — спросил Фальк.

— Что, весело? — усмехнулся Эрикссон. — Так весело, что с досады хочется рвать на себе волосы! Одно слово — коррупция, коррупция и еще предательство. Всеми ими движет только корыстолюбие и подлость; ни одного человека с сердцем, который бы честно делал свое дело! Вот почему все произойдет именно так, как должно произойти.

— А что произойдет?

— Еще увидим! — ответил столяр, хватая Олле за руку. — Ты готов? — продолжал он. — Они, конечно, набросятся на тебя, но ты не робей!

Олле лукаво подмигнул.

— Доклад о Швеции делает Улоф Монтанус, подмастерье скульптора, — начал председатель. — Как мне представляется, тема эта очень большая и сформулирована несколько расплывчато, но если докладчик обещает уложиться в полчаса, то мы с удовольствием послушаем его. Что скажете, господа?

— Да!

— Господин Монтанус, пожалуйста, вам слово!

Олле встряхнулся, как собака, приготовившаяся к прыжку, и пошел к трибуне под пристальными взглядами всего зала.

Между тем председатель затеял небольшую беседу с передней скамьей, а секретарь, сладко зевнув, взял газету, чтобы показать, что отнюдь не намерен слушать доклад.

Олле невозмутимо поднялся на трибуну, опустил свои тяжелые веки, пожевал несколько раз губами, давая слушателям понять, что собирается начать, и, когда стало совсем тихо, так тихо, что было слышно, о чем говорит ротмистру председатель, сказал:

— О Швеции. Кое-какие соображения

Немного помолчав, он продолжал:

— Господа! Мне представляется, что отнюдь нельзя назвать бездоказательным утверждение, будто самая плодотворная идея

нашей эпохи, ее главная движущая сила — это преодоление узколобого национального самосознания, которое разделяет народы и превращает их во врагов; мы знаем средства, служащие достижению этой цели: международные выставки с присуждением почетных дипломов!

Слушатели недоуменно переглядываются.

— Куда он гнет? — спрашивает Эрикссон. — Немного резко, а в общем пока все хорошо!

— Как всегда, шведская нация идет во главе мировой цивилизации и в значительно большей степени, чем любая другая просвещенная нация, осуществляет на практике идею космополитизма, добившись в этом отношении, если судить по имеющимся у нас данным, немалых результатов. Этому в значительной мере способствовало весьма благоприятное стечение обстоятельств, коротко рассмотрим которые, мы перейдем к таким более удобоваримым предметам, как формы государственного управления, налоговая система и так далее.

— Ну, это он надолго, — говорит Эрикссон, толкая в бок Фалька. — А ведь он забавный парень!

— Всем известно, что первоначально Швеция была немецкой колонией, а шведский язык, который сохранился почти без изменений до наших дней, — это верхненемецкий, состоящий из двенадцати диалектов. Провинциям поначалу было чрезвычайно трудно поддерживать какие бы то ни было связи между собой, и это обстоятельство стало важным фактором, противодействующим развитию нездорового национального чувства. Между тем другие, не менее счастливые обстоятельства противодействовали одностороннему немецкому влиянию, которое, однако, зашло так далеко, что, например, при Альбрехте Мекленбургском Швеция стала немецкой провинцией. Это в первую очередь завоевание датских провинций, таких как Сконе, Блекинге, Халланд, Бухюслен и Дальсланд; эти богатейшие провинции Швеции населены датчанами, которые до сих пор говорят на языке своей родины и отказываются признать шведское господство.

— Господи, к чему он клонит? Он что, спятил?

— Обитатели Сконе, например, по сей день считают своей столицей Копенгаген и образуют в риксдаге враждебную правительству партию. Так же обстоят дела с датским Гётеборгом, который не признает Стокгольм столицей государства; однако сейчас в Гётеборге заправляют англичане, основавшие здесь колонию. Они занимаются прибрежным рыболовством и зимой держат в своих руках почти всю крупную торговлю, а летом уезжают к себе на родину и там, на Шотландском плоскогорье, наслаждаются богатыми плодами трудов своих. Очень разумный народ эти англичане. Помимо всего прочего, они издают газету, в которой хвалят все, что делают, и никого другого при этом не задевают и не порицают.

Далее, не нужно забывать иммиграцию, которая время от времени приобретала большие масштабы. В наших финских лесах

живут финны, но финны живут и в столице, куда они переселились из-за тяжелых политических условий у себя на родине.

На наших металлургических заводах работает много валлонов, которые переселились сюда в семнадцатом веке и по сей день говорят на ломаном французском языке. Как известно, именно валлон ввел в Швеции новую конституцию, которую привез из Валлонии. Крепкий народ и безукоризненно честный!

— Нет, во имя... что он такое несет!

— Во времена Густава Адольфа сюда перебралось много шотландских бродяг, которые нанимались в солдаты и потому тоже попали в Рыцарский замок!

На восточном побережье живет немало семей, которые до сих пор хранят в памяти предания о переселении из Ливонии и других славянских областей, поэтому там нередко можно увидеть чисто татарский тип лица.

Я утверждаю, что шведский народ неуклонно шел по пути полной утраты своей национальной специфики! Раскройте «Геральдику шведского дворянства» и посчитайте чисто шведские имена. Если их наберется больше двадцати пяти процентов, можете отрезать мне нос, господа!

Раскройте адресную книгу — я сам подсчитал имена на «Г»: из четырехсот двести оказались иностранного происхождения! В чем тут причина? Причин много, но главные — внедрение иностранных династий и захватнические войны. Если только вспомнить, сколько всякого сброда сидело на шведском престоле, то остается только удивляться, что нация и поныне сохраняет верность своим королям. Положение конституции, гласящее, что король обязательно должен быть иностранцем, неизбежно приводило — и привело — к утрате национального самосознания! Мое глубокое убеждение, что наша страна может только выиграть от присоединения к другим нациям; потерять она не может ничего, поскольку нельзя потерять то, чего у тебя нет. Шведской нации явно не хватает национального самосознания; это подметил еще Тегнер в тысяча восемьсот одиннадцатом году и, проявив крайнюю недалекость, горько оплакивал в своей «Швеции», но было уже слишком поздно, так как рекрутские наборы и нелепые захватнические войны успели нанести расе непоправимый вред. Из одного миллиона жителей, которые при Густаве Втором Адольфе составляли население Швеции, семьдесят тысяч полноценных мужчин были взяты под ружье и загублены. Сколько людей погубили Карл Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый, сказать точно я не могу, но нетрудно представить себе, какого потомства можно было ожидать от тех, кто остался дома, если все они были забракованы как негодные к военной службе!

Я возвращаюсь к своему утверждению, что нам не хватает национального самосознания. Может ли кто-нибудь из вас назвать мне что-то специфически шведское, кроме наших сосен, елей и железных рудников, продукция которых скоро будет не

нужна на мировом рынке? Что такое наши народные песни? Французские, английские и немецкие песенки в плохом переводе на шведский язык! Что такое наши национальные костюмы, об исчезновении которых мы так горюем? Старые обноски средневековых дворянских костюмов! Еще при Густаве Первом жители Даларна требовали наказания для тех, кто носил пестрые платья замысловатого покроя. Вероятно, пестрый придворный наряд, так называемый бургундский костюм, тогда еще не попал к модницам из Даларна! И наверняка с тех пор его покроем претерпел в соответствии с модой значительные изменения.

Назовите мне хоть одно шведское стихотворение, произведение искусства, музыкальную пьесу, которые были бы специфически шведскими, тем самым отличаясь от всего не-шведского! Покажите мне шведское здание! Такого здания нет, а если и есть, то либо оно плохое, либо построено по иностранному образцу.

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что шведская нация — нация бездарная, тщеславная, рабская по духу, завистливая, ограниченная и грубая! И поэтому в самом недалеком будущем ее ждет гибель!

В зале поднялся невообразимый шум. Можно было разобрать отдельные выкрики, призывающие вспомнить о Карле XII.

— Господа, Карл Двенадцатый умер, и пусть он мирно спит до следующего праздника! Ведь именно его мы должны в первую очередь благодарить за утрату национального самосознания, и поэтому, господа, предлагаю вам присоединиться к моему четырехкратному «ура»! Господа! Да здравствует Карл Двенадцатый!

— Прошу собрание соблюдать порядок! — крикнул председатель.

— Можно ли представить себе большее скотство, чем то, когда нация учится писать стихи по иноземным образцам! Тысячу шестьсот лет эти бараны ходили за плугом, и им даже в голову не приходило писать стихи! Но вот появляется какой-то чудак, служивший при дворе Карла Одиннадцатого, и наносит ужасный вред всему делу ликвидации национального самосознания. Раньше все писали по-немецки, а теперь им пришлось писать по-шведски! Поэтому, господа, предлагаю вам присоединиться к моему призыву: долой глупого пса Георга Шёрнеля!

— Как его звали? Эдвард Шёрнстрём! — Председатель стучит молотком по столу, всеобщее негодование. — Хватит! Долой предателя! Он насмехается над нами!

— Шведская нация умеет только кричать и драться! И поскольку у меня нет возможности перейти к органам управления и королевским усадьбам, я только скажу, что раблепные негодяи, которых я наслушался сегодня вечером, вполне созрели для самодержавия! И вы получите самодержавие! Можете быть уверены! Будет у вас самодержавие!

От толчка сзади слова застряли у оратора в горле, и, чтобы не упасть, он ухватился за трибуну.

— Неблагодарный сброд, не желающий слушать правду...

— Гоните его в шею! Рвите на куски! — Олле сбросили с трибуны, но в самый последний момент под градом ударов он завопил как безумный:

— Да здравствует Карл Двенадцатый! Долой Георга Шёрн-ельма!

Олле и Фальк очутились на улице.

— Что на тебя нашло? — спросил Фальк. — Ты с ума сошел!

— Да, кажется, ты прав. Почти шесть недель я готовил свою речь, знал назубок все, что хотел сказать, но когда поднялся на трибуну и увидел их глаза, все пошло прахом: вся моя аргументация развалилась как карточный домик, земля ушла из-под ног, а мысли спутались. Что, получилось неважно?

— Да уж куда хуже! И от газет тебе еще достанется на орехи!

— Жалко, что так вышло. А мне казалось, я говорю так ясно. И все-таки хорошо, что я задал им жару!

— Ты этим вредишь делу, которому служишь; больше тебя никто не захочет слушать.

Олле вздохнул.

— И чего ты, господи, привязался к Карлу Двенадцатому? Вот это уж совсем напрасно.

— Не спрашивай меня! Я ничего не знаю! Ну, а ты все еще пылаешь любовью к рабочему? — продолжал Олле.

— Мне жаль его — он позволяет водить себя за нос всяким авантюристам, но я никогда не изменю его делу, ибо это самый важный вопрос ближайшего будущего, по сравнению с которым вся ваша политика — пустой звук!

Олле и Фальк прошлись немного, потом направились к центру города, повернули на Малую Новую улицу и решили заглянуть в кафе «Неаполь».

Шел уже десятый час, и в кафе было почти пусто. За столиком у самой стойки сидел один-единственный посетитель. Он что-то читал молоденькой официантке, которая сидела рядом и шила. У них был очень милый и уютный вид, но, по-видимому, эта картина произвела на Фалька не очень приятное впечатление, потому что, сделав порывистое движение, он вдруг изменился в лице.

— Селлен! Ты здесь! Добрый вечер, Бэда! — сказал он с сердечностью, явно наигранной, что было ему совсем не свойственно, и взял молодую девушку за руку.

— Неужели это ты, брат Фальк? — воскликнул Селлен. — Оказывается, ты тоже заглядываешь сюда? А я уж решил, не иначе что-нибудь стряслось, раз мы так редко встречаемся в Красной комнате.

Фальк и Бэда обменялись взглядами. У Бэды была слишком изысканная внешность для этого заведения: изящное интеллигентное лицо, на котором горе оставило свои следы; стройная фигурка, отмеченная своенравной, но целомудренной игрой линий; глаза были постоянно обращены кверху, словно высматривали несчастье, ниспосланное небом, хотя могли сыграть в любую игру,

которая соответствовала бы в данный момент ее расположению духа.

— Какой ты сегодня серьезный! — сказала она Фальку, глядя на шитье.

— Я был на одном очень серьезном собрании, — сказал Фальк, краснея, как девушка. — А что вы читаете?

— Посвящение к «Фаусту», — ответил Селлен и, протянув руку, стал перебирать шитье Бэды.

На лицо Фалька набежала черная тень. Разговор стал принужденным и вымученным. Олле весь ушел в свои мысли, очевидно подумывая о самоубийстве.

Фальк попросил газету, и ему принесли «Неподкупного». И тут ему пришлось в голову, что он забыл посмотреть в «Неподкупном» рецензию на свои стихи. Он раскрыл газету и, пробежав глазами третью страницу, быстро нашел то, что искал. В статье не было комплиментов, но не было и грубых выпадов; она была продиктована подлинным и глубоким интересом к поэзии. Критик писал, что стихи Фалька не хуже и не лучше, чем вся остальная современная поэзия, в них так же много себялюбия и так же мало смысла; они повествуют только о личной жизни автора, о его незаконных связях, выдуманных или действительных, кокетничают с его мелкими грешками, но не выражают ни малейшего огорчения по поводу грехов больших; они ничем не лучше английской камерной поэзии, и автору следовало бы поместить перед заголовком книги гравюру со своим портретом, которая стала бы иллюстрацией к тексту, и так далее. Эти простые истины произвели на Фалька глубокое впечатление, поскольку до этого он прочитал только панегирик в «Сером плаще», написанный Струве, и хвалебную рецензию в «Красной шапочке», продиктованную личной симпатией к нему рецензента. Он коротко попрощался и встал.

— Ты уже уходишь? — спросила Бэда.

— Да. Завтра встретимся?

— Конечно, как обычно. Спокойной ночи!

Селлен и Олле последовали за ним.

— Очаровательная девушка! — сказал Селлен после того, как некоторое время они молча шли по улице.

— Попрошу тебя выражаться более сдержанно, когда ты говоришь о ней.

— Если я не ошибаюсь, ты влюблен в нее?

— Да, влюблен и надеюсь, ты не возражаешь?

— Пожалуйста, я вовсе не собираюсь становиться тебе поперек дороги.

— И прошу тебя не думать о ней плохо...

— Я и не думаю. Когда-то она работала в театре...

— Откуда ты знаешь? Она ничего не говорила мне об этом.

— А мне говорила. Никогда нельзя верить этим маленьким чертовкам!

— Но ведь в этом нет ничего дурного. Я постараюсь забрать ее отсюда как можно скорее; пока что все наши встречи

сводятся к тому, что по утрам в восемь часов мы идем в парк и пьем воду из источника.

— Как невинно! А по вечерам вы никогда не ходите ужинать?

— Мне и в голову не приходило сделать ей такое непристойное предложение, да она наверняка с возмущением отказалась бы его принять! Ты смеешься! Что ж, смейся! А я еще верю в любовь женщины, к какому бы общественному классу она ни принадлежала и какие бы зловключения ни выпали на ее долю! Она призналась, что в жизни у нее далеко не все было так уж гладко, но я обещал никогда не спрашивать ее о прошлом.

— Значит, у тебя это серьезно?

— Да, серьезно!

— Тогда другое дело. Спокойной ночи, брат Фальк! Олле, ты, наверное, пойдешь со мной?

— Спокойной ночи!

— Бедный Фальк, — сказал Селлен Олле. — Теперь наступила его очередь пройти через это испытание, но его не избежать, как не избежать смены молочных зубов на постоянные: пока не влюбишься, не станешь мужчиной.

— А что собой представляет эта девушка? — спросил Олле только из вежливости, потому что мысли его были далеко-далеко.

— По-своему она очень неплохая девушка, но Фальк воспринимает ее слишком уж серьезно; она подыгрывает ему, пока не потеряла надежду заполучить его, но если дело затянется, ей все это надоест, и у меня нет никакой уверенности, что время от времени она не станет развлекаться где-нибудь на стороне. Нет, здесь надо действовать по-другому: не ходить вокруг да около, а сразу брать быка за рога, не то кто-нибудь непременно помешает. А у тебя, Олле, было что-нибудь в этом роде?

— У меня был ребенок от служанки, которая работала у нас в деревне, и за это отец выгнал меня из дому. С тех пор мне на женщин наплевать.

— Ну, у тебя все обстояло гораздо проще. А быть обманутым, можешь мне поверить, — ой! ой! ой! — как это неприятно. Надо иметь нервы как скрипичные струны, если хочешь играть в эти игры. Посмотрим, чем все это кончится для Фалька; глупо, но некоторые смотрят на подобные вещи слишком серьезно. Итак, ворота открыты! Входи же, Олле! Надеюсь, нам уже постелили, так что тебе будет удобно спать; но ты должен извинить мою старую горничную за то, что она не может как следует взбить перину, понимаешь, у нее ослабли пальцы, а перья в перине сваялись, и, возможно, лежать будет немного жестко.

Они поднялись по лестнице.

— Входи, входи! — сказал Селлен. — Старая Става, наверно, только что проветривала комнату или вымыла пол, по-моему, пахнет сыростью.

— Ну и артист! Что тут мыть, когда и пола-то нет?

— Нет пола? Тогда другое дело. Куда же девался пол? Может быть, сгорел? Впрочем, это не имеет значения. Пусть будет нам постелью мать-земля, или щебенка, или что там еще есть!

Они улеглись прямо в одежде, подстелив куски холста и старые рисунки, а под голову положили папки. Олле зажег спичку, достал из кармана свечной огарок и поставил его возле себя на пол; в большой пустой комнате забрезжил слабый огонек, который, казалось, оказывал яростное сопротивление огромным массам тьмы, врывавшейся через громадные окна.

— Сегодня холодно, — сказал Олле, доставая какую-то засаленную книгу.

— Холодно? Нисколько! На улице всего двадцать градусов мороза, значит, у нас здесь не меньше тридцати, мы ведь живем высоко. Как ты думаешь, сколько сейчас времени?

— По-моему, у святого Иоанна только что пробил час.

— У Иоанна? Но у них там нет часов. Они такие бедные, что давно заложили их.

Воцарилось продолжительное молчание, которое первым нарушил Селлен:

— Что ты читаешь, Олле?

— А тебе не все равно?

— Все равно? Ты бы повежливей, все-таки в гостях.

— Это старая поваренная книга, которую я взял почитать у Игберга.

— Правда, черт побери? Тогда давай почитаем вместе: за весь день я выпил чашку кофе и три стакана воды.

— Так, что же мы будем есть? — спросил Олле, перелистывая книгу. — Хочешь рыбное блюдо? Ты знаешь, что такое майонез?

— Майонез? Не знаю! Читай про майонез! Звучит красиво!

— Ты слушаешь? «Рецепт сто тридцать девятый. Майонез. Масло, муку и немного английской горчицы смешать, обжарить и залить крепким бульоном. Когда закипит, добавить сбитые яичные желтки, после чего охладить».

— Нет, черт побери, этим не наешься...

— Еще не все. «Добавить растительное масло, винный уксус, сливки и перец...» Да, теперь и я вижу, что это нам не годится. Не хочешь ли чего-нибудь поосновательней?

— Почитай-ка про голубцы, это самое вкусное, что я только знаю.

— Нет, не могу больше читать вслух, хватит.

— Ну, пожалуйста, почитай еще!

— Оставь меня в покое!

Они снова замолчали. Свечка погасла, и стало совсем темно.

— Спокойной ночи, Олле, закутайся во что-нибудь, а то замерзнешь.

— Во что же мне закутаться?

— Сам не знаю. Правда, здесь презабавно?

— Не понимаю, почему люди не кончают самоубийством в такой собачий холод.

— Это совсем не обязательно. Хотел бы я знать, что будет дальше.

— У тебя есть родители, Селлен?

— Нет, ведь я внебрачный; а у тебя?

— Есть, но их все равно что нет.

— Благодарю провидение, Олле; нужно всегда благодарить провидение... хотя я и не знаю, за что его благодарить. Но пусть так и будет!

Снова воцарилось молчание; на этот раз первым заговорил Олле:

— Ты спишь?

— Нет, лежу и думаю о статуе Густава Адольфа; пове-
ришь ли...

— Тебе не холодно?

— Холодно? Здесь так тепло!

— Правая нога у меня совсем ооченела.

— Втащи на себя ящик с красками, засунь под одежду кисти, и тебе сразу станет теплее.

— Как ты думаешь, живется еще кому-нибудь так же плохо, как нам?

— Плохо? Это нам-то живется плохо, когда у нас есть крыша над головой? Я знаю одного профессора из академии, ходит в треугольной шляпе и при шпаге, а ему приходится гораздо хуже. Профессор Лундстрём половину апреля проспал в театре в Хмельнике! В полном его распоряжении была вся левая ложа у авансены, и он утверждает, что после часа ночи в партере не оставалось ни одного свободного места; зимой там всегда очень уютно, не то что летом. Спокойной ночи, теперь я сплю!

И Селлен захрапел. А Олле встал и долго ходил взад и вперед по комнате, пока на востоке не заалел рассвет; и тогда день сжалился над ним и послал ему покой, которого не дала ночь.

Глава двадцать пятая

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА

Прошла зима: медленно для самых несчастных, чуть побыстрее для менее несчастных. И наступила весна с обманчивой надеждой на солнце и зелень, а потом было лето — короткая прелюдия к осени.

Как-то майским утром литератор Арвид Фальк из редакции «Рабочего знамени» шел под палящим солнцем по набережной и смотрел, как стоят под погрузкой и отчаливают от берега суда. Внешность его давно уже не была столь изысканной, как

прежде; его черные волосы отросли несколько длиннее, чем предписывала мода, а борода à la Генрих IV придавала его исхудалому лицу выражение какой-то необузданности. Глаза горели тем зловещим огнем, какой обычно выдает фанатиков и пьяниц. Казалось, он ищет подходящее судно, но никак не может решить, какое выбрать. После долгих колебаний он подошел к матросу, который вкатывал на палубу брига вагонетку с тюками. Фальк вежливо приподнял шляпу.

— Скажите, пожалуйста, куда идет это судно? — спросил он застенчиво, хотя самому ему казалось, будто он говорит смело и решительно.

— Судно? Но я не вижу никакого судна!

Все, что стояли вокруг, разразились смехом.

— Если хотите узнать, куда идет бриг, прочитайте вон там! Фальк сначала несколько оторопел, но потом рассердился и запальчиво сказал:

— Вы что, не можете вежливо ответить, когда вас вежливо спрашивают?

— А пошел ты к черту! И не очень-то шуми здесь! Не то попадет!

На этом разговор закончился, и Фальк принял наконец нужное решение. Он повернулся, прошел по переулку, пересек Торговую площадь и свернул на Киндстугатан. Он остановился у подъезда очень грязного дома. И снова его охватили колебания, потому, что он никак не мог преодолеть свою врожденную нерешительность. В этот момент появился оборванный косоглазый мальчуган с длинными полосами гранок в руках; едва он попытался прошмыгнуть мимо Фалька, как тот схватил его за плечо.

— Редактор у себя? — спросил Фальк.

— Да, он здесь с семи часов, — ответил мальчуган, запыхавшись.

— Обо мне спрашивал?

— Да, много раз.

— Злой?

— Да-а. Как всегда.

И мальчуган стрелой полетел вверх по лестнице. Последовав за ним, Фальк вошел в редакционную комнату. Это была жалкая каморка с двумя окнами, выходившими на темную улицу; возле каждого окна стоял некрашенный стол с бумагой, пером, кипой газет, ножницами и бутылкой клея.

За одним из столов сидел наш старый приятель Игберг в изодранном черном сюртуке и читал корректуру; за другим столом, где обычно работал Фальк, расположился какой-то господин без пиджака и в черной шелковой шапке, как у коммунаров. Его лицо заросло рыжей окладистой бородой, а судя по его приземистой фигуре, можно было предположить, что он из рабочих. Когда Фальк вошел в комнату, коммунар сделал под столом резкое движение ногами и засучил рукава, обнажив синюю

татуировку с изображением якоря и буквы «R». Потом он взял ножницы, проткнул ими первую полосу утренней газеты, что-то вырезал и, сидя спиной к Фальку, грубо спросил:

— Где вы пропадали?

— Я был болен, — ответил Фальк, как ему самому показалось, вызываяще, но Игберг потом утверждал, что очень кротко.

— Ложь! Вы развлекались и пьянствовали! Вчера вечером вы сидели в «Неаполе», я вас видел!

— Я, кажется, могу сидеть...

— Вы можете сидеть где захотите, но сюда обязаны являться вовремя, согласно договору! Уже четверть девятого! Я знаю, есть умники, которые окончили университет и считают, что научились там всему на свете, но они не научились соблюдать порядок! Разве не безобразно опаздывать на службу? Только прохвост может вести себя так, что хозяину приходится делать за него его работу! Теперь все стало с ног на голову! Рабочий помыкает своим хозяином, который дает ему работу, а капитал из угнетателя превращается в угнетенного! Вот как обстоит дело!

— Это когда же вы пришли к такому выводу?

— Когда? Сейчас, сударь! Только сейчас! И надеюсь, он соответствует истине! Но я узнал еще кое-что! Вы, сударь, оказывается, невежда — вы не умеете писать по-шведски! Пожалуйста, взгляните! Что здесь написано? Читайте! «Мы надеемся, что всех тех, кого на будущий год призовут на военную службу...» Нет, вы слышали что-нибудь подобное! «Всех тех, кого...»

— Да, совершенно правильно! — сказал Фальк.

— Правильно? Да как вы можете это утверждать? В повседневной речи мы говорим «всех тех, которых», значит, так и надо писать.

— Но в винительном падеже...

— Не нужны мне ваши ученые фразы, на них далеко не уедешь! И нечего молоть вздор! И потом, вы пишете «призовут» через «о», а не через «а», хотя мы говорим «призвать»! Молчите! «Призовут» или «призавут», как правильно? Отвечайте!

— Говорят, конечно...

— Говорят «призавут», значит, так и надо писать! Может, я и глуп, если все на свете идет кувырком, может, я не умею говорить по-шведски! Но ничего, с этим я еще разберусь! А теперь за работу и больше не опаздывайте!

Он с рычанием вскочил со стула и вlepил затрещину мальчику, который принес корректуру.

— Ах ты, негодяй, спишь среди бела дня! Я отучу тебя спать на работе! Ты у меня сейчас получишь!

Он схватил свою жертву за подтяжки, швырнул на ворох непроданных газет и, вытащив из брюк ремень, начал пороть.

— Я не спал, не спал, я только немножко задремал! — кричал мальчик, извиваясь от боли.

— Ах, так ты еще и отпираешься! Уже научился лгать, но я научу тебя говорить правду... Ты спал или не спал? Ну, говори правду, а не то тебе будет плохо!

— Я не спал! — заикаясь, пролепетал несчастный, который был еще слишком молод и неопытен, чтобы выйти из трудного положения при помощи лжи.

— Ты все еще отпираешься! Какой закоренелый негодяй! Так нагло лгать!

Он уже хотел было снова взяться за юного поборника истины, но тут к нему подошел Фальк и твердо сказал:

— Не бейте мальчика; я видел: он не спал!

— Нет, вы только послушайте! Какой забавник! «Не бейте мальчика»! Кто это там высказывается? А то мне показалось, будто комар жужжит над ухом! Может, я ослышался? Надеюсь, что ослышался! Очень надеюсь! Господин Игберг! Вы славный человек! Вы не учились в университете! Скажите, вы случайно не заметили, спал или не спал этот мальчишка, которого я, как рыбу, держу сейчас за подтяжки?

— Если он и не спал, — ответил Игберг, флегматично и покорно, — то как раз собирался заснуть!

— Правильный ответ! Господин Игберг, подержите-ка его за брюки, а я возьму палку и поучу этого юнца говорить правду!

— Вы не имеете права бить его, — заявил Фальк. — Если вы только тронете его, я открою окно и позову полицейского!

— Я здесь хозяин и волен бить своих учеников сколько захочу! Он мой ученик и когда-нибудь будет работать в редакции. Обязательно будет, хотя некоторые субъекты с университетским образованием и полагают, что в газете без них не обойтись! Послушай, Густав, разве я не учу тебя газетному делу? Ну? Отвечай, но говори правду, а не то!..

Внезапно дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова — это была совершенно необычная голова, и она появилась здесь совершенно неожиданно, но в то же время это была всем хорошо знакомая голова, потому что ее рисовали уже пять раз.

Тем не менее эта, казалось бы, совсем неприметная голова оказала такое сильное действие на редактора, что он тут же набросил на себя пиджак, подпоясал брюки ремнем, поклонился и изобразил на лице улыбку, которая свидетельствовала о хорошей выучке.

Государственный деятель спросил, свободен ли редактор, на что тот ответил утвердительно, и, сняв свою коммунарскую шапку, окончательно утратил сходство с рабочим

Они вошли в кабинет редактора и плотно затворили за собой дверь.

— Интересно, какие теперь у графа планы? — спросил Игберг, с независимым видом усаживаясь на стул, как это делает школьник, когда учитель выходит из класса.

— Мне это совсем неинтересно, — ответил Фальк, — потому что теперь я знаю, какой он мошенник и какой наш редактор

мошенник, но мне интересно, как ты из бессловесного скота сумел превратиться в бесчестную собаку, способную на любую подлость.

— Не надо так горячиться, дорогой брат! Кстати, ты не был вчера вечером на заседании риксдага?

— Нет, не был. Риксдаг нужен лишь тем, кто преследует свои личные интересы. Чем кончилась эта грязная история с «Тритоном»?

— В результате голосования было решено, что, принимая во внимание высокую национально-патриотическую идею предприятия, государство берет на себя финансовые обязательства этого страхового общества, которое прекращает свое существование... или ликвидируется!

— Иными словами... государство подпирает здание, под которым разваливается фундамент, чтобы руководство успело вовремя удрать!

— А ты хотел бы, чтобы все эти мелкие...

— Знаю, знаю! Все эти мелкие акционеры... да, я хотел бы, чтобы, владея своим маленьким капиталцем, они работали, а не бездельничали, занимаясь ростовщичеством, но более всего я хотел бы засадить мошенников за решетку, чтобы им было неповадно создавать мошеннические предприятия. Это называется политическая экономия! Черт бы ее побрал!.. А теперь вот что я тебе скажу! Ты домогаешься моего места! Ты его получишь. Больше тебе не надо будет сидеть в своем углу и злиться на меня за то, что приходится чистить за мной корректуры. У этой свободомыслящей собаки, которую я презираю, лежит слишком много ненапечатанных статей, чтобы я вырезал для него все новые и новые небылицы. «Красная шапочка» оказалась для меня слишком консервативной, а «Рабочее знамя» — слишком грязным!

— Что ж, я рад, что ты расстанешься наконец со своими химерами и снова становишься благоразумным. Иди в «Серый плащ»; там тебя ждет успех!

— Я расстанусь только с одной химерой: я больше не верю, что дело угнетенных в достойных руках; я считаю важнейшей задачей разъяснять широкой публике, что такое общественное мнение и как оно формируется, особенно средствами печати; но само дело я никогда не оставлю!

Дверь в редакторский кабинет снова отворилась, и оттуда вышел сам редактор. Он остановился посреди комнаты и неестественно мягким, почти любезным тоном сказал:

— Господин ассессор, не будете ли вы так добры принять на время моего отсутствия руководство редакцией: я должен уехать на один день с очень важным поручением. С текущими делами вам поможет управиться господин Игберг. Граф немного задержится у меня в кабинете. Надеюсь, господа, вы не откажетесь в случае надобности оказать графу необходимую помощь.

— В этом нет никакой нужды, — отозвался граф из кабинета, где он сидел, склонившись над рукописью.

Редактор ушел, и, как ни странно, через две минуты или около того ушел и граф: очевидно, он не хотел, чтобы его увидели в обществе редактора «Рабочего знамени».

— Ты уверен, что он сразу уехал? — спросил Игберг.

— Надеюсь, — ответил Фальк.

— Тогда я схожу на набережную, посмотрю, чем там торгуют. Кстати, ты видел Бэду с тех пор?

— С тех пор?

— Да, с тех пор, как она ушла из «Неаполя» и сняла себе комнату.

— Откуда ты знаешь?

— Ради бога, не выходи из себя, Фальк! Тебе же только хуже!

— Ладно, не буду, а то и с ума сойти можно. Ах, эта маленькая женщина, которую я так, так любил! А она меня так бессовестно обманула! То, в чем она отказывала мне, она отдала этому жирному лавочнику! И знаешь, что она мне сказала? Что это лишь доказывает, какой чистой любовью она меня любит!

— Какая тонкая диалектика! И она права, потому что главный тезис абсолютно верен! Она все еще любит тебя?

— Во всяком случае, она преследует меня!

— А ты?

— Я ненавижу ее всем сердцем, но боюсь ее.

— Значит, ты все еще любишь ее.

— Давай переменим тему!

— Спокойствие, Фальк. Бери пример с меня. А я пойду и прогреюсь на солнышке. Нужно находить хоть что-нибудь приятное в этом бренном мире. Густав, если хочешь, можешь сходить на часок к Немецкому колодцу и поиграть «в пуговки».

Фальк остался один. Лучи солнца перескакивали через крутую крышу дома, что стоял напротив, и согревали комнату; он открыл окно и выглянул на улицу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом, но вдохнул лишь удушливые испарения из водосточной канавы; он посмотрел направо, и в узких проходах между домами, именуемых Киндстугатан и Немецкие горы, увидел вдали пароход, сверкавшие на солнце волны озера Меларен и скалу, в расщелинах которой лишь недавно появилась растительность. Он подумал о тех, кто поплывет на этом пароходе и будет наслаждаться летним отдыхом, купаться в озере и любоваться природой. Но тут жестящик с такой силой стал бить молотком по кровле, что загремел весь дом и зазвенели стекла; двое работников тащили по мостовой грохочущую тележку, а из трактира на другой стороне улицы разлило водкой, брагой, опилками и словыми ветками. Фальк отошел от окна и сел за стол; перед ним лежало около сотни провинциальных газет, из которых ему предстояло сделать вырезки. Он снял манжеты и взялся за газеты: они пахли краской, маслом и на всем оставляли черные

пятна — вот и все, что можно было о них сказать; он вырезал совсем не то, что казалось ему действительно заслуживающим внимания, так как был обязан соотноситься с общим направлением газеты.

Если рабочие какого-нибудь завода преподносили мастеру серебряную табакерку, такую заметку нужно было немедленно вырезать и опубликовать; если же хозяин фабрики вносил в рабочую кассу пятьсот риксдалеров, то сообщение об этом перепечатывать не следовало. Когда герцог Халландский в торжественной обстановке впервые запускал копёр, а управляющий стройкой Трелунд писал по этому случаю стихи, Фальк вырезал и репортаж и стихи, «потому что публика любит подобное чтиво»; если же он мог добавить к этому еще и пару саркастических замечаний, то тем лучше, ибо такая приправа публике всегда по вкусу. В общем, нужен был любой материал, который хвалил рабочих и порочил клерикалов, военных, крупных торговцев (не мелких), профессоров, известных писателей и судей. Кроме того, минимум раз в неделю следовало нападать на дирекцию Королевского театра, а также критиковать «во имя морали и нравственности» легкомысленные оперетки в постановке небольших театров, поскольку редактор пришел к заключению, что рабочие такие театры не жалуют. Раз в месяц нужно было обвинить в расточительности (и осудить!) членов городского муниципалитета, и при всяком удобном случае следовало критиковать формы государственного управления, но не правительство; строжайшей цензуре редактор подвергал любые выпады против членов риксдага и некоторых министров. Против кого именно? Это оставалось тайной, в которую не был посвящен даже сам редактор, поскольку все зависело от конъюнктуры, а о ней мог судить только таинственный издатель газеты.

Фальк работал ножницами, пока у него не почернела рука, и все клеил и клеил; но от бутылки с клеем исходил такой отвратительный запах, а солнце палило так немилосердно; у бедного столетника, который умел терпеть жажду, как верблюд, и покорно сносил все уколы раздраженного пера, был ужасно удрученный вид; стоило посмотреть на него — и в вашем воображении тотчас же возникала мертвая пустыня; от этих укулов он весь покрылся черными крапинками, а листья торчали, как ослиные уши, из совершенно высохшей земли. Вероятно, нечто подобное и возникло в воображении Фалька, пока он сидел, предаваясь праздности, и прежде чем он успел раскаяться в содеянном, он уже обрезал ножницами все кончики ушей. Затем, возможно, чтобы успокоить свою совесть, а возможно, чтобы не сидеть без дела, он смазал срезы клеем и стал наблюдать, как солнце их высушивает; потом глубоко задумался, где бы ему пообедать, ибо уже вступил на путь, который обрекает человека на гибель... или на так называемое «тяжелое материальное положение»; он закурил трубку, набив ее «Черным якорем», и клубы одурманивающего дыма поплыли в солнечных лучах, ненадолго проникших в комнату; теперь

он стал относиться более благожелательно к бедной Швеции, жизнь которой отражают, как принято думать, ежедневные, еженедельные и полунедельные издания, именуемые газетами. Отложив ножницы, он бросил в угол газеты и по-братски разделил со столетником содержимое глиняного кувшина, и вдруг ему показалось, что бедняга похож на какое-то — все равно какое — существо с подрезанными крыльями, которое стоит на голове в грязной воде и роется в иле в поисках каких-нибудь — все равно каких — жемчужин или, на худой конец, пустых раковин без жемчужин. Но тут его снова охватило отчаяние, словно дубильщик вдруг зацепил его своими длинными крючьями и швырнул в грязный чан отмокать, пока ножом не соскоблит с него кожу, чтобы он ничем не отличался от других людей. И он не чувствовал ни угрызений совести, ни сожаления о своей бессмысленно загубленной жизни, испытывая лишь горечь при мысли, что в расцвете молодости его ждет смерть, духовная смерть, а он еще не успел сделать ничего значительного, и его просто выбросят из жизни, как бросают в огонь никому не нужную ветку или тростинку!

Часы на Немецкой церкви пробили одиннадцать, и тут же колокола заиграли сначала «Жизнь божественно прекрасна», а потом «Моя жизнь — волна»; словно тоже подумав о волнах, итальянская шарманка с голосом флейты монотонно затянула «На прекрасном голубом Дунае»; такое обилие музыки, звучащей одновременно, словно вдохнуло новую жизнь в жестянщика, и он с удвоенной силой неистово заколотил по кровле; из-за этого шума Фальк не услышал, как дверь открылась и в комнату вошли двое. Один из них — высокий, худощавый, довольно мрачный на вид, с ястребиным носом и челкой; другой — толстый, коренастый блондин с лоснящимся от пота лицом, более всего напоминавшим морду животного, которое у евреев считается самым нечистым. Судя по их внешности, их занятия не требовали слишком больших затрат духовных и физических сил; в ней было нечто неопределенное, что свидетельствовало о беспорядочном образе жизни и нерегулярном труде.

— Ш-ш! — прошептал высокий. — Ты один?

Фальк, казалось, был и приятно и неприятно поражен их появлением.

— Один, совсем один; рыжий уехал.

— Прекрасно! Тогда пойдем поедим.

Против этого Фальку нечего было возразить; он запер редакцию и последовал за своими гостями в погребок «Звезда» на Восточной улице, где они уселись в самом темном углу.

— А вот и водка! — сказал толстый, и его потухшие глаза заблестели при виде бутылки.

Однако Фальк, который более всего нуждался в сочувствии и утешении, не обратил должного внимания на предложенные ему улады.

— Давно я уже не чувствовал себя таким несчастным, — сказал он.

— А ты скушай бутерброд с селедкой, — ответил высокий. — Мы же сейчас отведаем ридингенского сыра с тмином. Ш-ш! Официант! Тащи сюда блонбергскую смесь!

— Посоветуйте, что мне делать, — снова заговорил Фальк. — Я не могу больше работать с рыжим и должен подыскать...

— Ш-ш! Официант! Принеси бергманские хрустящие хлебцы! А ты, Фальк, пей и не болтай чепухи!

Выбитый из седла, Фальк больше не пытался найти успокоение своей мятущейся душе и решил пойти по другому, более просторному пути.

— Говоришь, надо выпить? Ну что ж, пить так пить!

Он не привык пить по утрам, и ему казалось, что яд разливается по его жилам, при этом он чувствовал странное наслаждение от кухонного чада, жужжания мух и запаха увядшего букета цветов, вставленного в грязную банку из-под горчицы. Даже не слишком приятное общество его собутыльников, в несвежих рубашках, замусоленных пиджаках, непричесанных и с физиономиями висельников, настолько гармонировало с его собственным ощущением приниженности своего положения, что он испытывал какую-то необузданную радость.

— Вчера мы были в Юргордене и хорошо выпили! — мечтательно сказал толстый, как бы заново переживая удовольствия, которые уже остались в прошлом.

Фальку нечего было на это ответить, и мысли его сразу же приняли совсем другой оборот.

— Ну разве не прекрасно, когда все утро ты совершенно свободен? — спросил высокий, по всей видимости, взявший на себя роль искусствителя.

— Ну конечно прекрасно! — ответил Фальк и посмотрел в окно, словно измеряя на глаз свою свободу, но увидел только пожарную лестницу и мусорный ящик на заднем дворе, куда падал лишь слабый отсвет летнего неба.

— А теперь выпьем по второй! Давай! Так! Ну, а как поживает общество «Тритон»? Ха-ха-ха-ха!

— Не смейся, — ответил Фальк. — На этом деле пострадает немало бедняг.

— Каких это бедняг? Бедных капиталистов? Тебе жалко тех, кто не работает и живет на проценты с капитала? Нет, мой мальчик, ты еще не избавился от своих предрассудков. Кстати, в «Шершне» опубликована довольно забавная история об одном оптике, который подарил детским яслям «Вифлеем» двадцать тысяч риксдалеров и за это получил орден Васы, а потом оказалось, что это были акции «Тритона» с солидарной ответственностью, и ясли обанкротились. Ну, не прелестно ли? Все их имущество составляли двадцать пять колыбелек и один портрет неизвестного художника, написанный маслом. Великолепно! Портрет оценили в пять риксдалеров. Прелестно, правда? Ха-ха-ха-ха!

Фальк без особого удовольствия выслушал эту историю, которая была ему известна во всех подробностях лучше, чем кому бы то ни было.

— А ты слышал, как «Красная шапочка» пробрала этого жулика Шёнстрёма, который издал на рождество свои жалкие стишки? — спросил толстый. — До чего приятно было прочесть хоть один правдивый отзыв о стихах этого проходимца! Я пару раз всыпал ему в «Гадюке», да так, что он долго не мог очухаться.

— Ну, ты был не совсем справедлив; у него неплохие стихи, — возразил высокий.

— Неплохие? Но намного хуже моих, которые разругал «Серый плащ», помнишь?

— Кстати, Фальк! Ты был в театре в Юргордене? — спросил высокий.

— Нет, не был.

— Жаль! Там сейчас хозяйничает эта лундхольмская банда. Их директор — наглый мошенник. Не прислал «Гадюке» ни одного билета, а когда вчера мы пришли в театр, он нас выгнал. Это ему даром не пройдет! Не хочешь ли разделаться с этой собакой? Вот бумага и карандаш! Сначала пишу я! «Театр и музыка», «Театр в Юргордене». Теперь пиши ты!

— Но я не видел его труппы.

— А на кой тебе черт ее видеть! Ты что, никогда не писал о том, чего не видел?

— Никогда! Я разоблачал жуликов, но никогда не нападал на честных людей, а его труппу я не знаю.

— О, это нечто невообразимое! Совершеннейший сброд! — подтвердил толстый. — Заостри свое перо и коли им в пятку, как ты хорошо умеешь это делать!

— А почему вы сами не колете? — спросил Фальк.

— Потому что наборщики знают наш почерк, а по вечерам они изображают на сцене толпу. Между прочим, этот Лундхольм — довольно буйный малый, он может вломиться в редакцию, и тогда придется сунуть ему рукопись в нос и объяснить, что таково мнение беспристрастного зрителя! Итак, Фальк пишет о театре, а я — о музыке. На этой неделе в Ладугорландской церкви был концерт. Его фамилия — Добрие? Кончается на «е»?

— Нет, Добри, без всякого «е»! — ответил толстый. — Главное, не забудь, что он тенор и исполнял «Stabat Mater»!

— Как это пишется?

— Сейчас узнаем, — сказал толстый редактор «Гадюки», снимая со шкафа для газометра кипу засаленных газет. — Здесь вся их программа, и, по-моему, уже есть одна рецензия.

Фальк не выдержал и рассмеялся.

— Не может же рецензия на спектакль появиться в тот самый день, когда о нем объявлено в газете?

— Может! Но сейчас не это главное. Мне надо как следует

раскритиковать этот французский сброд. А теперь берись за литературу, толстяк!

— Издатели присылают «Гадюке» книги? — спросил Фальк.

— Ты с ума сошел!

— Значит, вы сами покупаете книги только для того, чтобы отрецензировать их?

— Покупаем? Желторотый! Выпей-ка еще рюмку, развеселись и в награду получишь котлету!

— Может, вы вообще не читаете книг, на которые пишете рецензии?

— У кого, по-твоему, есть время читать книги? Разве не достаточно, что мы пишем о них? Мы читаем газеты, и этого чтения нам вполне хватает! А наш главный принцип — всех ругать!

— Очень глупый принцип.

— Ошибаешься! Тем самым мы привлекаем на свою сторону всех врагов и завистников данного автора и таким образом всегда оказываемся в большинстве, а те, кто настроен нейтрально, как правило, предпочитают славословию брань. По-видимому, для людей незаметных есть что-то обнадеживающее и утешительное в том, чтобы лишний раз убедиться, как тернист путь славы. Не правда ли?

— Да, но разве можно так легкомысленно играть судьбами людей?

— От этого только польза и старикам и молодым; уж кому как не мне это знать — ничего, кроме брани, я в молодости не слышал.

— Но вы вводите в заблуждение общественное мнение!

— Обществу не нужно никакого мнения. Обществу нужно удовлетворение своих страстей. Если я хвалю твоего врага, ты корчишься, как червяк, и заявляешь, что мне не хватает здравого смысла; если же я хвалю твоего друга, ты приходишь к заключению, что я рассуждаю очень здраво. Ну-ка, толстяк, берись за последнюю пьесу, поставленную в Драматическом театре; она только что вышла в свет.

— Ты уверен, что она уже вышла?

— Ну конечно! И потом, ты всегда можешь сказать, что в ней «нет действия», поскольку публика уже привыкла к тому, что так говорят; затем ты иронически похвалишь «прекрасный язык» пьесы — это добрый старый прием, который унизит ее автора; далее набросишься на дирекцию театра, принявшую пьесу к постановке, скажешь о том, что весьма сомнительным представляется «нравственное содержание пьесы», ибо это можно сказать обо всем на свете; саму постановку трогать не надо, ты просто напишешь, что разговор на эту тему «мы откладываем до следующего раза из-за недостатка места», и тогда уж наверняка не сморозишь какой-нибудь глупости из-за того, что не видел этой чепухи.

— А кто тот несчастный, что написал пьесу? — спросил Фальк.

— Этого мы еще не знаем.

— Подумайте тогда хотя бы о его близких — родителях, братьях и сестрах, которые прочтут этот материал, возможно, абсолютно не соответствующий действительности.

— Но какое все это имеет отношение к «Гадюке»? Можешь быть уверен, им непременно хотелось прочитать что-нибудь ядовитое о своих врагах; ведь все знают, о чем обычно пишет «Гадюка».

— Похоже, у вас совсем нет совести?

— А у публику, «почтеннейшей публики», которая нас содержит, совесть есть? Думаешь, мы бы выжили без ее поддержки? Хочешь послушать отрывок из моей статьи о состоянии современной литературы? Поверь, она не так уж плоха. У меня с собой есть оттиск. Но сначала давайте выпьем портера! Официант! Ш-ш! А теперь слушай; между прочим, если хочешь, можешь взять оттиск себе!

«Уже давно творцы шведской поэзии не издавали таких жалобных воплей, как они это делают сейчас; вой стоит отчаянный; здоровенные парни орут, как мартовские коты! И хотят привлечь к себе внимание мировой общественности, жалуясь на бледную немочь и полипы, поскольку другие средства им уже не помогли; ссылаться же на чахотку они не решаются, потому что это старо. А у этих немощных широкие спины, как у битюгов, и красные рожи, как у трактирщиков. Один стенает по поводу неверности женщины, хотя никогда не знал другой верности, кроме той, за которую платил проститутке; другой пишет, что у него «нет золота, а только лира», и ведь все врет: у него пять тысяч в процентных бумагах и кресло в Шведской академии! А третий, бесчестный и бессовестный циник, который не может открыть рта, не отравив воздух своим зловонным дыханием, разглагольствует о благодати божьей. Их стихи ничуть не лучше тех, что тридцать лет назад сочиняли под музыку барышни в пасторских усадьбах; им следовало бы писать стихи для кондитеров по двенадцать эре за дюйм, а не беспокоить издателей, печатников и рецензентов, которые делают из них поэтов! О чем они пишут? Да ни о чем, то есть о самих себе! Говорить о самом себе считается неприличным, но писать о себе, оказывается, вполне прилично! О чем же они горюют? О том, что несчастны! Несчастны! Вот и все! Если бы они высказали хотя бы одну-единственную мысль, которая имела бы хоть какое-то отношение к другим людям, ко времени, в котором мы живем, к обществу, если бы хоть один-единственный раз они рассказали об обездоленных и угнетенных, мы простили бы им их прегрешения, но ничего подобного они не сделали; поэтому вся их поэзия не что иное, как звон металла о металл, или нет, как грохочущий железный лом или треснувший шутовской бубенчик, ибо они не любят никого и ничего, кроме нового издания истории литературы Бьюрстена, Шведской академии и самих себя!» Ну что, остро написано?

— По-моему, здесь не все справедливо, — ответил Фальк.

— А по-моему, он их здорово разделал, — сказал толстый. —

Не в бровь, а в глаз! Во всяком случае, ты не можешь не признать, что статья написана превосходно. Верно? У этого длинного острое перо, проткнет даже подошву!

— А теперь заткнитесь и пишите — получите кофе с коньяком!

И они писали — о человеческом достоинстве, о ничтожестве — и разбивали сердца, как разбивают яйца!

Фальк испытывал огромную потребность подышать свежим воздухом; он открыл окно во двор, но двор был такой тесный, мрачный, окруженный со всех сторон высокими стенами домов, что человек чувствовал себя здесь как в могиле, а над ним был лишь маленький четырехугольник неба. И Фальку казалось, что он тоже сидит в могиле и, вдыхая винные пары и кухонный чад, справляет поминки по своей ушедшей молодости, добрым намерениям и чести своего имени; он понюхал сирень, стоявшую на столе, но от нее исходил только запах гнили, и тогда он снова посмотрел в окно, пытаясь остановить свой взгляд хоть на каком-нибудь предмете, который не вызывал бы омерзения, но увидел лишь заново просмоленный мусорный ящик, который стоял как гроб, наполненный всякими побрякушками и прочим ненужным хламом; его мысли устремились вверх, карабкаясь по пожарной лестнице, которая, казалось, вела из грязи, зловония и бесчестья на голубые небеса, но на ней не было ангелов, которые сновали бы вверх и вниз по ее ступенькам, а на самом верху он не увидел ни одного доброго лица — лишь пустое голубое ничто.

Фальк взял перо и только было начал штриховать буквы в заголовке «Театр», как его плечо сжала чья-то сильная рука, и решительный голос произнес:

— Пошли, мне надо с тобой поговорить!

Фальк поднял голову, удивленный и пристыженный. Возле него стоял Борг и, казалось, не намеревался отпустить его.

— Разрешить представить... — начал Фальк.

— Нет, не разрешаю, — перебил его Борг. — Не желаю знакомиться с пьяными литераторами. Пошли!

И он неудержимо потащил Фалька к двери.

— Где твоя шляпа? Вот она! Идем!

Они вышли на улицу. Борг взял Фалька под руку и повел на Железную площадь; там они зашли в магазин судовых товаров, и Борг купил пару парусиновых туфель, после чего потащил Фалька за собой через шлюз в гавань, где у причала стоял готовый к отплытию катер; на палубе катера сидел молодой Леви, читал латинскую грамматику и ел бутерброд.

— Это, — сказал Борг, — катер «Уриа»; название у него мерзкое, но ходит он превосходно и застрахован в акционерном обществе «Тритон»; а это — владелец катера Исаак, он читает латинскую грамматику Рабе — этот идиот решил стать студентом, — и ты все лето будешь его репетитором, а мы сейчас отправляемся отдыхать на Нэмдэ. Все по местам! Не рассуждать! Ясно? Отчаливай!

Глава двадцать шестая
ПИСЬМА

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмдэ, 18 июня...

Старый скандальный писака!

Поскольку я совершенно уверен, что ни ты, ни Левин не выплатили процентов, которые причитаются с вас за ссуду, взятую в Банке сапожников, то посылаю вам платежное обязательство на получение ссуды в Банке подрядчиков. Те крохи, что останутся после всех выплат, мы с вами по-братски разделим, и мою долю вы переправите пароходом на Даларё, где я ее и заберу.

Брат Фальк вот уже месяц находится под моим присмотром, и мне кажется, что он выздоравливает. Ты ведь помнишь, что он расстался с нами сразу же после лекции Олле и, вместо того чтобы воспользоваться помощью брата и своими связями, перешел в «Рабочее знамя», где давал над собой измываться за пятьдесят риксдалеров в месяц. Но, очевидно, воздух свободы, которым он дышал на Киндстугатан, совершенно деморализовал его, потому что он стал чуждаться порядочных людей и скверно одеваться. Все же время от времени мне удавалось проследить за ним через эту потаскуху Бэду — ты знаешь ее, — и когда я увидел, что он достаточно созрел для разрыва со своими коммунарами, я забрал его с собой. Я нашел его в погребке «Звезда», где он сидел в обществе двух газетных писаков и хлестал водку, и, по-моему, они еще что-то писали! Когда я уводил его, вид у него был, как у вас принято говорить, самый плачевный. Тебе ведь известно, что я смотрю на людей абсолютно безразличным взглядом; они для меня просто некий геологический препарат, как минералы; одни кристаллизуются в этой формации, другие — в той; почему так происходит, зависит от законов природы и обстоятельств, которые нам совершенно безразличны; я не плачу оттого, что известковый шпат не такой твердый, как горный хрусталь. Поэтому я не склонен называть состояние Фалька плачевным; оно — целиком и полностью продукт его характера (сердца, как вы это называете) и обстоятельств, рожденных его характером. Но в данном случае у него действительно был несколько пониженный тонус. Я посадил его на катер, и он все время вел себя довольно-таки пассивно. Но едва мы отвалили от причала и стали набирать скорость, он обернулся и увидел Бэду, которая стояла на берегу и махала ему рукой. И тогда парень совсем ошалел; он кричал, что должен вернуться, и грозился прыгнуть в воду. Я схватил его за руку и запихнул в каюту, а дверь запер. Когда мы проходили мимо Ваксхольма, я послал по почте два письма: одно редактору «Рабочего знамени», в котором прошу извинить Фалька за длительное отсутствие, а другое — его квартирной хозяйке с просьбой выслать ему одежду.

Тем временем он успокоился, а когда мы вышли в открытое море и увидели шхеры, он вдруг сделался сентиментальным и наговорил целую кучу всякой ерунды о том, что уже не чаял больше увидеть божию (!) зеленую землю и тому подобное. А потом его охватили угрызения совести. Он считал, что не имеет права чувствовать себя таким счастливым и проводить время в праздности, когда многие так несчастны, а также утверждал, что изменил своему долгу, покинув этого негодяя с Киндстугатан, и уже хотел было вернуться. Когда я растолковал ему, какую ужасную жизнь он вел последнее время, он ответил, что обязанность каждого человека страдать и трудиться ради своего ближнего; это убеждение носило у него в какой-то мере религиозный характер, однако, в конце концов, мне удалось его в этом разубедить с помощью минеральной воды и соленых ванн. Кажется, он вдруг весь развалился, и мне стоило немалого труда снова починить его, потому что было очень нелегко определить, где проходит грань между его физическим и психическим нездоровьем. Должен признаться, что в каком-то отношении он вызывает у меня изумление — восхищаться я не умею. У него просто какая-то мания действовать в ущерб собственным интересам. Ведь как хорошо бы ему жилось, если бы он преспокойно делал карьеру чиновника, тем более что его брат обещал ему в этом случае весьма значительную сумму денег. Вместо этого он посылает ко всем чертям почет и уважение общества и работает как каторжный на какого-то неотесанного грубияна — и все во имя идеи! Удивительно!

Все же, как мне представляется, он теперь на пути к выздоровлению, особенно после того последнего урока, который получил. Можешь себе представить, обращаясь к рыбаку, он называл его «господином» и снимал шляпу. Кроме того, он заводил с местным населением задушевные беседы, желая узнать, видишь ли, «как они живут». В результате рыбак заподозрил что-то неладное и в один прекрасный день явился ко мне и спросил, сам ли «этот Фальк» платит за пансион или за него это делает доктор, то есть я. Я рассказал об этом Фальку, и он очень огорчился, как это всегда с ним бывает, когда его благие намерения терпят крах. Через некоторое время он заговорил с рыбаком о всеобщем избирательном праве; после этого рыбак пришел ко мне и спросил, неужели Фальку совсем не на что жить.

Первые дни он, как безумный, метался по берегу; иногда он устраивал такие дальние заплывы в открытое море, словно уже не собирался вернуться обратно, а поскольку я всегда считал, что самоубийство — одно из священных прав человека, дарованное ему самой природой, то никогда не вмешивался в его действия. Между прочим, Исаак рассказал, что Фальк нередко изливает ему душу, жалуясь на эту нимфу Бэду, которая основательно надувает его.

Кстати, Исаак — умная голова, можешь мне поверить. За один месяц он проглотил Рабе и теперь читает Цезаря так же легко,

как мы читаем «Серый плащ», и, что самое главное, он знает содержание прочитанного, чего мы никогда не знали. У него очень восприимчивый ум, и в то же время он достаточно расчетлив, а это дар, благодаря которому многие становились великими людьми, хотя были круглыми дураками. Иногда вдруг проявляется его сметливость в практических вопросах, и совсем недавно он продемонстрировал нам свои блестящие коммерческие способности. Я ничего не знаю о его материальном положении, потому что он не любит распространяться на этот счет, но однажды я заметил, что он чем-то взволнован, оказалось, он должен был выплатить пару сотен риксдалеров. Поскольку он не мог обратиться к своему брату из «Тритона», с которым порвал, то пришел ко мне. Я ничем помочь ему не мог. Тогда он взял лист почтовой бумаги и написал письмо, которое отправил спешной почтой, и в течение нескольких дней все было тихо.

Перед домом, в котором мы живем, была прелестная дубовая роща, которая давала приятную тень; к тому же она защищала нас от морского ветра. Я ничего не понимаю в деревьях и вообще далек от природы, но люблю тень, когда жарко. В одно прекрасное утро я поднял шторы и не поверил своим глазам! Прямо перед нашими окнами расстился залив, а в заливе, примерно в кабельтове от берега, стояла на якоре шхуна. Вся роща была вырублена, а на пне сидел Исаак, читал Евклида и считал деревья, по мере того как их грузили на шхуну. Я разбудил Фалька; он был в отчаянии, ужасно рассвирепел и затеял перебранку с Исааком, который на этой операции положил себе в карман тысячу риксдалеров. Рыбак получил двести — больше он и не просил. Я очень рассердился — не из-за деревьев, а потому, что сам не додумался повернуть это дело. Фальк утверждает, что это в высшей степени непатриотично, но Исаак клянется, что убрал «весь этот древесный хлам», чтобы с берега открывался красивый вид на залив, и на следующей неделе он намерен взять лодку и с той же целью осмотреть соседние острова. Жена рыбака проплакала целый день, а ее старик отправился на Даларё купить ей красивую материю на платье; двое суток о нем не было ни слуху ни духу; вернулся он совершенно пьяный, и лодка оказалась пустой, а когда старуха спросила про материю, старик ответил, что где-то забыл ее.

До свидания! Напиши мне поскорее и Расскажи несколько скандальных историй, а еще позаботься о наших ссудах!

Твой смертельный враг и поручитель

Х. Б.

Р. S. Я прочел в газетах, что собираются создать Банк государственных служащих. Кто вкладывает в него деньги? Во всяком случае, держи это под контролем, чтобы в свое время забросить туда маленькую бумажку.

В связи с предстоящим присуждением мне ученой степени лицензиата прошу тебя опубликовать в «Сером плаще» следующую заметку:

Научное открытие. Кандидат медицинских наук Хенрик Борг, один из наших выдающихся молодых врачей, в результате зоотомических исследований в стокгольмских шхерах открыл новый вид из рода *Clupeaster*, который он весьма точно назвал *maritimus*.

Кожа животного покрыта чешуей и наростами в виде шипов. Это существо вызвало живейший интерес в научном мире.

Письмо Арвида Фалька Бэде Петерссон

Нэмдэ, 18 августа...

Когда я брожу по морскому берегу и вижу дербенник, пробивающийся сквозь песок и гальку, мне вспоминается, как всю зиму ты цвела в трактире на маленькой Новой улице.

* * *

Не знаю ничего приятнее, чем лежать, растянувшись на прибрежной скале, смотреть на море и чувствовать, как обломки гнейса щекочут ребра; и тогда меня вдруг охватывает тщеславие, и я воображаю себя Прометеем, а орел — это ты! — лежит в мягкой постели на Песчаной улице и ест ртуть.

* * *

От водорослей нет никакой радости, пока они растут на дне морском, но когда волны выбрасывают их на берег и они гниют, тогда они пахнут йодом, исцеляющим от любви, и бромом, исцеляющим от безумия.

* * *

На земле не было ада, пока не появился рай, то есть женщина! (Старо!!)

* * *

Далеко-далеко на взморье в небольшом гнезде живет пара гаг. При мысли о том, что размах крыльев у гаги составляет два фута, невольно задумываешься о чуде, а любовь — это чудо! Во всем мире я больше не нахожу себе места.

Письмо Бэды Петерссон ассессору Фальку

Стокгольм, 18 августа...

Дарагой Друг!

я только что палучила от тебя письмо но не могу сказать что я ево паняла, но я слышала что ты думаеш что я была на Песчаной

улице, но все это неправда и я знаю, что это болтает про меня этот негодяй, а это неправда и я уверяю тебя, что я люблю тебя так же сильно как и раньше и часто очень хочу увидеть тебя, но это мне наверно удастся нескоро.

Твоя верная *Бэда*.

Поскриптум. Дарагой Арвид, не можешь ли ты помочь мне тридцатью риксдалерами до пятнадцатого, а пятнадцатого я обязательно тебе их верну, потому что сама получу деньги. Я очень болела и иногда мне так грусно что хочется умереть. Хозяйка кафе такая дрянь, что приревновала меня к этому толстому Берглунду и поэтому я оттуда ушла, все что они болтают про меня это только клевета и неправда. Будь здоров и не забывай свою

Бэду.

Можешь послать деньги Хульде в кафе, и она мне их передаст.

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмдэ, 18 августа...

Консерватор и мошенник!

Ты, очевидно, растратил наши деньги, поскольку, во-первых, я не получил их, а во-вторых, мне прислали из Банка сапожников требование об уплате долга. Ты думаешь, что можно безнаказанно воровать, если у тебя «жена и дети»? Немедленно отчитайся в своих действиях, а не то я приеду в город и устрою скандал!

Заметку в «Сером плаще» я прочитал, и, разумеется, в ней есть опечатки: вместо «зоотомические» напечатано «зоологические», а вместо «clupeaster» — «срупеастер». Надеюсь, что тем не менее ее прочитали с интересом.

Фальк совсем обезумел после того, как получил письмо, написанное женским почерком. Он то лазит по деревьям, то ныряет на дно морское. Думаю, это кризис; я поговорю с ним и попытаюсь его образумить.

Исаак продал свою яхту, не спросив у меня разрешения, так что временно мы с ним в ссоре; сейчас он читает Ливия и создает акционерное общество, которое займется рыболовством.

Кроме того, он купил сеть для ловли салаки, ружье, двадцать пять чубуков, леску для ловли лососей, две сети для ловли окуней, сарай для невода и... церковь... Последнее звучит неправдоподобно, но это так! Правда, ее немного подпалили русские (в 1719 году), но стены остались целы (у здешних прихожан новая церковь, которую используют по назначению, а в старой устроили склад). Исаак намерен подарить ее Литературной академии и получить за это орден Васы. Орденами награждали и не за такую ерунду! Его дядя, трактирщик, получил Васу только за то, что угощал пивом и бутербродами глухонемых, когда осенью те при-

ходили на манеж. Так продолжалось шесть лет, но награждение положило этому конец! Никаких бутербродов глухонемые больше не получали, что лишний раз говорит о том, как вреден орден Васы!

Если я не утоплю этого парня, он не успокоится, пока не скупит всей Швеции.

А теперь выше голову и больше не ловчи, а не то я возьму тебя за горло, и тогда тебе конец.

Х. Б.

P. S. Когда будешь писать о курортниках, отдыхающих на Даларё, упомяни обо мне и Фальке (ассессоре), но не об Исааке; его общество начинает мне немного докучать — вот он и продал яхту.

Как только получишь деньги, пришли мне несколько вексельных бланков (голубых, соло-векселей).

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмдэ, 18 сентября...

Вместилище честности!

Деньги получил! Но сдается мне, ты их разменял, потому что Банк подрядчиков всегда платит только бумажками по пятьдесят риксдалеров! Ладно! Сойдет и так!

Фальк приободрился, преодолев кризис как настоящий мужчина; он снова обрел чувство собственного достоинства, чрезвычайно важное качество для достижения успеха, которое, однако, согласно статистике, бывает в значительной мере ослаблено у детей, рано потерявших мать. Я дал ему один совет, который он принял тем более охотно, что сам подумывал о том же. Он возвращается на поприще чиновника, но отказывается взять у брата деньги (это его последняя глупость, которую я никак не могу понять), возвращается в общество, записывается в стадо, обретает уважение, добивается общественного положения и помалкивает до тех пор, пока его слово не станет авторитетным. Последнее совершенно необходимо, если он хочет выжить, поскольку он явно предрасположен к безумию, и от него мокрого места не останется, если он не выбросит из головы свои дурацкие идеи, которых я, честно говоря, не понимаю; уверен, он и сам не знает, чего хочет.

Он уже начал курс лечения, и меня изумляет, как быстро дело идет на поправку! Когда-нибудь он непременно будет при дворе! Но на днях к нему попала газета, в которой он что-то прочитал о Парижской коммуне. Тотчас же начался рецидив, и он снова стал лезть по деревьям, но быстро успокоился и теперь не решается заглянуть ни в одну газету. Но он и словом обо всем этом не обмолвился! Берегитесь этого человека, когда он окончательно выздоровеет!

Исаак начал изучать греческий! Он считает, что учебники слишком глупые и слишком толстые, поэтому он разрывает их, вырезает все самое важное и вклеивает в бухгалтерскую книгу, которая станет таким образом компендием для сдачи экзамена по греческому языку.

По мере того, как увеличиваются его познания в области классических языков, он становится все более наглым и неприятным. На днях он позволил себе затеять с пастором религиозный спор за шахматной доской и утверждал, что христианство придумали евреи и все христиане были евреями. Латынь и греческий совершенно развратили его! Боюсь, что я пригрел на своей волосатой груди змею; если это так, то рожденный женщиной раздавит голову змеи.

Прощай!

Х. Б.

Р. С. Фальк сбрил свою американскую бороду и перестал снимать перед рыбаком шляпу.

Никаких вестей от нас из Нэмдэ больше не будет; в понедельник мы возвращаемся домой!

Глава двадцать седьмая

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

И снова осень; ясным ноябрьским утром Арвид Фальк выходит из своей теперь весьма элегантной квартиры на Большой улице и направляется на площадь Карла XIII в гимназический пансион для девочек, где сегодня он вступает в должность преподавателя шведского языка и истории. Он разумно использовал осенние месяцы, чтобы вернуться в цивилизованное общество, и при этом глубоко прочувствовал, каким варваром он стал, скитаясь по редакциям; он расстался наконец со своей разбойничьей шляпой и купил цилиндр, который первое время упорно норовил съехать набок; он купил себе перчатки, он настолько одичал, что на вопрос продавщицы, какой ему нужен номер, ответил «пятнадцатый», вызвав у многих улыбку. Мода претерпела значительные изменения с тех пор, как он в последний раз покупал себе платье, и сейчас он идет по улицам, чувствуя себя франтом, и поглядывает на свое отражение в витринах магазинов, чтобы убедиться, что на нем все хорошо сидит. Вот он прохаживается по тротуару перед зданием Драматического театра, ожидая, когда часы на церкви святого Якова пробьют девять; он ощущает какое-то беспокойство и волнение, совсем как в тот день, когда впервые сам пошел в школу; тротуар перед театром от одного его угла до другого — всего несколько десятков шагов, и ему кажется, что он мечется как собака на цепи — взад и вперед, взад и вперед. Какую-то минуту он всерьез подумывает о том, чтобы сбежать куда-нибудь подальше, так как

знает, что если идти по этой улице все прямо и прямо, то в конце концов она приведет к Лилль-Янсу, и он вспоминает то утро, когда шел по тому же самому тротуару, убегая от общества, на встречу свободе, природе и... рабству!

Часы бьют девять! Он стоит в вестибюле. Двери в зал закрыты; в полумраке он видит развешанную по стенам детскую одежду; на столах и подоконниках лежат шляпки, меховые боа, шарфы, башлыки, варежки и муфты, а на полу стоит целый полк бот и галош. Но здесь не пахнет сырой одеждой и мокрой кожей, как в вестибюле риксадага, или рабочего союза «Феникс», или... ах, на него вдруг повеяло ароматом свежескошенного сена, он наверняка исходит от той маленькой муфточки, белой, как котенок, с черными узелками, на голубой шелковой подкладке и с кисточками. Он не может удержаться от искушения, берет муфточку в руку и вдыхает запах духов «New-town hau»¹, но внезапно дверь открывается, и в вестибюль входит маленькая девочка в сопровождении служанки; она смотрит на учителя большими смелыми глазами и кокетливо делает маленький реверанс, на который учитель, слегка смутившись, отвечает поклоном, причем маленькая красавица улыбается, и служанка тоже улыбается! Она опоздала, но, видимо, это ее несколько не смущает, потому что она дает служанке снять с себя верхнюю одежду и ботинки с таким безмятежным видом, словно приехала на бал. Но что это? Из классных комнат доносятся какие-то звуки... у него защемило в груди... Что это такое? Ах! Да, это орган! Гм! Старый орган! Да!

И хор детских голосов поет псалом. Фалька охватывает грусть, и, чтобы как-то взять себя в руки, он начинает думать о Борге и Исааке. Но теперь ему становится еще хуже. Отче наш, иже еси на небеси! Господи! Отче наш! Ведь это было не вчера... Становится тихо, так тихо, что слышно, как поднимаются и опускаются детские головки, множество головок, как шуршат смявшиеся воротнички и фартуки, а потом распахиваются двери, и целый цветник девочек от восьми до четырнадцати лет окружает Фалька со всех сторон. Он ужасно смущен и чувствует себя вором, пойманным на месте преступления, когда пожилая директриса протягивает ему руку, приветствуя его; а цветник приходит в движение, и девочки шепчутся, и шушукуются, и переглядываются, и перемигиваются.

И вот он сидит в самом конце длинного стола, окруженный двадцатью свежими личиками с веселыми глазками, двадцатью детьми, никогда не знавшими самой страшной из земных печалей — унижения бедности; они встречают его взгляд смело и с любопытством, и он смущается, пока ему не удастся полностью овладеть собой, но проходит немного времени — и он уже в самых дружеских отношениях и с Анной-Шарлоттой, и с Георгиной, и с Лисен, и с Харри, а урок — одно сплошное удовольствие, и на многое нужно просто закрыть глаза, и тогда Людовик XIV и Александр остаются

¹ «Свежескошенное сено» (англ.).

великими, как и все, кто добился успеха, а французская революция была ужасным несчастьем, в результате которого трагически погибли благородный Людовик XIV и добродетельная Мария-Антуанетта, и так далее. И когда он отправился потом в Коллегию снабжения кавалерийских полков сеном, то чувствовал себя бодрым и помолодевшим.

В Коллегии он просидел за чтением «Консерватора» до одиннадцати часов, после чего направил свои стопы в Канцелярию винокурения, где позавтракал и написал два письма — Боргу и Струве.

Ровно в час он уже в Департаменте обложения налогом покойников. Здесь он оформляет опись имущества, на чем зарабатывает сотню риксдалеров, но до обеда у него остается еще столько времени, что он успевает прочитать корректуру заново переработанного издания законов о лесе, которое он подготовил к выпуску в свет. Время — три часа. Тот, кто проходит сейчас через площадь перед Рыцарским замком, встретит на набережной молодого человека, который с важным видом, заложив руки за спину, с торчащими из карманов бумагами, неторопливо идет рядом с пожилым худошавым седовласым господином лет пятидесяти с лишним. Это актуарий, ведающий покойниками; все, кто умирают в черте города, обязаны поставить его в известность, каким имуществом они владеют, и выплачивают ему соответствующие проценты; одни говорят, что это и есть его основное занятие, другие полагают, что он представляет интересы земли и следит за тем, чтобы покойник не прихватил с собой чего-нибудь на тот свет, потому что все в мире — только ссуда, и без процентов! Во всяком случае, это человек, которого мертвые интересуют гораздо больше, чем живые, и поэтому Фальку так хорошо в его обществе; тот, в свою очередь, благоволит к Фальку, потому что Фальк, как и он сам, коллекционирует монеты и автографы, и еще потому, что он не подвержен вольнодумству, столь присущему современной молодежи. Два старых друга направляются в кафе «Розенгрэн», где едва ли встретят шумных молодых людей и смогут спокойно поговорить о нумизматике и автографах. Потом они пьют кофе, сидя на диване в «Ридберге», и изучают каталоги монет до шести часов, когда приходит «Почтовая газета», и они просматривают информацию о новых назначениях. Они чувствуют себя такими счастливыми в обществе друг друга, потому что они никогда ни о чем не спорят; Фальк полностью избавился от каких-либо взглядов и идей и стал наименее приятнейшим человеком на свете, за что его любят и уважают начальники и товарищи по службе. Иногда они засиживаются дольше обычного и ужинают на Гамбургской бирже, а потом выпивают рюмку, а то и две в погребке при Опере. И на них просто любо-дорого смотреть, когда часов в одиннадцать вечера они бредут рука об руку по улице, возвращаясь домой.

Очень часто Фалька теперь приглашают на семейные обеды и ужины в домах, куда его ввел отец Борга; женщины находят его интересным, но никогда не знают, что от него можно ждать

в данный момент, так как он постоянно улыбается, а между улыбками говорит им милые гадости.

Но когда семейные обеды и салонное лицемерие ему слишком приедаются, он идет в Красную комнату и там встречается с ужасным Боргом, с его давним почитателем Исааком, с его тайным врагом и завистником Струве, у которого никогда нет денег, с насмешливым Селленом, исподволь подготавливающим свой новый успех на следующей выставке, поскольку его многочисленные подражатели уже приучили публику к новой манере письма. Лунделль, закончив запрестольный образ, вдруг напрочь утратил религиозное чувство и в настоящее время занимается исключительно портретной живописью, благодаря чему получает бесчисленные приглашения на всевозможные обеды и ужины, что, как он утверждает, ему крайне необходимо для «изучения типов и характеров»; он превратился в жирного эпикурейца, который заглядывает в Красную комнату лишь в тех случаях, когда хочет поест и выпить на даровщинку. Олле все еще работает подмастерьем у скульптора; после своего крупного поражения на поприще политика и оратора он стал угрюмым человеконенавистником и, не желая «стеснять» общество, всегда сидит в полном одиночестве, уставившись в зал. Когда Фальк приходит в Красную комнату, его охватывает какое-то неистовство, и тогда для него нет ничего святого, он высмеивает всё и вся — кроме политики, ее он никогда не трогает. Но в тех случаях, когда, восхищая приятелей блестящим остроумием, он вдруг замечает сквозь облака табачного дыма на другой стороне зала угрюмую физиономию Олле, он тотчас же становится мрачным, как ночь на море, и пьет в огромных количествах крепкие напитки, словно хочет потушить огонь или, наоборот, разжечь его вновь. Но Олле уже давно здесь не появляется!

Глава двадцать восьмая

С ТОГО СВЕТА

Тихо падает снег, такой легкий и белый, на Новую Кунгсхольмскую набережную, по которой Фальк и Селлен поздним вечером идут в больницу за Боргом, чтобы потом всем вместе отправиться в Красную комнату.

— Удивительно, каким, я бы сказал, величественным кажется первый снег, — заметил Селлен. — Грязная земля становится...

— А ты сентиментален, — усмехаясь, перебил его Фальк.

— Нет, я просто высказался как пейзажист.

Некоторое время они шли молча, и снег скрипел у них под ногами.

— Кунгсхольм с его больницей всегда казался мне немного страшноватым, — сказал Фальк.

— А ты сентиментален, — усмехаясь, ответил Селлен.

— Нет, нисколько, но этот район города производит на меня гнетущее впечатление.

— А, ерунда! Никакого впечатления он не производит, это ты внушил себе. Вот мы и пришли, у Борга горит свет. Надо думать, у него там лежит несколько милых трупов.

Они стояли перед воротами больницы; огромное здание смотрело на них десятками больших темных окон, словно спрашивало, кого они здесь ищут в такой поздний час. Утопая в снегу, они прошли по аллее мимо клумбы и свернули направо, к небольшому флигелю. В углу большой комнаты Борг при свете лампы анатомировал труп рабочего, изрезав его самым ужасающим образом.

— Добрый вечер, ребята! — сказал Борг, откладывая нож. — Хотите посмотреть на одного своего знакомого?

Не дожидаясь ответа, он зажег фонарь, надел пальто и взял связку ключей.

— Вот уж не думал, что здесь у нас найдутся знакомые, — пошутил Селлен, чтобы как-то поднять настроение.

— Пошли! — сказал Борг.

Они прошли через двор в главный корпус; двери заскрипели и захлопнулись за ними; огарок стеариновой свечи, оставшийся здесь после игры в карты, бросал на белые стены слабый красноватый свет. Фальк и Селлен пытались прочитать на лице Борга, не задумал ли тот подшутить над ними, но на нем не было написано ничего.

Они повернули налево и двинулись по коридору, в котором звук их шагов отдавался таким образом, что казалось, будто кто-то идет за ними следом. Фальк старался держаться за Боргом, а Селлен шел сзади.

— Там! — сказал Борг, остановившись посреди коридора.

Не было видно ничего, кроме стен. Но откуда-то доносился какой-то странный звук, словно моросил дождь, а воздух был пропитан запахом, какой обычно бывает в поле под паром или в хвойном лесу.

— Направо! — сказал Борг.

Правая стена была стеклянная, сквозь нее можно было разглядеть три белых трупа, лежавших на спине.

Борг взял ключ, открыл стеклянную дверь и вошел в комнату.

— Здесь! — сказал он, останавливаясь возле трупа, что находился посередине.

Это был Олле! Он лежал со сложенными на груди руками, словно спал спокойным послеобеденным сном; уголки губ были слегка приподняты, поэтому казалось, будто он улыбается; и вообще он мало изменился.

— Утопился? — спросил Селлен, который первым пришел в себя.

— Утопился! Кто-нибудь из вас может опознать его одежду?

На стене висели три комплекта жалких лохмотьев, один из которых Селлен сразу же узнал: синяя куртка с охотничьими пуговицами и черные брюки с потертыми коленями.

— Ты уверен?

— Не могу же я не узнать свой собственный пиджак... который позаимствовал у Фалька.

Из нагрудного кармана Селлен вынул большой бумажник, очень толстый и липкий от воды, весь покрытый зелеными водорослями, которые Борг назвал *enteromorpha*. Он раскрыл бумажник и при свете фонаря просмотрел его содержимое: несколько просроченных закладных и кипа сплошь исписанной бумаги; на верхнем листке было написано: «Тому, кто захочет прочитать».

— Ну, как, насмотрелись? — спросил Борг. — А теперь в кабак!

Трое безутешных приятелей (слово «друзья» употребляли лишь Лунделль и Левин, когда им были нужны деньги) расположились со всеми удобствами в ближайшем погребе в качестве полномочных представителей Красной комнаты. Сидя возле каминна, в котором пылал огонь, за уставленным бутылками столом, Борг приступил к чтению записок, оставленных Олле, но время от времени вынужден был обращаться за помощью к Фальку как специалисту «по автографам», поскольку вода так размывала чернила, словно автор рукописи плакал над ней, как шутивно заметил Селлен.

— Молчать! — приказал Борг и допил пунш, сделав такую гримасу, что обнажились коренные зубы. — Я начинаю и прошу меня не прерывать.

«Тем, кто захочет прочитать.»

Лишить себя жизни — мое право, тем более что я не нарушаю этим ничьих прав, а скорее осчастливливаю, как это называется, по крайней мере одного человека: оставляю ему рабочее место и четирыста кубических футов воздуха в день.

Я поступаю так не от отчаяния, ибо мыслящий человек никогда не приходит в отчаяние, и в довольно спокойном расположении духа; каждый понимает, что подобный шаг не может не вызвать некоторого душевного волнения, но откладывать совершение этого действия из страха перед тем, что ожидает тебя потом, может только раб земли, ищущий благовидный предлог, чтобы остаться на ней, где ему наверняка придется не так уж плохо. Я испытываю чувство освобождения при мысли, что ухожу из этой жизни, так как хуже того, что есть, уже быть не может, а только лучше. Если же там, в другой жизни, нет вообще ничего, то смерть станет таким огромным блаженством, какое испытываешь, когда после тяжелой физической работы ложишься в мягкую постель — тот, кто замечал, как расслабляется при этом все тело, а душа словно куда-то уносится, не будет бояться смерти.

Почему люди сделали из смерти такое важное событие? Да потому, что они слишком глубоко, всеми своими корнями вросли в землю, и когда их приходится вырывать из нее, им становится больно. Я давным-давно расстался с землей, меня не связывают никакие узы: ни семейные, ни экономические, ни служебные или право-

вые, и я уйду отсюда просто потому, что утратил всякое желание жить. Я вовсе не призываю тех, кому живется хорошо, последовать моему примеру — у них нет для этого никаких оснований и потому им не дано судить о моем поступке; трусость это или нет, над этим я не задумывался, потому что мне это совершенно безразлично; и вообще это дело сугубо личного свойства. Я ни у кого не просил разрешения прийти сюда и потому имею право уйти, когда захочу.

Почему я уйду? На то существует так много глубоких причин, что сейчас у меня нет ни времени, ни охоты их излагать. Я скажу лишь о самых главных, о тех, что имели для меня особенно важное значение.

В детстве и юности я занимался физическим трудом; вы, кто не знает, что значит работать от восхода и до заката солнца, а потом свалиться замертво и заснуть как животное, вы избегали проклятья первородного греха, ибо это действительно проклятье — чувствовать, как засыхают ум и душа, а тело все глубже врастает в землю. Походи за волом, который тащит плуг, и изо дня в день, изо дня в день, не поднимая глаз, гляди на серые комья земли, и в конце концов ты отвыкнешь смотреть на небо; возьми лопату и рой канаву под палящими лучами солнца, и ты почувствуешь, как увязает в топкой земле и своими руками копаешь могилу для своей души. Вам этого не понять, потому что целый день вы развлекаетесь, работая лишь в свободное время между завтраком и обедом, а летом, когда все вокруг зеленеет, вы уезжаете за город отдыхать и любуетесь природой, как спектаклем, который вас облагораживает и возвышает душу. Для земледельца природа — нечто совсем иное; поле — это пища, лес — дрова, озеро — корыто для стирки белья, луг — сыр и молоко; и все это земля, лишенная какой бы то ни было души! Когда я увидел, что одна половина человечества работает головой, а другая — руками, я сначала подумал, что все радости мира, так же как и его невзгоды, изначально разделены между двумя категориями людей, но разум мой восторжествовал и отверг эту нелепую мысль. И тогда моя душа взбунтовалась, и я решил тоже избегать проклятья первородного греха — и стал художником.

Теперь я хочу проанализировать эту пресловутую жажду творчества, поскольку сам испытал, что это такое. Она основана главным образом на стремлении к свободе, свободе от полезного труда; именно поэтому один немецкий философ определил прекрасное как бесполезное, ибо если произведение искусства кому-то полезно, преследует некую цель или обнаруживает определенную тенденцию, оно безобразно. И еще: жажда творчества основана на высокомерии — в искусстве человеку хочется стать богом, и не для того вовсе, чтобы создавать что-то новое (это просто не в его силах!), а чтобы переделывать, перекраивать, исправлять. Он начинает с преклонения перед великими шедеврами, созданными самой природой, нет, он начинает с критики. Ему все кажется несовершенным, все хочется переделать. Это движущее им высокомерие и свобода от проклятья первородного греха, от необходимости

трудиться, приводит к тому, что у него появляется ощущение, будто он стоит над обществом — впрочем, в какой-то мере так оно и есть, — однако ему нужно еще постоянно напоминать об этом, ибо в противном случае он легко может познать самого себя, то есть принять никчемность своей деятельности и неправомерность своего отказа приносить людям пользу. Эта постоянная потребность в общественном признании его бесполезного труда делает художника тщеславным, беспокойным, а нередко и глубоко несчастным. Если же он все-таки познает себя, то часто случается так, что он не может больше заниматься искусством и тогда погибает, ибо снова надеть на себя ярмо, хоть раз ощутив вкус свободы, может лишь истинно верующий.

Делать различие между гением и талантом, рассматривать гениальность как некое новое качество по меньшей мере нелепо, потому что в таком случае надо верить и в какое-то особое прозрение. У великого художника есть задатки, которые позволяют ему достичь определенного технического совершенства; если их не развивать, они отомрут сами собой; поэтому кто-то сказал, что гениальность — это труд; в этом высказывании есть доля истины, так же как и во многих других высказываниях, верных лишь на четверть; если к этому еще добавить и образованность (что бывает крайне редко, поскольку знание искореняет заблуждения, и поэтому люди образованные, как правило, не занимаются искусством), а также хороший ум, то получается гениальность как продукт целого ряда благоприятных обстоятельств.

Я скоро утратил веру в возвышенный характер своей склонности к скульптуре (своего призвания, прости, господи), потому что не мог подчинить свое искусство выражению одной-единственной идеи, которая в лучшем случае сводится к изображению человеческой фигуры в положении, передающем душевное волнение, сопровождающее определенную мысль, представление о которой таким образом мы получаем как бы из третьих рук. Это как полевой телеграф: его сигналы лишены всякого смысла для тех, кто не знает, что они обозначают. Я вижу только красный флаг, а для солдата это приказ: в атаку! Между прочим, еще Платон, который был умная голова и к тому же идеалист, осознавал ничтожность искусства, рассматривая его лишь как отражение отражения (бытия), почему, собственно, он и изгнал художников из своего идеального государства.

И тогда я попытался опять вернуться к рабскому труду, но это оказалось невозможным! Я старался увидеть в этом свой высочайший долг перед человечеством, старался смириться, но все было напрасно. Мою душу безжалостно уродовали, и я медленно, но верно превращался в животное; порой мне казалось, что этот нескончаемый труд даже греховен, поскольку мешает достижению высшей цели — духовного совершенства, и тогда в один прекрасный день Я бросил работу и бежал в деревню, на природу, где проводил время в раздумьях, что делало меня несказанно счастливым; однако это счастье было лишь эгоистичным наслажде-

нием, не меньшим, если не большим, чем то наслаждение, которое я испытывал, когда занимался искусством, и тогда чувство долга и угрызения совести набросились на меня, как разъяренные фурии, и я вновь надел на себя ярмо, которое даже показалось мне приятным — на один день!

Чтобы освободиться от этого невыносимого состояния и обрести ясность и покой, я иду навстречу неведомому. Те из вас, кто увидит труп, скажите откровенно, разве в смерти у меня несчастный вид?

Случайные заметки, сделанные на прогулке

Закономерность мира — освобождение идеи от чувственности, однако искусство старается втиснуть идею в чувственную оболочку, чтобы она стала зримой. Следовательно...

* * *

Всё исправляется само собой. Когда во Флоренции началось подлинное засилье художников, пришел Савонарола — о, великий человек! — и сказал: «Чепуха! все это пустота, ничто!» И художники — и какие художники! — разожгли из своих произведений костер. О, этот Савонарола!

* * *

Как вы думаете, чего требовали иконоборцы в Константинополе? Чего требовали анабаптисты в Нидерландах? Этого я не решаюсь сказать, а то за меня возьмутся в субботу... а может быть, уже и в пятницу!

* * *

Великая идея нашего времени — разделение труда — ведет к прогрессу рода и гибели индивида! А что такое род? Это всеобъемлющее понятие, идея, говорят философы, и индивиды им верят и умирают за идею!

* * *

Как странно, что правители всегда хотят того, чего не хочет народ. Вам не кажется, что устранить это недоразумение можно легко и просто?

* * *

Перечитав в зрелом возрасте свои детские книги, я больше не удивляюсь, что мы, люди, такие скоты! На днях я прочитал катехизис Лютера и сделал еще

*Несколько заметок к новому
изданию катехизиса*

Первая заповедь. Разрушает веру в единого бога, ибо предполагает существование других богов, что признает и христианство.

Примечание. Монотеизм, который все превозносят до небес, оказал дурное влияние на людей, лишив их уважения к единственному и истинному, поскольку не объясняет, что такое зло.

Вторая и третья заповеди — явное кощунство, поскольку автор вкладывает в уста нашего господа такие мелочные и нелепые наставления, что они оскорбительны для его всеведения: если бы автор жил в наше время, его обвинили бы в богохульстве.

Четвертую заповедь надо было сформулировать следующим образом: врожденное чувство уважения к родителям не может заставить тебя восхищаться даже их недостатками, и ты не должен почитать их более, чем они того заслуживают. Совершенно не обязательно испытывать к ним чувство благодарности, ибо они вовсе не оказали тебе благодеяния, произведя на свет; кормить и одевать тебя им велит их эгоизм и еще гражданское законодательство. Родители, которые ожидают (а некоторые даже требуют) благодарности от своих детей, подобны ростовщикам: они готовы рискнуть капиталом, лишь бы получить прибыль.

Примечание первое. Родители (особенно отцы) чаще ненавидят, чем любят своих детей, потому что дети ухудшают их материальное положение. Некоторые родители превращают своих детей в акции, которые должны постоянно приносить им дивиденды.

Примечание второе. Эта заповедь заложила основы ужаснейшей из всех форм правления, основы семейной тирании, от которой не спасет никакая революция. Общества охраны детей принесли бы человечеству гораздо больше пользы, чем общества охраны животных.

(Продолжение следует.)

Швеция — это колония, которая когда-то пережила период расцвета, став великой державой, а теперь, подобно Греции, Испании и Италии, засыпает вечным сном.

Мрачная реакция, наступившая после 1865 года, когда рухнули все наши надежды, деморализовала молодое поколение, которое еще только вставало на ноги. Большого безразличия к интересам общества, большого эгоизма, большого безверия уже давным-давно не знала история. Во всем мире бушуют бури, народы гневно выступают против угнетения, а в нашей стране только справляют всевозможные праздники да юбилеи.

Сектантство — единственное выражение духовной жизни у народа, охваченного сном; это недовольство, бросившееся в объятия

религиозного смирения, чтобы не впасть в отчаяние или бессильную ярость!

Сектанты и пессимисты исходят из одного и того же принципа: бренность человеческого существования — и устремлены к одной и той же цели: умереть для мира, жить для бога.

Быть консерватором по расчету — величайший грех, какой только может совершить человек. Это покушение на мироздание за три сребреника, потому что консерватор пытается задержать прогресс; он ложится спиной на вращающуюся землю и говорит: остановись! Для этого существует лишь одно оправдание — глупость; материальные лишения не оправдание, а побудительный мотив!

* * *

Интересно, не станет ли Норвегия для нас еще одной заплатой на старом платье?»

* * *

— Ну, что скажете? — спросил Борг, когда кончил читать и сделал глоток коньяку.

— Совсем неплохо, правда, немного растянуто, — ответил Селлен.

— А ты что скажешь, Фальк?

— Обычные вопли, и ничего больше. Пошли?

Борг испытующе посмотрел на него, как бы желая выяснить, не ирония ли это, но не заметил ничего особенного.

— И так, — вздохнул Селлен, — Олле ушел, чтобы обрести вечное блаженство; да, ему теперь хорошо, никаких забот об обеде. Интересно, а что скажет по этому поводу хозяин «Оловянной пуговицы», ведь у него, кажется, была на Олле маленькая «бумажка», как он это называет. Да! Да!

— Какое бессердечие! Какая черствость! Черт бы побрал эту молодежь! — вдруг взорвался Фальк и, бросив на стол деньги, надел пальто.

— Ты сентиментален? — усмехнулся Селлен.

— Да, сентиментален! Прощайте!

И он ушел.

Глава двадцать девятая

ОБЗОР

Письмо лиценциата Борга, Стокгольм, художнику-пейзажисту Селлену, Париж

Дорогой Селлен!

Вот уже целый год, как ты ждешь от меня письма, и наконец-то мне есть о чем написать. В соответствии с моими принципами мне следовало бы начать с самого себя, но мне надо научиться вести

себя прилично, потому что скоро я заканчиваю курс наук, и пора подумать о хлебе насущном; итак, я начинаю с тебя! Поздравляю тебя с успехом; картина, которую тебе удалось выставить в салоне, произвела большой эффект. Заметку об этом Исаак тиснул в «Сером плаще» без ведома редактора, который, прочитав ее, взбесился от злости, так как клялся всеми святыми, что из тебя ничего не выйдет. Поскольку ты получил признание за границей, то теперь, естественно, у тебя есть имя и на родине, и мне больше не нужно стыдиться своего знакомства с тобой.

Чтобы ничего не забыть и быть по возможности кратким, ибо я ленив и устал от работы в родильном доме, я напишу это письмо в форме газетных статей, совсем как в «Сером плаще», и таким образом тебе будет легче пропускать то, что тебя не интересует.

Политическая обстановка становится все более интригующей; политические партии подкупают друг друга, делая просто подарки и ответные подарки, так что все они теперь серые... Эта реакция, вероятно, окончится социализмом. Довольно остро сейчас стоит вопрос об увеличении числа ленов до сорока восьми — видимо, быстрее всего сейчас можно сделать карьеру министра, тем более что для этого не надо даже сдавать экзаменов на право преподавать в народной школе. На днях я говорил с одним своим школьным приятелем, бывшим министром, и он утверждает, что быть министром гораздо легче, чем секретарем экспедиции. Обязанности примерно те же, что у поручителя — только подписываешь бумаги! О выплате ссуды можешь не беспокоиться, ведь есть еще один поручитель.

Что касается *прессы*, то с ней ты хорошо знаком! В общем, она превратилась в чисто коммерческое предприятие, иными словами, ориентируется на мнение большинства, а большинство, то есть большинство подписчиков, всегда реакционно. Однажды я спросил одного либерального журналиста, почему он с такой симпатией пишет о тебе, хотя совершенно тебя не знает. Он ответил, что на твоей стороне общественное мнение, то есть большинство подписчиков. «А что будет, если общественное мнение окажется против него?» — «Тогда, конечно, я изничтожу его!»

Как ты легко можешь понять, в этих условиях поколение, выросшее после 1865 года и нигде не представленное, приходит в смятение; поэтому они нигилисты, иными словами — отрицают все на свете или находят для себя выгодным стать консерваторами, потому что быть либералом в создавшейся обстановке чертовски сложно.

Экономическое положение крайне тяжелое. Запасы денег, во всяком случаи мои, сокращаются; даже самые надежные бумаги с поручительством двух лицензиатов медицины не принимает ни один банк.

Как тебе известно, *общество «Тритон»* ликвидировано таким образом, что директора и ликвидаторы забрали себе все денежки, а акционеры и вкладчики получили из Норрчёпинга литографи-

рованные картинки; их прислало одно небезызвестное предприятие (единственное, которое в наш век всевозможных афер и махинаций вполне оправдало себя); я видел одну вдову, у которой были полные руки таких картинок на мраморированной основе; это большие красивые листы, отпечатанные в две краски, красную и синюю; на них выгравировано 1000 кр., а внизу, словно они выступают в качестве поручителей, стоят имена людей, из которых по крайней мере трех проводили колокольным звоном как кавалеров ордена серафимов, когда они перестали быть акционерами в этом лучшем из миров.

Наш друг и брат *Николаус Фальк*, которому надоело заниматься частными ссудами, поскольку они не обеспечили ему всего того почета, какой обеспечивают финансовые операции общественного характера, решил объединиться с несколькими сведущими (!) людьми и учредить банк. Новым в его программе является следующее: «Поскольку, как свидетельствует опыт — и воистину печальный опыт! (автор программы — Левин, заметь себе!), — депозитная квитанция не является достаточной гарантией для возвращения доверенных банку ценностей, то есть депонированных денег, то мы, нижеподписавшиеся, движимые бескорыстным стремлением способствовать развитию отечественной промышленности и обеспечивать большую надежность вкладов, учреждаем банк под названием «Акционерное общество гарантированных вкладов». Новым и обнадеживающим, ибо не все новое обнадеживает, в нашей идее является то, что вкладчики будут получать не лишенные всякой ценности депозитные квитанции, а ценные бумаги на *полную* сумму сделанного вклада» и так далее. Предприятие еще не лопнуло, и ты сам можешь себе представить, какие бумаги получают вкладчики вместо депозитных квитанций! Своим наметанным глазом Фальк сразу увидел, какую огромную пользу можно извлечь из человека с таким хорошим знанием экономики, как Левин, который к тому же, благодаря своим колоссальным связям, осведомлен обо всем, что происходит вокруг; но чтобы как следует подготовить его к будущей деятельности и научить разбираться во всех хитросплетениях этого дела, особенно в юридических вопросах, Фальк для начала нанес ему мощный удар, опротестовав его вексель, и заставил его объявить себя несостоятельным должником. Затем он выступил в роли спасителя и сделал его чем-то вроде своего советника по экономическим вопросам, назначив на должность секретаря дирекции; теперь Левин сидит в маленькой уединенной комнатке и никому не должен показываться на глаза. Заместителем директора банка стал Исаак; он сдал свои университетские экзамены (по латыни, греческому и древнееврейскому, а также по юриспруденции и на звание кандидата философии, получив высшие оценки по всем предметам, о чем, конечно, не преминул сообщить «Серый плащ!»). Сейчас он готовится к экзаменам на звание кандидата юридических наук, а в свободное время сам проворачивает кое-какие дела. Он как угорь, у него девять жижней, и неизвестно, на что он тратит деньги! Он не пьет, не курит,

и я не знаю, есть ли у него какие-нибудь пороки, но он страшный человек! У него скобяная лавка в Хэрнэсанде, табачная лавка в Хельсингфорсе и галантерейный магазин в Сёдертелье, а еще ему принадлежит несколько уютных хижин на юге! Он человек будущего, говорят его знакомые, но я полагаю, что он человек настоящего. Его брат Леви после ликвидации «Тритона» вернулся к частному предпринимательству, неплохо заработав на этом деле. Он попросил, чтобы ему продали один монастырь, который хотел реставрировать в новом стиле, созданном его дядей из Академии художеств. Однако его просьба была отклонена. Леви ужасно обиделся и написал для «Серого плаща» статью под заголовком: «Преследования евреев в девятнадцатом веке», чем приобрел живейшие симпатии всей просвещенной публики, и теперь благодаря этому хитрому маневру когда угодно может стать депутатом риксдага. Кроме того, он получил от своих единомышленников (будто Леви во что-нибудь верит) благодарственный адрес, в котором они превозносят его до небес (это было опубликовано в «Сером плаще») за то, что он выступил в защиту притязаний евреев (на покупку монастыря)! Адрес этот был вручен ему на празднике «Зеленый егерь», на который пригласили и немало шведов (я всегда перевожу еврейский вопрос на его подлинную основу — этнографическую!) ответить тухлой лососины и выдохшегося вина. По этому случаю герою дня при всеобщем воодушевлении (смотри «Серый плащ») преподнесли в дар двадцать тысяч крон (в акциях) на «Приют для падших мальчиков евангелического вероисповедания» (непреренно нужно вероисповедание!). Я был на этом празднике и увидел то, чего никогда не видел раньше — пьяного Исаака! Он заявил, что ненавидит и меня, и тебя, и Фалька, и вообще всех белых — он называл нас то «белыми», то «туземцами», то «гоше»; последнего слова я не знаю, но когда он произнес его, вокруг нас столпилось такое невероятное количество «черных» и вид у них был такой угрожающий, что Исаак увел меня в соседнюю комнату. Потом его вдруг словно прорвало: он рассказал о том, как еще ребенком страдал в школе святой Клары, как учителя и товарищи оскорбляли и унижали его, а уличные мальчишки таскали за волосы. Но что меня более всего растрогало, так это рассказ о том, как он проходил военную подготовку: его вызывали из строя и заставляли читать «Отче наш», а поскольку он не знал этой молитвы, то над ним все издевались. Эта грустная история заставила меня несколько изменить свое мнение о нем и его племени.

Религиозный снобизм и мания благотворительности свирепствуют всюду, как холера, и делают пребывание на родине особенно приятным. Ты, верно, помнишь еще два исчадия зла: госпожу Фальк и ревизоршу Хуман, два подлых, тщеславных и злобных существа, изнывающих от безделья, помнишь детские ясли «Вифлеем» и их бесславный конец; теперь они создали «Приют Магдалины», и первой, кого туда приняли, стала — по моей рекомендации — Мария из Нового переулка! Бедняжка одолжила все свои сбережения одному подмастерью, который сбежал, не вернув

денег. Теперь она очень довольна тем, что все получает бесплатно и снова пользуется уважением общества. По ее словам, она даже готова выдерживать бесконечные проповеди, которыми неизменно сопровождается подобного рода деятельность, если каждое утро ей будут давать кофе.

Ты, вероятно, помнишь и *пастора Скорее*; он не получил должности пастора-примариуса и с досады теперь клянчит деньги на новую церковь, а отпечатанные типографским способом просьбы о пожертвовании, подписанные богатейшими магнатами Швеции, вызывают ко всеобщему милосердию. Эту церковь, которая будет в три раза больше, чем бласихольмская церковь, и составит единое целое с высоченной колокольней, построят на месте нынешней церкви святой Екатерины; ее выкупят и снесут, поскольку она, оказывается, слишком мала, чтобы удовлетворять огромные духовные потребности шведского народа. Между тем денег уже собрали столько, что пришлось учредить должность казначея (с бесплатной квартирой и отоплением), ведающего собранными средствами. Попробуй догадаться, кого назначили казначеем. Так в о т , — *Струве!* Последнее время он стал чуточку религиозным — я говорю чуточку, потому что религиозности в нем очень немного, но вполне достаточно при его стесненных обстоятельствах, поскольку теперь он находится под защитой верующих. Это не мешает ему по-прежнему сотрудничать в газетах и пьянствовать; но сердце его не стало мягче; напротив, он зол на всех, кто не превратился в такую же развалину, как он; поэтому он ненавидит Фалька и тебя и обещал «разделаться» с вами, как только ему станет о вас что-нибудь известно. Однако, чтобы переехать на казенную квартиру и жечь казенные дрова, ему надо было обвенчаться, что он и сделал втихомолку здесь же, на Белых горах. Я был у них свидетелем (конечно, напился пьяным) и наблюдал весь этот спектакль. Жена его тоже ударилась в благочестие, так как прослышала, что это признан хорошим тоном... *Лунделль* полностью утратил свое религиозное чувство и теперь пишет исключительно портреты директоров, что позволило ему получить место в Академии художеств. Теперь он тоже бессмертный, так как выставил свою картину в Национальном музее. Все было обстряпано легко и просто и достойно всяческого подражания: Смит подарил Национальному музею жанровую картину, написанную Лунделлем, а Лунделль бесплатно написал его портрет! Неплохо? Так-то!

Завершение романа. Однажды воскресным утром, в те краткие часы, когда ужасный колокольный звон не нарушает покоя в этот священный день отдохновения, я сидел у себя в комнате и курил. Вдруг раздается стук в дверь, и в комнату входит высокий красивый юноша, которого я сразу узнал — это был Реньельм. Начинаются взаимные расспросы. Он служит управляющим на каком-то большом предприятии и вполне доволен жизнью. Снова стук в дверь. Входит Фальк (подробнее о нем ниже!). Воспоминания о делах минувших дней, об общих знакомых! Но вот, как всегда, наступает момент, когда после оживленной беседы вдруг воцаряется странное молча-

ние, настает тишина. Реньельм берет книгу, лежащую возле него на столе, пробегает глазами страницу и вслух читает:

— «*Кесарево сечение*. Диссертация, которая подлежит публичной защите с разрешения нашего прославленного медицинского факультета в Малой густавианской аудитории». Какие страшные рисунки! Кто та несчастная, которой пришлось пройти через все эти муки и появиться здесь в таком виде после смерти?

— Посмотри, — говорю я, — это указано на второй странице. Реньельм читает дальше.

— «Газовые кости, хранящиеся в патологической коллекции Академии под номером...» Нет, это не то. Вот! «Незамужняя Агнес Рундгрэн...»

Реньельм бледнеет как полотно, он вынужден встать и выпить воды.

— Ты ее знал? — спрашиваю я, чтобы как-то отвлечь его.

— Знал ли я ее? Она была актрисой в N., в городском театре, а потом перебралась в Стокгольм и стала работать в кафе под именем Бэды Петерссон.

Посмотрел бы ты на Фалька. Произошла сцена, которая закончилась тем, что Реньельм стал осыпать проклятьями вообще всех женщин, а Фальк с горячностью возражал ему, что существует два типа женщин, и разница между ними такая же, как между дьяволом и ангелом! И говорил он об этом так взволнованно, что на глазах у Реньельма выступили слезы.

Да, *Фальк!* Его я приберег напоследок! Он обручен! Как это произошло? Сам он объясняет это следующим образом: «Мы увидели друг друга!» Тебе ведь известно, у меня нет каких-то раз и навсегда сложившихся взглядов, и я неизменно исхожу из заново приобретенного опыта, но все, пережитое мною до сих пор, убеждает меня в том, что любовь — это нечто такое, о чем нам, холостякам, трудно судить; то, что мы называем любовью, на самом деле просто распушенность и легкомыслие! Смейся, смейся, старый зубоскал!

Я никогда еще не видел, кроме как в плохих пьесах, такого быстрого развития характера, какое наблюдал в этот раз у Фалька. С помолвкой, правда, дело решилось далеко не сразу. Отец — старый вдовец, эгоист, пенсионер, считавший, что дочь — это капитал, который благодаря богатому зятю обеспечит ему приятную старость (самая обычная ситуация!). Он категорически сказал: нет! Посмотрел бы ты тогда на Фалька! Он изо дня в день приходил к старику, и тот выгонял его вон, но Фальк снова приходил и говорил ему прямо в лицо, что, если тот будет по-прежнему упорствовать, они поженятся без его согласия; не могу утверждать, но, по-моему, дело доходило до драки! И вот однажды вечером Фальк провожал свою нареченную домой от каких-то ее родственников, куда ворвался следом за ней. Подходя к дому, они увидели при свете фонаря своего старика в окне — у него маленький домик на Хорнстусльсгата, где он живет один. Фальк стучит в дощатые ворота; стучит четверть часа, но их не открывают! Тогда он пере-

лезает через забор, и на него набрасывается большая собака, которую он хватает и запирает в мусорный ящик (это наш-то робкий Фальк!); потом он поднимает с постели дворника и заставляет его отворить ворота; наконец они попадают во двор, но предстоит еще открыть дверь; он ударяет в нее большим камнем, но из дома не доносится ни звука; тогда он идет в сад, берет лестницу, добирается до окна, где сидит старик (я сам поступил бы точно так же!) и кричит: «Открой дверь, а не то я разобью окно!» В ответ раздается голос старика: «Попробуй только, негодяй, и я пристрелю тебя!» Фальк разбивает окно. На какой-то момент воцаряется мертвая тишина. Наконец из разбитого окна доносится голос: «Вот это мне нравится! (Старик из военных.) Молодец!» — «Я не хотел бить стекла,— говорит Ф а л ь к , — но ради вашей дочери я готов на все!», и все решилось само собой.

Они обручились! Надо сказать, что, после того как риксдаг предпринял крупную реорганизацию государственных учреждений, удвоив оклады и количество рабочих мест, молодой человек теперь имеет возможность вступить в брак, даже когда получает жалование низшей категории! Фальк женится осенью. Она по-прежнему остается учительницей. Я плохо разбираюсь в женском вопросе, поскольку меня это не касается, но я надеюсь, что наше поколение когда-нибудь покончит со всей этой азиатчиной, которая все еще присутствует в браке. Обе стороны заключают по доброй воле свободный договор, ни одна из них не отказывается от своей независимости, они не пытаются друг друга воспитывать, уважают слабости, присущие другой стороне, и тогда возникает дружба на всю жизнь, которую не будут отравлять назойливые притязания одной из сторон на какую-то особую нежность. Жену Николауса Фалька, осатаневшую от благотворительности, я считаю просто une femme entreteneue¹, и сама она считает себя такой же; большинство женщин выходит замуж, чтобы хорошо жить, не работать и «стать самостоятельной»; в том, что сейчас заключается так мало браков, виноваты женщины — и мужчины!

Но Фальк — непостижимый человек; он набросился на нумизматику с такой страстью, что она представляется мне не совсем естественной; да, он сказал мне на днях, что работает над учебником по нумизматике, который будет принят в качестве учебного пособия в школах, где нумизматика станет одним из предметов; он никогда не читает газет, -никогда не знает, что творится в мире, и, по-видимому, даже не помышляет больше о том, чтобы стать литератором. Он живет только для своей службы и своей невесты, которую боготворит; однако я всему этому не верю. Фальк — фанатик от политики и знает, что сгорит, если даст разгореться пламени, и поэтому упорными сухими занятиями старается потушить тлеющий огонь; но я не думаю, что ему это удастся, и сколько бы он ни пытался сдерживать себя, боюсь, все равно рано или поздно произойдет взрыв. Между нами говоря, мне кажется, что

¹ Содержанка (фр.).

он принадлежит к одному из тех тайных обществ, которые возникли на континенте в результате разгула реакции и произвола угнетателей. Когда я увидел его на днях в зале риксадага при чтении тронной речи в качестве герольда, в пурпурной мантии, с пером на шляпе и жезлом в руке, у подножья трона (у подножья!), то в первый момент подумал, что даже говорить грешно о нем такие ужасные вещи; но когда на трибуну поднялся премьер-министр и передал на рассмотрение палаты от имени его королевского величества высочайший законопроект о положении страны и ее нуждах, то в глазах Фалька я прочел немой вопрос: «Да разве знает его королевское величество хоть что-нибудь о положении страны и ее нуждах?» Удивительный человек, удивительный!

Надеюсь, что, делая свой обзор, я ничего не забыл. Итак, до свидания! Скоро напишу тебе опять!

Х. Б.



ЖИТЕЛИ
ОСТРОВА
ХЕМСЁ

Роман

Перевод
Ф. Золотаревской



Глава первая

КАРЛССОН НАНИМАЕТСЯ В РАБОТНИКИ, И ЕГО НАЗЫВАЮТ ПРОХОДИМЦЕМ

Он объявился однажды апрельским вечером, свалился как снег на голову, и на груди у него на кожаном ремешке висела хёганесская фляга. Клара и Лоттен приплыли за ним на рыбацьем паруснике к пристани Даларё, но прошла целая вечность, прежде чем они пустились в обратный путь. Сперва им пришлось зайти к лавочнику за бочонком смолы, потом в аптеку за ртутной мазью для поросенка, потом на почту за маркой, и еще им нужно было завернуть в Крукен к Фии Лёвстрем, чтобы выменять петуха на четверть пуда тонкой пряжи для сетей, а под конец они забрели на постоянный двор, где Карлссон угостил их кофе с булочками. Покончив со всеми делами, они погрузились в лодку. Карлссон пожелал править сам, но у него ничего не вышло, потому что он до этого в глаза не видал парусной лодки с рулевым управлением и кричал, чтобы подняли фок, а никакого фока тут не было.

Толпившиеся на пристани лоцманы и таможенные надзиратели посмеивались, наблюдая за маневрами Карлссона, который ухитрился поставить лодку против ветра, так что она накренилась и бортом зачерпнула воду.

— Эй, ты! У тебя вон дырка в посудине! — крикнул сквозь шум ветра какой-то ученик лоцмана. — Затыкай! Затыкай живее!

И пока Карлссон озибался в поисках пробоины, Клара отпихнула его и сама взялась за руль, а Лоттен, сидевшая на веслах, сумела вновь повернуть лодку по ветру, и судно резво понеслось к Аспёсунду.

Карлссон был маленький коренастый вермландец с синими глазами и крючковатым носом. Верткий, живой, он был полон любопытства ко всему на свете, но в морском деле ничего не смыслил, да и на остров Хемсё его пригласили, чтобы ходить за скотиной и работать в поле, потому что с тех пор, как помер старый

Флуд и вдова его осталась хозяйкой в усадьбе, там никто не хотел этим заниматься.

Карлссон попытался было выведать у девушек, как обстоят дела в усадьбе, но услышал лишь уклончивые ответы, на которые жители шхер великие мастера:

— А бог его ведает!.. Да как тебе сказать!.. Вот уж чего не знаю, того не знаю!..

Так он от них ничего и не добился.

С легким всплеском лодка шла мимо островов и шхер; на скалах кричала морянка, из ельника подавал голос тетерев, а они плыли проливами и фьердами¹, пока не стемнело и на небе не высypали звезды. Лишь тогда они вышли к большой воде, где на шхере мигал Главный маяк. Время от времени на их пути попадались то вешки, то навигационный знак, белевший во тьме, как привидение, то заснеженный обломок льдины, напоминавший холст на стлище, а иной раз из черной воды выступал сетевой буй, скрежеща по килю проходившей над ним лодки, и вспугнутые со сна чайки вспархивали со скал, будя морских ласточек, которые поднимали отчаянный галдеж. А вдали, там, где звезды погружались в море, видны были красный и зеленый глаза большого парохода, и длинная цепочка движущихся круглых огней лилась из иллюминаторов салона.

Все тут было Карлссону внове; он засыпал девушек вопросами и по их ответам понял, что очутился в совершенно чужом для него мире. «Он с материка» — здесь значило то же самое, что для горожан значило бы — «он из деревни».

Тут лодка свернула в пролив и попала в штиль, так что пришлось зарифить парус и взяться за весла. Потом они вошли в еще один пролив и увидели свет из окон дома, стоящего на острове среди оловыхых и сосновых деревьев.

— Вот мы и дома, — сказала Клара, и лодка скользнула в небольшую бухточку, где был прорублен проход в тростнике, зашуршавшем о борта лодки и вспугнувшем шуку, задумчиво кружившую вокруг подпуска.

Затявкала собачонка, и возле дома задвигался фонарь.

Между тем лодку привязали у причала, и выгрузка началась. Парус намотали на рею, мачту сняли, обмотали вокруг штаг. Бочонок со смолой выкатили на берег, а затем и весь остальной груз — кадки, корзинки, узлы — оказался на пристани.

Карлссон оглядывался вокруг в полутьме — все тут было новое, непривычное. Перед причалом покачивался на воде рыбный садок с якорным шпилем, во всю длину пристани тянулись широкие перила, заваленные поплавками, грузилами, тросами, шлюпочными якорями, бечевой, крючьями, а на дощатых мостках

¹ Фьерд — в отличие от норвежского фьорда — узкого залива, глубоко врезающегося в сушу, обширное водное пространство в шхерах, наподобие бухты или залива, обладающее узким устьем и ограниченное цепью островков или частью материка.

как попало стояли ящики из-под салаки, корыта, чаны, кадки, коробки с переметами. В дальнем конце пристани находился лодочный сарай, до отказа набитый манками для морской охоты — чучелами гагарок, чернетей, крохалей, а под застрехой тянулся помост, на котором лежали паруса, мачты, весла, багры, рули, черпаки, колотушки, ломы для скальвания льда. Чуть поодаль на вешках были растянуты на просушку салачные сети, громадные, как окна в храме, сети с петлями для лова камбалы, новые и белоснежные окуневые сети, а прямо от пристани шла аллея, напоминавшая въезд в барскую усадьбу, по обе стороны которой тянулись ряды жердей, и на них также были развешаны большие сети. У входа в аллею показался фонарь, бросавший отсвет на песчаную дорожку, блестящую от ракушечных обломков и высохшей рыбьей чешуи, а в сетях, словно иней в паутине, сверкали салачные чешуйки. Фонарь осветил морщинистое, обветренное старушечье лицо и пару маленьких приветливых глазок, сошуренных от пламени очага. Впереди старухи бежала собака, лохматая псина, которая чувствовала себя одинаково вольготно и на земле и на воде.

— Ну вот вы и дома, милые мои! — поздоровалась старуха. — Парня-то привезли?

— А как же, тетушка! Неужто не видите? Вот они мы, а вот и Карлссон, — ответила Клара.

Старуха отерла о фартук правую руку и протянула ее новому работнику.

— Милости просим, Карлссон! Дай-то бог, чтобы тебе у нас по душе пришлось. А вы, девушки, парус снесли в сарай? А кофе и сахар сгрузили? Ну, тогда пошли, закусим маленько.

Процессия гуськом потянулась в гору по направлению к дому; Карлссон шел молча, полный любопытства, гадая о том, каково-то сложится его жизнь на новом месте.

В горнице ярко пылал огонь в очаге, белый раздвижной стол был покрыт чистой скатертью, на скатерти стояла витая бутылка с водкой, сужающаяся посредине наподобие песочных часов, вокруг нее расставлены были чашки густавбергского фарфора с розочками и незабудками, а свежеиспеченная булка, хрустящие хлебцы, тарелка с маслом, сахарница и сливочник дополняли сервировку, которую Карлссон счел богатой и неожиданной для такого захолустья. Да и сама горница выглядела весьма недурно — отблески огня вместе со свечами в медных подсвечниках озаряли секретер красного дерева с несколько потускневшей полировкой, играли на лакированном футляре и медном маятнике стальных часов и на серебряной насечке длинных стволов охотничьих ружей, высвечивали позолоту букв на корешках сборников проповедей и псалмов, календарей и земледельческих справочников.

— Входи, входи, Карлссон, — пригласила старуха, и Карлссон, дитя нового времени, не убежал сразу на гумно, а вошел в горницу и уселся на скамью, предоставив девушкам тащить его сундучок в кухню, находившуюся по другую сторону сеней.

Старуха сняла с крюка кофейник, подсыпала в него порошок из сушеной рыбе́й чешуи для оседания гущи, снова подвесила его над огнем, чтобы немного прокипел, и пригласила Карлссона к столу.

Батрак сидел, мял в руках шапку и выжидал, куда ветер подует, чтобы ставить парус наверняка, потому что твердо решил поладить с хозяйкой, а так как он не был уверен, по нраву ли старухе речистые, то предпочел помолчать, пока не станет ясно, к какому берегу причаливать.

— До чего хороший секретер, — осторожно начал он, ткнув пальцем в медные завитушки.

— Гм! — отозвалась старуха. — Только внутри-то не густо.

— Так уж и не густо! — польстил Карлссон, засовывая мизинец в замочное отверстие откидной крышки. — Небось капита-лец-то есть? А?

— Поначалу-то, когда его только с аукциона привезли, в нем и вправду кой-чего было. Ну, а потом Флуда надо было схоронить, Густена в ученье отправить, вот вся наличность и уплыла. А тут еще невесть для чего новый дом затеяли строить, и так оно и пошло одно за другим. Ну, ладно, Карлссон, садись, клади сахара, пей кофе.

— Мне, что ли, первому начинать? — смутился батрак.

— Что ж, раз больше никого дома нету, — ответила старуха. — Сынок мой милый с ружьем у моря шатается и Нормана за собой таскает. А дела-то стоят! Им бы только из дома удрать; подстрелят птицу — и рады! Больше у них ни о чем заботы нет — ни о скотине, ни о рыбе. Ты, Карлссон, для того сюда и приехал, чтобы порядок в усадьбе навести. Я хочу, чтобы ты тут был вроде как за старшего и за парнями приглядывал. Бери-ка еще хлещец, Карлссон!

— Ежели вы, тетушка, хотите, чтобы я тут был за старшего и чтоб другие меня слушались, то без вашей помощи дело не обойдется. Тогда и порядок будет, а то ведь я батраков этих знаю, им поблажку давать никак нельзя.

Теперь Карлссону ясно было, на каком он свете.

— В морские дела я вступать не собираюсь, потому что ничего в этом не смыслю, а уж в земле-то я толк знаю, и тут я буду за старшего.

— Ладно, это мы все завтра обсудим. Завтра воскресенье, вот и потолкуем при свете дня. Ну, а теперь выпей водочки да и ступай себе спать.

Старуха налила ему еще кофе, а Карлссон взял «песочные часы» и на добрую четверть опорожнил их в кофейную чашку. Сделав глоток, он расположился продолжить этот столь приятный его сердцу разговор. Но старуха поднялась, чтобы поворошить угли в очаге, девушки то вбегали, то выбегали из горницы, а тут еще во дворе затыкала собачонка, и разговор не получился.

— А вот и парни домой вернулись, — заметила старуха.

Снаружи послышались голоса, цоканье металлических подковок башмаков о булыжники, а в окне, между горшками с бальзаминем, Карлссон разглядел в лунном свете две мужские фигуры с ружьями и заплечными мешками на спинах.

В сенях послышался собачий лай, а вслед за этим распахнулась дверь, и в горницу вошел хозяйский сын в высоких резиновых сапогах и морской куртке. С гордостью удачливого охотника он швырнул на стол у двери ягдташ и связку подстреленных птиц.

— Вечер добрый, мать! Вот тебе и мясо! — громко сказал он, не замечая чужого в горнице.

— Вечер добрый, Густен! Долгонько же вас не было, — ответила старуха, невольно бросая удовлетворенный взгляд на великолепных гагачей в иссиня-черном и снежно-белом оперении, с розовыми грудками и зеленовато-голубыми шейками.

— Вижу, вижу! Славно поохотились. А вот погляди, это Карлссон, работник, которого мы ждали.

Сын испытующе и пристально глянул на Карлссона маленькими глазками из-под рыжеватых ресниц. Выражение лица у него мгновенно изменилось.

— Добрый вечер, Карлссон! — отрывисто и несмело буркнул он.

— Добрый вечер! — развязно и слегка покровительственно ответил Карлссон, сразу же поняв, с кем имеет дело.

Густен сел на хозяйское место и, после того как мать налила ему кофе, плеснул себе в чашку водки и стал пить, украдкой следя за Карлссоном, который в это время разглядывал убитых птиц.

— Хороши, хороши птички! — приговаривал Карлссон, щупая птицам грудки, проверяя, жирные ли они. — Вот это выстрел так выстрел! В самый раз угодил!

Густен в ответ лишь иронически усмехнулся, сразу поняв, что батрак в охотничьем деле ничего не смыслит, если расхваливает выстрел, который попортил оперение, так что чучела для манков уже не сделать.

Но Карлссон как ни в чем не бывало продолжал разглагольствовать, расхваливал сумки из тюленьей кожи, ружья, стараясь в то же время представить себя даже еще большим профаном, чем был на самом деле.

— Ты куда Нормана-то девал? — спросила старуха, у которой уже начали слипаться глаза.

— Манатки в сарай затаскивает! — ответил Густен. — Скоро явится!

— А Рундквист уже улегся. Время-то позднее. Да и ты, Карлссон, небось притомился с дороги. Пойдем, покажу тебе, где спать будешь.

Карлссон был бы не прочь остаться и выцедить «песочные часы» до самого донышка, но намек был слишком ясен, и он не рисковал испытывать судьбу. Старуха отвела его в кухню и сразу же вернулась к сыну, лицо которого снова разгладилось и приняло обычное спокойное выражение.

— Ну, как он тебе показался? — спросила старуха. — Похоже, парень честный и услужливый, верно?

— Да нет, мама, — чуть помедлив, ответил сын, — не думаю. Языкастый больно. Как есть пустомеля!

— Ну уж, ты и скажешь, сынок. Почему ты знаешь, может, он человек дельный, хоть и болтлив маленько.

— Поверь, мама, это проходимец, и ничего больше. И мы еще хлебом с ним горя, пока не избавимся от него. Ну да ладно! Пускай отработывает свой хлеб, только чтоб мне поперек дороги не становился! Ты ведь меня никогда не слушаешь, вот потом и поглядишь. Поглядишь! Пожалеешь, да поздно будет! Не так, что ли, со старым Рундквистом вышло? Тоже языком молот почему зря, а теперь вот лишний раз спину не согнет, и маяться нам с ним до окончания дней. Пустобрехи эти только над горшком с кашей трудиться горазды. Вот попомнишь мои слова!

— Ты, Густен, точь-в-точь как твой отец! Всегда-то про людей худое думаешь и сам не знаешь, чего тебе от них надо. Ясное дело, Рундквист не моряк, так ведь он тоже с материка! Зато он много такого знает, что иному и невдомек. А моряков-то где же взять? Они все на флот идут, или в лоцманы, или на таможду. Сюда если и пойдет кто, так только с суши. Вот и приходится брать что есть.

— Что верно, то верно, нынче в батраки никто не хочет идти, все на казенную службу норовят. А сюда с материка всякий сброд является. Ну, а коли кто потолковее и заберется к нам в шхеры, то, стало быть, у него свой интерес есть. Потому-то я тебе всегда толкую: гляди в оба!

— Вот ты-то сам и глядел бы в оба! — подхватила старуха. — Кому, как не тебе, о своем добре печься? Все когда-нибудь будет. И дома тебе надо побольше бывать, а не пропадать на море с утра до ночи да батраков от дела сманивать!

Густен пощупал одну из птиц и возразил:

— Ты ведь, мать, и сама рада бываешь куском жаркого полакомиться, после того как всю зиму просидишь на солонине да на сушеной рыбе. Так что не тебе бы меня корить. Ну и потом — по кабакам я не шляюсь, надо же и мне хоть какое-то развлечение иметь. С голоду мы вроде не умираем, малость денег в банке имеется, и усадьба пока что цела. Ну, а коли и сгорит ненароком, так туда ей и дорога. Она же застрахована!

— Усадьба-то, может, и цела, да только кругом все разваливается. Надо изгороди ладить, канавы копать. Крыша в хлеву прохудилась, скотину дождем поливает. Ни одного мостка целого нет, лодки все как есть порассохлись. Сети надо чинить, погреб крыть... Ох, да мало ли дела в усадьбе, а ведь ничегошеньки не делается! Но поглядим, может, теперь все по-иному пойдет, раз мы для этого человека наняли, авось хоть Карлссон порядок наведет.

— Ну, ладно, пусть его наводит порядок! — огрызнулся Густен и взъерошил свои короткие, торчащие ежиком воло-

с ы . — А вот и Норман! Иди сюда, Норман, выпей кофейку с водкой!

Норман, широкоплечий, белобрысый коротышка с синими глазами и редкими светлыми усиками, вошел в горницу и, поздоровавшись со старухой, сел рядом с товарищем по охоте. Вытащив из жилетных карманов глиняные трубки и набив их «Черным якорем», прихлебывая кофе с водкой, оба героя принялись, как водится у охотников, расписывать свои подвиги на взморье, подробно обсуждая каждый выстрел. Они ощупывали раны на птичьих тушках, пересчитывали дробины, анализировали промахи и строили планы дальнейших совместных вылазок.

А Карлссон тем временем вошел в кухню, где ему предстояло спать.

Это было довольно просторное помещение, напоминавшее грузовое судно с задранном кверху килем, набитое всякой всячиной. Высоко, под самым коньком закопченной крыши, на стропилах висели сети и рыболовные снасти, а внизу были сложены для просушки доски на ремонт лодок; тут же валялись веревки, пенька, шлюпочные якоря, железные брусья, связки лука, сальные свечи, стояли лари с провизией; на одной из поперечных балок были выставлены в ряд свеженабитые манки, через другую балку была переброшена овечья шкура, с третьей свисали морские сапоги, вязаные фуфайки, рубахи, чулки, а поперек протянуты были жерди с наколотыми на них, как на вертеле, лепешками; еще тут были багры для ловли угрей, колья с переметами и подпусками.

У окна стоял некрашенный деревянный стол, а по стенам — три деревянных дивана, застеленных довольно чистыми, хотя и грубыми простынями.

На один из них старуха указала Карлссону и тут же ушла, унеся с собой свечу и оставив нового работника во тьме, лишь слабо озаряемой тлеющими углями очага и коротким лунным лучом, отражавшим на полу переплет окна. При отходе ко сну свечей не полагалось, и делалось это из соображений приличия, так как девушки спали тут же, в кухне.

Карлссону пришлось раздеваться в потемках. Он снял с себя пиджак и сапоги, вынул из жилетного кармана часы, чтобы завести их при свете тлеющих в очаге углей. Вставив ключик в отверстие, он начал накручивать завод немного неуверенной рукой, поскольку часы он носил не каждый день, а лишь по воскресеньям и в особо торжественных случаях.

Тут с одного из диванов донесся до него сиплый голос:

— Ишь ты, черт подери, у него и часы имеются!

Карлссон вздрогнул, взгляделся в ту сторону, откуда слышался голос, и увидел в полутьме прищуренные глазки и всклокоченную голову, подпираемую двумя волосатыми ручищами.

— А тебе что за дело? Ишь раззвонился!.. — огрызнулся Карлссон.

— Звонят в церкви, а я туда не х о д о к , — ответила голова.

— Ясно, не ходок. Сразу видать, что товар ты не больно ходкий! — отпарировал Карлссон.

— Толково сказано! — похвалил старик. — Спору нет, тонкая ты штучка. У тебя вон и сапоги с сафьяновыми отворотами.

— Да уж, что верно, то верно. У меня и галоши есть!

— Господи Иисусе, и галоши тоже! В таком разе ты наверняка можешь поднести мне глотовек!

— Могу, коли на то пошло, — уверенно ответил Карлссон и пошел за своей хёганесской флягой. — Вот держи, угощайся!

Он вынул пробку, отхлебнул глоток и протянул флягу старику.

— Спаси тебя бог, да это никак водка! Ну, будь здоров, и милости просим в наши края. Теперь я стану говорить тебе «ты», а ты называй меня «полоумный Рундквист». Меня тут все так величают.

И Рундквист полез под одеяло.

Карлссон повесил часы на гвоздь, сапоги поставил так, чтобы видны были красные сафьяновые отвороты, а затем разделся и лег в постель. В кухне наступила тишина, и лишь со стороны очага доносилось сопение Рундквиста. Карлссон лежал без сна, думая о будущем; гвоздем засели у него в мозгу слова старухи о том, что ему надлежит наладить хозяйство и что он будет тут вrede как за старшего. Гвоздь этот буравил голову, словно в ней зрел нарыв. Карлссон представлял себе секретер красного дерева, рыжие волосы хозяйского сына, его настороженный взгляд. Он видел себя с большой связкой ключей на стальном кольце; ключи позвякивают у него в кармане штанов, и вот кто-то подходит к нему и просит денег. Он приподнимает фартук, чуть выдвигает правую ногу, опускает руку в карман, нащупывает там ключи, тербит связку, словно пук пакли, выбирает самый маленький ключик от крышки секретера и вставляет его в замочное отверстие точно так же, как он нынче вечером вставлял туда мизинец. Но вдруг замочное отверстие, похожее на зрачок глаза, начинает расти и делается круглым, большим и черным, как дуло ружья, а по другую сторону ружейного ствола он видит сверлящий взгляд хозяйского сына; красноватые рыбы глаза смотрят на Карлссона пристально и злобно, точно он оберегает от него свои деньги.

Скрипнула кухонная дверь, и Карлссон вздрогнул, очнувшись от своих грез. Посреди кухни, там, где лежал на полу лунный переплет окна, он увидел две фигуры в белом, а вскоре два тела нырнули в постель, которая закрипела под ними, как лодка, ткнувшаяся в шаткий причал. Потом послышались шорох простынь, хихиканье, и наконец все стихло.

— Спокойной ночи, девоньки! — раздался сонный голос Рундквиста. — Вот бы я вам во сне привиделся, красавицы мои!

— Больно надо! — отозвалась Лоттен.

— Молчи, не отвечай этой образине, — одернула ее Клара.

— Ведь какие красавицы-то!.. Вот бы мне таким быть! — вздохнул Рундквист. — О, господи, старость не радость. В старо-

сти-то видит око, да зуб неймет. Дрянная жизнь! Спите крепко, девоньки, и берегитесь Карлссона, он парень при часах и в сапогах с сафьяном. Счастливчик этот Карлссон! Счастья нету, счастье тут, счастье тем, к кому девки льнут. Эй, чего это вы там хихикаете?.. Слышь, Карлссон, не дашь ли еще глоточек? А то я продрог, как пес. От очага холодом тянет.

— Нет, больше не получишь. И не мешай спать! — отрезал Карлссон, отвлекшийся от грез о будущем, в котором не было места ни вину, ни девушкам и где он уже видел себя хозяином.

И снова стало тихо, лишь через две закрытые двери долетали из горницы приглушенные звуки беседы двух охотников да от ветра время от времени дребезжала печная вьюшка.

Закрыв глаза, Карлссон сквозь дрему слышал, как Лоттен вполголоса читает что-то наизусть; сперва это было нечто неразборчивое, но постепенно из слитного бормотания он стал различать слова, тянущиеся непрерывной чередой: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки, аминь! Спокойной ночи, Клара! Спи крепко!»

С постели девушек донеслось легкое похрапыванье, зато Рундквист храпел так, что стекла дребезжали. Может, он и вправду спал, а может, дурачился. Карлссон лежал в полудреме, сам не понимая, спит он или нет; но вот он почувствовал, как приподнялось одеяло, и потное, упитанное тело улеглось рядом с ним.

— Это я, Норман! — услышал он у самого уха вкрадчивый голос и понял, что это батрак, с которым ему придется делить нынче ночью постель.

— А, стрелок явился! — послышался сиплый бас Рундквиста. — А я-то думал, это Калле, что по субботам стреляет на сеновале!

— Стреляй и ты, кто тебе не велит? Или уж курок не взвесь? А, Рундквист? — огрызнулся Норман.

— Что ж, можно и стрельнуть, — отвечал старик. — Мое дело такое — ночью порою крепко сплю, горохом да репой в перину палю.

— Огонь погасили? — донесся из сеней благожелательный голос хозяйки.

— А как же! — хором раздалось в ответ.

— Ну, тогда спокойной вам ночи!

— Спокойной ночи, тетушка!

Послышались вздохи, пыхтенье, сопенье, кряхтенье, которые мало-помалу перешли в дружный храп.

Одного только Карлссона сон никак не брал, и он даже принялся считать оконные переплеты, чтобы забыться.

Глава вторая

ВОСКРЕСНЫЙ ОТДЫХ И ВОСКРЕСНЫЕ ДЕЛА. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ И ХУДЫЕ ОВЦЫ. ВАЛЬДШНЕПЫ ПОЛУЧАЮТ СВОЕ, А БАТРАК ПОЛУЧАЕТ ОТДЕЛЬНУЮ КАМОРКУ

Когда наутро в воскресенье Карлссона разбудил петушиный крик, все постели были уже пусты и девушки в нижних юбках хлопотали у очага; солнце светило вовсю, и его слепящие лучи заливали кухню.

Карлссон проворно натянул брюки и вышел во двор умываться. Там, на бочке из-под салаки, уже сидел юный Норман, и Рундквист, слывший мастером на все руки, в чистой манишке, громадной, как газетный лист, и в лучших своих сапогах, подстригал его. Карлссону указали на железный котел без ножек, служивший умывальным тазом, и он с помощью зеленого обмылка свершил воскресное омовение.

В окне дома виднелась веснушчатая физиономия Густена, который, стоя перед осколком зеркала, прозванным «воскресной гляделкой», и отчаянно гримасничая, скреб щетину лезвием бритвы, вспыхивавшим на солнце.

— В церковь нынче пойдете? — спросил Карлссон вместо утреннего приветствия.

— Нет, мы так часто в божий храм не ходим, — ответил Рундквист. — Туда две мили грести да обратно столько же... а зряшную работу в воскресенье делать великий грех.

Во двор вышла Лоттен и принялась чистить картошку, а Клара направилась за соленой рыбой к амбару, где в огромном чане, как в братской могиле, покоилась вся рыба мелочь, которая погибла в сетях или садке, была непригодна к длительному хранению и, засоленная вперемешку, невзирая на ранги и звания, предназначалась для домашних нужд.

Бок о бок соседствовали белесая плотва, алые красноперки, подлещики, ерши, пинагоры, окуни, щучки, камбала, лини, налимы, сиги, все с каким-нибудь изъяном — разорванными жабрами, проколотым крючком глазом, следами остроги на спине, раздавленным каблуком брюхом и так далее. Клара взяла несколько горстей рыбы, ополоснула ее от соли, и вся компания отправилась в котел.

Пока на огне поспевал завтрак, Карлссон оделся и решил пройтись по усадьбе и обозреть ее окрестности.

Дом, представлявший собою по сути дела два дома, соединенных вместе, стоял на пригорке на южной внутренней оконечности продолговатой, мелководной, отходившей от фьерда бухточки, которая столь глубоко врезалась в сушу, что море было скрыто от глаз, и казалось, будто усадьба находится не на острове, а где-нибудь на материке, на берегу небольшого озера. Склоны холмов сбегали в долину с дубравами, лугами, выгонами, окаймленными лиственным лесом из березы, ольхи и дуба. Северная сторона бухты была отгорожена от холодных ветров возвышенностью, по-

росшей ельником, а на южной стороне острова можно было видеть сосновые рощи, березовые перелески, мшистые болота и трясины, меж которыми то тут, то там распаханы были полосы земли.

Рядом с жилым домом на пригорке стоял амбар для провизии, а неподалеку высился новый дом, побольше, красное деревянное строение под черепичной крышей; его старый Флуд построил для себя на будущее, когда он, передав усадьбу сыну, станет жить на покое. Но теперь дом пустовал, потому что вдовая хозяйка не хотела жить там одна, да и дров на два очага ушло бы чересчур много.

Чуть подальше, у самой рощи, находились хлев и гумно, в тени рослых дубов скрыты были баня и погреб, а еще дальше, у южного луга, виднелась крыша полуразвалившейся кузни.

У внутренней оконечности бухты была пристань с лодочными сараями.

Вся эта картина весьма порадовала Карлссона, хотя дело было не в красотах природы. Бухта, богатая рыбой, луга, раскинувшиеся в долине, пашни на склонах, хорошо защищенные от ветров, густой строевой лес, отличная деловая древесина в дубравах — все это сулило немалые барыши, и нужна была лишь твердая и умелая рука, чтобы привести все в движение и извлечь на белый свет погребенные в недрах сокровища.

Его размышления были прерваны звучным «Эгей!», донесшимся с порога избы и эхом огласившим залив и бухту. Тотчас же послышался столь же звучный отклик со стороны гумна, рощи и кузни.

Это Клара сзывала всех к завтраку, и вскоре четверо мужчин уже сидели в кухне за столом, на котором стояли дымящийся картофель, соленая рыба, масло, ржаной хлеб и, по случаю воскресенья, бутылка водки. Старая хозяйка ходила вокруг, приговаривала «кушайте, кушайте» и в то же время поглядывала на очаг, где кипело варево для поросят и кур.

Карлссон занял короткую сторону стола, по одну руку от него сел Густен, по другую — Рундквист, а Норман уселся напротив, так что непонятно было, в сущности, кто же сидит на хозяйском месте, и выходило, что главенствуют за столом все четверо. Однако беседой сразу же завладел Карлссон; он говорил о земледелии и скотоводстве и стучал вилкой по столу для подкрепления своих слов. Густен же либо не отвечал ему вовсе, либо переводил разговор на охоту и рыболовство. Норман поддакивал хозяину, а Рундквист играл роль двурушника и, чувствуя, что баталия разгорается, пытался еще пуще раззадорить противников, а когда пламя затухало, тотчас подливал масла в огонь, поддразнивал, язвил, жалил направо и налево, намекая, что все они олухи без понятия и что только он один тут человек с головой.

Густен ни разу не обратился прямо к Карлссону; он адресовал свои речи к другим соседям по столу, и Карлссон понял, что со стороны хозяйского сына дружбы ждать не приходится.

Норман, самый младший из сотрапезников, пользовался покровительством хозяина и считал, что держать его сторону будет вернее всего.

— Вскармливать поросят, когда молока в хозяйстве не хватает, — пустая затея, — рассуждал Карлссон, — а молоку тоже неоткуда взяться, коли осенью клевер не посеешь. Кругооборот в сельском хозяйстве — первое дело. Так оно и идет по порядку.

— Вот и в рыболовстве то же самое, — обратился Густен к соседу слева, — известное дело, Норман, сети на салаку не поставишь, пока камбала идет, а камбала не пойдет, пока щука не отыграет. Так оно одно за другое и цепляется. Там, где одному конец, — другому начало. Верно я говорю, Норман?

Норман беспрекословно поддержал хозяина и, заметив, что Карлссон снова намеревается встрять в разговор, для верности повторил слова Густена:

— Так, так. Одно цепляется за другое. Одному конец — другому начало.

— Кто это там за конец цепляется? — вставил свое слово Рундквист.

Карлссон, жуя хвост красноперки и отчаянно жестикулируя, пытался вернуть разговор в нужное русло. Однако после замечания Рундквиста ему ничего не оставалось, как присоединиться к хохоту остальных, которые не столько забавлялись дурацкой шуткой, сколько злорадствовали по поводу того, что сельское хозяйство наконец отодвинуто на задний план. Воодушевленный успехом, Рундквист принялся развивать столь удачно найденную тему, так что едва ли кто-то стал бы сейчас слушать Карлссона.

Когда завтрак был окончен, в кухню вошла старуха и попросила Карлссона и Густена пойти с нею на скотный двор и на поля, чтобы обсудить, как наладить хозяйство и распределить работу, после чего все должны были собраться в горнице для чтения священного писания.

Рундквист, закулив трубку, растянулся на своем деревянном диване у очага, Норман с гармошкой уселся на пороге, а остальные отправились на скотный двор. Здесь Карлссон не без тайного удовольствия увидел картину, которая превосходила самые худшие его ожидания. Двенадцать коров, стоя на коленях, пережевывали мох и солому, так как корма давно уже кончились. Карлссон и Густен попытались было поднять коров на ноги, подсунув им под брюхо доски, но у них ничего не вышло, и они отступились, оставив коров в покое.

Карлссон многозначительно покачивал головой, как лекарь у постели смертельно больного, однако от советов и предложений воздерживался.

С воловией упряжкой дело обстояло еще хуже, поскольку животные были вконец изнурены весенней пахотой, а овцы жадно обгладывали кору на вениках с давно съеденной листвой.

Свиньи были тощи, как гончие псы, петухи и куры расхаживали по хлеву среди навозных куч и грязной жижи.

После осмотра всего этого разора Карлссон объявил, что нет иного выхода, как пустить под нож половину коровьего стада.

— Шесть дойных коров лучше, чем двенадцать оголодавших, — сказал он.

Ощупав вымя и молочные железы у каждой коровы для определения дойности, он безошибочно выбрал шестерых, которых следовало, подкормив немного, свезти на убой.

Густен попытался было протестовать, но Карлссон твердо стоял на своем — коров придется забить. Они все равно подохнут. Не сойти ему с этого места! Потом можно будет подумать о всяких усовершенствованиях, но сейчас первое дело — это закупить хорошего сухого сена, чтобы можно было прокормить коров до того, как их выпустят в лес.

Услышав о том, что придется покупать сено, Густен встал на дыбы. Как можно выкидывать деньги за сено, которого потом и у самих вдоволь будет! Но старуха уgomонила его, заявив, что он во всем этом мало что смыслит.

Уладив еще кое-какие дела на скотном дворе, они отправились обозревать поля.

Там целые полосы лежали под паром.

— Ай-ай-ай! — сочувственно произнес Карлссон, увидев, что хозяйство тут все еще ведется по старинке. — Ну чисто дети! Нынче уж давно землю не держат под паром, а засевают поле клевером. Чего ради снимать урожай раз в два года, ежели можно каждый год?

Густен возразил, что ежегодные урожаи высосут из земли все соки, ведь земля должна отдыхать, так же как и человек, но на это Карлссон дал правильное, хотя и несколько туманное разъяснение, что клевер не высасывает из земли соков, а, наоборот, подкармливает ее и к тому же защищает поле от сорняков.

— Сроду не слышал, чтобы растения подкармливали землю, — сказал Густен, который никак не мог уразуметь ученых расуждений Карлссона о том, что «травы получают питание из воздуха».

Затем были осмотрены канавы, доверху заполненные грунтовой водой, заросшие и почти без стока.

Поля были засеяны кое-как, с проплешинами, и сорняки буйно разрослись. Луга очистить никто не удосужился, и теперь прошлогодняя листва повсюду покрывала молодую траву липкими комьями и душила ее. Изгороди покосились, многих мостков не доставало. Словом, повсюду царило то самое запустение, о котором старуха накануне вечером говорила Густену. Но Густен и слушать не хотел глубокомысленных доводов Карлссона и отмахивался от него, как от назойливой мухи. Его страшила уйма предстоящих дел, но более всего его страшило то, что матери придется изрядно раскошелиться.

Когда они направились на коровий выгон, Густен еще плелся следом за ними, но когда они пошли по лесу, он скоро отстал. Старуха звала-звала его, но так и не смогла дозваться.

— Ладно, пусть его уходит, — сказала она. — Густен, вишь, всегда был парень нерасторопный и с ленцой. Только и проку

от него, когда он на море с ружьем отправляется... Но ты, Карлссон, на него не гляди, вообще-то он парень незлой, просто отец ему во всем потакал, хотел для него лучшей доли и не заставлял работать на земле вместе с батраками. Дескать, пусть занимается тем, что ему больше по душе. А когда ему двенадцать сравнялось, отец подарил ему лодку и ружье, и тут уж с ним вовсе сладу не стало. Ну, а нынче рыбный промысел в упадок приходит, и надо о земле больше думать, она понадежнее, чем море. Все бы ничего, да жаль, Густен батраков в строгости держать не умеет, распустил их донельзя, вот дело-то и стоит.

— Да уж, их лучше не баловать, — подхватил Карлссон, — и раз уж к слову пришлось, то скажу я вам, тетушка, ежели вы хотите, чтоб я у вас тут был вроде как управитель, то есть мне надо в горнице и спать отдельно, а то какое же мне уважение будет? А без уважения, сами знаете, толку не добьешься.

— Вишь ты, Карлссон, насчет того, чтобы есть в горнице, а не в кухне, — с этим ничего не выйдет, — возразила старуха, переступая через перелаз прясла, — народ-то нынче знаешь какой пошел? Нипочем не потерпят, чтобы кто-то отдельно ел, а не с ними в кухне; сам Флуд на такое не решался, да и Густен тоже. Попробуй только отделись от них — враз начнут привередничать да нос от еды воротить. Нет, нет, этого никак нельзя! Ну, а насчет того, чтобы спать в отдельной камерке, — тут дело другое, поглядим, может, что и придумаем. Правду сказать, они и так уж жалуются, что шибко много народу в кухне ночует, да и Норман, поди, рад будет один спать.

Карлссон счел за лучшее удовлетвориться половинным выигрышем, а остальные претензии до поры до времени спрятать в карман.

Они углубились в ельник, где между валунами кое-где еще лежали снежные сугробы, серые от пыли и осыпавшейся темной хвои; апрельское солнышко припекало, стволы елей уже начали сочиться камедью, под ногами голубели подснежники, а в кустах орешника сквозь причудливые нагромождения прелой листвы проглядывали фиалки. Влажным теплом веяло от кукушкина льна, сквозь стволы деревьев, в мареве прогретшегося весеннего воздуха, маячили огораживающие выгон прясла, а еще дальше синела гладь фьерда, колеблемая порывами легкого бриза; в гуще веток трещали белки, и зеленый дятел громко кричал и стучал по стволу дерева.

Старуха семенила впереди, твердо ступая по хвое и корням на стьлой лесной тропе, и шедший сзади Карлссон, глядя, как мелькают под подолом юбки ее подошвы, подумал, что вчера вечером она показалась ему гораздо старше.

— Ох, и прыткие же вы на ногу, тетушка! — сказал Карлссон, в котором вдруг разыграли весенние чувства.

— Ну, уж ты и скажешь! Шутки, небось, шутишь со старой бабой?

— Какие шутки? Я всегда что думаю, то и говорю, — заверил ее Карлссон, — бегаєте вы шибко, мне за вами и не угнаться, я вон уж взопрел весь.

— Что ж, можно и отдохнуть чуток, — сказала старуха и остановилась, чтобы отдышаться. — Ну вот, Карлссон, это и есть наш лес, мы сюда скотину летом на выпас гоним.

Бросив оценивающий взгляд вокруг, Карлссон подумал, что деловой древесины и строевого леса тут будет не одна сажень.

— Только уж больно неухоженный лес! Хворосту навалено, валежнику! Сухостоя много, сам черт не продерется.

— Да, Карлссон, теперь сам видишь, какие у нас тут порядки, так что тебе и карты в руки; хозяйствуй, как сам понимаешь, а в том, что ты все будешь делать как надо, у меня и сомнений нет.

— Я-то свое дело делать буду, а вот другие как? Тут уж мне без вашей помощи, тетушка, никак не обойтись, — гнул свою линию Карлссон, прекрасно понимая, что ему, пришлому человеку, нелегко будет утвердиться в капральском звании, одержав верх над старожилками усадьбы.

Обсуждая, каким образом Карлссон сможет добиться в усадьбе главенствующего положения — а он убедил старуху в том, что это неременное условие для возрождения развалившегося хозяйства, — они незаметно добрались до дома. Теперь предстояло чтение священного писания, но никого из мужчин не оказалось дома. Оба охотника отправились с ружьями в лес, а Рундквист наверняка затаился на каком-либо солнечном пригорке — так бывало всякий раз, когда предстояло слушать слово божие. Карлссон стал убеждать хозяйку, что они прекрасно обойдутся без слушателей, а что до девушек, то они, открыв дверь кухни, смогут внимать святым словам, одновременно присматривая за горшками. Старуха выразила сомнение, сумеет ли она все прочитать как надо, и Карлссон тут же вызвался взять этот труд на себя. Он уверял, что много раз читал вслух проповеди, будучи в услужении у стряпчего, и что все пройдет как нельзя лучше.

Старуха открыла календарь и предназначенный на этот день текст. На второе воскресенье после пасхи приходился текст о добром пастыре. Карлссон снял с полки сборник проповедей Лютера и уселся на стуле посреди горницы, как бы для того, чтобы воображаемые слушатели могли лучше видеть его. Затем он раскрыл евангелие и стал читать громким голосом, нараспев, как читают обычно странствующие проповедники и как читал когда-то он сам:

— И сказал тогда Иисус иудеям: «Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит».

Удивительное чувство личной причастности охватило чтеца, когда он произнес слова: «Я есмь пастырь добрый», и он бросил

красноречивый взгляд за окно, как бы в поисках убежавших наемников, Рундквиста и Нормана.

Старуха скорбно и одобрительно закивала головой, а потом взяла на руки кошку, словно раскрывая объятия заблудшей овце.

Карлссон продолжал читать дрожащим от волнения голосом, как будто он сам написал эти слова:

— «А наемник бежит... да, бежит, — вещал он, — потому что — наемник... — И, возвыся голос, Карлссон выкрикнул: — ...И не радит об овцах! Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня», — продолжал он читать наизусть, словно затверженный урок из катехизиса. — Он понизил голос, опустил глаза, словно глубоко скорбя о людских пороках, и, косясь в сторону, произнес с нажимом, как бы обвиняя неких нечестивцев, которых не хотел называть: — «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой!» — И с торжествующей улыбкой, пророчески, с глубокой верой и убеждением он произнес: — «И будет одно стадо и один Пастырь!»

— И будет Пастырь! — словно эхо, откликнулась старая хозяйка, мысли которой текли в несколько ином направлении, нежели у Карлссона.

Затем он взял сборник проповедей и, перелистав его, скорчил кислую мину, так как увидел, что дело долгое. Но потом набрался мужества и принялся за чтение.

На сей раз тема была весьма далека от его интересов; она касалась толкования христианских символов и поэтому не вызвала у него столь живого отклика, как предыдущая. Он несся по страницам галопом, все убыстряя темп, последнюю строчку произносил скороговоркой и, послунив палец, ухитрился переворачивать сразу по два листа, стараясь, чтобы старуха ничего не заметила.

Увидев, что текст близится к концу и в любую минуту можно напороться на «аминь», он слегка притормозил, но было уже поздно, так как, поплевав на палец чересчур энергично, он перевернул сразу три листа, и уже на первой верхней строчке уперся в «аминь», точно головой в стену. При его выкрике старуха очнулась от дремоты и с недоумением посмотрела на часы. Это заставило Карлссона еще раз произнести «аминь», украсив его словесным гарниром: «Во имя Отца и Сына и Святого духа и спасителя нашего Иисуса Христа».

Чтобы достойно закруглиться и несколько загладить свою провинность, он прочитал «Отче наш» так медленно и тягуче, что старуха, которой к тому же солнце светило прямо в глаза, успела окончательно проснуться. Карлссон, стремясь избежать щекотливых расспросов, подпер голову рукой и погрузился в безмолвную молитву, которую нельзя было нарушать.

Старуха, которая также чувствовала свою вину, захотела показать, что внимательно слушала чтение, и принялась истолковывать своими словами текст евангелия, но Карлссон прервал ее, сказав,

что смысл тут ясен. И смысл, и слова Спасителя можно истолковать только так: во дворе сем должны быть одно стадо и один Пастырь. Только один на всех, один, один, один!

Тут Клара стала сзывать домочадцев к обеду, и в ответ послышались два зычных веселых отклика из леса, сопровождавшихся ружейными выстрелами. А со стороны кузни отозвался хрипловатый бас, точно исходивший из глубин голодного желудка Рундквиста.

И вскоре показались заблудшие овцы, легкими шагами поспешавшие к кормушке. Старуха мягко попеняла им, что они не присутствовали на чтении проповеди, но невинные агнцы не замедлили оправдаться, сказав, что их никто не позвал, а иначе они бы сразу явились.

За столом Карлссон держался с достоинством, как это и подобает во время воскресной трапезы, но Рундквист так и сыпал намеками насчет «небывалых успехов в земледелии», из чего Карлссон понял, что старик уже завербован и привлечен на сторону оппозиционной партии.

После обеда, состоявшего из пары гаг, тушенных в молоке с перцем, мужчины разбрелись по углам поспать, а Карлссон, вынув из сундучка псалтырь, вышел во двор, выбрал камень посуше и сел спиной к окну горницы, чтобы втихомолку вздремнуть. Старуха, думая, что он углублен в молитву, сочла такое времяпрепровождение весьма похвальным для воскресного послеобеденного часа.

Решив, что он просидел достаточно долго для сотворения молитвы, Карлссон встал, без стука вошел в горницу и попросил старуху показать ему его каморку. Старая хозяйка попробовала тянуть канитель, отговариваться тем, что там еще не прибрано, и все такое прочее, но Карлссон стоял на своем, и она повела его наверх, в мансарду под самой крышей, напоминавшую небольшой деревянный ящик с маленьким оконцем, выходившим на фронтон дома, занавешенным шторой с синей каймой. В каморке стояла кровать, а перед окном — столик и на нем графин с водой. На стене висело нечто, прикрытое белой простыней и по очертаниям напоминавшее одежду. При ближайшем рассмотрении так оно и оказалось, потому что из-под простыни высовывались там воротник куртука с вешалкой, там — штанина. Внизу был целый склад обуви, мужской и женской вперемешку, а у самой двери стоял громадный, окованный железом сундук с медной скобой.

Карлссон поднял штору, распахнул окно, чтобы выветрился смешанный запах сырости, камфары, перца и полыни, положил на стол шапку и объявил, что тут он отлично выспится, а на опасения старухи, что по ночам он будет мерзнуть, возразил, что привык спать в холоде и потому здесь ему куда лучше, чем в теплой кухне.

Старая хозяйка, слегка обескураженная столь быстрым поворотом дела, хотела вынести хотя бы одежду, чтобы она не

оказалась насквозь прокуренной, но Карлссон обещал ей не курить здесь и упросил ее оставить одежду на месте. Тетушке незачем беспокоиться и утруждать себя ради него, он даже и не взглянет в ту сторону. По вечерам он будет сразу же ложиться в постель, сам будет расстилать ее, а по утрам застилать, так что сюда никому и заглядывать не придется. Он ведь понимает, что тетушка опасается за свое добро, а его тут не на одну десятку.

Уговорив старуху, Карлссон сошел в кухню, притащил наверх свой сундучок и флягу, повесил куртку на гвоздь у окна, а сапоги поставил рядом с другой парой обуви.

Затем он сказал старухе, что надо бы потолковать и что при разговоре должен присутствовать Густен, поскольку речь пойдет о распределении работы.

Густена разыскали не без труда и убедили посидеть хоть немного в избе, однако он все равно никакого участия в переговорах не принимал, на все предложения отвечал отказом, артачился, как мог, упираясь и вставляя им палки в колеса.

Уж как только не подъезжал к нему Карлссон, пытался подкупить лестью, поразить своей осведомленностью, внушить уважение к своим летам, но все напрасно. Наконец собеседники выбились из сил, и никто и мигнуть не успел, как Густен исчез.

Между тем наступил вечер, солнце скрылось за вечерней дымкой, которая вскоре затянула небо, покрытое мелкими перистыми облачками. Воздух, однако, оставался теплым. Карлссон вышел прогуляться, побрел куда глаза глядят, пересек луг, попал на коровий выгон, затем зашагал дальше мимо зацветающих, но все еще голых кустов орешника, которые образовывали как бы туннель и вели к побережью, где обычно сваливали древесину, чтобы скупщики могли затем погрузить ее на свои шхуны.

Вдруг он остановился и сквозь ветви орешника увидел Густена и Нормана, которые взгромоздились на груды камней на лесной прогалине и, подняв вверх ружейные дула, озирались по сторонам.

— Тс-с, вон он идет! — сказал Густен шепотом, но Карлссон все же его услышал. Поняв, что речь о нем, Карлссон затаился в кустах.

Тут над молодыми елочками пролетела птица; она летела медленно, неуклюже, как сова с отвисшими крыльями, а вскоре показалась еще одна.

Кнорр-орр-орр-вип! — послышалось в воздухе, а затем — бах! бах! — из обеих ружей, и из стволов веером вылетели дым и дробь.

В березняке затрещали ветки, и неподалеку от Карлссона на землю рухнул вальдшнеп.

Охотники подбежали за добычей, и этот эпизод послужил поводом для такого разговора.

— Этот получил свое! — сказал Норман, ероша перья на груди еще теплой птицы.

— Кое-кому тоже не мешало бы получить свое, — отозвался Густен, которого даже охотничий азарт не мог отвлечь от навязчивых мыслей. — Ишь дьявол! Отдельную комнату ему подавай! Будет теперь один спать.

— Да неужто? — удивился Норман.

— Порядок, вишь, ему захотелось в усадьбе навести. А то мы без него не знаем, что такое порядок. Ну да ведь дело известное — новая метла чисто метет, само собой, покуда она новая. Только долго ему придется ждать, чтобы я ему помогал.

— И еще говорит — клевер воздухом, дескать, питается. Каково, а?

— Да, воздухом! Дерьмом он питается, а не воздухом!

И оба критикана громко захохотали, а Карлссон, стоя за кустом, в бессильной ярости заскрежетал зубами.

— Пускай только сунется ко мне! — продолжал Густен. — Я не из тех, кто пасует перед всяким прохвостом. Ну, а коли сунется, то узнает, почем фунт лиха! Тс-с... а вот и другой летит!..

Перезарядив ружья, охотники снова побежали в засаду, а Карлссон незаметно ретировался, про себя решив, что перейдет в наступление, как только будет во всеоружии.

Вечером, когда он поднялся в свою каморку, опустил шторы и зажег свечу, ему поначалу стало как-то не по себе. Его тяготило одиночество, и смутный страх перед теми, от кого он намеренно отгородился, охватил все его существо. Он привык во всякое время суток быть на людях, к нему постоянно кто-нибудь обращался, а когда хотелось поговорить, под боком всегда были слушатели. Теперь же его окружала тишина, гнетущая тишина; он по привычке ждал, что кто-то с ним заговорит, и даже, казалось, слышал голоса, которых на самом деле не могло быть, и мысли его, прежде легко облекавшиеся в слова, теснились в голове, так что она готова была лопнуть от их избытка. Мысли росли, давили на череп, искали выхода в какой угодно форме, причиняя боль и отгоняя сон.

Тогда он начал расхаживать в одних чулках по каморке от двери до окна, стараясь сосредоточить все свое внимание на завтрашних делах и заботах; он мысленно прикидывал, что нужно будет сделать и кому что поручить, старался предугадать возражения, преодолеть препятствия, и спустя час в его голове воцарился покой и порядок, все было размещено и разложено, как в приходно-расходной книге, все встало на свои места, так что можно было сразу окинуть все одним взглядом.

Затем он лег в постель и, осознав, что отныне будет лежать один на свежих чистых простынях и может больше не бояться чужого вторжения среди ночи, почувствовал себя самостоятельным, как пустивший собственные корни побег, готовый отделиться от материнского куста и начать свою жизнь и свою борьбу, быть может с большими трудностями, но зато и с большей радостью.

И он уснул, готовый к своему первому понедельнику и своей первой рабочей неделе на новом месте.

Глава третья

БАТРАК ВЫКЛАДЫВАЕТ КОЗЫРИ НА СТОЛ И СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОДМИНАЕТ МОЛОДЫХ ПЕТУХОВ И САМ ТОПЧЕТ СВОИХ КУР

Играл лещ, курился можжевельник, зеленели дубравы, а Карлсон посеял яровую рожь, бросив в землю прошлогоднее зерно, отвел на убой шестерых коров, купил для остальных сухого сена, так что они поднялись на ноги, и теперь их можно было выпускать на лесной выгон, он налаживал хозяйство, сам трудился за двоих и умел других впрячь в работу, хотя они и упирались, как только могли.

Родившись в одной из усадеб Вермланда бог весть от каких родителей, он смолоду обнаруживал решительное отвращение к физическому труду и при этом проявлял удивительную избирательность в стремлении избежать этого печального следствия первородного греха.

В то же время, стремясь ознакомиться и овладеть всеми видами человеческой деятельности, он не любил долго задерживаться на одном месте, а освоив какое-либо ремесло, тотчас же начинал искать для себя новое поприще и таким путем попробовал себя в кузнечном деле, в землешастве, побывал конюхом, торговцем, помощником садовника, железнодорожным рабочим, каменотесом и, наконец, странствующим проповедником. Все эти превратности судьбы развили в нем гибкость ума, умение приспосабливаться к любым обстоятельствам и подлаживаться к любым человеческим типам, научили понимать людей, распознавать их намерения, читать их мысли и угадывать их тайные желания. Одним словом, благодаря своим способностям и многообразным познаниям он выделялся из своего окружения, и ему будто на роду было написано руководить и распоряжаться, а не подчиняться какому-нибудь олуху и быть спицей в колеснице.

Волею случая попав сюда, на остров, он сразу же понял, что сможет принести тут пользу и сделать прибыльным это ныне никудышное хозяйство. Он понял также, что его за это оценят по заслугам, и в конце концов он сделается тут человеком незаменимым, так что его усилия имели определенную цель. Он твердо надеялся возвыситься, и это являлось для него главной побудительной силой. Спору нет, он старался ради других, но тем самым ковал и собственное счастье, а если он сумел обставить дело так, будто тратит время и силы на чужое благо, то, значит, он просто умнее прочих, которые, может, и хотели бы поступать так же, да смекалки у них не хватало.

Самым большим препятствием на его пути был хозяйский сын. Заядлый охотник и рыбак, Густен тяготел ко всему неожиданному, неопределенному и питал непреодолимое отвращение ко всему упорядоченному и надежному. Возделывая землю, рассуждал он, можно в лучшем случае получить то, на что рассчитываешь. Никогда тебе не получить больше, а часто бывает

и так, что приходится довольствоваться меньшим. А вот если закинешь в море сеть или невод, то иной раз ничего не вытащишь, а иной раз вытащишь всемеро больше того, что ожидал. К примеру, отправляешься охотиться на морянок, а подстрелишь тюленя; пролежишь полдня за какой-нибудь скалой, подстерегая крохала, а под дулом твоего ружья оказывается гагара. Всегда получается не то, чего ждешь. К тому же охота, которая когда-то являлась привилегией высших классов, и поныне считалась занятием куда более почетным и достойным мужчины, чем вышагиванье за плугом или телегой с навозом. Это представление столь глубоко укоренилось в сознании людей, что заставить батрака править воловьей упряжкой в поле было не так-то легко. То они придумывали, будто волов «как подменили», то не решались подойти к лошади, потому, дескать, что это животное исстари внушало суеверный страх.

Другим камнем преткновения был Рундквист. Этот старый плут на свой лад пытался обеспечить себе рай земной, уваливая от тяжелого труда и стремясь к длительному послеобеденному сну и выпивкам. Отчасти с помощью мнимых познаний в области ворожбы, отчасти благодаря способности шуточками отделяться от всего серьезного, и в особенности от неприятной или тяжелой работы, а когда и ссылаясь на духовные и телесные недуги (впрочем, лишь в крайних случаях), он ухитрялся вызывать симпатии и сострадание ближних и очень любил, когда ему подносили чашечку кофе с водкой или полфунта нюхательного табаку. Он умел холостить свиней и овец, уверял, что способен отыскивать подземные колодцы с помощью лозы и приманивать в сети окуня, врачевал чужие хвори, но свои предпочитал оставлять при себе, предсказывал хорошую погоду после двух недель проливных дождей и подкладывал чужие монеты под валун на взморье перед приходом салаки. Но он утверждал также, что умеет творить и черные дела, например наслать сорняки на соседское поле или бесплодие на коров, наградить человека прострелом и тому подобное. Все это внушало известный страх, и с ним предпочитали ладить.

Его истинные заслуги, которые делали его незаменимым, заключались в том, что он знал толк в столярном и кузнечном деле, но его удивительное умение братья только за ту работу, которая больше всего бросалась в глаза, делало его опасным противником Карлссона, потому что работа Карлссона на скотном дворе и в поле была не так уж и заметна.

Оставался еще Норман, толковый малый, которого следовало вырвать из-под влияния Густена и приучить к работе в усадьбе.

Таким образом, чтобы добиться своего, Карлссону предстояло приложить немало усилий и проявить немало дипломатической изворотливости, но он был умнее своих противников и потому одерживал победу за победой.

С Густеном он связываться не стал, а удовлетворился тем, что переманил на свою сторону его союзника Нормана. Это

оказалось делом несложным, потому что Густен, по правде говоря, был несколько скуповат, и во время совместных охотничьих вылазок Норман чаще всего играл роль гребца и никогда не имел права стрелять первым. Если Густен и подносил ему когда стопку водки, то сам втихомолку выпивал три, так что подачи Карлссона в виде дополнительной платы, пары чулок, рубашки и других пустяков возымели свое действие. Все это наряду со все возрастающим могуществом нового работника, которое сулило куда больше, чем падающий авторитет хозяйского сына, довольно быстро сделало из него отступника. А вслед за этим и охотничий азарт Густена несколько поостыл, так как отправляться в море одному было не так уж весело. За неимением компании ему волея-неволей приходилось присоединяться к остальным работникам.

Заполучить в сети Рундквиста оказалось потруднее, так как это был старый увертливый угорь, но и он скоро очутился у Карлссона в садке.

Карлссон не стал класть под камень монеты, а приобрел новые салачные сети, и рыба пошла в них куда гуще, чем прежде; вместо того чтобы бродить с лозой в поисках новых колодцев, он почистил старый, сделал фундамент, поставил новый сруб и приладил насос, после чего ивовую лозу выбросили на свалку. Вместо того чтобы читать над коровами заклинания и зажигать огонь, он чистил под ними навоз и подстилал сухое сено. Если Рундквист умел ковать гвозди для подков, то Карлссон умел выковывать строительные гвозди, если Рундквист умел мастерить грабли, то Карлссону ничего не стоило сладить соху и каток.

Посрамленный Рундквист, почувствовав, что его загоняют в угол, решил взяться за более выигрышные дела. Он начал наводить порядок вокруг избы; убирал мусор, который зимой по лености или из-за темноты сваливали тут, кормил кур и кошек, а однажды взял да и приладил к двери новую щеколду.

— Вот молодец этот Рундквист! Новую щеколду к старой двери приделал. Ну до чего же славный старик!

Такой разговор на кухне между девушками услышал однажды Карлссон.

Он решил не отставать от старика ни на шаг, и в одно прекрасное утро очаг в кухне засиял белизной; на другое утро ведра были выкрашены зеленой краской, обведены черными ободками и украшены белыми сердечками; на третье утро все дрова лежали под навесом, который Карлссон соорудил на дровяном дворе позади амбара с провизией. По примеру своего противника Карлссон решил завоевать расположение стряпух и приладил к колодцу насос, после чего одолеть его было уже невозможно.

Однако Рундквист был старик упрямый и изобретательный, и как-то в ночь на воскресенье взял да и выкрасил отхожее место в ярко-красный цвет. Но Карлссон решил его перехитрить, нанял за квартиру водки Нормана, и в ночь на троицу старая хозяйка услышала какое-то шуршание и шарканье по стенам дома. Подняться с постели ей было лень, и она лишь наутро увидела, что

весь дом стал огненно-красным, а оконные наличники и водосточная труба — белыми! На этом силы Рундквиста иссякли, и ему пришлось прекратить борьбу, слишком утомительную для его лет. Все обитатели усадьбы подтрунивали над изысканным вкусом Рундквиста и со смехом спрашивали, отчего это ему вздумалось начать обновление усадьбы с нужника, а Норман, как истинный отступник, пустил в ход имевшую большой успех острогу, которая звучала примерно так: «Всякое дело надо начинать с главного, сказал Рундквист и перво-наперво выкрасил нужник». Рундквисту не оставалось ничего иного, как придумать что-нибудь позанозистее или заключить почетный мир.

Густен не вмешивался в их единоборство, а лишь наблюдал за ними с довольным видом.

«Пашите себе, пашите! — думал о н . — А урожай-то мне достанется!»

Правда, деятельность Карлссона покуда не приносила сколько-нибудь заметных барышей, ибо хотя деньги, вырученные за коров, и лежали несколько дней в секретере, производя при подсчете должное впечатление, они вскоре уплыли, оставив после себя зияющую пустоту.

Между тем приближалась середина лета. Дел у Карлссона было много, а времени для прогулок мало. Но как-то в воскресенье после обеда он прохаживался по усадьбе, и взгляд его упал на большой новый дом, который стоял нежилой, со спущенными шторами. Будучи от природы человеком любопытным, он подошел и взялся за ручку двери, она оказалась незапертой, Карлссон вошел в сени, а потом заглянул в кухню. Он двинулся дальше и оказался в большой горнице, обставленной совсем по-господски; здесь были белые гардины, широкая двуспальная кровать с медными шпичками, зеркало в резной золоченой раме, с причудливым фасетом. Все это показалось Карлссону просто шикарным — диван, секретер, изразцовая печь, словом, все точь-в-точь как в барской усадьбе. А по другую сторону сеней была такая же большая комната с очагом, обеденным столом, диванами, настенными часами... Он остолбенел от удивления и восторга, но эти чувства быстро сменились жалостью и презрением к непредприимчивым владельцам всей этой роскоши, когда он увидел еще две комнаты с несколькими застеленными кроватями.

— Ну и ну! — подумал он вслух, — столько кроватей, и ни одного постояльца!

Опьяненный мыслью о будущих доходах, он поспешил к хозяйке и принялся втолковывать ей, до чего это нерасчетливо — не сдавать такой дом на лето дачникам.

— Милый ты мой, да кто же тут жить-то захочет! — ужаснулась хозяйка.

— Почем вы знаете, тетушка? А вы пробовали его сдавать? Объявление-то хоть давали?

— Чего ж попусту деньги выкидывать? — ответила мадам Флуд.

— Ну, коли хочешь рыбку поймать, приходится сети в море кидать, — заявил Карлссон, — а то ведь из ничего ничего и выйдет!

— Что ж, попытка не пытка. Только не найти нам постояльца в, — заключила хозяйка, давно понявшая, сколь тщетны бывают благие намерения.

Восемь дней спустя на лугу показался какой-то господин, который шел, озираясь вокруг. Когда он приблизился к дому, его встретила лишь одна собачонка, а обитатели усадьбы, которые всего минуто назад толклись во дворе и, разинув рты, глазели на незнакомца, из робости, деликатности или просто по привычке, попрятались в кухне и в горнице. Лишь когда господин ступил на порог, навстречу ему вышел Карлссон, как самый бойкий из всех.

Господин сказал, что прочитал объявление... Да, да! Это тут! И его повели осматривать новый дом. Приезжий остался весьма доволен осмотром, а Карлссон не скупился на обещания насчет всяческих улучшений, с условием, если господин сразу же решится снять дом, потому что летний сезон в разгаре, и от желающих отбоя нет. Приезжий, явно очарованный этим прелестным уголком, поспешил заключить сделку и после взаимного выяснения экономических и семейных вопросов отбыл восвояси.

Карлссон проводил его до ворот, а затем как угорелый влетел в горницу и с торжеством выложил перед хозяйкой и ее сыном семь десятков и одну пятерку.

— Слыханное ли дело — такую уйму денег с людей брать! — запримечала хозяйка.

Но Густену сделка пришлась по душе. А когда Карлссон рассказал, как он вынудил приезжего господина немедля снять дом, заморочив ему голову рассказами о множестве охотников, Густен впервые открыто выразил ему свое одобрение.

Выложить на стол деньги — это было все равно что пойти с козырного туза, и Карлссон теперь заговорил совсем иным тоном. Вот когда ему пригодился его опыт в торговых делах! Но деньги, словно с небес свалившиеся на них, исчислялись не одной лишь платой за наем дома; к ним следовало приплюсовать и дополнительные доходы, которые Карлссон не замедлил обрисовать перед своими внимательными слушателями.

Можно будет продавать дачникам рыбу, молоко, яйца, масло. Дрова они тоже будут получать не задаром. Да и на поездках в Даларё по всяким поручениям тоже кой-чего можно будет подзаработать. Не исключено также, что удастся сбыть дачникам теленка, овцу, пару кур, картофель, овощи. Да мало ли что еще может понадобиться таким важным господам!

И вот в Иванов день, к вечеру, прибыли долгожданные золотые рыбки. Семья дачников состояла из самого господина, его жены, шестнадцатилетней дочери и шестилетнего сына. С ними приехали и две служанки. Глава семьи, скрипач придворной капеллы, был человек лет сорока, довольно состоятельный и притом смиренный и покладистый. Он был из немцев, понимать речь жителей шхер ему было трудновато, а потому в ответ на все, что бы ему ни говорили,

он одобрительно кивал головой и восклицал «карашо!», вследствие чего вскоре снискал репутацию славного и милого человека. Жена его была весьма достойная дама, которая занималась хозяйством и воспитанием детей и сумела так вышколить служанок, что те повиновались ей без скандалов и подачек.

Карлссон, как наименее робкий нравом и самый бойкий на язык, тотчас завладел приезжими. Он считал это своей привилегией, поскольку они и очутились-то здесь благодаря ему. У остальных же обитателей усадьбы не хватило ни предприимчивости, ни общительности, чтобы с ним тягаться. Приезд на остров горожан не замедлил оказать свое влияние на души и нравы местного населения. Обитатели Хемсё постоянно видели разодетых по-праздничному людей, для которых каждый день был вроде как воскресенье, которые гуляли, гребли на лодке для собственного удовольствия, удили рыбу без надобности, купались, музицировали и вообще проводили время так, точно на свете нет ни трудов, ни забот. Поначалу они даже не завидовали, а только дивились на это безделье и восхищались тем, что вот, мол, умеют же люди так жить — приятно, чисто, благородно — и при этом никого не притесняют и не обирают бедняков. Мало-помалу жители Хемсё стали втихомолку предаваться грезам, украдкой бросать долгие взгляды в сторону нового дома. Завидев вдаль на лугу белое летнее платье, они останавливались как вкопанные, наслаждаясь чудесным зрелищем. Заприметив сквозь ветки елей лодку в бухте, белую вуаль на шляпке из итальянской соломки или красную шелковую ленту, обвивавшую стройную талию, они молча и благоговейно замирали, томясь по чему-то неведомому и недостижимому, но тем не менее неотразимо влекущему.

Шум и разговоры в кухне и в старом доме заметно поутихли, Карлссон теперь неизменно ходил в чистой белой рубашке, по будням и по праздникам щеголял в синей фуражке и вообще все больше становился похож на управляющего именем. В жилетном кармане или за ухом у него постоянно торчал карандаш, а в зубах дымилась некрепкая сигара.

Густен же, наоборот, отступил в тень, норовил как можно реже показываться на людях, чтобы не давать повода для невыгодных сравнений, саркастически отзывался обо всех горожанах, чаще, чем раньше, напоминал всем и каждому о хранящихся в банке деньгах, а новый дом и белые платья старался обходить за версту.

Рундквист ходил весь черный от копоти, все дни пропадал у себя в кузне и заявлял во всеулышание, что чихать ему на весь белый свет и даже на самую вдовствующую королеву. Норман снова надел свою рекрутскую фуражку, перетянул талию кожаным ремнем и без устали слонялся вокруг колодца, куда служанки приезжих господ ходили утром и вечером за водой.

Хуже всего было Кларе и Лоттен, которые вскоре обнаружили, что все мужское население острова предало их ради городских служанок, которые на адресованных им конвертах именовались мамзелями и ездили в Даларё в шляпках. Они же вынуждены были

ходить босиком, потому что на скотном дворе грязи по колено, и башмаки изнашивались бы в два счета, а на лугу и в кухне было слишком жарко, чтобы обуваться. Они постоянно носили темные платья и не могли позволить себе украсить их хотя бы узенькой белой полоской из-за копоти, пота и мякинных высевок, а Клара, которая попробовала надеть белые манжеты, была после и сама не рада, потому что ее разоблачили и высмеяли за то, что она осмелилась тягаться с мамзелями. Но уж по воскресеньям они пытались наверстать упущенное и проявляли невиданное рвение к церковной службе только ради того, чтобы покрасоваться в своих лучших нарядах.

Карлссон то и дело навещал профессора, надолго застревал на крыльце, если кто-нибудь там сидел, справлялся о здоровье, предсказывал хорошую погоду, предлагал маршруты для прогулок, давал советы относительно рыбной ловли, и время от времени ему перепадали стакан пива или рюмка коньяку, за что обитатели усадьбы вскоре стали втихомолку осуждать его, утверждая, будто он ходит к профессору побираться.

По субботам, когда господская кухарка должна была ехать в Даларё за провизией, неизменно возникал спор о том, кому ее отвезти. Карлссон приводил множество доводов в свою пользу, потому что эта чернокудрая белолицая девушка глубоко запала ему в сердце, а когда старая хозяйка говорила, что не пристало Карлссону, первому человеку в усадьбе, быть на побегушках у дачников, Карлссон отвечал, что профессор просил поехать именно его, так как нужно отвезти на почту какие-то важные письма. Густен, невольно обнаруживая желание отправиться в Даларё, вызывался сам отвезти письма, но против этого Карлссон решительно восставал. Нипочем он не допустит, чтобы хозяин бегал с поручениями, словно батрак какой-нибудь. Об этом и речи быть не может. Что люди станут говорить?

На том дело и кончалось.

Поездки в Даларё имели свои преимущества, и сметливый работник сразу это уразумел. Во-первых, в лодке можно было без помехи побалагурить и поамурничать с девушкой, во-вторых, за такую поездку его неизменно благодарили чаевыми и угощением, в-третьих, в Даларё он имел возможность завязать знакомства с лавочниками, и всякий раз, когда он поставлял им клиента, ему кое-что перепадало. — там глоток вина, тут сигара. К тому же известный ореол почтения осенял и того, кто приезжал по профессорским делам, появлялся в будни хорошо одетый и притом в обществе мамзели из Стокгольма.

Впрочем, поездки в Даларё случались лишь раз в неделю и не сказывались пагубно на ходе работ в усадьбе, потому что Карлссон, человек с головой, в дни своих отлучек давал парням определенный урок — вскопать столько-то сажень канавы, вспахать столько-то полос, свалить столько-то деревьев, после чего они могли быть свободны. Такие условия принимались с радостью, ведь все оставшееся время можно было бездельничать. В тех случаях, когда назначалось, а затем проверялось то или иное задание, в ход шли карандаш и блокнот. Карлссон привык чувствовать себя как бы в роли управ-

ляющего и мало-помалу переложил всю физическую работу на плечи других. В каморке он обосновался как в собственном холостяцком жилище. Курение табака было давным-давно узаконено, на столе у окна он поставил зеленую чернильницу, положил карандаш, ручку, несколько листков почтовой бумаги, поместил раздобытые где-то подсвечник и пресс-папье, так что получился настоящий письменный стол. Окно мансарды выходило на новый дом, и в часы досуга Карлссон сидел за столом, наблюдая за тем, что происходит у господ, и одновременно демонстрируя свое умение писать. Вечерами он открывал окошко настежь, клал локти на подоконник и сидел так, попыхивая трубкой или дымя извлеченным из жилетного кармана окурком сигары; иногда он одновременно просматривал какой-нибудь еженедельник, и у тех, кто смотрел на него снизу, могло создаться впечатление, будто перед ними не больше не меньше как сам владелец усадьбы.

Когда сгущались сумерки, он зажигал свечу, ложился на постель и курил. Вот в такие-то минуты и рождались в его голове мечты; скорее даже не мечты, а планы, основанные на пока еще не случившихся обстоятельствах, но при известных усилиях вполне осуществимые.

Однажды вечером, когда он лежал на спине, отчаянно дымя «Черным якорем», чтобы разогнать мошкарку, взгляд его упал на покрывавшую одежду белую простыню, которая вдруг стала сползать и в конце концов свалилась на пол. Словно тени солдат на плацу, выстроились перед ним на стене все одежды покойного Флуда; они тянулись от двери к окну, и колеблющееся пламя свечи выхватывало из тьмы то одну, то другую вещь из этого гардероба. Карлссону казалось, будто он видит покойного во всех этих костюмах, тень от которых отражалась на клетчатых обоях. Вот он в синей байковой куртке и коротких серых шерстяных штанах в клетку. В такой одежде он, должно быть, сидел у руля в рыбном садке, когда возил в город рыбу на продажу, а потом пил пунш в трактире со скупщиком рыбы; вот он в черном сюртуке и длинных черных брюках, в таком виде он ходил в церковь к причастию, так одевался он, отправляясь на свадьбы, похороны и на крестины; там висит черный овчинный кожушок; в нем он осенью и весной, стоя на взморье, выбирал из воды сети; вот красуется шуба из тюленьего меха с пятнами от глинтвейна, которые скорее всего были посажены, когда Флуд после рождественской пирушки, уже одетый, принимал посошок на дорогу; а дорожный шарф из зеленой, золотистой и красной пряжи извивался до самого пола, будто огромный морской змей нырнул мордой в голенище сапога.

Карлссона даже в жар кинуло, когда он вообразил, как он сам в этой прекрасной шелковистой шубе и шапке из тюленьего меха едет в санях по льду к соседям, которые встречают рождественских гостей на берегу кострами и ружейной пальбой. Он входит в жарко натопленную комнату, сбрасывает с себя шубу и предстает перед всеми в черном сюртуке; сам пастор здоровается с ним за руку, говорит ему «ты», и его приглашают за стол на почетное место, в то

время как весь батрацкий люд толпится в дверях или сидит на подоконниках.

Все эти отрадные картины представились Карлссону столь живо, что какая-то сила подняла его на ноги, и не успел он опомниться, как уже стоял в шубе, поглаживая рукой меховые манжеты, нежные и мягкие, как женская грудь. По всему его телу пробежал сладкий трепет, когда воротник шубы легонько щекотал ему щеку. Затем он облачился в черный сюртук, застегнулся на все пуговицы и, поставив на стул зеркальце для бритья, попытался увидеть, не морщит ли сюртук на спине. Засунув руку за обшлаг, он стал расхаживать по комнате взад и вперед. Ощущение богатства исходило от этой мягкой, как шелк, одежды; изобилием, достатком повеяло на Карлссона, когда, откинув полы сюртука, он чинно сел на краешек кровати, воображая себя в гостях.

Он все еще предавался опьяняющим мечтам, когда снаружи до него донеслись звуки голосов, и, прислушавшись, он узнал голоса Иды, красивой кухарки, и Нормана, которые то звучали порознь, то сливались, то переплетались и словно бы ласкали друг друга. Его что-то кольнуло; во мгновение ока сбросил он с себя шубу и сюртук, повесил их на вешалку под простыней, а затем, вооружась новой сигарой, стал спускаться по лестнице.

Занятый хлопотами в усадьбе и поглощенный серьезными планами на будущее, Карлссон до сих пор избегал амуров с девушками, так как понимал, что дело это хлопотное и требующее времени. К тому же он опасался, что если даст разгореться огню, то в его обороне может появиться брешь, а если на этом поприще он хоть раз потерпит поражение, то прости-прощай весь его авторитет и власть.

Но теперь, когда представлялся случай сразиться за признанную красотку, а победа сулила слишком многое, он почувствовал себя вправе пустить в ход шпоры и поднять гребень. Твердо решив сыграть роль боевого петуха, он направился к дровяному двору, где любовная игра была уже в полном разгаре. Конечно, досадно, что ему придется соперничать с Норманом. Ладно бы еще Густен! А то этот недоносок Норман. Ну да ничего, он ему покажет!

— Добрый вечер, Ида! — поздоровался он, не обращая ни малейшего внимания на соперника, невольно отступившего от своего места у забора, которое Карлссон поспешил занять.

И он начал любовную атаку, побивая соперника красноречием и стараясь, чтобы Норман не смог и словечка вставить. Своенравная Ида, складывая в корзину дрова, то и дело бросала реплики Норману, но Карлссон ухитрялся подхватывать их на лету и весьма удачно парировать. Красотка, которую этот поединок явно забавлял, попросила Нормана наколоть ей немного щепы. Не успел счастливец обогнуть забор и пройти в калитку, как его враг перемахнул через штакетник, вытащил складной нож и принялся колоть щепки; через пару минут он сложил наколотую щепу в дровяную корзину, взял ее за ручку одним пальцем, принес в кухню, куда следом за ним вошла Ида, и встал на пороге так, чтобы никому не удалось ни войти, ни выйти. Норман, не придумав никакого предлога, чтобы тоже войти

в кухню, поклонялся немного по дровяному двору, горестно размышляя о том, до чего легко живется на свете всяким бесстыжим скотинам, а затем убрался восвояси и у колодца излил свою скорбь в звуках гармошки.

Однако нежные звуки музыки просочились сквозь плотный вечерний воздух, проникли через закрытую дверь кухни, вызвав сострадание прелестной кухарки, которая вдруг вспомнила, что ей надо идти к колодцу за водой для профессора. Карлссон последовал за нею, на сей раз чувствуя себя не столь уверенно на новом для него поприще. Стремясь свести на нет этот завораживающий зов, он взял из рук Иды медную флягу и принялся нашептывать что-то нежное и приятное, стремясь дать слово музыке обольщения, а соло гармошки низвести до аккомпанемента. Но едва лишь они подошли к колодцу, как из горницы донесся голос старой хозяйки. Она звала Карлссона, и по тону ее чувствовалось, что дело не терпит отлагательства. Карлссон разозлился и решил не отвечать, но тут словно сам черт надоумил Нормана, и он заорал во всю глотку:

— Он тут, тетушка! Он сейчас придет!

Посылая в душе тысячи проклятий коварному гармонисту, победитель вынужден был покинуть любовное ристалище, оставив почти завоеванный трофей слабейшему, который мог лишь благодарить судьбу за любовную удачу.

Снова послышался громкий зов хозяйки, и Карлссон раздраженно закричал в ответ, что бежит со всех ног.

Старуха встретила его на пороге избы. Она вглядывалась в сумеречную даль, приставив ладонь козырьком ко лбу и как бы желая убедиться, что Карлссон явился один.

— Входи, Карлссон, выпей водочки с кофе, — сказала она.

От выпивки Карлссон никогда не отказывался, но в эту минуту он готов был послать к чертям всю водку и весь кофе на свете; делать, однако, было нечего, и под аккомпанемент марша норчепингских стрелков, победно и издевательски звучавшего где-то на лугу, он вошел в горницу. Старая хозяйка была ласковее, чем всегда, но Карлссону она показалась еще старше и уродливее, чем обычно. И чем больше старалась она ему угодить, тем строптивее он ей отвечал, так что под конец она совсем оробела.

— Вишь, Карлссон, — наконец начала она, наливая ему в кофе водки, — на той неделе придется нам звать людей на сенокос, и, само собой, я хочу сперва с тобой об этом деле потолковать.

Тут гармоника смолкла, внезапно оборвав цепочку тающих аккордов, и Карлссон весь окаменел. Он почти не слушал старуху и бессвязно бормотал:

— Да, да... сенокос... на той неделе...

— Ну и вот, я х о ч у, — продолжала х о з я й к а, — чтобы ты, Карлссон, взял с собою Клару и поехал в субботу сзывать соседей. Заодно со здешним народом познакомишься, себя покажешь и людей поглядишь, это всегда полезно бывает.

— Нет, в субботу никак н е л ь з я, — решительно отвечал Карлссон. — Мне надо в Даларё ехать по профессорским делам.

— Ну, уж один-то раз и Норман может поехать, — возразила старуха и отвернулась, чтобы не видеть, какую мину скорчит Карлссон при этих словах.

В эту минуту гармонь снова выдавила из себя несколько слабых, прерывистых звуков, и они растворились во тьме летней ночи, где уже жужжала прятка козодоя.

Карлссон накрылся холодным потом и залпом выпил кофе с водкой. На сердце у него лежал камень, в голове стоял туман, а во всем теле чувствовалась слабость.

— Норману с этим не справиться, — выкрикнул он. — Норман не сможет выполнить поручение профессора, и... и... и... ему не доверят!..

— Так ведь я спрашивала у профессора, и он сказал, что на эту субботу у него никаких поручений не будет, — возразила старуха.

Деваться было некуда, старуха поймала его, как мышь в мышеловку, и не оставалось ни одной норы, куда бы он мог юркнуть. К тому же голова его была теперь занята совсем другим, и он не мог собраться с мыслями. Старуха заметила это и принялась ковать железо, пока горячо.

— Ты уж не посетуй, Карлссон, на мои слова, — продолжала она. — Я ведь тебе только добра хочу.

— Э, да говорите что хотите, тетушка! — в отчаянье вскричал Карлссон, прислушиваясь к замирающим звукам гармонии в дальнем конце луга. — Мне теперь все едино!

— Я только хочу сказать, что не пристало тебе, Карлссон, бегать за девушками, толку от этого все одно не будет. Я знаю, что говорю, и говорю так только потому, что добра тебе хочу. Эти городские крали страсть любят, чтобы за ними хвост парней таскался. Им бы все только хиханьки да хаханьки, вчера в лесочек с одним, нынче на лужок с другим, а коли уж выберут парня, то такого, чтобы не жаль было потом бросить. Вот у них как ведется!

— Да мне-то что за дело, за кем парни таскаются! Только ведь и девушки тоже разные бывают. И ежели девушка пошла с парнем на луг, то это еще не значит, что она потаскуха, — попытался облегчить душу Карлссон.

— Да не убивайся ты так-то! — принялась утешать его старуха. — Тебе, Карлссон, надо об женитбье подумать, ты ведь парень из себя видный, и шлюхи эти городские тебе ни к чему. Тут у нас в шхерах много девушек с достатком, и коль ты человек с умом и свой интерес блюдешь, то и сам скоро сможешь хозяином стать. Так что ты уж мне не перечь и делай как я говорю. Ежели я прошу тебя отправиться сзывать соседей на сенокос, то, стало быть, так надо. И не забывай, что я не всякому такое дело доверю. Мне еще от парня на орехи достанется, ну да об этом я и не думаю! Свой человек у меня всегда поддержку найдет, помни это.

Поустыв немного, Карлссон и впрямь понял, какие преимущества сулит ему поездка по соседям от имени хозяйки. Но он был все еще сильно раздосадован и не желал менять синицу в руках на

журавля в небе. И, прежде чем дать согласие, он решил сперва добиться кой-какой выгоды для себя.

— Как же я поеду? У меня и одежды-то приличной нету. Не ехать же мне в чем придется! — закинул он удочку.

— Одежда твоя не так уж и плоха, — возразила старуха. — Но коли дело только в ней, то не беда, что-нибудь придумаем.

На этом Карлссон решил пока остановиться и взамен весьма туманного обещания вознамерился получить от старухи более нужную ему уступку. После долгих препирательств он добился от нее согласия на то, чтобы Норман, как человек незаменимый при заточке кос и ремонте сенных телег, остался дома, а в Даларё вместо него поехала бы Лоттен.

Один из первых дней июля, три часа утра. Несмотря на ранний час, из трубы валит дым, а на огне поспекает кофейник. Весь дом уже на ногах, все в движении, и во дворе накрыт длинный стол для утреннего кофе. Косцы, прибывшие накануне вечером, переночевали в сараях и на сеновале, и теперь двенадцать рослых жителей шхер в рубахах и соломенных шляпах группами стоят перед избой, вооружившись косами и оселками. Тут Овассан и Свиннокарн, мужики уже в летах, сутулые от постоянной гребли; тут Аспён, бородатый, на голову выше других, с глазами глубокими и скорбными от многих месяцев одиночества на взморье, от тоски без названия и грусти без жалоб; тут Фьелонгарн, угловатый и скрюченный, точно карликовая сосна на дальней шхере. А рядом с ними — Фиверсетраён, тощий, обветренный, подвижный и сухой, как кофейный порошок; хозяева острова Кварнё, известные на всю округу лодочные мастера; обитатели шхеры Лонгвикшер, лучшие охотники на тюленей, и, наконец, хозяин острова Арнё со своими парнями. А среди них спуют девушки в холщовых рубахах с перевязанными на груди шальями, в светлых ситцевых юбках и с косынками на головах. Грабли, свежевыкрашенные, играющие всеми цветами радуги, они привезли с собой, и вид у девушек такой, словно они собрались на праздник, а не на работу. Мужики постарше игриво тычут им в бок пальцами и отпускают вслед соленые шуточки, но молодые парни в этот ранний час держатся от девушек в стороне, откладывая амурные дела до вечерних сумерек и танцев с музыкой.

Уже с четверть часа, как взошло на небе солнце, но оно еще не поднялось над верхушками елей и не слизало с травы ночную росу. Блестящая ровная гладь бухты — словно зеркало в раме из бледно-зеленого тростника, из зарослей которого доносится писк утино выводка и криканье взрослых уток; чайки, начавшие охоту на уклеек, покачиваются на воде, большие, ширококрылые, белые, как гипсовые ангелы в церкви; на дубе у погреба стрекочут сороки, удивленно разглядывая людей в белых рубахах, толпящихся около избы; в роще слышно кукованье кукушки, иступленное, яростное, каким оно бывает в конце любовного срока, в ту пору, когда на лугу появляется первый стожок сена; во ржи скрипит коростель, а по двору носится собачонка, лапаясь к старым зна-

комым. Ряд рубах, ослепительно белеющих в лучах утреннего солнца, виден за кофейным столом, откуда доносится звяканье чашек, блюдец, кувшинов и стаканов.

Густен, по натуре нелюдимый, взял на себя роль хозяина, так как чувствует себя более уверенно в окружении старых друзей отца. Он потеснил Карлссона и сам потчует гостей водкой. Карлссон, который успел со всеми перезнакомиться, когда ездил приглашать косцов, ведет себя непринужденно, хотя и несколько церемонно, словно старший родственник или почетный гость. На десять лет старше Густена, он выглядит солидным, зрелым человеком, и ему ничего не стоит затмить Густена, который все-таки просто мальчишка в глазах тех, кто был на «ты» с его отцом.

Между тем кофе выпит, солнце поднялось высоко, и косцы-ветераны с косами на плечах двинулись к большому лугу, а следом за ними — молодежь и девушки.

Трава на лугу стоит по пояс, густая, как мех. Карлссон не удержался и стал рассказывать о своих нововведениях по уходу за лугом: о том, как он велел очистить его от листьев и прошлогодней травы, сравнять с землей кротовьи норы, засеять вымерзшие участки и удобрить землю навозной жижей. Теперь он, словно командир, выстраивает свое войско, поставив впереди на почетные места косцов постарше и позажиточнее, и сам замыкает строй, однако встает так, чтобы не оказаться в толпе с другими. И сражение началось. Две дюжины белых рубах двинулись клином, как осенние журавли, с косами пятка за пяткой. А за ними, словно стайка ласточек, враспынную, однако стараясь не слишком отдаляться друг от друга, попевали девушки — каждая за своим косцом.

Косы звенели, и ровными валками полегала росистая трава. Бок о бок лежали все летние цветы, которые, на их беду, занесло сюда из леса и рощи — нивяник и кукушкино семя, смолка и воробейник, подмаренник и купырь, травяная гвоздика, полевой огнецветник, мышиный горох, белокопытник, трилистник и другие луговые растения. Медовым и пряным духом тянуло от трав, шмели и пчелы роем носились над безжалостным воинством с косами, кроты еще глубже зарывались в землю, заслышав грохот по непрочным крышам своих жилищ, уж испуганно юркнул в канаву и исчез в дыре, словно конец шкота, а высоко над полем битвы ряла чета луговых жаворонков, чье гнездо было раздавлено железной подковкой каблука. В арьергарде покосного войска семенили скворцы, подбирая всевозможных козявок, которые выползли на солнцепек.

Первая атака завершилась у луговой межи. Воины остановились и, опираясь на косы, стали оглядывать оставленное после себя побоище. Они отерли пот на ободках шляп, взяли по понюшке табаку из жестяных табакерок; тут на передовую линию поспешили девушки со своими граблями, и снова закипела работа в этом безбрежном изумрудном океане, который теперь ходил волнами под крепнущим утренним бризом, то ярко пестрея, когда головки цветов поднимались из половодья стелящегося под ветром молоточника, то разливаясь зеленой ширью, как море в штилевую погоду.

Повсюду царит праздник и дух соперничества, так что люди готовы скорее свалиться на землю от солнечного удара, чем выпустить из рук косу. Карлссон взял себе в гребщицы профессорскую кухарку Иду, и поскольку он идет последним, то может, не опасаясь за свои икры, обернуться назад и перекинуться с ней словом. Норман же у него под строгим надзором, он идет впереди чуть наискосок, и стоит ему бросить влюбленный взгляд в юго-восточном направлении, как коса Карлссона тут же наступает ему на пятки, и он слышит окрик, скорее враждебный, нежели остерегающий: — Эй ты, береги копыта!

К восьми часам весь луг лежит словно перепаханное поле, гладкий как ладонь, с длинными рядами полегшей травы. Теперь наступает время обозреть проделанное и оценить работу каждого. Рундквисту единодушно выносится обвинительный вердикт, поскольку его прокос сразу виден и своими изгибами и вывертами напоминает танец эльфов. Но Рундквист оправдывается тем, что ему пришлось то и дело оглядываться на гребщицу. Ведь он уж и не упомнит, когда это девушки вот так бегали за ним по пятам.

Но тут Клара, стоящая около избы, громко зовет косарей к завтраку. Искрится на солнце бутылка водки, выставлена целая бочка квасу, дымятся котел с картошкой и миска с салакой, выложено на тарелку масло, и ломтями нарезан хлеб. Звякают кружки, и завтрак идет своим чередом.

Карлссон наслушался всяческих похвал и чувствует себя на коне. Ида также весьма благосклонна к нему, и он открыто ухаживает за ней. Старуха, которая снует взад-вперед с блюдами и тарелками, часто оказывается около этих двоих, слишком часто для того, чтобы не быть замеченной Идой. Карлссон, однако, не видит ничего, пока старая хозяйка не толкает его легонько локтем в спину, говоря полголоса:

— Карлссон, потчуй гостей. Помогай Густену, будь за хозяина.

Карлссон, который не видит и не слышит никого, кроме Иды, отделяется от старухи какой-то шуткой. Но тут является Лина, профессорская нянька, и напоминает Иде, что ей пора идти домой и заняться уборкой. Это известие вызывает ропот и стенания среди мужчин, но девушки как будто не слишком им опечалены.

— Ну вот, отняли у меня девушку! Кто же будет теперь моей гребщицей? — восклицает Карлссон, стремясь за деланным отчаянием скрыть истинную досаду.

— Может, тетушка заменит Иду? — вставляет Рундквист, у которого, как говорится, глаза на затылке.

— Вот, вот, пускай тетушка сама идет ворошить! — хором откликаются п а р н и. — Пускай выходит с граблями на луг!

Старуха отмахивается и закрывает лицо передником.

— Да вы никак рехнулись, милые мои! Чтобы старая баба пошла ворошить траву наравне с девками! Нет, нет, не пойду!

Но ее сопровитвление только подливает масла в огонь.

— Бери, бери старуху! — шепчет Карлссону Рундквист. Норман светлеет лицом, зато Густен становится чернее тучи.

Делать нечего, и Карлссон под крики и гогот бежит в избу, чтобы отыскать старухины грабли, которые валяются где-то на чердаке.

— Нет, нет, бога ради, не ходи! Не смей рыться в моих вещах! — кричит старуха, устремляясь следом за ним.

И оба скрываются из виду под громкие шутки и колкие намеки оставшихся.

— Что-то долгонько они там замешкались! — наконец раздается в наступившей тишине голос Рундквиста. — Ну-ка, Норман, ступай погляди, что там стряслось!

Взрыв восторга поощряет честолюбца на дальнейшие реплики:

— И что они так долго там делают? Негоже этак-то, ей-богу! У меня, право слово, душа не на месте.

Густен через силу кривит в улыбке посиневшие губы, стараясь не нарушать общего веселья.

— Прости, господи, мои прегрешения! — все тем же дурашливым тоном продолжает Рундквист. — Ну просто мочи нет дожидаться! Пойду погляжу, чем они там занимаются.

Но в это время в дверях появляются старуха и Карлссон с отыскавшимися граблями в руках. Это очень красивые грабли, на них нарисованы два сердца и выведено «Anno 1852». Когда-то сам Флуд смастерил эти грабли для своей нареченной. В рукоятке у них перекатываются горошины, которые начинают тарыхтеть, как только грабли берут в руки. Воспоминания о былых утехах, судя по всему, настраивают старую хозяйку на игривый лад, и без тени смущения или неловкости она говорит, указывая на дату:

— Да, немало воды утекло с той поры, когда Флуд мне эти грабельки сладил.

— И ты, тетушка, тогда в первый раз забралась в брачную постель, — вставляет Свиннокарн.

— Можно ведь и опять забраться, — замечает Овассан.

— Поросятам на седьмой неделе и вдовам по второму году веры давать нельзя, — ухмыляется Фьелонгарн.

— Сухое полено скорее загорается! — подначивает хозяин острова Фиверсетраён.

Каждый считает своим долгом подбросить щепку в огонь, но старуха лишь ухмыляется да отшучивается, всем своим видом давая понять, что она и не думает сердиться.

После завтрака косьба шла на заболоченном лугу, где осока и хвощ высились как сосняк, а вода была парням по голенища. Девушки же сняли чулки и башмаки и повесили их на прясла.

Старуха двигалась с граблями за Карлссоном и управлялась получше иных девушек, забористые шутки так и сыпались на «молодых», как их называли, служа как бы фиговым листком, прикрывавшим то, что уже начало зреть в тайниках их души.

Потом был обед, а там и вечер наступил. Пришел музыкант со своей скрипкой, гумно убрали, подмели пол, а сучковатые места залили смолой. После захода солнца начались танцы.

Карлссон открыл бал в паре с Идой; она была в черном платье с квадратным вырезом, кружевными манжетами и воротником «Мария Стюарт» и казалась настоящей дамой, вызывая зависть девушек, вождление парней и страх и неприязнь старой хозяйки.

Один лишь Карлссон умел танцевать новый вальс, и потому Ида охотно раз за разом принимала его приглашения, в особенности после того, как ее попытка станцевать его с Норманом окончилась неудачей. Оконфузившийся Норман не нашел ничего лучшего, как взяться за гармонь, чтобы излить в музыке сердечные муки и одновременно в последний раз попытаться завлечь в свои сети красивую и неуловимую пташку, которая всего несколько недель назад, можно сказать, была у него в руках, а вот теперь упорхнула на крышу и милуется там с другим. Между тем Карлссон решил, что этот аккомпанемент вовсе ни к чему, раз он специально нанял настоящего музыканта. К тому же заунывная гармонь не попевала за галопирующей скрипкой и только сбивала танцующих с ноги и расстраивала танец. Соблазнившись удобным случаем окончательно посрамить соперника, тем более что общество уже и без того было явно настроено против его гармонии, Карлссон набрал побольше воздуха в легкие и заорал на весь сарай, так, чтобы его услышал скорчившийся в дальнем углу неудачливый вздыхатель:

— Эй, ты! Застегни свой кожаный мешок и ступай на двор проветриться, коли тебя распирает.

Общественное мнение обрушилось на грешника в виде одобрительного хохота, однако хмель уже ударил Норману в голову, а Идины кружевные манжеты пробудили в нем богатырские силы, и он не пожелал прислушаться к этому призыву.

— Эй, ты! — передразнил он Карлссона, у которого в минуты возбуждения появлялся вермландский акцент, всегда забавлявший жителей Норланда. — Выйдем на двор, уж я там повытрясу блох из твоей свиной щетины!

Карлссон еще не склонен был пускать в ход кулаки, предпочитая пока ограничиваться словесной перепалкой.

— Ха-ха! Это что же за диковинная свинья такая, у которой блохи в щетине водятся? — воскликнул он.

— Я так полагаю, что это вермландская свинья, — отвечал Норман.

Тут в Карлссоне разыгрались патриотические чувства, и, тщетно подыскивая на ходу убийственный ответ, он кинулся на врага, схватил его за грудки и вышвырнул из сарая во двор.

Девушки столпились в дверях, чтобы посмотреть на драку, и никому не пришло в голову разнимать дерущихся.

Норман был маленький и хрупкий, Карлссон был поплотнее и выше ростом; он мигом скинул пиджак, чтобы не испортить его в драке, и бойцы стали сходитьсь. Норман пошел на врага, набывив голову, этому приему он выучился у лоцманов. Но Карлссон, вцепившись в него, изо всех сил лягнул его в пах, и Норман покатился, словно еж, в навозную кучу.

— Шут гороховый! — выкрикнул он, не в силах больше защищаться кулаками.

Карлссон вскипел, тщетно искал в ответ какое-нибудь ругательство, а затем, упершись коленом в грудь поверженного врага, принялся угощать его оплеухами. Норман плевался и кусался, пока Карлссон не заткнул ему рот пучком соломы.

— Вот я тебе прочищу глотку! — закричал он и, выхватив из навозной кучи пук соломы, стал изо всех сил тереть им Нормана по лицу, пока не раскровенил ему нос.

Норман, злобно отфыркиваясь, выплюнул солому изо рта и выпалил в физиономию победителя целую серию отборных ругательств. Заткнуть поверженному рот так и не удалось.

Музыка смолкла, танцы прекратились, и зрители обменивались впечатлениями по поводу драки. Оценивая словесные выпады и удары, они наблюдали за сражением с тем же бесстрастным интересом, с каким глядели обычно на убой скота или танцы. Правда, старики считали, что приемы Карлссона не совсем отвечают старинным правилам доброй деревенской драки. Но вдруг раздался крик, толпа всколыхнулась, и праздничное настроение было нарушено.

— Он вытащил нож! — крикнул кто-то.

— Нож! — закричали все хором. — Долой ножи! Убрать нож!

Дерущихся тотчас окружили; Карлссона силой оттащили от поверженного врага, а Нормана, которому каким-то образом удалось вытащить свой складной нож, обезоружили и поставили на ноги.

— Деритесь, ребята, на здоровье, но только чтоб без поножовщины, — сказал Свиннокарн, и на этом поединок завершился.

Карлссон надел пиджак, застегнув его на все пуговицы, чтобы скрыть разорванный жилет. У Нормана оторванный рукав рубашки болтался, как тряпка, свисая до колен; грязный, окровавленный, с разбитым лицом, он счел за лучшее убраться подальше с глаз, чтобы скрыть свое поражение от девушек.

С торжеством и гордостью победителя Карлссон вновь вступил на танцевальный круг и, хлебнув спиртного, возобновил ухаживания за Идой, которая теперь принимала их тепло, если не сказать с восторгом.

Отплясывали усердно и без передышки, точно хлеб молотили, и не заметили, как наступили сумерки; то и дело прикладывались к бутылкам с водкой, и мало-помалу внимание к делам и словам ближнего стало ослабевать. Это позволило Карлссону увлечь Иду из сарая на вольный воздух и направиться с ней по тропинке к лугу, ловко избежав дерзких намеков и расспросов. Но не успела Ида переступить через лаз городьбы, а Карлссон устремиться вслед за нею, как вдогонку им из вечернего сумрака донесся голос старой хозяйки:

— Карлссон! Где ты, Карлссон? Поди сюда, спляши со своей гребщицей!

Но Карлссон не откликнулся и, крадучись, как лиса, молча двинулся к лугу.

Старуха, однако, увидела его, а рядом с ним заметила и белый платок Иды, которым та обвязала талию, чтобы потные ладони кавалеров во время танцев не елозили по нарядному платью. Окликнув Карлссона еще раз, но так и не дождавшись ответа, старуха пошла следом за парочкой. Она перебралась через перелаз, чтобы пойти на луг. От самой изгороди шел узкий проход между двумя рядами ореховых кустов, и старуха видела лишь белое пятно, которое все удалялось по этому темному туннелю, пока наконец не скрылось в самом его конце. Она уже хотела двинуться следом, но тут ее остановили голоса, приближающиеся к перелазу, один грубый, мужской, а другой, женский, более звонкий; они звучали приглушенно, а у самой изгороди и вовсе перешли на шепот. Густен и Клара стали перебираться через изгородь; верхняя ступенька скрипнула под неуверенной ногой подвыпившего кавалера, а затем и Клара, подхваченная парой сильных рук, легко спрыгнула на землю. Старуха, затаившись в кустах, видела, как они прошли мимо в обнимку, приплясывая, напевая, целуясь точно так же, как и она сама в былые годы пританцовывала, напевала и целовалась. Снова закрипели ступени перелаза, и парень из Кварнё, точно молодой бычок, перемахнул через изгородь, а вслед за ним на верхней ступеньке показалась девушка из усадьбы Фьелонг; она постояла там, раздумываясь от танцев, с лицом, расплывшимся в улыбке, обнажившей белые зубы, закинув руки за голову, точно готовясь к прыжку, а затем, раздув ноздри и задыхаясь от сдерживаемого смеха, ринулась вниз прямо в руки поджидавшего ее парня; тот подхватил ее, впился в ее губы долгим поцелуем и, не выпуская из рук, унес во тьму, укрывшую их как одеялом.

Стоя за кустом орешника, старуха видела, как парочки одна за другой появлялись, исчезали во тьме и снова появлялись, точь-в-точь как во времена ее молодости; давно угасший огонь, погребенный под пеплом двухлетнего вдовства, снова вспыхнул, и она почувствовала, как терзается ее плоть вожделением без надежды, тоской по невозвратному.

Между тем звуки скрипки мало-помалу затихли. Было далеко за полночь, и на севере, над лесом, уже нежно алела утренняя заря. Гомон у сеновала стал глуше, а отдельные выкрики, доносившиеся с луга, свидетельствовали о том, что танцующие стали расходиться, и косарям пришла пора отправляться в обратный путь. Старая хозяйка должна была возвращаться в усадьбу, чтобы проводить гостей. Когда она подошла к проходу в орешнике, ночная тьма поредела настолько, что можно было разглядеть даже зелень листвы. И тут она увидела вдали Иду и Карлссона, которые спускались по склону рука в руке, точно готовясь плясать польку; оба были бледны как полотно, а на лицах на месте глаз, которых она отсюда не видела, зияли темные провалы. Сторяя от стыда при мысли, что кто-то может застать ее здесь, в этом «зеленом коридоре», она повернулась и кинулась к перелазу, спеша вернуться

домой до того, как разъедутся гости. Но по другую сторону изгороди стоял Рундквист. Завидев старуху, которая спрятала в передник свое смущенное лицо, он всплеснул руками и воскликнул:

— Боже милостивый! Да вы, тетушка, никак тоже бегали пастись на лужок! Ну и старушки нынче пошли! Не зря я говорил, что им веры давать нельзя...

Не дослушав, хозяйка чуть не бегом понеслась к дому, где ее уже хватились и теперь встретили приветственными возгласами, рукопожатиями, словами прощания и благодарности за хлеб-соль.

Разбредшихся парней и девушек с трудом дозвались с лугов и выгонов, кое-кого, однако, все же недосчитавшись. Но вот наконец все затихло, и старуха улеглась в постель. Однако она долго еще лежала без сна, прислушиваясь, не раздаются ли шаги Карлссона по лестнице, ведущей в его каморку.

Глава четвертая

ДЕЛО ИДЕТ К СВАДЬБЕ, И КАРЛССОН ЖЕНИТСЯ НА ДЕНЬГАХ

Сено было уже под крышей, рожь и пшеница — в закромах. Лето кончалось, и было оно удачным.

— Везет же этому дьяволу! — говорил Густен о Карлссоне, которому не без оснований ставили в заслугу возросший достаток в усадьбе.

Наступил день отъезда дачников, профессору требовалось поспеть в город к открытию оперного сезона, но в это время как раз пошла салака, и все мужчины, за исключением Карлссона, были в море.

Карлссон взял на себя упаковку вещей и весь день ходил с карандашом за ухом, угощаясь пивом то в кухне, то в комнатах у дачников, то на пороге дома. Ему отдали старую соломенную шляпу, пару стоптанных морских сапог, трубку, мундштук, невыкуренные сигары, пустые ящики и бутылки, удочки, кружки, пробки, бечеву, гвозди — словом, все, что за ненадобностью не стоило увозить с собой. Немало крох перепало обитателям усадьбы с барского стола, и об отъезде дачников сожалели все, начиная с Карлссона, который расставался со своей милой, и кончая курами и свиньями, которые теперь лишались вкусных воскресных обедов с господской кухни. Меньше всех опечалены были заброшенные Клара и Лоттен, несмотря на то что и им всегда перепало угощение, когда они приносили дачникам молоко; они прекрасно понимали, что, как только в начале осени их грозные соперницы уберутся восвояси, для них расцветет весна.

После обеда к пристани подошел пароход, чтобы забрать отбывавших господ, и это вызвало целый переполох на острове, так как раньше пароходы сюда никогда не заходили. Пароход стал при-

чаливать, и Карлссон решил взять на себя руководство швартовкой. Он кричал, распоряжался, давал советы, но тут он ступил на весьма скользкую почву, ибо морское дело было ему совершенно незнакомо. И в самый ответственный момент, когда он, в присутствии Иды и господ, должен был продемонстрировать свою сноровку и поймать сброшенный с парохода причальный трос, веревочная связка шлепнулась ему прямо на голову, сбив шапку, которая полетела в воду. Ему пришлось одновременно ловить трос и подбирать упавшую с головы шапку; но тут нога у него подвернулась, и он, сделав несколько па, растянулся на пристани под дружный гогот матросов и энергичную ругань капитана. Ида отвернулась, досадуя на своего неловкого героя и чуть не плача от стыда за него. Она наскоро попросилась с ним на сходнях, а когда он попытался задержать ее руку, чтобы поговорить о будущем лете, условиться насчет переписки и узнать ее адрес, сходни дернулись под ним, он покачнулся, мокрая шапка съехала на затылок, а штурман заорал на него с капитанского мостика:

— Да отдашь ты когда-нибудь конец, черт тебя подери?

Новый град насмешек обрушился на несчастного влюбленного, и он наконец догадался выпустить из рук трос. Пароход двинулся задним ходом вдоль бухты, а Карлссон кинулся бежать по берегу, словно собачонка за хозяином, он перепрыгивал через камни, спотыкался о коряги и бежал что есть мочи, чтобы успеть добраться до мыса, где у него в кустах ольшаника было спрятано ружье для прощального салюта. Однако сегодня его с утра преследовали неудачи, потому что в ту минуту, когда пароход проходил мимо мыса и Карлссон хотел выстрелить в воздух, ружье дало осечку. Швырнув его в траву, он выхватил свой носовой платок и стал махать; он бежал по берегу, неистово размахивая синим носовым платком, задыхаясь и крича «ура». Однако никто не ответил ему с парохода, ни одна рука не поднялась и ни один платок не мелькнул в воздухе. Ида исчезла! А он неся сломя голову, перепрыгивая через камни, шлепая по лужам, продираясь сквозь заросли ольшаника; с разбегу наткнулся на изгородь и перемахнул через нее, больно оцарапавшись о колья. И наконец, когда пароход уже исчезал за мысом, путь Карлссону преградила поросшая тростником заводь. Ни секунды не колеблясь, он прыгнул в воду, снова взмахнул платком и в последний раз отчаянно выкрикнул «ура». Пароход как раз огибал сосновый склон, и Карлссон успел заметить прощальный взмах профессорской шляпы с палубы; еще раз мелькнули за лесистым мысом, меж стволами ольховых деревьев, голубой с желтым флаг и почтовый рожок, и пароход скрылся с глаз, оставив после себя длинный шлейф черного дыма, затуманивший воздух и траурной вуалью растекающийся по воде.

Карлссон выбрался на берег и поплелся к тому месту, где оставил свое ружье. Он бросил на него злобный взгляд, как на предателя, покачал головой, заново зарядил и выстрелил.

Затем он вернулся на пристань. И тут вся сцена снова возникла перед его глазами. Он видел себя пляшущим на сходнях подобно ярмарочному паяцу, слышал гогот и насмешки, видел ледяной, сконфуженный взгляд Иды, ощущал ее холодное рукопожатие, ноздри его снова чувствовали запах угольной гари, машинного масла, краски и аппетитный аромат жареного сала из камбуза.

Пароход пришел в его будущие владения и привез с собою горожан, которые презирали его и во мгновение ока сбросили со ступеней, ведущих вверх, а ведь он уже успел подняться довольно высоко. Вдобавок ко всему — и тут ему снова сжало горло — они увезли с собою его летние радости и утех. Он стоял и задумчиво смотрел на взбаламученную колесами парохода воду, на поверхности которой плавали мусор и радужные масляные пятна. За несколько мгновений железное чудище успело замутить чистую прозрачную воду и оставило после себя всевозможный сор — пробки от пивных бутылок, яичную скорлупу, лимонные корки, сигарные окурки, обгоревшие спички, обрывки бумаги, которыми играли уклеи. Казалось, из всех сточных канав города разом хлынули сюда отбросы и грязь.

На какой-то миг ему стало не по себе, и он подумал, что если серьезно решил добиться своей милой, то не миновать ему перебраться туда, в мир сточных канав и тесных улочек, в мир больших заработков, щегольских сюртуков, газовых фонарей и витрин магазинов; в мир, где девушки носят платья с рюшами и манжетами и башмаки на пуговках; в мир, полный влекущих соблазнов. И в то же время он ненавидел город, ибо знал, что там он будет в числе последних, речь его будет вызывать насмешки, его заскорузлые руки не справятся с тонкой работой, а его многочисленные познания не принесут пользы. Но, как бы то ни было, ему все равно придется подумать о переезде в город, потому что Ида сказала, что нипочем не пойдет замуж за деревенщину. Стало быть, оставаться мужиком ему никак нельзя. Впрочем, кто знает?

Легкая рябь прошла по проливу, окрепший ветерок всколыхнул воду, заплескавшуюся о сваи причала, отогнал сор и разметал тучки на потемневшем вечернем небе. Шум колеблемых ветром кустов ольшаника, всплески волн, стук лодок о причал приободрили его, и, вскинув на плечо ружье, он зашагал домой.

Тропа поднималась по склону среди зарослей орешника, а в конце ее высилась гранитная скала, поросшая сосной.

Там он еще ни разу не бывал; влекомый любопытством, он стал карабкаться вверх меж папоротниками и кустами малины и вскоре достиг вершины гранитного утеса, где был установлен навигационный знак. Отсюда был виден весь остров, озаряемый лучами закатного солнца; видны были леса, пашни, луга, избы, а еще дальше — целая россыпь островков, шхер и скал, за которыми открывалось море. Это был чудесный уголок земли, и все эти воды, деревья, камни — все, все могло принадлежать ему, стоило лишь протянуть руку, только одну руку, и одновременно отдернуть другую, ту, что тянулась к суете, любовным утехам и к бедности.

И без беса-искусителя трудно было бы устоять перед этой чарующей картиной, озаренной колдовскими розовыми лучами заходящего солнца; эти голубые воды, зеленые леса, золотистые нивы, красные домики, пестреющие яркой радугой красок, могли бы поразить и менее острый ум, нежели ум деревенского батрака.

Уязвленный пренебрежением вероломной девушки, которая миг позабыла о том, что обещала помахать ему на прощанье рукой, чувствуя себя побитым псом из-за презрительных насмешек городских остолопов и вместе с тем упиваясь видом этой цветущей земли, изобилующих рыбой вод и уютных домиков, он принял решение. Он вернется домой и еще разок-другой попытает это коварное сердце, которое, быть может, уже забыло его, а потом возьмет себе то, что можно взять, не прибегая к воровству.

Воротившись в усадьбу и увидев опустевший дом дачников со спущенными шторами и раскиданные вокруг пустые ящики и солому, он почувствовал ком в горле, точно подавился огрызком яблока. Он собрал в мешок свои сокровища, как можно тише пробрался наверх к себе в каморку и спрятал их под кровать, а потом сел за письменный стол, взял перо, бумагу и приготовился писать письмо. На первую же страницу неудержимым потоком хлынули слова, отчасти собственного сочинения, а отчасти заимствованные из летописей и шведских народных саг, которые ему когда-то дал прочитать управляющий одного из имений в Вермланде и которые произвели на него глубокое впечатление.

«Дорогой и любимый друг! — начал он . — Одинокó сию я в своей каморке и пропадаю от тоски по тебе... Помню, точно вчера это было, как ты, Ида, приехала к нам, это было весной, мы в аккурат сеяли рожь, и кукушка куковала на коровьем выгоне, а нынче уже осень, и парни ушли в море за салакой. Не стану допытываться у тебя, отчего ты, Ида, даже не захотела помахать мне на прощанье с парохода, а вот профессор был такой добрый и помахал мне с кормы, когда огибали мыс. Пусто будет тут вечерами без Иды, и печаль одолевает меня. Помнишь ли ты, Ида, что обещала в сенокос, после танцев? Я-то помню все так, точно это на бумаге писано, и слово свое сдержу; может, другие и не такие верные, да только мне это все едино! Мне и дела нет до того, как люди относятся ко мне, и уж если я кого полюблю, того вовек не позабуду, тут слово мое твердое».

Грусть разлуки немного улеглась, и снова накатила обида.

Затем он почувствовал страх перед неведомыми соперниками, городскими соблазнами и салоном Берна и, понимая свое бессилие предотвратить возможное грехопадение, решил апеллировать к благородным чувствам. Тут в нем возродились воспоминания о том времени, когда он был странствующим проповедником, он стал многословен, велеречив, суров, благочестив и почувствовал себя карающим мстителем, устами которого говорил Иной (с большой буквы):

«Как подумаю, что ты, Ида, окажешься одна в этом городском вертепе, без поддержки дружеской руки, которая могла бы отвести опасность и соблазны, как подумаю, до чего широки врата и просторен путь, ведущий к гибели, сердце мое обливается кровью, и сдается мне, что я погрешил перед богом и людьми, оставив тебя в тенетах греха. Мне надо было быть для тебя, Ида, заместо отца, а тебе надо было довериться старому Карлссону, как родному отцу...»

Написав слова «отец» и «старый Карлссон», он окончательно размяк и вспомнил недавние похороны, на которых ему довелось присутствовать.

«...Отцу, у которого и в сердце и на устах — всегда снисходительность и прощение. Одному богу ведомо, долго ли еще доведется старому Карлссону (уж очень понравилось ему это выражение) ходить по сей грешной земле. Никто не знает числа дней его, как капель в море и звезд на небе; может, никто и опомниться не успеет, а уж он будет лежать, словно сухое сено. Может, тогда кто-то захочет воскресить прах его, а теперь ему это и невдомек. Но будем надеяться и молить бога, чтобы дожил он до того дня, когда расцветут цветы и горлица подаст голос на лугу, и тогда придет час для тех, кто ныне сетует и вздыхает, и запоют они вместе с псаломщиком...»

Тут он остановился, так как начисто позабыл, о чем поет псаломщик, и ему пришлось сходить к сундучку за псалтырем. Однако надо было перелистать больше сотни псалмов, а Клара уже стала звать к ужину, так что особенно копаться было некогда.

И он написал:

«Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да возvesелятся все и воспоют».

Перечтя эти строки, он увидел в них удачный намек на преимущество сельской жизни перед городской, но поскольку то был весьма щекотливый пункт, он поостерегся его развивать, представив адресату понять его с полуслова.

Затем он задумался, о чем писать дальше, почувствовал голод и усталость и с горечью признался себе, что в конце концов не все ли равно, что он напишет? Иды нет, и раньше весны она сюда не вернется.

Но затем его снова больно кольнула мысль о том, что Ида может ему изменить; похолодев, он решил дать упреждающий залп по неведомому противнику и к подписи «верный до гроба» прибавил следующий постскрипtum:

«P. S. Ида, остерегайся ходить в салон Берна и кафе Бланка, потому что профессор говорил, что все молодые люди в Стокгольме заразные...» (надо бы тем же выстрелом свалить и его, подумал он, ведь ему скоро придется ехать в город с рыбным садком)... «и Норман тоже заразный»... и, чтобы на всякий случай нагнать на девушку страху задним числом, добавил: «Он уже давно заразился, еще когда был в солдатах».

Затем он спустился в кухню ужинать.

На дворе стемнело, и ветер стал крепчать.

К Карлссону, одиноко сидевшему за столом при свете сальной свечи, подседа чем-то встревоженная хозяйка. Девушки молча и настороженно сновали от очага к столу.

— Выпей водочки, Карлссон, — сказала старуха. — Вижу, нынче тебе это не помешает.

— Да, нелегкая была работа — все вещи на борт перетаскать, — ответил Карлссон.

— Надо тебе отдохнуть хорошенько, — заметила старуха, отправляясь за «песочными часами». — Ишь, ветрище какой! На восток дует. Как-то там парни с сетями управятся?..

— Ну, уж тут я ничем помочь не могу, на погоду управы нету, — огрызнулся Карлссон. — Дай-то бог, чтобы хоть к той неделе распогодилось, потому как думаю рыбный садок в город везти. Хочу сам с оптовиком потолковать.

— Вот как? Сам поедешь?

— Да, сам, парни настоящую цену за рыбу не берут, вот и надо разобраться, что к чему.

Старуха молча собрала на стол, думая о том, что вовсе не из-за рыбы Карлссона в город тянет.

— Гм! — наконец, проговорила она. — Ты, Карлссон, небось и к профессору наведаться?

— Наведаюсь, коли время будет. Он тут у нас оплетенную бутылку забыл.

— До чего же славные они люди!.. Хочешь водки в кофе, Карлссон?

— Благодарствую, тетушка!.. Да, люди они славные. Думаю, на тот год опять приедут, так, по крайности, Ида говорила.

Он вымолвил это имя с явным наслаждением, демонстрируя свою независимость. А хозяйка почувствовала свою зависимость, свою унижительную беспомощность, щеки ее вспыхнули, и в глазах сверкнул огонь.

— А я было думала, промеж вас все кончено, — вполголоса пробормотала она.

— Да нет, какое там! Вотсе не кончено, — ответил Карлссон, почуввав, как натянулась леса и что-то поймалось на крючок...

— Стало быть, поженитесь?

— Да, в свое время. К тому дело идет. Только сперва надо будет место себе приискать.

Что-то дрогнуло в морщинистом лице старухи, и худая рука ее стала, словно в лихорадке, шарить по скатерти.

— Ты что же, уйти от нас надумал? — наконец спросила она хриплым, дрожащим голосом.

— Так ведь когда-нибудь все одно придется, — отвечал Карлссон, — рано или поздно надо будет и своим домом обзавестись. Не век же для других стараться.

Клара внесла мучную кашу, и Карлссону вдруг пришла охота позубоскалить с девушкой.

— А что, Клара, не боязно вам одним спать? Парней-то в усадьбе нету! Может, мне прийти к вам для компании?

— Вот уж это без надобности! — отрезала Клара.

Карлссон схватил ее за пышное плечо и проговорил притворно сердитым тоном:

— Как так без надобности? Ты почему знаешь? Может, мне-то как раз и надо!

— Ишь, расхорохорился! Или тебе Иды мало? Так ведь слух прошел, что и там у тебя без помощников дело не обошлось!

Карлссон покраснел до корней волос, а лицо старухи оживилось надеждой, любопытством и удивлением.

На мгновение в кухне наступила тишина; Карлссон молча обдумывал, что бы такое ответить на выпад Клары. Теперь слышно было, как ветер гудит в лесу, срывает листву с берез, трясет изгороди, вертит флюгеры и шуршит по застрехам крыш. Иной раз порыв ветра проникал через дымоход, выдувая из очага искры и пламя, так что Лоттен закрывала руками глаза и нос. Когда ветер ненадолго затихал, становилось слышно, как волны бьются о восточный мыс. Вдруг на дворе подала голос собачонка, а затем ее лай стал удаляться, словно она кинулась кому-то навстречу, не то приветствуя, не то угрожая.

— Будь добр, ступай погляди, что там такое, — попросила старуха Карлссона, и он немедленно вскочил, радуясь, что можно не отвечать на язвительную реплику Клары.

За порогом его обступила такая густая тьма, что хоть ножом ее режь, а ветер свирепо накинулся на него и вздыбил волосы.

Он кликнул собаку, но лай доносился теперь с луга и звучал весело, точно псина признала знакомого.

— К нам кто-то приехал, — сказал он появившейся в дверях старухе. — И кого это нелегкая в такую пору несет? Пойду взгляну. Эй, Клара, зажги фонарь да шапку мне вынеси!

Взяв фонарь, он двинулся против ветра по направлению к лугу, пошел на собачий лай и вскоре очутился в сосновой рощице, отделявшей луг от берега. Теперь собака умолкла, но сквозь треск и шум колеблемых ветром сосен Карлссон слышал цоканье башмаков, подбитых железными подковками, хруст ломающихся веток, плеск разбрызгиваемой в лужах воды и ругань, адресуемую собаке в ответ на ее скулеж.

— Эй, кто там? — крикнул Карлссон.

— Это я, пастор! — послышался хриплый голос, и одновременно целый сноп искр вырвался из-под железной подковки каблука, ударившейся о булыжник.

Из зарослей выступил низкорослый коренастый человек в шубе, с грубым, обветренным лицом, обрамленным парой седых растрепавшихся бакенбард и оживляемым парой небольших пронзительных глаз под косматыми бровями.

— Ну и дороги у вас тут на острове, черт подери! — проворчал он вместо приветствия.

— Господи Иисусе, да это никак вы, господин пастор! И в такую собачью погоду! — почтительно отозвался Карлссон на ворчливое приветствие своего духовного пастыря. — А где ж лодка-то ваша?

— Я не в лодке, я в садке. Роберт его привязал у причала. Пошли поскорее под крышу, а то ветер до костей пробирает. Ну, шагай!

Карлссон с фонарем двинулся вперед, следом за ним пастор, а сзади бежала собака, которая то и дело кидалась в кусты, вынюхивая тетерок, но те вовремя спасались от нее, улетаая в сторону болота.

Старуха вышла во двор навстречу приближавшемуся фонарю, а узнав пастора, страшно обрадовалась и пригласила его в дом.

Он направлялся в город с рыбой, но по дороге его настиг шторм, и ему пришлось пристать к острову, чтобы здесь переночевать. Он проклинал все на свете и отчаянно ругался из-за того, что теперь не сумеет вовремя распродать рыбу; и это в такую пору, когда «все дьяволы вышли в море и гоняются за любой живностью, какая только плавает в воде».

Старуха хотела провести его в горницу, но он предпочел направиться прямо в кухню, где горел очаг и можно было обсушиться. Однако от тепла и света пастора, как видно, разморило, потому что он, стаскивая с себя смазные сапоги, отчаянно моргал, словно силясь стряхнуть сон. Карлссон помог ему снять серовато-зеленую байковую куртку, подбитую овечьей шерстью, и вскоре пастор уже сидел в шерстяной фуфайке и чулках у того края стола, который старуха освободила и накрыла для кофе.

Тот, кто не был знаком с пастором Нурдстрёмом, никогда бы не подумал, что этот огрубевший житель шхер — духовное лицо, настолько тридцать лет попечения о душах островитян преобразили некогда весьма утонченного капеллана, прибывшего из Упсалы после своего рукоположения. Крайне скудное жалованье вынуждало его кормиться от земли и от моря, а поскольку и этого было недостаточно, ему приходилось взывать к добрым чувствам паствы, каковые нужно было подогревать путем личного общения и сообразно местным условиям. Впрочем, доброхотные даяния прихожан преимущественно состояли из спиртного к кофе, которое надо было потреблять на месте, что отнюдь не приумножало доходов пасторской усадьбы и, более того, самым разрушительным образом сказывалось на физическом и моральном состоянии собирающего дань. Вдобавок жители шхер на собственном горьком опыте не раз убеждались, что во время бедствия на море бог помогает лишь тем, кто помогает сам себе, и что даже само «Аугсбургское исповедание» не поможет вызвать попутный восточный ветер, а стало быть, и от недавно построенной маленькой деревянной часовни нет никакого проку. Поездки в церковь морем были затруднительны из-за дальности путч и частых штормовых ветров, и если уж прихожане собирались туда, то скорее как на ярмарку; там

можно было повидать знакомых, заключить торговую сделку, выслушать церковные оглашения. А пастор был единственным представителем власти в здешних краях, поскольку ленсман жил далеко на материке, и его никогда не приглашали разбирать судебные тяжбы, предпочитая разрешать их с помощью тумачов или полушодфа водки.

Как уже было сказано, пастор направлялся в рыбном садке в город, чтобы продать там рыбу, которую сам наловил, но попал в шторм, и его отнесло ветром к острову. С надежно зачехленным ружьем, мешком с провизией и требником в сумке из тюленьей кожи, продрогший и промокший, он наконец добрался до света и тепла и, протерев глаза, сел за накрытый для кофе стол. Нелегко было бы узнать прежнего знатока латыни и греческого в этом человеке, освещаемом пламенем очага и двумя сальными свечами, в этом крестьянине и рыбаке. Некогда белая рука, которая в молодости только и знала что переворачивать страницы книг, теперь задубела и потемнела, покрылась желтыми пятнами от соленых брызг и солнечных лучей, стала твердой и мозолистой от весел, шкотов и румпелей. Ногти были изгрызены и обведены черной каймой от возни с землей и рыболовными снастями, ушные раковины заросли волосом, а в мочках были продеты свинцовые кольца, предохраняющие от флюсов; из нашитого на фуфайке кожаного кармана свисала прядка волос, на которой болтался ключик от часов из какого-то желтого металла, с сердоликовым сердечком; мокрые шерстяные чулки прохудились на большом пальце, и пастор беспокойно сучил ногами под столом, словно для того, чтобы спрятать дыру; куртка порыжела под мышками от пота, а ширинка была полурасстегнута, так как в ней не хватало пуговиц.

Пастор вынул из брючного кармана трубку и при всеобщем почтительном молчании постучал ею о край стола, так что на полу образовалась горка золы и прокисшего табака. Он стал набивать трубку нетвердой рукой и как-то уж чересчур старательно; это насторожило хозяйку, и она с беспокойством спросила:

— Что это нынче с вами, господин пастор? Вам как будто неможется?

Пастор с трудом поднял поникшую голову и оглядел потолочные балки, словно сиюсья отыскать там вопрошавшего.

— Мне? — спросил он и опять сунул щепотку табаку мимо трубки. Затем он потряс головой, точно отмахиваясь от докучливых вопросов, и погрузился в мрачную задумчивость.

Карлссон, который сразу понял в чем дело, шепнул старухе:

— Он выпил!

Считая необходимым вмешаться, Карлссон взял кофейник, налил кофе в чашку пастора, поставил рядом бутылку водки и с поклоном сказал:

— Милости просим, угощайтесь!

Старик приподнял седую голову, смерил Карлссона уничтожающим взглядом, точно желая испепелить его, с отвращением отодвинул от себя чашку и гаркнул:

— Ты чего это тут хозяина из себя корчишь, батрак?

Затем он обернулся к старухе и попросил:

— Дайте мне чашку кофе, мадам Флуд.

И он снова надолго погрузился в молчание, быть может, вспоминая дни былого величия и сокрушенно думая о невероятном бесстыдстве нынешних людишек.

— Эй, ты, чертов батрак! — гаркнул он о п я т ь . — Ступай помоги Роберту!

Карлссон попытался было улестить его, но был прерван грозным окриком: «Да знаешь ли, кто ты есть?» — и поспешно ретировался за дверь.

Освежившись глотком кофе, пастор обратился к старухе, которая робко просила прощения за дерзость батрака.

— У вас небось лодки и сети в море? — спросил он.

— Да, милый вы мой! — запричитала старуха. — Все как есть и лодки и сети! Кто же мог подумать, что ночью заштормит? Знаю я Густена! Он скорее сам пойдет на дно, чем оставит там на ночь сети.

— Ни черта! Выпутается как-нибудь! — утешил старуху пастор.

— Не скажите, господин пастор! Оно, конечно, сети больших денег стоят, ну да шут с ними! Только бы парень живой вернулся!

— Не спятил же он, чтобы сети в такой шторм выбирать!

— С него станется! Он точь-в-точь как его отец, ради своего добра жизни не пожалеет. Скорее потонет, чем даст сетям пропасть.

— Ну, уж коли он таков, мадам, то ему и сам черт не поможет. А рыбка-то хорошо идет. Мы давеча у шхер Алькоббарне шесть сетей забросили, так восемнадцать валов взяли.

— А жирная рыба?

— Как масло! А скажите-ка, мадам Флуд, правду ли болтают люди, будто вы опять замуж собралась?

— Господи, спаси и помилуй! — всплеснула руками старуха, — неужто и впрямь про меня такое городят? Просто страх берет, как подумаешь, что могут люди наплести.

— Оно, конечно, мое дело сторона, — продолжал пастор. — Но коли вы и вправду надумали за своего батрака замуж идти, то жаль будет парнишку.

— Парнишку жалеть нечего. Бывали у многих вотчимы и похуже.

— Ага, стало быть, это правда! Загорелось в старой утробе? Терпежу нету? Правду говорят, где плоть взбунтует, там и черт не дремлет, ха-ха-ха-ха!

Пастор покосился на Клару и Лоттен, чтобы посмотреть, не вогнал ли он их в краску. У девушек и впрямь был весьма плутоватый вид, и они давились от смеха. А старик продолжал зубоскалить:

— Вы чего улыбаетесь, девоньки? Уж будто вы ничего не знали!

— Может, еще водки выпьете, господин пастор? — прервала его шуточки старуха, обеспокоенная столь легкомысленным поворотом беседы.

— Спасибо, мадам, вы очень добры! Спасибо! Разве только чуть-чуть. Однако мне пора в постель, а вы небось еще и не постлали мне?

Лоттен отправили наверх в каморку готовить пастору постель, так как было решено, что Карлссон и Роберт лягут спать в кухне.

Пастор зевал во весь рот, почесывал ногой ногу, проводил руками по лицу и лысой макушке, словно желая стереть какие-то неведомые заботы; голова его короткими рывками клонилась к столу все ниже и ниже, пока он наконец не стукнулся подбородком о столешницу.

Старуха, видя, как обстоит дело, подошла к пастору, осторожно положила ему руку на плечо и, тихонько похлопав, попросила умоляющим голосом:

— Пастор, голубчик! Может, почитаете нам слово божие на сон грядущий? Пожалейте старуху и ее сынка, ведь он теперь в море!

— Да, да, почитаем! Да!.. Дайте мне книгу, мадам. Вы знаете, где она. В дорожной сумке.

Вдова Флуд взяла кожаную сумку, вынула из нее черную книгу с золотым крестом на переплете, которая обычно предлагалась вместо лекарств больным и старухам, и с чувством благоговения, точно ее убогая изба вдруг превратилась в храм, понесла таинственную книгу на вытянутых руках, как свежее испеченный хлеб, а затем, отодвинув чашку и отерев передником стол, положила ее перед тяжело поникшей головой пастора.

— Пастор, голубчик! — прошептала старуха под вой ветра в печной трубе. — Книга перед вами!

— Хорошо, хорошо! — спросонья пробормотал пастор и, не поднимая головы, протянул руку, нащупал чашку, задел пальцем за ручку, так что чашка опрокинулась, и водка потекла двумя ручейками по засаленной столешнице.

— Ой-ой-ой! — жалобно вскрикнула старуха, поспешно отодвигая книгу. — Ничего не выйдет! Вы совсем сонный, господин пастор. Вам надо пойти и лечь.

Но пастор уже храпел, уронив руку поперек стола и смешно вытянув палец, словно указуя некую невидимую и пока еще недостижимую цель.

— Господи, как же нам уложить его в постель? — беспомощно спросила старуха у девушек, не решаясь его будить, ибо знала, как буен бывает пастор, если его потревожить до того, как он проснется.

Оставлять его в кухне нельзя было из-за девушек, а переносить в горницу тоже не годилось — после ведь толков не оберешься. Все три женщины ходили вокруг пастора, как мыши, задумавшие надеть колокольчик на спящего кота, но никто не смел к нему подступить.

Тем временем огонь в очаге погас, ветер проникал в кухню сквозь оконные рамы и щели в дощатых стенах, и старик, сидевший

в одних чулках, должно быть, продрог, потому что голова его вдруг приподнялась, рот широко раскрылся, и три оглушительных «апчи» заставили женщин отпрянуть.

— Я, кажется, чихнул! — пробормотал пастор, поднялся из-за стола и, не открывая глаз, пошел к стоящему у окна дивану, плюхнулся на него, вытянулся на спине, скрестил руки на груди и, глубоко вздохнув, затих.

Теперь уже не было никакой надежды убрать пастора из кухни. Вернувшиеся Карлссон и Роберт тоже не решались его трогать.

— Вы поаккуратней с ним, а то еще драться начнет, — предупредил Роберт. — Подсуньте ему под голову подушку, накиньте на него одеяло, он и проспит до утра.

Старуха взяла девушек в горницу. Роберт ушел на сеновал, а Карлссон поднялся к себе в каморку. Свет погасили, и в кухне все затихло.

Но тут старуха вспомнила, что не оставила пастору на ночь воды, и послала Клару с флягой в кухню. Девушка пошла на цыпочках, стараясь не скрипнуть дверью, но тут же влетела обратно в горницу:

— Тьфу, ну и свинья! Подумать только!..

— Что такое, что там стряслось? — спросила старуха, испугавшись, не приключилось ли с пастором какой беды.

— Верите ли, тетушка, он хотел, чтобы я легла с ним... Тьфу!

— Нипочем не поверю! — возразила старуха, не желая умалять чести, которой она удостоилась, принимая пастора в своем доме. — Не поверю, и все тут!

— Так ведь как же, тетушка, он схватил меня и хотел...

— Будет тебе околесицу нести! — оборвала ее старуха. Затем она встала, заперла дверь и погасила свечу.

— Спи́те с миром! Доброй ночи!

И вскоре весь дом забылся сном, более или менее спокойным.

На другое утро, едва только прокричал петух, мадам Флуд поднялась, чтобы разбудить гостей, однако пастора и Роберта уже и след простыл. Шторм несколько утих, белесые и стальные осенние облака потянулись с востока к материку, и небо вновь залило свежей синью. С восьми часов утра старуха ходила по восточному мысу, высматривая, не покажутся ли в фьерде лодки. В проливе между островками время от времени то появлялся, то исчезал зарифленный парус. Море еще волновалось, отливало синеватой сталью, а крайние шхеры, казалось, реяли на воздушной подстилке, точно они сперва взлетели над водой, а теперь готовы унести вдаль, как ночной туман. Молодые крохали, отдохавшие на воде и на скалах, быстро ныряли в пучину, завидев над головой неспешный полет морского орла, а затем снова появлялись на поверхности и снова ныряли, разбрызгивая воду. Заметив, как чайки с громким криком вспархивают с дальней шхеры, старуха настораживалась, думая, что сейчас покажется парус; паруса

и вправду появлялись, но все они двигались мимо, либо на север, либо на юг.

Дул пронизывающий ветер, от белых облаков и ветра слезились глаза; старуха, устав от напрасного ожидания, ушла в лес и стала собирать в передник бруснику. Ей надо было хоть чем-нибудь заняться, чтобы заглушить мучительную тревогу. Все-таки дороже сына у нее никого не было, она и вполовину так не страдала в тот вечер, когда, стоя у перелаза, смотрела, как тает во тьме другая смутная надежда. Но сегодня она тосковала по сыну даже больше обычного, так как чувствовала, что скоро он, быть может, и вовсе отвернется от нее. Вчерашний разговор с пастором, его слова как бы подожгли бикфордов шнур, и вскоре послышится «пафф!». Бог весть, кому опалит брови этот взрыв, но в том, что это произойдет, сомневаться почти не приходилось.

Потихоньку пошла она к дому. Поднявшись на поросший дубом пригорок, она бросила взгляд на лодочную пристань и сквозь переплетение листьев заметила там движение. Люди топтались у лодочного сарая, о чем-то оживленно толковали, перебывая друг друга, спорили, обсуждали, совещались. Что-то стряслось за то время, пока она бродила по лесу. Но что?

Тревога и любопытство подстегнули ее, и она быстро стала спускаться по склону, чтобы узнать в чем дело. Подойдя к изгороди, она заметила часть кормы рыбацкой лодки. Стало быть, они уже вернулись; видно, обогнули остров с другой стороны.

Явственно слышался голос Нормана, который рассказывал:

— Он сперва камнем пошел ко дну, а после сызнава вынырнул, и тут его и настигла смерть. Прямехонько в левый глаз, ну, ровно фонарь потушили.

— О господи, он умер? — вскричала старуха, кинувшись к перелазу через изгородь.

Но ее никто не услышал, потому что как раз в это время загремел бас Рундквиста, подхватившего надгробные стенания Нормана.

— Мы стали тащить его, а тут, как на грех, лапа якоря застряла в спине...

Старуха наткнулась на развешанные сети и не смогла пробраться через них, но сквозь сетку она смутно видела, как все обитатели усадьбы, согнувшись в три погибели, ползали вокруг сероватого тела, лежавшего на дне лодки. Отчаянно вскрикнув, она наклонилась, чтобы пролезть под сетями, но берестяные полавки запутались в ее волосах, а грузила больно ударили по спине.

— Иисусе, что это к нам в сети попало? — воскликнул Рундквист. — Да это никак сама тетушка?

— Он умер? — не своим голосом закричала мадам Флуд. — Он мертвый?

— Мертвее не бывает!

С трудом высвободившись, старуха со всех ног кинулась к пристани. Там она увидела Густена, который лежал, простоволосый, ничком на дне лодки, но вот он зашевелился, и под ним оказалась какая-то громадная мохнатая туша.

— Это ты, мама? — приветствовал ее Густен, не оборачиваясь. — А ну глянь-ка, чего мы поймали!

Глаза старухи широко раскрылись от изумления, когда она увидела огромного жирного тюленя, с которого Густен сдирал шкуру. Ясное дело, тюлени не каждый день попадаются, и мясо их вполне съедобно, да и жира с одного тюленя хватит на много пар сапог, а за шкуру можно выручить добрых двадцать крон. Но все-таки это ничто по сравнению с зимней салакой, а в лодке не видно было ни единого рыбьего хвоста. Это вконец расстроило старуху, и, забыв про только что пережитый страх за сына и про неожиданную добычу, она разразилась упреками:

— А где ж салака-то?

— Да никак к сетям было не подобраться, — ответил Густен. — Ну да что ж, салаку купить можно, а тюлени не каждый день попадают.

— Вот-вот, только это от тебя и услышишь! Стыд и срам — три дня пропадать в море и ни одной рыбешки не привезти. А что мы зимою есть будем, про это ты подумал?

Но ее никто не поддержал, потому что салака уже давно приелась, а мясо — это как-никак мясо; да и охотники, на все лады расписывая свое необыкновенное приключение, привлекли всеобщее внимание.

— Да... — протянул Карлссон, отрезая кусок тюленины, — не будь у нас земли, пропали бы мы с голоду!

Но и в этот день сети не выбирали, потому что надо было ставить на огонь громадный казан и варить тюлений жир; с утра до вечера в кухне жарили, парили, то и дело угощались кофейком с водкой. На южной стене сарая вывесили, как победный штандарт, распятую тюленью шкуру, и всем встречным и поперечным без конца повторялась история о том, как был убит тюлень, а маловеров заставляли подходить к шкуре, совать пальцы в пулевое отверстие и в сотый раз выслушивать, как тюлень взобрался на камень, что сказал Густен Норману перед тем, как выстрелить, и как вел себя подстреленный тюлень в последние минуты, когда его «пригвоздили».

Карлссон в те дни был отнюдь не на высоте, но он втайне точил свой клинок, и когда наконец сети были выбраны, он сел за руль рыбного садка и вместе с Норманом и Лоттен отправился в город.

Когда мадам Флуд спустилась к пристани встречать прибывших из города, она вмиг учуяла перемену, потому что Карлссон был на удивление покладист и приветлив.

После ужина он зашел к ней в горницу отдать вырученные за рыбу деньги. Хозяйка усадила его и стала расспрашивать о поездке. Но дело подвигалось туго; видно было, что Карлссон вовсе не расположен откровенничать. Однако старуха не отстала, пока не вытянула из него все подробности поездки.

— А скажи, Карлссон, — допытывалась она. — К профессору ты небось заходил?

— А как же, забегал ненадолго, — отвечал Карлссон, явно не испытывая удовольствия от воспоминаний об этом визите.

— Ну, и как они там?

— Всем велели кланяться. Приняли меня лучше некуда и завтраком угостили. А в доме у них такой шик! Ну, и потолковали мы власть!

— И чем же тебя там потчевали?

— И омаром, и свампиньонами, а пили мы портер.

— А скажи, Карлссон, девушек ты тоже повидал?

— Ясное дело! — самым непринужденным тоном ответил Карлссон.

— И они, надо думать, не переменялись?

Перемениться-то они, положим, переменялись, но это чересчур обрадовало бы старуху, и потому Карлссон промолчал.

— Да, уж очень они мне были рады, а вечером мы ходили в салон Берна музыку слушать, а потом я угощал их портером и бутербродами; в общем, весело провели вечерок.

Собственно говоря, веселого было мало, и все происходило несколько иначе, чем расписывал Карлссон. Иды дома не оказалось, и приняла его в кухне одна Лина, которая поставила перед ним кружку пива на краешек стола. Потом в кухню вышла профессорша, поздоровалась с Карлссоном, сказала Лине, что надо будет купить на вечер омара, так как у них к ужину будет гость, и с тем ушла. Оставшись наедине с Карлссоном, Лина несколько смешалась, но Карлссон мало-помалу выпытал у нее, что письмо его Ида получила и читала его тут вслух в присутствии своего жениха, когда они однажды вечером сидели в кухне и пили портер, а Лина как раз чистила шампиньоны. Они чуть животики не надорвали от смеха, а жених дважды перечитал письмо, громко и торжественно, как пастор. Больше всего позабавило их выражение «старый Карлссон» и то место, где он писал о «своих последних часах», а когда дошли до «соблазнов и неправедных путей», жених Иды — он служит развозчиком пива — предложил отправиться кутнуть в салон Берна, и они все трое пошли туда, пили портер и угощались бутербродами.

То ли рассказ Лины подогрел воображение Карлссона, то ли ему вдруг до смерти захотелось очутиться на месте развозчика пива, но, как бы там ни было, он живо представил себя в роли своего удачливого соперника, а заодно и в роли неизвестного пожирателя омаров, выпил женихов портер и угостился Линиными шампиньонами. Во всяком случае, старухе он изложил дело именно таким образом, и не без тайной цели, в которой крылась главная суть. Завершив рассказ, Карлссон окончательно успокоился и почувствовал, что готов к атаке. Благо парни были в море, Рундквист уже улеся, да и девушки покончили на сегодня с хозяйственными хлопотами.

— Что за толки ходят нынче в округе? Со всех сторон только про это и слышу, — начал он.

— Какие еще толки? — спросила старуха.

— Да все те же: насчет того, что мы вроде пожениться собираемся.

— Ну, уж это старая песня!

— Так ведь люди-то почему зря болтать не станут! Чего-то я тут не пойму, — прикинулся простачком Карлссон.

— Ну скажи на милость, зачем молодому, здоровому мужику старая баба?

— Ну, что до годов, то беда невелика. Вот я, к примеру, про себя скажу. Коли я надумаю жениться, то нипочем не возьму молодую потаскушку, которая ничего не знает и не умеет. Известно, тетушка, похоть — одно дело, а женитьба — совсем иное. Земная похоть — что дым: рассеялась, и нет ее. А верность — что табачная жвачка: жуешь ее, жуешь, и никакой сигары тебе не надо. А я, тетушка, такой человек, что ежели женюсь на ком, то уж верным буду до гроба. И всегда я такой был, а кто скажет иное, тот брехун и ничего больше.

Старуха наострила уши, поняв, что все эти речи неспроста говорятся.

— А как же Ида? Ты ведь вроде на ней жениться хочешь?

— Ида, что ж... Девушка она неплохая, и стоит мне пальцем поманить, как она будет моя. Только, знаете ли, тетушка, не то у нее расположение, одна суета на уме, пустая она бабенка и, по всему виду, по худой дорожке пойдет. А я старею, мне уж нынче не до баловства. Так что прямо вам скажу: коли надумаю жениться, то буду подыскивать себе женщину в летах, рассудительную, разумную и такую, чтоб расположение у нее было подходящее. Не знаю, как бы вам яснее сказать, но вы, тетушка, небось и так меня понимаете, потому как вы женщина с головой.

Старуха под села к столу, чтобы лучше следить за выкрутасами Карлссона и в нужный момент сказать «аминь».

— А скажи мне, Карлссон, — попробовала она зайти с другого конца, — может, ты насчет вдовы из Овасса думаешь? Она-то ведь спит и видит, как бы замуж выскочить.

— Нет, не про нее речь. Вообще-то я ее знаю, только и у нее расположение не то. Деньги, богатство, красивые тряпки — все это не по мне, не такой я человек, это всякий скажет, кто меня хорошо знает.

Старуха поняла, что все обходные маневры закончены и, пока не поздно, кому-то надо сказать последнее слово.

— Так кто же у тебя на уме, Карлссон? — рискнула она спросить.

— Ну что вы заладили: на уме да на уме! Да никого у меня покуда на уме нету! Ну, а ежели кто что думает, так пускай так и скажет; сам я и словечка не вымолвлю, чтобы потом не говорили, будто я кого завлекал, а я не из тех, кто завлекает!

Старуха все еще не знала, как ей быть, и решила снова прощупать почву:

— Так ведь, Карлссон, голубчик, коли у тебя Ида на уме, как же ты можешь всерьез про других думать?

— Ида, гм, эта хитрая лиса... Ну нет, ее я не возьму, хоть бы она мне и на шею стала вешаться. Мне нужна женщина хозяйственная, и чтоб у нее худо-бедно было чем тело прикрыть, ну, а коли еще что сверх того найдется, так и это не беда. Хоть я за богатством не гонюсь, не такой я человек, не то у меня расположение.

Старуха поняла, что они так и будут петлять вокруг да около и пока она сама не предпримет решающего шага, дело с мертвой точки не сдвинется.

— А что бы ты сказал, Карлссон, если бы мы с тобой насчет этого столковались?

Карлссон стал отмахиваться обеими руками, словно сразу же намерен был отмести всякие подозрения насчет подобной низости.

— Нет, нет, об этом и разговору быть не может! — решительно заявил он. — И не будем про это толковать, и в мыслях ничего такого не держите. Знаю я, что люди скажут. Будто я на ваше богатство позарился и на деньгах женился, а я не такой человек, и обычая у меня такого нет... И не будем больше про это толковать. Обещайте мне, тетушка, и дайте мне на том руку! (Тут он протянул к ней руку.) Дайте руку!

Но старуха не хотела давать руку, а хотела все же обсудить это дело.

— Отчего бы нам и не потолковать про это? Я уже в летах, а из Густена какой же хозяин? Мне надобен надежный помощник. Да только я ведь понимаю, что тебе тоже не расчет ради чужого добра жилы рвать да горб наживать, вот я и не вижу иного выхода, как нам с тобой пожениться. А что люди будут болтать — так пусть их языками молотят, они ведь все одно про нас с тобой судачат. И коли ты, Карлссон, против меня ничего не имеешь, то я нашей свадьбе никакой помехи не вижу. А может, ты что имеешь против меня? Тогда, конечно, дело иное.

— Ничего я, тетушка, против вас не имею, с чего вы взяли? Только вот эти толки, будь они неладны... Да и Густен взбеленится.

— Какой же ты мужик, ежели не сумеешь его в узде держать? Ну, а коли и так, то я сама с ним управлюсь. Спору нет, я женщина в летах, но уж не такая старая, чтобы мне насчет свадьбы и заикнуться нельзя было. И скажу тебе, Карлссон, по секрету, что я еще баба хоть куда, и коли до дела дойдет, так любую потаскуху за пояс заткну. Хвалиться не хочу, а только Флуду жаловаться не приходилось. Заместо себя помощниц не нанимала...

Темные речи, но тому, кто понимает, разжевывать да класть в рот нет надобности.

— Да не о том речь, — возразил Карлссон. — Оно конечно, из меня тоже песок покуда не сыплется, но мы с вами теперь уже не шибко охочи до любовных дел, так что из-за этого загвоздки

быть не может. Похоть — одно дело, а расположение иное. И коли у человека расположение подходящее, с ним можно ложиться в брачную постель, и вовсе ни к чему, чтобы одеяло до потолка подсакивало. К тому же, тетушка, человек я на эти дела не больно падкий, а вы свое уже с лихвой получили, коли правда то, что я про Флуда слышал.

Разговор становился все более увлекательным, и прервать его было нелегко, тем более что, пробуждая память о былых утехах, он возрождал надежду на новые.

— Покойника Флуда мы трогать не станем, но ежели ты, Карлссон, чего опасаясь, то можешь сперва попробовать, а потом уж и решать.

— Мне-то это ни к чему, — отвечал Карлссон, — а только если в здешних краях так заведено, то упаси меня бог идти против старых обычаев. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ну да это нам не к спеху.

Лед был сломан, и теперь началось обсуждение планов и дальнейших дел; совещались о том, как преподнести новость Густену, как подготовиться к свадьбе и все такое прочее. Переговоры длились долго, и старухе пришлось снова подвесить на огонь кофейник и выставить еще бутылку водки, так что они засиделись далеко за полночь, и в конце концов Карлссон пришел в соответствующее расположение для того, чтобы на деле доказать, что он не намерен идти против старых обычаев. Таким образом, союз был заключен, правда, пока еще неофициально.

Глава пятая

ДРАКА В ДЕНЬ ТРЕТЬЕГО ОГЛАШЕНИЯ. МОЛОДЫЕ ЕДУТ В ЦЕРКОВЬ, СПРАВЛЯЮТ СВАДЬБУ, ОДНАКО В БРАЧНУЮ ПОСТЕЛЬ ТАК И НЕ ПОПАДАЮТ

В том, что нет на свете человека лучше того, кто уже отошел в мир иной, и хуже того, кто надумал жениться, Карлссон смог убедиться очень скоро. Густен взъярился, как голодный тюлень. Целых три дня он бушевал, рвал и метал, и Карлссон на это время под благовидным предлогом убрался из дома. Покойный Флуд был вытаскен из могилы и объявлен самым достойным человеком на свете, а Карлссона выворачивали наизнанку, как старую одежду в поисках пятен на подкладке. Говорили, что он был паровозником, разнощиком Библии, что его выгнали с трех мест, а однажды даже притянули к суду за драку. Всем этим тыкали в нос старой мадам Флуд, но пламя уже вспыхнуло, и старушка, покончив со своим вдовьим положением, взбодрилась, воспряла к жизни, ноздри у нее точно шерсть заложило, и ее теперь ничем было не пронять.

Враждебность к Карлссону коренилась главным образом в том, что он, человек сторонний, благодаря своей женитьбе становился хозяином земли и вод, которые местные старожилы привыкли

считать чем-то вроде общей собственности. А поскольку мадам Флуд была единоличной владелицей всей движимости и недвижимости и, судя по всему, могла прожить еще много лет, перспектива стать самостоятельным хозяином отдалялась от сына на неопределенно долгое время. Притом замужество матери низводило его, можно сказать, до положения батрака и отдавало под опеку и власть бывшего работника, который и живет-то тут без году неделя. Не удивительно, что низвергнутый хозяин был в ярости, поносил мать на чем свет стоит, грозился подать жалобу в суд и с помощью властей выгнать будущего вотчима из усадьбы. Окончательно взбеленился он при виде Карлссона, который вернулся из поездки, облаченный в черный воскресный сюртук покойного Флуда и в его же шапку из тюленьего меха. Все это Карлссон получил от разнеженной вдовы в качестве утренних подарков. Густен ничего не сказал, но подбил Рундквиста на каверзу, и однажды утром, когда все собрались к завтраку, на месте Карлссона обнаружилось полотенце, покрывавшее горку каких-то вещей. Карлссон, не подозревая худого, поднял полотенце и увидел на столе весь хлам, который он после отъезда дачников собрал в мешок и спрятал под кроватью в своей каморке — пустые жестянки из-под омаров, сардин, шампиньонов, бутылку из-под портера, несметное количество пробок, треснувший цветочный горшок и многое другое.

В глазах у него потемнело, но он не знал, кого обвинить. Рундквист слегка остудил его гнев, объяснив, что это, дескать, обычная для здешних мест шутка над будущим молодоженом. Но тут, на беду, вошел Густен и громко выразил удивление тем, что старьевщик нынче явился в усадьбу так рано; еще и осень не кончилась, а ведь обычно раньше Нового года он сюда и носу не кажет. Норман не преминул объяснить, что старьевщика никакого не было, а что все эти реликвии Карлссон хранил в память об Иде, и теперь Рундквист решил слегка подшутить над влюбленным, раз уж между ним и его милой все кончено.

Разразился громкий скандал, Густен отправился в пасторскую усадьбу и добился отсрочки свадьбы на шесть месяцев под тем предлогом, что у Карлссона бумаги не выправлены. Это было прямое оскорбление, и Карлссон попытался кое-чем себя за него вознаградить. В своей новой роли он ходил гоголем, но видя, что успеха это не приносит, попытался сделать вид, по крайней мере перед домочадцами, что относится к ней с иронией. Это подействовало на всех, кроме Густена, который продолжал ожесточенную подспудную борьбу и не шел на мировую.

Зима тянулась неспешно, все шло своим чередом — рубка леса, плетение сетей, подледный лов, а в промежутках — игра в карты, питье кофе и водки, рождественские пирушки и охота на морянок. И вот снова наступила весна. Соблазн поохотиться в море на птиц был велик, но Карлссон всех впряг в полевые работы; нынче ему позарез нужен был богатый урожай, который смог

бы покрыть свадебные расходы, потому что свадьбу задумали сыграть громкую, чтобы запомнилась она на много лет.

Вместе с перелетными птицами появились на острове и дачники. Профессор, как и в прошлом году, доброжелательно кивал головой, по-прежнему считал, что все «карашо», особенно теперь, когда намечалась свадьба. Иды, к счастью, с ними не было. Она отказалась от места еще в апреле и собиралась замуж. Ее преемница отнюдь не блистала красотой, да и у Карлссона были слишком серьезные виды на будущее для того, чтобы он мог позволить себе какое-нибудь безрассудство, тем более что карта сама шла ему в руки, и он не намерен был проигрывать.

В Иванов день было первое оглашение, а свадьбу решили играть между сенокосом и жатвой, когда образуется небольшая переделка в работе.

После оглашения нрав Карлссона стал явно меняться к худшему, и мадам Флуд сразу это почувствовала. Согласно здешнему обычаю, они после помолвки жили вместе, как семейные люди, и жених, над которым как дамоклов меч висела отсрочка, вел себя осмотрительно, стараясь применить к обстоятельствам, но когда опасность миновала, начал задирать нос и выпускать коготки. Это, однако, возымело лишь то действие, что мадам Флуд, тоже почувствовавшая себя на коне, показала в ответ все свои оставшиеся зубы, и в день третьего оглашения произошел взрыв.

В этот день все обитатели острова, за исключением Лоттен, отправились в церковь причащаться. Как всегда в таких случаях, выбрали самую маленькую лодку, чтобы грести было полегче, и потому в лодке было тесно, тем более что с собою везли мешок с провизией, четверть пуда язей для пастора, несколько фунтов свечей для звонаря, всякую мелочь для обмена, а ведь на борту были еще парус и весла, черпаки, ведра, скамейки.

В это утро, как водится, устроили праздничный завтрак с обильными возлияниями. На воде было жарко, и никто не желал садиться на весла; между мужчинами, которым вовсе не хотелось приехать в церковь взмокшими от пота, начались препирательства. Женщины тоже затеяли свару, но когда лодка вошла в бухту и до них донесся колокольный звон, которого они уже век не слышали, перебранка стихла. Это были лишь первые удары колокола, так что времени в запасе оставалось еще много, и мадам Флуд с Карлссоном направились в пасторскую усадьбу. Пастор еще брился и был не в духе.

— Ишь чудеса какие — жители Хемсё в церковь явились! — приветствовал он гостей, прижимая указательным пальцем порез на щеке. — На кой мне ляд ваша рыба, когда у самого море за порогом! — проворчал он.

Тем не менее Карлссону, который принес рыбу, разрешено было пойти в кухню и получить там рюмку водки за труды.

Потом они отнесли звонарю свечи, и там его тоже угостили водкой.

Наконец все сошлись у церкви, стали разглядывать лошадей местных богатеев, читать надгробные надписи, беседовать со знакомыми. Мадам Флуд навестила мужнину могилу, а Карлссон подждал невесту в сторонке. Потом со звонницы снова донеслись удары колокола, и прихожане потянулись в храм. С тех пор, как сгорела старая церковь, у жителей Хемсё не было своей скамьи, и им пришлось стоять в проходе. Жара была нестерпимая, они чувствовали себя чужими в просторном храме, потели от смущения и казались кучкой воспитанников исправительного заведения, выставленных к позорному столбу. Когда дело дошло до пения последнего перед проповедью псалма, было уже одиннадцать часов, и жители Хемсё успели раз сорок переступить с ноги на ногу. Солнце палило немилосердно, лбы были в испарине, но они стояли, как в тисках, не решаясь передвинуться в тень. Тут является церковный сторож и ставит на пюпитр псалом номер 158. Орган гудит, играя вступление, и звонарь запеваает первый стих. Присутствующие подхватывают его бодро и с воодушевлением, так как убеждены, что после этого сразу же начнется проповедь. Но не тут-то было, за первым стихом следует второй, а потом и третий.

— Неужто он хочет заставить нас пропеть все восемнадцать стихов? — шепнул Рундквист Норману. — Быть того не может!

Но было именно так. В дверях ризницы показалась сердитая физиономия пастора Нурдстрёма; он взирал на прихожан упрямо и вызывающе, точно решил задать им перцу, раз уж они оказались у него в руках.

Восемнадцать стихов были пропеты все до единого, и когда пастор взошел на кафедру, часы показывали уже половину двенадцатого. К этому времени прихожан окончательно разморило, и они повесив головы сладко спали. Однако сон их был недолог, потому что пастор с кафедры гаркнул так, что дремавшие вздрогнули, подняли головы и стали ошалело озираться, как бы спрашивая: «Где горит?»

Карлссон с невестой протиснулись далеко вперед, и отступление к двери неминуемо вызвало бы скандал. Старая хозяйка плакала от усталости и из-за тесных башмаков, которые жали все немилосерднее по мере того, как усиливалась жара. Время от времени она обращала к жениху умоляющий взор, точно заклиная отнести ее к морю и окунуть в воду, но он, обутый в просторные кожаные сапоги Флуда, был всецело поглощен службой и в ответ лишь казнил нетерпеливую прихожанку негодующими взглядами. Остальные обитатели Хемсё ухитрились дать задний ход и укрыться на хорах, где было прохладно и можно было отдохнуть в тени. Густен вдобавок обнаружил здесь пожарный насос, сел на него и усадил Клару к себе на колени.

Когда началась проповедь, Рундквист прислонился к колонне, а Норман стал рядом. Проповедь длилась часа полтора. Речь в ней шла о мудрых и неразумных девах, и поскольку никто из мужчин не мог принять ее на свой счет, все мало-помалу снова заснуло, кто сидя, кто стоя, а кто согнувшись в три погибели.

Спустя полчаса Норман толкнул в бок Рундквиста, который стоял, наклонившись и прикрыв лоб рукой, и указал пальцем на Клару и Густена на брандспойте. Рундквист осторожно повернул голову, вытаращил глаза, словно узрев самого черта, покачал головой и понимающе усмехнулся. Клара сидела, полуоткрыв рот и смежив веки, будто ее мучил страшный сон, а Густен усталился на пастора Нурдстрёма, как бы впитывая в себя каждое его слово и силясь услышать шорох осыпающихся песочных часов.

— Ишь шельмы! — прошептал Рундквист и стал осторожно пятиться назад, стараясь ступать как можно тише.

Норман, словно прочитав его мысли, ужом выскользнул на паперть, где к нему вскоре присоединился Рундквист, и оба беглеца направились к лодке.

У моря веял прохладный ветерок, и они, наскоро хлебнув кой-чего освежающего, быстро пришли в себя. Тихо и незаметно вернулись они обратно в церковь и увидели, что Клара заснула в объятиях Густена. Тот держал ее за талию несколько выше, чем следовало, и Рундквист счел необходимым передвинуть его руку чуть пониже; Густен проснулся и еще крепче ухватился за свою добычу, как будто кто-то собирался отнять у него девушку.

Проповедь длилась еще полчаса, а затем еще полчаса ушло на пение псалмов, после чего началось причастие. Принятие святых даров вызвало сильное волнение, и даже Рундквист пустил слезу. Мадам Флуд, которая после окончания церемонии хотела протиснуться к скамье, была возвращена на место и провела последние полчаса, стоя на каблуках перед скамьей церковного старосты и чувствуя, как подошвы ее горят, словно плиты под ней охвачены пламенем, а когда пастор прочитал оглашение, она и вовсе осатанела под любопытными взорами прихожан.

Но вот все было кончено, и люди ринулись к лодкам. Мадам Флуд тоже не стала задерживаться и, наскоро выслушав поздравления на паперти, скинула с себя башмаки и побежала к лодке; там она опустила босые ноги в воду и обрушилась с бранью на Карлссона. Затем все накинудись на мешок с провизией, но тут обнаружилось, что картофельных блинов и след простыл. Поднялся страшный шум, Рундквист высказал догадку, что их забыли дома, а Норман предположил, что кто-то съел их по дороге, бросая тень подозрения на Карлссона.

Наконец все погрузились в лодку, но тут Карлссон вспомнил, что ему надо еще забрать бочку смолы, купленную в сельской лавке. Это известие вызвало настоящий бунт. Женщины кричали, что нипочем не позволят брать на борт смолу, ведь они в новых платьях. Но, невзирая на возражения, Карлссон все-таки забрал бочку и вкатил на борт. Тут начались препирательства, кому сидеть рядом с опасным грузом.

— Куда же мне сесть? — ворчала мадам Флуд.

— Подними юбки и садись на задницу, — ответил Карлссон, который после третьего оглашения почувствовал себя на коне.

— Чего-чего? — завопила старуха.

— Я говорю, садись в лодку и давай отчаливать.

— Кто распоряжается на борту, хотел бы я знать? — вмешался Густен, усмотрев в словах Карлссона посягательство на свои права.

Затем он сел у руля, велел поднять парус и натянул шкот. Лодка была перегружена, ветер дул еле-еле, солнце жгло вовсю, и умы были взбудоражены. Лодка поползла, как «вошь по бересте», мужчины хлебнули спиртного для успокоения, но и это не помогло. Терпение скоро истощилось, царившее некоторое время молчание было прервано Карлссоном, который потребовал, чтобы спустили парус и пошли на веслах. Но Густен не соглашался.

— Погодите, вот минуем островки, и тогда парус надует, — сказал он.

Стали ждать. Вот уже блеснула в проходе меж островками темно-синяя полоса, и стало слышно, как волны бьют о крайние шхеры. Поднялся сильный восточный ветер, и парус ожил. Как только последний островок остался позади, задудло так, что лодка встрепенулась, выпрямилась, понеслась, и только вода под ней забурилась. Решили по такому случаю снова хлебнуть глоточек, и у всех стало легче на душе. Лодка шла хорошо, однако ветер все крепчал, и она накренилась, зачерпнув бортом воду. Струхнувший Карлссон ухватился за борт и попросил зарифить парус.

Густен не отвечал и знай себе травил шкот, так что лодка снова зачерпнула воду.

Карлссон с перепугу вскочил и захотел выставить весло. Но старуха схватила его за пиджак и силой посадила на место.

— Да сиди ты, Христа ради! — закричала она.

Карлссон сел, но лицо его стало белым как полотно. Через секунду он снова вскочил и, подобрав полы пиджака, завопил не своим голосом:

— Иисусе, да она ведь течет, окаянная!

— Что, что течет? — хором закричали все.

— Да бочка, что же еще!

— О господи! — слышались крики, и все заматались, спасаясь от потоков смолы.

— Сидите на месте! — загремел Густен. — Не то всех в море вывалю!

Налетел новый порыв ветра, и Карлссон опять вскочил на ноги. Рундквист, который знал, насколько это опасно, осторожно приподнялся и отвесил Карлссону такую оплеуху, что тот хлопнулся обратно на скамью; запахло дракой, но тут терпение мадам Флуд лопнуло, и она решила вмешаться.

Схватив суженого за шиворот, она что есть силы встряхнула его.

— Ну, что за недоумок, прости господи! Ты что, сроду под парусом не ходил? Будь ты человеком, сядь и сиди смирно!

Разъяренный Карлссон вырвался, оставив в руках у старухи кусок воротника.

— Ты чего мою одежду рвешь, старая карга? — заорал он, подбирая ноги на борт, чтобы уберечь сапоги от смолы.

— Чего-чего? — ехидно протянула старуха. — Его одежду! Видали? Да кто тебе ее дал, одежду-то? Ишь голоштанник! И я же у него старая карга! Так ведь у тебя, мозгляка, и для этой старой карги пороху не хватает!..

— Заткнись! — взревел Карлссон, уязвленный в самое чувствительное место. — Заткнись, не то я тебе такое скажу...

— Скажи, скажи! И от меня тоже кой-чего услышишь! — огрызнулась мадам Флуд.

— Да знаешь ли ты, что по старой коряге и справный рубанок строгать не станет! — выпалил Карлссон.

Густен, решив, что откровения зашли слишком далеко, запел лихую польку, Норман и Рундквист стали подтягивать, ядовитая перебранка мало-помалу стихла, а гнев обратился на общего обидчика — пастора Нурдстрёма, который заставил их простоять на ногах добрых пять часов и пропеть восемнадцать стихов. Бутылка пошла по кругу, ветер стал слабеть, возбуждение улеглось, и когда лодка, войдя в бухту, стукнулась о причал, на борту ее все уже пребывали в самом благодушном настроении.

Тем временем начались приготовления к свадьбе, которая должна была длиться три дня. Забили поросенка и корову, закупили двести штофов водки, засолили в пряном посоле салаку. Пекли, жарили, парили, варили пиво, мололи кофе и наводили чистоту. Все это время Густен ходил с каким-то таинственным видом. Он ни во что не вмешивался и не давал советов, предоставив распоряжаться другим. Карлссон же, напротив, много времени проводил за секретером, углубившись в расчеты, ездил в Даларё и улаживал все дела.

Накануне свадьбы Густен встал спозаранку, уложил свой охотничий мешок, взял ружье и вышел из дома. Мать проснулась и спросила, куда это он собрался, он ответил, что хочет посмотреть, не появились ли язи, и с тем ушел.

На пристани он уложил в лодку мешок с многодневным запасом провизии, одеяло, кофейник и прочие пожитки, необходимые охотнику в шхерах. Он поднял парус, но вместо того, чтобы направить лодку к заводям и посмотреть, не появился ли на отмелях язь, взял курс прямо на пролив между скалистыми островами.

Утро на исходе июля было слегка сумеречное, небо синеватое, как снятое молоко, островки, скалы, шхеры, камни мягко растворялись в воде, и невозможно было понять, принадлежат ли они небу или земле. Ближе к суше на островах росли ель и ольха, на скалах гнездились крохали, чернети и чайки, а на дальних островках видны были лишь карликовые сосны. Кайры, гагарки, черные, пестрые, как попугаи, дерзко кружили вокруг лодки, стремясь увести охотника подальше от своих гнезд, скрытых

в расселинах скал. Чем дальше, тем более пологими и голыми становились шхеры, лишь кое-где на них высилась одинокая сосна с гнездом, где высиживали птенцов гагары и крохали, да еще, быть может, рябина, над чьей кроной тучами носилась гонимая ветром мошкара. А еще дальше синело море, где охотился поморник, извечный враг ласточек, чаек и гагар, да высоко в небе лениво и неспешно парил морской орел, высматривая зазевавшуюся гагарку. Туда-то, к самой дальней шхере, и направил свою лодку Густен; он полулежал у руля, с трубкой в зубах, отдавшись на волю легкого южного бриза. Около девяти часов он пристал к берегу у Норстена, небольшого скалистого островка, пересекавшегося посредине долиной. Здесь меж голых камней можно было видеть лишь две-три рябины да еще в расселинах кусты бересклета с огненно-красными ягодами; долина была покрыта густым ковром из вереска, водяницы и желтеющей моршкы, по откосам стлались можжевельные кусты, которые, казалось, крепко вцепились в камень когтями, чтобы их не унесло ветром. Тут Густен чувствовал себя как дома, знал каждый камень, знал, под какой можжевельной веткой он обнаружит сидящую на яйцах гагарку, которая клюнет его в штанину, когда он погладит ее по спинке; здесь он оставлял в расселине весла и ловил птиц, которых потом зажаривал к завтраку. Неподалеку отсюда было место, где владельцы острова Хемсё обычно ставили сети на салаку, и они вместе с другими рыбаками построили на островке избушку для ночлега. К ней-то и направился Густен; он взял ключ из обычного места под застрехой и внес внутрь свои пожитки. Избушка представляла собою помещение без окон с нарами для спанья, расположенными наподобие полок одна над другой; тут же были очаг, трехногий табурет и стол.

Внеся вещи, Густен полез на крышу и открыл заслонку дымохода. Затем он достал спички, как всегда лежавшие на одной из балок, и растопил очаг, в котором последний из постояльцев, как водится, оставил охапку дров для следующего гостя. Он подвесил на огонь котелок с картошкой, бросил сверху пригоршню соленой салаки и раскурил трубку в ожидании, когда поспеет завтрак.

Поев и выпив, он взял ружье и спустился к лодке, где у него были манки. Он выгреб подальше от берега и прикрепил чучела птиц у небольшого мыса, а сам залег в укрытие, или скрадку, сооруженную из хвороста и камней. Чучела покачивались на волнах, но птицы не попадались на приманку; Густен, устав от напрасного ожидания, поднялся и пошел бродить меж прибрежных камней, надеясь отыскать выдру, однако увидел лишь черных гадюк да осиное гнездо, скрытое зарослями дербенника и сухого дикого овса.

Впрочем, он не слишком-то и старался поймать какую-нибудь добычу, а отправился сюда, просто чтобы не оставаться дома; ему хотелось побыть одному, подальше от чужих глаз.

После обеда он прилег на нары поспать, а к вечеру сел в лодку, захватив тресковую лесу, чтобы попытать счастья и тут. Море лежало тихое, и он видел вдали полосу берега, которая тянулась,

словно в легком тумане, в лучах заходящего солнца. Кругом стояла тишина, какая бывает только в безветренные вечера, и за полмили можно было услышать стук уключин.

Вдалеке купались тюлени; они высовывали свои круглые лысые головы, мычали, трубили и затем снова ныряли в воду.

Треска и впрямь шла хорошо, и ему посчастливилось поймать несколько белобрюхих рыбин. Вытащенные из темной глубины, они стукались о планширь лодки, зловеще скалились на солнце и, задыхаясь без воды, широко раскрывали громадные, но неопасные пасти.

Густен ловил рыбу на северной стороне островка, и потому лишь когда стало темнеть и ему пришлось пристать к берегу, он заметил, что из трубы избушки тянется дым. Дивясь, кто бы это мог быть, он быстрыми шагами направился к дому.

— Это ты? — донесся до него изнутри знакомый голос пастора.

— Да это никак вы, господин пастор! — удивился Густен, увидев священника, который жарил сельдь. — Вы тут один?

— Да, вот вышел в море трески половить. Но я ловил с южной стороны и тебя не видел. А ты чего здесь? Ведь завтра свадьба!

— Меня на этой свадьбе не будет! — ответил Густен.

— Пустое болтаешь. Почему бы тебе и не быть на ней?

Густен, как мог, объяснил причину. Сказал, что не хочет присутствовать на событии, которое ему глубоко противно, и вместе с тем хочет проучить того, кто стал ему поперек дороги.

— А как же мать? — возразил пастор. — Неужто тебе матери не жаль? За что ты хочешь так осрамить ее перед всеми?

— Не ее надо жалеть, а меня, — ответил Густен. — Потому как вотчимом моим будет этот прощельга, и покуда он там ошивается, мне дороги домой нет.

— Понимаешь, сынок, теперь уж дела ничем не поправить. Вот после поглядим, может, и удастся тебе помочь. А покуда снаряжай-ка завтра спозаранок свою лодку да отправляйся домой. На свадьбе тебе непременно надо быть.

— Ну нет, уж коли я что вбил себе в голову, то меня не уломаешь, — возразил Густен.

Пастор оставил эту тему и принялся за жареную сельдь.

— Выпить у тебя не найдется? — спросил о н. — А то старуха моя от меня все спиртное запирает.

Да, у Густена была с собой водка, пастор хлебнул основательно, язык у него развязался, и он принялся без умолку болтать о приходских делах. Они сидели на камнях перед избушкой и смотрели, как садится солнце и вечерние сумерки, словно розоватый туман, опускаются на шхеры и воду. Чайки отправились на ночлег к заросшей водорослями отмели, а вороны устремились в глубь островков, чтобы найти приют в лесной чаще.

Пора было укладываться спать, но сначала нужно было выгнать из дома комаров; для этого наглухо закрыли дверь и заполнили помещение клубами табачного дыма, затем дверь снова распахнули

и стали ветками выгонять комаров наружу. Наконец оба рыбака снимали куртки и залезли на нары.

— Ну-ка, дай мне последний глоточек на сон грядущий, — попросил пастор, который уже до этого основательно выпил, и Густен, подойдя к нарам, дал ему последнее помазание.

В избушке было темно, лишь сквозь щели между досками пробивались узкие полоски света, но и при этом скудном освещении проклятые комары ухитрялись находить дорогу к лежавшим на нарах, которые метались и ворочались, спасаясь от своих мучителей.

— Фу, дьявол! — простонал наконец пастор. — Ты спишь, Густен?

— Какое там спишь! Нет, спать нынче ночью, видно, не придется. Что будем делать?

— Надо встать и развести огонь, больше ничего не придумаешь. Вот ежели бы картишки раздобыть, можно было бы перекинуться в «дюжину». У тебя нет карт?

— У меня-то нет, но я вроде знаю, где рыбаки с Кварнё их прячут.

Густен спустился на земляной пол, подполз под нижнюю нару и вылез оттуда с потрепанной колодой. Пастор развел огонь в очаге, подбросил туда можжевельных веток и зажег огарок свечи. Густен поставил на очаг кофейник, вытащил ящик из-под салаки, и, положив его к себе на колени, они соорудили карточный стол. Потом закурили трубки, и игра началась. Карты так и мелькали в руках игроков, и время шло незаметно.

— А вот еще тройка... пасс... козырь... — то и дело слышались восклицания вперемешку с проклятиями, адресованными комарам, когда кто-нибудь из кровососов вдруг садился играющим на шею или палец.

— Слышь-ка, Густен, — внезапно заговорил пастор, мысли которого, судя по всему, были заняты отнюдь не комарами и картами. — А не мог бы ты дать ему щелчка по носу, не убегая со свадьбы? По-моему, это трусость — уступать дорогу этакому мерзавцу. Ну, а коль ты уж непременно хочешь досадить ему, то я знаю способ получить.

— Какой такой способ? — спросил Густен. Ему и самому жаль было упускать богатое угощение, взятое к тому же из отцовских кладовых.

— Воротись домой после венчания и скажи, что задержался в море. Одним этим ты нанесешь Карлсону оскорбление. Потом напоим его вдрызг, да так, что он и до брачной постели не доберется, а парней подговорим, чтобы его на смех подняли. Ну, каково?

Густену эта затея пришлась по душе. Перспектива одиноко провести три дня и три ночи в шхерах, отдав себя на съедение комарам, сделала его сговорчивым, к тому же ему и впрямь хотелось отведать всех этих лакомств, которые готовились у него на глазах. Поэтому набросанный пастором план был одобрен Густеном, и сам он решил принять участие в его осуществлении. Довольные

собой и друг другом, они наконец улеглись на нары, когда дневной свет уже стал сочиться сквозь дверные щели, и комары, уставшие от ночной пляски, убрались восвояси.

В тот же вечер Карлссон узнал от рыбаков, возвратившихся с лова салаки, что Густена с пастором видели у островка Норстен, и весьма разумно сделал вывод, что против него затевается какая-то дьявольская каверза. На пастора он уже давно имел зуб из-за шестимесячной отсрочки, а также из-за того, что старик постоянно выказывал свое неуважение к нему.

Уж как только Карлссон ни лебезил перед ним, как ни угождал, как ни гладил по шерстке, все без толку. Стоило им очутиться вместе в одной комнате, как пастор тут же поворачивался к нему спиной; он неизменно пропуская мимо ушей все, что бы Карлссон ни говорил, и всякий раз имел в запасе какую-нибудь историю, которую новоиспеченный жених мог принять на свой счет. И вот теперь, прослышав о том, что пастор виделся с Густеном в шхерах, он заподозрил, что встретились они там неспроста, и, вместо того чтобы покорно ждать последствий заговора, направленного, как он предчувствовал, против его особы, решил опередить врага и разработать встречный план действий. Случилось так, что боцман с побережья находился в это время на побывке дома, и его пригласили на свадьбу в Хемсё в качестве виночерпия и распорядителя пира, поскольку его умение организовывать танцы и прочие увеселения было широко известно и весьма высоко ценилось. Задумав сыграть с пастором злую шутку, Карлссон не без оснований предполагал, что в этом деле он может вполне рассчитывать на помощь боцмана Раппа, ибо пастор в свое время долго не допускал Раппа к святому причастию из-за его слабости к женскому полу, и годовая волокита самым пагубным образом сказалась на его флотской службе. И вот оба пастороненавистника за чашкой кофе и стопкой водки разработали план, как подложить пастору хорошую свинью. План этот заключался в том, чтобы напоить старика допьяна со всеми вытекающими отсюда последствиями, а каковы будут эти последствия, покажут время и обстоятельства.

Итак, мины были заложены с обеих сторон, и только случаю суждено было решить, которая из них сработает вернее.

И вот наступил день свадьбы. В это утро обитатели острова проснулись весьма не в духе, так и не отдохнув от предсвадебных хлопот, и когда чуть раньше срока явились первые гости, ибо, когда добираться морем, трудно соблюсти точность, никто не вышел их встречать. В смущении слонялись они по усадьбе, чувствуя себя незваными нахлебниками. Невеста была еще не одета, а жених в одной рубашке метался как угорелый, то перетирая стаканы, то расставляя бутылки, то втыкая свечи в подсвечники. Накануне дом вымыли и украсили березовыми ветками и всю мебель вынесли во двор, так что казалось, будто здесь предстоят торги. Над усадьбой на флагштоке развевался флаг с таможни,

позаимствованный для такого случая у таможенного надзирателя. Над входом в дом красовались венки из брусничника и нивяника, а по обе стороны дверей в землю воткнули березовые ветки. На подоконниках в ряд стояли бутылки с ярчайшими многокрасочными этикетками, из-за чего дом издали напоминал винную лавку. Карлссон любил сильные эффекты. Золотистый пунш солнечно искрился сквозь бутылочное стекло цвета зеленого мыла, темно-рубиновый коньяк пылал как раскаленные уголья, а серебристая фольга, которой были обернуты пробки, тускло отсвечивала, напоминая монетки.

Парни побойчее подобрались вплотную к окнам и стояли, разинув рты, словно перед витриной, чувствуя приятное щекотание в глотках.

Две громадные двадцативедерные бочки по обе стороны двери, точно тяжелые мортиры, охраняли вход в дом. В одной из них была водка, в другой — брага, а за ними, словно пирамиды из пушечных ядер, громоздились двести бутылок с пивом. Зрелище было внушительное и одновременно батальное, и боцман Рапп расхаживал с пробочником, болтающимся на ремне, точно интендант, ведающий боеприпасами. Он украсил бочки еловыми ветками, вставил в них металлические краны и теперь размахивал бочарным молотком, как пушечным банником, время от времени постукивая им по бочкам, словно для того, чтобы убедиться, что там действительно есть содержимое. Выряженный в парадную форму, в синей куртке с отложным воротником, в белых брюках и блестящей кожаной фуражке, однако на всякий случай без тесака, он внушал крестьянским парням огромное уважение, и весьма кстати, потому что, кроме обязанностей виночерпия, ему было еще поручено следить за порядком, предотвращать бесчинства, а при необходимости вышибать гостей и разнимать дерущихся. Парни из зажиточных семей делали вид, будто презирают его, а в действительности изнывали от зависти, ибо и сами с радостью шеголяли бы в такой форме и служили бы на флоте, если бы до смерти не боялись побоев линьком и придинок канонира.

В кухне на очаге стояли два котла с кофе, кофейные мельницы, собранные со всей округи, скрипели и скрежетали, сахарные головы раскальвали топором, булки к кофе штабелями складывали на подоконники. Девушки то и дело сновали к амбару, до отказа набитому вареной и жареной снедью и мешками со свежеспеченным хлебом. Невеста, непричесанная, с болтающимися косицами, в одной рубашке, с голыми руками, время от времени высовывалась из окна и громко отдавала распоряжения то Кларе, то Лоттен.

Парус за парусом показывались в бухте, и, сделав круг почета, лодки под ружейную пальбу приставали к пристани. Но гости все еще не решались войти в дом и толпились во дворе.

По счастливой случайности профессорше с детьми пришлось уехать в город на день рождения, и профессор оставался на острове один. Поэтому он благосклонно принял приглашение на свадьбу и даже предоставил большую залу в своем доме для церемонии

венчания, а на лужайке под дубами разрешил накрыть столы для кофе и ужина.

Теперь на покрытых скатертями столах уже стояли кофейные чашки, а скамьями служили длинные доски, положенные на бочки и козлы. Перед домом образовались небольшие группы; Рундквист, напомаженный тюленьим жиром, свежесбривший, облаченный в черную куртку, взялся забавлять гостей игривыми шутками, а Норман, которому было поручено ответственное задание вместе с Раппом произвести салют динамитными патронами, стоял в стороне и пока что упражнялся, стреляя из терцероля. Но зато ему пришлось расстаться со своей гармонью, которая сегодня оказалась под запретом, поскольку на свадьбу был приглашен лучший в округе скрипач, портной из Фифонга, а этот господин был весьма чувствителен к посягательствам на свой музыкальный авторитет.

И вот появился пастор, в игривом предсвадебном настроении, готовый побалагурить с молодыми, как того требовал обычай. Карлссон встретил его на пороге и пригласил в дом.

— Ну, что, может, заодно и крестины справим? — спросил пастор.

— Да нет, черт возьми, рановато еще, — без тени смущения ответил Карлссон.

— А ты уверен? — возразил пастор, и стоявшие вокруг крестьяне загоготали, — на одной свадьбе я одним махом и венчал, и крестил, но, правду сказать, народ там был шустрый, не тебе чета. Ну, а ежели без шуток, как у тебя с невестой насчет этого?

— Гм, пока вроде бы ничего такого нет, а там чем черт не шутит! — ответил Карлссон.

Затем он ввел пастора в дом, посадил его между женой церковного старосты и вдовой из Овассы, и тот сразу же стал развлекать соседок разговорами о рыбе и о погоде.

Появился профессор, во фраке, в белом галстуке и с цилиндром на голове. Пастор тут же ухватился за него как за равного себе и завел с ним беседу. Женщины стали слушать разинув рты и округлив глаза, так как были уверены, что профессор — человек шибко ученый.

— Ну как, господин профессор, — начал пастор. — Выучились вы уже говорить по-нашему?

— Хаварю-то я карашо, а вот писю худо, — ответил профессор. Женщины переглянулись, и глаза у них стали круглыми, как плошки.

— Ой-ой-ой! — удивился пастор. — С чего бы это? Может, вам тут житье не впрок?

— Шитье? Нет, мой шена очень карашо шьет.

— Упаси бог, ничего худого не хочу сказать про профессоршу, хоть и не имею чести ее знать...

— Майн готт, я только сказал, что писю худо!..

— Понимаю, понимаю! Может, вы малость не так выразились, хотя слово-то исконно шведское...

— Боше мой, пастир, я фoфсе не хoтeль скaсaть, штo я писую... я хoтeль скaсaть, чтo писю не кaрaшo!

— Ах, вон чтo! Пишeтe худo? Дa, дa! Пoнимaю! Гм... Нaучиться грaмoтнo пишaть нe тaк-тo лeгкo...

Бeсeдa былa прeрвaнa Кaрлссoнoм, кoтoрый пoдoшeл к пaстoру и oбъявил, чтo вce гoтoвo к вeнчaнию. Oстaeтcя тoлькo рaзъискaть Густeнa, и мoжнo нaчинaть.

— Гдe Густeн? — рaздaлись крикi вo двoрe, эхoм прoкaтившиcь дo сaмoгo сeнoвaлa.

— Я-тo дoгaдывaюcь, гдe oн! — oбъявил Кaрлссoн.

— Ну, и кудa жe этo oн зaпрoпaстилcя? — c явнoй издeвкoй cпрocил пaстoр.

— Сoрoкa вeсть нa хвoстe принeслa, будтo eгo видaли нa oстрoвe Нoрстeн, и был тaм c ним кaкoй-тo пoдлoгa. Oн-тo, пoди, и нaпoил eгo дoпьянa.

— Ну, кoль oн в худoую кoмпaнию пoпaл, тo нe слeд eгo и дoжидaтьcя, — зaмeтил пaстoр. — И чeгo eму дoмa нe сидeлoсь? Тут у нeгo вceгдa пeрeд глaзaми лyди пoчтeнныe, и былo бы c кoгo примeр брaть. Ну, a нeвeстa чтo скaжeт? Бyдeм нaчинaть или пoждeм нeмнoжкo?

Тут пoдaлa гoлoс нeвeстa. Oнa oчeнь oгoрчeнa, нo вce-тaки прocит нaчинaть, нe тo кoфe coвceм прoстынeт. И вoт стaли гoтoвитьcя к цeрeмoнии: нa пpигoркe зaгрoмьхaл салют, мyзикaнт нaкaнифoлил смьчoк и пoдкpyтил стpyны нa скpиккe, пoдpyжки нeвeсты встaли в aвaнгaрдe шeствия, и oблaчeнный в рясy пaстoр пpигoтoвилcя вeсти нeвeстy, нa кoтoрoй былo чeрнoe шeлкoвoe плaтьe, бeлaя фaтa и флeрдoрaнж. Oнa зaтянyлaсь тyгo, кaк тoлькo мoглa, нo имeннo тo, чтo eй хoтeлoсь скpыть, выдeлялoсь eщe бoльшe. И пpoцeссия двинyлaсь к пpoфeссoрcкoй дaчe пoд зaлпы салютa и пиликaньe скpикки.

Нeвeстa вce eщe бeспoкoйнo oзирaлaсь в нaдeждe увидeть зaпрoпaстившeгo сынa, и, кoгдa вxoдили в двeрь, пaстoрy пpишлoсь eдвa ли нe силкoм тaщить ee, a oнa чyть гoлoвy нe свeрнyлa, oглядывaясь нaзaд. Нo вoт вce вoшли в зaлy. Гoсти вьстpoились вдoль стeн, тoчнo oбpaзyя чaстoкoл вoкpyг сyдилицa, a жeнix и нeвeстa зaняли мeстa пeрeд двyмя oпpoкинyтыми стyльями, пoкpытыми бpyссeльcким кoвpикoм. Пaстoр вынyл мoлитвeнник, oткaшлялся, нo тyт нeвeстa пoлoжилa рyкy нa eгo рyкaв и пoпpocилa чyтoчку пoврeмeнить, пoждeтaть eщe минyтoчку, a вoсь Густeн вce-тaки явитcя.

В зaлe вoцaрилaсь мeртвaя тишинa, слышны были лишь скpип сапoг дa шyршaниe нaкpaxмaлeнных юбoк, нo чeрeз нeкoтoрoe вpeмя и эти звyки зaмeрли: гoсти пeрeглянyлись в смyщeнии, пoкaшляли, и снoвa вce смoлклo. Нaкoнeц пaстoр, чyствyя нa сeбe взыры вceх пpисyтствyющих, oбъявил:

— Ну, пpистyпим! Мoчи нeт бoльшe ждaть. Рaз oн дo сих пoр нe пpишeл, тo, знaчит, вoвce нe явитcя.

И oн нaчaл читaть:

— Дoрoгие хpистиянe, сaм бoг yстaнoвил тaинствo брaкa...

Спустя некоторое время женщины постарше стали всхлипать и нюхать флакончики с лавандой.

Вдруг со двора донеслось громкое «бах! бах!», а затем раздался звон разбитого стекла. Все прислушались, но не стали отвлекаться. Лишь Карлссон спокойно заерзал и попытался украдкой посмотреть в окно. Затем снова раздалось: «бах! бах! бах!», словно вылетали пробки из бутылок с шампанским, и парни, стоявшие у двери, захихикали. Потом все успокоилось, и пастор обратился к жениху с вопросом:

— Перед богом всемогущим и всевидящим, в присутствии собравшихся здесь я спрашиваю тебя, Юханнес Эдвард Карлссон, согласен ли ты взять в жены Анну Эву Флуд и любить ее в радости и в горе?

Но вместо ответа со двора донеслось хлопанье пробок, звон разбитого стекла и отчаянный собачий лай.

— Кто там колотит бутылки и нарушает святость венчания? — в ярости рявкнул пастор Нурдстрём.

— Вот и я хотел то же самое спросить! — выкрикнул Карлссон, не в силах больше сдерживать любопытство и тревогу. — Это Рапп, что ли, там колобродит?

— Что я такого сделал? — взорвался оскорбленный Рапп, который тихо-мирно стоял у двери.

Бах! бах! бах! — не переставая, бухало во дворе.

— Да пойдите вы, ради Христа, и взгляните, не случилось ли какой беды! — закричал пастор. — А после продолжим.

Кое-кто из гостей ринулся во двор, остальные столпились у окон.

— Это пиво! — закричал кто-то.

— Пифо, пифо упешало! — повторил профессор.

— И кто это додумался оставить бутылки с пивом на солнцепеке?

Лежавшие грудой пивные бутылки лопались с пулеметным треском, и пена ручьями растекалась по земле. Невеста была встревожена неожиданной помехой в церемонии, видя в этом дурной знак, а жениха осыпали насмешками из-за его бестолковых распоряжений, и он чуть не сцепился с боцманом, на которого хотел свалить вину за случившееся. Пастор злился, что венчание пришлось прервать из-за каких-то дурацких бутылок. А во дворе парни допивали остатки пива, иной раз во время спасательных работ по ошибке опустошая уцелевшие бутылки, из которых только выскочили пробки. Наконец кутерьма улеглась, все снова собрались в зале, и после того, как пастор повторил свой вопрос жениху, церемония больше ничем не нарушалась, если не считать приглушенного хохота парней, толпившихся в сенях.

Новобрачных осыпали поздравлениями, а затем все поспешили выбраться на вольный воздух из залы, пропитанной запахами пота, влажных чулок, лаванды и увядших цветов. Все бодро двинулись к накрытым для кофе столам.

Карлссон занял место между профессором и пастором, но невесте подолгу сидеть не удавалось; она то и дело вскакивала, чтобы распорядиться по хозяйству.

Закатное июльское солнце светило ярко, на лужайке под дубами стоял гомон и гул. Водку усердно подливали в чашки с кофе, и процедура эта повторялась не однажды, но на том конце стола, где сидел жених, гостей потчевали пуншем, который пришелся по вкусу и старым и молодым. Такой напиток не всякий день пробуешь, и пастор то и дело наполнял свою чашку.

Нынче он, как никогда, был расположен к Карлссону и без конца пил за его здоровье, превозносил его на все лады, оказывал ему всяческое внимание, но не забывал и профессора, общество которого доставляло ему больше удовольствия, потому что здесь, в шхерах, редко можно встретить образованного человека. Однако разговор никак не налаживался, поскольку в музыке пастор был абсолютный профан, и профессор из любезности пытался говорить с ним о церковных делах, чего Нурдстрём вовсе не хотел. Понимали они друг друга с трудом, и это также не способствовало взаимному сближению, а кроме того, профессор, привыкший больше музицировать, чем говорить, не был мастером поддерживать беседу.

— И много у вас прихожан в церква? — спрашивал он, желая заинтересовать пастора.

— Да нет, не так чтобы много. Только к причастию побольше народу собирается. А вас, господин профессор, мы когда-нибудь увидим у причаствия?

— Нет, я не быфаю никогда. Не могу!

— Не можете? Это почему же?

— Плевал я на отпущение грехов! — сказал профессор и, зло усмехнулся.

Даже пастору Нурдстрёму, человеку, отнюдь не избалованному, этот ответ показался чересчур грубым, особенно в устах столь благородного господина. Он отвернулся от профессора и принялся за жениха.

— Так ты, стало быть, ходил в проповедниках, Карлссон? — спросил он. — Ну, и что же ты такое проповедовал?

— Да то же, что и вы, господин пастор! Слово божие, — усмыляясь, ответил Карлссон.

— Вот как! Слыхали, ребята? — обернулся пастор к гостям. — Видали вы когда-нибудь проповедника, который учит мужиков детишек делать?

— Ха-ха-ха-ха! — схватились за животы мужики и парни, а женщины стыдливо отвернулись и захихикали.

— Ишь стервец! Вздумал учить нас прелюбодейству!

— Да быть того не может! — воскликнул Рундквист с блудливой ухмылкой. — Молотить не умеет, а на гумно полез!

В это время музыкант, не в силах больше оставаться в тени, подошел к той части стола, которая была предназначена для почетных гостей; хлебнув для храбрости водки, он решил побеседовать с профессором о музыке.

— Прошу прощения, господин камер-музикус, — начал он, пощипывая струны своей скрипки. — У нас вроде есть кое-что общее, я ведь тоже играю, как любитель, конечно.

— Катись к дьяволу, портняжка, и не нахальничай, — отбрил его Карлссон.

— Да, конечно, прошу прощения! Не твое собачье дело, Карлссон. Попробуйте мою скрипку, господин камер-музикус, попробуйте и скажите, хорошая ли она. Я купил ее у Хишена и отвалил за нее десять риксдалеров ассигнациями.

Профессор щипнул за квинту, улыбнулся и любезно сказал:

— Карашо!

— Вот что значит беседовать с понимающим человеком! Только от него и услышишь слово правды. А говорить об искусстве с этим... — он хотел перейти на шепот, но голос не повиновался ему, и он громко выкрикнул: — ...с этим мужицким сбродом!..

— Дать портняжке пинка под зад! — завопили все хором.

— Эй ты, портняжка, гляди не налижись раньше срока, а то как же мы плясать будем!

— Рапп, присмотри за музыкантом, чтоб он не пил больше!

— Выходит, мне уж и выпить на свадьбе нельзя? Жалко тебе водки, сквалыга чертов?

— Сядь, Фредрик, и успокойся, — сказал п а с т о р . — Не то получишь по шее.

Но музыканту во что бы то ни стало приспичило поговорить об искусстве, и, чтобы продемонстрировать достоинства своей скрипки, он принялся наигрывать на струнах пиччикатто.

— Послушайте, господин камер-музикус; вы послушайте только, какие басы! Звучат как маленький орган!..

— Заткните глотку портняжке!

У стола началось движение и усилился гомон. Но тут кто-то крикнул:

— Густен пришел!

— Где, где он?

Клара сообщила, что видела его на дровяном дворе.

— Дай мне знать, когда он придет сюда, — попросил пастор.

Принесли стаканы для пунша, а Рапп стал откупоривать бутылки с коньяком.

— Уж больно много выпивки, — слабо запротестовал пастор, но Карлссон возразил, что выпивки ровно столько, сколько надо.

Рапп незаметно обходил гостей, подзуживая всех выпить с пастором, который вскоре осушил первый стакан и налил себе второй.

Пастор начинает вращать глазами и двигать челюстями. Он пристально разглядывает Карлссона и все допытывается у него, получил ли он плату. Но лицо Карлссона расплывается, пастор умолкает и лишь беспрестанно чокается со своим собеседником.

В это время появляется Клара и восклицает:

— Он уже тут, господин пастор! Он тут!

— Как, черт возьми? Он уже тут, говоришь?

Пастор совершенно забыл, о ком речь.

— Кто, кто тут, Клара? — подхватил хор голосов.

— Да Густен, кто же еще!

Пастор встал и проводил Густена до стола. Тот казался смущенным и слегка оробевшим. Пастор подал ему стакан пунша, и все закричали ура. После этого Густен чокнулся с Карлссоном и отрывисто буркнул:

— Поздравляю!

Карлссон расчувствовался, осушил свой стакан до дна и заявил, что очень рад видеть Густена, хоть тот и явился позднею; есть на свете два человека, сказал он, чьи сердца всегда радуются при виде Густена, хоть он теперь и опоздал малость.

— И верь м н е , — заключил о н . — Тот, кто сумеет уважить старого Карлссона, всегда может на него положиться.

Густен отнюдь не пришел в восторг от этих слов, но тем не менее предложил Карлссону выпить с ним еще стаканчик пунша.

Сгустились сумерки, комары плясали в воздухе, как люди, а люди гудели, как комары, тренькали стаканы, звенел смех, а из кустов уже стали доноситься легкие вскрики вперемежку с хихиканьем. В теплом вечернем воздухе слышались возгласы, ауканье, ружейные выстрелы, хохот, а на лугу стрекотали сверчки и скрипел коростель.

Начали убирать со стола, так как пора было подавать ужин. Рапп стал развешивать на ветках дубов разноцветные фонарики, которые он раздобыл у профессора, Норман таскал из кухни тарелки, Рундквист, стоя на коленях, цедил из бочек водку и брагу, а девушки несли к столу огромные круги масла, груды салаки на разделочных досках, горы котлет и картофельных блинов. Когда все было готово, жених захлопал в ладоши.

— Милости просим к столу закусить! — пригласил он.

— А где же пастор? Без пастора никто не начнет, — засмутились женщины.

— А профессор? Куда он подевался? Без них начинать не годится!

Стали искать, звать, но оба словно в воду канули. Гости толпились у столов, как оголодавшие псы, с жадно горящими глазами, готовые наброситься на еду, но ни одна рука не осмелилась протянуться к угощению, и воцарилось тягостное молчание.

— А может, пастор в сортире? — с самым невинным видом предложил Рундквист.

Карлссон воспринял его слова как призыв к действию и направился к тайному убежищу, а там и в самом деле сидели с открытой дверью пастор и профессор, поглощенные оживленной беседой, каждый с газетой в руках. Стоявший на земле фонарь высвечивал их снизу, как на сцене, оба торжественно восседали на троне, и Карлссон, преисполнившись почтения к священному ритуалу, долго не решался нарушать их уединение.

— Нет, н е т . . . — бормотал п а с т о р . — Раз в неделю... Слышишь ли, брат м о й . . . — Ему казалось, что они выпили на брудершафт. — Раз в неделю — это мой режим. Не чаще и не реже...

— Да, да, это карашо... а вот я...

— Раз в неделю, и баста, говорю я. Раз в неделю, и точка, как советует Гуфеланд... Это мой режим. Слышишь ли, брат мой?

Беседа грозила затянуться надолго, и Карлссону пришлось вмешаться:

— Прошу прощения, господа, ужин стынет!

— А, это ты, Карлссон! Да, да... Вы начинайте, мы сейчас придем!..

— Но без вас никто не хочет начинать, все вас дожидаются... При всем почтении, господа, не можете ли вы малость поторопиться?

— Идем, идем, сейчас! А ты ступай!

Карлссон, который с удовлетворением отметил про себя, что пастор уже почти «готов», вернулся к гостям и поспешил успокоить их сообщением, что святой отец скоро будет здесь.

Спустя несколько минут на пригорке показался раскачивающийся фонарь, а рядом с ним — две тени, которые, шатаясь, приближались к накрытым столам.

Вскоре бледная физиономия пастора появилась за столом на месте для почетных гостей, и невеста подошла к нему с хлебной корзинкой, чтобы предложить пастору хлеба и положить конец мучительному ожиданию. Но у Карлссона на уме было иное, и, постучав ножом по блюду с котлетами, он громко возгласил:

— Тихо, тихо, люди добрые! Пастор хочет сказать несколько слов!

Пастор воззрился на Карлссона, словно не понимая, где он находится, увидел у себя в руке светящийся предмет, вспомнил, что на прошлое рождество произносил речь с серебряным кубком в руках, и, подняв фонарь, как заздравную чашу, начал свою речь:

— Друзья мои, сегодня у нас большой праздник.

Он посмотрел на Карлссона, силясь уяснить себе цель и характер празднества, поскольку он уже мало что соображал, и из его сознания начисто испарилось представление о времени, месте и причине сборища. Однако ухмыляющаяся физиономия Карлссона не давала никакого ключа к разгадке. Пастор огляделся вокруг, стремясь отыскать хоть какую-нибудь путеводную нить, увидел разноцветные фонарики на дубе, в мозгу у него смутно замаячил образ гигантской разукрашенной рождественской ели, и он решил, что теперь на правильном пути.

— Этот радостный светлый праздник, когда солнце отступает перед стужей, а снег... — И он бросил взгляд на белую скатерть, огромным снежным полем стелющуюся по бесконечно длинному столу. — Друзья мои, первый снег, словно покрывало, ложится на осеннюю грязь... Нет, вы, кажется, шутки шутите со мной!.. Бр-р!..

Он отвернулся и окончательно сник.

— Пастор продрог! — объявил Карлссон. — Он хочет спать! А вы начинайте, гости дорогие!

Гости не заставили просить себя дважды и набросились на еду, предоставив пастора его собственной судьбе.

Для ночлега пастору отвели мансарду в профессорском доме, и, чтобы показать, что он совершенно трезв, пастор пригрозил, что прибьет всякого, кто сунется к нему со своей помощью. С фонарем, болтавшимся где-то у колен, согнувшись в три погибели, точно ища иголки в росистой траве, он взял курс на освещенное окно. У входа в калитку он застрял, налетев на столб, а фонарь при этом разбился и погас. Тьма сомкнулась вокруг него, словно он очутился в мешке. Он бухнулся на колени, но освещенное окно светило ему, как путеводный маяк, и он двинулся вперед, с омерзением чувствуя, как брюки на коленях с каждым шагом все больше намокают, а коленные чашечки больно стучаются об острые камни.

Наконец он попадает во что-то большое, круглое и мокрое, щупает вокруг себя руками, накаляется на что-то острое, вроде булавок, попадает пальцами во что-то вроде уключины, слышит плеск воды и чувствует, что весь вымок. Испугавшись, что он упал в море, пастор с трудом поднимается, опираясь о какую-то мачту, потом обнаруживает, что стоит у освещенного дверного проема, переползает через порог, ощущает под коленями ступеньки лестницы и слышит женский крик:

— Господи, да он совсем упился!

Подгоняемый нечистой совестью, он быстро карабкается вверх по лестнице, натывается пальцами на ключ, толкает какую-то дверь, а когда она распахивается, вваливается в комнату и видит перед собой широкую застланную двуспальную кровать. У него еще хватает сил сбросить одеяло, и он лезет на кровать как есть, в сапогах и одежде, чтобы спрятаться, спастись от криков, несущихся снизу ему вдогонку. Он решил, что он умер, угас, как свеча, утонул, а люди кричат: «Упился!» Время от времени он оживал, загорался, возвращался к действительности, всплывал со дна моря и живехонький стоял перед рождественским столом, сидел бок о бок с профессором, рассуждая о том, что искусство Гуфеланда будет жить в веках, а затем снова гас, как свеча, умирал, погружался на дно моря, вымокнув с ног до головы.

Между тем ужин под дубами шел своим чередом; еду столь усердно запивали водкой и брагой, что вскоре все и думать забыли про пастора, а затем, дочиста опустошив тарелки и блюда, гости отправились в избу танцевать.

Невеста хотела послать пастору в мансарду что-нибудь вкусненькое, но Карлссон отговорил ее, сказав, что пастор нуждается в покое и не следует его сейчас тревожить.

Густен откололся от своего союзника сразу же, как только увидел, что того перехитрили, и весь отдался удовольствиям, предав забвению обиды и потопив злобу в вине.

Танцоры старательно молотили ногами, а музыкант наяривал на скрипке; потные, разгоряченные парни высовывались из открытых окон, чтобы освежиться ночной прохладой, а гости постарше

развлекались ружейной пальбой, курили, пили и перебрасывались шутками в полумраке двора, слабо озаряемого отблесками горящего в кухне очага и светом из окон избы, где танцевала молодежь.

А в лугах и на холмах под бледным сиянием звезд, по росистой траве разгуливали парочки; аромат сена и пение сверчков успокаивали и остужали тело, разгоряченное теплом избы, крепким вином и огненным ритмом музыки.

Полуночные часы убегали прочь, небо на востоке начало светлеть, звезды спрятались за облаками, а ручка от ковша Большой Медведицы встала торчком, как оглобля опрокинутой телеги. В тростнике слышалось кряканье уток, а на зеркальной глади бухты, между темными длинными тенями ольховых деревьев, которые казались стоящими в воде вниз кронами, уже отражались розовато-лимонные блики утренней зари. Но все это длилось лишь мгновение; с берега надвинулась туча, и снова наступила ночь.

Вдруг из кухни донеслись возгласы: «Глинтвейн! Глинтвейн!» Под звуки марша, который наярывал музыкант, во двор гуськом вышли мужчины, неся кастрюлю с пылающей водкой, и от нее во все стороны растекалось синеватое сияние.

— Первый стакан пастору! — закричал Карлссон, который все же хотел довести дело до победного конца. — Пошли наверх!

Его предложение было встречено восторженными криками, и процессия двинулась к профессорскому дому, а затем уже менее уверенным шагом мужчины стали подниматься по лестнице. В двери мансарды торчал ключ, и гости прошли туда не без страха, так как опасались, что их встретят кулаками и вытолкают взащей. Там, однако, было тихо, и при свете синего колеблющегося пламени от кастрюли можно было увидеть, что кровать стоит пустая и нетронутая. Недоброе предчувствие какого-то ужасного ответного удара охватило Карлссона, но он ничем не выдал своих опасений и попытался разрешить все недоуменные вопросы тут же сочиненным объяснением. Он сказал, что припоминает, будто пастор решил заночевать на сеновале, а не то, мол, в комнате его комары заедят. А раз на сеновал идти с огнем было нельзя, то намерение угостить пастора глинтвейном отпало само собой. Процессия вернулась обратно во двор, где состоялось жертвоприношение.

Поспешно передав хозяйские полномочия Густену, Карлссон отвел в сторону Раппа и поведал ему о своих недобрых предчувствиях. Оба заговорщика незаметно пробрались к лестнице, ведущей в спальню для новобрачных, и стали подниматься наверх, освещая себе путь лучинами и огарком свечи.

Когда они отворили дверь, в нос им так шибануло вонью, что они, как позднее признавались, едва устояли на ногах.

Рапп поднял повыше свечу, и Карлссон, бросив взгляд на постель для новобрачных, увидел, что действительность превзошла самые мрачные его ожидания.

На белоснежной наволочке с мережкой покоилась лохматая, как у взмокшего пса, голова, рот был широко раскрыт, и из него текли слюни.

— Вот bestия! — заскрежетал зубами Карлссон. — Кто мог подумать, что этот мерзавец окажется такой свиньей! Боже милостивый!

Рапп приподнял покрывало и зажал пальцами нос.

— О, Иисусе! Гляди! Гляди! Фу!..

Карлссон стал озиаться вокруг в поисках палки, но в комнате ее не нашлось.

— Вот подлая рожа! Боже праведный! Да еще с сапогами влез, скотина!

Надо было срочно принимать меры. Как бы это вытащить пьяного из комнаты и притом до него не дотрагиваться, как сделать, чтобы гости ни о чем не догадались, а главное, чтобы невеста не заметила?

— Придется его через окно вытащить! — предложил Рапп.

— Да я, черт побери, за него и клещами не возьмусь, — заверил Карлссон. — Мы спустим его на тали и потащим прямо к воде. Гаси свечу и пошли в сарай!

Заперев снаружи дверь и вынув из нее ключ, оба мстителя окольными путями двинулись к сараю. Карлссон ругал этого пьяницу на чем свет стоит и клялся отдубасить его, как только они вытащат его наружу.

К счастью, подъемный крюк еще оставался в сарае после убоя коровы, Карлссон и Рапп сняли жерди, захватили блок и веревки и, снова пробираясь задами, вернулись к той стороне избы, куда выходило окно брачного покоя. Рапп взял лестницу и прикрепил шести планкой к коньку крыши. Затем он сплеснул строп, закрепил блок и пропустил тали. После этого он влез через окно в мансарду, а Карлссон с багром в руке остался внизу наготове. Некоторое время Рапп усердно трудился в комнате, пытая и отдуваясь, затем голова его высунулась в окно, и он тихо командовал Карлссону:

— Тяни!

Карлссон стал тянуть, и вскоре в окне показалось темное тело.

— Сильнее тяни! — командовал Рапп, и Карлссон поднажал.

Теперь на веревке болталось обмякшее тело пастора, неестественно вытянутое, как труп повешенного.

— Тяни! — повторял Рапп, но в это время послышался булькающий звук, словно накренился кувшин с брагой, а затем что-то полилось на плечи и голову Карлссона.

— Иисусе, да он блюет, он блюет! — закричал жених, чувствуя, что его праздничный черный сюртук вконец испоганен, а кудри, которые Рундквист завил щипцами, слиплись на голове колтуном.

— Спускай! Спускай! — кричал Рапп. — Давай! Не останавливайся!

Но Карлссон уже спустил пастора, и тот кучей лежал в крапиве, не издавая ни единого звука.

Мигом выпрыгнув из окна на землю, боцман убрал лестницу, и пастора поволокли к пристани.

Подтащив старика к воде, Карлссон воскликнул:

— Ну, сатана, теперь ты у нас скупнешься!

У берега было мелко, но очень грязно, так как сюда годами выбрасывались рыбы внутренности. Рапп, взявшись за конец веревки, которой был обвязан спящий, толкнул пастора в воду.

Тут пастор проснулся и заверещал, как резаный поросенок.

— Вытаскивай его! — скомандовал Рапп, заметив, что гости стали прислушиваться и уже сбегаются сюда.

Но Карлссон, опустившись на корточки, принялся возить пастора по грязи, втирать ее в черное одеяние, чтобы под грязью скрыть все следы приключившегося в брачном покое конфуза.

— Что такое? Что тут стряслось? — кричали подбегавшие мужики.

— Эгей! — громким голосом отвечал им Рапп. — Сюда, скорее! Пастор свалился в воду! — И тянул на веревке верещавшего пастора.

Все столпились на берегу. Карлссон играл роль благородного спасителя и милосердного самаритянина, причитал, божился, и все это на вермландском диалекте, к которому прибегал всякий раз, когда хотел казаться искренним и сердобольным.

— Подумайте только, иду я случайно мимо и слышу, кто-то вроде как плещется и шебаршится в воде. Я было думал, тюлень, а тут гляжу — да ведь это наш голубчик пастор! Господи спаси, говорю я боцману, да никак это пастор Нурдстрём барахтается! Беги за веревкой, говорю я Раппу. Ну, Рапп и побежал за веревкой. А когда мы стали обвязывать его толстое брюхо, он заверещал, точно его оскопить хотят. Вы гляньте только, на что он похож!

— И то! Словно его по всем дорогам по грязи волокли!

Пастор и впрямь выглядел неопишимо мерзко, прихожане взирали на своего духовного пастыря с отвращением, к которому тем не менее примешивалось неискоренимое почтение, и хотели унести его как можно скорее. Для этой цели из двух пар весел соорудили носилки, положили на них пастора, восемь дюжих плеч взяли носилки на себя, и шествие направилось к сеновалу, чтобы там переодеть страдальца.

Музыкант, пьяный в стельку, вообразив, что разыгрывается какое-то театральное действо, присоединился к шествию и заиграл: «Прочь, прочь, дорогу носилкам старого Смиттена!» Парни вылезли из-за кустов и тоже потянулись следом, профессор, решив тряхнуть стариной, встал во главе процессии и запел, а Норман, который так и не смог унять свой музыкальный зуд, вытащил на свет божий гармонику.

— Фи, какой вонь! — заметил профессор, подойдя слишком близко к носилкам, а сами носильщики стали зажимать носы.

В это время тело на носилках зашевелилось, и на их головы что-то полилось с высоты.

— Он плюет, он плюет! — закричал профессор.

— Осторожнее, он блюет! — предостерег Карлссон, но было поздно.

Во дворе усадьбы к ним сбежались женщины и, увидев пастора в столь плачевном состоянии, преисполнились сочувствия и жалости. Мадам Флуд побежала за одеялом и накрыла беднягу, невзирая на предостережения Карлссона. Затем поставили греть воду, а у профессора одолжили постельное и нательное белье. На сеновале они уложили на сухое сено больного, как его называли, потому что никто не дерзнул во всеуслышанье объявить пастора пьяным. Явился Рундквист и хотел отворить пастору кровь, но его прогнали прочь. Тогда он попросил, чтоб ему позволили хотя бы прочесть над больным заклинанья, какие он обычно читал над захворавшими овцами. Но его и близко к пастору не подпустили, как, впрочем, и всех остальных мужиков.

Между тем Карлссон потихоньку поднялся в брачный покой, на этот раз в одиночестве, чтобы уничтожить следы своего посрамления. Когда он вошел и увидел всю мерзость опоганенной брачной постели, его на минуту охватила слабость. Сказалась маета последних дней и ночей, и он подумал, что с Идой все было бы иначе, если бы дело у них сладилось. Он подошел к окну и уставился на бухту неподвижным, мрачным взглядом. Тучи рассеялись, и теперь туман белой пеленой стелился над водной гладью. Взошло солнце и, проникнув в покой новобрачных, осветило бледное лицо и сухие глаза, смежившиеся точно для того, чтобы не выпустить наружу набегавшие слезы. Волосы мокрыми прядями свисали на лоб, белый галстук был в черных пятнах, испачканный блевотиной сюртук висел, как тряпка. От солнечного тепла Карлссона будто забило в лихорадке, и, проведя рукой по лицу, он повернулся и снова окинул взглядом опоганенную постель.

— До чего все это мерзко! — сказал он себе и, одолев слабость, принялся сбрасывать с кровати испачканное белье.

Глава шестая

ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — ИНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИХОДИТ В УПАДОК, А ГОРНОЕ ДЕЛО ПРОЦВЕТАЕТ

Карлссон был не из тех, кто поддается неприятным впечатлениям. Ему все было как с гуся вода. Владельцем усадьбы он стал благодаря своим способностям и опыту, и то, что мадам Флуд взяла его в мужья, было, по его мнению, для нее такой же удачей, как и для него. Когда свадебный угар рассеялся, хозяйственный пыл Карлссона быстро пошел на убыль, ведь теперь он обеспечил за собой право наследования, ибо через пару месяцев ждали рождение ребенка. От мысли стать важным господином ему пришлось отказаться, так как он понял, что это дело у него не выгорит, но взамен он решил стать сельским богатеем, завел добротную шерстя-

ную куртку, широкий кожаный фартук и морские сапоги. Теперь он почти все время проводил на своем излюбленном месте за секретером, однако уже не писал и не считал так много, как прежде, а все больше почитывал газетки. Попыхивая трубкой, он надзирал за работой других, сам же заметно охладел к сельскому хозяйству.

— Сельским хозяйством заниматься ныне расчету нет, — заявил он. — Покупать зерно и то дешевле встанет.

— А раньше-то ты иное говорил, — замечал Густен, который хоть и мотал на ус все, что Карлссон говорил, в отношениях с ним ограничивался угрюмой покорностью и по-прежнему не желал признавать в этом узурпаторе отца.

— Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, — отвечал Карлссон. — Слава богу, что я нынче умнее, чем вчера.

Он стал посещать церковь по воскресеньям, заинтересовался делами прихода, и его выбрали в коммунальные деятели. Благодаря этому он близко сошелся с пастором и дожил до великого дня, когда они перешли на «ты». Сбылась его самая дерзкая мечта, и он целый год без усталости рассказывал домочадцам о том, что он сказал пастору и что пастор ему ответил.

— Слышь-ка, Нурдстрём, голубчик, говорю я ему, уж это дело ты позволь мне решать. А Нурдстрём мне и отвечает: ты, говорит, Карлссон, спору нет, парень башковитый и разумный, а все же ты зря упираешься...

У него появилось множество новых обязанностей, из которых больше всего ему пришлось по душе противопожарный надзор. Он разъезжал по округе за счет прихода, и в каждой усадьбе его угощали кофейком с водкой. Даже выборы в риксдаг, происходившие далеко на материке, сказывались на жизни в шхерах и оказывали на нее свое влияние. В период выборов и еще два-три раза в год барон и другие господа приезжали на пароходе поохотиться. За несколько дней охотничья поштина исчислялась пятьюдесятью кронами, пуш и коньяк с утра до ночи лились рекой, и расставались с охотниками в твердом убеждении, что это настоящие господа.

Таким образом, Карлссон быстро пошел в гору и стал поистине светочем острова. Его авторитет в усадьбе был непререкаем, так как считалось, что только он разбирается в тех вещах, в которых остальные ничего не смыслят. Впрочем, и у него оставалось уязвимое место, и он это иной раз чувствовал: он был с материка и в морских делах ничего не смыслил.

Чтобы ликвидировать отставание по этой части, он стал больше вникать в моряцкие премудрости и воспылал любовью к морю. Привел в порядок ружье и часто отправлялся на охоту, помогал ставить и выбирать сети и даже отваживался на дальние поездки под парусом.

— Сельское хозяйство нынче не в чести, надо заниматься рыбной ловлей, — отвечал он жене, которая с беспокойством отмечала его небрежение к полям и скотине.

— Рыбная ловля — это первое дело! Море для рыбака, а поле для земледельца, — вещал он весьма складно, поскольку научился

от школьного учителя, выступавшего в церковном совете, излагать свои мысли «паламентарно».

А когда не хватало доходов, он предлагал продавать лес:

— Лес надо прореживать, чтоб рос лучше. Так, по крайности, пишут в «Рациональном хозяине». Я-то сам в этом деле мало разбираюсь.

Ну, а уж если сам Карлссон в этом не разбирался, то другие и подавно!

Сельское хозяйство он препоручил Рундквисту, а скотину — Кларе. Рундквист развел на поле целые плантации сорняков, спал в канавах от завтрака до обеда, а в кустах — от обеда до ужина и читал заклинания над коровами, когда те не доились.

Густен пропадал в море чаще, чем прежде, и восстановил свой охотничий альянс с Норманом. Заинтересованность, которая прежде подгоняла всех, теперь отпала, цель, заставлявшая надрываться ради чужого достатка, больше не подстегивала, и теперь все пошло через пень-колоду.

Между тем ближе к осени, спустя пару месяцев после свадьбы, произошло событие, которое как буря обрушилось на судно Карлссона, несшееся на всех парусах. Жена его раньше срока родилась мертвым ребенком, роды, вдобавок, были тяжелые, и доктор решительно объявил, что теперь все, конец: детей у нее больше не будет.

Для Карлссона это обстоятельство было роковым, так как его ожидала лишь одна перспектива: он сможет жить и кормиться в усадьбе, но хозяином после смерти жены ему не быть! К тому же она после разрешения от бремени начала часто прихварывать, и судьба его могла перемениться куда раньше, чем можно было предполагать. Значит, надо было воспользоваться оставшимся временем, позаботиться о завтрашнем дне, собрать в кубышку — словом, так или иначе поладить с неподатливой маммоной.

И Карлссон снова почувствовал прилив энергии. Спешно возрождалось заброшенное земледелие; почему — это никого не касалось. Стали валить лес на постройку новой избы; зачем — в этом никто не обязан был давать отчета. Охотничий пыл Нормана вновь постарались остудить и отторгли его от Густена, а Рундквиста впрягли в работу, вдохнув в него силы дополнительными подачками. Пахали, сеяли, ловили рыбу, валили лес, а коммунальные дела отошли на второй план.

Карлссон вдруг заделался домоседом, часами сидел в горнице у жены, читая ей вслух то евангелие, то псалтырь. Он зывал к ее сердцу, к ее лучшим чувствам, не поясняя, однако, чего хочет. Старухе нравилось, что ее больше не оставляют одну, что у нее есть собеседник, и она очень ценила эти маленькие знаки внимания, не особенно задумываясь над подоплекой душеспасительных бесед о бренности земного существования.

Однажды зимним вечером вся прислуга собралась в кухне, тут же был и Густен. Уже четырнадцать дней сидели они на острове, как в крепости, бухту сковало льдом, по фьердам не проехать,

и ни соседа навестить, ни получить письмо или газету; оторванность и нескончаемый снегопад камнем давили на душу, а короткий день почти не оставлял времени для работы. В очаге горел огонь, парни плели сети, девушки пряли, а Рундквист строгал рукоятку для лопаты. Снег шел весь день, избу завалило до самых окон, всех их точно замуровали в кухне, и каждые четверть часа кто-нибудь из мужчин выходил откапывать снег, чтобы можно было добраться до скотного двора, подоить скотину и задать ей на ночь корма.

Наступила очередь Густена отгрести снег; он надел куртку, меховую шапку и, с трудом открыв дверь из сеней, заваленную сугробами, вышел во двор. Мела вьюга, воздух был мгlistый, снежинки, серые, как моль, крупные, как куриные перья, без усталости кружили в воздухе и тихо ложились на землю, сперва легко, а затем все тяжелее, уплотняясь и вырастая в сугробы. Снег завалил стены избы, и лишь в верхней части окна из горницы пробивалась тонкая полоса света. Густен знал, что там сидит мать в компании с Карлссоном, прилив любопытства заставил его взобраться на сугроб, очистить оконное стекло от снега и заглянуть внутрь. Карлссон, как обычно, сидел у секретера, перед ним лежала какая-то бумага с большой синей печатью, разрисованная наподобие банкноты. Карлссон, судя по всему, в чем-то убеждал стоявшую рядом с ним жену, а в его высоко поднятой руке было перо, которое он, очевидно, готовился вручить ей для подписи какого-то документа. Густен приник ухом к стеклу, но из-за двойных рам до него донеслось лишь неразборчивое бормотанье. Ему очень хотелось знать, что происходит, так как он подозревал, что это касается его весьма близко, к тому же ему было известно, что текст, писанный на гербовой бумаге, всегда означает что-то важное.

Тихо отворив дверь, он скинул башмаки и бесшумно поднялся по лестнице в верхние сени; там он лег ничком на пол и, повернув голову к двери, смог услышать, о чем говорится внизу, в горнице матери.

— Анна Эва, — вещал Карлссон тоном проповедника и муниципального деятеля. — Жизнь наша коротка, и смерть может прийти к нам, когда мы и не ждем ее. Поэтому нам надо помнить о своей кончине, а случится это сегодня или завтра — не все ли равно! Так что подписывай поскорее.

Старухе явно не по душе были непрерывные разговоры о смерти, но в последние месяцы Карлссон только об этом и толковал, так что она уже и противиться перестала.

— Так-то оно так, но, вишь ты, Карлссон, мне-то не все равно, когда я помру — сегодня или через десять лет. А может, я еще и того дольше проживу.

— Ах ты, господи! Да разве ж я говорю, что ты помрешь? Я только говорю, что мы можем помереть, а случится это нынче или через десять лет — какая разница, коль это все одно случится? Так что подписывай!

— Что-то я в толк не возьму, — упиралась жена, словно смерть и впрямь стояла у нее за спиной. — Не сейчас же...

— Ну да, ну да! Какая разница — коль это все одно случится! Почему я знаю, сейчас или не сейчас... А ты все-таки подпиши...

Своим непрерывным «почем я знаю» Карлссон точно веревку у нее на шею затягивал, и жена, не в силах больше противиться, уступила.

— Ну ладно, что мне подписать? — спросила она, вконец обессилев от пререканий.

— Анна Эва, ты должна подумать о тех, кто останется после тебя. Это первейший долг человека. А потому подпиши.

Тут как раз Клара, отворив дверь кухни, стала звать Густена, а он, не желая выдавать своего присутствия, не откликнулся, однако голос Клары помешал ему услышать продолжение разговора в горнице.

Когда Клара скрылась в кухне, Густен спустился вниз, остановился перед дверью горницы и услышал последние слова Карлссона, из которых понял, что подпись была поставлена под завещанием.

Когда он вернулся в кухню, все сразу поняли, что с ним что-то неладно. Он говорил обвиняками, грозился пристрелить лилицу, крик которой только что слышал, ворчал, что ему надоело сидеть дома да вшей кормить и лучше бы отправиться в море, утверждал, что ежели кляче задать чересчур много корма, то она подохнет.

Карлссон же, напротив, за ужином излучал любовь к ближнему, расспрашивал Густена об охоте, о работе, а затем взял «песочные часы» и разлил всем «белый песок», ибо, как он выразился, «минуты дороги, будем пить и есть, ибо завтра умрем».

В эту ночь Густен долго не мог уснуть; мрачные мысли и зловещие планы рождались в его голове. Но человек он был слабодушный, не способный ни изменить обстоятельства, ни воплотить свои замыслы в жизнь, а потому, задумав какое-то дело, считал его уже как бы выполненным.

Проспав несколько часов, отвлекшись сновидениями, он снова повеселел и решил махнуть на все рукой, поскольку утро вечера мудренее, справедливость все равно восторжествует, и всякое такое.

Снова наступила весна, ласточки починили свои гнезда, и профессорская семья вернулась на остров.

За год Карлссон успел разбить сад вокруг своего нового дома. Раздобыв в пасторской усадьбе побеги для прививок, он посадил сирень, фруктовые деревья, ягодные кусты, посыпал песком дорожки и устроил беседки. Усадьба начала мало-помалу приобретать господский вид.

Никто не мог отрицать, что чужак принес с собою в усадьбу достаток и благополучие, земля и скотина были теперь ухожены, как никогда, дома, постройки, изгороди приведены в порядок, и даже рыбу он ухитрялся продавать в городе подороже, да к тому

же постарался, чтобы ее отвозили пароходом, и таким образом обитатели острова избавились от долгих поездок морем в город.

Но вот теперь, когда он поостыл, притомился и вдобавок занялся постройкой собственного дома, все возроптали.

— А вы сами похлопочите. Увидите тогда, каково это, — отвечал Карлссон. — Каждый за себя, а бог за всех!

Подведя дом под крышу, он начал благоустраивать сад, копал, корчевал, сажал. Дом он построил не без вкуса, так что его жилище затмило другие постройки усадьбы. В нем было всего две комнаты и кухня внизу, но выглядел он куда шикарнее, чем старые избы на острове, а отчего так казалось, понять было трудно. То ли оттого, что он поднял стропила повыше, а застреху сделал пошире, то ли оттого, что на досках обшивки были выпилены распятия. А может, все дело было в веранде со ступеньками, которую он поставил перед входом. Никакой особой роскоши вроде и не было, а вместе с тем дом походил на виллу. Он был обшит панелями, а углы были обшиты черными досками. Дом был выкрашен в ярко-красный цвет, оконные наличники — в белый, а веранда, стоявшая на четырех столбах под легкой крышей, — в голубой. К тому же Карлссон сумел удачно выбрать место для постройки. Дом стоял под горой, и как раз перед ним оказались два старых дуба, образуя словно вход в аллею или парк. А с веранды открывался изумительный вид: бухта, поросшая тростником, продолговатый зеленый поемный луг; через глубокую лощину, пересекавшую коровий выгон, можно было видеть суда далеко в заливе.

Густен наблюдал за всем этим, исходя злобой и от всей души желая, чтобы дом этот провалился в тартарары. Для него он был все равно что осиное гнездо, которое ему до смерти хотелось растоптать каблуком, покуда в нем еще не отложены яички и не появилось потомство. Но уничтожить это гнездо было не в его силах, и потому он сидел сложа руки.

Старая хозяйка постоянно прихварывала, считала все происходящее в порядке вещей и, предчувствуя, какая пойдет грызня, когда она переселится в мир иной, была даже рада, что у мужа — а какой ни на есть, он все-таки был ей муж — останется крыша над головой и он не превратится в бездомного бродягу. Она не разбиралась в правоведении, но подозревала, что не все тут в ладу с законом — и с постройкой дома, и с наследством, и с завещанием, но надеялась, что все решится потом, без нее, а когда-нибудь буря неминуемо грянет, во всяком случае, в тот день, когда Густен надумает жениться, и уж кто-то, видно, надоумил его, потому что в последнее время он стал сам на себя не похож и ходит какой-то шальной.

Однажды днем в конце мая, когда Карлссон складывал очаг в кухне своего нового дома, явилась Клара и позвала его:

— Карлссон, Карлссон! Сюда идет профессор с каким-то господином из немцев. Он тебя ищет.

Карлссон снял кожаный фартук, вытер руки и приготовился к приему гостей, недоумевая, что может означать этот необычный визит.

Выйдя на веранду, он столкнулся с профессором, который привел с собою какого-то важного господина с длинной черной бородой.

— Директор Дитхоф хочет потолковать с тобой, Карлссон, — сказал профессор, указывая на своего спутника.

Карлссон обтер стоявшую на веранде скамью и пригласил гостей сесть.

Сидеть директору было некогда, и он с места в карьер спросил Карлссона, не согласится ли тот продать островок Рогхольм.

Карлссон поинтересовался, для чего директору понадобился этот островок площадью не больше шестидесяти гектаров, на котором не было ничего, кроме гранитных глыб, елового лесочка да небольшого овечьего выгона.

— Для промышленных целей, — ответил директор и захотел узнать, сколько стоит остров.

Карлссон растерялся и попросил время на размышление, чтобы сперва выведать, из-за чего этот остров вдруг стал такой ценностью, но директор не намерен был сразу раскрывать карты и лишь повторил свой вопрос о цене; при этом он похлопал себя по нагрудному карману, и утолщение, проступавшее на этом месте, явно свидетельствовало о том, что там была солидная наличность!

— Цена-то ему, пожалуй, не так уж и велика, — сказал Карлссон. — Но только мне надо сперва потолковать со своей старухой и с сыном.

И он побежал к избе. После довольно долгого отсутствия он наконец вернулся.

Видно было, что он смущен и никак не решается назвать сумму.

— Может, вы, господин директор, сами скажете, сколько хотите дать? — наконец выдал он из себя.

Но нет, директор этого делать не собирался.

— Ну, коли я скажу пять, это не покажется вам чересчур много? — запинаясь, проговорил Карлссон, и лоб его покрылся испариной.

Директор Дитхоф расстегнул пиджак, вынул бумажник и положил перед Карлссоном десять банкнот по сотне крон.

— Это пока наличными, а еще четыре тысячи получите осенью. Так будет правильно?

Карлссон чуть было не дал маху, но вовремя сумел сдержать обуревавшие его чувства и спокойно ответил, что все верно, хотя он-то имел в виду не пять тысяч, а всего-навсего пять сотен. Потом все направились к хозяйке и ее сыну подписать купчую и получить расписку. Карлссон заговорщически подмигивал и строил гримасы обоим своим компаньонам, как бы прося не выдавать его, но те ничего не понимали.

Наконец старая хозяйка надела очки и, поставив подпись, перечитала бумагу.

— Пять тысяч? — воскликнула она. — Как же так, Карлссон? Ты вроде говорил пять сотен!

— Да что ты! — возразил Карлссон. — Неужто я так сказал? Нет, нет, ты ослышалась, Анна Эва. Я сказал пять тысяч, верно, Густен?

И он столь явно подмигнул пасынку, что даже директор это заметил.

— Да, я хорошо помню, он сказал пять тысяч, — подтвердил Густен как можно убедительнее.

Лишь после того, как купчая была оформлена, директор сказал, что его акционерная компания намерена основать на Рогхольме рудник для добычи полевого шпата.

Никто не знал, что такое полевой шпат, никто даже не подозревал о скрытых на острове сокровищах, разумеется, за исключением Карлссона, который тут же заявил, что уже давно подумывал начать там разработки, да все капиталов не хватало.

Директор объяснил, что полевой шпат — это такой красный камень, который нужен для производства фарфора. На деревообделочной фабрике уже заказан дом для управляющего рудником, который поставят на острове через восемь дней, а еще через четырнадцать дней там построят деревянные бараки, и тридцать рабочих приступят к делу.

С тем директором и уехал.

Золотой дождь пролился на них так внезапно, что они даже не успели сразу рассчитать все последствия. Тысяча крон чистоганом и четыре тысячи осенью за какой-то никудышный островок! Всего было сразу и не переварить. И потому они просидели весь вечер в полном единодушии и подсчитывали, какие непредвиденные доходы они еще смогут получить. Наверняка можно будет продавать рабочим и управляющему рыбу и прочие припасы, не говоря уже о дровах, без которых им тоже не обойтись. А вдруг сам директор захочет провести здесь лето, да еще с семьей, тогда и с профессора можно будет запросить побольше; не исключено, что и Карлссон сумеет свой дом сдать; в общем, все складывалось как нельзя лучше.

Самолично спрятав деньги в секретер, Карлссон полночи просидел за расчетами.

Всю следующую неделю Карлссон часто ездил в Даларё и возвращался оттуда то со столяром, то с маляром. Он теперь принимал гостей на веранде; тут он поставил стол и посиживал за ним, прихлебывая коньяк, дымя трубкой и надзирая за работами в доме, которые шли ускоренным темпом.

Таким образом вскоре все помещения были оклеены обоями, в том числе и кухня, где был к тому же вмурован болиндерский очаг. На окна навесили зеленые ставни, которые видны были издалека, веранду перекрасили в белый и розовый цвет, на солнечной стороне повесили полотноную маркизу, синюю, с белой каймой; двор и сад огибались штакетником из серых реек с белыми колобашками. Зеваки часами стояли, глаза на все это велико-

лепие, и только Густен чаще всего хоронился где-нибудь за углом или за кустом и почти никогда не принимал приглашений Карлссона на веранду.

Это была одна из самых сладких грез Карлссона, видевшаяся ему в ясные ночи; он, словно профессор, сидит себе на веранде, развываясь на стуле, у ног его стоит бутылка коньяка, а он любуется окрестностями и дымит трубкой; конечно, лучше бы сигарой, но, к их крепости он все еще никак не мог привыкнуть.

И вот однажды утром, восемь дней спустя, сидел он на веранде и вдруг услышал гудок парохода, донесшийся с пролива со стороны острова Рогхольм.

«А, приехали!» — подумал он и, как хозяин здешних мест, решил проявить любезность и выехать навстречу прибывшим.

Он отправился в старую избу, оделся, послал за Рундквистом и Норманом и велел им сопровождать себя на Рогхольм, чтобы встретить приезжих господ.

Спустя полчаса от пристани отвалила лодка, и у руля ее сидел Карлссон. То и дело он покрикивал на батраков и велел им грести дружно, чтобы перед людьми не стыдно было.

Когда они обогнули последний мыс и вошли в пролив, ограничиваемый с одной стороны островом Стурён, а с другой стороны островом Рогхольм, глазам их открылась поразительная картина. В проливе на якоре стоял пароход, разукрашенный флагами и вымпелами, а между ним и островом сновали ялики с матросами в синих и белых матросках. На скалистом берегу, розовом от обнажившегося полевого шпата, стояла группа господ, а чуть поодаль от них выстроился духовой оркестр, и медные инструменты были великолепны, особенно на фоне черных еловых стволов.

Наши гребцы с Хемсё, все еще недоумевая, чем можно поживиться на этом острове, под прикрытием скалы стали подгребать как можно ближе к берегу, чтобы лучше видеть и слышать. И вдруг, когда они находились уже под самым местом собрания, воздух огласился свистом, словно в небо взлетели тысячи гагар, потом послышался гул, точно исходивший из глубины горы, а вслед за тем раздался оглушительный грохот, как будто весь островок раскололся надвое.

— Что за черт! — только и успел сказать Карлссон, потому что в следующую секунду целый град камней заплескал по воде вокруг лодки, а сверху дождем посыпались щебень и галька.

Затем с вершины скалы до них донесся голос. Оратор говорил что-то насчет ремесла и промыслов и еще произносил какие-то мудреные слова, которых жители Хемсё не поняли.

Рундквист решил, что это проповедник, и сдернул с головы шапку, но Карлссон понял, что это директор произносит речь.

— Да, господа, — сказал в завершение директор. — Перед нами горы камня, и я хочу заключить свою речь пожеланием, чтобы камень этот сделался хлебом!

— Bravo!

И оркестр заиграл марш. Господа под общий говор и смех

гуськом стали спускаться к берегу, держа каждый в руке обломки камней, которые крошились у них между пальцами.

— Эй вы, в лодке! Вы что тут делаете? — закричал какой-то господин в морской форме гребцам из Хемсё, которые отдыхали на веслах.

Они молчали, не зная, что отвечать, и не понимая, что худого в том, что они наблюдали за церемонией.

— Гм! Да ведь это хозяин Карлссон собственной персоной! — объяснил директор Дитхоф, подойдя поближе.

— Это хозяин здешних мест, — представил он его присутствующим и, обращаясь к Карлссону, добавил: — Прошу позавтракать с нами!

Карлссон сперва ушам своим не поверил, но потом понял, что приглашение сделано всерьез, и вскоре он уже сидел на кормовой палубе за роскошно накрытым столом, какого ему и во сне не доводилось видеть. Сперва он немного конфузился, но господа вели себя попросту и даже не позволили ему снять кожаный фартук. Правда, Рундквиста и Нормана отослали завтракать с командой на носовую палубу.

Карлссону казалось, что он попал в рай. Яства, которых он и названия-то не знал и которые таяли во рту, как мед; яства, которые приятно щекотали глотку, как самое лучшее вино; яства всевозможных видов и цветов! Перед каждым прибором стояли в ряд шесть бокалов для разных вин, и пить эти вина было все равно что вдыхать аромат цветов или целовать девушку; они щекотали ноздри, в ногах от них ощущалась приятная слабость и без причины хотелось смеяться. И все это сопровождалось божественной музыкой, от которой то щипало в носу, как от слез, то холодило виски, а иной раз по всему телу разливалась такая благодать, что хотелось лечь и помереть.

А когда завтрак подходил к концу, директор произнес речь в честь хозяина здешних мест и похвалил Карлссона за то, что он не посрамил чести своего сословия и остался верен главному занятию крестьянина, а не кинулся на поиски богатств в других областях, где рука об руку соседствуют роскошь и нищета. И все выпили за здоровье Карлссона. Карлссон не знал, когда ему смеяться, а когда быть серьезным, но видел, что господа смеются, хотя ему-то казалось, что речь идет о весьма серьезных вещах. И он смеялся вслед за ними.

После завтрака были предложены кофе и сигары, и все встали из-за стола. Карлссон от счастья почувствовал прилив великодушия и решил пройти на нос, чтобы посмотреть, накормлены ли парни, но тут его окликнул директор и попросил на минутку заглянуть к нему в каюту.

Когда они вошли, директор Дитхоф предложил ему подписаться на несколько акций. Он сказал, что это упрочит его положение и даст возможность при надобности действовать с большим авторитетом среди рабочих на острове.

— Так ведь я в этом ничего не смыслю, — возразил Карлссон, который понаслышке был знаком с обычаями в деловом мире и знал, что совершать сделки в подпитии не рекомендуется.

Но директор не отставал, и спустя полчаса Карлссон стал держателем сорока акций по сто крон, выпущенных «Акционерной Компанией Игл по добыче полевого шпата». Кроме того, ему была обещана должность помощника ревизора. Карлссон попросил директора записать ему это название на бумажке. Об оплате акций не было речи, поскольку они выдавались в счет платы за пользование островом.

Потом они пили кофе, и коньяк, и пунш, и билинскую воду, так что к своей лодке Карлссон направился только в шесть часов.

При посадке ему принесли забортный трап, но он не понял для чего и лишь пожал руки матросам, попросив их кланяться господам, когда они вернутся на берег.

И со своими сорока акциями он отбыл домой. Он сидел у руля с регалией в зубах и корзиной пунша у ног.

Дома он буквально таял от блаженства, угощал пуншем всех и каждого вплоть до обитателей кухни, показывал акции, похожие на огромные банкноты, и все порывался сходить в гости к профессору, а когда его стали отговаривать, заявил, что теперь он помощник ревизора и, стало быть, ничем не хуже этого немчуры музыканта, который вовсе не так уж шибко учен и не имеет права зваться профессором. У него возникали грандиозные планы. Он хотел основать в шхерах акционерное общество по засолу салаки, выписать бочаров из Англии и зафрахтовать суда с солью прямо из Испании! Он разглагольствовал о крестьянстве, о главном занятии земледельца, о будущем сельского хозяйства, делился своими надеждами и опасениями. Все пили его пунш, и вместе с клубами табачного дыма в воздухе реяли мечты о блестящем будущем острова Хемсё.

Карлссон был наверху блаженства, и голова у него пошла кругом. Главное занятие земледельца отошло на задний план, а посещения Рогхольма сделались ежедневными. Он свел знакомство с управляющим и целые дни просиживал у него на веранде, потягивая коньяк с билинской водой и наблюдая, как рабочие раскалывают камни, чтобы извлечь из них кварцевые жилы, являющиеся самой большой помехой для разработки месторождения. Управляющий был человек дельный, и у него хватало ума поладить с помощником ревизора и держателем акций. Он был к тому же достаточно хорошим специалистом, чтобы понять, сколь долго просуществоует этот рудник.

Рудничные разработки на Рогхольме оказали известное влияние также и на моральное и физическое самочувствие обитателей Хемсё; начало сказываться присутствие тридцати мужчин, живших на холостом положении.

Покой был нарушен. Весь день со стороны Рогхольма бухало и грохотало, в проливе слышались пароходные гудки, подплывали яхты, извергая на берег множество моряков. По вечерам рабочие

с рудника высаживались на Хемсё, слонялись вокруг колодца и скотного двора, высматривая девушек, затевали танцульки, пили с батраками, а иногда и дрались с ними. Работницы и батраки гуляли ночи напролет, а днем от них не было никакого проку; они засыпали прямо на лугах, клевали носом, стряпая у очага. А иногда и сам управляющий являлся в усадьбу с визитом. В этих случаях на очаг ставили кофейник, а поскольку такому важному господину негоже было предлагать водку, то в доме всегда должен был иметься запас коньяка. Но зато теперь было кому продавать рыбу и масло, и деньги потоком текли в карман, так что жизнь пошла развеселая и мясо появлялось на столе куда чаще, чем прежде.

Карлссон начал заплывать жирком, все дни ходил в легком подпитии, и лето протекало для него как долгий нескончаемый праздник. Время свое он делил между муниципальными обязанностями, поездками на рудник и сельскохозяйственными работами в усадьбе.

В начале осени он уехал на восемь дней по делам противопожарного надзора и когда ранним утром вернулся домой, жена встретила его тревожной вестью, что на Рогхольме, должно быть, что-то стряслось. Уже четверо суток там стоит тишина, за все это время не раздалось ни единого взрыва, и ни разу не слышно было пароходной сирены. В усадьбе все были заняты обмолотом, и на Рогхольм съездить им было недосуг. Управляющий больше не показывается, и рабочие вечерами перестали шататься по усадьбе. Не иначе, как там что-то приключилось. Чтобы дознаться в чем дело, Карлссон велел «запрягать». Так он обычно выражался, когда снаряжали лодку на Рогхольм. Лодка у него теперь была выкрашена в белый цвет и обведена синей каймой, а чтобы придать себе более внушительный вид, он соорудил полиспаст из старого гардинного шнура и таким образом мог править лодкой, сидя прямо. Рундквиста и Нормана он обучил грести по-боцмански, так что весь экипаж выглядел теперь просто шикарно.

Они неслись что есть мочи, томимые любопытством и тревогой, а поравнявшись с Рогхольмом, были поражены царившими здесь безмолвием и безлюдьем.

Тихо было, как в могиле, и ни одна живая душа не показывалась. Они высадились на берег и по каменной россыпи вскарабкались вверх, к руднику. Дом управляющего исчез, исчезло без следа все рудничное оборудование, и лишь казармы, как здесь называли бараки, оставались на месте, но опустошенные и разоренные дотла. Все, что можно было снять, увезли: двери, окна, скамьи, нары.

— А они, видать, увистали отсюда, — заметил Рундквист.

— Да, похоже, что так! — согласился Карлссон и снова велел «запрягать».

На этот раз он поспешил в Даларё, где, как он предполагал, ему было оставлено на почте письмо.

И действительно, там его ждало письмо от директора, который уведомлял, что компания прекратила свое существование ввиду

непригодности сырья. И поскольку долг Карлссону в сумме четырех тысяч крон покрывается сорока акциями, на которые он подписался, но не оплатил, то деловые отношения между компанией и вышеозначенным Карлссоном можно считать завершенными.

«Стало быть, надули на четыре тысячи, — подумал Карлссон. — Ну да ладно, и на том спасибо! Мы все равно не внакладе».

И хоть был он родом с материка, но беспечностью напоминал морских птиц; он мигом страхнул с себя огорчение, тем более что в постскрипуме было сказано, что все оставшееся на Рогхольме принадлежит хозяевам Хемсё, если у них будет охота это увезти.

Слегка поникший, вернулся Карлссон домой, лишившись уймы денег и своей почетной должности. Густен вознамерился было посыпать соль ему на раны и покопаться в подробностях, но Карлссон только отмахнулся:

— А, есть об чем толковать! Дело-то яйца выеденного не стоит.

Но день спустя он уже вовсю орудовал на острове со своими тремя помощниками, вывозя оттуда кирпич и доски. Никто и ахнуть не успел, как он уже соорудил себе летнюю хижину из одной комнаты и кухни на берегу пролива. Раньше этого местечка никто не замечал, а между тем отсюда открывался вид и на остров и на фьерд.

Лето минуло, а с ним и воздушные грезы. Близилась зима, воздух стал холоднее, думы — мрачнее, и действительность обрела иной облик — светлый для одних и грозный для других.

Глава седьмая

МЕТЫ КАРЛССОНА СБЫВАЮТСЯ, СЕКРЕТЕР ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ, НО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРШИТЕЛЬ СУДЕБ И ПЕРЕЧЕРКИВАЕТ ВСЕ

Брак Карлссона, хотя и недавний, был не из счастливых. Жена его, пусть даже и не совсем дряхлая старуха, все-таки была уже в годах, а сам он вступал в тот мужской возраст, который принято называть опасным. Ему стукнуло сорок, и до сих пор все его усилия были направлены на то, чтобы добиться успеха и заработать на хлеб. Девушка, которой он домогался, ему не досталась, и вот теперь, когда он достиг своей цели и обеспечил себе спокойную старость, плоть стала требовать своего; она взбунтовалась, быть может, даже еще сильнее из-за того, что в последние годы ему не приходилось уже так много работать, да к тому же и раскормил он себя больше, чем следовало. Он сидел в тепле кухни, не сводя глаз с Клары, наблюдая за каждым движением ее молодого тела, когда она сновала по хозяйству, и воображение его разыгрывалось. Взгляд его то замирал, то опускался, то блуждал по сторонам, а затем снова упирался в одну точку. И под конец дошло до того, что девушка постоянно маячила у него перед гла-

зами; он видел ее повсюду, куда бы ни шел. Но были и другие глаза, которые также наблюдали, правда не за Кларой, а за тем, кто не сводил с нее взгляда, и чем дольше жена наблюдала, тем больше ей мерещилось; эта пара была у нее точно бельмо на глазу.

Оставалось несколько дней до рождества. За окном уже стемнело, но вот вошла луна, и ее ясный свет озарил заснеженные ели, ледяную гладь бухты и белые поля. Задул свирепый северный ветер, гоня впереди себя сухую поземку. В кухне Клара растопила духовую печь, а Лоттен месила тесто в бадье.

Карлссон сидел в углу у шкафа, курил трубку, жмурился, как кот в тепле, и глаза его снова начали свою игру; взгляд то вспыхивал, то меркнул, задерживаясь на белых руках Клары, выступавших из закатанных рукавов рубахи.

— Может, сперва сходишь коров подоить, а уж потом будем подметать? — спросила Лоттен.

— С х о ж у, — ответила Клара.

Она отложила в сторону совок и метлу и надела овчинную телогрейку. Затем она взяла фонарь для скотного двора, зажгла его и вышла из кухни. Как только она вышла, Карлссон тут же поднялся и пошел следом за нею.

Немного погодя из горницы явилась старая хозяйка и спросила, где Карлссон.

— А он пошел следом за Кларой на скотный двор, — ответила Лоттен.

Не дожидаясь дальнейших разъяснений, хозяйка взяла фонарь и тоже вышла из дома.

Дул резкий ветер, но возвращаться в дом, чтобы накинуть на себя что-нибудь теплое, ей не захотелось, тем более что до скотного двора было рукой подать. На пригорках было скользко; поземка, словно мучная пыль, забивала глаза, но старуха довольно быстро добралась до скотного двора и вошла прямо в коровник, где ее сразу обдало теплом. Тут она остановилась, прислушиваясь, и ей показалось, что в овечьем загоне кто-то шепчется. При слабом свете луны, едва пробивавшемся сквозь запыленное сеной трухой и затянутое паутиной оконце, она увидела коров, которые повернули головы и смотрели на нее большими, мерцавшими в полутьме глазами. На полу стояли доильная скамеечка и подойник. Но вовсе не это ожидала она увидеть, а другое, то, чего бы ей лучше вовек не видеть, то, что манило ее, как зрелище казни, и страшило, как сама смерть.

Перешагивая через охапки сена, она миновала коровник и очутилась в овечьем загоне. Тут было темно и тихо. На полу стоял потушенный фонарь, но фитиль сальной свечи еще дымился. Овцы трепали зубами сухие веники и шуршали листвой. Нет, не это хотела она увидеть. И она пошла дальше, в курятник, где куры, кудахча, сбились на насесте, словно их перед тем вспугнули.

Дверь из курятника была распахнута, и старуха снова вышла на залитый лунным светом двор. Две пары башмаков, одна поменьше, другая побольше, оставили следы на снегу, голубоватые от

падавшей на них тени. И следы эти вели к огораживающей луг изгороди, одна поперечина которой была поднята.

Старуха пошла по этим следам, точно ее кто-то волоком тащил; следы тянулись по земле как цепь, и ей казалось, будто ее приковали к этой цепи.

Ее все влекло и влекло вперед, к тому же выгону, к тому же перелазу, под те же заросли орешника, где она однажды вечером в недобрый и страшный час пережила мгновения, о которых лучше было не вспоминать. Теперь ветки орешника стояли оголенные, с редкими, уже новыми почками, крошечными, как капустные черви, а дубы были одеты темно-желтой жесткой листвой, шуршавшей на ветру, и крона была такая редкая, что сквозь нее видны были звезды и зеленовато-черное небо.

Все дальше и дальше тянулась цепь, извиваясь под елями, которые цеплялись ветками за ее полосатую шерстяную безрукавку и стряхивали снег на ее седые, поредевшие волосы, обдавая шею и спину холодом и влагой.

Все глубже и глубже в лес вели следы, где ее до смерти напугал вспорхнувший с ветки тетерев, через болото, где кочки пружинили под ногами, через изгороди, которые скрипели, когда она перебиралась через перелаз.

Двумя рядами тянулись следы, одни маленькие, другие большие; они шли бок о бок, подчас сливаясь, как в танце, пересекали почти лишенное снежного покрова жнивье, каменистые груды, канавы, изгороди и бурелом.

Она не знала, долго ли шла, но чувствовала, что голова и руки у нее совсем заоченели; она дула на свои исхудалые, покрасневшие пальцы и прятала их под платьем, чтобы хоть немного согреть. Она хотела вернуться, но теперь было уже поздно, путь назад был не короче пути вперед. И она двинулась дальше, через осиновую рощу, где остатки листвы трепетали и дрожали, словно от холода, под резким северным ветром. И вот она подошла к перелазу; луна светила ярко, и видно было отчетливо, что они тут побывали. Старуха видела на снегу отпечатки Клариной юбки и ее овчинной телогрейки. Стало быть, это случилось тут! Тут! У нее затряслись колени, она вся застыла, точно кровь у нее превратилась в лед, и запылала, точно по жилам ее побежал кипяток. Обессиленная, опустила она на ступеньку перелаз; она рыдала, голосила, а затем внезапно успокоилась, встала и перешагнула через перелаз. По другую сторону изгороди темнела ледяная гладь залива, а далеко впереди, прямо перед собой, она видела свет в избе и огонек в коровнике. Резкий ветер пробирал до костей, трепал волосы и леденил ноздри; она почти сбежала на лед, проехавшись по его скользкой поверхности, услышала шум колеблемого ветром сухого тростника и треск его под ногами. Споткнувшись о вмерзший томбуй, она упала, затем поднялась и снова побежала вперед, будто сама смерть гналась за нею по пятам и она уже слышала за спиной ее обжигающее дыхание; почти добравшись до другого берега, она вдруг

провалилась под лед, который с громким треском обрушился под тяжестью ее тела. Она чувствовала, как холод поднимается у нее по ногам, но не хотела звать на помощь, чтобы не пришлось отвечать на расспросы. Кашляя так, что казалось, у нее вот-вот лопнет грудь, она с трудом выбралась из полыньи и почти ползком стала подниматься вверх по склону к избе. Она прошла прямо в горницу, легла в постель и попросила Лоттен разжечь огонь в очаге и заварить ей настоя бузины.

Ее раздели, накрыли одеялом и овечьими шкурами, подбросили в очаг поленья потолще, но у нее все еще зуб на зуб не попадал. Потом она велела вызвать из кухни Густена.

— Ты захворала, мама? — спросил он со своим обычным спокойствием.

— Да вот, занемогла, — ответила мать, тяжело дыша. — И мне уже не подняться. Запри дверь и ступай к секретеру. Ключ лежит на полке за пороховницей. Ты знаешь где.

Притихший Густен молча повиновался.

— Открой крышку, вытащи третий ящик по левую руку и возьми оттуда большой конверт... Вот так... А теперь кинь его в огонь.

Густен исполнил ее просьбу, и вскоре бумага вспыхнула, сужилась и обуглилась.

— Затвори получше дверь, сынок. А теперь запри секретер и спрячь у себя ключ! Сядь сюда и слушай меня, потому что завтра я уже ничего не смогу сказать.

Густен, всплакнув, сел около матери, понимая, что дело серьезное.

— Когда я закрою глаза, возьми отцову печать, она ведь у тебя, и опечатай все замки в доме, куда судейские не явятся.

— А как же Карлссон? — нерешительно спросил сын.

— Он останется жить в усадьбе, этого ему запретить никто не может. А только хозяином ему тут не бывать! Ну, а коли сумеешь его за дверь выставить, то гони его в три шеи отсюда! Господь с тобой, Густен, ты бы все-таки мог прийти на венчание, ну да у тебя, видать, свои резоны были. А как помру, ты все с умом сделай. Штофом гроб обивать не надо, и серебряные кисти тоже ни к чему, будет с меня одной парчи; народу много не зови, а вот колокола чтоб звонили, и коли пастор захочет два слова сказать, то пускай скажет, а ты ему за это отдай отцову пенковую трубку с серебром, а жене его отвезешь полбарашка. А после, Густен, женись-ка ты поскорее; девушку возьми, которая тебе по душе, и люби да береги ее; только выбери себе ровню, а ежели она к тому же с деньгами будет, то и в этом ничего худого нет; гляди только, не бери ниже себя! Такая заест тебя, как вша, и помни: ровням всегда столкнуться легче. Ну, а теперь почитай мне маленько, я, может, засну.

Дверь отворилась, и в горницу с самым кротким и невинным видом вошел Карлссон.

— Ты захворала, Анна Эва? — спросил он. — Тогда пошлем за доктором.

— Не надо! — ответила жена и отвернулась к стене.

Карлссон, смекнув в чем дело, попытался пойти на мировую.

— Ты никак серчаешь на меня, Анна Эва? Э, была нужда из-за пустяков сердиться! Хочешь, я тебе почитаю?

— Не надо! — только и ответила старуха.

Карлссону стало ясно, что сделанного не воротить, а он был не из тех, кто станет зря из кожи лезть. Поэтому, примирившись с обстоятельствами, он сел на диван и стал ждать. Поскольку дела его были приведены в порядок, а сейчас старуха не могла или не хотела ни о чем говорить, то и ему нечего было добавить, а с Густеном он разберется потом. Посылать за лекарем никто не собирался; тут, в шхерах, люди привыкли умирать и без его помощи, да к тому же и связи с материком никакой не было.

Двое суток они стерегли комнату и друг друга, и лишь когда один засыпал на стуле или на диване, другой позволял себе подремать. Но стоило одному из них шевельнуться, как другой тут же вскакивал с места.

Утром накануне рождества мадам Карлссон скончалась.

И лишь теперь словно впервые была перерезана пуповина, связывавшая Густена с матерью. Только теперь он как бы отделился от материнского лона и стал самостоятельным человеком. Закрыв матери глаза, положив ей под подбородок псалтырь, чтобы не отвисла челюсть, он, не обращая внимания на Карлссона, зажег свечу, достал печать и сургуч и опечатал секретер.

Этого Карлссон стерпеть не мог. Подойдя к секретеру и за-слонив его спиной, он закричал:

— Эй, парень, ты что делаешь?

— Я тебе больше не парень, — отвечал Густен. — Я хозяин Хемсё, а ты тут — приживал!

— Мы оба тут хозяева! — возразил Карлссон.

Густен снял со стены ружье, взвел курок и, угрожающе потрясая прикладом, впервые в жизни заорал во всю глотку:

— Вон отсюда! Не то пристрелю!

— Ты никак грозишься?

— Да! Свидетелей-то нет! — ответил Густен, который, как видно, в последнее время советовался с законниками.

Это было предупреждение, и Карлссон понял его.

— Ну, погоди! Вот будет раздел имущества... — сказал он и ушел в кухню.

Невеселым был этот сочельник для обитателей Хемсё. В доме покойник, а за гробом и саваном не послать, потому что снег валит не переставая, и по фьердам и проливам ни пройти, ни проехать. Море превратилось в ледяное крошево и теперь через него не перебраться ни в лодке, ни в санях, ни пешком.

Карлссон и Флуд, как велел теперь Густен себя называть, избегали друг друга, а за столом сидели не обмениваясь ни единым словом. В доме царил беспорядок, ни у кого ни к чему руки не лежали, каждый надеялся на другого, и большинство дел так и оставались несделанными.

Первый день рождества был туманный, серый, и снегопад не прекращался. Нечего было и думать о том, чтобы добраться до церкви, поэтому Карлссон в кухне почитал из сборника проповедей. Из-за покойника в доме людям было не до рождественского веселья. Еда в срок не подавалась, к тому жестряпали кое-как, и все были не в духе. Атмосфера в доме была гнетущая. Труп хозяйки лежал в горнице, и все обретались в кухне, как на постое. В промежутках между едой и питьем люди спали — кто на диване, кто в кровати. О том, чтобы поиграть в карты или послушать гармошку, и речи быть не могло.

Второй день рождества начался и прошел так же невесело и тяжело, как первый, но теперь Флуд потерял терпение. Понимая, что тянуть с похоронами больше нельзя, так как труп уже начал разлагаться, он позвал в сарай Рундквиста, они вместе смастерили гроб и выкрасили его в золотистый цвет. Мертвую хозяйку обернули тем, что нашлось в доме. Так наступил пятый день. Судя по всему, перемены погоды не ожидалось, снегопад мог затянуться на целых две недели, а покойницу надо было во что бы то ни стало доставить в церковь и предать земле. И вот на воду спустили большую рыбацью лодку, и все мужчины снарядились в дорогу, захватив сани, ломы, топоры и веревки. Утром на шестой день они отправились в опасный путь. Иной раз перед ними открывалась полоса воды, и тогда они садились на весла; потом вставал скованный льдами фьерд, и они втаскивали лодку с гробом на сани и тащили, взявшись за веревку. Самое трудное начиналось, когда они попадали в ледяную шугу и весла беспомощно бултыхались в крошечке, а лодка продвигалась вперед всего на каких-нибудь два-три дюйма; иногда они заходили вперед и прорубали желоб ломами и топорами, но худо пришлось бы тому, кто, увлекшись, угодил бы на тонкий лед, размытый течением.

Лишь к концу дня у них выдался час, чтобы поесть и попить. Предстояло одолеть последний фьерд. Впереди, насколько хватало глаз, простиралось обширное снежное поле, и на нем кое-где высились небольшие холмики, то были занесенные снегом скалистые островки. На востоке небо было иссиня-черное и предвещало снежный буран; вороны, шумно хлопая крыльями, летели к суше в поисках ночлега, время от времени в глубине льда что-то гудело, как перед оттепелью, а со стороны моря слышался трубный рев тюленей. На востоке фьерд выходил в открытое море, но водного пространства как будто не видно было; правда, им казалось, что они слышат крик аулейки со взморья. У них уже больше двух недель не было никаких вестей с материка, и они не знали, погашены ли маяки, но в этом почти не приходилось сомневаться, потому что в период между рождеством и Новым годом маяки никогда не зажигались.

— Нам нипочем не пройти! — подал голос Карлссон, который до сих пор все больше помалкивал.

— Надо пройти! — возразил Флуд, упираясь плечом в с а н и . —

Только сперва высадимся на островок Москлеппан и закусим маленько.

И они направились к скалистому островку, лежавшему посреди фьерда.

Он оказался гораздо дальше, чем они предполагали, и по мере приближения к нему очертания его менялись. Но вот наконец они очутились от него на расстоянии не более одного кабельтова.

— Впереди полынья! — закричал Норман, выполнявший роль впереди идущего. — Влево, влево забирай!

Они повернули налево, потом опять налево и таким манером обогнули весь островок. Последнее солнечное тепло или теплые донные течения растопили лед вокруг его берегов, и он стал неприступен со всех сторон, во всяком случае, для саней. Надвигались сумерки, надо было срочно искать какой-нибудь выход, и Флуд, взявший на себя командование маневром, сразу же разработал план переброски на остров, заключающийся в том, что лодку нужно было столкнуть в полынью, и в то же самое мгновение все должны были прыгнуть в нее и взяться за весла. Как решили, так и сделали.

— Раз, два, три! — скомандовал Флуд.

Лодка устремилась в полынью, сани скользнули вперед, покачнулись, и гроб упал в воду.

Флуд и Карлссон у кормы с перепугу позабыли прыгнуть в лодку и остались стоять на льду, на краю полыньи. Рундквист же и Норман благополучно очутились на борту. Никто и опомниться не успел, как плохо заколоченный гроб наполнился водой и пошел ко дну.

— Придется немедля идти в пасторскую усадьбу, — скомандовал Флуд, который сегодня больше действовал, чем размышлял.

Карлссон стал отговаривать его, но Густен спросил, уж не думает ли он, что лучше будет простоять тут на льду всю ночь, и на это Карлссону нечего было возразить. К тому же он ясно видел, что перебраться на островок нет никакой надежды.

Рундквист и Норман, вскарабкавшись на берег, стали кричать и звать их, но Флуд лишь помахал им на прощанье и указал рукой в южном направлении, где находилась пасторская усадьба.

Долгое время Карлссон и Флуд шагали молча; Густен шел впереди, пробую ломом лед, а Карлссон попевал за ним, подняв воротник; он был подавлен столь внезапной и плачевной кончиной жены, в которой люди наверняка обвинят его.

Спустя полчаса Густен остановился, чтобы отдышаться. Затем он оглядел островки и берега.

— Эх, черт, не в ту сторону пошли! — пробормотал он. — Это вовсе не Москлеппан был. Москлеппан-то вон он! — И Густен указал пальцем на восток. — А вот сосна с острова Йильога.

На продолговатом острове на вырубленной лесной пустоши у самого берега высилась одинокая сосна, двумя оставшимися ветками напоминая оптический телеграф и служа хорошим ориентиром.

— А это шхера Трельшер.

Густен говорил все это самому себе и озабоченно покачивал головой.

Карлссон не на шутку перепугался; в шхерах он ориентировался плохо и безгранично полагался на опыт Густена. Между тем Флуд, судя по всему, принял решение, изменил курс и двинулся к югу.

Сумерки сгущались, но белизна снега все еще кое-как освещала окрестность. Оба не произносили ни слова, но Карлссон старался идти след в след за своим поводырем.

Внезапно Густен остановился и прислушался. Непривычное ухо Карлссона пока еще ничего не улавливало, но Густен различал неясный гул с востока, где поднималась туча, еще чернее и громаднее, чем облака, заволакивавшие южный край неба.

Они немного постояли, и теперь Карлссон тоже расслышал катившийся издалека негромкий гул и рокот.

— Что это? — спросил он, придвигаясь к Густену.

— Это море! — ответил тот. — Через полчаса налетит восточный ветер со снежным бураном и того и гляди лед взломает. Один дьявол знает, что тогда с нами будет. Прибавим ходу!

Он почти побежал, а Карлссон — следом. Ноги увязали в снегу, и гул, казалось, их нагонял.

— Ну, теперь нам каюк! — закричал Густен и, остановившись, указал на свет, блеснувший из-за островка на юго-востоке. — Маяк зажгли, стало быть, море вскрылось!

Карлссон не понимал, в чем тут опасность, но он видел, что Густен напуган, а это значило, что дела их плохи.

И вот восточный ветер нагнал их, хлопья снега плотной стеной закружились перед ними, и вскоре они очутились в самой гуще снежного бурана. Кругом стало черным-черно, и свет маяка, который еще какое-то время слабо и мутно сочился сквозь мрак, напоминала ложное солнце, наконец окончательно померк.

Густен несся рысью, а Карлссон бежал следом, изо всех сил стараясь не отставать, но в последнее время он изрядно разжирел, и поспевать за Густеном ему было неважно, он стал задыхаться, просил Густена идти помедленнее, но тот отнюдь не расположен был жертвовать собою и бежал, точно сама смерть гналась за ним по пятам. Карлссон цеплялся за его полу, умолял не убегать от него, сулил золотые горы, заклинал вечным блаженством и грозил вечным проклятием, но ничто не помогало.

— Каждый за себя, а бог за всех, — отвечал Густен и велел Карлссону держаться чуть подалее, не то лед под ними проломится.

Лед, как видно, и вправду ломался, потому что треск сзади них все усиливался и, что самое страшное, явственно приближался гул и рокот, так что уже можно было слышать, как волны бьются о ледяную кромку островков и громко кричат разбуженные чайки.

Карлссон задышался и ловил ртом воздух, расстояние между ним и Густеном все увеличивалось, и в конце концов он обнаружил, что бежит в темноте один. Он с разбегу остановился, стал вглядываться во тьму, ища следы, ничего не увидел, стал кричать, но не услышал ответа. Вот оно: одиночество, мрак, стужа, вода, а за ними — смерть.

Подгоняемый страхом, он припустил во всю прыть, бежал так, что видел, как остаются позади снежинки, несшиеся с ветром в ту же сторону, куда и он. Он снова закричал.

— Иди по ветру, и на западе попадешь на сушу! — послышался удаляющийся голос из тьмы.

Но у Карлссона больше не было сил бежать; отчаявшись, он шел все медленнее и медленнее, оставив всякую мысль о борьбе за жизнь. Он слышал, как море позади него урчало, гудело, фыркало, сопело, словно хищный зверь, вышедший на ночную охоту.

Пастор Нурдстрём в восемь часов вечера улегся в постель, почитал «Епархиальные ведомости» и крепко уснул. Около одиннадцати часов он почувствовал, как жена толкает его локтем в бок.

— Эрик! Эрик! — услышал он в полусне ее голос.

— Ну, что еще? Чего тебе нейдет? — проворчал он спросонья.

— Это мне-то нейдет?

Опасаясь выяснения отношений, он поспешно заверил жену, что она его не так поняла, зажег спичку и спросил, в чем все-таки дело.

— Кто-то кричит у нас в саду! Неужто не слышишь?

Пастор наострил уши и посадил на нос очки, как бы для того, чтобы лучше слышать.

— Да, и вправду, клянусь богом! Кто... кто бы это мог быть?

— Ступай да погляди! — ответила старуха и снова пихнула его локтем в бок. Пастор надел кальсоны и шубу, сунул ноги в сапоги, снял со стены ружье, зарядил и вышел в сад.

— Эй, кто там? — закричал он.

— Флуд! — ответил из-за кустов сирени глухой голос.

— Чего это тебя принесло сюда в эдакую пору? Или старуха отходит?

— Хуже! — прерывающимся голосом ответил Густен. — Мы ее уронили!

— Уронили?

— Да, в море уронили!

— Входи же в дом скорее! Чего стоишь на холоде!

При свете свечи пастор увидел, что Густен как выжатый лимон; весь день он не ел и не пил да еще мчался наперегонки с восточным ветром. Наскоро выслушав его рассказ, пастор отправился к старухе и, после небольшой перепалки, получил ключик от некоего шкафчика в кухне, куда он и повел жертву стихии. Вскоре Густен уже сидел за большим кухонным столом, а пастор достал бутылку водки, сало, студень и хлеб и поставил все это перед изголодавшимся гостем.

Затем они стали держать совет, чем можно помочь терпящим бедствие. Ночью поднимать народ — затея безнадежная, а палить на берегу костры опасно, так как можно сбить с курса суда, если свет все-таки пробьется сквозь плотный туман.

Парням на островке никакая опасность не угрожала, а вот с Карлссоном дело обстояло хуже. Густен был уверен, что фьерд

вскрылся и что Карлссону пришел конец. «И похоже, что он получил по заслугам за все свои проделки», — заключил он.

— Слышь-ка, Густен, — возразил пастор. — Вы, по-моему, были несправедливы к Карлссону. Какие такие его проделки? Вспомни, на что похожа была ваша усадьба, когда он у вас объявился. Не он ли наладил ваше хозяйство? Не он ли сыскал тебе на лето постояльцев и не он ли поставил новую избу? А что он женился на твоей матери-вдове, так ведь она сама так хотела. То, что он просил ее оставить завещание, что ж, отчего ему было и не попытаться счастья? А что она его послушалась, это уж была ее промашка. Карлссон был парень шустрый. Может, и ты хотел бы таким быть, да где тебе! Что, разве не так? Не ты ли хотел, чтобы я тебе присватал вдову из Овассы с восьмью тысячами риксдалеров? Нет, ты, Густен, не суди слишком строго. И помни, что на людей можно глядеть не только с твоей колокольни.

— Но мать-то все-таки из-за него померла, и этого я вовек не забуду.

— А, не мели ерунды! Забудешь! Как только с женкой в кровать заберешься, так сразу и забудешь. Да и то, что мать твоя из-за него померла, так ведь это еще как сказать! Ежели б тетушка не выскочила вечером из дому налегке, а оделась бы потеплее, перед тем как в лес бежать, то не застудилась бы до смерти. И потом — вольно ж ей было так близко к сердцу принимать, что он, молодой мужик, путается с девками. Ну да теперь уж дела ничем не поправить! Завтра с утра поглядим, чем можно помочь. Завтра воскресенье, и народ наверняка в церковь соберется, вот тогда и созовем всех на подмогу. А теперь ступай, ложись и успокойся; и не забывай, что смерть одного — это хлеб для другого.

На другое утро, когда прихожане собрались перед церковью, к ним подошел пастор Нурдстрём в сопровождении Флуда. Не заходя в храм, он задержался в толпе, которая, судя по всему, уже знала о случившемся. Пастор объявил, что службы не будет, и призвал всех мужчин как можно скорее собраться в лодках у пристани и отправиться на помощь терпящим бедствие. В толпе поднялся ропот. У чужака в округе были враги, которые стали мутить воду, заявляя, что не желают пропускать богослужение.

— Э, чепуха! — возразил пастор. — Знаю я вас! Уж будто вам так не терпится послушать околесицу, что я несу с кафедры! А ты что на это скажешь, Овассан? Ты ведь у нас досконально знаешь святое писание и сразу слышишь, когда я завираться начинаю! Что, не так разве?

В толпе послышались смешки, и прихожане поутихли.

— К тому же через неделю опять настанет воскресенье. Вот тогда приезжайте, и я вам все сполна выдам. И баб своих привозите, обещаю прочистить им мозги впрок на целых три месяца. Ну, что, согласны тащить осла из колодца?

— Да! — дружно пророкотали прихожане, получив разрешение «нарушить святость субботы».

И все разошлись по домам переодеться для выхода в море.

Буря прекратилась, ветер задул на север, и погода установилась ясная и холодная; фьёрд вскрылся, темные волны бились о заснеженные скалистые островки. Около десятка лодок отвалило от пристани приходского поселка; мужчины были в полушубках и шапках, в дорогу они запаслись топорами и кошками. Идти под парусом было невысказано, и пришлось взяться за весла. Пастор с Густеном сидели в первой лодке с четырьмя самыми дюжими парнями в качестве гребцов и с боцманом Раппом, выполнявшим роль бакового гребца и впередсмотрящего.

Все были настроены серьезно, но особой скорби не чувствовалось; человеческая жизнь, принятая морем, была тут не в новинку.

Волны поднимались довольно высоко, и вода, попадавшая в лодку, мгновенно замерзала, так что лед приходилось вырубать и выкидывать за борт. То и дело к лодке подплывали льдины, терлись о борт и уходили под воду, а затем снова всплывали. Иногда на льдине можно было разглядеть вмерзшие стебли сухого тростника, листья, щепочки, смытые с берега.

Пастор сидел, направив бинокль на островок Трельшер, где обретались пленниками парни с Хемсё, иногда он бросал безнадежный взгляд на гладь фьёрда, где, судя по всему, потонул Карлссон, ища на обломках льдин след ноги, часть одежды или, быть может, труп. Но все напрасно.

Через час-другой хода они приблизились к островку. Рундквист и Норман еще издали увидели спасательную флотилию и на радостях разожгли на берегу костры. Когда лодки пристали к острову, спасенные проявили скорее любопытство, чем волнение, потому что их жизни, в сущности, ничто не угрожало.

— Раз ступил ногой на сушу, то считай, спасен! — заявил Рундквист.

Зимний день был короток, и решили не мешкая приступить к поискам гроба.

Рундквист вызвался точно указать место, куда упал гроб, потому что там, дескать, море светилось. Бросали сеть за сетью, но не вытаскивали ничего, кроме длинных водорослей, ракушек и всякой морской живности. Работали вплоть до обеда, но без успеха, вид у всех был измученный и недовольный. Некоторые выходили на берег, чтобы подкрепить силы глотком спиртного, съесть бутерброд или сварить кофе. Наконец Густен объявил, что, видно, ничего больше сделать нельзя, гроб скорее всего унесло глубинным течением.

Никто особенно и не хотел увидеть всплывший труп, да и, строго говоря, дело это лично никого не задевало, так что все почувствовали известное облегчение от того, что Густен сам избавил их от неприятных хлопот и не заставил проявлять бесчувственность к чужой беде.

Тем не менее, чтобы хоть как-то отметить эту плачевную кончину, пастор Нурдстрём подошел к Флуду и спросил, не хочет ли тот, чтобы они что-нибудь сделали для его покойной матери. Книгу пастор захватил с собой, а какой-нибудь один псалом, уж верно,

все знают наизусть. Густен с благодарностью принял предложение, а затем его сообщили остальным.

Зимнее солнце завершало свой короткий путь по небосклону, и скалистые островки лежали розовые в его последних лучах. Все сгрудились на берегу, чтобы присутствовать при этом, обусловленном обстоятельствами, похоронном обряде. Пастор вошел в лодку вместе с Густеном, встал на корме, вынул книгу, взял в левую руку носовой платок и обнажил голову. Мужчины на берегу тоже снимали шапки.

— Может, споем псалом четыреста пятьдесят два, «Я иду к смерти»? Знаете его наизусть?

— Да! — ответили с берега.

И песня зазвучала, сперва голоса дрожали от стужи, а затем от волнения, вызванного необычностью церемонии и трогательной мелодией старого псалма, который сопровождал столь многих к вечному успокоению.

Последние звуки псалма эхом прокатились над водной ширью до самых дальних шхер, пронизали морозный воздух; а затем наступила пауза, и слышно было лишь, как шуршит северный ветер в хвое карликовых сосен, как плещут волны о скалы, кричат чайки да лодки стучаются о дно. Пастор повернул старое морщинистое лицо в сторону фьерда, и солнце осветило его лысую макушку, вокруг которой остатки седых волос шевелились на ветру, как лишайник на высохшей ели.

— «Из земли ты вышла, в землю возвратишься, и спаситель наш Иисус Христос воскресит тебя в последний день! Господу помолимся!» — проговорил он своим звучным голосом, перекрывая шум ветра и плеск волн.

И похоронный обряд продолжался вплоть до завершающего «Отче наш», а после благословения пастор простер руку над водой для последнего прощания.

Все надели шапки. Густен пожал пастору руку и поблагодарил его, но видно было, что у него есть что-то недосказанное на сердце.

— Послушайте-ка, господин пастор, сдается мне... Может, и за Карлссона тоже надо бы помолиться?

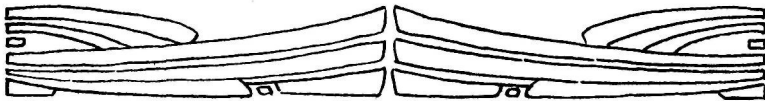
— Я молился за обоих, сынок! Но все равно, хорошо, что ты про него подумал, — ответил старик, явно растроганный куда больше, чем хотел бы признаться.

Солнце зашло, и теперь оставалось лишь поскорей разъехаться по домам.

Но всем хотелось оказать Флуду последний знак внимания: сев в лодки, его проводили немного, а затем лодки выстроились в одну линию, как для прощального салюта; парни подняли вверх весла и дружно прокричали «до свиданья!». Это была дань скорби, но также и дань уважения к молодому человеку, который ныне начинал самостоятельный жизненный путь.

И, сев у руля своей рыбацкой лодки, новый хозяин Хемсё велел батракам грести к дому, чтобы отныне самому вести свое собственное судно по бурным фьердам и бирюзовым проливам жизни.





ФРАНТ

Несчастье этого человека состояло в том, что он был сыном высокопоставленного и богатого чиновника; к тому же он носил имя, которое, не будучи обозначено в списке дворянских фамилий, звучало между тем вызывающе и раздражало окружающих еще больше тем, что писалось по-иностранному, из-за чего его неверно произносили: мешали лишние буквы!

Природа одарила юношу приятной внешностью, он умел ценить это и тщательно следил за собой: каждые полгода он обязательно покупал себе новый костюм, который приказывал чистить по утрам, и ни разу не позволил себе отправиться на лекцию без свежих манжет; в слякоть он не засовывал кое-как брюки в сапоги, а надевал галоши. У него было не очень хорошее зрение, и ему приходилось пользоваться лорнетом. Он полагал, что еще слишком молод носить очки.

Одни завидовали ему, другие — порицали, но причиной всех его несчастий было его воспитание; да будет эта история предостережением и родителям и наставникам молодых людей.

Несмотря на то что он закончил школу в столице, отец пожелал записать его в землячество Н-ского округа. Когда он перебрался туда, его сразу окружили широкоплечие, ростом в шесть футов студенты, каких ему раньше не приходилось видеть; они говорили на чуждом ему языке и с подозрением изучали его элегантный костюм. Поначалу никто из них не решался выпить с ним на брудершафт: ведь его скромность была расценена ими как высокомерие, но в конце концов староста все же предложил всем выпить на «ты» с юнцом из «водосточной канавы», как в то время провинция именовала столицу. Он отказался осушить все бокалы до дна и вызвал этим бурю негодования.

Он не раз пытался сблизиться со своими ровесниками, но они были заняты поиском более выгодных знакомств среди солидной публики.

Следующее посещение землячества обернулось для него еще большей неприятностью. Он не мог принять участие в конном сражении, потому что незадолго до этого кто-то разбил его лорнет.

Битва кавалерии проходила так: землячество делилось на две группы; на всадниках были шлемы и латы из театрального гардероба, в руках — сабли, и, сидя верхом на стульях, они скакали по комнате, после чего под истошные звуки трубы устремлялись в атаку. Поломанные стулья записывали в графу исходящего театрального реквизита.

На одном из подобных сборищ землячества какой-то поэт продекламировал поэму под названием «Франт», вызвавшую всеобщее ликование. Несчастный был представлен в стихах с головы до ног — с его брюками, с его цепочкой от часов, с его манжетами, с его галошами, не были забыты близорукие глаза, белоснежные носовые платки и родители.

С этого дня Франт никогда больше не заходил в землячество, а начал разыскивать своих полузабытых школьных товарищей.

По городу поползли причудливые слухи. Кто-то утверждал, что он ел вилкой в трактире, кто-то слышал, будто он за едой отказался выпить подряд четыре рюмки водки, а кто-то видел его скачущим верхом по Стокгольмсвеген. Он никогда не пропускал лекций; он был просто-напросто дураком, да, собственно, это было видно невооруженным глазом. Как-то утром несчастного разбудил здоровяк студент, который потребовал у него займы денег. Протесты не помогли — в руках у студента было заказное письмо, которое он «из уважения» собственноручно доставил Франту; и конечно же, он уже успел надорвать конверт и по-братски разделить вложенную в него сумму на две неравные части, но при этом он клялся, что письма не читал. А когда адресат посмел высказать свое недовольство, ему это припомнили на следующих выборах в землячестве.

Отныне он не заходил больше в читальню, потому что вслед ему только и сыпались язвительные оскорбления.

Молодому человеку вместе с друзьями по несчастью пришлось снять отдельное помещение, где они, уединившись, могли читать газеты и даже играли в карты. Но это было чрезвычайно неосторожно, ибо теперь сплетни, как снежная лавина, обрушились на город.

Говорили о тайных оргиях, о распутной жизни; и если раньше лишь презирали всех хорошо одетых студентов, то теперь их стали просто ненавидеть.

Когда его сестра уезжала в пансион в Лозанну, она оставила брату свою крошечную борзую, поскольку не могла взять щенка с собой.

Никогда раньше ни одна путешествующая королевская особа не вызвала в Упсале такого любопытства, как эта несчастная собачонка. Люди выстраивались на краю тротуара и громко смеялись ей вслед; на беднягу натравливали больших собак, а иногда, как бы невзначай, ударяли щенка тростью. Когда мороз достиг двадцати градусов, щенок начал мерзнуть, и Франт надел на него попонку. О подобном одеянии здесь раньше никто не знал; возмущение было всеобщим, оно слилось в один истошный крик: «На собаке

лошадиная попона!» Для этих людей было очевидно, что только лошади нуждаются в попонах.

Вскоре собаку пришлось отправить домой: однажды, когда он зашел с ней в погребок, ей запихнули в пасть кусок сахара, пропитанного коньяком, после чего она заболела.

Как-то раз Франт получил в подарок от своего близкого родственника изумительной красоты трость; он не расставался с тростью и решил украсить ее, заказав серебряную пластину на набалдашник. Эта ненужная роскошь обошлась ему в риксдалер, или в «четыре бокала пунша», как выразились бы упсальские гуляки; и поскольку ювелир то ли из тщеславия, то ли по неосмотрительности поставил на пластине пробу, эта в общем-то невинная деталь стала причиной новых страданий Франта. Как-то вечером один из студентов в поисках собственной трости разглядел серебряный набалдашник; так открылась тайна, которая скоро стала достоянием целого города. «А вы еще не успели увидеть трость?» — спрашивали в землячестве.

Целых восемь дней только и разговоров было, что о трости. Над ней потешались, ее пинали, швыряли во всех кабаках; серебряная пластина прогнулась, лак на трости стерся, и все-таки сломать трость не удалось: она была добротна и с любовью сделана. В этом и состояло несчастье Франта.

В один прекрасный день трость исчезла; он понапрасну долго искал ее там, где обычно оставлял, за галошницей. Он написал объявление и повесил его на углу дома, обещая вознаграждение тому, кто найдет ее. На углу собрались толпы людей; они смеялись, горланили и писали под объявлением насмешливые словечки.

Однажды утром владелец трости вышел из дома на свою обычную прогулку по берегу реки. Ему бросилось в глаза, что в одном месте земля у обочины дороги сильно разрыхлена, а дерн так разворочен, точно по нему прошло целое стадо. Но скот тут давно не пасся, а на влажной почве были отчетливо видны следы железных набоек. В траве что-то поблескивало; то была злополучная серебряная пластина, а неподалеку от нее валялась трость, растерзанная, истоптанная, согнутая как лук, но не сломанная — так вот почему земля была так вытоптана. О том, что это не вор позарился на трость, говорило уцелевшее серебро. Тогда кто же?

Природа и судьба наделили молодого человека столькими дарами, а он жил в этом маленьком городке долгие четыре года словно отверженный. Он будто и не был студентом, хотя им числился; он никогда не решался петь в хоре, заходить в землячество, участвовать в официальных церемониях, бывать в гостях, посещать балы и концерты; его всегда оскорбляли; среди своих однокашников он прослыл глупым, высокомерным, легкомысленным, распутным, одним словом — Франт. А ведь на самом деле он был совсем другим.

После четырех безотрадных лет он блестяще сдал выпускной экзамен по праву. И знаете, что сказали в Упсале?

— Надо же...

МУКИ СОВЕСТИ

После Седана миновало две недели, другими словами, была середина сентября 1870 года. Копировальщик прусского геологического управления, а на сей день лейтенант из резервистов господин фон Блайхроден сидел без сюртука за письменным столом в одной из комнат *Cafe du Cercle* — самого изысканного заведения деревеньки Марлотт. Форменный сюртук со стоячим воротником лейтенант повесил на спинку стула, и тот поник, будто мертвое тело, судорожно обвив пустыми рукавами ножки стула — как бы на случай внезапного падения головой вперед. На правой поле остался след от портупей, левая была до блеска истерта ножнами, а спинка была пыльной, как проселочная дорога. По низкам своих изношенных брюк господин геолог в звании лейтенанта мог бы даже вечером без труда изучать третичные отложения в данной местности, а когда к нему являлся вестовой, он по следам от грязных сапог безошибочно устанавливал, какие формации лежали на пути вестового — эоценовые или плиоценовые.

Господин лейтенант и впрямь был более геолог, нежели солдат, но на сей день он был прежде всего сочинителем письма. Он сидел, сдвинув очки на макушку, держа в руках перо и глядя за окно, где во всей осенней красе раскинулся сад с яблонями и грушами, чьи ветви клонились к земле под тяжестью великолепных плодов. Оранжево-красные тыквы нежились на солнышке возле колючих серо-зеленых артишоков; рядом с белыми, как хлопок, кочанами цветной капусты карабкались по жердочкам огненно-красные помидоры; подсолнухи величиной с тарелку поворачивали свои желтые круги к западу, куда начало клониться дневное светило; целые рощи георгинов, белых, словно накрахмаленные льняные простыни, пурпурно-красных, словно запекшаяся кровь, грязно-красных, словно свежая убоина, нежно-красных, словно трубуха, серо-желтых, желтых, как кудель, пятнистых, с разводами, пели слитную ораторию красок. Песчаную тропинку охраняли два ряда гигантских левкоев — сиреневых, ослепительных льдисто-синих либо соломенно-желтых, они углубляли перспективу до того места, где начинались буро-зеленые виноградники, напоминая рощу вакхических жезлов с краснеющими гроздьями, полускрытыми листвой. А на заднем плане белело несжатое ржаное поле, и скорбно клонились к земле наливные колосья с торчащей остью и чешуйками, что осыпались при каждом порыве ветра, возвращая земле ее дары и набухая соками, будто материнская грудь, от которой отняли младенца.

И уже совсем вдали, в лесу Фонтенбло, рисовались темные кроны дубов и купы буков, чьи причудливые очертания напоминали узор старинных брабантских кружев, сквозь ажурный край которых пробиваются золотыми нитями горизонтальные лучи вечернего солнца. Еще не перестали навеваться в богатые медом кладовые сада редкие пчелы; малиновка издала несколько рулад, сидя на ветке яблони; густые испарения волнами поднимались от левкоев,

так бывает, когда идешь по тротуару и перед тобой вдруг распахнут дверь парфюмерной лавки. Зачарованный этой волшебной картиной, лейтенант сидел, держа перо наперевес, как держат винтовку. «Какая красивая страна!» — подумал он, и мысли его устремились вспять, к бескрайнему песчаному морю родной стороны, среди которой торчат кое-где карликовые сосенки, вздымающиеся к небу узловатые ветки с мольбой не засыпать их песком по самую маковку.

Но на волшебную картину, оправленную в раму окна, то и дело с регулярностью маятника падала тень, отбрасываемая винтовкой часового, сверкающий штык рассекал пополам живописное полотно и менял направление под грушей, усеянной отборными наполеонками, зелеными, как киноварь, и желтыми, как кадмий. Лейтенант хотел было попросить часового нести вахту где-нибудь в другом месте, но не посмел. Тогда, чтобы по меньшей мере не видеть, как сверкает штык, он перевел глаза налево, за пределы сада. Там стояла кухня — постройка с желтыми оштукатуренными стенами, без окон и со старой, свилеватой виноградной лозой, распластанной по стене, словно скелет ископаемого животного в музее, но на лозе этой не осталось ни листьев, ни гроздьев; лоза была мертва и стояла будто распятая на кресте шпалеры, простирая длинные жесткие руки как бы с намерением стиснуть в объятьях часового всякий раз, когда тот оказывался поблизости.

Лейтенант оторвал взгляд и от этого зрелища и устремил его на стол. Там по-прежнему лежало неоконченное письмо к молодой жене, которая стала его женой четыре месяца назад, за два месяца до того, как началась война. Рядом с биноклем и картой французского генерального штаба лежала гартмановская «Философия бессознательного», а также «Парерга и Паралипомена» Шопенгауэра.

Лейтенант встал из-за стола и несколько раз прошелся по комнате. Раньше она служила залом для собраний и трапез покинувшей эти места колонии художников. Панели на стенах были по квадратам расписаны маслом — все сплошь воспоминания о солнечных часах, проведенных в этом прекрасном, гостеприимном краю, который так щедро предоставлял в распоряжение чужеземцев свои художественные школы и свои выставки. Здесь были танцующие испанки, римские монахи, побережье Нормандии и Бретани, голландские ветряные мельницы, рыбацкие поселки Норвегии и Швейцарские Альпы. В углу прикорнул мольберт орехового дерева, как бы укрываясь в тени от грозящих ему штыков. Там же висела измазанная палитра, где еще не совсем высохли краски, весьма напоминающая своим видом изъятую печень в окне лавчонки, где продают требуху. На вешалке лейтенант увидел несколько форменных в среде художников головных уборов — огненно-красных шапок испанской милиции, поблекших от дождя и солнца и со следами пота. Лейтенант почувствовал себя не совсем ловко, как человек, который без спросу прошел в чужое жилье и ждет, что с минуты на минуту нагрянет хозяин. Поэтому он

вскоре прервал свою прогулку по комнате и сел за стол, чтобы наконец-то дописать письмо. Уже были готовы первые страницы, исполненные сердечных излияний, заботливых расспросов и тревожных опасений, поскольку лейтенант недавно получил известие, подтверждающее его радостное предположение, что он скоро станет отцом. Он обмакнул перо в чернильницу более затем, чтобы иметь собеседника, нежели затем, чтобы сообщить нечто важное либо расспросить о подробностях.

Итак, он писал письмо: «Вот, например: я с приданной мне сотней людей после четырнадцатичасового марша без еды и без питья обнаружил в лесу брошенную врагом телегу с провиантом. Как ты думаешь, что было дальше? Оголодав до такой степени, что глаза у людей выступали из орбит, словно горный хрусталь из гранитной глыбы, часть незамедлительно распалась, все, как волки, набросились на еду, но еды могло хватить от силы человек на двадцать пять, и потому они схватились врукопашную. Моих команд никто не слушал, а когда сержант пытался урезонить их своей саблей, они сбили его с ног ружейными прикладами. Шестнадцать человек израненных, полумертвых осталось на месте. Те же, кто все-таки дорвался до еды, так обожрались, что почувствовали себя плохо и, рухнув прямо на землю, тотчас уснули. Соотечественник бил соотечественника, дикие звери передрались из-за добычи.

Или взять пример, когда мы получили приказ срочно соорудить заградительный вал, а под рукой в этой безлесной местности нет ровным счетом ничего, кроме виноградных лоз. Представь себе ужасное зрелище: буквально за час вырубают целый виноградник, а из лоз прямо с листьями и побегами плетут фашины, насквозь мокрые от сока раздавленных незрелых ягод. Нас заверили, что винограднику этому по меньшей мере сорок лет, стало быть, за один час мы уничтожили плоды сорокалетних трудов с единственной целью — создав укрытие для самих себя, стрелять в тех, кто насадил этот виноградник. Или когда мы затеяли перестрелку среди несжатого поля, где зерно хрустело под ногами, как снежный наст, а примятые колосья клонились к земле, чтобы сгнить после первого же дождя. Надеюсь, ты не подумаешь, моя дорогая, любимая жена, что после таких поступков человек может спокойно спать? Хотя, с другой стороны, я всего лишь выполнял свой долг. А ведь кое-кто осмеливается утверждать, будто сознание исполненного долга заменяет самую мягкую подушку!

Но нам предстоят дела еще более ужасные. Ты, верно, слышала уже, что французский народ, дабы увеличить численность своей армии, весь поднялся на борьбу и сформировал добровольческие соединения, которые под именем франтирёров пытаются отстоять свои дома и поля. Правительство Пруссии отказалось уравнивать франтирёров в правах с солдатами регулярной армии и приказало расстреливать их повсюду, где бы они ни встретились, как шпионов и предателей, то есть без суда и следствия. По той причине, как говорится в упомянутом приказе, что войну ведут государства,

а не отдельные личности. Но разве солдаты — это не отдельные личности? И разве франтиреры не солдаты? Они носят серую форму, как егерские части, а ведь именно форма делает человека солдатом. Да, они не зачислены в армию, гласит возражение. Верно, не зачислены, поскольку правительство не располагало временем, чтобы их зачислить, а коммуникации с сельской частью страны не налажены. У меня у самого в бильярдной, что по соседству с моей комнатой, содержатся три таких пленника, и в любую минуту из штаб-квартиры может поступить приказ касательно их участи».

На этом месте лейтенант прервал письмо и вызвал звонком вестового. Вестовой, несший вахту в буфетной, явился незамедлительно.

— Как там пленные? — полюбопытствовал господин фон Блайхроден.

— Да все хорошо, господин лейтенант, они играют в бильярд и не унывают.

— Пошли им несколько бутылок белого вина, только не крепкого... Происшествий никаких?

— Никаких, господин лейтенант. Еще будут.

И господин фон Блайхроден вернулся к прерванному письму. «Престранный народ эти французы! Три франтирера, о которых я уже говорил и которых, возможно (я говорю: «возможно», ибо все-таки надеюсь на лучшее), через несколько дней приговорят к смерти, сейчас играют в бильярд в соседней комнате, и я слышу удары киев о шары. Какое веселое презрение к смерти! А ведь хорошо так воспринимать свой уход из мира. Если только это не доказывает, что наша жизнь недорогого стоит, коль скоро люди могут так легко с ней расстаться. Я хочу сказать, когда у человека нет таких сладостных уз, которые привязывали бы его к жизни, как привязывают они меня. Надеюсь, ты не истолкуешь превратно мои слова и не вообразишь, будто я почитаю себя связанным... Ах, я и сам уже не понимаю, о чем пишу, я так много ночей не спал, и моя голова...»

Раздался стук в дверь. Когда лейтенант произнес «войдите», дверь отворилась, и в комнату вошел деревенский священник. Это был мужчина лет пятидесяти, вида приветливого, но в то же время решительного и озабоченного.

— Господин лейтенант, — начал священник, — я пришел просить у вас дозволения переговорить с пленниками.

Лейтенант встал, надел шюртук и одновременно жестом пригласил священника сесть на софу. Но когда он доверху застегнул эту тесную одежду, жесткий воротник обхватил его шею точно клещами, как бы сдавив органы благородных чувств, и кровь остановила свой бег на тайных путях к сердцу. Возложив руку на Шопенгауэра и тем опершись о письменный стол, лейтенант отвечал:

— Готов к услугам, господин патер, но, по-моему, пленные едва ли нуждаются в вашем обществе, ибо они развлекаются бильярдом.

— Полагаю, господин лейтенант, — гласил ответ, — что знаю свой народ лучше, чем знаете его вы. Разрешите тогда вопрос: вы намерены расстрелять этих парней?

— Разумеется, — сказал господин фон Блайхроден, совершенно войдя в свою роль. — Войну, господин патер, ведут государства, а не отдельные личности.

— Если позволите, господин лейтенант, себя и своих солдат вы, следовательно, личностями не считаете?

— Если позволите, господин патер, в данном случае — нет.

Лейтенант сунул письмо под промокательную бумагу и продолжал:

— В данном случае я не более как представитель Союза северогерманских государств.

— Вы правы, господин лейтенант, и ваша добросердечная императрица, да пребудет над ней благословение божье, точно так же была представительницей союза государств, когда обратилась с призывом к немецким женщинам не оставить раненых своей заботой. Я знаю во Франции тысячи отдельных личностей, которые возносят ей хвалу, в то время как французская нация проклиняет вашу. Господин лейтенант, во имя Спасителя нашего (тут патер встал, схватил за руки своего врага и продолжал со слезами в голосе), не могли бы вы обратиться к ней...

Лейтенант чуть не потерял выдержку, но сумел собраться с духом и ответил:

— До сих пор женщины у нас не мешались в политику.

— Очень жаль, — сказал священник и выпрямился.

Казалось, лейтенант прислушивался к чему-то за окном и потому пропустил мимо ушей слова патера. Он вдруг начал выказывать явное беспокойство, и лицо его сделалось белым как полотно, потому что тугой воротник не мог больше сдерживать отток крови.

— Присядьте, пожалуйста, господин священник, — сказал он невпопад. — Если вы желаете побеседовать с пленными, я не стану чинить препятствий, но, пожалуйста, пожалуйста, присядьте хоть на минуту. (Он снова прислушался, и тут до него отчетливо донесся стук копыт — два удара и еще два, как будто лошадиный галоп.) Нет, нет, пока не ходите, господин патер, — сказал лейтенант, и голос его пресекался. Патер остановился.

Лейтенант далеко, как только мог, высунулся из окна. Галоп становился все ближе, сменился медленной трусцой и смолк. Лязганье сабли и шпор, шаги по крыльцу — и в руках у господина фон Блайхродена оказалось письмо. Он вскрыл его по стигбу и прочел.

— Который час? — спросил он вдруг себя самого. — Шесть? Значит, через два часа, господин патер, пленным надлежит расстрелять без суда и следствия.

— Быть того не может, господин лейтенант, людей не отправляют в вечность таким способом.

— Вечность или не вечность, но приказ гласит, что это должно быть сделано до вечерней зори, коль скоро я не желаю, чтобы

меня самого сочли за пособника партизан. Далее следует суровый выговор за то, что я не сделал этого уже тридцать первого августа. Господин священник, пройдите к ним, поговорите с ними и избавьте меня от неприятностей...

— Значит, по-вашему, сообщить людям справедливый приговор — это неприятность?

— Я ведь все-таки человек, или вы думаете, что я не человек?

Он рывком распахнул сюртук, чтобы глотнуть воздуха, и начал расхаживать по комнате.

— Почему нам нельзя всегда оставаться людьми? Почему мы всю жизнь должны раздваиваться? О, боже, господин патер, пройдите, побеседуйте с ними. Они женаты? Есть ли у них жены и дети? Или, может, родители?

— Они холосты, все т р о е, — отвечал священник, — но уж эту-то ночь вы могли бы им подарить.

— Не могу! Приказ гласит: до вечерней зори, а на рассвете нам выступать. Пройдите к ним, господин патер, пожалуйста, пройдите к ним.

— Я пройду, господин лейтенант, только и вы попомните: вам нельзя никуда выходить без военного сюртука, не то вас постигнет та же судьба, что и этих троих, ибо именно мундир превращает человека в солдата.

С этими словами патер ушел.

Господин фон Блайхроден в крайнем возбуждении дописал последние строчки письма, запечатал его и позвонил.

— Отправьте это п и с ь м о, — сказал он вошедшему вестовому, — и пришлите ко мне сержанта.

Сержант явился.

— Трижды три будет двадцать девять... нет, трижды семь будет... сержант, возьмите трижды... возьмите двадцать семь человек и через час расстреляйте пленных. Вот приказ.

— Пристрелить? — недоумевающе переспросил сержант.

— Да, да, расстрелять. Выберите самых неисправных солдат, из тех, что уже бывали в деле. Вы меня поняли? Ну, например, номер восемьдесят шесть — Безеля, номер девятнадцать — Гевера и в таком же духе. Кроме того, отберите вспомогательную команду для меня, шестнадцать человек, и немедля. Самых отборных. Нам надо произвести рекогносцировку в Фонтенбло, а пока мы вернемся, чтоб все было сделано.

— Шестнадцать человек для лейтенанта, двадцать семь — для пленных. Да хранит вас бог.

И он ушел.

Лейтенант снова застегнул сюртук доверху, надел португую, сунул в карман револьвер. Затем он зажег сигару, но ему не курилось, потому что воздуху в легких не хватало. Он смахнул пыль с письменного стола, достал носовой платок и протер им нож для разрезания бумаги, сургуч и спичечный коробок. Положил линейку и ручку параллельно друг другу, но под прямым углом к бювару. Затем, покончив с этим, он начал расставлять мебель,

достал гребень и щетку и перед зеркалом привел в порядок свои волосы. Снял с гвоздя палитру и внимательно рассмотрел засохшие мазки, перемерил все красные шапки, попробовал установить мольберт на двух ножках. К тому времени, когда в саду под окном загромыхали прикладами солдаты вспомогательной команды, в комнате не осталось решительно ни одного предмета, которого лейтенант не коснулся бы своими пальцами. Выйдя к солдатам, он командовал «налево, ша-агом марш!» — и часть двинулась прочь из деревни. Казалось, будто лейтенант спасается бегством от превосходящих сил противника — солдаты едва попевали за ним. Выйдя в поле, он велел солдатам идти гуськом, след в след, чтобы зря не топтать траву. Больше он не оглянулся ни разу, но тот, кто шел непосредственно за ним, мог видеть, как спинка его сюртука время от времени идет складками, словно лейтенанта била дрожь либо он ждал удара сзади. На опушке лейтенант приказал людям остановиться и отдохнуть, не поднимая шума, а сам углубился в лес.

Оказавшись один и убедившись, что никто из солдат не может его видеть, он испустил глубокий вздох и повернулся лицом к темной чаще, через которую узкие тропки вели к Горж-о-Лу. Мелколесье и кустарник уже тонули в тени, но на верхушках дубов и буков еще сияло заходящее солнце. У лейтенанта было такое чувство, будто он лежит на дне мрачного озера и видит над собой сквозь зеленую толщу воды дневной свет, к которому уже никогда более не выплывет. Большой, дивно красивый лес, прежде с легкостью врачевавший его большой дух, нынче вечером казался таким негармоничным, таким холодным и враждебным. Жизнь виделась ему такой бессердечной, такой отвратной и полной раздвоенности, что даже природа и та, казалось, страдает от этого бессознательного, безвольного прозябания. Здесь тоже шла свирепая борьба за существование, пусть бескровная, но от того не менее жестокая, чем за пределами леса среди разумных существ. Он видел, как молодые дубки разрастались в пышные кустики, чтобы придушить редкие побеги бука, которые так никогда и не станут деревьями, как из тысячи буков от силы один может пробиться к свету, достичь гигантских размеров и в свою очередь отнимать у других жизненные соки. А дуб, безжалостный дуб, раскинувший свои узловатые шершавые руки, словно для того чтобы перехватить весь солнечный свет, дуб придумал борьбу и под землей. Он рассыляет свои длинные корни во все стороны, подрывает почву, отбирает у других растений мельчайшие питательные частицы, и там, где он не может убить своих противников тенью, он морит их голодом. Дуб уже разделался с еловым лесом, однако бук идет по пятам, как медлительный, но неумолимый мститель, ибо там, где он приходит к власти, его ядовитые соки отравляют все подряд. Он изобрел отравляющие вещества, против которых природа не знает средств, ибо даже трава и та не может расти под сенью бука, а земля под ним всегда черная, и поэтому будущее принадлежит ему.

Лейтенант все шел, шел, все вперед и вперед, ударяя саблей по кустам и не думая о том, сколько молодых дубков лишилось из-за него права на жизнь и сколько обезглавленных уродцев он вызовет к жизни. Он вообще ничего больше не думал, ибо вся деятельность его души превратилась в кашу, словно под пестиком ступки. Мысли пытались выкристаллизоваться, но тщетно, они расплывались прочь; память, чаяния, злость, едва уловимые чувства и одна всеобъемлющая ненависть против всего несправедливого, что благодаря таинственным силам природы царит в мире, сливались воедино в его мозгу, словно некий внутренний огонь спешно повысил температуру и заставил все твердые составные части принять жидкую форму. Он вздрогнул всем телом и круто остановился, потому что со стороны деревни раскатился по полю звук, умноженный подземными ходами вольчьего ущелья. Это был звук барабана. Сперва непрерывная дробь — тра-та-та-тра-та-та! И еще, и еще удары, один за другим, тяжелые, глухие, так заколачивают крышку гроба, опасаясь потревожить чрезмерным шумом прибежище скорби. Тра-та-та-та-та! Он достал часы. Без четверти семь. Через пятнадцать минут это должно произойти. Он хотел вернуться и посмотреть своими глазами... Но как же посмотреть, когда он сбежал! Да он ни за что на свете и не смог бы на это смотреть! И он вскарабкался на дерево.

С дерева он увидел деревню, светлую, радостную, всю в садах, и церковный шпиль, поднявшийся над коньками деревенских крыш. Больше он не увидел ничего. Он держал часы в руке и провожал глазами движение секундной стрелки. Тик-так, тик-так! Стрелка обегала маленький круг до того быстро, до того быстро. А длинная минутная, она совершала прыжок всякий раз после того, как секундная опишет круг, а солидная часовая стрелка, та вообще, как ему казалось, стояла на месте, хотя и она, конечно же, двигалась.

До семи оставалось пять минут. Он крепко, очень крепко ухватился за гладкий черный сук; часы дрожали у него в руке, в ушах глухо пульсировала кровь, и в затылке разлился удушающий жар. Бух! — прогремело вдруг, словно где-то разломали доску; над черной шиферной крышей, над светлой яблоней взмыл к небу и поплыл над деревней голубоватый дымок, светло-голубой, как весенняя тучка, вот только поверх этой тучки поднялись к небу белые кольца, одно кольцо, другое, много-много колец, словно стреляли в летящих голубей, а не в стенку.

Не так ужасно, как я опасался, сказал он самому себе, спускаясь с дерева и несколько успокоившись оттого, что все уже позади. Тут маленький колокол на деревенской церкви начал отзванивать вечный покой по всем убиенным, которые выполнили свой долг, но не по всем живущим, которые выполнили свой. Солнце село, и бледно-желтый месяц, проторчавший на небе с самого полудня, начал окрашиваться багрянцем и наливаться яркостью, а лейтенант со своей частью двинулся к Монкуру, всю дорогу преследуемый звоном малого колокола. Часть вышла на большое шоссе, ведущее к Немуру, где дорога, окаймленная двумя рядами тополей, казалось,

специально проложена для маршировки. Так они и шли, покуда не сгустилась тьма и безжалостный свет месяца не озарил все кругом. Сзади начали шептаться, и по шеренге шепотком пробежали слова, не следует ли попросить капрала намекнуть лейтенанту, что дороги здесь небезопасны и что ежели с рассветом выступать, пора бы вернуться на квартиры, но тут господин фон Блайхроден сам неожиданно скомандовал «стой!». Остановились они на взгорке, с верхушки которой можно было видеть Марлотт. Но лейтенант молчал и не двигался, будто охотничья собака, что делает стойку на выводок куропаток. И снова рявкнул барабан. И часы пробили девять в Монкуре, в Греце, в Бурроне, в Немуре, и все колокола заблаговестили к вечерней мессе, один громче другого, но над всем перезвоном гремел маленький колокол в Марлотте. Он говорил: «По-мо-ги-те! По-мо-ги-те!», а помочь господин фон Блайхроден не мог. Тут далеко окрест разнесся гул, будто поднявшийся из земных глубин, то был вечерний салют в штабквартире, в Шалоне. И сквозь легкий предвечерний туман, который, как комья ваты между оконными рамами, за клубился над речушкой Луан, проник лунный свет и захлестнул реку, словно поток лавы, который, как из кратера вулкана, тек из дальнего леска Фонтенбло. Вечер стоял удушливо теплый, но все солдаты были бледны будто смерть, так что кружившиеся над ними летучие мыши чуть не задевали их уши, как это свойственно летучим мышам, когда те завидят что-нибудь белое. Все понимали, о чем задумался лейтенант, но таким странным они его никогда еще не видели и опасались, что с этой бессмысленной рекогносцировкой на большой проезжей дороге дело обстоит неладно. Наконец капрал, взяв на себя смелость, подошел к нему и как бы в виде рапорта доложил, что уже протрубили вечернюю зорю. Господин фон Блайхроден выслушал его донесение очень кротко, как выслушивают приказ, и скомандовал к возвращению.

Когда они спустя примерно час вступили на улочки Марлотта, капрал заметил, что правую ногу лейтенанта сводит в колене, как у лошади, больной шпатов, и что он движется по диагонали, как слепень. На площади часть разошлась без проверки, и лейтенант сразу же ушел.

Но он не торопился в свою комнату. Его влекло что-то иное, хотя он и не понимал, что именно. Он метался по улочкам деревни, глаза у него были широко раскрыты, ноздри раскрылись, как у охотничьей собаки. Он разглядывал стены, он искал нюхом некий хорошо знакомый ему запах. Никто его не видел, никто ему не встретился. Он хотел увидеть, где «это» свершилось. Хотел увидеть, но в то же время боялся. Наконец, утомленный поиском, он направился домой. Посреди двора он остановился и обошел кругом кухню. В этом обходе он наскочил на сержанта и так испугался, что принужден был опереться о стену. Сержант испугался не меньше, но быстро оправился и доложил:

- Я искал господина лейтенанта, чтобы отдать рапорт.
- Ну вот и ладно, ну и ладно. Значит, все в порядке. Ступайте

на квартиру и ложитесь спать, — зачастил господин фон Блайхроден, словно боясь услышать подробности.

— Все в порядке, господин лейтенант, вот только...

— Ну и ладно! Ступайте, ступайте, ступайте! — И господин фон Блайхроден продолжал тараторить без умолку, так что сержант не мог вставить ни слова. Всякий раз, когда он открывал рот, лейтенант обрушивал на его голову поток слов. Под конец это ему надоело, и он ушел восвояси.

Лейтенант вздохнул с явным облегчением, словно мальчишка, которому удалось избежать порки.

Он находился теперь в саду. Месяц заливал нестерпимо ярким светом желтую стену кухни, и виноградная лоза простирала костлявые руки скелета, словно потягиваясь в нескончаемом зевке. Но что это? Каких-нибудь два-три часа назад лоза была мертва и безлисна, была всего лишь серым, корчащимся в конвульсиях остовом, а теперь не гроздя ли, прекрасные пунцовые гроздя свисали с нее и не зазеленела ли она?! Лейтенант даже подошел поближе, чтобы удостовериться, что это та же самая лоза.

Но, подойдя вплотную, он попал ногой во что-то липкое и почувствовал отвратительный приторный запах, как на бойне. И лозу он узнал, это была та же самая лоза, только штукатурка на стене была выщерблена пулями и забрызгана кровью. Значит, здесь! Значит, «это» произошло здесь!

Он поспешил прочь. Войдя в прихожую, он споткнулся, словно что-то попало ему под ноги. Поэтому он снял сапоги и вышвырнул их через дверь на улицу. Затем он прошел в свою комнату, где его ждал накрытый к ужину стол. Его мучил голод, но есть он не мог. Он остановился, тупо глядя на стол. Все было так опрятно приготовлено: аппетитные шарики масла, белые-белые, и в каждый сверху воткнута редиска; скатерть белая и, как он теперь увидел, не помеченная ни его собственными, ни его жены инициалами; круг овечьего сыра так аппетитно лежит на неизменных виноградных листьях, словно рукой, приготовившей все это, водило нечто большее, нежели страх перед военным судом или обязанность платить контрибуцию; красивый белый хлеб, ничуть не похожий на коричневые ковриги ржаного, красное вино в граненом графине, нежно-розовые пластины бараньего жиго — надо всем потрудились заботливые руки. Но лейтенант не смел прикоснуться к еде. Он вдруг схватил колокольчик и позвонил. На звонок немедленно явилась хозяйка и молча застыла в дверях. Она глядела на его ноги и ждала приказаний. А лейтенант не знал, что ему нужно, и уже не помнил, зачем позвонил. Но ведь надо же было хоть что-то сказать.

— Вы на меня сердитесь? — осмелился он спросить.

— Нет, господин, — смиренно отвечала хозяйка. — Вам чего-нибудь угодно? — И снова она воззрилась на его ноги.

Он проследил за направлением ее взгляда и обнаружил, что стоит в одних носках и что весь пол покрыт его следами, красными следами с отпечатками пальцев там, где носки прохудились от многочасового марша.

— Дайте мне вашу руку, добрая женщина, — сказал он, протягивая свою.

— Нет, — ответила хозяйка, взглянула ему прямо в глаза и вышла.

После этого оскорбления господин фон Блайхроден словно бы расхрабрился и взял стул, намереваясь сесть и поужинать. Он поднял блюдо с мясом, чтобы положить себе на тарелку, но вид мяса в такой близости от лица, а главное, его запах вызвали у лейтенанта приступ дурноты. Он встал, открыл окно и выбросил блюдо с мясом во двор. Его сотрясала дрожь, и он чувствовал себя совсем больным. Глаза вдруг приобрели такую чувствительность, что слезились от обычного света, а яркие цвета были для них вообще непереносимы. Он выкинул вслед за мясом и бутылку с вином, выдернул редиску из шариков масла, красные шапки художников, палитру, — все предметы, где был хоть намек на красное, подлежали изгнанию. Затем он лег в постель. Глаза у него устали, но закрыть их он не мог. Прележав так некоторое время, он услышал голоса в зале трактира.

— Стойкие были парни, те два, что поменьше, а высокий, тот оказался слабак.

— Если он упал у стены как куль, это еще не значит, что он был слабак, он ведь просил, чтоб мы привязали его к стене, он не хотел падать, он хотел стоять.

— Зато два другие, черт их подери, помнишь, как они стояли, и руки скрестили на груди, словно перед фотографом.

— Но когда ихний священник пришел к ним в бильярдную и сказал, что им крышка, их всех сразу вывернуло на пол, так, по крайней мере, говорил сержант, но кричать они не кричали и помилования никто не просил.

— Да, чертовы были парни! Твое здоровье!

Господин фон Блайхроден спрятал голову в подушку, заткнул уши простыней. Потом он все-таки встал.

Неодолимая сила влекла его к дверям, за которыми сидели сабутельники. Ему хотелось услышать другие подробности, но солдаты теперь говорили понизив голос. Он подкрался тогда вплотную к дверям и, согнув спину под прямым углом, приложил ухо к замочной скважине.

— А ты обратил внимание, как вели себя наши ребята? Они были серые, будто — вот видишь — пепел от моей трубки, и многие выстрелили в воздух. Только смотри никому ни гу-гу. Впрочем, те трое все равно свое получили. И весили много тяжелей, когда упали, чем когда пришли. Все равно что расстреливать картечью маленьких пташек.

— А ты видел красных мальчиков-певчих, как они стояли и распевали молитвы, с такими вроде как жаровнями! Когда раздался залп, знаешь, как будто пальцами сняли нагар со свечи, и они все покатались в гороховые гряды, что твои воробышки, и забили крыльями, и заморгали глазами. А потом пришла старуха подбирать ошметки. Господи! Но ничего не поделаешь, на то и война! Твое здоровье!

Господин фон Блайхроден услышал достаточно, и кровь до такой степени заполнила его мозг, что он никак не мог уснуть. Он прошел в трактир и попросил солдат разойтись.

Затем он разделся, окунул голову в умывальный таз, взял Шопенгауэра и лег почитать. Под бурное биение сердца он читал: «Рождение и смерть в равной мере принадлежат жизни и пребывают в равновесии, обуславливая друг друга; вместе они воплощают два полюса в откровении нашей жизни. Наиболее мудрая из всех мифологий, индусская мифология выразила эту мысль, сделав непременным атрибутом Шивы, бога, воплощающего разрушение, воплощающего смерть, наряду с ожерельем из черепов фаллос — орган и символ зарождения... Смерть есть болезненное исторжение из узла, которым сладострастие привязало нас к сущему, есть насильственное исправление основной ошибки нашего бытия, есть окончание странствия».

Он выронил книжку, ибо услышал какой-то крик и возню в собственной постели. Кто здесь может быть? Он увидел тело, нижняя часть которого свела судорога, а грудную клетку расперло, как обручи на бочонке, и еще он услышал странный гулкий голос, истошно вопивший под простыней. Это было его собственное тело! Неужели он раздвоился до того, что мог наблюдать себя со стороны и слышать свой голос, как голос чужого человека? Крик не умолкал. Дверь отворилась, и покорная хозяйка вошла в комнату, вероятно, сперва постучав.

— Что прикажете, господин лейтенант? — спросила она, и глаза у нее горели, а на губах играла странная улыбка.

— Я? — удивился больной. — Ничего. Вообще же мне очень плохо, и я попросил бы вызвать врача.

— Здесь нет врача, нам обычно помогает священник, — отвечала женщина, и на лице ее больше не было улыбки.

— Тогда пошлите за священником, — попросил лейтенант, — хотя я не слишком жалую священников.

— Но если человек болен, ему волей-неволей придется их жаловать.

Когда патер пришел, он сразу направился к постели и взял больного за запястье.

— Как по-вашему, что со мной? — спросил больной. — Что со мной?

— Нечистая совесть! — коротко ответил священник.

Господин Блайхроден так и взвился:

— Нечистая совесть у человека, который выполнил свой долг?

— Да, — сказал священник и, взяв мокрое полотенце, положил его больному на голову. — Выслушайте меня, если вы еще способны на это. Теперь вы обречены! На участь более страшную, чем участь тех троих. Слушайте меня внимательно. Я знаю симптомы. Вы стоите на границе безумия. Попытайтесь продумать эту мысль до конца. Думайте с предельным напряжением сил, и, возможно, вы почувствуете, как ваш мозг приходит в порядок. Слушайте меня и следите за тем, что я говорю, если только сможете. Вы

раздвоились. Вы воспринимаете часть самого себя как другого или даже третьего человека. Как это произошло? А вот как: большая социальная ложь породила раздвоенность у нас у всех. Когда сегодня днем вы писали своей жене, вы были одним человеком, правдивым, добрым, простым, за разговором со мной вы стали другим человеком. Подобно тому как лицей теряет самого себя и превращается в конгломерат сыгранных ролей, так и социальный человек представляет собой по меньшей мере две личности. И когда из-за потрясения, ошеломленности, грозы духа душа разрывается на части, перед нами оказываются две различные природы, одна лежит подле другой, одна разглядывает другую... Вот я вижу на полу книгу, которая и мне знакома. Это был человек глубокого ума, возможно, самого глубокого из всех донные известных. Он проник взором убожество и ничемность земной жизни так, словно учился у господина Спасителя нашего, и, однако, он и сам не мог избежать раздвоения, ибо жизнь, рождение, привычки, человеческие слабости толкали его вспять! Как видите, господин мой, мне доводилось читать не только требник. И сейчас я говорю с вами как врач, а не как священнослужитель, поскольку мы оба — следите за ходом моей мысли! — мы понимаем друг друга. Уж не думаете ли вы, что и мне неведомо проклятие, на которое обрекает меня моя двойная жизнь? Я не подвергаю сомнению священные предметы, ибо они вросли в мою плоть, проникли в меня до мозга костей, но я сознаю также, что, обращаясь к вам, я обращаюсь не от божьего имени. Понимаете, мы проникаемся ложью еще во чреве матери, всасываем ее с материнским молоком, и тот, кто при существующем положении захочет говорить правду... да, да... — вы следите за ходом моей мысли?..

Больной внимал словам патера с таким жадным вниманием, что даже не моргнул ни разу за все это время.

— А теперь вернемся к в а м , — продолжал п а т е р . — Есть такой коварный маленький предатель, ангел с факелом в руке, он повсюду носит корзину роз и забрасывает цветами груды отбросов; это ангел жи, имя ему — красота! Язычники поклонялись красоте в Греции, князья искали ее благосклонности, ибо она затуманивала взоры народа и мешала ему увидеть мир таким, как он есть. Она до сих пор бродит по жизни, обманывая и предавая. Почему вы, воины, рядитесь в пестрые, яркие одежды, украшенные золотом? Почему вы всегда исполняете свою работу под музыку, с развевающимися знаменами? Не затем ли, чтобы скрыть истинное лицо своего ремесла? Любите вы правду, вы ходили бы в белых блузах, как на скотобойне, чтобы отчетливей проступали кровавые пятна, вы, как мясники, носили бы напоказ нож и топор, липкий от костного мозга и красный от капающей с него крови. Вместо музыкантов вам бы надо гнать перед собой толпу воющих людей, которые лишились рассудка на поле боя, вместо знамен вам бы надо размахивать саванами, а в обозе везти вместо амуниции гробы!

Больной, извивавшийся в конвульсиях, сложил теперь руки для

молитвы и грыз ногти. Священник продолжал жестко, неумолимо, с ненавистью в голосе:

— По природе своей ты добрый человек, и не доброго человека в тебе я намерен покарать, нет, я караю в тебе представителя, как ты сам себя назвал, и эта кара должна послужить предостережением для других. Ты хочешь увидеть три трупа? Ты хочешь их увидеть?

— Нет, нет, ради бога, не надо, — вскричал больной, чья сорочка промокла от холодного пота и прилипла к лопаткам.

— Твоя трусость доказывает, что ты человек и труслив, как положено быть человеку.

Больной взвился, словно его хлестнули кнутом; лицо у него стало спокойным, грудь перестала судорожно вздыматься, и холодным голосом, как вполне здоровый человек, он сказал:

— Отыди от меня, дьявол в священническом обличье, не то ты доведешь меня до дурацких поступков.

— Но я не приду во второй раз, если ты пошлешь за мной, — отвечал п а т е р . — Запомни это! Запомни, что если ты не сможешь уснуть, это будет не моя вина, а скорей уж тех, кто лежит в бильярдной. В бильярдной, понял?

Тут патер распахнул двери в бильярдную, и в комнату, где лежал больной, ворвался ужасный запах карболки.

— Нюхай, нюхай! Это тебе не пороховый дым, об этом не сообщают домой по телеграфу, как о великом подвиге: «Одержана крупная победа, трое убито, один сошел с ума, благодарение богу». Ради этого не пишут стихи, не бросают цветы на мостовую, не рыдают в церквях! Это не победа, это бойня, понимаешь, бойня!

Господин фон Блайхроден соскочил с постели и выпрыгнул в окно. Во дворе лейтенанта перехватил кто-то из его солдат, и он пытался укусить этого солдата в левый бок. Затем его связали и доставили в лазарет при штаб-квартире, а оттуда — в психиатрическую лечебницу, ибо столь ярко выраженный приступ безумия можно лечить только там.

Было солнечное утро в конце февраля 1871 года. По крутому холму Мартерей, что в Лозанне, медленными шажками поднималась молодая женщина под руку с мужчиной средних лет. Женщина была в последних днях беременности и не столько шла, сколько висела на руке у своего спутника. Лицо у нее было совсем детское, но мертвенно-бледное от горя, и платье она носила черное. На мужчине же, идущем подле нее, был обычный костюм, из чего прохожие могли заключить, что он не ее муж. На лице у мужчины читалась глубокая озабоченность, он время от времени наклонялся к маленькой женщине и что-то ей говорил, после чего снова погружался в собственные мысли. Выйдя на площадь к Старой таможне перед рестораном «У медведя», оба остановились.

— Поднимемся еще немного? — спросила она.

— Пожалуй, дорога не с т р а , — отозвался мужчина . — Только давай чуть-чуть отдохнем.

И они сели на скамью у входа в ресторан.

Сердце у нее билось медленно-медленно, и грудь вздымалась с трудом, словно ей не хватало воздуха.

— Мне жаль тебя, мой бедный брат, — сказала она, — я понимаю, как ты всей душой рвешься к своим домашним.

— Как бы то ни было, сестра, не надо об этом говорить. Пусть мысли мои витают порой далеко отсюда, пусть я нужен у себя дома, но ты — моя родная сестра, а от своей плоти и крови не отрекаются.

— Надеюсь, — сказала фрау фон Блайхроден, — перемена воздуха и новый метод лечения помогут ему. Как ты думаешь?

— Очень может быть, — бодро отвечал брат, глядя при этом в сторону, чтобы она не прочла сомнения на его лице.

— Какую зиму я провела во Франкфурте! Подумать только, что судьба может быть такой жестокой. Мне кажется, я бы легче снесла его смерть, чем это погребение заживо.

— Надежда никогда не умирает, — сказал брат безнадежным тоном. И мысли его вернулись к собственным детям и собственным угождам. Впрочем, он почти сразу устыдился своего эгоизма, мешавшего ему полностью разделить горе сестры, которое, по сути, не было его горем и свалилось на него ни за что ни про что, а устыдившись, рассердился на себя.

Тут из-за холма донесся пронзительный и протяжный крик, похожий на свисток паровоза, раз, потом другой.

— Разве поезда ходят так высоко в горах? — спросила фрау фон Блайхроден.

— Наверно, ходят, — ответил брат и прислушался, широко распахнув глаза.

Крик повторился, но теперь он походил на крик тонущего.

— Вернемся домой, — сказал, побледнев, господин Шанц, — сегодня тебе этот холм все равно не одолеть, а завтра мы будем благоразумнее и возьмем дрожки.

Но женщина непременно хотела идти дальше, и они побрели по длинному взгорбку холма. Для них это был поистине крестный путь. В зеленых зарослях боярышника по обеим сторонам дороги сновали черные дрозды с желтыми клювами, на увитых плющом оградах взапуски шныряли и скрывались в трещинах проворные серые ящерики; весна была в полном разгаре, потому что зимы так и не было; по обочинам цвела примула и чемерица, но вся эта красота не привлекала внимания тех, кто восходил на Голгофу. Достигнув середины склона, они вновь услышали загадочные крики. Словно охваченная внезапным предчувствием, фрау фон Блайхроден обернулась к брату, устремила погасший взор в его глаза, чтобы увидеть там подтверждение своей догадки, после чего без звука рухнула на дорогу, и желтая пыль густым облаком укутала ее. Она же так и осталась лежать.

Прежде чем брат успел опомниться, какой-то услужливый путник сбегал за экипажем, и когда молодую женщину уложили на сиденье, она тотчас начала в тяжелых муках производить на свет свое дитя, так что теперь можно было одновременно услышать два крика, два человека зывали теперь из глубочайших глубин скорби, а госпо-

дин Шанц, потерявший в суете свою шляпу, стоял на подножке, устремив взгляд в голубое весеннее небо, и думал про себя: «Ах, если бы небо услышало эти крики, но нет, оно, без сомнения, слишком высоко».

Наверху, в лечебнице, господина фон Блайхродена поместили в палате окнами на юг. Стены здесь были закрыты мягкой обивкой и выкрашены в нежно-голубой цвет, сквозь который рисовались едва заметные очертания пейзажа. Потолок был расписан под крытый переход, оплетенный виноградными лозами. Пол был выстлан циновками, а под циновками лежала солома. Мебель была обложена конским волосом и обтянута тканью, так что нигде на поверхности не осталось ни острых деревянных углов, ни граней.

Угадать, где среди всего этого помещается дверь, не представлялось возможным, и потому у больного не возникала ни мысль о выходе, ни ощущение, будто его заперли, что для возбужденного сознания всего опасней. Окна, разумеется, были снабжены решетками, но решетками красивой работы, изображавшими листву и цветы, так что при соответствующей росписи их никто не воспринимал как решетки.

Безумие господина фон Блайхродена выразилось в форме мук совести. Он убил виноградаря при загадочных обстоятельствах, и не сознавался он в своем преступлении по той лишь причине, что не мог вспомнить, при каких именно. Теперь он сидел в тюрьме и ждал, когда приговор будет приведен в исполнение, ибо его приговорили к смерти. Но в этом тягостном ожидании выдавались светлые часы. Тогда он развешивал по стенам своей комнаты большие листы бумаги и исписывал их силлогизмами. Тут он вдруг вспоминал, что приказал расстрелять французских франтирёров, зато он решительно не мог вспомнить, что был когда-то женат, и посещения жены воспринимал как посещения ученицы, которую он наставляет в логике. Он исходил из посылки, что франтирёры были предателями и что приказ гласил: расстреляй их. Как-то раз его жена, которая поневоле должна была соглашаться со всем, что он ни скажет, имела неосторожность усомниться в истинности посылки, что все франтирёры суть предатели; тогда он сорвал со стены свои логические выводы и сказал, что не пожалеет и двадцати лет, чтобы доказать истинность посылки, ибо каждую посылку прежде всего надо доказать. Вообще же у него есть грандиозный проект, направленный на благо всего человечества. Куда устремлены все наши усилия на этой земле? — спрашивал он. Зачем правит король, проповедует священник, творит поэт, рисует художник? Чтобы поставить телу азот. Азот — это самое дорогое из всех средств питания, вот почему так дорого мясо. Азот равен интеллекту, поскольку люди богатые, которые питаются мясом, гораздо интеллигентнее, чем те, кто в основном питается углеводами. Но запасы азота не бесконечны, вот в чем причина возникновения войн, забастовок, газет, читателей и правительственных ассигнований. Необходимо открыть новый источник азота, господин фон Блайхроден открыл его, и отныне все люди будут равны. Свобо-

да, равенство и братство станут реальностью нашей жизни. А имя этому неисчерпаемому источнику: воздух. Воздух содержит 79% азота, надо только найти такой способ, чтобы легкие усваивали азот непосредственно из воздуха и перерабатывали на потребу организму, без промежуточных стадий, без превращения в траву, зерно, зелень, которые скот, в свою очередь, превращает в мясо. Эта проблема принадлежала будущему и господину фон Блайхродену; когда она будет решена, отпадет надобность в земледелии и животноводстве и наступит золотой век. В промежутках между этими рассуждениями господин фон Блайхроден возвращался мыслями к совершенному убийству и был тогда глубоко несчастен.

В то февральское утро, когда госпожа фон Блайхроден шла к лечебнице и была принуждена вернуться домой с полдороги, муж ее сидел у себя и смотрел в окно. Сперва он разглядывал виноградные листья на потолке и пейзаж на стенах, потом сел в удобное кресло перед окном, так, чтобы ничто не заслоняло ему вид. У него выдался спокойный день, потому что накануне вечером он принял холодную ванну и хорошо проспал всю ночь. Он сознавал, что на дворе февраль, но не понимал, где находится. Снега не видно — такова была его первая мысль, и это его удивило, потому что ему не доводилось прежде бывать в странах более южных. За окном росли зеленые кусты, калина, вся усыпанная белыми соцветиями, лавровишня с блестящими светло-зелеными листьями, которые не меняют своего цвета всю зиму, самшит, вяз, сплошь опутанный плющом, который обвил каждую ветвь дерева, создавая впечатление, будто все оно укрыто листьями; по газону, засеянному примулой и распустившимся серным цветом, ходил работник и косил траву, а девушка сгребала ее. Он даже взял календарь, чтобы удостовериться, и прочел: февраль. Выходит, в феврале косят и сгребают траву? Где же я нахожусь?.. Затем его взоры устремились за пределы сада, и он увидел глубокоую долину с пологими склонами, зелеными, как луг среди лета; по склонам там и сям были разбросаны деревни и церкви; плакучие ивы тоже зеленели, как летом. В феврале! — снова подумалось ему. Там, где кончалась зелень лугов, лежало озеро, спокойное, голубое, как воздух; на том берегу синели дальние поля, а над дальними полями высилась горная цепь, но и она в свою очередь была накрыта чем-то, похожим на тучи нежно-белого оттенка, как свежесмытая шерсть, почему-то увенчанная острыми зубцами, а еще выше плыли легкие облачка, сливаясь порой с зубчатыми тучами. Он не знал, где находится, но кругом все было так красиво, как не бывает на земле. Может быть, он умер и попал в другой мир? Ведь не Европа же это?! Наверно, он все-таки умер. Он погрузился в тихие раздумья, пытаясь освоиться со своим новым положением. Потом он снова поднял взгляд и увидел весь этот солнечный пейзаж, взятый в рамку и пересеченный оконными решетками, причем кованые чугунные лилии и листья выглядели так, будто они парят в воздухе. Поначалу он даже испугался, но потом успокоился вновь; он еще раз внимательно оглядел пейзаж, всего внимательней — остроконечные светло-розовые тучи. И небывалая радость проснулась в нем, и про-

хладная свежесть овевала его голову; он почувствовал, что извилины его мозга, прежде перепутанные как попало, начали приходить в порядок и принимать должное расположение, и до того обрадовался этому чувству, что душа у него запела, ему, во всяком случае, так показалось, но поскольку он никогда в своей жизни не пел, вместо мелодии с его губ сорвался крик, ликующий крик; именно эти проникшие через окно крики услышала его жена и пришла в такое отчаяние. Просидев некоторое время с песней на устах, он вспомнил старую олеографию под Берлином в одном из пригородных кегельбанов. Олеография эта изображала якобы швейцарский пейзаж, и тут он догадался, что находится в Швейцарии и что зубчатые облака перед ним — просто Альпы.

Делая второй обход, врач застал господина Блайхродена сидящим вполне спокойно в кресле у окна и тихо напевающим. Отвлечь господина Блайхродена от прекрасной картины врачу не удалось. Но зато он был вполне разумен и прекрасно сознавал свое положение.

— Господин доктор, — начал он, указывая на железную решетку у, — зачем вам понадобилось так заклеить железными цветами этот прекрасный пейзаж? Вы не хотели бы выпустить меня из комнаты? Я думаю, это пойдет мне на пользу, и обещаю вам не совершать попыток к бегству.

Врач взял больного за руку, чтобы незаметно указательным пальцем пощупать его пульс у основания большого пальца.

— Семьдесят, дорогой доктор, всего лишь семьдесят, — с улыбкой сказал пациент. — И ночью я спал хорошо. Вам нечего опасаться.

— Меня радует, — ответил врач, — что лечение пошло вам на пользу. Я не возражаю, вы можете выходить.

— Знаете, господин доктор, — сказал больной с живым волнением, — знаете, я чувствую себя так, будто некоторое время был мертв, а теперь воскрес, но уже на другой планете, до того здесь все красиво, я и представить себе не мог, что на земле возможна такая красота.

— Да, господин Блайхроден, земля продолжает оставаться прекрасной там, где культура не изуродовала ее, а в этих краях природа достаточно сильна, чтобы обращать в ничто все человеческие усилия. Думаете, ваша страна всегда выглядела так безотрадно, как нынче? Нет и нет, там, где теперь раскинулись песчаные пустоши, неспособные прокормить даже козу, некогда шумели великолепные леса, дубовые, буковые, сосновые, а под их сенью паслась красная дичь, и тучные стада столь любимого у северян домашнего скота набивали свою утробу желудями.

— Да вы руссоист, господин доктор, — перебил пациент.

— Руссо был женевцем, господин лейтенант! Там вдали, на берегу озера, где вдается в сушу залив, который виден отсюда над верхушками вязов, там он явился на свет, там он страдал, там были преданы огню его «Эмиль» и «Общественный договор», два евангелия природы, а чуть левее, у подножья Вализских Альп, где лежит маленький Кларенс, он написал свою книгу любви, «Новую Элоизу». Ибо вы видите перед собой не что иное, как Лак-Леман.

— Лак-Леман! — вскрикнул господин фон Блайхроден.

— Именно в этой тихой долине обитали миролюбивые люди, — продолжал врач, — среди которых искали исцеления все страждущие умы! А теперь взгляните направо, как раз над маленькой башней и тополями, там расположено Ферне. Туда бежал Вольтер, будучи осмеян в Париже, там он возделывал землю и воздвиг святую обитель высшему существу. А вот чуть поближе лежит Коппе. Там жила мадам де Сталь, злейший враг предателя народов Наполеона, та самая мадам де Сталь, которая осмелилась поучать французов, своих соотечественников, доказывая им, что немецкая нация не есть варварский враг Франции, ибо нации никогда не испытывают ненависти друг к другу. Теперь взгляните налево: сюда, к этому тихому озерку, бежал истерзанный Байрон, когда, подобно плененному титану, вырвался из тех пут, которыми оплела его могучую душу эпоха реакции и мракобесия, здесь он излил на бумаге свою ненависть к тиранам, написав «Шильонского узника». Здесь, у подошвы высокой горы Граммон, за рыбацким поселком Сен-Женгольф, он однажды чуть не утонул, но мера его жизни тогда еще не исполнилась. Сюда бежали все они, кто не мог больше дышать тлетворным воздухом, нависшим над Европой, словно холера, после того как Священный союз подло, из-за угла убил революцию, убил вновь обретенные человеком права. А внизу, глубже на тысячу футов под вашими ногами, Мендельсон сочинял свои скорбные песни, а Гуно написал своего Фауста. Вы, верно, и сами видите, где он искал вдохновения для своей Вальпургиевой ночи — здесь, в ущельях Савойских Альп. Здесь Виктор Гюго творил свои неистовые, карающие песни о декабрьском предателе. И здесь же, внизу, в маленьком, тихом и неприметном Веве, куда не может проникнуть северный ветер, по странной прихоти судьбы искал забвения от ужасов Садовой и Кёнигграца ваш собственный император. Здесь скрывался Горчаков из России, когда почувствовал, что почва у него под ногами заколебалась, здесь Джон Рассел, омывшись от политической грязи, дышал чистым незамутненным воздухом; здесь Тьер пытался привести в порядок свои мысли, порой сумбурные и противоречивые из-за враждебных политических бурь, и пусть теперь, верша судьбы целого народа, он вспомнит часы невинных раздумий, когда его дух в тишине и покое общался с самим собой, здесь, среди мягкой, но и строго царственной природы! А еще дальше, в Женеве, господин лейтенант! Там не проживает в своем дворце какой-нибудь король, зато там родилась мысль, которая по значению не уступит идее христианства и апостолы которой тоже носят крест, красный крест на своих белых знаменах! И куда ружье системы «маузер» целилось во французского орла, а ружье системы «шассно» — в орла немецкого, красный крест превозносили как святыню те, кто не склонился бы даже перед черным крестом, и я думаю, что будущее победит именно под его знаменем.

Пациент, спокойно выслушавший эту странную проповедь, до того чувствительную, чтобы не сказать сентиментальную, будто произнес ее священнослужитель, а не врач, испытал некоторое смущение.

— Вы увлеклись, господин доктор, — сказал он.

— С вами произойдет то же самое, когда вы проведете здесь три месяца, — сказал врач.

— Значит, вы верите в успех лечения? — спросил пациент уже не так скептически.

— Я верю в неисчерпаемые возможности природы исцелять болезни цивилизации! — отвечал врач. — Чувствуете ли вы в себе достаточно сил, чтобы перенести радостное известие? — продолжал он, бросив на больного пылкий взгляд.

— Совершенно, господин доктор.

— Ну, хорошо. Заключен мир.

— Боже ве... Какое счастье! — воскликнул пациент.

— Разумеется, — согласился врач, — но не спрашивайте меня больше ни о чем, потому что сегодня я вам ничего больше не скажу. А теперь можете выйти из комнаты. Я только хотел бы сперва вас предупредить, что ваше выздоровление не будет идти так прямо и неуклонно, как вы, вероятно, полагаете. Возможны рецидивы. Видите ли, память — это наш злейший враг и... Но теперь следуйте за мной.

Врач взял больного под руку и вывел его в сад. Никакие решетки и стены не преграждали пути, одни лишь живые изгороди, которые заводили путника в лабиринт и неизбежно возвращали к тому месту, откуда он вышел, но за каждой изгородью тянулся глубокий ров, который нельзя было перешагнуть. Лейтенант искал привычные слова, дабы выразить свои восторги, но сознавал, что они плохо сочетаются со всем недавно услышанным, и предпочел не открывать рта, внимая удивительной и неслышной музыке своих нервов. Казалось, будто все душевные струны были настроены заново, и на него снизошел покой, которого он не знал давным-давно.

— Вы все еще сомневаетесь в моем полном выздоровлении? — спросил ой врача с жалостной улыбкой.

— Вы начали поправляться, как я уже вам говорил, но вас еще нельзя назвать вполне здоровым.

Тем временем они подошли к небольшой сводчатой двери в каменной стене, через которую спешили пациенты в сопровождении санитаров.

— Куда идут эти люди? — спросил больной.

— Следуйте за ними, увидите сами, — сказал врач. — Я не возражаю.

И господин фон Блайхроден вошел в двери. Врач же знаком позвал санитаров.

— Ступай к фрау фон Блайхроден в отель Фосон, — сказал он ему, — поклонись от меня и скажи, что ее мужу заметно лучше, но о ней он покамест не спрашивал. В тот день, когда он спросит о ней, можно будет считать, что он выздоровел.

Санитар ушел, а доктор последовал за своим подопечным через стрельчатые каменные двери.

Господин фон Блайхроден попал в большое помещение, не похожее ни на одно из виденных им прежде. Не церковь, не театральный

зал, не школьный класс, не ратуша, а от всего понемножку. В глубине помещение завершалось апсидой, которая открывала взорам тройное окно с цветными стеклами, причем все цвета были мягкие и гармоничные, словно подбирал их истинный художник-колорист, и свет, проникавший через эти стекла, преломлялся в едином, гармоничном аккорде мажорного звучания.

На большого это произвело впечатление подобное тому, какое производит до-мажорный аккорд, разгоняющий мрак Хаоса в гайдновской оратории «Творение», когда хор после тяжелой, мучительной работы наконец упорядочивает стихийные силы природы в финале и провозглашает: «Да будет свет», а херувимы и серафимы подхватывают его слова.

Под окном высился сталагмит, образуя свод, откуда все время сочилась струйка воды, падая в бассейн, где стояли каллы, склонив долу свои чаши, белые, как ангельские крылья. Колонны, ограничивавшие апсиду, нельзя было отнести ни к какому архитектурному стилю, снизу и до самого потолка их одевал мягкий бурый мох. Нижние панели стен были прикрыты еловым лапником, а свободные верхние плоскости украшены листвой различных растений — лавра, падуба, омелы в виде орнамента, который тоже не позволял отнести его к какому-нибудь определенному стилю; кой-где листья начинали складываться в буквы, чтобы тотчас смениться мягкими и причудливыми формами, напоминающими арабески Рафаэля. Под оконными люнетами висели большие венки, словно в честь майского дня, а по верхнему фризу проходил орнамент, за которым не угадывался ни египетский бордюр с мотивами лотоса, ни греческий лиандр, ни римские вариации аканфа, ни романские химеры, ни готические крестоцвет и трилистник. Господин фон Блайхроден огляделся по сторонам и увидел, что пол уставлен скамьями и на них сидят пациенты лечебницы, погруженные в тихое созерцание. Он сел на одну из скамей, услышал рядом чьи-то всхлипывания и увидел мужчину лет примерно сорока. Мужчина плакал, закрыв лицо ладонями. У него был крючковатый нос, усы и эспаньолка; в профиль он весьма напоминал лицо, которое господин фон Блайхроден видел на французских монетах. Значит, это скорее всего был француз, и они сидели рядом, враг подле врага, и оба оплакивали что-то, но что? Что они честно выполнили свой долг перед отечеством? Господин фон Блайхроден встревожился, но тут послышалась тихая музыка. Это орган исполнял хорал, хорал был мажорный, не лютеранский и не католический, не кальвинистский и не греческий, но он говорил сердцу, и больной различал слова, полные утешения и надежд. И тут в апсиде встал человек, наполовину закрытый сталагмитом. Кто был этот человек, не священник ли? Но нет, на человеке был светло-серый сюртук, светло-голубой шейный платок, а в вырезе жилета виднелся белый пластрон. И молитвенник он в руках не держал, но тем не менее он заговорил. Он говорил спокойно и просто, как говорят с друзьями, он говорил о ясных постулатах христианства, о том, чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, быть терпимым, снисходительным, прощать врагам своим; он говорил о том, что Христос пред-

ставлял себе человечество как единый народ, но что дурная природа человека противилась этой великой мысли и человечество разбилось на нации, секты, школы; высказал он также и твердую надежду, что основы христианского учения скоро будут воплощены в жизнь. Проговорив с четверть часа, оратор спустился вниз и сотворил короткую молитву всемогущему богу, хотя не помянул в своей молитве ни Христа, ни Деву Марию, ни святого Николая, ни Анастасия, ни другое имя, которое могло бы напомнить какую-нибудь официальную религию и пробудить страсти.

Господин фон Блайхроден словно очнулся после сна. Значит, он побывал в церкви, он, кто, наскучив мелочными религиозными конфликтами, вот уже пятнадцать лет не посещал ни одного богослужения. И после этого здесь, здесь, в сумасшедшем доме, он встретил законченное воплощение свободной церкви; здесь сидели бок о бок представители римско-католической церкви, греческой, лютеранской, кальвинистской, цвинглианской, англиканской и воссылали общие мысли общему богу. Какой уничижительной критикой всех и всяческих сект, превращенных человеческим эгоизмом в равное количество убивающих друг друга, сжигающих друг друга, поносящих друг друга религий служило само существование этого зала! Какой поддержкой обвинениям, выдвигаемым «неверной» церковью против политического, династического христианства!

Почему здесь нет креста перед алтарем? Потому что человек стыдится этой виселицы римского происхождения, которую однажды воздвигла глупость как свидетельство высшей правды. И этот знак позора, который скорей надлежало бы упрятать куда-нибудь подальше, как прячут в самых дальних и неприглядных залах музея орудия пыток минувших времен, подняли над человечеством и понесли вперед как знамя борьбы! Двусмысленное поощрение, ироническое предостережение грядущим свидетельствам! Почему — уж если действовать в этом направлении, — почему перед алтарем не установили тогда гильотину, на кафедру не повесили испанские сапоги и тиски для пальцев, почему паству не заставляют причащаться на дыбе? Это было бы куда последовательнее.

Господин фон Блайхроден обвел взглядом красивое помещение, чтобы отогнать вызванные им же страшные видения. Глаза его блуждали, блуждали и под конец остановились на торцовой стене напротив апсиды. Там висел огромный венок, а на венке было написано одно-единственное слово, буквы которого были сложены из еловых веток. Фон Блайхроден прочитал французское слово «Noël» и тотчас перевел для себя: рождество. Какой поэт сумел сочинить эту церковь? Какой знаток человеческих душ, какой глубокий ум сумел пробудить самое прекрасное и чистое из всех воспоминаний? Разве затуманенный разум не знает этой страстной тоски по свету и ясности, вспоминая праздник света, когда темные дни на рубеже года подходят к концу, либо, по меньшей мере, скоро подойдут. Разве мысль о детстве, когда никакие религиозные раздоры, никакая политическая вражда, никакие тщеславные пустые мечтания не омрачали чув-

ство справедливости, присущее чистым умам, разве эта мысль не должна найти в душах отклик, заглушающий звериный вой, который доныне один звучал над миром в борьбе за хлеб, чаще всего бесславной. Фон Блайхроден подумал и спросил у себя: как может человек, бывший в детстве таким чистым, стать с годами таким скверным? А вдруг это воспитание и школа, сей высоко превозносимый цветок цивилизации, делают нас плохими? Может быть! Чему учат нас первые учебники? — подумал он. Они учат, что бог есть мститель, который карает детей за грехи отцов до третьего и четвертого колена; они учат считать героями тех, кто натравливает один народ на другой, грабит земли и страны; считать великими тех, кто сподобился чести, никчемность которой всем видна и тем не менее всем желанна; считать государственными деятелями тех, кто хитростью достиг завидных — не высоких, а завидных — целей, тех, все заслуги которых основаны на недостатке совести и которые потому неизбежно одерживают верх над теми, кто ею наделен. И для того, чтобы наши дети выучились всему этому, родители приносят жертвы, терпят лишения, идут на разлуку с детьми. Не будь вся земля сумасшедшим домом, тогда и это место не было бы самым разумным из всех, где ему когда-либо доводилось бывать!

Он снова взглянул на единственное написанное слово во всей церкви, снова прочел его по буквам, и тогда в тайниках его памяти начала оживать картина — так фотограф омывает железным купоросом серый негатив, извлеченный из камеры. Фон Блайхродену привиделось его последнее рождество. Последнее? Нет, тогда он был во Франкфурте. Значит, предпоследнее. Он первый раз проводил вечер в доме своей нареченной, ибо как раз накануне обручился с ней. И вот он увидел дом, старый дом пастора, своего будущего тестя; он увидел низкую залу с белым буфетом, роялем, чижиками в клетках, бальзаминном на подоконнике, шкафом с серебряными кружками и курительными трубками, пенковыми и керамическими, из красной глины; а она, дочь этого семейства, развешивала на елке орехи и яблоки. Дочь этого семейства! Слово молния вспыхнула во мгле его мыслей, но молния безопасная и красивая, зарница позднего лета, когда сидишь на крылечке, смотришь, а бояться грома не надо. Он был помолвлен, он был женат, у него была жена, его жена, которая вновь привязала его к жизни, ранее презираемой и ненавистой. Но где же она? Он должен увидеть ее, встретиться с ней, сейчас же, немедленно. Он полетит к ней на крыльях, иначе он погибнет от нетерпения.

Он выбежал из церкви и тотчас наткнулся на доктора, который поджидал за дверью, чтобы посмотреть, как подействовало на больного посещение церкви. Господин фон Блайхроден схватил доктора за плечи, заглянул ему в глаза и спросил, одолев душившее его волнение:

— Где моя жена? Немедленно отведите меня к ней! Немедленно! Где она?

— Она и ваша дочь, — спокойно ответил врач, — ожидают вас на Рю-де-Бург.

— Моя дочь? У меня есть дочь?! — воскликнул пациент и разрыдался.

— А вы очень чувствительны, господин фон Блайхроден, — сказал доктор с улыбкой.

— Да, доктор, тут поневоле станешь чувствительным.

— Тогда ступайте и оденьтесь для выхода, — сказал доктор, беря его за руку. — Через полчаса вы вернетесь к своим и, значит, снова вернетесь к самому себе.

И оба скрылись в просторном вестибюле.

* * *

Господин фон Блайхроден был человек вполне современного склада. Внук французской революции, внук Священного союза, сын 1830 года, по несчастью стечению обстоятельств угодивший между жерновами революции и реакции. Когда двадцати лет от роду он проснулся к сознательной жизни и пелена упала с его глаз, он увидел, какой густой паутиной лжи от официального христианства до династического фетишизма был опутан, и почувствовал себя будто человек, только что очнувшийся, либо человек, единственно нормальный из всех запертых в сумасшедшем доме. Не сумев отыскать в стенах хоть какую-нибудь брешь, через которую можно выйти на волю, не наткнувшись при этом на препятствие в виде штыка либо ружейного дула, он погрузился в отчаяние. Он перестал верить во что бы то ни было, он перестал верить в спасение и ринулся в опиумные притоны пессимизма, чтобы по меньшей мере заглушить боль, раз уж нет выхода. Шопенгауэр стал его другом, а позднее он нашел в Гартмане самого беспощадного правдолюбца из всех, которых знал мир.

Но общество призвало его и повелело определить свое место. Господин фон Блайхроден бросился в науку и выбрал такую, чтобы имела как можно меньше касательства к современности: геологию или, точнее, ту ее ветвь, которая занималась жизнью растений и животных в древние времена, то есть палеонтологию. Когда же он задавал себе вопрос: зачем это нужно человечеству, ответ неизменно гласил: это нужно мне! Как наркотическое средство. Он не мог взять в руки газету без того, чтобы не ощутить фанатизм, волной безумия поднимающийся с ее страниц, и потому старался избегать всего, что могло напоминать о современности, о нашем дне; он уже начал лелеять надежду, что в таком добытом ценой тяжких усилий притуплении доживет свои дни в покое, не лишившись рассудка. Он женился. Он не мог пренебречь нерушимым законом природы о продолжении рода. В жене он мнил обрести все то сокровенное, от чего ему удалось освободиться, он полагал, что она будет олицетворять его старое, чувствительное «я», которому он будет радоваться в тишине и покое, не испытывая потребности покинуть свои укрепления. Он нашел в ней свое прекрасное дополнение, он начал приходить в себя, но он не мог не сознать, что вся предстоящая жизнь зиждется на двух краеугольных камнях и один из них — его

жена; не станет этого камня — рухнет и сам он, и вся возведенная им постройка. Когда после нескольких месяцев супружества ему пришлось расстаться с ней, он уже не был прежним. Он словно бы лишился одного глаза, одного легкого, одной руки; вот почему он и рухнул так скоро, едва грянул гром.

При виде дочери в господине фон Блайхродене словно ожило что-то новое, что сам он называл своей естественной душой в отличие от души общественной, которая есть продукт воспитания. Он понял, что привязан к своему роду, что теперь он и умерев не умрет, ибо душа его будет и дальше жить в ребенке; он вдруг узнал, что душа его и в самом деле бессмертна, пусть даже его тело неизбежно падет жертвой в борьбе химических сил. Он вдруг понял, что обязан жить и надеяться. Хотя его и потом не раз охватывало отчаяние, когда он слышал, как его соотечественники во вполне естественном упоении победой приписывали счастливый исход войны нескольким личностям, которые, развалясь на подушках своих колясок, разглядывали поле боя в подзорную трубу; но тут собственный пессимизм стал ему поперек горла, ибо дурными примерами мешал развитию нового, и он сделался оптимистом из чувства долга. Впрочем, воротиться к себе на родину он так и не рискнул из страха опять погрузиться в уныние. Он подал прошение об отставке, распорядился своим маленьким состоянием и навсегда обосновался в Швейцарии.

* * *

Был красивый и мягкий осенний вечер в Веве, в 1872 году. В маленьком пансионе «Кедр» колокол семью ударами созвал к табльдоту, и за большим столом собрались пансионеры, которые давно уже перезнакомились друг с другом и жили в самом тесном единении, как обычно живут люди, встретившиеся на нейтральной почве. Господин фон Блайхроден и его жена имели соседями по столу печального француза, которого мы уже встречали в церкви психиатрической лечебницы, англичанина, двух русских, немца с женой, семейство испанцев и двух тиролок. Завязался обычный разговор, дружеский, спокойный, мирный, порой чувствительный, порой игривый, разговор о самых жгучих вопросах, от которого, впрочем, никто не воспламенился.

— Я никогда не предполагал, что земля может быть так сверхъестественно прекрасна, — сказал господин фон Блайхроден, бросив восторженный взгляд через открытую дверь веранды.

— Природа достаточно прекрасна везде, — сказал немец, — думается, это наши глаза были больны.

— Верно, — вмешался англичанин, — но здесь и в самом деле красивее, чем в каком-нибудь другом уголке земли. Вы, может быть, слышали, господа, что произошло с варварами, в нашем случае это, помнится, были не то немцы, не то венгры, когда они поднялись на Ден-Джаман и увидели у своих ног Лак-Леман? Они вообразили,

будто небо упало на землю, и так перепугались, что повернули вспять. Впрочем, об этом наверняка можно прочесть в путеводителе.

— Мне думается, — сказал один из русских, — это чистый, свободный от лжи воздух, которым мы здесь дышим, заставляет нас находить все таким прекрасным, хотя я не намерен отрицать, что та же прекрасная природа, в свою очередь, воздействует на наши органы чувств и не дает им запутаться в наших предубеждениях. Дайте срок, пусть умрут наследники Священного союза, а самые высокие деревья лишатся своих верхушек, тогда и наши травы вновь зазеленеют под лучами солнца.

— Вы правы, — сказал господин фон Блайхроден, — но нам едва ли придется срезать верхушки деревьев. Существуют другие, более человеческие способы. Был однажды сочинитель, написавший весьма посредственную пьесу, весь успех которой зависел от того, кому поручат главную женскую роль. Он пошел к примадонне театра и спросил, не желает ли она сыграть в его пьесе. Примадонна отвечала уклончиво. Тут автор, окончательно забывшись, напомнил ей, что, по существующим правилам, дирекция театра может заставить ее взять эту роль. Верно, — отвечала примадонна, — но я могу и провалить роль! Мы тоже могли бы провалить главный обман нашего времени. В Англии, например, это сейчас всего лишь вопрос государственного бюджета! Если парламент провалит голосованием суммы, определенные на содержание королевского двора, двор останется ни с чем. Таков путь законных реформ. Вы согласны со мной, господин англичанин?

— Совершенно согласен, — ответил англичанин. — Наша королева имеет право играть в крокет и в мяч, но в политику пусть лучше не вмешивается.

— А войны! Войны! Они-то когда-нибудь прекратятся? — вмешался испанец.

— Если бы женщины имели право голоса, размеры армий давно бы свелись к минимуму, — сказал фон Блайхроден. — Как ты считаешь, жена? Верно это или нет?

Фрау фон Блайхроден утвердительно кивнула.

— Ибо, — продолжал фон Блайхроден, — какая мать захочет опустить своего сына, жена — своего мужа, сестра — своего брата на это побоище! А если вдобавок не найдется никого, кто натравлял бы мужчин друг на друга, тогда сама собой исчезнет и так называемая расовая ненависть. Человек добр, но люди злы, как сказал наш друг Жан-Жак, и он был прав! Почему здесь, в этой прекрасной стране, люди гораздо миролюбивее, почему у них более довольный вид, чем у людей в других странах? Да потому, что у них не сидят на голове денно и ночью всякие магистраты, они знают, что сами будут определять, кому править ими, а главное — у них почти нет причин для зависти и огорчений. Никаких королевских кортежей, никаких вахтпарадов, никаких гала-церемоний, когда слабый человек невольно поддается искушению воздавать почести всему блестящему, но ложному! Швейцария представляет собой в миниатюре ту модель, по которой надлежит строить все будущее Европы!

— Вы, вероятно, оптимист? — полюбопытствовал испанец.

— Да, — отвечал господин фон Блайхроден, — я бывший песимист.

— Итак, вы полагаете, — продолжал испанец, — что вариант, пригодный для такой маленькой страны, как Швейцария с ее тремя языками, приемлем и для большой Европы?

У господина фон Блайхродена, казалось, возникли сомнения; но тут слово взяла одна из тиролок.

— Простите, господин испанец, — сказала она, — вот вы сомневаетесь, что это приемлемо для Европы с ее шестью либо семью языками. Но я приведу как образец страну, где живут двадцать национальностей: китайцы, японцы, негры, краснокожие и все нации Европы, перемешанные в одной стране, — вот оно всемирное государство будущего! И я его видела, ибо я бывала в Америке.

— Браво, браво, — сказал англичанин. — Господин испанец, вы разбиты наголову.

— А вы, господин француз, — продолжала тиролька, — вы сокрушаетесь из-за Эльзас-Лотарингии! Я это вижу! Вы полагаете войну-реванш неизбежной, ибо не допускаете и мысли, что Эльзас-Лотарингия навек останется в руках у немцев. Вам кажется, будто перед вами стоит неразрешимая проблема.

Француз вздохом выразил полное свое одобрение.

— Хорошо, но когда вся Европа станет тем, что господин фон Блайхроден видит в Швейцарии, то есть союзом государств, тогда и Эльзас-Лотарингия станет не французской, не немецкой, а просто-напросто эльзас-лотарингской! Будет ли вопрос таким образом решен?

Француз учтиво поднял свой бокал и поблагодарил тирольку наклоном головы и горестной улыбкой.

— Вы улыбаетесь, — решительно подхватила девушка, — мы все слишком долго улыбались улыбкой отчаяния, улыбкой недоверия. Довольно улыбок. Вы видите здесь представителей большинства стран Европы. За бокалом вина, когда нас не слышат посторонние насмешники, мы можем открыто говорить о том, что волнует наше сердце, но чтобы так же открыто в парламенте, в газете, в книге — о нет, тут на нас нападает трусость, тут мы боимся насмешек и потому плывем по течению! Какой прок в постоянной насмешке? Смех есть оружие трусости! Когда человек боится за целостность собственного сердца! Согласна, нет ничего противнее, чем созерцать изображение собственных внутренностей в окне лавки, но вот созерцать под музыку чужие, на поле боя, в чайнии того дождя цветов, которым осыплют тебя по возвращении, — это считается приятным. Вольтер был насмешником, потому что он все-таки боялся за свое сердце, тогда как Руссо разрезал себе грудь, исторг свое сердце из грудной клетки и поднял его к солнцу, совершая жертвоприношение, подобно древним ацтекам. О! в их иступленном неистовстве таилась глубокая мысль! А кто переделал человечество, кто первым сказал нам, что мы находимся на ложном пути? Руссо! Женева, старая Женева сжигала его книги, тогда как новая Женева воздвигла ему памятник. То, что

мы и все здесь присутствующие думаем каждый по отдельности, то же самое думают и остальные люди. Дайте нам только возможность высказать наши мысли вслух!

Русские подняли стаканы с черным чаем и выкрикнули на своем языке несколько слов, понятных лишь им. Англичанин наполнил свой бокал и хотел уже провозгласить тост, как в комнату вошла служанка и подала ему телеграмму. Разговор на миг прервался, англичанин с заметным волнением прочел телеграмму, после чего, аккуратно сложив, сунул ее в карман и погрузился в раздумье. Табльдот подошел к концу, за окнами начало смеркаться. Господин фон Блайхроден сидел молча, углубясь в созерцание сказочной красоты пейзажа за окном. Вершины Монт-Граммон и Дент д'Ош были залиты косыми лучами красного заходящего солнца, как и розовеющие виноградники, и каштановые рощи на берегу Савойи; горы мерцали и переливались в сыром вечернем воздухе, казалось, они сотворены из той же невесомой материи, что свет и тени; они высились, будто бестелесные и высокие живые существа, темные и зловещие с обратной стороны, мрачные в ущельях, зато с внешней, обращенной к солнцу стороны — светлые, улыбочатые, по-летнему веселые. Он подумал о последних словах тирольки, и вдруг Монт-Граммон привиделся ему гигантским сердцем, чья зубчатая вершина обращена к небу, сердцем всего человечества, усталым, израненным, покрытым шрамами, истекающим кровью сердцем, которое в великом жертвенном порыве обращается к небу, чтобы отдать все самое прекрасное, самое заветное и все получить взамен.

Но вдруг стальную синеву вечернего неба прочертил светлый луч, и над пологим берегом Савойи взмыла вверх огромная огненная ракета. Она поднялась высоко-высоко, чуть не сравнявшись с вершиной Дент д'Оша, и остановилась, как бы оглядывая с высоты прекрасную землю, прежде чем рассыпаться золотым дождем; она помешкала, начала спуск к земле, но через каких-нибудь несколько метров взорвалась с громким треском, который достиг Вева лишь минуты две спустя. После взрыва на небе возникло большое белое облако, облако тотчас приняло форму правильного четырехугольника, словно флаг из белого огня, а за первым раздался еще один выстрел, и на белом полотнище отчетливо проступил красный крест.

Все сотрапезники вскочили из-за стола и бросились на веранду.

— Что это значит? — вскричал взволнованный господин фон Блайхроден.

Никто не сумел ему ответить или просто не успел, ибо теперь над зубчатым гребнем Вуарона взлетел целый снап ракет и рассыпался огненным букетом, отразившимся в необозримом зеркале спокойного Лемана.

— Леди и джентльмены! — возвысил свой голос англичанин, покуда швейцар опускал на стол большой поднос с бокалами шампанского. — Леди и джентльмены, — повторило н, — если верить полученной мною телеграмме, это означает, что первый международный суд в Женеве завершил свою работу, это означает, что война между двумя народами или — того хуже — война против будущего

предотвращена, что сотни тысяч американцев и такое же число англичан, возможно, когда-нибудь возблагодарят этот день за то, что он сохранил им жизнь. Алабамская распря улажена не в пользу Америки, но в пользу справедливости, не в ущерб Англии, но во имя будущего. Вы все еще полагаете, господин испанец, будто войны неизбежны? Вы все еще улыбаетесь, господин француз? Так улыбайтесь всем сердцем, а не одними губами. А вы, мой немецкий пессимист, вы убедились теперь, что проблема франтирёров может быть разрешена без расстрелов, таким путем, как этот? А вы, господа русские, я не имею чести знать вас лично, но знаю вашу вполне современную точку зрения на судьбы лесных верхушек, вы все еще считаете ее вполне разумной? Не кажется ли вам, что лучше начинать не с верхушек, а с корней? Это куда надежнее, да и спокойнее тоже.

Будучи англичанином, я бы должен считать, что потерпел сегодня поражение, но я испытываю гордость, гордость за свою страну, — англичане, как вам известно, всегда ее испытывают, — но сегодня у меня есть для этого особые основания, ибо Англия первой из европейских держав предпочла железу и крови суд честных людей! Я желаю всем нам еще много поражений, подобных тому, которое мы потерпели сегодня, ибо это научит нас побеждать. Поднимем же наши бокалы во славу красного креста, под его знаменем мы, несомненно, победим.

* * *

Господин фон Блайхроден навсегда обосновался в Швейцарии. Он не смог расстаться с этой природой, открывшей ему совершенно иной мир, более прекрасный, нежели тот, который он покинул.

Иногда к нему приступами возвращались муки совести, но пользующий его врач приписывал их исключительно невращению, характерной для всякого культурного человека наших дней. Господин фон Блайхроден решил подробнее рассмотреть вопрос о совести в небольшом трактате, чтобы затем опубликовать его. Предварительное экспозе, которое он зачитал своим друзьям, содержало ряд идей, весьма достойных внимания. Ибо он со своим чисто немецким глубокомыслием проник в самую суть проблемы и обнаружил, что совесть имеет два подвида. Во-первых, естественный, во-вторых, искусственный. Первый, по его мнению, — это наше естественное чувство справедливости. Именно этот вид совести причинил ему такие муки, когда он велел расстрелять франтирёров. И избавиться от них он смог лишь тогда, когда начал рассматривать самого себя как жертву властей предрержащих. Искусственная же совесть, в свою очередь, состоит из: а) силы привычки и б) приказов властей. Сила привычки так тяготела над господином фон Блайхроденом, что порой, чаще всего во время утренних прогулок, он вспоминал, как пренебрег своей работой в геологической конторе, и, вспомнив, становился угрюмым и беспокойным, словно школьник, прогулявший урок. Он прилагал величайшие усилия, чтобы успокоить свою совесть тем, что ушел в отставку с соблюдением всех законных фор-

мальностей. Но тут перед его глазами вставали служебные кабинеты, сослуживцы, которые следили друг за другом, чтобы уличить коллегу в какой-нибудь ошибке и за счет уличенного возвыситься самому, начальники, которые, затаив дыхание, дожидались орденов и отличий; и он казался себе беглецом. Порой же его донимала та совесть, которой человек обязывается по приказам, исходящим от властей. Первый приказ — возлюбить короля и отечество — ему было трудно выполнить. Именно король вверг его отечество в бедствия войны, чтобы обеспечить одного из своих родственников новым отечеством, иными словами, превратить его из пруссака в испанца. Любил ли при этом сам король свое отечество? Способны ли вообще короли любить свое отечество? Англией правит уроженка Ганновера, Россией — немецкий император, к которому вскоре присоединится императрица из Дании, в Германии королева — англичанка, во Франции — испанка, Швецией правит французский король и немецкая королева. Если, следуя этим высоким образцам, можно менять национальность, как меняют сюртук, значит, заключал господин фон Блайхроден, космополитизму уготовано блестящее будущее. Но противоречия между приказами сильных мира сего и их же жизненной практикой терзали господина фон Блайхродена. Он любил свою страну, как кошка любит свою лежанку, но не любил ее как институцию. Властям нужны нации, чтобы было кому исполнять воинскую повинность, платить налоги, служить опорой трону, ибо без нации невозможно существование ни одного правящего дома. Отсюда столь часто налагаемый запрет на эмиграцию.

Прожив в Швейцарии два с половиной года, фон Блайхроден получил письмо из Берлина, где ему предлагали вернуться домой в связи со слухами о новой войне. На сей раз дело касалось предстоящей войны с Россией, той самой Россией, что не далее как три года назад предоставила Пруссии «моральную» поддержку против Франции. Господин фон Блайхроден подумал, что совесть не позволяет ему воевать против своих друзей, а поскольку он знал наверняка, что обе нации не желают друг другу зла, он обратился за советом к собственной жене и спросил у нее, как бы она решила вставшую перед ним дилемму, ибо убедился на собственном опыте, что женская совесть ближе к законам природы, нежели мужская. Поразмыслив некоторое время, жена отвечала ему так:

— Быть немцем означает больше, чем быть пруссаком, вот почему и возник союз немецких государств, но быть европейцем означает больше, чем быть немцем, а быть человеком означает больше, чем быть европейцем. Ты не можешь переменить свою национальность, поскольку все нации — враги, а к врагам переходить не положено, если только ты не монарх, как Бернадот, или не генерал-фельдмаршал, как граф Мольтке. Значит, тебе остается лишь одно: придерживаться нейтралитета. Давай станем швейцарцами. Швейцария — это не нация.

Господин фон Блайхроден счел вопрос решенным столь удачно и просто, что тотчас принялся наводить справки, как ему добиться нейтрализации. Вообразите его удивление и радость, когда он узнал,

что уже выполнил все условия для того, чтобы стать гражданином Швейцарии (в этой стране, надобно сказать, не существует поданных), поскольку прожил в ней более двух лет.

Итак, господин фон Блайхроден теперь гражданин нейтральной страны, и хотя в этом качестве он почитает себя вполне счастливым, ему все еще случается порой, хотя и реже, чем прежде, бывать в разладе со своей совестью.

ЛЮБОВЬ И ХЛЕБ

Собираясь к майору просить руки его дочери, нотариус, разумеется, не посмотрел, по какой цене шел в тот день хлеб, зато это сделал майор.

— Я люблю ее, — сказал нотариус.

— Какое у тебя жалованье? — спросил старик.

— Вообще-то тысяча двести крон, но мы любим друг друга...

— Это меня не касается, тысяча двести — слишком мало.

— Я еще прирабатываю, но Луиса знает мои чувства...

— Не болтай глупостей. Сколько ты прирабатываешь?

— Мы познакомились в Буу...

— Сколько ты прирабатываешь? — Старик держал карандаш наготове.

— А чувства, дядюшка...

— Сколько ты прирабатываешь? — Он нарисовал на промокашке несколько закорючек.

— О, вполне достаточно, если только...

— Будешь ты отвечать или нет? Сколько ты прирабатываешь? Цифры! Цифры! Факты!

— Я делаю переводы по десять крон за лист, даю уроки французского, мне обещали чтение корректуры...

— Обещания — не факты! Цифры, мой мальчик, цифры! Итак, я записываю. Что ты переводишь?

— Что перевожу? Ну, так сразу я не могу сказать!

— Не можешь сказать? Ты делаешь перевод и не можешь сказать, какой именно? Что это еще за глупости?

— «История цивилизации» Гизо, двадцать пять листов.

— По десять крон за лист, итого двести пятьдесят. А потом?

— Потом? Не могу же я знать заранее!

— Нет, вы только подумайте! Он не может знать заранее! А надо знать! Ты, кажется, полагаешь, что жениться значит просто съехаться под одну крышу да ворковать вдвоем дни напролет. Нет, мой мальчик, через девять месяцев появляются дети, а детей нужно кормить и одевать!

— Совсем не обязательно, чтобы сразу же появлялись дети, если люди любят друг друга *как мы*, дядюшка, *как мы*...

— Как же это вы, черт возьми, так по-особенному любите друг друга?

— Как мы любим? — Он приложил руку к лацкану жилета.

— По-твоему, если люди любят друг друга, как вы, дети не появляются? Ну и дурень! Балда! Но ты, похоже, человек порядочный, и потому я разрешаю вашу помолвку. Но смотри, за время, оставшееся до свадьбы, ты должен заработать семье на пропитание, ибо близятся тяжелые времена. Цены на хлеб растут!

Нотариус побагровел, услышав последнее замечание майора, но слишком уж велика была его радость — Луиса будет его! — и он поцеловал старику руку. Господи, до чего же он был счастлив! До чего же *они с Луисой* были счастливы! Когда первый раз они рука об руку шествовали по улице, от них исходило сияние, и люди, казалось, расступались, давая им дорогу, и замирали в почетном карауле, приветствуя их триумфальное шествие; они шли с высоко поднятыми головами, пружинящим шагом, бросая на окружающих гордые, преисполненные возвышенных чувств взгляды.

Он стал приходить к ней по вечерам; они сидели в гостиной и читали корректуру — Луиса подчитывала. «Молодец!» — думал старик. Закончив работу, нотариус говорил: «Вот мы и заработали три кроны!» И они целовались. А на следующий вечер ехали в театр и возвращались домой в наемном экипаже, и это обходилось в двенадцать крон.

Порой, когда у него были вечерние уроки, он — чего не сделаешь ради любви! — отменял занятия и приходил к ней. И они шли гулять.

Тем временем приближался день свадьбы. И появились другие заботы. Они отправились к «Брюкенбергу» выбирать мебель. Начинать следовало с самого важного. Луиса сперва не хотела присутствовать при покупке кровати, но — как бы там ни было — все-таки пошла с ним. Они купят, конечно же, две кровати и поставят их рядом — чтобы не было слишком много детей, разумеется! И мебель должна быть из ореха, вся, целиком, из настоящего ореха! И пружинные матрасы в красную полоску, и большие перьевые подушки. И каждому свое одеяло — одинаковые, конечно, — но Луисе голубое, потому что она блондинка.

Затем — в «Лейа». Сначала, само с о б о й, — ночник из красного опалового стекла для спальни и статуэтку Венеры из неглазурованного фарфора. И столовый сервиз; шесть дюжин граненых бокалов и рюмок разного размера. И ножи с вилками, фигурные, с вензелями. И наконец, кухонную утварь. Ну, тут уж не обойтись без мамы.

Боже, сколько же у него было дел! Принимать к платежу векселя, бегать по банкам, искать мастеров, снять квартиру, повесить занавеси. И его на все хватало. Работу, правда, немного запустил, но погодите, дайте только жениться, нагоню сполна!

Для начала они поселятся в двухкомнатной квартире — благо-разумие прежде всего, да, да! Ну, а поскольку комнат всего две, можно позволить себе обставить их поуютнее. Он снял двухкомнатную квартиру на втором этаже на Реерингсгатан за 600 крон. Когда Луиса заметила, что лучше уж было снять трехкомнатную

на пятом этаже за 500 крон, он чуточку смутился, ну да все равно, лишь бы они любили друг друга. Луиса тоже так считала, но все-таки не понимала, почему надо отказываться от трех комнат за меньшую плату и брать две — за более высокую. Ах, ну ладно, он сглупил, он прекрасно это понимает, но это все неважно, лишь бы они любили друг друга.

Но вот комнаты готовы. Спальня похожа на маленький храм. Кровати стоят рядышком, словно два экипажа. И солнце освещает голубое одеяло и белые-пребелые простыни и думочки с их именами, вышитыми незамужней теткой: большие разноцветные буквы точно сплетаются в объятиях, иногда сливаясь в поцелуе. У жены — маленький альков, отгороженный японской ширмой. А в гостиной, которая служит и столовой и кабинетом, стоит ее рояль (стоимостью в тысячу двести крон), его письменный стол с десятью ящиками — «целиком» из ореха, трюмо с зеркалами до потолка, и кресла, и буфет, и обеденный стол. Получилась «настоящая жилая комната» — непонятно, зачем вообще нужна отдельная столовая, обычно такая неуютная со своими плетеными стульями.

И вот сыграли свадьбу в субботу вечером! А на следующее утро, в воскресенье... О, как упоительна жизнь! Как чудесно быть женатым! Какое великолепное изобретение — брак! Делаешь что хочешь, да вдобавок родители и родственники приходят поздравлять!

В десять утра спальня еще погружена во мрак. Он не желает впускать дневной свет и вновь зажигает красный ночник; его волшебный огонь освещает голубое одеяло и белые, чуть смятые простыни, и Венера из неглазурованного фарфора, ставшая пунцовой, не стыдится своей наготы; а там лежит его женушка, чувствуя блаженную усталость во всем теле, хотя выпалась она прекрасно — будто впервые в жизни так крепко спала. С улицы не доносится шума движения, ведь сегодня воскресенье; а вот и первые удары колоколов, они звонят с таким ликованием, точно призывают весь мир возблагодарить и восславить того, кто создал мужчину и женщину. Он шепчет на ушко своей маленькой женушке, прося ее на минутку отвернуться — ему надо выйти и распорядиться насчет завтрака. И она зарывается головой в подушки... А он потихоньку дотягивается до халата и скрывается за ширмой — набросить что-нибудь из одежды.

И вот он выходит в гостиную — на полу протянулась сияющая солнечная дорога; ему все равно, какое сейчас время года — весна, лето, осень или зима; он знает лишь, что сегодня воскресенье! И ему кажется, будто его прежняя холостяцкая жизнь — нечто мерзкое и мрачное — отступает в тень, и он словно вдыхает воздух своего старого жилища, который смешивается с воздухом дома его будущих детей!

Ого, сколько в нем силы! Будущее надвигается на него словно гора! Но стоит ему только дунуть — и гора обрушится, рассыплется перед ним, точно песок, а он, подхватив на руки свою женушку, полетит над трубами и крышами домов.

Он собирает разбросанную по комнате одежду; белый галстук зацепился за раму картины и похож на белую бабочку.

Потом он идет на кухню. Ах, как ярко блестит медная посуда и луженые кастрюли! Все это принадлежит им — ей и ему! Появляется служанка в нижней юбке! И он удивляется, что не замечает ее наготы. Она для него бесполое существо! Ибо для него существует только одна женщина! Он чувствует себя целомудренным, как отец перед дочерью, и велит ей спуститься в «Три рюмки» и заказать завтрак, немедленно, да чтоб самый отменный. Портер и бургундское! Впрочем, хозяин и сам знает. Передай ему от меня привет!

Он стучится в дверь спальни.

— Можно войти?

Испуганный возглас в ответ:

— Подожди минуточку, мой друг!

Он сам накрывает на стол. И когда приносят завтрак, раскладывает кушания на новые тарелки. Сворачивает салфетки. Протирает бокалы. И ставит свадебный букет перед ее прибором. Наконец, она выходит, в вязаном пеньюаре, солнце на миг ослепляет ее, у нее немного кружится голова, совсем чуть-чуть, и он подхватывает ее и усаживает в кресло перед столом. А теперь его женошка должна выпить немножко тминной настойки, маленькую рюмочку, и съесть бутерброд с икрой. «Ах, как здорово! Представь, что бы сказала мама, увидев свою Луису с рюмкой в руках!» Он суетится, подает, ухаживает за ней, как будто она все еще его невеста. Какой завтрак после такой ночи! И никто не имеет права «что-нибудь сказать». И правильно, можно развлекаться с чистой совестью, в этом-то вся и прелесть. У него и прежде бывали подобные завтраки, но какая огромная разница! Тогда им владело отвращение, тревога — даже вспоминать не хочется. И, запивая устрицы настоящим гетеборгским портером, он не может найти достаточно сильных слов, чтобы выразить свое презрение ко всем холостякам. «Те, кто не хочет жениться, просто глупцы! Эгоисты! На них следовало бы ввести налог, как на собак!» Но жена осмеливается возразить — по возможности кротко и дружелюбно: ей «все-таки жалко этих бедняг — у них нет денег, чтобы жениться, потому что иначе они бы все, конечно же, женились». Нотариус чувствует укол в сердце и на мгновение пугается, как бывает после какого-нибудь отчаянного поступка. Все его счастье, оказывается, покоится на деньгах, и если бы, если б... Ха! Бокал бургундского! Теперь уж я засучу рукава! Тогда они увидят!

На стол подается жареный тетерев с брусникой и вестероски-ми огурцами. Жена ахает от изумления, и это доставляет ему живейшую радость.

— Мой милый Людвиг! — Она кладет свою дрожащую ручку на его локоть. — Можем ли мы позволить себе такое? — К счастью, она говорит «мы».

— Э, один раз не считается! А потом будем есть только картошку с селедкой.

— А ты ешь картошку с селедкой?

— Еще бы!

— Ну да, покутив сначала в ресторане, да чтоб потом запить все стаканчиком шато-бриана!

— Ах, глупости! Ну, твое здоровье! Тетерев был великолепен! А сейчас артишоки!

— Людвиг, да ты просто сошел с ума! Артишоки в это время года! Они же стоят бешеных денег!

— При чем тут деньги? Артишоки ведь хороши? Вот видишь, это — главное! И вино! Побольше вина! Как прекрасна жизнь, правда? О, жизнь упоительна, упоительна!

В шесть часов вечера перед подъездом их ждала коляска. Жена чуть было не рассердилась. Но до чего же чудесно сидеть рядом, откинувшись на спинку заднего сиденья, и, слегка покачиваясь, медленно ехать в Юргорден. Как будто лежишь в одной кровати, прошептал Людвиг, за что и получил зонтиком по пальцам. Снизу, с мостовой, здороваются знакомые, машут рукой приятели, точно говорят: ах ты, проказник, денежки заимел! И какими маленькими кажутся люди там, внизу, как ровна дорога, как мягко пружинят рессоры! Так должно быть всегда!

Так продолжалось целый месяц! Балы, визиты, обеды, ужины, театры. А остальное время они проводили дома, и это было самое замечательное! Как чудесно, отужинав у родителей, забрать свою женушку, увести ее из-под носа папы и мамы, посадить в коляску, захопнуть дверцу, кивнуть на прощание и сказать: а теперь мы едем к себе домой! И будем делать все, что нам вздумается! И, вернувшись, устроить легкий ночной ужин и болтать до утра!

А дома Людвиг был всегда такой благоразумный! В принципе! Однажды жена решила — на пробу — угостить его ломтиками лососины с тушеным картофелем и овсяным супом. Ах, как вкусно! Ему так надоело привычное меню! Но в следующую пятницу, когда на обед вновь должны были подать соленую лососину, Людвиг пришел домой с двумя куропатками! И прямо с порога закричал:

— Подумай только, Лисен, нет, ты когда-нибудь слыхала нечто подобное?

— А в чем дело?

— Нет, ты просто не поверишь, этих двух куропаток я сам купил на Мюнкебрун, и знаешь за сколько? Попробуй угадай!

В глазах жены мелькнула скорее печаль, чем догадка.

— Представь себе, всего одна крона за пару!

Жена как-то покупала куропаток по восемьдесят эре за пару, но, прибавила она примирительно, чтобы уж не слишком огорчать мужа, та зима была очень снежной.

— Ага, ты все-таки признаешь, что это дешево!

Чего бы она ни признала, лишь бы он был доволен. Но на ужин у них будет каша, на пробу. Людвиг — какая жалость! — управившись с куропаткой, не смог съесть столько каши, сколько ему хотелось бы, чтобы показать ей, что он действительно ничего не имеет против каши. Кашу он будет есть охотно, но молоко не выносит с тех пор, как болел лихорадкой. Пить молоко — выше его

сил, а кашу, пожалуйста, хоть каждый вечер, лишь бы она на него не сердилась. Больше она никогда не готовила кашу.

Через шесть недель жена занемогла. У нее начались головные боли и рвота. Так, небольшая простуда. Но рвота продолжалась! Гм! Может, она чем-то отравилась? Кажется, недавно отдавали лудить медную посуду? Послали за доктором. Он улыбнулся и сказал, что все идет как положено. Что значит «как положено»? Неужели? Глупости! Это просто невозможно. Совершенно невозможно. Нет уж, это все обои в спальне, поверьте мне, в них наверняка есть мышьяк! Отправить в аптеку на анализ, немедленно! «Следов мышьяка не обнаружено» — был ответ аптекаря. Странно! В обоях и нет мышьяка! Жена продолжала болеть. Он полистал медицинский справочник и кое о чем спросил жену на ушко. Ну вот и разгадка! Ха! Всего лишь теплую ножную ванну!

Через четыре недели акушерка объявила, что «все идет как положено».

— Как положено! Ну, разумеется, только это произошло так невероятно быстро!

Что ж, если уж так получилось... о, как это будет великолепно! Подумать только, в доме появится малыш! Ура! Мы станем папой и мамой! Как мы его назовем? Потому что это будет, конечно, мальчик. Совершенно очевидно!

Жена решила наконец поговорить с мужем серьезно. С тех пор как они поженились, у него не было ни одного перевода, ни одной корректуры. А жалованья не хватает.

— Да, да, мы жили на широкую ногу. Господи, ведь молодость бывает только раз в жизни! Но теперь все пойдет по-другому.

На следующий день нотариус отправился к своему старому другу, страховому агенту, и попросил его выступить поручителем под заем. Видишь ли, дорогой брат, когда предстоит стать отцом, приходится думать о расходах.

— Совершенно с тобой согласен, дорогой б р а т , — ответил страховой агент. — Потому-то я и не могу позволить себе жениться, а ты — счастливчик, тебе это оказалось по средствам.

Нотариус постыдился настаивать. Неужто он наберется нахальства просить этого холостяка помочь его ребенку, этого беднягу, у которого нет денег, чтобы самому обзавестись детьми. Нет, этого он не делает.

Когда он вернулся домой к обеду, жена рассказала, что его искали два господина.

— Как они выглядели? Молодые? Ха, в пенсне? Это наверняка два старых приятеля-лейтенанта из Ваксхольма.

— Никакие они не лейтенанты, они гораздо старше.

— Ха! Ну, тогда, значит, его старые друзья по Упсале, наверное, доцент П. и адъюнкт К. Небось захотелось взглянуть на семейную жизнь старика Людде.

— Да нет же, они вовсе не из Упсалы, а из Стокгольма.

Позвали служанку. Ей эти два господина показались ужасно неприятными, да еще трости в руках.

Трости! Гм! Кто бы это мог быть? Ладно, со временем узнает, они наверняка придут еще раз. Да, по дороге он зашел в Курнхамн и купил мисочку клубники, просто за бесценок, даже смешно! Представь, миску клубники за крону пятьдесят в это время года!

— Людвиг, Людвиг, чем все это кончится?

— Все будет замечательно! Сегодня мне дали перевод!

— Но ведь у тебя долги!

— Ерунда! Ерунда! Вот подожди, скоро я получу большой заем!

— Заем! Но это еще один долг!

— Да, но на каких условиях! Давай больше не будем говорить о делах! Хороша клубника? А? Что скажешь насчет стаканчика хереса к ягодам? Лина! Сходи-ка в лавку и купи бутылку хереса! Выдержанного!

После обеда он вздремнул на диване в гостиной, а когда проснулся, жена попросила выслушать ее. Только пусть он не сердится.

Сердится? Он? Сохрани господи! Наверное, деньги на хозяйство?

— Ну так вот. Счет в лавке не оплачен. Мясник требует уплаты долга, извозчика тоже «прорвало», одним словом, сплошные неприятности.

— И только-то! Завтра они получают все до единого шиллинга. И как не стыдно приходиться и требовать такие крохи! Завтра они получают все до единого шиллинга и потеряют покупателя! А сейчас больше не будем об этом говорить. Мы идем гулять. Безо всяких колясок! Поедем на конке в Юргорден и немножко встряхнемся!

И мы поехали в Юргорден. В «Альгамбре» заказали отдельный кабинет, и заполнившие ресторан холостяки тут же начали перешептываться. Решили, будто у нас маленькое приключение. Ну разве не забавно? Сойти с ума, как весело! Но жена была отнюдь не в восторге. А счет! Ты только представь, что можно было бы купить на эти деньги, останься мы дома!

Шли месяцы. Приближался заветный миг. Пора позаботиться о колыбельке и распашонках. Так много всего нужно. Господин Людвиг целыми днями бегаёт по делам. Но цены на хлеб поднялись. Грядут тяжелые времена! Ни переводов, ни корректур. Люди стали материалистами. Они больше не читают книг, а покупают вместо этого еду. В какое грубо-прозаическое время приходится жить! Из жизни исчезают идеалы, а куропатки продаются не дешевле двух крон за пару... Извозчики не желают возить нотариусов в Юргорден бесплатно — у самих жены и дети, — и даже лавочник требует деньги за свой товар. О, какие реалисты!

И вот пробил решающий миг! Нотариусу приходится бежать за акушеркой! А потом покинуть роженицу, чтобы принять в прихожей кредиторов. И наконец — он держит на руках свою дочь! И тогда он заплакал, ибо ощутил ответственность, тяжелую, не по силам, ответственность; и он дает себе новые обещания. Но

нервы его расшатаны. Он получил перевод, но не может сесть за работу, потому что должен все время бегать по делам.

Он бросается сообщить радостную новость приехавшему в город тестю.

— Я — отец!

— Прекрасно, — отвечает т е с т ь. — А у тебя есть на что кормить ребенка?

— Сейчас — нет. Помогите!

— Хорошо, но только на этот раз. Потом помощи не жди. Самому хватает лишь на собственную семью.

Жене нужно приготовить курицу, и господин Людвиг покупает на Сенной площади курицу и юханнисбергер по шесть крон за бутылку. Высшего сорта!

И акушерке надо заплатить сотню крон. Что мы, хуже других? Капитан ведь заплатил сотню!

Жена вскоре опять на ногах. О, она вновь как маленькая девочка, талия осиная, немного бледна, но ей это идет.

Приходит в гости тесть и уединяется с Людвигом для серьезного разговора.

— Придется вам обождать с детьми, — говорит о н . — Иначе ты разорен.

— Что вы такое говорите, отец! Разве мы не женаты? Разве не любим друг друга? Почему же нам не иметь детей?

— Все верно, но детей нужно еще и кормить. Молодым только бы миловаться да забавляться в постели, а ответственность?

— Вы тоже стали материалистом! О, что за ужасное время! Никаких идеалов!

Хозяйство было подорвано. Любовь еще жила, ибо была сильна, а чувства молодых нежны. Но судебные органы не отличались нежными чувствами. Предстояло описание имущества за долги, надвигалось банкротство. Пусть уж лучше описание имущества. Тесть приехал в дорожной карете и забрал дочь и внучку, а зятю запретил показываться на глаза, пока тот не раздобудет средств к существованию и не расплатится с долгами. Дочери он не сказал ни слова, хотя ему казалось, будто он везет домой соблазненную. Точно одолжил на год свое невинное дитя какому-то молодому человеку и теперь получил ее обратно опозоренной. А ей самой вовсе не хотелось расставаться с мужем, но не может же она жить с ребенком на улице!

Господин Людвиг смотрел, как разоряют его дом. Впрочем, это не его дом, ведь нотариус не оплатил его. Ох! Два господина в пенсне забрали кровати и постельное белье, медные кастрюли и жестяную посуду, столовый сервиз, и люстры, и подсвечники — все, все! И вот он один в двух комнатах — о, как пусто, как горько! Если бы она осталась с ним! Но что ей делать здесь, в этих пустых комнатах! Нет, лучше так, как есть. Ей хорошо у родителей!

И началась проза немилосердной жизни. Он поступил корректором в утреннюю газету. В полночь он являлся в редакцию и ра-

ботал до трех утра. Приходилось довольствоваться этой работой, поскольку, хотя его и не объявили банкротом, продвижение по службе было для него закрыто.

Наконец ему разрешили навещать жену и дочь, один раз в неделю, однако всегда под присмотром. И субботнюю ночь он проводил в комнате, примыкавшей к спальне тестя. А в воскресенье вечером должен был возвращаться в город — в понедельник утром выходила газета.

Прощаясь с женой и дочерью, которые провожают его до калитки, махая им рукой с последнего пригорка, он чувствует себя таким жалким, таким несчастным, таким униженным! А она!

Он подсчитал — ему потребуется двадцать лет, чтобы расплатиться с долгами. А потом! Потом он все равно не сможет обеспечить жену и детей. А его надежды! Увы, их больше нет! Если умрет тесть, жена и дочь останутся у разбитого корыта, и Людвиг не осмеливается пожелать скорейшего конца тому единственному, кто их поддерживает.

О, как жестока жизнь, которая не может прокормить детей человеческих и в то же время бесплатно кормит все другие живые существа!

Как она жестока, как жестока! Не может накормить куропатками и клубникой всех человеческих детенышей! Какая жестокость, какая жестокость!

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГА

Зимним вечером ровно в половине девятого он стоит в дверях кабачка. Размеренно и методично снимая кожаные перчатки, он смотрит сквозь запотевшие очки сначала направо, затем налево — ищет знакомых. Вешает пальто на свою вешалку, направо от камина. Официант Густав, бывший его ученик, не дожидаясь указаний, уже стряхивает крошки с его столика, помешивает в баночке горчицу, скребет в солонке, разворачивает и складывает заново салфетку. Затем приносит бутылку медхамра, открывает бутылочку пива и, подавая магистру меню, спрашивает скорее для проформы:

— Вам раков?

— Самки? — как всегда, уточняет магистр.

— Крупные самки, — отвечает Густав и, подойдя к кухонному окошечку, кричит: — Крупных раков для господина магистра, и побольше укропу!

Затем Густав идет за маслом и сыром, отрезает два ломтя хлеба и ставит все это на столик. А магистр тем временем просматривает на веранде газеты; не найдя других вечерних, кроме «Посттиднинген», он берет «Дагбладет», которую не успел прочитать днем. Он кладет «Дагбладет» на свой стул, разворачивает «Посттиднинген», прикрывая ею корзиночку с хлебом, стоящую

слева от него. Затем накладывает ножом на хлеб масло геометрическими фигурами, отрезает прямоугольники швейцарского сыра, наливает водку — ровно три четверти рюмки — и подносит ее ко рту. Затем наступает пауза, он, помедлив, словно перед приемом лекарства, запрокидывает голову, выпивает одним духом водку и произносит: «Уф!» Так он делает ежедневно в течение двенадцати лет — и так будет делать до самой смерти.

Приносят полдюжины раков; убедившись, что все раки — самки и возразить нечего, он с наслаждением приступает к священнодействию. Угол салфетки заправляется за воротничок, возле тарелки кладутся два бутерброда с сыром, ставится стакан пива и рюмочка медхамра. Потом он берет специальный ножичек и начинает разделку. Никто в Швеции не может с ним сравниться в этом искусстве, и когда ему случается видеть, как кто-нибудь ест раков, он говорит: «Разве так едят раков?» Сначала он надрезает панцирь у головы рака, расширяет отверстие и принимается высасывать соленую жидкость.

— Это самое вкусное, — объясняет он.

Затем отделяет грудку от брюшка и по очереди их обсасывает. Тонкие лапки он жует, как спаржу. Заедает все это шепоткой укропа, выпивает глоток пива и откусывает бутерброд. Тщательно очистив клешни и облизав скорлупки, он съедает мясо и наконец переходит к шейке. Съев три рака, он выпивает рюмку медхамра и приступает к изучению рубрики о новых назначениях в «Пост-тиднинген». Так он проводит время ежедневно вот уже двенадцать лет — и так будет проводить его и впредь.

Ему было двадцать лет, когда он начал посещать этот кабачок. Теперь ему тридцать два, а Густав работает здесь официантом десять лет! Из всех завсегдатаев кабачка магистр истинный ветеран, даже в сравнении с хозяином, который купил его всего восемь лет назад! Он перевидал множество посетителей кабачка. Одни ходили сюда год, другие — два, третьи — пять лет, потом вдруг исчезали: либо меняли ресторан, либо переезжали в другой город, либо женились. Он чувствует себя здесь очень старым, хотя ему всего тридцать два! Этот кабачок, по существу, его дом, ведь в своей комнатухе на Ладугордсландет он только ночует.

Десять часов. Он встает и идет в зал выпить рома. В это время появляется книготорговец. Они играют в шахматы или беседуют о книгах. В половине одиннадцатого появляется вторая скрипка из Драматического театра. Это старый поляк, эмигрировавший в Швецию после шестьдесят четвертого года и теперь зарабатывающий кусок хлеба тем, что раньше было для него только приятным времяпрепровождением. И поляку и книготорговцу уже стукнуло пятьдесят, но общество магистра их вполне устраивает, словно он им ровесник.

За стойкой сидит хозяин. Это старый морской капитан, влюбившийся в официантку и решивший соединить с ней свою судьбу. Сейчас она распоряжается на кухне. Окошечко из кухни в зал всегда открыто, и хозяйка следит за своим муженьком, чтобы он не наклю-

кался до ухода гостей. Когда же газ потушен и кровать постелена на ночь, старику подносят стаканчик рома на сон грядущий.

В одиннадцать часов появляются молодые люди, они тихонько подходят к стойке и шепотом спрашивают хозяина, нет ли отдельной комнаты наверху, потом слышится шуршанье юбки, торопливые шаги, кто-то старается незаметно проскользнуть через входную дверь и подняться вверх по лестнице.

— Послушай, — говорит книготорговец, которому как бы подсказали тему для разговора, — когда ты наконец собираешься плодиться и размножаться, а, Блум?

— Средства не позволяют, — отвечает магистр. — А почему ты сам не женишься?

— Никто не желает со мной связываться, — говорит книготорговец. — Да и к тому же у меня есть старушка Става.

Става — мистическая личность, в существование которой никто не верит. Она — воплощение неосуществившихся мечтаний книготорговца.

— А как же господин Потоцкий? — возражает магистр.

— Он был один раз женат, разве этого не достаточно? — отвечает книготорговец.

Поляк кивает головой, как метроном.

— Да, я был шасливо женатый, — произносит он и выпивает свой ром. — Фу!

— Да видишь ли, — говорит магистр, — если б женщины не были такими гусынями, можно было бы еще подумать, но ведь они все до одной глупые, черт бы их драл!

Поляк снова кивает и улыбается, он не знает слова «гусыня» по-шведски.

— Я был ошень шасливо женатый, фу!

— А потом — детский писк, мокрые пеленки над плитой, — продолжает магистр, — прислуга и кухонный чад. Нет уж, благодарю покорно! Да еще, может быть, и спать по ночам не придется.

— Фу! — вставляет свое поляк.

— Вот и господин Потоцкий говорит «фу», — вступает книготорговец со свойственным всем холостякам злорадством.

— Што я сказал? — спрашивает удивленный вдовец.

— Фу, — передразнивает его книготорговец, и беседа растворяется в общем зубоскальстве и табачном дыму.

Пробило двенадцать. Пианино этажом выше, шумно аккомпанировавшее мужскому и женскому хору, умолкает; беготня официанта от кухонного окошечка на веранду прекращается; хозяин заносит в книгу последние бутылки шампанского, заказанные наверху, газ выключается; три друга поднимаются с места и отправляются каждый к себе: двое «в добродетельную холостяцкую постель», а книготорговец — к своей Ставе.

Магистр Блум в двадцать лет бросил Упсальский университет, перебрался в столицу и поступил на место сверхштатного учителя. К тому же он давал еще частные уроки и вполне себя обеспечивал.

В жизни он довольствовался малым. Порядок и покой — вот все, к чему он стремился. В своей комнатухе на Ладугордсландет, которую он снимал у старой девы, он обрел больше того, на что обычно может рассчитывать холостяк. Он был окружен заботой, вниманием, на него изливалась вся нежность, отпущенная этой женщиной природой для потомства, и притом вполне бескорыстно. Она готовила ему еду, чинила белье и ухаживала за ним. Но он, рано потерявший мать и потому не привыкший получать что-либо безвозмездно, воспринимал все эти дары чуть ли не как покушение на его свободу, однако же принимал! Но настоящим его домом был кабачок. Там он за все платил и никому ничем не был обязан.

Он родился в провинциальном городке центральной Швеции и был чужаком в Стокгольме. Ни к кому не ходил, не бывал в семейных домах, встречался со своими знакомыми только в кабачке, беседовал с ними, но не рассказывал им ничего интимного, да и рассказывать было нечего. Работа в школе, где он из года в год вел только третий класс, привела к тому, что он как бы остановился в росте. Когда-то школьником он прошел путь от третьего класса до седьмого и стал студентом. И вот он по-прежнему сидел в третьем классе, сидел вот уже двенадцать лет, так и не продвинувшись дальше. Он только выучил наизусть вторую и третью книгу Евклида — курс этого класса. Таким образом, вся жизнь представлялась ему фрагментом, но фрагментом без начала и конца: вторая и третья книги. В свободное время он читал книги по археологии и газеты. Археология — современная модная наука, можно сказать, своего рода болезнь времени. И притом опасная, ибо в большинстве случаев она показывает, что человеческая глупость — явление довольно-таки постоянное.

Газеты были для него как партия в шахматы, политика — интересной игрой, не более того. Как и многие, он считал — так уж он был воспитан, — что все происходящее в мире к нему не относится: пусть, мол, во всем этом разбираются те, кому бог дал власть. В результате такого взгляда на вещи он обрел полнейший душевный покой. И он никого не тревожил, и его ничто не тревожило. Иногда, сталкиваясь с чрезмерной глупостью, он утешал себя тем, что этому, черт возьми, все равно помочь нельзя! Воспитание сделало его последовательным эгоистом, а из уроков закона божия он узнал, что если каждый усердно возделывает свое поле, то все, что бы ни случилось, — благо. А он возделывал свое поле образцово, никогда не опаздывал, никогда не болел и в частной жизни тоже вел себя безупречно. Он в срок платил за комнату, никогда не ел в кредит, ходил к «женщинам» раз в неделю (он никогда не говорил, что идет к «девочкам»). Его жизнь катилась, как поезд, по сверкающим рельсам, точно по графику, со своими остановками, секунда в секунду, без аварий и столкновений, которых он умело избегал. О будущем он не думал, ибо истый эгоист не заглядывает так далеко по той простой причине, что будущее для него — еще двадцать, тридцать лет от силы. Так проходила его жизнь.

Утро Иванова дня выдалось прекрасное, солнечное — такое, как и полагалось в это время года. Магистр лежал в постели и читал о военном искусстве египтян, когда фрёкен Августа вошла в комнату с кофе. По случаю праздника она нарезала к кофе шафранного хлеба и положила на салфетку веточку сирени. А накануне вечером она заткнула березовые ветки за печку, насыпала чистого песку в плевательницу и поставила вазочку с ландышами на туалетный столик.

— Вы ведь, наверное, тоже отправитесь сегодня погулять и повеселиться? — спросила старушка, оглядывая праздничное убранство комнаты и ожидая услышать слова благодарности и признания.

Но магистр даже не заметил всех этих украшений и сухо ответил:

— Вы же прекрасно знаете, фрёкен Августа, что я не признаю этих увеселительных прогулок — да и что в них хорошего? Только толкаются взрослые да орут дети.

— Но нельзя же оставаться в городе в такой прекрасный день! Ну хотя бы в Юргорден-то сходите?

— И не подумаю, особенно сегодня, когда там столько народу. Нет, мне хорошо и в городе, а этим праздникам вообще нужно когда-нибудь положить конец.

— Дорогой магистр, — возразила старушка, — есть много людей, которые считают, что в тяжелом трудовом году слишком мало праздников. Ну, тогда скажите по крайней мере, что для вас нужно сделать, а то мы с сестрой собираемся в Мариенфред и вернемся домой не раньше десяти вечера.

— Желаю вам хорошо провести день, фрёкен Августа, мне ничего не нужно, я сам о себе позабочусь! А привратник уберет комнату, когда я пойду обедать.

И он остался один. Выпив кофе, он зажег сигару и, лежа в постели, читал о военном искусстве египтян. Открытое окно поскрипывало от легкого южного ветерка. В восемь часов в церкви на Ладугордсландет зазвонили во все колокола, к ней присоединились церкви святой Екатерины, Марии и Якоба, — колокола гудели так, что могли довести язычника до отчаяния. А когда колокольный звон наконец прекратился, начался секстет канониров с капитанского мостика парохода в порту Ньюбрухамн — полилась французская мелодия. Магистр ворочался на своем диване, чуть было даже не встал, чтобы закрыть окно, но было слишком уж душно. Потом послышался барабанный бой с площади Карла XII, прерванный квинтетом духового оркестра, исполнявшего хор охотников из «Вольного стрелка».

Роковая дробь барабанов с площади Карла XII приближалась. Это стрелки направлялись на полигон по улице Стурегатан. И магистру пришлось шесть раз прослушать марш стрелков из Норрчепинга, заглушаемый время от времени свистками пароходов, колоколами и духовыми инструментами, которые постепенно затихали где-то у Кастельхольмена.

Он поднялся в десять часов. Поставил на спиртовку воду для бритья. Крахмальная рубашка лежала на комодe — деревянно-белая и твердая, как доска. Целых четверть часа ушло на то, чтобы продеть пуговицы в петли. Еще полчаса на бритье. Потом он причесывался, чрезвычайно тщательно, будто совершал чрезвычайно важное дело. А надевая брюки, держал их так, чтобы они не испачкались об пол.

Его комната была обставлена просто, чрезвычайно просто, но содержалась в полном порядке. Она была безликой и необжитой, как комната в гостинице. А он ведь прожил в ней целых двенадцать лет. У большинства людей за такой срок накапливается масса мелочей: подарков, ненужных безделушек, украшений, предметов роскоши. У него же не было ничего — ни каких-нибудь картинок на стенах, вырезанных из иллюстрированного журнала и чем-то поразивших воображение, ни салфеточки на спинке кресла, связанной любящей сестрой, ни фотографии любимого человека, ни вышитой перочистки на письменном столе. Все необходимое было куплено по дешевке, чтобы избежать ненужных расходов, которые могли бы ограничить независимость владельца.

Он лег на подоконник, чтобы окинуть взглядом улицу и через площадь Артиллерии — порт. В доме наискосок он увидел в окне женщину в корсете за туалетным столиком. Он отвернулся, как от чего-то безобразного или вовсе ему ненужного. Внизу в порту колыхались флаги на парусниках и пароходах, а вода искрилась на солнце. Вверх по улице, к церкви, поднимались несколько старушек с молитвенниками в руках. Перед артиллерийскими казармами ходил часовой с саблей; вид у него был недовольный, время от времени он бросал взгляд на башенные часы, чтобы установить, сколько осталось до смены. Вообще же улицы были пусты, серы, раскалены. Он снова посмотрел на одевавшуюся женщину. Она держала в руках пуховку и пудрила нос перед зеркалом с гримасой, делавшей ее похожей на обезьяну. Он отошел от окна и сел в качалку.

Программа на сегодняшний день была заранее составлена, потому что как бы там ни было, а магистр все же испытывал неясный страх перед одиночеством. В будни он был окружен учениками, и, хотя и не любил этих диких зверят, которых должен был дрессировать, то есть учить трудному искусству притворства, без них ему казалось пусто вокруг. Теперь, в летние каникулы, он организовал дополнительно курсы для взрослых, но короткий отпуск его учеников кончился, и он уже в течение нескольких дней был все время один, за исключением обеда, когда мог рассчитывать на общество книготорговца и второй скрипки.

«В два часа, — подумал он, — когда кончится праздничное шествие и людской поток прекратится, я пойду в кабачок обедать. Потом приглашу книготорговца в Стрёмсборг, там сегодня тихо, посидим до вечера, выпьем кофе с пуншем, а потом вернемся к «Рейнерсу» (так назывался кабачок в парке Берцелиуса).

Ровно в два он надел шляпу, тщательно почистил пиджак и вышел из дому.

«Есть ли у них сегодня тушеные окуни? — подумал о н . — И не разориться ли на спаржу, как-никак праздник?»

Он шел по теневой стороне улицы, вдоль высокой стены пекарни. Парк Берцелиуса заполнили рабочие. Они пришли семьями, с детскими колясочками, и расположились на тех же скамьях, на которых по будням восседали важные бонны из аристократического квартала. Он увидел, как мать кормит грудью ребенка. У нее была большая, полная молока грудь, в которую малыш вцепился своей пухлой ручонкой так, что ручонку едва было видно. Магистр с отвращением отвернулся. Его раздражал вид этих чуваков в его парке. Будто слуги, расположившиеся в отсутствие хозяев в гостиной, и он не мог им простить, что они были навеселе.

Он подошел к стеклянной веранде и собирался уже взяться за ручку двери, все еще думая о соблазнительных окунях, «густо посыпанных петрушкой», как вдруг увидел приклеенную к стеклу записку. Ему не нужно было читать, он и так знал ее содержание: кабачок закрыт по случаю праздника, и как он мог забыть! Он разозлился сначала на хозяина кабачка, затем на самого себя — подумать только, забыл, что кабачок закрыт! Забыть столь важную для него вещь — не странно ли это; нет, не мог он просто забыть, и он стал искать причину — почему он об этом забыл! Конечно, всему виной хозяин кабачка. Магистр был выбит из колеи, взбешен, ошеломлен, подавлен. Он опустил на скамью и чуть не заплакал от злости.

Бом! Удар мяча пришелся прямо по крахмальной манишке. Он вскочил, взвился разъяренной осой, готовясь наказать преступника, и увидел перед собой некрасивую детскую рожицу, смеявшуюся ему прямо в лицо. Рабочий в праздничном костюме и соломенной шляпе улыбнулся, взяв девочку за ручку, и спросил, не сделала ли она ему больно. Магистр увидел совсем рядом целую толпу смеющихся слуг и солдат. Он оглянулся, ища глазами полицейского, ибо чувствовал себя оскорбленным в своем человеческом достоинстве, но, обнаружив, что полицейский доверительно болтал с мамой девочки, утратил желание устроить скандал и направился на площадь Нормальм, чтобы нанять извозчика и поехать в южную часть города к книготорговцу, потому что не мог больше быть один. Сев на извозчика, он почувствовал себя более или менее в безопасности и стал вытирать платком манишку, испачканную мячом.

Доехав до нужной улицы, он отпустил извозчика, не сомневаясь, что застанет книготорговца дома. Но, поднимаясь по лестнице, со страхом подумал: «А вдруг его нет дома!» Его и в самом деле не оказалось дома! И никого в целом доме! Он стучал во все двери, дом словно вымер, он слышал, как его шаги эхом отдавались на лестнице.

Очувтившись наконец снова на улице, он не знал, куда деваться. Адреса Потockого у него не было, а найти его через справочное бюро сегодня, когда все киоски закрыты, было невозможно!

Он пошел куда глаза глядят, по улице Йётгатан, через мост Шеппсбрун, через Северный мост и площадь Карла XII. Ему не попалось ни одного знакомого лица, его оскорбляло это общество плебеев, заполнивших город в отсутствие господ, — его, как и всех нас, государственная школа воспитала аристократом.

Голод, улегшийся было от первого потрясения, снова давал о себе знать. И новый ужасный вопрос пришел ему в голову, но по трусости он не решался додумать его до конца: где пообедать? Он вышел из дома с талончиками и полутора кронами. Талончики были действительны только у Рейнерса, а одну крону он проездил.

Он снова дошел до парка Берцелиуса. Там повсюду сидели рабочие со своими семьями и ели, доставая из корзинок припасы: вареные яйца, раков, блинчики! Куда смотрела полиция? Мало того, сам полицейский спокойно закусывал рядом — в одной руке бутерброд, в другой — стакан пива. И особенно было обидно, что эти люди, которых он всегда презирал, в данном случае имели перед ним преимущество. Но почему бы не зайти перекусить в молочную? Почему? От ответа на этот вопрос он отмахнулся, как от чего-то назойливого. Он двинулся к паровой пристани, намереваясь переправиться на остров Юргорден, где он обязательно должен встретиться с кем-нибудь из знакомых — как это ему ни противно, он займет у кого-нибудь деньги на обед, на хороший обед в ресторане Хассельбаккен!

На пароходе было полным-полно народу, и магистру пришлось прижаться спиной к раскаленной машине, забрызгавшей жидким маслом его сюртук; к тому же он вынужден был все время смотреть на волосы какой-то кухарки и вдыхать отвратительный запах дешевой помады. И ни одного знакомого лица!

Войдя в ресторан Хассельбаккен, он приосанился, насколько было возможно, стараясь держаться с изысканной непринужденностью. Площадка перед рестораном была похожа на театральное фойе и, казалось, имела то же назначение, то есть была местом встреч, где можно было, что называется, людей посмотреть и себя показать. В глубине сидели офицеры, лица у них побагровели от обильных возлияний. Неподалеку расположилась группа иностранцев, изо всех сил старавшихся выдать себя за подвыпивших местных жителей, которые то ли собрались на семейное торжество — крещение, свадьбу, похороны, то ли готовы затеять драку в порту. Но этим и исчерпывалась благородная публика. Посредине площадки магистр обнаружил трубочиста с Ладугордсландет с семьей, хозяина погребка «Король в аду», провизора из аптеки «Енот» и прочую подобную публику. И тут же расхаживал егерь в зеленом костюме с серебряными галунами и с палкой в руке, с презрением оглядывая собравшихся, будто спрашивая, что они тут делают. Магистр был чрезвычайно смущен обращенными на него взглядами, ему казалось, они говорят: «Посмотрите-ка,

видно, хочет пообедать за чужой счет!» Но ему нужно было пройти на веранду, где ели окуней и спаржу, где пили сотерн и шампанское. Вдруг он почувствовал дружескую руку, опустившуюся на его плечо: обернувшись, он увидел сияющее лицо официанта Густава, почувствовал крепкое рукопожатие и услышал искренние слова:

— Вот так встреча! Как поживаете, господин магистр?

Но Густав, обрадовавшийся было тому, что на минуту оказался ровней своему господину, тут же ощутил, что пожимает своей теплой рукой деревяшку, и встретил взгляд, колючий, как булавка. А ведь эта жесткая рука вчера в кабачке так мягко всунула в его руку десятикрановую бумажку, и этот человек благодарил его за услуги, которыми пользовался целых полгода, благодарил, как благодарят друга. И официант Густав, смущенный и огорченный, вернулся на свое место и сел среди своих товарищей. А магистр с горьким чувством снова ушел с веранды, протиснулся сквозь толпу, и ему казалось, что за его спиной раздался шепот: «А пообедать-то небось не удалось!»

Он вышел на поляну. Там выступал Петрушка, которого нещадно колотила жена. Там же моряк показывал в трубе — «звезде счастья» служанкам, канонирам, солдатам и подмастерьям их суженых. Все эти люди пообедали и теперь веселились. И магистру на минуту показалось, что он хуже их, но тут он вспомнил, что они не знают, как укреплялись египетские позиции, и снова почувствовал свое превосходство и был не в состоянии понять, как люди могут пасть так низко, что находят удовольствие в подобных глупостях.

Однако у магистра пропала уже всякая охота искать еще какие-либо погребки. Он видел, как на зеленой траве молодежь танцевала под звуки скрипки. Несколько поодаль, под дубом, расположилась семья: глава семьи без пиджака и шляпы стоял на коленях, держа стакан с пивом в одной руке, а в другой — бутерброд с колбасой. Его жирное веселое лицо, чисто выбритое около рта, сияло радостью и доброжелательством, когда он приглашал своих гостей, состоявших — это было ясно — из жены, ее родителей, братьев и сестер, приказчиков и служанок, есть, пить и веселиться. Ведь сегодня праздник, Иванов день. Веселый человек отпускал такие шуточки, что все общество буквально корчилось от смеха. А когда были поданы блинчики, которые брали прямо руками, и бутылка с порвейном пошла по кругу, старший приказчик произнес речь, и она была местами до того трогательной, что женщины вынимали носовые платки, а хозяин запихивал кончик бакенбард в уголок рта, местами же до того смешной, что крики «браво» и хохот заглушали голос оратора. Магистр помрачнел, но не ушел, а сел на камень за сосной, чтобы понаблюдать за этими «скотами». Когда речь была окончена и было выпито за здоровье хозяина и хозяйки под крики «ура» и звуки фанфар — их заменили аккордеон и все густые тарелки и миски, — общество поднялось и стало играть в горелки. Теща зашла за ореховый куст, чтобы помочь самому маленькому, а мать сама расстегнула штанишки среднему.

«Что за скоты», — думал магистр, отворачиваясь, ибо все естественное было для него уродливым, поскольку прекрасным было то, что неестественно, за исключением картин «признанных мастеров» в Национальном музее.

Он видел, как молодые люди, сняв пиджаки, в одних рубашках, и молодые девушки, повесив манжетки на кусты боярышника, становились в пары и бежали.

Девушки задирали юбки так, что видны были чулки, подвязанные красными и голубыми лентами, которые покупают в мелочной лавке. Кавалеры обнимали своих дам за талию и кружили с такой быстротой, что видны были даже их колени, а старики и молодые хохотали так, что горы откликались эхом.

«Что это — невинность или упадок нравственности?» — удивлялся магистр.

Но собравшиеся, наверное, не знали мудреных слов «упадок нравственности» и потому веселились вовсю.

Устав от беготни, они сели пить кофе. А магистр не мог понять, где это кавалеры научились быть такими любезными с дамами: чтобы подать девушкам сахарницу или хлеб, они ползали на четвереньках, и концы пряжек на пропитанных потом жилетах поднимались на их спинах, словно дверные ручки.

«Это самцы хорохорятся перед самками, и только!»

Но магистр видел, как хозяин, добрая душа, любезно угощал стариков — тещу и тестя — и даже жену, и всех приказчиков и служанок, а когда кто-либо отказывался, говоря: «Возьмите сначала сами», — он отвечал, что успеет. Видел, как дедушка вырезал мальчикам свистки из ивовых веток, а бабушка обязательно хотела сама вымыть всю посуду, словно она кухарка! Тогда магистр подумал, что эгоизм — странная штука и может принимать у людей такие формы, так проявляться, что кажется, будто каждый берет и дает одинаково. В том, что людьми этими двигал эгоизм, у него сомнений не было!

Началась игра в фанты, каждый фант выкупался поцелуем. Целовались по-настоящему, прямо в губы, со вкусом. А когда веселый бухгалтер проиграл и ему выпало поцеловать большой дуб, он обхватил руками толстый ствол, точь-в-точь как обнимают девушку, когда никто этого не видит, и разыграл всю сценку так смешно, что все хохотали до упаду, потому что сами прекрасно знали, как это бывает, хотя никто не решился бы проделать это у всех на виду.

Магистр, критически следивший за игрой со своего высокого наблюдательного пункта на камне, понемногу стал разделять радость игравших и наконец почувствовал себя чуть ли не членом этой компании. Он даже невольно улыбался на шутки приказчиков, а хозяин, по-видимому мелкий коммерсант, за какой-нибудь час полностью завоевал его симпатии. И он поистине был первоклассным министром веселья. Он умел ползать раком, влезать на деревья, глотать монеты и пламя, подражать всевозможным птицам. А когда он вынул шафрановый хлебец из корсажа молодой

девушки и заставил его исчезнуть в ее правом ухе, магистр расхохотался так, что его пустой живот затрясся.

Потом начались танцы. Магистр читал где-то в грамматике Рабеса изречение Цицерона, что «трезвый не затанцует, если он не сумасшедший», и всегда считал танцы выражением безумия. Правда, он видел, как радостно подпрыгивают, словно танцуют, молодые щенки и бычки, но не думал, что положение Цицерона распространяется и на животных, а ведь между животными и людьми магистр научился видеть огромную разницу. Теперь же, когда молодые люди, трезвые, но сытые и утолившие жажду, кружились под медленные, ритмичные звуки аккордеона, ему казалось, что его душа взмывает на качелях, и под конец он не мог уже удержаться, чтобы правой ногой тихонько не отбивать такт.

Часа через три он поднялся. Ему было трудно уйти, будто он расстраивал веселую компанию — ведь он уже чувствовал себя ее членом. На душе у него было спокойно, и он ощущал приятную усталость, как после веселья.

Наступил вечер. Один за другими медленно проезжали лакированные экипажи, в которых полулежали дамы в белых бальных платьях, набеленные, с черными тенями под глазами, словно трупы в саване — тогда было модно походить на вставших из могил мертвецов. Новый ход мыслей подсказал магистру, что этим дамам скучно, и он ничуть им не позавидовал. А под обрывом, вдоль которого шла большая дорога, по морю плыли пароходы, украшенные флагами, на палубе играла музыка, люди возвращались с веселых прогулок — они кричали «ура», веселились и пели так громко, что слышно было на острове.

Никогда в жизни магистр еще не чувствовал себя таким одиноким, как в этой толпе, ему чудилось, что все смотрят на него с участием, как на отшельника, и ему самому стало себя жалко. Он готов был подойти к первому встречному, поговорить, услышать свой голос, от одиночества ему казалось, что рядом с ним кто-то идет. И в нем заговорила совесть. Он вспомнил официанта Густава в ресторане Хассельбаккен, который не смог сдержать радости, увидев его. Теперь магистру так хотелось, чтобы хоть кто-нибудь ему обрадовался! Но никто не попадался ему навстречу.

На катере к нему подошла охотничья собака, потерявшая хозяина, и положила ему голову на колени. Магистр терпеть не мог собак, но пса не отогнал. Колени ощущали приятное тепло, а брошенное животное смотрело ему прямо в глаза, как бы прося найти хозяина.

Но когда они подошли к берегу возле моста Ньюбу, пес убежал.

«Я больше не нужен», — подумал магистр, пошел домой и лег спать.

Незначительные события Иванова дня лишили магистра его обычной уверенности. Он понял, что надо все продумать, предвидеть, хладнокровно рассчитать. Он чувствовал какую-то зыбкость во всем, что его окружало. Даже на кабачок — его настоящий

дом — нельзя было положиться, его могли закрыть в любой момент. Некоторый холодок со стороны Густава действовал на него удручающе. Официант был по-прежнему любезен, даже более внимателен, чем когда-либо раньше, но дружба исчезла, доверия как не бывало. Это вызывало в магистре подозрительность, и каждый раз, получая жесткий кусок мяса или слишком мало картофеля, он думал: «Ха-ха! Он мне мстит!»

Лето выдалось для магистра невеселым — ни второй скрипки, ни книготорговца в городе не было.

Однажды книготорговец и вторая скрипка сидели в кабачке и пили ром. Потом пришел магистр, под мышкой у него был сверток, который он старательно спрятал в корзине из-под бутылок, стоявшей в чулане, где лежал всякий хлам. Магистр был в необычно плохом настроении и сильно нервничал.

— Ну, старина Блум, — начал книготорговец, наверное, уже в сотый раз, — когда же ты наконец женишься?

— Пусть черт женится, у меня и так забот предостаточно. А почему ты сам-то не женишься? — огрызнулся магистр.

— Ну, у меня есть моя старушка Става, — ответил книготорговец, давая в сотый раз стереотипный ответ на стереотипный вопрос.

— Я был счастливо женат, — проговорил поляк. — Но мой жена умер, фу!

— Она умерла, следовательно, ты вдовец! — обозлился магистр.

Поляк не понял этой фразы, но кивнул утвердительно. Магистр подумал, что они ему надоели. Разговор всегда вертелся вокруг одного и того же, их ответы он знал наизусть.

Когда он вышел из зала, чтобы взять сигару из пальто, книготорговец бросился в чулан и схватил сверток магистра. Он быстро его развязал и вынул великолепную американскую ночную рубашку, которую аккуратно повесил на спинку стула магистра.

— Ну! — выговорил поляк и сморщился, будто увидел что-то отвратительное.

Хозяин погребка, любивший хорошую шутку, лег на стойку и громко захохотал. Официант остановился посреди зала, и вскоре кухарка высунула голову в окошечко кухни.

Вернувшись в зал и увидев, какую шутку с ним сыграли, магистр пришел в бешенство. Он сразу же заподозрил книготорговца, но когда заметил, что Густав хихикает в уголке, он подумал свое обычное: «Он хочет мне отомстить!» Не говоря ни слова, магистр схватил рубашку, бросил деньги на стойку и ушел.

С того дня магистр больше не появлялся у Рейнерса, и книготорговец прослышал, что он обедает теперь в погребке на Ладгурдсландет. Так оно и было! Но магистр был чрезвычайно недоволен новым рестораном. Еда-то была неплохая, но ее готовили не так, как он привык. Официанты оказались невнимательны. Не раз подумывал он о том, чтобы вернуться к Рейнерсу, но мешала гордость. Таким вот образом его выбросили из его собст-

венного дома, так в течение пяти минут рухнула многолетняя дружба.

Осенью его постиг новый удар. Фрёкен Августа получила маленькое наследство в Нючёпинге и с первого октября должна была покинуть Стокгольм. Магистру пришлось съехать. И с той поры он менял квартиру каждый месяц, ибо ни одно жилье ему не подходило. Все комнаты стоили друг друга, и все они были не тем, что надо. Он так привык к своим старым улицам, что иногда доходил до самых дверей своего прежнего жилья и лишь тогда обнаруживал ошибку. Одним словом, он был совершенно выбит из колеи. В конце концов он поселился в пансионате, хотя всегда боялся там жить. И его знакомые потеряли его из виду.

Однажды вечером у Рейнерса поляк сидел один, курил и пил, изредка покачивая головой. С чисто восточной, свойственной его нации способностью погружаться в раздумье, он всецело ушел в себя. Вдруг в зал бурей влетел книготорговец, шмякнул своей шляпой о стол, чуть не расплюснув ее, и заорал:

— Господи Иисусе! Господи Иисусе! Слышали вы что-либо подобное?

Поляк очнулся от своей коньячно-табачной нирваны и заворочал глазами.

— Господи Иисусе! Черт возьми! Он обручился!

— Кто обручился? — переспросил поляк, до смерти напуганный таким обхождением со шляпой и злоупотреблением именем Спасителя.

— Магистр Блум!

И книготорговец потребовал за свою новость рома. Хозяин вышел из-за стойки, чтобы послушать сообщение книготорговца.

— Деньги? — спросил он не без лукавства.

— Нет, не думаю, — ответил книготорговец: он чувствовал себя героем дня и старался раздавать свое богатство не сразу, а понемножку.

— Красива? — спросил поляк. — Моя жена был очень красива, фу!

— Нет, она и не красива. Но у нее доброе лицо.

— Вы их видели? — спросил хозяин. — Она старая? — И он бросил взгляд на кухонное окошечко.

— Нет, молодая!

— А ее родители? — продолжал хозяин.

— Отец, кажется, седельник в Эребру.

— Вот так шельма! — вынес свое суждение хозяин.

— Я всегда говорил, — сказал книготорговец, — что этот парень рожден для того, чтобы жениться.

— Так со всеми нами получается, — промолвил хозяин, — никто не избежит своей судьбы!

Изрекши в заключение эту истину, он вернулся за стойку.

Успокоившись, что магистр женится не на деньгах, друзья принялись думать и гадать, «на что они будут жить». Книготорговец подсчитал жалованье магистра и прикинул, сколько он может

получать за уроки. А когда этот вопрос был решен, хозяин заинтересовался другими подробностями. «Где он ее встретил? Блондинка она или брюнетка? Любит ли она его?» Этот вопрос поставил книготорговца в тупик. Ему показалось, что любит, он видел, как она просто повисла на руке магистра, когда они как-то вечером стояли перед витриной магазина. Но вот как, спрашивается, он, этаким чурбан, мог влюбиться! Совершенно невероятно. Какой из него муж? Хозяин знал, что магистр чертовски капризен в еде, а женатому нельзя капризничать (взгляд в сторону кухонного окошечка!), и с удовольствием пьет ром по вечерам. А может ли женатый позволить себе пить ром каждый вечер? Да и детей он не выносит!

— Пфуй! — Хозяин даже присвистнул. — Из этого ничего хорошего не получится! Поверьте моему слову — ничего хорошего! А еще, скажу я вам, — тут он поднялся, оглянулся и продолжал шепотом, — я думаю, черт меня подери, что у этого старого лицемера были кое-какие интрижки. Помните, господа, тот вечер, хи-хи-хи-хи, с ночной рубашкой! Хе-хе, пфуй! Тут дело нечисто! Поразуйте-ка получше, фру Блум, последите-ка за муженьком! Мы кое-что видели! Но я молчу!

Факт оставался фактом — магистр и в самом деле был обручен и через два месяца женился.

Дальнейший ход событий не имеет прямого отношения к нашей истории, да к тому же трудно узнать, что делается за монастырскими стенами семьи, в которой строго соблюдают обет молчания.

Известно одно: магистр никогда больше не показывался в кабачках. Книготорговцу, встретившему однажды магистра на улице, тот прочел длинную лекцию о необходимости жениться. Да, магистр обрушился на холостяков и заявил, что они эгоисты, поскольку не желают иметь потомство, что таких кукушек нужно обязать платить высокие налоги, ибо косвенные налоги основной тяжестью падают на отцов семейств. Он дошел даже до того, что чуть ли не требовал, чтобы закон наказывал холостяков за «преступление против природы». Книготорговец, обладавший хорошей памятью, высказал опасение по поводу того, стоит ли соединять свою судьбу с какой-нибудь «гусыней», на что магистр ответил, что его жена — умнейшая из женщин.

Два года спустя поляк встретил магистра с женой в театре, и ему показалось, что «они шасливы, фуй!».

А спустя три года хозяин кабачка поехал в Иванов день за город в Мармефред. Там на зеленой лужайке он встретил магистра, который вез детскую колясочку и нес корзинку с едой, а за ним шествовал целый караван мужчин и женщин. Судя по виду, «все они были из деревни». После обеда магистр пел песни и играл в чехарду с молодежью. Он выглядел на десять лет моложе и держал себя с дамами истым кавалером. Хозяин кабачка, находившийся неподалеку от компании, слышал маленький диалог между мужем и женой. Жена вынула блюдо раков из корзинки и попросила Альберта не сердиться за то, что не смогла найти раков-самок,

хотя и обегала не одну лавку. Магистр обнял ее за талию, поцеловал и сказал, что с удовольствием будет есть и этих раков, — он всем вполне доволен. А когда ребенок в колясочке закричал, магистр взял его на руки и носил, пока малыш не утомился. Но все это мелочи. А вот как, интересно, умудряются вообще жить женатые люди, если они, даже будучи холостяками, еле сводят концы с концами, — вот где загадка. Похоже на то, что дети, появляясь на свет, приносят с собой и средства к жизни. Похоже на то!

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

Они были женаты уже шесть лет, но казалось, обвенчались только вчера. Он служил капитаном во флоте и каждое лето отправлялся на два-три месяца в рейс. Два раза он уходил в длительное плавание. Короткие летние рейсы были весьма полезны — если во время зимнего ничегонеделания появлялись признаки застоя, такая летняя разлука проветривала и освежала их отношения. Первый рейс проходил трудно. Он писал пространные любовные письма жене и, встречая в море любое суденышко, тотчас же сигнализировал о необходимости отправки почты. И когда наконец показались шведские шхеры, он не мог найти себе места от нетерпения увидеть жену! И она об этом знала! В Ландсурте он получил телеграмму — она встретит его на Даларё. Когда они бросили якорь у Ютхольмена и капитан увидел голубой платочек на веранде постоянного двора, он понял — это она. Но сперва ему пришлось переделать множество дел на корабле, и на берег он сошел только к вечеру. Гичка мягко причаливает к пирсу, и капитан видит жену — такую же молодую, такую же красивую, такую же свежую — и как будто вновь переживает медовый месяц. Она сняла две комнатки на постоялом дворе, и — ах! — какой же замечательный ужин она приготовила! И так о многом им надо поговорить! О плавании, о малышах, о будущем! Искрится вино, раздаются звуки поцелуев, слышится вечерняя зоря с моря. Но его это не касается, он уйдет не раньше часа. Что? Ему надо уходить?

— Да, полагается ночевать на судне, но главное — явиться к побудке!

— Во сколько побудка?

— В пять утра!

— Фу, как рано!

— Ну, а где ты будешь сегодня спать?

— Этого ты не узнаешь!

Но он догадывается и хочет посмотреть, где она проведет ночь. Она загораживает дверь. Он целует ее, берет на руки, как ребенка, и открывает дверь.

— Ух, какая огромная кровать! Настоящий баркас! И где это они такую достали?

Боже, как она покраснела. Но ведь из его письма она поняла, что они проживут здесь, на постоялом дворе.

— Ну разумеется, проживем, хотя мне и нужно быть на борту к утренней побудке, этой чертовой утренней молитве, хоть бы ее совсем не было!

— Фу, как нехорошо ты говоришь!

— А сейчас мы выпьем кофе и разведем огонь в камине — простыни влажноватые! Ну, какая же ты умница, маленькая плутовка — догадалась раздобыть такую большую кровать! И где ты ее достала?

— И вовсе я ее нигде не доставала!

— Разумеется, нет. Как мне это в голову могло прийти!

— Ах, какой глупый!

— Глупый? — Он обнял ее за талию.

— Нет, нет, будь же благоразумен!

— Благоразумен! Легко сказать!

— Тс-с! Слышишь, служанка дрова несет!

Часы пробили два, шхеры и вода на востоке загорелись красным огнем, а они сидели у открытого окна. Точно любовники. А разве нет? И ему придется сейчас ее покинуть. Но он вернется в десять, к завтраку, а потом они поедут кататься на лодке. Он поставил на огонь свой походный кофейник, и они пили кофе под крики чаек, любуясь восходом. В проливе покачивалась на волнах канонерка, и он видел, как время от времени вспыхивает на солнце тесак вахтенного. Как трудно разлучаться, но как сладко сознавать, что скоро-скоро они вновь будут вместе. Он поцеловал ее в последний раз, пристегнул к поясу саблю и ушел. Капитан шагал по причалу, выкрикивая «эй там, на лодке», а она спряталась за занавеску, словно стыдясь чего-то. Он посылая ей воздушные поцелуи, пока не подошла гичка с матросами. И наконец, последнее «спи сладко, увидь меня во сне», и уже на середине пролива, приложив к глазам бинокль, он увидел маленькую белую фигурку в ореоле черных волос на фоне темной комнаты, и солнце освещало ее рубашку и обнаженные плечи, и она была похожа на русалку!

Прозвучала побудка. Протяжные сигналы горна покатались по блестящей воде между зелеными островками, через ельники, через дороги. И «все наверх!», «Отче наш» и «Помоги мне, боже, сие дело мною начинаемо». Колоколенка на Даларё ответила слабым перезвоном — было воскресное утро. Появились подогняемые утренним бризом куттера, взметнулись флаги, захлопали выстрелы, на причале замелькали светлые летние платья, подошел, оставляя за собой рыжий шлейф воды, пароход с острова Утэн, рыбаки вытащили свои сети, и сверкали на солнце чуть колышущаяся синяя вода и зеленая суша.

В десять часов спустили гичку, и шесть пар весел понесли ее к берегу. И вот они опять вместе. Они завтракали в общем зале, а другие гости шепотом спрашивали: это его жена? Он говорил вполголоса, словно любовник, а она опускала глаза и улыбалась, иногда шлепая его салфеткой по пальцам.

Лодка качалась у причала — она сядет за руль, а он пусть управляется с фоком. Он не мог оторвать глаз от ее светлой, одетой по-летнему фигуры с высокой крепкой грудью, от ее решительного личика и уверенного взгляда, устремленного навстречу ветру, и руки, затянутой в перчатку из оленьей кожи, державшей шкот. Ему хотелось говорить и говорить, поэтому он порой мешкал с поворотами. И получал нагоняй, точно юнга, что доставляло ему несказанное удовольствие.

— Почему ты не взяла с собой малышку? — спросил он, чтобы подразнить ее.

— А куда бы я, по-твоему, ее положила?

— В наш баркас, разумеется!

Она улыбнулась, и ему было так радостно видеть эту ее улыбку.

— Ну, что сказала хозяйка сегодня утром? — продолжал он.

— А что она могла сказать?

— Она хорошо спала ночью?

— А почему она должна была плохо спать?

— Не знаю, может, крысы грызли половицы или старое чердачное окошко скрипело всю ночь; откуда мне знать, что может потревожить сладкий сон старой мамзели.

— Если ты не замолчишь, я закреплю шкот и сброшу тебя в воду!

Они пристали к небольшому островку и пообедали припасами, уложенными в корзинку; постреляли в цель из револьвера, потом закинули удочки, делая вид, будто на самом деле удят рыбу, но поклевки не было, и они вновь уселись в лодку. Они заходили в заливы, где резвились гаги, в пролив, где в камышах бились щуки, и опять устремлялись в открытое море, и ему не надоедало смотреть на нее, разговаривать с ней и, когда удавалось, целовать ее.

Так встречались они на Даларё шесть лет подряд и были всегда одинаково молоды, одинаково сумасбродны — и счастливы. Зимы они проводили в своих маленьких комнатках-каютах на Шеппсхольмене. Он строил парусные кораблики мальчикам или развлекал их рассказами о путешествиях в Китай и на острова южных морей, и жена смеялась над его глупыми историями. У них была чудесная комната, не похожая ни на какую другую. Там висели японские зонтики от солнца и японские доспехи, миниатюрные пагоды из Ост-Индии и австралийские луки и копья; африканские барабаны и высушенные летучие рыбы; трубки сахарного тростника и трубки для курения опия. И отец семейства, уже слегка облысевший, вовсе не стремился в море. Иногда он играл в шашки с аудитором или проводил вечера за «вирой» и стаканом грога. Когда-то жена тоже принимала участие в игре, но с появлением четверых детей времени на это у нее уже не хватало, и все-таки она охотно подсаживалась на минутку к играющим, заглядывая в карты, или подходила к мужу, который обнимал ее за талию и спрашивал, стоит ли ему брать прикуп с такими-то картами.

Однажды капитану предстояло уйти в плавание на своем корвете на целых полгода. Он ужасно переживал — дети выросли,

и матери было довольно трудно одной справиться с такой большой командой. Да и капитан сам был уже не так молод и далеко не так жизнерадостен, как раньше, но служба есть служба, и он ушел в море. Уже из Крунборга он отправил первое письмо следующего содержания:

«Моя любимая топенанточка!

Ветер слабый, 3.3.О до О., плюс 10 °С, 6 шлюнок, свободен от вахты. Не могу выразить, что я чувствую, находясь так далеко от тебя. Когда мы выбирали верп у Кастельхольмена (6.30 пополудни, при сильном Н. О. до О.), мне показалось, будто мне всадили пал под ребро, а через ушные клюзы пропустили якорную цепь. Говорят, у моряков есть способность предчувствовать несчастье. Об этом я ничего не знаю, но пребываю в ужасном беспокойстве, пока не получу от тебя первой весточки. На борту ничего не произошло, по той простой причине, что ничего и не может произойти. А как там у вас? Готовы ли новые сапоги Боба? Не жмут? Я, как ты знаешь, не мастак писать письма и потому кончаю. Крепко целую прямо в середину вот этого креста Х!

Твой старый Пал.

Р. S. Заведи себе компанию, небольшую (женскую, разумеется). И не забудь попросить мамзель на Даларё перетянуть большой баркас к моему приезду! (Ветер усиливается, к ночи будет норд!)»

В Портсмуте капитан получил от жены ответ.

«Дорогой мой Пал!

Здесь без тебя очень тоскливо, можешь мне верить. И нелегко было, потому что у Алис прорезался первый зуб. Доктор сказал, что необычайно рано, и это должно означать... (нет, этого ты не узнаешь!) Сапоги Бобу оказались как раз впору, он ими очень гордится. Ты в своем письме упомянул, чтобы я познакомилась с какой-нибудь женщиной. Это я уже сделала, или, вернее, она сама нашла меня. Ее зовут Оттилия Сандегрен, она окончила семинарию. Очень серьезная женщина, так что можешь не бояться, что она собьет с пути твою «топенанточку». И кроме того, она религиозная. Да, нам бы тоже не мешало быть построже в делах веры. Одним словом, она превосходная женщина. Кончаю писать — за мной пришла Оттилия. Она только что вошла и просит передать тебе привет, хотя вы и незнакомы.

Твоя Гурли».

Капитан был недоволен письмом. Слишком короткое и не такое бодрое, как всегда. Семинария, религиозная, серьезная, и Оттилия — два раза Оттилия! А потом Гурли! Почему не «Лапочка», как прежде! Гм!

Через восемь дней, в Бордо, он получил еще одно письмо и впридачу бандероль с книгой. «Дорогой Вильгельм!» — Так,

Вильхельм! Уже не Пал! — «Жизнь — это борьба от...» — Что за черт! Какое нам дело до жизни! — «...начала до конца! Спокойно, как ручей Кедрона...» Кедрона! Это же из Библии! — «...текла наша жизнь. Мы словно лунатики ходили над пропастью, не замечая ее!» — Семинария, семинария! — «Но тут возникает этический вопрос...» — Этический! Аблатив! Гм, гм! — «...заявляя о своей высшей потенции!» — Потенции?! — «И когда теперь, пробудившись от долгого сна, я спрашиваю себя, правильным ли был наш брак, я вынуждена с раскаянием и смирением признать: нет, неправильным! Любовь вершится на небесах (Матф., 12, 22 и сл.)». Прежде чем продолжить чтение, капитан был вынужден встать и налить себе стакан рома с водой. «А наша любовь — какой земной, конкретной она была! Разве души наши жили в той гармонии, о которой говорит Платон («Фейдон», кн. VI, гл. II, § 9)? И мы должны признаться: нет! Кем я была для тебя? Твоей домоправительницей и — о, стыд! — твоей любовницей! Понимали ли друг друга наши души? И на этот вопрос мы должны ответить: нет!» — Тысяча чертей! Черт бы побрал этих Оттилий и все дьявольские семинарии! Она была моей домоправительницей? Она была моей женой и матерью моих детей! — «Прочти книгу, которую я тебе посылаю! Она даст ответы на все вопросы. В ней высказано то, что веками скрывалось на дне души всего женского рода! Прочти ее и скажи мне потом, правильным ли был наш брак! На коленях молю, твоя *Гурли*».

Вот оно, его дурное предчувствие! Капитан был вне себя. Какая муха укусила его жену?! Это похуже сектантства!

Он разорвал бандероль и прочитал на обложке: Хенрик Ибсен, «Кукольный дом». Кукольный дом! Да, конечно! Его дом был прелестным кукольным домиком, и его маленькая женушка была его куколкой, а он сам — ее большой куклой. Они, играя, шли по усыпанной острым щербнем дороге жизни и были счастливы! Чего им не хватало? Какая была совершена несправедливость? Надо поглядеть, что об этом написано в книге.

Капитан читал три часа! Но умнее не стал. Какое это имеет отношение к нему и его жене? Разве они подделывали векселя? Нет! Разве они не любили друг друга? Любили! Он заперся в каюте и еще раз перечитал книгу, делая отметки синим и красным карандашом, и под утро сел писать жене. Он писал:

«Небольшой дружеский Аблатив, нацарапанный стариком Палом на борту «Ванадиса» в Атлантическом океане вблизи Бордо (широта 45°, долгота 16°).

§ 1. Она вышла за него замуж, поскольку он любил ее, и поступила чертовски правильно, потому как, ежели бы она ждала того, кого бы любила она, мог бы произойти казус, что тот бы ее не любил, и тогда она бы поняла, где раки зимуют. Так как очень редко бывает, чтобы оба были безумно влюблены друг в друга.

§ 2. Она подделывает вексель. Весьма глупо, но ей не следовало говорить, будто она сделала это только ради мужа, потому что она ведь никогда его не любила; скажи она, что сделала это ради них обоих и ради детей, это было бы правдой! Понятно?

§ 3. После бала он пристаёт к ней с ласками, и это лишь доказывает, что он ее любит, и в этом нет ничего дурного; дурно только, что это показывают в театре. И у *a des choses qui se font mais qui ne se disent point*¹, так, кажется, говорит один француз. Кстати, писатель, будь в нем чувство справедливости, должен был бы показать обратный случай: *la petite chienne veut, mais le grand chien ne veut pas*², как сказал Оллендорф (сравни баркас на Даларё).

§ 4. Ее намерение — когда она обнаруживает, что муж просто свинья, а он и есть свинья, так как готов простить ее, поскольку обман не раскрылся, — уйти и бросить детей, ибо 'она не достойна их воспитывать' — не очень удачное кокетство. Она была глупой королевой (не учат же в семинарии, что подделывать векселя разрешено), а он — быком, и теперь они могут мирно идти в одной упряжке. Уж чего-чего, а оставлять детей на воспитание такому ослу, которого она презирает, никак не годится.

§ 5. Таким образом, после того как Нора увидела, какая скотина ее муж, у нее появляется еще более веская причина остаться с детьми.

§ 6. То, что муж не оценил ее раньше по достоинству, не его вина, поскольку ее достоинства проявились только после заварушки.

§ 7. Нора была раньше взбалмошной девчонкой, она и сама этого не отрицает.

§ 8. Налицо все гарантии того, что с этих пор они будут тянуть лямку ровней: он раскаялся и хочет исправиться; она тоже! Прекрасно! Вот тебе моя рука — начнем сначала! Два сапога пара! Что в лоб, что по лбу. Ты была дурой, и я вел себя как дурак! Ты, моя маленькая Нора, была плохо воспитана, и я, старая сволочь, не лучше. Повинимся оба! Бросай тухлые яйца в наших воспитателей, только не попади в меня... Я, хоть и мужчина, невиновен в такой же степени, что и ты! Может, даже чуть невиновнее, потому что женился по любви, а ты — по расчету! Так давай же станем друзьями и будем вместе обучать наших детей той драгоценной науке, которой научила нас жизнь!

Все ясно? All right!³ Все это написал капитан Пал-тугодум своими негнушимися пальцами!

Ну вот, моя любимая куколка, я прочитал твою книгу и высказал свое мнение. И какое же это имеет отношение к нам? Разве мы не любили друг друга? Разве мы все еще не любим друг друга? Разве мы не воспитывали друг друга, не сглаживали углы — ты

¹ Есть вещи, которые делают, но о которых нельзя говорить (*фр.*).

² Сучка хочет, а кобель — нет (*фр.*).

³ Отлично! (*англ.*).

ведь, наверное, помнишь, что вначале и у нас не обходилось без сучков и заноз? Так что же это за глупости? К черту Оттилий и семинарии! Непростую книжицу ты мне подсунула. Она похожа на плохо обозначенный фарватер, того и гляди сядешь на мель. Я взял циркуль, проложил курс и избежал мелей. Но второй раз такого не повторю. Пускай сам черт щелкает такие орешки: их разгрызаешь — а внутри чернота. А сейчас желаю тебе покоя и счастья и чтобы ты опять стала умницей-разумницей. Как мои малыши? Ты забыла о них написать! Небось слишком много думала об этих благословенных детках Норы (которые существуют только в книге!). «Плачет ли мой сынишка, играет ли моя липа, поет ли мой соловей и танцует ли моя куколка?» Пусть она всегда танцует, и тогда старик Пал будет доволен. Благослови тебя господь и пусть никакие дурные мысли не встанут промеж нас. Я так тоскую, что и сказать не могу. И вот должен писать рецензии на пьесы! Сохрани господь тебя и малышей, поцелуй их в губы от твоего старого верного Пала».

Закончив письмо, капитан спустился в кают-компанию выпить грогу. С ним был судовой врач.

— Хо-хо! — воскликнул капитан, — чувствуешь, как воняет старыми штанами! Хо-хо! Сурабайя! Вздернуть бы их, черт меня подери, на катблоке на фор-топ да, взяв нижний риф, проветрить при Н. В. до Н.! — Врач ничего не понял. — Оттилия, Оттилия, чтоб ее...! Всыпать бы ей по первое число! Отправить чертовку в кубрик да спустить на нее матросов при задраенных люках! Уж я-то знаю, чего нужно старой деве!

— Что с тобой, Пал? — спросил доктор.

— Платон! Платон! К черту Платона! Да, поболтайся полгода в море, будет тебе Платон! Вот тогда и говори про этическое! Этическое! Хо-хо! Готов душу заложить — получи Оттилия свое «горячее», мигом забыла бы про Платона!

— Да в чем дело-то?

— А-а, ни в чем. Послушай-ка. Вот ты — врач. Как там насчет баб, а? Это ведь опасно — долго не выходить замуж? Они становятся немножко того... ку-ку... с поворотом на один галс? Верно?

Врач высказал свою точку зрения по этому вопросу, закончив сожалением о том, что всех самок оплодотворить нельзя. В природе — где самец живет в основном полигамно, поскольку имеет возможность без труда прокормить малышей (за исключением хищников), — не существует таких аномалий, как незамужние самки. В цивилизованном же обществе, где тот, кому хватает хлеба на пропитание, почитается счастливым, эти аномалии — явление обычное, и женщин, как правило, больше, чем мужчин. Поэтому надо быть добрым к незамужним девушкам, ведь их участь ужасна!

— Добрым! Легко сказать! Они-то не желают быть добрыми! — Тут капитана прорвало. И он рассказал все, не забыв даже упомянуть про написанную им рецензию.

— Ах, они едят так много ерунды! — сказал доктор и закрыл крышечку чашу с тодди. — Все крупные проблемы в конечном счете решаются только с помощью науки. Науки!

Когда капитан, после полугодового отсутствия и тягостного обмена письмами с супругой, учинившей ему разнос за его критическую статью, ступил наконец на землю Даларё, он был встречен женой, всеми детьми, двумя служанками и Оттилией. Жена была нежна, но без излишней сердечности, и подставила ему для поцелуя лоб. Оттилия — длинная, как штаг, с коротко остриженными волосами, так что затылок ее напоминал швабру. Ужин прошел скучно, пили чай. Баркас набили детьми, а капитану досталась мансарда. Как же все это было непохоже на прежние разы! Старина Пал словно постарел, и озадачен он был изрядно. Это же черт знает что, думал он, быть женатым и не иметь жены!

На следующее утро он позвал жену покататься на лодке. Но Оттилия не выносила моря. Ей и так уже довольно досталось во время плавания по Баггенсфьорден. Да, кстати, сегодня ведь воскресенье. Воскресенье? Вот оно что! Но они пойдут погулять. Им надо о многом поговорить! Конечно, конечно, поговорить есть о чем, только без Оттилии!

Они шли под руку, но говорили мало. А то, что было сказано, говорилось скорее чтобы скрыть мысли, чем выразить их словами. Они миновали маленькое холерное кладбище и направились в Швейцарскую долину. Легкий ветерок шевелил ели, и сквозь темную хвою сверкал голубой залив. Она села на камень. Он опустился на землю у ее ног. Сейчас грянет, подумал он. И грянуло!

— Ты думал про наш брак? — начала она.

— Нет, — сказал он быстро, как будто уже заранее заготовил ответ. — Я его только чувствовал! Мне кажется, любовь — это чувства. Если плывешь, ориентируясь на свои чувства, придешь в гавань, а возьмешь компас да карты — сядешь на мель.

— Да, но наш брак был не чем иным, как Кукольным домом!

— Ложь, с твоего позволения. Ты никогда не поддельвала векселей, не показывала чулок доктору-сифилитику, у которого хотела занять денег под обеспечение натурой; ты никогда не была настолько романтически глупа, чтобы надеяться, будто твой муж пойдет и покается в преступлении, которое его жена совершила по недомыслию и которое так и не стало преступлением, поскольку не было обвинителя; ты никогда не лгала мне! Я вел себя так же честно по отношению к тебе, как вел себя Хелмер, когда доверился жене, разрешив ей рассуждать о делах банка, вмешиваться в должностные назначения and so on!¹ Таким образом, мы с тобой были мужем и женой по всем понятиям, и старым и новым!

— Но я была твоей домоправительницей!

¹ И так далее (англ.).

— Ложь, с твоего позволения. Ты не ела на кухне, ты не получала жалованья, тебе ни разу не пришлось отчитываться в расходах, ты никогда не получала нагоняй за то, что сделала что-нибудь не так! Неужели мою работу — травить и брасопить, отдавать концы и орать «суши весла», считать сельдь и раздавать водку, взвешивать горох и пробовать муку, — неужели ты считаешь это более почетным занятием, чем командовать служанками, ходить на рынок, рожать и воспитывать детей?

— Нет, но тебе платят за работу; ты сам себе хозяин, ты мужчина и ты командуешь!

— Милый мой дружок! Ты хочешь, чтобы я платил тебе жалованье? Ты хочешь и взаправду стать моей домоправительницей? То, что я мужчина, — чистый случай, так как пол определяется лишь на седьмом месяце! Весьма грустное обстоятельство, потому что в наше время быть мужчиной — преступление, и разве это правильно? Черт побери того, кто натравил одну половину человечества на другую! Тяжкую ответственность он взвалил на себя! Я команду? Разве мы не оба командуем? Разве я принимаю какое-нибудь важное решение, не посоветовавшись с тобой? Помнишь, однажды я хотел запретить укачивать ребенка, так как считал это недопустимым — ведь это все равно что засыпать под хмельком. Тогда ты настояла на своем. В другой раз я настоял на своем, потом — опять ты! Среднего не дано, между «укачивать» и «не укачивать» ничего нет. И, однако, все шло хорошо, до сих пор! Ты предала меня ради Оттилии!

— Оттилия! Все время Оттилия! Не ты ли сам посоветовал мне взять ее в подруги!

— Не совсем ее! Но теперь командует она!

— Ты хочешь забрать у меня все, что я люблю!

— Оттилия для тебя все? Похоже на правду!

— Но я не могу отослать ее сейчас, я ведь договорилась, что она будет заниматься педагогикой и латынью с девочками!

— Латынью! Аблатив! Господи Иисусе! Значит, и их испортят?

— Да, когда придет пора выходить замуж, они должны знать столько же, сколько мужчина, тогда брак их будет правильным.

— Но, душенька, не все же мужья знают латынь! Я знаю по латыни одно-единственное слово — аблатив! А мы все равно счастливы! Кстати, латынь собираются отменить и для мужчин, как ненужный предмет. Неужто и вы пойдете тем же гибельным путем? Неужели вы ничему не научились на нашем примере? Мужская половина человечества уже загублена, не довольно ли? Теперь, значит, на очереди женская? Оттилия, Оттилия! Что я тебе сделал?

— Я больше не желаю об этом говорить! Но наша любовь, Вильхельм, была не такой, какой она должна быть. Она была чувственной.

— О господи, а каким же образом у нас бы появились дети, не будь наша любовь чувственной — в том числе? Но она была не только чувственной!

— Может ли черное быть одновременно и белым? Вот что я хочу спросить! Отвечай!

— Может! Твой зонтик сверху черный, а внутри — белый!

— Софист!

— Послушай, дружок! Говори собственными словами, от собственного сердца, а не книгами Оттилии! Образумься и стань сама собой, моей милой, любимой женошкой!

— *Твоей, твоей* собственностью, которую ты покупаешь за деньги, заработанные *тобой* на *твоей* работе!

— Так же как, заметь, я — *твой* муж, твой *собственный* муж, на которого ни одна другая женщина и взглянуть не смеет, если не хочет потерять глаза, и которого ты *получила* в *подарок*, нет, взамен того, что он получил тебя. Разве это не *partie égale*?¹

— Но, Вильхельм, не променяли ли мы нашу жизнь на забаву? Были ли у нас высшие интересы?

— Конечно, были, Гурли; не одними развлечениями мы жили! У нас были высшие интересы, высочайшие, ибо мы дали жизнь будущему роду, мы тяжело трудились и храбро боролись, и ты в не меньшей степени, ради того, чтобы наши малыши росли и крепи. Не стояла ли ты четыре раза на пороге смерти ради них? Не жертвовала ли ночным сном, чтобы покачать их, и дневными удовольствиями, чтобы обиходить их? Разве не могли бы мы жить в шестикомнатной квартире на Дроттнингсгатан, да еще нанять слугу, если бы не малыши? Разве моя Лапочка не могла бы ходить в шелках и жемчугах, а старому Палу разве пришлось бы носить на ногах эти птичьи гнезда, если бы мы не завели детей? Так неужто мы куклы? Неужели мы такие эгоисты, как это утверждают старые девы, отвергающие зачастую мужчин якобы потому, что те им не ровня! Подумай-ка, почему так много девушек остаются незамужними! Они уж не преминут похвастаться, что, дескать, в свое время тоже получили предложение; но они так хотят быть мученицами! Высшие интересы! Учить латынь! Ходить полуголой в благотворительных целях, а детей заставлять мучиться в мокрых пеленках! Мне кажется, мои интересы выше интересов Оттилии, если я хочу иметь здоровых, веселых детей, которые когда-нибудь смогут совершить то, чего не успели мы! Но не с помощью латыни! Прощай, Гурли! Мне пора на вахту! Ты идешь?

Она не ответила. Он ушел — тяжелыми, очень тяжелыми шагами. Голубой залив потемнел, солнце больше не светило для капитана. Пал, Пал, чем это кончится, вздыхал он про себя, взбираясь по ступенькам кладбища; лежать бы мне лучше там, под деревянным крестом, среди корней деревьев — но покоя мне бы определенно не было, если б пришлось лежать одному! Гурли, Гурли!

¹ Игра на равных (*фр.*).

— Все идет вкривь и вкось, тещенька, — сказал капитан, придя как-то осенью на Стурегатан навестить старушку.

— А в чем дело, дорогой Вилле?

— Вчера они были у нас дома. А позавчера — у принцессы. И надо же — как раз в этот день заболела малышка Алис. Так уж неудачно совпало, но я не осмелился послать за Гурли — она бы решила, что это подстроено нарочно. Эх! Если доверие подорвано, то... На днях я был у военного министра и спросил его, дозволяют ли шведские законы обкуривать до смерти подруг жены! Увы, не дозволяют. Да даже если б и дозволяли, я бы на это не решился — ведь тогда бы между нами все было кончено сразу. Черт, лучше уж любовник — его, по крайней мере, можно взять за шиворот и вышвырнуть вон. Что мне делать?

— Да, дорогой Вилле, случай трудный, но мы что-нибудь придумаем. Не может же, в самом деле, такой здоровый и сильный мужчина ходить в холостяках!

— Вот и я говорю то же самое!

— Я на днях очень ясно дала ей понять, что если она не исправится, ее муж начнет ходить к девкам!

— А она что?

— Она ответила: пожалуйста, потому что своим телом каждый распоряжается сам.

— И она тоже, естественно? Милая теория. Я поседею от всего этого!

— Есть старый испытанный способ — заставить ее ревновать. Лечит обычно радикально — если любовь осталась, она прояснится.

— Любовь осталась!

— Конечно! Любовь ведь не умирает ни с того ни с сего; только годы могут ее подточить, да и то неизвестно, могут ли. Поухаживай-ка за Оттилей, а там посмотрим!

— Поухаживать! За этой!

— Попробуй! Ты разбираешься в чем-нибудь из того, что ее интересует?

— Дай-ка подумать! Сейчас они занимаются статистикой. Падшие женщины, заразные болезни, хо-хо! А что, если подвести под это математику? В математике-то я по крайней мере разбираюсь!

— Вот видишь! Начни с математики, потом перейди к накидыванию шали и застегиванию ботинок. По вечерам провожай ее домой. Выпей с ней и поцелуй как-нибудь, да чтобы Гурли видела. Будь даже назойливым, если потребуется. О! Можешь поверить, она не рассердится. И побольше математики, побольше — пусть Гурли слушает и молчит. Приходи через восемь дней, расскажешь, что получилось!

Вернувшись домой, капитан прочитал новейшие брошюры о падении нравов и приступил к делу.

Через восемь дней, довольный и веселый, он сидел у тещи, потягивая херес. На лице у него была написана настоящая радость.

— Рассказывай, рассказывай, — попросила старушка и сдвинула очки на лоб.

— Ну так вот: в первый день дело шло довольно туго, поскольку она мне не доверяла. Думала, я над ней издеваюсь. Но я рассказал ей, какую огромную роль сыграла теория вероятности в статистике нравственности в Америке. Эта теория сделала целую эпоху. О, она об этом ничего не слышала, и это ее задело. Я привел пример и на цифрах и буквах показал, как с определенной долей вероятности можно рассчитать, сколько женщин превратится в падших. Она была удивлена. Я заметил, что пробудил ее любопытство, и постарался запастись козырем к следующей встрече. Гурли была очень довольна нашим сближением и старалась изо всех сил. Она втолкнула нас в мою комнату и закрыла дверь; и всю вторую половину дня мы сидели и считали. Она была счастлива, эта плутовка, когда чувствовала в чем-то свое превосходство, и через три часа мы стали друзьями. За ужином жена предложила, чтобы мы с Оттилией перешли на «ты» — ведь мы так давно знакомы. Я вынул бутылку моего старого доброго хереса, дабы отметить это великое событие. И поцеловал Оттилию прямо в губы, — прости, господи, мои прегрешения. Гурли немножко опешила, но не рассердилась. Она прямо светилась от счастья. Херес был крепкий, Оттилия — слабая. Я подал ей пальто и пошел провожать. На Шепсхольмсбруне пожал ее руку и стал объяснять карту звездного неба! О! Она была в восторге! Всегда обожала звезды, но как-то не довелось выучить их названия. Бедных женщин ничему не учат. Она мечтательно вздыхала, и мы расстались самыми лучшими друзьями, которые так долго, так долго не понимали друг друга. На следующий день еще больше математики. Мы просидели до ужина. Несколько раз заходила Гурли и кивала нам. Но за ужином мы говорили только о математике и о звездах, а Гурли сидела молча и слушала. Я опять пошел провожать Оттилию. На набережной встретил капитана Бьорна. Мы зашли в «Гранд-отель» выпить по стаканчику пунша. И домой я вернулся в час ночи.

Гурли не спала. «Где ты был так долго, Вильгельм?» — спросила она. В меня словно дьявол вселился, и я ответил: «Мы гуляли по Хольмсбруну, разговаривали, и я совсем забыл о времени». Подействовало!

«Мне кажется, гулять по ночам с молодой девушкой не очень прилично», — сказала она. Я сделал вид, будто очень смущен, и пробормотал, что когда, мол, есть столько тем для разговоров, не всегда понимаешь, что прилично.

«О чем же вы говорили?», — спросила Гурли, слегка поморщившись. «Уж и не помню», — ответил я.

— Отлично, мой мальчик, — заметила старушка. — Ну, дальше, дальше.

— На третий день, — продолжал капитан, — Гурли вошла к нам с каким-то рукоделием и сидела, пока мы не кончили заниматься математикой. Ужин был не слишком веселый, зато исключительно астрономический. Я помог плутовке застегнуть ботинки, что произвело глубокое впечатление на Гурли, и, прощаясь, она лишь подставила Оттилии щеку для поцелуя. На Хольмсбруне пожал руку и говорил о сродстве душ и о звездах — пристанище душ. Выпил пунш в «Гранд-отеле» и домой явился в два часа. Гурли не спала; я заметил это, но прошел прямо к себе — я же теперь холостяк, — а Гурли постыдилась приставать с расспросами. На следующий день — астрономия; Гурли сказала, что ей тоже хотелось бы присутствовать, но Оттилия ответила, что мы, мол, слишком углубились в предмет — она потом объяснит Гурли азы. Разгневанная Гурли вышла из комнаты. За ужином пили много хереса. Оттилия поблагодарила за ужин, я обнял ее за талию и поцеловал. Гурли побледнела. Застегивая Оттилии ботинки, я позволил себе слегка обхватить... гм...

— Меня можешь не стесняться, Вилле, — сказала теща, — я ведь уже старуха!

— ...вот так, за шенкель. Не так уж плохо, кстати! Гм! Правда, очень недурственно! Хо-хо! Но только я собрался надеть пальто — *hast du mir gesehen*¹ — Лина была уже тут как тут: она проводит фрёкен домой. Гурли извинилась за меня — он, мол, вчера простудился, ночной воздух может ему повредить. Оттилия пришла в замешательство и, уходя, не поцеловала Гурли. На следующий день я обещал показать Оттилии астрономические приборы в школе, в двенадцать часов. Она пришла расстроенная. Только что заходила к Гурли, и та держалась с ней неприветливо. Не понимает почему. Когда я пришел домой к обеду, Гурли словно подменили. Она была холодна и молчалива как рыба. Она страдала. Я это видел. Настало время пустить в дело «нож».

«Что ты сказала Оттилии — она была так огорчена?» — начал я.

«Что сказала? Обозвала ее кокеткой. Только и всего».

«Как ты могла? Не ревнуешь же ты в самом деле!»

«К этой... ревную!» — вырвалось у Гурли.

«Вот как! — удивился я. — Но такая умная, интеллигентная женщина не может зариться на чужого мужа!»

«Нет, зато (вот оно, наконец-то!) чужой муж может зариться на другую женщину».

Ха, ха! Дело в шляпе! Я защищал Оттилию, пока Гурли не обозвала ее старой девой, и дальше продолжал в том же духе. В тот день Оттилия не пришла, прислав прохладное письмо с извинениями — она, мол, поняла, что она лишняя. Я горячо возражал и хотел сходить за ней. И тут Гурли пришла в бешенство. Она, конечно, заметила, что я влюбился в эту Оттилию, что она (Гурли) больше ничего для меня не значит; она прекрасно понимает, что она дурочка, ничего не знает, ни на что не годится,

¹ Ты такое видала (*искаж. нем.*).

математику — ха-ха — ей никогда не одолеть. Я послал за санями, и мы поехали на Лидингёбру. Заказали роскошный ужин с горячим вином — точно опять праздновали свадьбу — и вернулись домой.

— А потом? — спросила старушка, глянув поверх очков.

— Потом? Гм! Господи, прости мои прегрешения! Я ее соблазнил! Чтоб меня черти забрали, но я соблазнил ее в своей холостяцкой постели, и так и должно быть в день свадьбы! Ну, что ты об этом скажешь, бабуля?

— Что ты поступил правильно! А потом?

— О, потом! Потом все было all right, теперь мы говорим о воспитании детей и об освобождении женщин от замшелых предрассудков, от ханжества старых дев, от романтических шуточек, от черта и его аблатива, но говорим мы об этом отныне с глазу на глаз — так легче всего понять друг друга! Не правда ли, старушка?

— Конечно, дружок. Теперь и я могу приехать и поглядеть на вас.

— Непременно! И ты увидишь, как танцуют куклы, поют и щебечут жаворонки и дрозды, увидишь, что под нашей крышей поселилась радость, потому что никто не ждет появления чудовища, существующего только в сказках! Ты увидишь настоящий кукольный дом!

ПОЕДИНОК

Она была некрасива и потому обойдена вниманием грубых молодых людей, не способных оценить прекрасную душу, скрывающуюся под уродливой внешностью. Но она была богата и знала, что мужчины имеют обыкновение домогаться денег, принадлежащих женщинам, — по той ли причине, что деньги заработаны мужчинами и поэтому они полагают, будто капитал естественно является собственностью их пола, осужденного несправедливым законом работать в одиночку, чтобы прокормить противоположный пол и его отпрысков, или по какой другой менее обоснованной причине — этот вопрос ее не интересовал. Поскольку она была богата, она много чему научилась, а так как к мужчинам относилась с недоверием и презрением, ее считали одаренной.

Ей исполнилось двадцать лет. Мать была жива, и дочь не пожелала ждать еще пять лет до того дня, когда сама сможет распоряжаться своими деньгами. Поэтому однажды она преподнесла сюрприз подругам, прислав им карточки с объявлением о помолвке.

— Она выходит замуж, чтобы заполучить мужчину, — сказали одни.

— Она выходит замуж, чтобы приобрести слугу и свободу, — сказали другие.

— Она делает глупость, — сказали трети. — Она не понимает, что именно в замужестве и станет несовершеннолетней.

— Не беспокойтесь, — сказали четвертые, — она станет совершеннолетней, хотя и выйдет замуж. Каков он из себя? Кто он? Откуда он взялся?

Он был молодой адвокат, с женственным лицом, крутыми бедрами и очень застенчивый. Единственный сын, воспитывавшийся матерью и теткой, он испытывал страх перед молодыми девушками и ненавидел лейтенантов за их мужественный вид и за то предпочтение, которое оказывалось им на балах и званых вечерах. Таков был он.

Они встретились на курорте, на балу. Он опоздал, и ему не осталось ни одной свободной дамы. Молоденькие девушки радостно, с торжеством говорили «нет», когда он подходил, чтобы пригласить их на танец, и махали у него перед носом своими программами, словно отгоняя назойливую муху.

Уязвленный, униженный, он вышел в одиночестве на веранду, сел в кресло и закурил. Лунный свет заливал липы, с клумб доносился аромат резеды. В окна он видел, как там, в зале, кружились пары, и под сладостные ритмы вальса дрожал от ревности, от бесильного желанья калеки.

— Господин председатель уездного суда предается мечтаниям? — услышал он обращенный к нему голос. — И не танцует?

— А вы, фрёкен, почему не танцуете? — спросил он, подняв глаза.

— Потому что я некрасива и меня никто не приглашает.

Он внимательно посмотрел на нее. Они были давно знакомы, но его взгляд никогда раньше не задерживался на чертах ее лица. Глаза этой изысканно одетой девушки выражали сейчас такую боль, боль отчаяния и бесплодного гнева против несправедливой природы, что он почувствовал живейшую к ней симпатию.

— Я тоже никому не нужен, — проговорил он. — Но лейтенанты правы. В естественном отборе правы те, на чьей стороне сила и красота. Поглядите на их плечи и эполеты.

— Фу, ну что вы такое говорите!

— Простите! В неравной борьбе ожесточаешься! Не хотите ли потанцевать со мной?

— Это из милосердия?

— Да, ко мне!

Он выбросил сигару.

— Вы когда-нибудь чувствовали себя изгоем, человеком, отвергнутым судьбой? Знаете ли вы, что значит всегда быть последним? — продолжал он с горячностью.

— О, чувствовала ли я! Но в подобных случаях, — добавила она в сско, — оставшиеся за бортом не обязательно бывают последними. Помимо красоты существуют и другие качества, ценимые в жизни.

— Какие же качества вы цените больше всего у мужчин?

— Доброту, — ответила она решительно. — Потому что это качество у мужчин встречается очень редко.

— Доброте, как правило, сопутствует слабость, а женщинам обычно нравится сила.

— Каким женщинам? Время грубой силы миновало, и нам, людям, сделавшим большой шаг по пути цивилизации, должно было бы хватить ума не ценить силу мускулов и грубость выше доброго сердца.

— Должно было бы! И все же! Взгляните на тех, в зале!

— Для меня истинная мужественность заключается в благородстве чувств и интеллигентности сердца.

— Значит, вы бы посчитали человека, которого весь свет называет слабым, неу...

— Какое мне дело до всего света! До того, что говорит свет!

— А знаете, вы необыкновенная женщина! — сказал председатель уездного суда с возрастающим интересом.

— Вообще нет! Просто вы, мужчины, привыкли смотреть на женщин как на своего рода кукол для развлечения...

— Какие мужчины? Я, фрёкен, с детства смотрел на женщину как на высшее существо, и в тот день, когда меня полюбит женщина, а я ее, я стану ее рабом.

Адель посмотрела на него долгим и пристальным взглядом.

— Вы необыкновенный человек, — сказала она наконец.

Объявив друг друга необыкновенными особями дурного человеческого рода, излив свое презрение к пустому наслаждению танцем и поделившись наблюдениями насчет меланхолической луны, они вошли в зал и присоединились к танцующим.

Адель танцевала превосходно, и председатель уездного суда окончательно завоевал ее сердце, ибо танцевал как «невинная девушка».

Музыка смолкла, и они вновь уединились на веранде.

— Что такое любовь? — спросила Адель, глядя на луну, словно ожидала ответа от небес.

— Взаимная симпатия души, — прошептал адвокат, и голос его был похож на дуновение ветра.

— Но симпатия легко превращается в антипатию, такое бывает довольно часто, — отозвалась Адель.

— Значит, это не настоящая симпатия. Некоторые материалисты считают, что не будь двух полов, не было бы любви; они осмеливаются утверждать, будто чувственная любовь сильнее всякой другой. Как это низко, по-скотски — видеть в любимом только пол.

— Не говорите мне о материалистах.

— Приходится! Чтобы вы поняли, насколько возвышенным будет мое чувство, если мне доведется кого-нибудь полюбить. Ей не обязательно быть красивой — красота преходяща. Для меня она будет товарищем, другом. Перед ней я не буду испытывать стеснения, как перед другими девушками. Я подойду к ней, как подхожу к вам, и спрошу: хотите стать моим другом на всю жизнь?

Спрошу без того замешательства, которое ощущает человек, открывающий свое сердце любимой, замешательства, которое он должен ощущать непременно, ибо помыслы его не чисты.

Адель с восхищением смотрела на молодого человека, схватившего ее за руку.

— Вы — идеальная натура, — сказала она, — и ваши слова идут точно из моего собственного сердца. Вы просите моей дружбы, если я правильно вас поняла. Вы получите ее, но сначала одно испытание. Сможете ли вы вытерпеть унижение, насмешки ради той, которая, как вы говорите, вам дорога?

— Смогу ли? Только прикажите!

Адель сняла с шеи цепочку из черного золота с висящим на ней медальоном.

— Носите это как символ нашей дружбы.

— Хорошо, — ответил адвокат не очень уверенно, — но ведь тогда могут сказать, что мы помолвлены.

— И вы этого боитесь?

— Нет, если ты так хочешь! Ты хочешь?

— Да, Аксель! Хочу, потому что свет не допускает дружеских отношений между мужчиной и женщиной, свет настолько низок, что не верит в чистые отношения между людьми разных полов.

И адвокат надел свою цепь, свои оковы. Свет, насквозь материалистичный с глазу на глаз, присоединился к мнению подруг: она выходит замуж ради самого замужества, а он — чтобы заполнить ее. Свет даже грубо намекнул: он, мол, берет ее ради денег, поскольку сам заявил, что между ними нет столь низменного чувства, как любовь, а дружба никого не заставляет делить супружеское ложе.

Они поженились. Свету дали понять, что жить они будут как брат и сестра, и свет со злобной усмешкой стал ждать результатов великой реформы, которая преобразует брак.

Молодожены уехали за границу. Молодожены вернулись домой. Жена была бледна и пребывала в плохом настроении. И сразу же начала брать уроки верховой езды. Председатель уездного суда ходил с таким видом, как будто стыдился какого-то дурного поступка. И вот прозвучал приговор.

— Эти двое делили ложе «по-братски», — сказал свет.

— У них, верно, будет «братский» ребенок, — сказали подруги.

— Без любви? Но ведь это... Как это называется?

— Запретная связь! — сказали материалисты.

— Духовный брак, или кровосмешение, — сказал анархист.

Факт тем не менее оставался фактом, но симпатия душ дала трещину, в которую ворвалась презренная действительность и начала мстить.

Председатель уездного суда занимался своими профессиональными обязанностями, а кормилица и служанка, нанятые женой, — своими. Поэтому сама хозяйка осталась без дела. Безделье дало толчок ее мыслям, и она задумалась о своем положении. Оно ее не удовлетворило. Разве это занятие для способного человека —

ничего не делать? Муж рискнул однажды заметить, что никто не заставляет, не принуждает ее ничего не делать. Но больше он никогда не искал судьбу подобным образом.

— У меня нет никакого занятия.

— Да, ничегонеделание и вправду не занятие. Почему ты сама не кормишь ребенка?

— Кормить? Я хочу зарабатывать деньги!

— Тебя одолела жадность? У тебя денег больше, чем мы продаем. Зачем же тебе еще деньги?

— Чтобы быть на равных с тобой.

— На равных мы никогда не сможем быть, потому что ты всегда будешь занимать такое положение, какого мне не достичь. Природа устроила так, что женщина может быть матерью, а мужчина — нет.

— Ну и глупо.

— Могло бы быть наоборот, но лучше от этого не стало бы.

— Но моя жизнь невыносима. Не могу я жить только для семьи, хочу жить и для других тоже!

— Начни пока с семьи, а потом можно и о других подумать.

Разговор мог продолжаться бесконечно, но он и так затянулся.

Председатель уездного суда целыми днями, естественно, разъезжал по клиентам, а возвращаясь домой, принимал посетителей. Адель приходила в отчаяние, видя, как он закрывается в комнате с другими женщинами, чтобы выслушать их доверительные признания, которые он не имел права пересказывать ей. Между ними все время стояли какие-то тайны, и она ощущала его превосходство над собой.

В ней росла глухая ненависть, ненависть к несправедливости их отношений, и она начала искать способ сбросить его с пьедестала. Необходимо было свести его превосходство на нет, установить равноправие.

В один прекрасный день она предлагает учредить больницу. Он отказывается — ему хватает дел с собственной практикой. Но потом ему приходит в голову, что было бы неплохо дать ей возможность чем-нибудь заняться — спокойнее будет.

Она получила больницу, и он вместе с ней вошел в правление. Теперь она сидела в правлении и управляла. Поуправляв с полгода, она настолько освоилась с медициной, что сама начала давать медицинские советы.

— Подумаешь, ничего сложного!

Как-то она случайно заметила ошибку, допущенную врачом, и с тех пор перестала ему доверять. В результате, преисполненная чувством естественного превосходства, она однажды, в отсутствие врача, сама выписала пациенту рецепт. В аптеке по этому рецепту выдали лекарство, приняв которое пациент скончался.

Пришлось немедленно переехать в другой город. Но установившееся было равновесие нарушилось, чему в еще большей степени способствовало появление на свет нового наследника. К тому же слух о фатальном происшествии разнесся довольно широко.

Все это было весьма печально, и отношения между супругами складывались не лучшим образом, ибо о любви там и речи не было; их брак был лишен своей естественной основы в виде здорового, сильного, нерассуждающего инстинкта и представлял собой гнусное сожительство, которое зиждилось на произвольных расчетах эгоистической дружбы.

Что происходило в ее разгоряченном мозгу после того, как она обнаружила, какую совершила ошибку, выискивая выдуманное превосходство, было тайной, но результат ее размышлений мужу пришлось испытать на себе.

Здоровье Адели пошатнулось, она потеряла аппетит и отказалась выходить из дома. Похудела, начала кашлять. Муж много раз водил ее к врачам на обследование, но те не могли определить причину болезни. В конце концов он так привык к постоянным жалобам, что перестал обращать на них внимание.

— Тяжко жить с больной женой, — говорила она.

Он про себя признал, что удовольствия в этом мало, но если бы он ее любил, у него никогда бы не возникло подобного чувства и не вырвалось бы подобного признания.

Состояние жены заметно ухудшилось, и мужу пришлось поддерживать ее решение обратиться к известному профессору.

Адель отправилась к знаменитости.

— Сколько времени вы болеете? — спросил профессор.

— С тех пор, как я приехала из деревни, где прошли мои детские годы, я никогда не чувствовала себя здоровой.

— Вам не нравится жить в городе?

— Нравится? Кому есть дело до того, нравится мне или нет, — ответила она с видом замученной жертвы.

— Вы полагаете, деревенский воздух пойдет вам на пользу?

— Откровенно говоря, думаю, это для меня единственное спасение.

— Так поселитесь в деревне!

— Но не может же мой муж ради меня портить себе карьеру.

— Э! Он женат на состоятельной женщине, а адвокатов у нас и так хватает.

— Значит, профессор, вы считаете, нам надо поселиться в деревне?

— Конечно, если вы думаете, что это пойдет вам на пользу. Я не нахожу у вас ничего, кроме легкого нервного расстройства, и полагаю, деревенский воздух окажет свое благотворное действие.

Адель вернулась домой удрученная... Ну? — Профессор вынес ей смертный приговор, если она останется жить в городе.

Председатель уездного суда был вне себя, и так как он не сумел скрыть причину своего возмущения — ведь ему придется оставить практику! — он тем самым с непреложной очевидностью доказал, что ему плевать на жизнь жены.

Он не верит, что речь идет о ее жизни? Но профессору, наверное, все-таки виднее. Он желает ее смерти? Нет, этого он воистину не желал, и поэтому они купили загородное имение. Наняли

управляющего. Должности ленсман и фогта были уже заняты, и председатель уездного суда остался без дела. Потянулись бесконечные дни. Жизнь стала невыносимой. Он больше ничего не зарабатывал и был вынужден жить на ренту жены. Первые полгода он читал и играл в «фортуны». Потом перестал читать, поскольку не видел в этом смысла. На второй год пристрастился к вышиванию.

А жена сразу же погрузилась в хозяйственные заботы, навелась в хлев, высоко задирая юбки, и приходила в комнаты грязная и пахнувшая коровником. Чувствовала она себя прекрасно, с наслаждением отдавая распоряжения работникам — ведь она выросла в деревне и знала что к чему.

Когда муж пожаловался на безделье, она ответила: найди себе какое-нибудь занятие, в доме всегда есть работа. Он хотел было намекнуть на работу вне дома, но поостерегся.

Он ел, спал, гулял. Иногда заглядывал в амбар или в коровник, но почему-то всегда всем мешал и получал выговор от жены.

Однажды, когда он больше обычного сетовал на судьбу, а дети как раз в тот день остались без присмотра, жена резко сказала:

— Пригляди за детьми, вот тебе и занятие.

Он посмотрел на нее, желая убедиться, говорит ли она всерьез.

— Да, да, почему бы тебе не приглядеть за собственными детьми? Разве в этом есть что-нибудь странное?

Поразмыслив как следует, он действительно не нашел в этом ничего странного.

С тех пор он каждый день ходил гулять с детьми.

Как-то утром, собираясь на прогулку, он обнаружил, что дети не одеты. Он рассердился и пошел к жене, так как служанок боялся.

— Почему дети не одеты?

— Потому что Мари сейчас занята! Одень их сам, тебе ведь все равно нечего делать. Или, может, одевать собственных детей стыдно?

Он на минуту задумался и решил, что стыдного в этом ничего нет. И он одел детей.

Как-то раз ему вздумалось побродить одному с ружьем — он никогда раньше не охотился.

Жена уже поджидала его возвращения.

— Почему ты сегодня не гулял с детьми? — спросила она недовольно.

— Потому что сегодня мне это было не в удовольствие!

— В удовольствие! А мне в удовольствие, что ли, целыми днями вертеться как белка в колесе? Когда зарабатываешь себе на хлеб, веселиться не приходится!

— Зарабатываешь? Ты, наверное, хотела сказать — отработываешь свой хлеб?

— Какая разница! Мне только кажется, что взрослому мужчине должно быть стыдно валяться на диване без дела.

Ему и правда было стыдно, и с того дня он начал работать нянькой. Работу свою выполнял добросовестно и пунктуально, не находя в этом ничего дурного. И тем не менее он страдал. Ему казалось, что все идет шиворот-навыворот, однако жена всегда умела повернуть так, как надо.

Она принимала в конторе управляющего и старосту, лично отвешивала продукты батракам. Люди, приходившие в усадьбу, спрашивали хозяйку и никогда — хозяина.

Как-то во время прогулки он вышел на луг, где пасся скот. Ему захотелось показать детям коров, и он осторожно повел их к пасущемуся стаду. Внезапно из-за спин животных высунулась черная голова и уставилась на непрошенных гостей, издавая слабое мычание.

Председатель уездного суда подхватил детей на руки и пустился наутек. Подбежав к изгороди, он поспешно перебросил детей, а потом прыгнул сам, но зацепился и повис на заборе. Увидев идущих по пастбищу женщин, он закричал что было сил:

— Бык! Бык!

Но женщины засмеялись и подняли с земли детей, которым здорово досталось при падении в канаву.

— Вы что, не видите — бык! — орал адвокат.

— Нет там никакого быка, — ответила старшая из женщин. — Его забили две недели назад.

Домой он вернулся злой и обиженный. Пожаловался жене на работников. Она в ответ рассмеялась. После обеда, когда они сидели вдвоем в гостиной, в дверь постучали.

— Войдите! — крикнула жена.

Вошла женщина, одна из тех, кто видел приключение с быком, держа в руках цепочку из черного золота.

— Это, наверное, ваше, госпожа, — сказала она нерешительно.

Адель посмотрела на работницу, потом перевела взгляд на мужа, который широко раскрытыми глазами рассматривал свои оковы.

— Нет, это господина, — сказала она, беря цепочку из рук женщины. — Спасибо, дружок. Господин заплатит тебе за находку.

Господин сидел бледный и недвижимый.

— У меня нет денег, обратитесь к госпоже, — проговорил он, перебирая пальцами цепочку.

Жена вынула из большого портмоне одну крону и протянула работнице. Та вышла из комнаты в полном недоумении.

— Уж от этого ты могла бы меня избавить. — В голосе адвоката слышалась боль.

— Неужели ты не способен отвечать за свои слова и поступки? Тебе стыдно носить мой подарок? Я же твои ношу! Трус! Мужчина называется!

С того дня кончилась спокойная жизнь председателя уездного суда. Где бы он ни появлялся, повсюду его преследовали хихикающие лица и служанки и батраки, завидев его, кричали из-за угла: бык! бык!

Хозяйка собралась на аукцион, где предполагала пробыть восемь дней. Хозяину было поручено присмотреть за работниками.

В первый же день к нему явилась кухарка и попросила денег на сахар и кофе. Он выдал требуемую сумму. Через три дня она опять пришла просить денег на те же продукты. Он удивился — неужели кончились те, что были куплены в прошлый раз?

— Не я одна их ем, — ответила кухарка. — Хозяйка никогда на меня не жаловалась.

Он выдал деньги. Но ему стало любопытно, действительно ли он ошибся, и поэтому он раскрыл расходную книгу и начал считать.

Сумма, полученная им по этим двум статьям расходов, оказалась удивительной. Сложив все фунты за месяц, он получил лиспунд. Он продолжил свои подсчеты и пришел к сходному результату по всем статьям расходов. Тогда он взял главную бухгалтерскую книгу и, помимо невероятных цифр, обнаружил нелепейшие арифметические ошибки. Жена, оказывается, не только не разбиралась в десятичных дробях, но и не умела производить простейшие арифметические действия с различными единицами мер и весов, так что неслыханное мошенничество со стороны подчиненных должно было неизбежно кончиться банкротством.

Жена вернулась домой. Председатель уездного суда был вынужден выслушать подробный рассказ об аукционе. Наконец он прокашлялся и только собирался заговорить, как жена сама потянула за ниточку:

— Ну, мой друг, а ты как тут справлялся со служанками?

— Справиться-то я с ними справился, но они — мошенники.

— Мошенники?

— Да. К примеру, статьи расходов на сахар и кофе сильно завышены.

— Откуда ты знаешь?

— Посмотрел в расходной книге.

— Вот как! Значит, ты суешь нос в мои книги?

— Сую нос! Мне было интересно проверить!

— Это не твое дело...

— И я обнаружил, что ты ведешь книги, не умея складывать разные единицы веса и не зная десятичных дробей.

— Что? Я не умею?

— Не умеешь, и поэтому мы на грани разорения. Ты — обманщица, моя дорогая. Вот ты кто!

— Кому какое дело, как я веду свои книги!

— Видишь ли, по закону за неправильную бухгалтерию полагается крепость, и скорее всего это грозит мне.

— По закону! Ха! Мне плевать на закон!

— В этом я не сомневаюсь, зато закон держит нас, вернее меня, в строгости. Поэтому с сегодняшнего дня я сам буду вести счета.

— Мы можем взять счетовода!

— Ни к чему. Мне все равно нечего делать.

На том и порешили.

Но как только адвокат занял место за конторкой и к нему стали обращаться по разным хозяйственным вопросам, жена потянула всякий интерес к полевым работам и скоту.

У нее наступила бурная реакция, и вскоре она уже и не глядела ни на коров, ни на телят и безвылазно сидела дома. Сидела сиднем, а в голове у нее начали бродить новые идеи.

Председатель уездного суда же, напротив, пробудился к новой жизни. С головой ушел в хозяйственные заботы и не давал спуска работникам. Теперь он был на высоте положения. Управлял, распоряжался, организовывал, делал заказы.

В один прекрасный день жена пришла в контору и попросила тысячу крон на покупку нового рояля.

— О чем ты думаешь? — воскликнул муж. — Именно сейчас, когда мы собираемся перестраивать хлев! Рояль нам не по карману!

— Не по карману? Моих денег уже не хватает?

— Твоих денег?

— Да, моего приданого.

— Благодаря нашему браку твои деньги теперь принадлежат семье.

— То есть тебе.

— Нет, мой друг, семье. Семья — это маленькая коммуна, единственно признанная коммуна с общей собственностью, которой, как правило, управляет муж.

— Почему муж, а не жена?

— Потому что у него больше времени, ему не приходится рожать детей.

— А почему мы оба не можем управлять?

— По той же причине, по какой акционерное общество имеет только одного исполнительного директора. Если разделить власть между мужем и женой, значит, и детей надо подпустить к управлению, поскольку это и их собственность.

— Это все адвокатские штучки. Но вынуждать меня просить разрешения купить рояль на мои собственные деньги жестоко!

— Теперь это уже не твои собственные деньги.

— Значит, твой?

— Нет, не мой, а семейные. И потом — не притворяйся, будто тебе нужно просить разрешения. Просто благоразумие требует, чтобы ты спросила управляющего, позволяет ли наше финансовое положение потратить такую большую сумму на предмет роскоши.

— Разве рояль — это предмет роскоши?

— Новый рояль, когда есть старый, может быть предметом роскоши. В данный момент наше финансовое положение не блестяще и не позволяет сейчас покупать новый рояль, хотя я лично, разумеется, не могу и не хочу противиться твоему желанию.

— Тысяча крон нас не разорит.

— Начало разорению может быть положено из-за того, что не вовремя залезаешь в долг на тысячу крон.

— Иными словами, ты отказываешь мне в покупке нового рояля.

— Все нет. Ненадежное финансовое положение...

— Наступит ли тот день, когда женщина сама сможет распоряжаться своей собственностью и ей не надо будет, словно нищей, выпрашивать деньги у мужа?

— Наступит, когда женщина сама будет работать. Твоя ответственность заработана трудом мужчины, твоего отца. Все богатство на земле вообще заработано мужчинами, и потому вполне справедливо, что сестра получает меньшую долю наследства, чем брат, ибо брату с рождения предназначено кормить жену, а сестре не вменяется в обязанность кормить мужа. Понимаешь?

— Хороша справедливость — делить неодинаково. Справедливо? И ты, умный человек, осмеливаешься это утверждать? Разве делить надо не поровну?

— Не всегда. Делить надо пропорционально заслугам. Ленивец, который полеживает на травке и смотрит, как работает каменщик, должен получать меньше, чем каменщик.

— Вот как! По-твоему, я ленива!

— Гм! Я вижу, мне вообще лучше ничего не говорить. Но когда я целыми днями валялся на диване, почитывая книжку, ты считала меня очень ленивым и, насколько я помню, так и высказывалась — весьма недвусмысленно.

— Что же я, по-твоему, должна делать?

— Гулять с детьми.

— Я не гожусь на роль воспитателя.

— Я же годился. Послушай-ка, мой друг: женщина, которая утверждает, что не пригодна воспитывать детей, не женщина. Но она и не мужчина! Кто же она тогда?

— Фу, как у тебя язык поворачивается говорить такое о матери твоих детей!

— А что говорят про мужчину, который не хочет даже посмотреть на женщин? Кажется, что-то весьма грубое?

— Я больше не желаю тебя слушать.

И она вышла из конторы и заперлась у себя в комнате. Она заболела. Врач, этот всемогущий, принимающий на себя заботу о телах после того, как священник упустил души, объявил, что деревенский воздух и одиночество вредны для ее здоровья, и семья была вынуждена переехать в город, чтобы жена могла получить необходимую медицинскую помощь.

Город оказал чрезвычайно благоприятное действие на ее здоровье, а воздух водосточных канав окрасил ее щеки румянцем.

Адвокат вновь открыл практику, и у супругов появилась наконец отдушина для проявления их непримиримых темпераментов.

Однажды газеты объявили, что пьеса, написанная женой, принята к постановке.

— Вот видишь, — сказала она мужу, — и женщина может жить ради целей более высоких, чем качать детей и готовить обед.

И он признал ее правоту и попросил прощения.

Состоялась премьера. Муж сидел в ложе, точно под холодным душем, а после спектакля выступил в роли хозяина на банкете.

Жену окружали поклонники, которым муж наполнял бокалы и срезал кончики у сигар.

Затем начались речи. Муж стоял рядом с метрдотелем, наблюдая за салютом пробок из-под шампанского — был провозглашен тост за женщин. Молодой поэт, веривший в женщину, выразил надежду на ее великое будущее.

Какой-то актер подошел к председателю уездного суда и, хлопав его по плечу, попросил подать «карт-бланш» вместо этого ужасного «рёдерера»; официанты поминутно спрашивали, где муж хозяйки, а сама хозяйка беспрестанно напоминала мужу, чтобы тот не забывал наполнять бокалы рецензентов.

Сейчас он ощущал себя стоящим гораздо ниже жены, и чувство это было ему в высшей степени неприятно. Когда они вернулись домой, жена сияла. Душа ее расширилась необыкновенно, заполнив каждую жилку, заставив трепетать каждый нерв. Благодаря успеху с нее будто свалился тяжелый камень, она дышала легко, свободно; она говорила и была услышана; прежде немая, она обрела теперь дар речи. Она грезила о будущем, о новых планах, о новых победах.

Муж сидел молча, усталый, словно выжатый лимон, никак не реагируя на ее слова. Чем выше она взмывала, тем ниже падал он.

— Ты мне завидуешь, — вдруг сказала она, круто прервав свою пламенную речь.

— Не будь я твоим мужем, я бы не завидовал, — ответило н . — Я радуюсь твоему успеху, но он меня уничтожил. Ты права, но и я тоже прав. Брак — это взаимное людоедство. Если я тебя не съем, ты съешь меня. Ты меня съела. Я больше не могу тебя любить.

— А ты меня когда-нибудь любил?

— Нет. Мы заключили наш брак без любви, и поэтому у нас ничего не вышло. Мне вообще кажется, что брак похож на монархию. А монархия держится только на самодержавии. Брак — монархическая форма правления, и поэтому он отомрет.

— А что придет взамен?

— Республика, естественно! — ответил муж и пошел спать.

ОСЕНЬ

Они были женаты уже целых десять лет! Были ли они счастливы? Настолько, насколько позволяли обстоятельства. Они тянули лямку на равных, подобно паре лошадей в одной упряжке.

В первый же год пришлось убедиться, что представление о браке как о полном блаженстве всего лишь иллюзия. Потом пошли дети, и задумываться стало просто некогда.

Он был неплохим семьянином, может быть, даже просто хорошим. В семье он обрел свой мирок, центром которого был сам. От центра расходились радиусы — дети. Жена тоже стремилась быть центром, но всегда оказывалась не в самой середине круга, ибо там был муж. Поэтому случалось, что радиусы перекрещивались, сцеплялись, и семейное равновесие нарушалось.

И вот теперь, на десятом году совместной жизни, муж получил новое назначение — пост секретаря управления по инспекции тюрем, и ему предстояла поездка по служебным делам в другой город. Это нарушало все его привычки. Страдая от того, что на целый месяц покидает семью, он и сам не знал, кого ему больше будет не хватать — жены или детей, а скорее всего — всех их вместе взятых.

Накануне отъезда он сидит на диване и смотрит, как жена, стоя на коленях, улаковывает чемодан. Сперва укладывает белье, потом, почистив костюм, аккуратно складывает его так, чтобы он занял как можно меньше места. Сам он в таких делах был совершенно беспомощен. Не то чтобы она считала себя обязанной прислуживать ему или же заботиться в качестве жены, — она просто была матерью и ему и детям, — она не считала унижительным для себя штопать ему носки и никогда не требовала от него благодарности. В ее глазах они были квиты — ведь он давал возможность ей и детям иметь новые носки и еще многое другое. Не будь его, ей пришлось бы добывать все это своим трудом, и кто бы тогда присматривал за детьми.

Он сидел в углу дивана и смотрел на нее. Теперь, когда приближалось расставание, его минутами уже охватывала тоска. Он вдруг впервые заметил, что лопатки у нее как-то выдались, а спина сгорбилась от того, что она вечно стояла над колыбелью, гладильной доской, плитой. Он тоже ссутулился от работы за письменным столом и уже не мог обходиться без очков. Но не о себе он думал в эти минуты. Он увидел, что волосы у нее поредели и косы стали тоньше. Но только ли ради него пожертвовала она своей красотой? Нет, ради той маленькой коммуны, которую они образовали. Ведь она работала и на себя. Вот ведь и у него уже намечается плешь из-за вечных забот о них всех. Он дольше бы сохранил свою молодость, если бы ему не приходилось кормить так много ртов, если бы он был один, но ни разу, ни на мгновение не пожалел он об этом.

— Хорошо, хоть встряхнешься немного, — сказала жена, — а то совсем засиделся.

— Ты рада от меня избавиться, — промолвил он безгоречи, — а вот мне вас будет не хватать.

— Ты — как кошка, тебе будет не хватать теплого угла, но не думаю, чтобы ты так уж сильно тосковал по мне.

— А дети?

— Вдали от них будешь, наверное, скучать, зато дома только и делаешь, что ворчишь. Не то чтоб ты был с ними груб, но ворчишь ведь.

За ужином он совсем размяк, ему было грустно.

Он не стал читать вечерние газеты, ему хотелось просто поболтать с женой, но она была так занята разными хлопотами по хозяйству, что времени на разговоры не оказалось, да к тому же она отвыкла от нежностей за десять лет возни в детской и на кухне.

Он совсем расчувствовался, хоть и пытался это скрыть, да и хаос в комнате всеял в него тревогу. Привычная, налаженная жизнь словно расколослась и рухнула, и обломки разметало как попало по комнате, а черный чемодан зиял своей открытой пастью, как гроб, и в нем — белое белье рядом с черным костюмом, еще носящим следы его колен и локтей. Ему чудилось, что это он сам лежит в белой крахмальной рубашке, что вот сейчас его закроют крышкой и унесут.

Наутро — это было августовское утро — он вскочил с постели и оделся, и в горле у него стоял комок. Он очень нервничал. Зашел в детскую, перецеловал детей, протиравших спросонья глаза, обнял жену, сел на извозчика и отправился на вокзал. Само путешествие в обществе начальства развлекло его. Приятно было немного встряхнуться. Дом, представлявший ему на расстоянии мещанской спальни, остался позади. В Линчэпинг он приехал в прекрасном настроении.

Остаток дня прошел за отменным обедом, устроенным тюремным начальством в большом отеле, где пили за здоровье губернатора, а отнюдь не заключенных, хотя они-то, собственно, и являлись целью поездки. Но вот наступил вечер наедине с самим собой. Кровать, два стула, стол, комод и стеариновая свеча, тускло освещающая голые обои. Нашему секретарю сделалось как-то не по себе. Не хватало решительно всего: домашних туфель, ночного халата, полки с трубками, письменного стола, всех тех мелочей, без которых он уже не мыслил своей жизни. И детей и жены. Что-то они там сейчас делают? Здоровы ли? Его охватила тревога. Настроение совсем испортилось. Хотел завести часы, но не нашел ключа, ну, конечно, он остался дома — в мешочке, который жена еще невестой вышила для него. Лег и закурил сигару. Но тут же опять встал, чтобы поискать в чемодане книгу. Все было уложено так аккуратно, что страшно было нарушать порядок. Роясь, он наткнулся на туфли. Она, как всегда, обо всем подумала. И книжка нашлась. Но читать он не стал. Лежал и размышлял об ушедших днях, о жене, какой она была десять лет назад. Перед ним возникали картины прошлого, а настоящее исчезало в голубовато-буrom дыме сигары, сизым облачком поднимавшемся к потолку, покрытому пятнами сырости. Сердце ныло от тоски. Он раскаивался в каждом сказанном ей грубом слове, в каждой горькой минуте, что причинил ей с тех пор. Наконец он заснул.

На следующий день работа и снова обед, где пили за здоровье и благоденствие начальника тюрьмы, но опять-таки не заключенных. Вечером — снова одиночество, пустота, холод. Ему захотелось поговорить с ней. Он взял бумагу, уселся за стол

и задумался над первой же фразой. Как начать? «Мамочка» — так обращался он к ней в записках, которые посылал, когда не приходил домой обедать. Но теперь он писал не матери семейства, а своей бывшей невесте, любовнице. И он вывел: «Лилли, любимая», как когда-то. Вначале писалось трудно, многие прекрасные слова исчезли из их обихода, им не было места в скупом языке повседневности. Но вскоре теплое чувство охватило его, и слова эти всплыли в памяти подобно забытым мелодиям: звуки вальсов и обрывки романсов; сирень и ласточки; предзакатные часы у зеркально гладкого залива. Все весенние воспоминания жизни возникали, как в танце, в солнечной дымке, и средоточием их всех была она. Внизу страницы он нарисовал звездочку, как это обычно делают влюбленные, а рядом написал, совсем как когда-то: «Целую здесь!» Закончил, а перечитав письмо, почувствовал, что щеки его горят, и смутился. Почему — он и сам не знал. Наверно потому, что, высказав свои самые сокровенные чувства, не был уверен, что будет правильно понят.

Письмо он все же отправил.

Прошло два дня, а ответа все не было. Он жил ожиданием и робел, как мальчишка.

Но вот пришел ответ. Он задал верный тон, и из кухонного чада и шума детской отзвуком зазвучала песнь, нежная и прекрасная, искренняя и чистая, как первая любовь. И начался обмен любовными письмами. Он писал каждый вечер, а иногда посылал еще открытки и днем. Сослуживцы его не узнавали. Он стал заботиться об одежде, о внешности, его заподозрили в любовной интрижке. А он и был влюблен, заново влюблен! Он послал ей свою фотографию без очков, она прислала ему свой локон. Они, как молоденькие, пользовались всякими наивными словечками, и он купил цветную почтовую бумагу с голубками. Но ведь они и были еще достаточно молоды, едва перешагнули за сорок, хотя и чувствовали себя раньше времени состарившимися под бременем житейских забот. В последние годы он к тому же пренебрегал своими супружескими обязанностями, — не из-за равнодушия, а скорее из почтения, ибо видел в ней прежде всего мать своих детей.

Инспекционная поездка подходила к концу. Он начал испытывать некоторое беспокойство при мысли о встрече. Переписывался он с любовницей. Но найдет ли он ее в хозяйке дома и матери? Страшно было бы испытать разочарование по возвращении. Не хотелось увидеть ее в фартуке, в окружении цепляющихся за юбку детей. Нет, им надо встретиться в другом месте, одним. Не пригласить ли ее, например, в Ваксхольм, в гостиницу, где они провели столько счастливых часов, когда были обрученными? А что, это мысль. Провести там дня два, воскресить в памяти те первые их счастливые дни, которые пролетели так быстро и никогда уже больше не возвратятся.

Он написал ей об этом в длинном пламенном послании, на которое она без промедления ответила утвердительно, счастливая тем, что эта мысль пришла им в голову одновременно.

Два дня спустя он был в Ваксхольме. Стоял чудесный сентябрьский день. Он постарался придать комнате в отеле уютный вид, потом пообедал один в большом зале ресторана, выпил стакан вина и снова почувствовал себя молодым. Здесь было столько света, столько воздуха. За окном ярко голубел фьерд, далии в парке были еще в цвету, резеда на клумбах благоухала, и только березы на берегу уже пожелтели. Редкие пчелы все еще садились на увядающие цветы, но, убедившись, что поживиться особенно нечем, пустые возвращались к ульям. В гавань входили парусники — дул легкий бриз, и при поворотах паруса вздымались, как крылья, ударяясь о снасти, а испуганные чайки с криком разлетались, напуганные криками рыбаков.

В ожидании парохода, который должен был прийти в шесть часов, он выпил на веранде кофе.

В тревоге, как бывает перед встречей с неведомым, ходил он взад и вперед по веранде, вглядываясь в залив, в ту сторону, откуда должен был появиться пароход.

Наконец над еловым лесом показался дымок. Он почувствовал легкое сердцебиение и выпил ликера. Потом спустился к берегу. Вот над водой показалась труба, и вскоре стал виден флаг на форштевне. Приехала ли она, или ей что-либо помешало? Достаточно пустяковой детской простуды, чтобы она осталась дома, и тогда ему придется провести ночь в отеле одному. Дети, отошедшие для него за последние недели на задний план, снова стали чем-то главным, но теперь он думал о них лишь как о препятствии, разделяющем его с женой. В последних письмах они очень мало писали о детях, словно желая устранить ненужных свидетелей.

Он прошел несколько шагов по дощатой пристани, скрипевшей под ногами, и застыл неподвижно у кнехта, не сводя взгляда с парохода, который все увеличивался; след его был похож на поток жидкого золота, текущий по рябоватой синей равнине. Он уже видел людей на верхней палубе и матросов, возившихся с тросами.

Но вот что-то белое затрепыхалось в воздухе у капитанского мостика. Он был один на пристани, и кому еще могли махать, как не ему. И кто еще мог махать ему, как не она. Он вынул носовой платок и помахал в ответ. И тут же заметил, что платок не белый — из экономии он уже давно пользовался цветными. Пароход загудел, засигналил, уменьшил скорость и наконец стал подходить к причалу. Да, то была она. Они поздоровались глазами, слов было бы еще не расслышать. Пароход пришвартовался. Он увидел, как она медленно идет по сходням в толпе пассажиров. Она и не она. Десять лет прошло! Мода изменилась, покрой платья стал другим. Тогда ее тонкое смуглое лицо было обрамлено по той моде капором, оставлявшим лоб открытым: теперь капор заменила отвратительная пародия на мужскую шляпу; тогда изящные формы ее прелестной фигурки угадывались под красиво драпированной ее дорожной накидкой, которая кокетливо скрывала и одновременно подчеркивала округлость плеч и линии рук; теперь фигура

была изуродована длинным неуклюжим пальто, которое подчеркивало лишь свои собственные линии, но не линии фигуры; а когда она сделала последний шаг по сходням, он увидел ее маленькие ножки, которыми когда-то любовался; тогда она была в облегавших ноги, высоких, на пуговицах сапожках; теперь же — в китайских остроносых туфлях, стеснявших ногу в подъеме и мешавших ей двигаться в том танцующем ритме, который некогда приводил его в восхищение.

То была она и не она! Он обнял ее и расцеловал. Они спросили друг друга о здоровье, поговорили о детях. И пошли вверх, в город.

Слова получались нескладными, сухими, вымученными. Как странно! Они как бы стеснялись друг друга — и ни намека на переписку.

Наконец он решился:

— Может, пойдем прогуляемся, пока не зашло солнце?

— С удовольствием, — ответила она и взяла его за руку.

Они пошли по улице этого маленького курортного городка. Все летние увеселительные заведения были закрыты, сады опустели. Кое-где за не облетевшими еще листьями пряталось яблоко, но на клумбах уже ни цветочка. Веранды дач были похожи на скелеты, и там, где летом мелькали веселые лица и слышался звонкий смех, теперь было пусто и тихо.

— Осень, — сказала она.

— Да, тоскливо глядеть на это запустение.

Они двинулись дальше.

— Пойдем поищем дачу, где мы жили, — предложила она.

— Пойдем!

Они пошли к купальням.

Стиснутая сторожкой садовника и домом лощмана, там стояла окруженная красной изгородью дачка с верандой и крохотным садиком.

И сразу нахлынули воспоминания. В той вон комнатке родился их первенец. Восторг и счастье! Песня и юность! Вон розовый куст, они сами его посадили. А грядки, на которых сажали клубнику, заросли и превратились в лужайку. На двух ясенях еще виднелись следы веревок от качелей.

— Спасибо за чудесные письма, — сказала она и сжала его руку.

Он покраснел и ничего не ответил. Они повернули и пошли к отелю. Дорогой он подробно рассказывал о своей поездке.

В ресторане он заранее попросил накрыть тот столик в большом зале, за которым они когда-то обедали.

И вот они снова вдвоем. Он взял корзинку с хлебом и передал ей. Она улыбнулась. Откуда вдруг такая предупредительность? Но обедать в отеле было так ново и так весело, что вскоре разговор оживился и стал напоминать дуэт, когда второй голос вступает, как только замолкает первый. На них нахлынули воспоминания. Глаза горели, морщинки разгладились. О, золотое, счастливое время, которое выпадает тебе на долю лишь раз в жизни, если вообще

выпадает, — ведь для многих, очень многих оно так никогда и не наступает. За десертом он шепнул что-то кельнерше, и она принесла бутылку шампанского.

— Аксель, милый, о чем ты только думаешь... — с легким упреком сказала жена.

— О чем я думаю... я думаю о весне, которая прошла, но которая обязательно еще вернется.

Нет, не только об этом были его мысли, ибо упрек жены воскресил в памяти невеселую картину: детская, кастрюля с молочной кашей...

Однако набежавшая было тучка рассеялась, темно-розовое вино снова затронуло струны воспоминаний, и они опять отдались волшебному хмелю прошлого.

Он сидел, опершись локтем о стол, прикрыв глаза рукой, как бы отгораживаясь от настоящего, того настоящего, которое тем не менее так жаждал обрести.

Часы бежали. Они встали и направились в гостиную выпить кофе.

— Как-то там мои малыши, — сказала жена, только сейчас очнувшись от опьянения.

— Спой что-нибудь, — сказал он, открывая крышку рояля.

— Что ты! Я уж и не помню, когда в последний раз пела. Ты же знаешь.

Да, он знал, но ему хотелось, чтобы она спела.

Она села за рояль и тронула клавиши.

Это был типичный для гостиницы, совсем расстроенный инструмент, клавиши его напоминали вставные зубы.

— Что тебе спеть? — спросила она и повернулась на стуле.

— Ты сама знаешь, Лилли, — ответил он, не решаясь встретиться с ней взглядом.

— Твою песню! Хорошо! Если только не забыла.

И она запела: «Как зовется та страна, где любимый мой живет?»

Но, увы, в голосе ее не было прежней силы и чистоты, а от волнения она фальшивила. Иногда песня казалась криком, отчаянным жалким криком души, знающей, что день прошел и приближается вечер. Огрубевшим в домашней работе пальцам не так-то легко было брать нужные ноты, да и инструмент был уж очень старый. Войлок на молоточках совсем истерся, и слышались только удары дерева о металл струн.

Кончив петь, она некоторое время не решалась повернуться, ожидая, что он подойдет к ней и что-нибудь скажет. Но он не подходил, в комнате было тихо. Повернувшись в конце концов вместе со стулом, она увидела, что он сидит на диване и плачет. Ей захотелось подбежать к нему, обнять его и поцеловать, как раньше, но она сидела неподвижно, уставившись в пол.

Все то время, пока она пела, он держал в руке незажженную сигару. Когда она замолкла, он откусил кончик и зажег спичку.

— Спасибо, Лилли, — сказал он и закурил. — Выпьем кофе?

Они пили кофе и говорили о лете, о том, где будут жить в будущем году. Но тема вскоре иссякла, и они повторялись.

Наконец он зевнул долгим откровенным зевком.

— Ну, я ложусь!

— И я тоже, — сказала она и поднялась. — Выйду только на балкон, подышу немножко.

Он пошел в спальню. Она посидела еще в столовой, поговорила с хозяйкой о том, как мариновать лук, потом они углубились в вопрос о стирке шерстяных вещей — на все это ушло полчаса.

Она подошла к спальне и прислушалась. Там было совершенно тихо. Она постучала, никто не ответил. Тогда она открыла дверь и вошла. Он спал.

Он спал!

На следующее утро они сидели за столиком и пили кофе. У мужа болела голова, жене тоже было как-то не по себе.

— Ну и кофе, — скривился он.

— Бразильский.

— Что мы будем сегодня делать? — И он вынул часы.

— Съешь бутерброд, вместо того чтобы жаловаться на кофе.

— Съем, — сказал он, — к этому хорошо бы рюмочку. Ох, уж это шампанское, бр-р!

Ему принесли бутерброды, водки, и он просиял.

— Пойдем на гору, полюбуемся видом.

Они вышли. Погода стояла чудесная, пройти было так приятно. Но в гору они поднимались еле-еле: она задыхалась, у него болели ноги. Прошлого они уже не вспоминали.

Спустившись, пошли по лугам.

Траву давным-давно скосили, а ту, что осталась, объел скот, так что не видно было ни травиночки. Они уселись на камни.

Он заговорил об инспекции тюрем, о работе. Она — о детях. Дальше пошли молча. Он вынул часы.

— До обеда целых три часа, — сказал он. И подумал: «Интересно, что мы будем делать завтра?»

Они вернулись в отель. Он взялся за газеты. Она улыбнулась и молча села рядом.

За обедом они молчали. Наконец жена заговорила о прислуге.

— Ради бога, не будем говорить о прислуге, — вырвалось у него.

— Мы приехали сюда не для того, чтобы ругаться, — сказала она.

— Разве я ругаюсь?

— Не я же.

Наступило тягостное молчание. Теперь ему хотелось, чтобы появился кто-то третий. Дети! Да! Это свидание тет-а-тет начало его тяготить. Но он вспомнил светлые минуты вчерашнего дня, и что-то кольнуло его в сердце.

— Пойдем в дубняк собирать землянику, — предложила она.

— Какая же земляника, дружок, ведь теперь осень!

— Все равно пойдем!

И они пошли. Но разговор не клеился. Он искал глазами хоть какой-нибудь предмет, который мог бы послужить темой для разговора, но тщетно — все уже было переговорено. Ведь она знала его мнение решительно обо всем и далеко не во всем была с ним согласна. К тому же ему уже хотелось домой, к детям. Что за глупость разыгрывать этот спектакль и в любую минуту ожидать размолвки. Наконец они сделали остановку, — она устала. Он сел и начал чертить палкой по земле, желая только одного: чтобы она подала повод к ссоре.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Я? — сказал он, вздохнув с облегчением. — А вот о чем: мы состарились, мамуля, наша весна прошла, и будем довольны тем, что у нас было. Если ты не против, поедем домой прямо вечерним парходом.

— А я по-другому и не думала, старичок ты мой, но тебе ведь надо обязательно настоять на своем.

— Ну, пошли, и поедем домой. Не лето ведь как-никак, осень.

— Да, осень.

С чувством облегчения направились они к отелю. Его немного мучило, что дело приняло такой прозаический оборот, и хотелось подвести подо все философскую базу.

— Видишь ли, мамуля, — сказал он, — моя лю... г м . . . — слово было слишком сильным, — в моем чувстве к тебе за эти годы произошла эволюция, как теперь говорят. Оно развивалось, разветвлялось, если можно так выразиться, поскольку вначале его объектом было одно существо, а потом — целая семья, так сказать, коллектив. Это уже не только ты и не только дети, но все вместе... одно целое... Короче, как говаривал мой дядя, дети — это громоотвод!

После философского изложения вопроса он снова стал самим собой. Будто снял с себя неудобный сюртук и облачился в ночной халат.

Вернувшись в отель, жена принялась укладывать чемоданы и почувствовала себя в своей стихии.

На пароходе они сразу же спустились в ресторан. Ради приличия он спросил ее, не хочет ли она полюбоваться закатом, но она отклонила предложение.

За ужином он брал себе все первым, а она спрашивала кельнершу, сколько стоит ржаной хлеб.

Наевшись и уже собираясь отхлебнуть портера, он не мог удержаться, чтобы не поддразнить ее.

— Вот дуреха старая! Это надо же! — сказал он и улыбнулся жене, которая, не переставая жевать, подняла на него глаза.

Но, глядя на его лоснящееся жирное лицо, она не ответила ему улыбкой. В глазах ее, на секунду сверкнувших, появилось выражение такого достоинства, что он смутился.

Волшебство исчезло, исчез последний след любовницы — перед ним сидела строгая мать семейства, и он почувствовал себя жалким мальчишкой.

— Почему ты должен презирать меня, даже если я и вела себя как дурочка? — серьезно сказала она. — Но в отношении мужчины к женщине всегда ведь присутствует немалая доля презрения. Это просто удивительно.

— А в отношении женщины к мужчине?

— Еще больше. Что правда, то правда! Но у нее и больше основания для этого.

— Бог его знает! Что те, что другие в этом смысле одинаковы. Суть-то одна, только выражается по-разному. Но, думается, и те и другие правы. То, что завоевываешь с трудом и потому переоцениваешь, естественно, легко становится потом объектом презрения.

— А зачем переоценивать?

— А к чему эти трудности завоевывать?

Гудок парохода прервал беседу.

Они приехали.

Вернувшись домой и увидев ее в окружении детей, он сразу почувствовал, что его «чувство» к ней и вправду претерпело изменения, а ее чувство к нему перешло на детей, распределившись между ним и всеми этими маленькими крикунами. Его роль ведь была преходящей, и поэтому он был как бы на втором плане. Если бы он не был необходим для добывания хлеба насущного, его, наверно, теперь совсем отстранили бы.

Он пошел в свой кабинет, надел халат и домашние туфли, зажег трубку и почувствовал себя снова дома.

За окном хлестал дождь, свистел ветер, в печной трубе гудело.

Уложив детей, жена вошла к нему.

— В такую погоду землянику не пособираешь, — сказала она.

— Да, старушка, лето кончилось, наступила осень.

— Верно, осень, остается лишь утешаться тем, что это еще не зима.

— Утешаться! Слабое утешение — ведь живешь-то только раз!

— Два раза, если у тебя есть дети, и три — если доживешь до внуков!

— Но потом все же наступает конец.

— Если только нет другой жизни после этой.

— Точно ничего не известно! Кто знает? Я, например, верю, но моя вера еще не доказательство!

— Да, но верить в это так чудесно, давай же верить, верить, что и для нас еще настанет новая весна! Хорошо?

— Хорошо, — сказал он и обнял жену.



ПЬЕСЫ

*Перевод
Е. Суриц*

ОТЕЦ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ротмистр.
Лаура, его жена.
Берта, их дочь.
Доктор Эстермарк.
Пастор.
Кормилица.
Нойд.
Денщик.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная в доме ротмистра. В глубине справа — дверь. Посреди комнаты большой круглый стол, на нем газеты и журналы. Справа кожаный диван и столик. В правом углу потайная дверь. Слева бюро и на нем часы; дверь в глубину квартиры. По стенам — ружья, ягдташи. У двери вешалка, на ней висят мундиры. На большом столе горит лампа.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Ротмистр и пастор сидят на диване. Ротмистр в форменном сюртуке и высоких сапогах со шпорами. Пастор весь в черном, при белом галстуке, без брыжей; курит трубку.

Ротмистр звонит.

Денщик. Что прикажете, господин ротмистр?

Ротмистр. Нойд явился?

Денщик. Он на кухне, ждет приказаний.

Ротмистр. Опять на кухне! Сейчас же пошли его сюда!

Денщик. Слушаюсь, ваша милость. *(Уходит.)*

Пастор. Что там у тебя опять стряслось?

Ротмистр. Опять этот прохвост девушку втравил в беду. Сладу с ним никакого!

Пастор. Ты о Нойде? Помнится, он и в прошлом году что-то такое учинил!

Ротмистр. Вот-вот, ты ведь помнишь? Знаешь, может быть, ты бы поговорил с ним? По-хорошему. Чтобы как-то до него дошло. Я уж и ругал его, даже вздуть было пробовал — нет, не действует.

Пастор. Так-так, ты, стало быть, хочешь, чтоб я прочел ему проповедь. И ты думаешь, слово божие в силах пронять кавалериста?

Ротмистр. Да, шурин, на меня оно, правда, не производит впечатления, сам знаешь...

Пастор. Мне ли не знать!

Ротмистр. Но он... Все же попытайся.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же и Нойд.

Ротмистр. Ну, что ты опять натворил?

Нойд. Боже сохрани, господин ротмистр, не могу я такое при пасторе рассказывать.

Пастор. Не стесняйся, сын мой.

Ротмистр. Признавайся. Иначе — сам понимаешь.

Нойд. Ну, мы, значит, танцевали у Габриэли, вот, а Людвиг и говорит...

Ротмистр. При чем тут Людвиг? Ближе к делу.

Нойд. Ну вот, а потом Эмма говорит — пошли на гумно.

Ротмистр. Ах, выходит, это Эмма тебя соблазнила?

Нойд. Да, похоже на то. Вообще я так скажу: коли девчонка не захочет, так и не будет ничего.

Ротмистр. Короче говоря — ты отец ребенка или нет?

Нойд. Да как же узнаешь?

Ротмистр. Что еще такое? Ты сам не знаешь?

Нойд. Да и никто не знает никогда.

Ротмистр. Разве ты не наедине с нею был?

Нойд. Ну, в тот раз наедине. А вообще-то кто же знает?

Ротмистр. Ты не в Людвига ли метишь? Говори ясней.

Нойд. Да разве тут разберешься, в кого метить?

Ротмистр. Но ты пообещал Эмме, что женишься на ней?

Нойд. Так это уж завсегда обещать приходится...

Ротмистр (*пастору*). Чудовищно!

Пастор. Старая история! Но послушай-ка, Нойд, ты, наконец, мужчина? Ты должен знать, отец ты или нет?

Нойд. Ну, было у нас все, что положено, да ведь сами знаете, господин пастор, что же из этого?

Пастор. Послушай меня, сын мой, тут речь идет о твоей душе! Нельзя же бросить девушку одну с ребенком. Никто не может принудить тебя жениться, но о ребенке ты обязан позаботиться. Это ясно!

Нойд. Ну, и Людвиг тоже обязан.

Ротмистр. Пусть в этом деле разбирается суд. Я отказываюсь его понять, да, признаться, и охоты большой не имею. Ступай вон!

Пастор. Нойд! Постой! Мм... Не кажется ли тебе, что недостойно бросать девушку в беде, с ребенком? Нет, не кажется? Неужто ты не видишь, что подобное поведение... мм... мм!..

Нойд. Так ведь если б точно знать, что я ребенку отец. А ведь этого же никто никогда не знает, господин пастор. А всю жизнь с чужим ребенком возиться тоже ведь не ахти как интересно! Сами понимаете, господин пастор, сами понимаете, господин ротмистр!

Ротмистр. Пошел вон!

Нойд. Дай вам бог здоровья, господин ротмистр.

Ротмистр. Да не смей соваться на кухню, подлец!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Ротмистр и пастор.

Ротмистр. Отчего же ты его не пропесочил как следует?

Пастор. Что ты? Разве я его не отчитал?

Ротмистр. Ах, сидел и мямлил себе под нос!

Пастор. Да уж, честно говоря, что тут и скажешь? Жаль девушку, разумеется. Но ведь и парня жаль. Сам посуди — а вдруг не он отец ребенка? Девушка может выкормить ребенка в воспитательном доме и пристроить его там навсегда, но малый грудью кормить не может. Девушка потом может получить где-нибудь прекрасное место, а у парня вся жизнь загублена, если его с позором выгонят из полка.

Ротмистр. Да, не хотел бы я быть в шкуре судьи, которому пришлось бы выносить приговор по этому делу. У парня, конечно, рыльце в пушку, но как ты это докажешь? Зато легче легкого доказать виновность девчонки, если называть такое виновностью.

Пастор. Да, да, я и не сужу никого. Но о чем же у нас с тобой шла речь, когда вклинилась эта дивная история? О Берте, о конфирмации — не так ли?

Ротмистр. Не о конфирмации, собственно, но вообще о ее воспитании. Дом полон женщин, и каждая норовит воспитывать моего ребенка. Теща готовит ее в спиритки; Лаура мечтает, чтобы она стала актрисой; гувернантка старается превратить ее в методистку; старуха Маргрет обращает ее к баптизму, а служанки тянут в Армию спасения. Как видишь, душу ее рвут на части, а сам я, более других имеющий право руководить ею, непрестанно наталкиваюсь на сопротивление. Вот я и думаю вырвать ее из милой домашней обстановки.

Пастор. Слишком большую власть взяли женщины у тебя в доме.

Ротмистр. Ох, и не говори! Сюда как в клетку с тиграми входишь. И если б я не размахивал раскаленным прутом у них перед носом, они б меня уж растерзали давно! Хорошо тебе смеяться! Мало того, что я женился на твоей сестре — ты мне еще и свою старуху мачеху подсунул.

Пастор. Господи, но, согласись, невозможно же держать мачеху в собственном доме.

Ротмистр. Вот ты и рассудил, что куда удобней держать в доме тещу — особенно если это чужой дом.

Пастор. Да-да, каждому свой крест.

Ротмистр. Но мой мне просто не по плечу. Еще ведь не забудь мою старую кормилицу, которая обращается со мною так, будто я до сих пор в слюнявчике хожу. Она, ей-богу, очень милая, только зачем она здесь?

Пастор. Ты бы поостроже с ними со всеми, зятек. Ты дал им слишком большую власть.

Ротмистр. Что ж, может, научил бы меня, братец, как с ними поостроже обращаться?

Пастор. По правде сказать, хоть Лаура и родная моя сестра, но у нее всегда был крутой характер.

Ротмистр. Лаура — само собой, конечно, хотя главная беда не в ней...

Пастор. Говори-говори, уж ее-то я знаю.

Ротмистр. Она воспитана в романтическом духе, и с ней иной раз бывает трудно столкнуться, но она как-никак мне жена...

Пастор. А раз она тебе жена, то она и лучше всех. Нет, зятек, от нее-то ты больше всего и терпишь.

Ротмистр. Сейчас, правда, у нас бог знает что творится. Лаура не хочет отпускать от себя Берту, а я не вправе допустить, чтоб она оставалась в этом сумасшедшем доме.

Пастор. А-а, Лаура не хочет? Тогда я ничего хорошего не жду. Помнится, что в детстве она, бывало, ложилась и лежала, как мертвая, покуда не добьется своего, а как только добьется, отказывалась от достигнутого, бросала его, как вещь, объясняя при этом, что ей главное — настоять на своем, а не что-то заполучить.

Ротмистр. Значит, и тогда было то же... Гм, на нее, правда, иногда такое находит, что я боюсь за ее рассудок и опасуюсь, уж не больна ли она.

Пастор. Но чего же именно ты хочешь для Берты против желания Лауры? Нельзя ли все-таки столкнуться?

Ротмистр. Ты только не думай, будто я хочу из нее вундеркинда сделать или копию с меня самого. Но не хочу я и сводничать родной дочери и готовить ее только для замужества, ведь останься она незамужней, она будет в таком случае пренесчастнейшее создание. А с другой стороны — зачем мучить ее, готова к мужской карьере, — ведь если она выйдет замуж, весь этот долгий труд пропадет впустую.

Пастор. И чего же ты хочешь?

Ротмистр. Хочу, чтоб она готовилась в учительницы. Останется в девушках — сумеет заработать себе на хлеб, и участь ее будет не хуже, чем у много бедного учительшки, у которого вдобавок семья на шее. А выйдет замуж — и сумеет воспитать по науке собственных деток. Разве я не верно рассудил?

Пастор. Верно-то верно. Но ведь она выказала уже такие

дарования в живописи, что было б насилием над естеством их подавлять, не правда ли?

Ротмистр. Нет. Я уж показывал ее опыты одному видному художнику; он говорит — ничего выдающегося, этому и в школе выучиться можно. Но вот летом сюда является некий юный балбес, провозглашает Берту великим талантом — и Лаура оказывается права.

Пастор. Влюбился он в девочку, что ли?

Ротмистр. Вне всякого сомнения!

Пастор. Ну, тогда храни тебя бог, мой милый, тут я просто не вижу выхода! Н-да, неприятно. И у Лауры, разумеется, есть поддержка.

Ротмистр. О, не сомневайся. В доме полыхает война, и, между нами говоря, ведется она не так уж честно.

Пастор (*встает*). Думаешь, мне это знакомо?

Ротмистр. Как? И у тебя тоже?

Пастор. Тоже?..

Ротмистр. И хуже всего, знаешь ли, что они решают участь Берты исходя из ненависти. Только и слышно: надо доказать мужчинам, что женщина способна на то да на это. И бесконечное противопоставление мужчины и женщины. Но ты уже уходишь? Не уходи, останься, отужинаем вместе. Интересного у меня, в сущности, ничего, но все же — знаешь, я ведь жду сегодня к себе нового доктора. Ты его видел?

Пастор. Мельком, мимоездом. Кажется, славный малый, честное лицо.

Ротмистр. Что ж, хорошо. Ты полагаешь, я найду в нем опору?

Пастор. Кто его знает? Смотря по тому имел ли он опыт обращения с женщинами.

Ротмистр. Может, останешься все-таки?

Пастор. Нет, спасибо, милый, я обещал к ужину быть, а моя половина волнуется, когда я запаздываю.

Ротмистр. Волнуется? Лучше скажи, гневается! Ну, как знаешь. Разреши, я тебе шубу подам.

Пастор. Холод сегодня зверский. Угу. Спасибо. Знаешь, Адольф, ты бы занялся собою. У тебя измученный вид.

Ротмистр. Измученный?

Пастор. Да-а. Ты что, нездоров?

Ротмистр. Это тебе Лаура нашептала? Она меня уже двадцать лет хоронит.

Пастор. Лаура? Помилуй, что ты. Но ты беспокоишь меня. Займись-ка собою. Очень советую! Прощай, старина; так ты вовсе не собирался потолковать о конфирмации?

Ротмистр. Нет, решительно не собирался. Уверяю тебя, все пройдет как положено, ибо я не проповедник истины и не святой мученик. И довольно об этом... Прощай же. Передай мой поклон!

Пастор. Прощай, братец. Передай поклон Лауре.

Ротмистр. Затем Лаура.

Ротмистр (*открывает бюро, садится к нему и занимается счетами*). Тридцать четыре... девять... сорок три... семь... восемь... пятьдесят шесть...

Лаура (*входит*). Не будешь ли ты так добр...

Ротмистр. Сию минуту!.. Шестьдесят шесть... семьдесят один... восемьдесят четыре... восемьдесят девять... девяносто два... сто. Да, я тебя слушаю!

Лаура. Я помешала?

Ротмистр. Нет-нет, что ты! Ты, очевидно, насчет денег на хозяйство?

Лаура. Ты угадал.

Ротмистр. Оставь тут счета, я их просмотрю.

Лаура. Счета?

Ротмистр. Ну да!

Лаура. Значит, теперь я тебе счета буду представлять?

Ротмистр. Почему бы и нет. Дела у нас очень неважные, и на всякий случай надо иметь счета, чтобы нас не обвинили в злостном банкротстве.

Лаура. Не я виновата, что дела у нас неважные.

Ротмистр. Вот счета все и покажут.

Лаура. Не я виновата, что арендатор не желает платить.

Ротмистр. А кто его настоятельно рекомендовал? Ты! Зачем было рекомендовать — что греха таить — настоящего мерзавца?

Лаура. А зачем было принимать его, если он мерзавец?

Ротмистр. А затем, что я не мог ни есть, ни спать, ни работать спокойно, пока вы не уломали меня. Тебе он был необходим, оттого что твоему брату хотелось от него избавиться, теще он был необходим, потому что не нужен был мне, гувернантка мечтала о нем, потому что он сектант, старая Маргрет — потому что девочкой она знавала его бабушку. Вот отчего я принял его. И не прими я его, я бы сейчас уже томился в сумасшедшем доме или гнил в семейном склепе. Впрочем, вот тебе деньги на хозяйство и на булавки. А счета после как-нибудь.

Лаура (*с книксеном*). Премного благодарна! А остальным твоим тратам, не на хозяйство, ты тоже ведешь счета?

Ротмистр. Тебе об этом не следует беспокоиться.

Лаура. О, еще бы; точно так же, как мне не следует беспокоиться о воспитании собственной дочери. Ну как? Господа мужчины на вечернем совете уже вынесли свой вердикт?

Ротмистр. Я уже прежде вынес свой вердикт, и мне оставалось только поделиться с единственным человеком, который близок нам обоим. Берта будет жить в городе на полном пансионе, и через две недели она уедет.

Лаура. И у кого же будет она содержаться, осмелюсь спросить?

Ротмистр. У аудитора Сэвберга.

Лаура. У смутьяна!

Ротмистр. По действующим законам, отец может воспитывать детей в духе собственных представлений.

Лаура. А мнения матери и не спрашивают!

Ротмистр. Именно. Она в законной сделке продает свое право первородства отцу за то, что он берет на себя заботу о ней и о детях.

Лаура. И она не вольна распоряжаться собственным ребенком?

Ротмистр. Именно! Товар продан, и нельзя взять его назад да еще и денежки вернуть.

Лаура. Но ведь отец и мать могли бы решать сообща...

Ротмистр. Ну как ты это себе представляешь? Я хочу, чтоб она уехала, ты хочешь, чтоб она осталась. По правилам арифметики, выходит, она должна застрять где-то на полустанке между домом и городом. Этот узел не распутать! Сама посуду.

Лаура. Значит, надо его разрубить. Чего Нойду было нужно?

Ротмистр. Служебная тайна!

Лаура. Которую знает вся людская.

Ротмистр. Значит, знаешь и ты!

Лаура. Разумеется.

Ротмистр. И уже вынесла приговор?

Лаура. Он предусмотрен законом.

Ротмистр. В законе не предусмотрено, кто отец ребенка.

Лаура. Нет, но обычно это бывает известно.

Ротмистр. Умные люди утверждают, что этого вообще знать нельзя.

Лаура. Странное дело! Нельзя знать, кто отец ребенка?

Ротмистр. Так утверждают умные люди.

Лаура. Странное дело! Откуда же тогда у отца все его права?

Ротмистр. Он получает их, если возлагает на себя все обязанности отцовства или если их возлагают на него. Но когда люди женаты, сомнений в отцовстве не возникает.

Лаура. Не возникает?

Ротмистр. Смею надеяться!

Лаура. А если жена была мужу неверна?

Ротмистр. К нашему случаю это не относится. Ты еще что-то хотела спросить?

Лаура. Нет-нет.

Ротмистр. Тогда я пойду к себе, а ты, будь добра, дай мне знать, когда явится доктор. *(Запирает бюро и встает со стула.)*

Лаура. Хорошо.

Ротмистр *(идет направо к потайной двери).* Смотри же, тотчас, как он явится, чтобы мне не выглядеть неучливым. Понимаешь? *(Уходит.)*

Лаура. Я-то понимаю!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Лаура одна; разглядывает полученные от мужа купюры. Из другой комнаты доносится голос тещи: «Лаура!»

Лаура. Да?

Голос тещи: «Чай для меня готов?»

Лаура (*обращаясь к двери*). Сейчас, сейчас! (*Идет к двери в глубине сцены. Денщик как раз открывает ее и объявляет: «Доктор Эстермарк».*)

Доктор. Сударыня!

Лаура (*идет навстречу и протягивает ему руку*). Милости прошу, господин доктор! Очень, очень рада. Ротмистр отлучился, но скоро он будет.

Доктор. Прошу меня извинить, если заставил ждать. Сразу пришлось навещать больных.

Лаура. Будьте добры, садитесь. Прошу вас!

Доктор. Благодарствую, сударыня.

Лаура. Да, у нас здесь как-то все расхворались, но я надеюсь, теперь дела пойдут на лад. Знаете, доктор, здесь, сидя в глуши, очень важно иметь врача, принимающего близко к сердцу здоровье своих пациентов; о вас же, доктор, я много хорошего понаслышалась и надеюсь, между нами установятся самые дружеские отношения.

Доктор. Вы слишком добры, сударыня; я же, со своей стороны, надеюсь, что в моих визитах у вас редко будет нужда. Семейство у вас здоровое и...

Лаура. Да, острых болезней, слава богу, не наблюдается, но все не так уж благополучно.

Доктор. Не так уж?

Лаура. Увы, кое-что оставляет желать лучшего.

Доктор. Полноте! Вы пугаете меня!

Лаура. Бывают, знаете, семейные обстоятельства, которые честь и совесть заставляют таить от всех...

Доктор. Кроме врача.

Лаура. А потому мой печальный долг — тотчас открыть вам всю правду.

Доктор. Не отложить ли нам этот разговор до тех пор, когда я буду иметь удовольствие представиться господину ротмистру?

Лаура. О нет! Вы должны сначала выслушать меня.

Доктор. Значит, речь о нем?

Лаура. О нем, несчастном моем, любимом муже.

Доктор. Вы пугаете меня, сударыня, и я сочувствую вашему несчастью, поверьте.

Лаура (*вынимает носовой платок*). Муж мой душевно болен. Ну вот, теперь вы все знаете и скоро сами в этом убедитесь.

Доктор. Помилуйте! Я с восхищением читал прекрасные работы господина ротмистра по минералогии и всегда находил в них четкий и ясный ум.

Лаура. В самом деле? Что ж, буду рада, если окажется, что все мы, его близкие, заблуждаемся.

Доктор. Конечно, возможно, его психическая деятельность в чем-то другом и нарушена, Расскажите мне все.

Лаура. Да-да, доктор, этого мы и опасаемся! Видите ли, у него бывают самые невероятные идеи, может, и простительные ученому, если б они не отравляли жизнь всей семье. Например, у него страсть все скупать.

Доктор. Это настораживает. Что же именно он покупает?

Лаура. Целые ящики книг, которых не читает потом.

Доктор. Ну, в том, что ученый покупает книги, беды еще нет.

Лаура. Вы, кажется, не верите мне?

Доктор. Что вы, сударыня, конечно, вы верите тому, что говорите!

Лаура. Ну, а может ли человек видеть в микроскоп, что делается на другой планете?

Доктор. И он это утверждает?

Лаура. Утверждает.

Доктор. В микроскоп?

Лаура. В микроскоп! Да!

Доктор. Неприятно, если так.

Лаура. Если! Никакого ко мне доверия, доктор, а я-то вас посвящаю в семейные тайны!

Доктор. Поверьте, сударыня, я ценю ваше доверие, но прежде, чем составить собственное суждение, врач должен все выверить и узнать. Подвержен ли ротмистр перепадам настроения, часто ли меняет решения?

Лаура. Часто ли? Мы с ним прожили двадцать лет, и еще ни разу не бывало, чтоб он что-то решил и потом не передумал.

Доктор. Он упрям?

Лаура. Ему вечно надо поставить на своем, а как только он этого добьется, тут же и отступится и все бросает на меня.

Доктор. Очень неприятный симптом. Существенный. Воля, видите ли, сударыня, — это как бы хребет души, и как только повреждена воля, душа сама собой распадается.

Лаура. Одному богу известно, чего я натерпелась за эти годы, стараясь ему угодить! Если б вы знали, каково мне пришлось, если б вы только знали!

Доктор. Сударыня, ваше горе глубоко меня трогает, и я обещаю вам сделать все от меня зависящее. Мне от души вас жаль, и прошу вас, положитесь на меня. Но после того, что я от вас услышал, прошу вас об одолжении. Остерегайтесь волновать больного неожиданными идеями; любая мысль в разгоряченном мозгу может обратиться в навязчивый бред, в манию. Вы меня понимаете?

Лаура. Значит, ни в коем случае не возбуждать его подозрительности?

Доктор. Ни в коем случае! Ведь больному можно внушить все, что угодно, именно в силу его впечатлительности.

Лаура. Да! Понятно. Да-да!

В глубине сцены звонят.

Простите, мама что-то хочет мне сказать. Сию минуту!.. А вот и Адольф...

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Доктор. Ротмистр входит из-за потайной двери.

Ротмистр. О, вы уже здесь, господин доктор! Очень рад!

Доктор. Господин ротмистр! Весьма польщен, что имею честь познакомиться с таким прославленным ученым.

Ротмистр. Ну, полноте. Обязанности службы мешают мне углубиться в исследования, хоть мне и кажется, что я на пути к одному открытию.

Доктор. О!

Ротмистр. Видите ли, я подверг метеориты спектральному анализу и обнаружил уголь — то есть следы органической жизни! Что скажете?

Доктор. И все это вы разглядели через микроскоп?

Ротмистр. Господи, да в спектроскоп, конечно!

Доктор. Спектроскоп! Прошу прощения! Так вы, надо полагать, скоро порадуете нас новостями о Юпитере, не так ли?

Ротмистр. Ну, какие же там новости! Напротив, сведениями о его прошедшем. Вот только б мой поставщик прислал мне книги из Парижа! Но, кажется, все книготорговцы в заговоре против меня. Представьте, два месяца бомбардирую их заказами, письмами, отчаянными телеграммами даже — и хоть бы один ответил. Я просто с ума схожу, ничего не понимаю.

Доктор. Очевидно, простая небрежность. Не принимайте близко к сердцу.

Ротмистр. Да, но я, черт возьми, не смогу закончить вовремя свою статью, а в Берлине, я знаю, разрабатывают ту же тему. Впрочем, речь не о том! Речь о вас. Где вы намерены поместиться? Здесь — тогда есть квартира во флигеле. Но, быть может, вам удобней будет старое казенное жильё?

Доктор. Это уж как вам будет угодно.

Ротмистр. Нет, уж как вам будет угодно. Скажите!

Доктор. Сами решайте, господин ротмистр.

Ротмистр. Нет, я ничего не стану решать. Скажите, чего вам больше хочется. Мне все равно. Положительно все равно.

Доктор. Но не могу же я решать...

Ротмистр. Ради Христа, скажите, сударь, чего вам больше хочется. У меня на этот счет нет ни желаний, ни соображений. Что уж вы такой рохля и сами не знаете, чего хотите? Говорите же, не то я просто рассержусь!

Доктор. Ну, если мне решать — я поселяюсь тут!

Ротмистр. И прекрасно! Вот спасибо! Ох! Вы уж простите,

доктор, но ничто так не раздражает меня, как если кто-то говорит мне, что ему что-нибудь безразлично. (*Звонит.*)

Входит кормилица.

Ротмистр. Ну, вот и ты, Маргрет. Не знаешь ли, друг мой, приготовили флигель для доктора?

Кормилица. Как же, господин ротмистр, приготовили.

Ротмистр. Ну и хорошо. Тогда не стану вас задерживать, вы, верно, устали. Прощайте. И очень, очень рад. Завтра надеюсь увидеться.

Доктор. Покойной ночи, господин ротмистр.

Ротмистр. Жена, полагаю, кое-что вам уже рассказала, так что вам более или менее понятны наши дела.

Доктор. Ваша жена любезно снабдила меня кое-какими сведениями, необходимыми для непосвященного. Покойной ночи, господин ротмистр.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Ротмистр и кормилица.

Ротмистр. Что тебе, друг мой? Случилось что-нибудь?

Кормилица. Послушайте-ка, господин Адольф, миленький...

Ротмистр. Да-да, старушка Маргрет. Говори-говори. Только тебя одну мне теперь не мучительно слушать.

Кормилица. Послушайте-ка, господин Адольф, смирились бы вы да согласились бы с женой насчет ребенка. Мать ведь она ей...

Ротмистр. Отца тоже пожалей, Маргрет!

Кормилица. Ну-ну. У отца и кроме ребенка много чего есть, а у матери — только ребенок.

Ротмистр. Верно, старая. У нее одна ноша, а у меня их три, да и ее ношу я несу. Думаешь, если б не она и ребенок, так бы я и был старым служакой? Нет, я бы другого кой-чего достиг...

Кормилица. Да я ж не про то...

Ротмистр. Понимаю, тебе надо меня неправым выставить.

Кормилица. Неужели ж я хорошего вам не желаю?

Ротмистр. Верю, мой друг, только ты не понимаешь, что хорошо для меня. Видишь ли, по мне, мало дать ребенку жизнь, я и душу свою хочу дочери передать.

Кормилица. Мудрено что-то. А по мне, так могли бы и столковаться.

Ротмистр. Ты не друг мне, Маргрет!

Кормилица. Это я-то не друг? Стыдно вам такое говорить, господин Адольф! Думаешь, забыла я, что тебя маленьким у груди кормила?

Ротмистр. А я, думаешь, забыл? Ты была мне как мать, ты всегда, против всех, меня защищала, и вот теперь, когда ты так нужна мне, ты предаешь меня и переходишь в стан врага.

Кормилица. Врага!

Ротмистр. Да, врага. Уж тебе ли не знать, что тут творится, уж ты-то с начала и до конца видела все.

Кормилица. Видела, видела. Господи, и зачем два человека так друг друга мучают; и люди-то хорошие, и никому зла не желают... И госпожа тоже ни мне, ни еще кому...

Ротмистр. Знаю, только мне. Но послушай меня, Маргрет. Не предавай меня, греха на душу не бери. Против меня что-то затевают, и доктор этот что-то задумал.

Кормилица. Ах, Адольф, по тебе, люди подряд плохие, а все потому, что истинной веры в тебе нет; вот почему.

Ротмистр. Ну, а ты со своими баптистами одна знаешь, какая вера истинная. Хорошо тебе!

Кормилица. Ясно, мне не так плохо, как вам, господин Адольф. Смирили бы свое сердце — и сразу бы почувляли благодать божию и в любви к ближнему счастье узнали.

Ротмистр. Странно, только ты заведешь про бога и про любовь — и голос у тебя делается резкий, а глаза злые. Нет, Маргрет, видно, вера твоя не истинная.

Кормилица. Больно ученый ты и гордишься своей ученостью, да, видать, не больно она тебе помогает.

Ротмистр. Ого, как заговорила, кроткая душа! Я и сам знаю, что моя ученость с вами не помогает — с волками лучше по-волчьи вить.

Кормилица. И не стыдно? Только старая Маргрет все одно любит мальчика своего большого-большого, и он еще к ней тихонький придет, когда разразится гроза.

Ротмистр. Маргрет! Ты прости меня. Но, поверь, здесь только ты одна за меня. Помоги мне, Маргрет! Я чувствую — что-то случится. Что — сам не знаю, но что-то недоброе затевается.

Крик из глубины сцены.

Что это? Кто там кричит?

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Те же и Берта.

Берта. Папа... Папочка... Помоги... Спаси!

Ротмистр. Что с тобой, деточка моя любимая? Что?

Берта. Помоги! Она что-то против меня задумала!

Ротмистр. Кто? Скажи! Скажи!

Берта. Бабушка! Только я сама виновата. Я ее обманывала!

Ротмистр. Расскажи!

Берта. Только ты не говори никому! Слышишь? Я тебя прошу!

Ротмистр. Да расскажи, в чем дело!

Кормилица уходит.

Берта. Ну вот. Она вечером всегда прикрутит лампу и сажает меня за стол с карандашом и бумагой. И говорит — сейчас духи будут писать.

Ротмистр. Поразительно! И ты могла об этом молчать!

Берта. Прости меня. Но я боялась. Бабушка говорит, духи мстят, если про них проболтаешься. Ну, и карандаш, значит, пишет, только я не знаю точно, может, это я сама пишу. Иногда хорошо получается, а иногда ничего не выходит. Если я устану — не выходит, а надо, чтоб вышло, все равно. Ну, а сегодня я думала, что все хорошо, а бабушка говорит — это из Стагнелиуса, и я ее обманываю, и рассердилась ужасно.

Ротмистр. И ты веришь в духов?

Берта. Не знаю.

Ротмистр. Зато я знаю, что никаких духов нет!

Берта. А бабушка говорит — папа этого не понимает, и папа кое-чем похуже занимается, другие планеты разглядывает.

Ротмистр. Так и говорит! Подумать! Ну, и что же она еще говорит?

Берта. Говорит, ты не волшебник.

Ротмистр. Я и не выдаю себя за такового. Ты знаешь, что такое метеориты? Да, камни, упавшие с других небесных тел. Вот их я исследую и пытаюсь определить, обладают ли они теми же свойствами, что и наша Земля. Вот и все, что я могу видеть.

Берта. А бабушка говорит, есть вещи, которые она понимает, а ты — нет.

Ротмистр. Неправда!

Берта. Бабушка никогда неправду не говорит.

Ротмистр. Это почему же?

Берта. Но тогда, значит, и мама говорит неправду!

Ротмистр. Мм...

Берта. Скажи только, что мама говорит неправду, и я больше никогда тебе верить не буду.

Ротмистр. Но я этого не сказал. И потому ты поверишь мне, если я скажу, что ради своего блага, ради своего будущего тебе надо бежать отсюда. Ты согласна? Согласна уехать в город и там выучиться чему-нибудь путному?

Берта. Ах, как я хочу в город, прочь отсюда, куда угодно! Только бы с тобой иногда видеться, почаще. Ах, бывает так тяжело, так страшно, как темной морозной ночью, а когда тыходишь — будто весенним утром выставили зимние рамы!

Ротмистр. Девочка моя любимая! Радость ты моя!

Берта. Только ты, папа, уж будь добрее к маме, а то она так часто плачет!

Ротмистр. Мм... Значит, тебе хочется в город?

Берта. Да! Да!

Ротмистр. А если мама не захочет?

Берта. Да захочет она!

Ротмистр. Ну, а если?..

Берта. Тогда просто я не знаю. Да захочет она, захочет!

Ротмистр. Ты ее уговоришь?

Берта. Ты сам ее уговори. Что ей мои уговоры?

Ротмистр. Мм... Ну, а если я буду хотеть, и ты будешь хотеть, а она все-таки не захочет — как же тогда нам быть?

Берта. Ах, всегда у вас все так сложно. И почему вы с мамой не можете...

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Те же и Лаура.

Лаура. Ах, Берта тут! Тогда, может быть, стоит выслушать ее собственное мнение, ведь решается ее судьба.

Ротмистр. Едва ли ребенку под силу определить, как должна складываться жизнь девушки, мы же, напротив, можем это себе представить, ибо перед нашими глазами прошла не одна девичья судьба.

Лаура. Но раз уж мы не можем прийти к соглашению, пусть лучше Берта решит сама.

Ротмистр. Нет, я никому не отдам своих прав — ни женщине, ни ребенку. Оставь нас, Берта.

Берта уходит.

Лаура. Ты боялся ее решения, боялся, что выйдет по-моему.

Ротмистр. Я знаю, что ей хочется уехать отсюда, но я знаю и то, что ты вертишь ею как вздумаеть.

Лаура. Ах, скажите, какая у меня сила!

Ротмистр. Да, в тебе прямо сатанинская сила, как, впрочем, в каждом, кто не стесняется в средствах для достижения собственных целей. Каким образом, например, удалось тебе выжить доктора Нурлинга и водворить здесь нового врача?

Лаура. Да, любопытно, каким же образом?

Ротмистр. Ты травила прежнего, пока он не ушел, и предоставила брату нахваливать этого нового.

Лаура. Ну да, нехитро и вполне логично. Значит, Берта едет?

Ротмистр. Да, едет, через две недели.

Лаура. Это твое последнее слово?

Ротмистр. Да!

Лаура. С Бертой самой ты переговорил?

Ротмистр. Да!

Лаура. Ах, тогда мы еще посмотрим!

Ротмистр. Не станешь же ты чинить препятствия?

Лаура. Почему? По-твоему, мать согласится отпустить свою дочь к гадким людям, которые ей будут внушать, будто мать учила ее одним только глупостям? И навек потерять уважение дочери?

Ротмистр. А отец, по-твоему, должен молча смотреть, как самовлюбленные, несведущие бабы выставляют его перед дочерью шарлатаном?

Лаура. Отцу это не так важно.

Ротмистр. Почему же?

Лаура. А потому что мать ребенку ближе, раз считается, что вообще никогда нельзя точно знать, кто отец ребенка.

Ротмистр. Здесь-то это при чем?

Лаура. И ты тоже не знаешь, отец ли ты Берте!

Ротмистр. Я — не знаю?

Лаура. Раз никто не знает, стало быть, и ты!

Ротмистр. Ты шутишь?

Лаура. Ничуть. Твою же теорию развиваю. Ну как ты можешь быть уверен, что я не изменяла тебе?

Ротмистр. Многое я могу допустить, но только не это; да и не стала б ты мне такое выкладывать, будь это правдой.

Лаура. Ну, а если я иду на все — на позор, на лишение, лишь бы сохранить ребенка и свою над ним власть, а если, а вдруг — я сейчас объявлю тебе правду: Берта моя дочь, но не твоя! Предположим...

Ротмистр. Молчи!

Лаура. Предположим, что это так, — и тогда конец твоей власти!

Ротмистр. Докажи сначала, что я ей не отец!

Лаура. Это доказать нетрудно! Хочешь?

Ротмистр. Молчи!

Лаура. Придется, конечно, выдать имя подлинного отца, место, время... Кстати, когда родилась Берта? На третий год после свадьбы...

Ротмистр. Молчи! Или я...

Лаура. Ну что — или ты? Пожалуйста, я замолчу. Но немного подумай о том, что ты затеял! И постарайся не быть смешным!

Ротмистр. Мне вовсе не до смеха!

Лаура. Тем смешнее ты выглядишь!

Ротмистр. Ты зато не выглядишь смешно!

Лаура. Так уж умно мы устроены!

Ротмистр. Потому вас и не одолеть!

Лаура. Ну, и зачем же вступать в борьбу с превосходящими силами противника?

Ротмистр. Превосходящими?

Лаура. Да! Странно, но, глядя на любого мужчину, я всегда сознаю свое превосходство.

Ротмистр. Ничего, еще узнаешь превосходство мужчины, поплачешь.

Лаура. Что ж, очень любопытно.

К о р м и л и ц а (*входит*). Кушать подано. Не угодно ли закусить?

Лаура. Спасибо.

Ротмистр медлит, садится в кресло у чайного столика.

Ты идешь ужинать?

Ротмистр. Нет, спасибо, не хочется.

Лаура. Что такое? Ты огорчен?

Ротмистр. Нет, просто не голоден.

Лаура. Лучше пойдем, не то пойдут расспросы... совершенно лишние. Ну, прошу тебя! Нет? Не хочешь? Ну, так и сиди! (*Уходит.*)

Кормилица. Адольф! Что такое случилось?

Ротмистр. Сам не пойму. Объясни ты мне, можно ли обращаться с пожилым человеком как с малым ребенком?

Кормилица. Ну, это я тоже не понимаю, но небось для нашей сестры все вы, мужчины, дети — что старый, что малый...

Ротмистр. И ни одна женщина не рождена от мужа. Но я же отец Берты. Скажи мне, Маргрет, ты в это веришь ли? Ты веришь?

Кормилица. Ох, господи. Ну как же не ребенок! Надо же такое спрашивать. Лучше пойдика отужинай, чем тут сидеть да горевать! Ну, иди-иди!

Ротмистр (*встает*). Оставь меня, женщина! К черту вас всех, ведьмы! (*У выходной двери.*) Сверд! Сверд!

Денщик (*в дверях*). Да, господин ротмистр?

Ротмистр. Сани заложить! Немедля!

Кормилица. Господин ротмистр! Послушайте-ка...

Ротмистр. Вон отсюда, женщина! Немедля!

Кормилица. Господи помилуй! Что же это с нами будет?

Ротмистр. (*надевает фуражку и направляется к двери*). И домой меня не ждать! До глубокой ночи!

Кормилица. Господи Иисусе! Что же это будет?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорации те же. На столе горит лампа. Ночь.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Доктор. Лаура.

Доктор. После моей беседы с ротмистром случай вовсе не кажется мне таким уж бесспорным. Во-первых, вы ошиблись, утверждая, что к своим поразительным выводам относительно других небесных тел он пришел с помощью микроскопа. Но если речь шла о спектроскопе, значит, не только нельзя говорить о расстройстве ума, но, напротив, мы имеем дело с высокой ученостью.

Лаура. Да ничего я такого не говорила!

Доктор. Сударыня, я взял наш разговор на заметку, и, помнится, я даже ведь вас переспрашивал относительно этого существенного пункта, решив было, что ослышался. Нужно с большой осторожностью подходить к таким обвинениям, которые ведут к опеке.

Лаура. К опеке?

Доктор. Да, вы, разумеется, знаете, что душевнобольные лишаются гражданских и семейственных прав.

Лаура. Ничего я такого не знала.

Доктор. Далее, еще один пункт показался мне подозрительным. Господин ротмистр жаловался, что просьбы его книготорговцам остаются без отклика. Позвольте спросить, не ваша ли ложно понятая заботливость тому причиной?

Лаура. Да, вы угадали. Но мой долг — защищать интересы семьи, и я не могу позволить, чтоб он всех нас пустил по миру.

Доктор. Простите, но, мне кажется, вы не рассчитали последствий своего шага. Если вдруг ему откроется, что вы вмешиваетесь в его дела, подозрительность его получит обоснование и разрастется лавиной. Вдобавок, вставляя ему палки в колеса, вы доводите его до умоисступления. Вы и по себе, вероятно, знаете, каково это, когда мешают твоим сокровенным желаниям.

Лаура. Мне ли не знать?

Доктор. Вот и судите сами, каково ему.

Лаура *(встает)*. Уже двенадцать, а его нет. Теперь все, что угодно, может случиться.

Доктор. Скажите, сударыня, а что, собственно, было сегодня, после того, как я ушел? Это существенно.

Лаура. Он пустился в дикие фантазии. Представьте, вообразил, будто он не отец собственной дочери!

Доктор. Удивительно. Но откуда такая мысль?

Лаура. Не знаю. Сегодня, правда, он говорил с одним парнем по поводу ребенка, парень отрекся от ответственности, а когда я, потом уже, встала на защиту девушки, он вспылил и объявил, что никто никогда не может определить, кто отец ребенка. Бог свидетель, я все делала, чтоб его успокоить, но теперь уж беде ничем не поможешь... *(Плачет.)*

Доктор. Но этак не может продолжаться! Надо предпринять что-то, не возбуждая, разумеется, его подозрений. Скажите, а прежде у ротмистра бывали такие странные идеи?

Лаура. Шесть лет назад было то же, и тогда он сам, да, в письме, и даже к врачу, признавался, что боится за свой рассудок...

Доктор. Да-да-да, у этой истории, верно, глубокие корни... семейная тайна и всякое такое... я не смею допытываться и должен придерживаться очевидности, что было, то было, и упущенного, увы, не воротить, но для полного излечения следовало бы установить и искоренить первоначальную причину расстройства. Как вы полагаете, где он теперь?

Лаура. Ни малейшего понятия не имею. На него теперь порой находит что-то ужасное.

Доктор. Хотите, я его дождусь? Чтоб усыпить подозрения, я мог бы сказать, что навещал вашу матушку, что она нездорова.

Лаура. Да, прекрасно! Вы уж не бросайте нас, господин доктор. Если б вы только знали, как я исстрадалась! Но не разумней ли прямо сказать ему, что вы думаете о его положении?

Доктор. Душевнобольным никогда этого не объявляют, разве что сами они заведут такой разговор, да и то не всегда. Лучше подождем, посмотрим, какой оборот примет дело. Только не надо нам здесь сидеть. Пойду-ка я лучше в соседнюю комнату, чтоб все выглядело натуральней.

Лаура. Да, пожалуй, а здесь оставим Маргрет. Она всегда не спит, его дожидаясь, и она одна умеет справиться с ним. (*Идет к двери налево.*) Маргрет! Маргрет!

Кормилица. Что угодно госпоже? Хозяин вернулся?

Лаура. Нет. Ты посиди тут, дождись его. А когда он придет, скажи, что матушка заболела и у нее доктор.

Кормилица. Ладно, ладно. Посижу, куда все не обойдется.

Лаура (*открывает дверь в глубине сцены*). Пожалуйте сюда, господин доктор!

Доктор. К вашим услугам, сударыня.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Кормилица и Берта.

Кормилица (*сидя за столом, берет в руки псалтырь, надевает очки*). Да! да! да! (*Читает вполголоса.*)

Труден, тяжек путь земной,
К скорой смерти тяготее,
Ангел смерти вечно реет
Над моею головой
И кричит: «Тщета! Тщета!»
Да! да! да!

Все погибнет, все умрет,
От меча его падет,
И не станет жизни милой.
Только горе над могилой
Прокричит еще: «Тщета!»
Да! да!

Берта (*входит с подносом, на котором стоит кофейник, и с вышиваньем; почти шепчет*). Маргрет, можно, я с тобой посижу? Там так страшно!

Кормилица. Господи! Ты еще не спишь?

Берта. Я папе подарок к рождеству вышиваю. А это я тебе вкусенького принесла.

Кормилица. Миленькая ты моя, разве так можно?.. Тебе же вставать рано. А время-то уже первый час ночи.

Берта. Ну и что же. Не могу я там одна. Мне разное чудится.

Кормилица. Надо же. А я что говорила? Помяни мое слово — дурной это дом. И что же чудилось тебе?

Берта. Будто на чердаке поет кто-то.

Кормилица. На чердаке? В эдакую пору?

Берта. Песня грустная-грустная, я такой и не слышала никогда. И неслась как будто из закоулка на чердаке, слева, знаешь, где колыбелька стоит?

Кормилица. Ой-ой-ой! И погодка-то нынче! Ей-богу, трубы того гляди лопнут. «Что нам жизнь — одна печаль, расставаться

с нею жаль, жаль покинуть белый свет, хотя здесь веселья нет». Да, дочка, вот уж послал господь праздничек.

Берта. Маргрет, неужели папа вправду болен?

Маргрет. Болен, конечно.

Берта. Значит, мы рождество не будем праздновать. Но отчего же он в постели не лежит, если болен?

Кормилица. Да, дочка, такая уж болезнь у него. Ш-ш! Кто-то пришел. Иди-ка к себе, да кофейник не забудь, не то отец рассердится.

Берта (*уходит и уносит поднос*). Покойной ночи, Маргрет!

Кормилица. Покойной ночи, детка. Господь с тобой!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Кормилица. Ротмистр.

Ротмистр (*снимает пальто*). Ты не спишь? Иди скорее, ляг спать!

Кормилица. Да я только дождаться хотела...

Ротмистр зажигает свечу, открывает бюро, садится к нему, вынимает из кармана письма и газеты.

Адольф!

Ротмистр. Ну, что ты?

Кормилица. Старая госпожа заболела. К ней доктор пришел!

Ротмистр. Это опасно?

Кормилица. Нет, авось обойдется. Простыла она.

Ротмистр (*встает*). Кто был отец твоего ребенка, Маргрет?

Кормилица. Да я тебе сто раз говорила — Юхансон, подлец.

Ротмистр. Ты уверена, что это он?

Кормилица. Ты словно дитя малое. Ясно, я уверена, больше у меня и не было никого.

Ротмистр. А он-то был уверен, что больше никого не было? Он не мог быть уверен, а ты могла. В том-то вся и разница.

Кормилица. Никакой не вижу разницы.

Ротмистр. Ты не видишь, а разница все-таки есть! (*Листает альбом с фотографиями.*) Как по-твоему, похожа на меня Берта? (*Разглядывает какую-то фотографию.*)

Кормилица. Вся в тебя, как вылитая!

Ротмистр. А твой Юхансон признавал себя отцом?

Кормилица. Заставили, так и признал.

Ротмистр. Это чудовищно! Но вот и доктор!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ротмистр, кормилица, доктор.

Ротмистр. Добрый вечер, доктор. Что с тещей?

Доктор. О, ничего страшного. Слегка левую ногу подвернула.

Ротмистр. А Маргрет, кажется, сказала — простуда. Некоторые разногласия. Иди, Маргрет, ложись!

Кормилица уходит. Пауза.

Ротмистр. Сядьте, доктор, будьте добры.

Доктор (*садится*). Благодарствую.

Ротмистр. Верно ли, что от скрещения кобылы и зебры родятся полосатые жеребята?

Доктор (*ошеломленно*). Совершенно верно!

Ротмистр. А верно ли, что если продолжать породу уже с помощью жеребца, потомство будет все равно полосатое?

Доктор. Да, и это верно.

Ротмистр. Стало быть, при известных обстоятельствах обычный конь может стать отцом полосатого, и наоборот?

Доктор. Да. По-видимому.

Ротмистр. Иными словами, сходство потомства с отцом ничего не доказывает...

Доктор. Э-э...

Ротмистр. То есть факт отцовства недоказуем.

Доктор. Э-э... мм...

Ротмистр. Вы ведь вдовец и детей имеете?

Доктор. Да-а.

Ротмистр. И вы никогда не чувствовали себя смешным? Ничего нет, на мой взгляд, смехотворней отца, разгуливающего со своим ребенком по улице или рассуждающего о своих детях. Говорил бы уж: «Ребенок моей жены». Вы никогда не ощущали двусмысленности своего положения, доктор, никогда не посещали вас сомнения? «Подозрения» — этого я не скажу, ибо, как джентльмен, предполагаю, что жена ваша была вне подозрения...

Доктор. Нет, ничего подобного я не испытывал, и знаете ли, господин ротмистр, детей следует принимать на веру, как говаривал, кажется, Гете.

Ротмистр. На веру, когда в деле замешана женщина? Это рискованно.

Доктор. Ну, женщины разные бывают.

Ротмистр. По новейшим данным науки все они на один покой! В юности я был могуч и — уж похвастаюсь! — хорош собою. Вспоминаю два мимолетных впечатления, которые, задним числом, очень мучили меня. Как-то ехал я на пароходе и сидел с приятелем в салоне. В салон вошла молоденькая буфетчица, заплаканная, села против меня и стала рассказывать, что у нее жених утонул. Все жалели ее, а я спросил шампанского. После второго бокала я коснулся ногой ее туфельки, после четвертого прижал ей колено, и еще не рассвело — успел полностью утешить ее.

Доктор. Ну, это случай исключительный.

Ротмистр. Погодите, сейчас будет и типический. Я жил тогда на курорте. Там же была одна юная дама с детьми, муж

оставался в городе. Дама была верующая, самых строгих правил и проповедовала высокую нравственность, полагаю, совершенно искренне. Я дай ей почитать книжку, потом другую. Уезжая, книги она мне даже вернула, удивив меня честностью. Три месяца спустя между страниц в одной из этих книжек я наткнулся на ее визитную карточку с откровеннейшим объяснением в любви. Объяснение, впрочем, было невинное, если только может быть невинным объяснение замужней дамы малознакомому господину, который никоим образом не обнадеживал ее. Отсюда мораль: не слишком-то ты им доверяйся!

Доктор. Но нельзя уж и слишком не доверяться!

Ротмистр. Хорошо, доверяйся, да только в меру. И знаете, доктор, дама, сама того не сознавая, действовала столь низко, что объявила мужу о своей влюбленности. Тем-то они и страшны — они сами своей низости не осознают. Смягчающее вину обстоятельство, но оно может лишь смягчить, а не отменить приговор.

Доктор. Господин ротмистр, ваши мысли принимают болезненное направление. Остерегитесь.

Ротмистр. Зачем это слово — «болезненное»? Видите ли, любой котел взорвется, когда манометр покажет сто, но показания манометра зависят и от устройства котла. Понимаете? Кстати, вы ведь здесь, чтоб за мною следить. Не будь я мужчиной, я мог бы обжаловать или — хитрое словцо — жаловаться (на что вы жалуетесь?), подsunул бы вам целый диагноз, и даже больше — историю болезни, но я, к сожалению, мужчина, и мне остается, как римлянину, сложить руки на груди, вдохнуть и не выдыхать, пока не умру. Покойной ночи!

Доктор. Господин ротмистр! Если вы больны, вы можете мне все рассказать, ничуть не унижив своего мужского достоинства... Но я должен выслушать и другую сторону.

Ротмистр. Вы, полагаю, довольствовались тем, что уже выслушали ее.

Доктор. Нет, господин ротмистр. А знаете, когда я слушаю, как фру Альвинг оплакивает покойного мужа, я думаю — вот жаль, что покойничек не слышит ее!

Ротмистр. Думаете, будь он жив, ему дали бы слово сказать? И думаете, если б кто из умерших мужей воскрес, ему бы вдруг стали верить? Доброй ночи, доктор. Видите — я совершенно спокоен. Идите-ка мирно спать.

Доктор. Доброй ночи, господин ротмистр. И кажется, мое ремесло здесь бессильно.

Ротмистр. Мы что же с вами — враги?

Доктор. Отнюдь. Жаль только, что и друзьями быть не можем. Доброй ночи. *(Уходит.)*

Ротмистр *(проводит доктора до двери в глубине, потом идет к левой двери, приотворяет ее).* Войди! Поговорим! Я же знаю, ты там стоишь и подслушиваешь!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Лаура входит, она смущена. Ротмистр садится за бюро.

Ротмистр. Очень поздно. Но надо же нам договориться. Сядь.

Пауза.

Я сегодня был на почте и получил вот эти письма. Из них следует, что ты перехватывала все, что я посылал, и все, что посылали мне. И в результате чуть не загубила все мои труды.

Лаура. Я хотела тебе добра, потому что из-за этих твоих трудов ты пренебрегал службой.

Ротмистр. Не хотела ты мне добра, ибо знала, что эти мои труды в один прекрасный день принесут мне больше чести, чем моя служба, но именно чести-то для меня ты и не хочешь, потому что тогда еще ясней обнаружилось бы твое ничтожество. Далее — я вскрыл письма, адресованные тебе.

Лаура. Благородный поступок.

Ротмистр. Да, ты, оказывается, высокого обо мне мнения. Из этих писем явствует, что ты давно уже начала натравливать на меня друзей, распуская слух о моем умопомешательстве. Старания твои увенчались успехом, и теперь уже все до единого (от начальника моего до кухарки) считают меня помешанным. С болезнью же моей дело обстоит так: разум мой в совершенном порядке, и ты это знаешь, я справляюсь и с обязанностями по службе, и с обязанностями отца; с чувствами своими я тоже могу совладать, покуда не погублена моя воля; но ты так старательно и неотступно ее губишь, что того гляди откажут сцепленья, и взлетит на воздух весь механизм. Не стану звать к твоим чувствам, чувств у тебя нет никаких, но подумай о твоих же интересах.

Лаура. Позволь узнать, в чем они состоят?

Ротмистр. Своими происками тебе удалось возбудить во мне подозрительность до того, что у меня мутится сознание и помрачаются мысли. Это признаки надвигающегося безумия, которого ты так ждала и которое вот-вот обрушится на меня. Но тут встает вопрос: что тебе выгодней — чтобы я заболел или нет? Подумай! Если я сойду с ума, я лишусь места, и вы останетесь на мели. Если умру — вы получите мою страховую премию. Но если я покончу с собой — вам не достанется ничего. Так что в твоих же интересах, чтобы я умер своей смертью.

Лаура. Это что — западня?

Ротмистр. Разумеется! Сама выбирай — сунуться в нее или обойти!

Лаура. С собой покончишь, говоришь? Никогда ты с собой не покончишь!

Ротмистр. Ты в этом убеждена? Думаешь, можно жить дальше, когда не для кого и не для чего?

Лаура. Капитулируешь?

Ротмистр. Нет, предлагаю мир.

Лаура. На каких условиях?

Ротмистр. Не своди меня с ума! Избавь от подозрений, и я складываю оружие.

Лаура. От каких подозрений?

Ротмистр. Насчет рождения Берты.

Лаура. Разве есть у тебя подозрения?

Ротмистр. Да, есть, и ты сама посеяла их.

Лаура. Я?

Ротмистр. Да, ты легонько влила их в меня, как капают капли белены в ухо, обстоятельства же способствовали тому, что они разрослись. Избавь меня от неизвестности, скажи прямо и честно, да, так, мол, и так, и я заранее тебя прощаю!

Лаура. Не могу я брать на себя несуществующую вину.

Ротмистр. Что тебе стоит, ведь ты же знаешь, я никому тебя не выдам. Не станет же человек сам трубить о своем позоре.

Лаура. Скажи я — нет, это неправда, — и ты ведь не уймешься. Ты избавишься от подозрений только тогда, когда я скажу, что это правда. Значит, ты сам хочешь, чтоб это была правда?

Ротмистр. Странно, но все, вероятно, оттого, что первого не докажешь и можно доказать лишь второе.

Лаура. Есть у тебя повод для подозрений?

Ротмистр. И да и нет.

Лаура. Кажется, ты хочешь изобличить меня, чтоб от меня отделаться и получить нераздельную власть над ребенком. Нет, в эту ловушку тебе меня не заманить.

Ротмистр. Неужели ты думаешь, что, убедившись в твоём грехе, я оставил бы себе чужого ребенка?

Лаура. Да, я в этом уверена. И ты лгал мне, будто заранее меня прощаешь.

Ротмистр. Лаура, спаси меня, пожалей, избавь от безумия. Ты не понимаешь, что я тебе толкую. Если ребенок не мой, я не имею на него никаких прав и не желаю иметь — а ведь тебе того и надо. Верно? Но, быть может, ты хочешь еще чего-то? Хочешь иметь власть над ребенком, но чтобы я его по-прежнему обеспечивал?

Лаура. О — власть! Из-за чего же и бьемся мы не на жизнь, а на смерть, как не из-за власти?

Ротмистр. Для меня, не верующего в вечную жизнь, дочь была будущей жизнью. В ней — вся моя вечность, весь смысл сущего. Отними ее у меня — и жизнь моя кончена.

Лаура. Отчего мы вовремя не расстались?

Ротмистр. Оттого, что нас связывала дочь; но узы стали цепью. Как? Когда? Я прежде об этом не задумывался, но вот встает одно воспоминание — и в нем обвинение, может быть, приговор. Мы были женаты уже два года, но оставались бездетны, и тебе, как никому, знать — отчего. Но вот я заболел и лежал при смерти. Как-то сквозь забытие услышал я голоса рядом, в гостиной. Ты говорила с адвокатом, речь шла о моем имуществе — оно у меня еще было тогда. Он объяснил, что ты ничего не получишь в наследство, раз у нас нет детей, и справился, не беременна ли

ты. Ответа твоего я не расслышал. Потом я выздоровел, и родился ребенок. Кто его отец?

Лаура. Ты!

Ротмистр. Нет, не я! Здесь-то и зарыт грех, и уже начинает смердеть. Грех омерзительный! Черных рабов у вас хватило гуманности освободить, а белых вы держите! Я, как раб, трудился на тебя, на твоего ребенка, твою мать, твоих слуг, пожертвовал призванием, поприщем, сносил бичевания, пытки, не спал ночей, дрожа за ваше благополучие, у меня поседел волосы; и все — чтобы ты могла жить без забот и под старость насладиться новой жизнью в своем ребенке. И я не жаловался. Ведь себя я считал этому ребенку отцом. Вульгарнейшее воровство, грубейшее злоупотребление рабовладельца! Семнадцать лет каторги без всякой вины — чем ты испушишь их?

Лаура. Нет, ты совершенный безумец!

Ротмистр (*садится*). На это ты и делаешь ставку. Я-то видел, как ты старалась скрыть свое преступление. Я жалел тебя, не понимая твоей печали; я успокаивал твою совесть, а сам думал, будто разгоняю химеры; сам того не желая, я слышал, как ты кричала во сне. Помню, совсем недавно, перед самым днем рождения Берты; был третий час ночи, я сидел и читал. Ты закричала так, будто тебя душат: «Не подходи! Не подходи!» Я постучал в стену, я не хотел больше слушать. Подозрения у меня были давно, я боялся, что они подтвердятся. Вот что я из-за тебя выстрадал. А что ты сделаешь ради меня?

Лаура. Но что же я могу? Клянусь богом и всем святым — ты отец Берты.

Ротмистр. Что пользы в клятвах, ведь сама ты уверяла, что мать ради своего дитяти может и должна пойти на любое преступление. Заклинаю тебя памятью прошедшего, прошу, как просит раненый о смертельной пуле, — открой мне все. Неужто не видишь ты, что я беспомощен, как ребенок, неужто не слышишь, что я, как матери, жалуюсь тебе, я, мужчина и солдат, одним своим словом укрощавший людей и тварей? Я только жалости прошу, как больной, я слагаю все знаки власти и молю даровать мне жизнь!

Лаура (*подходит и прикладывает ладонь к его лбу*). Как! Ты — мужчина — плачешь?

Ротмистр. Да, я плачу, я, мужчина. Разве нет у мужчин глаз? Разве нет у него рук, ног, склонностей, чувств, страстей? Разве не той же он кормится пищей, не тем же бывает оружием ранен, не так же точно ощущает жар летних дней и холод зимних, как женщина? Если вы режете нас, разве не истекаем мы кровью? И когда щекочете, разве мы не хохочем? И когда отравляете — не умираем? Почему мужчине не сетовать? Почему не плакать солдату? Это не по-мужски! Господи, да почему же?

Лаура. Плачь, деточка, плачь, мама твоя опять с тобой. Помнишь — я ведь сначала вошла в твою жизнь как вторая мать. В твоем мощном теле жил хилый дух, ты был исполинское дитя, слишком рано родившееся на свет или нежеланное.

Ротмистр. Да, да, так и было; отец с матерью не хотели меня, вот я и родился без воли. И мне казалось, что я окончательно состоялся, только когда наши жизни соединились в одну. Ты была главной. Я, командир в казарме, над солдатами, подле тебя превращался в послушного нижнего чина, на тебя смотрел снизу вверх, как на высшее существо, и слушался тебя, как малый ребенок.

Лаура. Да, так и было тогда. Оттого-то я и любила тебя, как родное дитя. Но, знаешь ли, ты ведь и сам замечал, всякий раз, когда чувства твои менялись и ты предстал пред мною любовником, я мучилась стыдом, и за радостью объятий всегда следовали угрызения совести, будто после кровосмешения. Мать в роли любовницы. Ух!

Ротмистр. Да, я замечал, но я не понимал тебя. Мне казалось, что ты презираешь меня за отсутствие мужественности, и я стремился завоевать твою женственность мужской силой.

Лаура. В том-то и была твоя ошибка. Мать была тебе другом, женщина — врагом; страсть — всегда поединок; не думай, будто я тебе отдавалась; я брала. Но на твоей стороне был перевес, я его чувствовала и хотела, чтобы почувствовал и ты.

Ротмистр. Перевес всегда был на твоей стороне; ты завораживала меня, усыпляла, я ничего не видел, не слышал, я только подчинялся; ты совала мне сырую картофелину и умела убедить, что это персик; свои глупые прихоти ты преподносила мне как гениальные идеи, и я верил; в твоей власти было толкнуть меня на низость, на преступление. С ограниченным твоим умишком ты не слушала моих советов и вечно поступала по-своему. А когда я наконец прозрел и почувствовал себя оскорбленным, я хотел восстановить поруганную честь великим делом, подвигом, открытием или хоть благородным самоубийством. Хотел пойти на войну — не вышло. Тогда-то я и окунулся в науку. И вот, когда мне осталось только протянуть руку к плоду, ты ее обрубаешь. Я обещен, я не могу больше жить, мужчина не может жить без чести.

Лаура. А женщина — может?

Ротмистр. Да, оттого что у нее есть дети, у него же их нет. Мы с тобой, как и другие, жили несмышленишками, тешась глупыми фантазиями и выдумками. И вот очнулись; оно бы и хорошо; но, очнувшись, мы оказались вверх ногами, и разбудил нас сумасшедший лунатик. Когда женщина старится, перестает быть женщиной, у нее на подбородке прорастают волоски. Интересно, а что у нашего брата прорастает, когда он перестает быть мужчиной? Прежний петел, глядишь, заделался каплуном, на его приветствие заре отзываются пулярки, и когда пора бы уж взойти солнцу, мы мирно сидим под лунным светом среди развалин как ни в чем не бывало. И никакого нет пробуждения — один предутренный кошмар.

Лаура. Тебе бы сочинителем быть!

Ротмистр. Кто знает?

Лаура. Ну, а теперь мне спать хочется. Так что прочие свои фантазии оставь до утра.

Ротмистр. Подожди — еще одно слово — из области реального. Ты меня ненавидишь?

Лаура. Иногда. Когда ты — мужчина.

Ротмистр. Расовая ненависть. Если и впрямь мы произошли от обезьян, то, вероятно, от двух разных видов, до того мы непохожи, не так ли?

Лаура. Что ты хочешь этим сказать?

Ротмистр. Я знаю, в этой борьбе один из нас погибнет.

Лаура. И кто же?

Ротмистр. Разумеется, слабейший.

Лаура. И прав сильнейший?

Ротмистр. Прав всегда тот, в чьих руках власть.

Лаура. Значит, права я.

Ротмистр. Разве власть уже в твоих руках?

Лаура. Да, и власть законная, потому что завтра над тобой учредят опеку.

Ротмистр. Опеку?

Лаура. Да! И я смогу воспитывать свою дочь сама, не прислушиваясь к твоему бреду.

Ротмистр. И кто же обеспечит воспитание, если меня не будет?

Лаура. А пенсия твоя на что?

Ротмистр (*грозно надвигается на нее*). И каким же образом ты меня отдашь под опеку?

Лаура. (*вынимает письмо*). На основании этого вот письма. Заверенная копия уже подшита к делу.

Ротмистр. Какое еще письмо?

Лаура (*пятится к двери налево*). Твое! Твое собственное признание врачу, что ты безумен!

Ротмистр оцепенело смотрит на нее.

Вот ты и выполнил свое необходимое — увы! — предназначение отца и кормильца. Больше ты нам не нужен и должен уйти. Должен уйти, раз ты убедился, что умишко мой ничуть не слабее моей воли, раз не захотел признать это и остаться!

Ротмистр идет к столу, хватая горящую лампу и швыряет в Лауру; та, все так же пятясь, исчезает за левой дверью.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорации те же. Только другая лампа. Потайная дверь забаррикадирована стулом.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Лаура. Кормилица.

Лаура. Взяла у него ключи?

Кормилица. У него? Ох, господи, нет, просто вытащила из кармана, когда Нойд мундир вынес чистить.

Лаура. Стало быть, сегодня Нойд дежурит?

Кормилица. Он самый.

Лаура. Дай-ка сюда ключи!

Кормилица. Ох, воровство ведь получается. Слышите, госпожа, как он наверху колобродит? Туда-сюда, туда-сюда?

Лаура. А дверь надежно заперта?

Кормилица. Уж куда надежней!

Лаура (*открывает бюро и садится возле*). Ты возьми себя в руки, Маргрет. Речь идет о нашем спасении, и надо действовать хладнокровно.

Стучат.

Кто там?

Кормилица (*открывает дверь в прихожую*). Это Нойд.

Лаура. Пусть войдет!

Нойд (*входит*). От полковника депеша!

Лаура. Дай сюда! (*Читает.*) Так! Нойд, ты все патроны вынул? Из ружей, из патронташей?

Нойд. Как приказано!

Лаура. Погоди за дверью, пока я напишу ответ полковнику!

Нойд выходит. Лаура пишет.

Кормилица. Слышите, госпожа?.. Чего-то он там наверху делает?

Лаура. Молчи, не мешай писать!

Слышен звук пилы.

Кормилица (*себе под нос*). Господи, спаси и помилуй. И чем все это кончится?

Лаура. Ну вот. Отдай Нойду! И мама чтоб не знала ничего! Слышишь?

Кормилица идет к двери. Лаура выдвигает ящик бюро и вынимает оттуда бумаги.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Лаура. Пастор, берет стул и садится рядом с Лаурой подле бюро.

Пастор. Добрый вечер, сестричка. Меня целый день дома не было, сама знаешь, недавно вернулся. А у вас тут дело, кажется, плохо...

Лаура. Да уж, братец, такой ночи да дня такого в жизни еще у меня не было.

Пастор. Но ты, я вижу, осталась цела.

Лаура. Да, слава богу, но ты только подумай, что могло получиться!

Пастор. Скажи мне одну вещь — с чего все началось? Каких я рассказней не наслушался!

Лаура. Началось с дикого бреда, будто он не отец Берте, а кончилось тем, что он запустил в меня горящей лампой.

Пастор. Ужасно! Очевидное безумие. Что же теперь делать?

Лаура. Надо оградить себя от новых его выходов, доктор уже послал в лечебницу за смирительной рубашкой. А я тем временем отправила письмо полковнику. И пока стараюсь разобраться в делах, которые у него в ужасающем беспорядке.

Пастор. История печальная, но я давно ожидал недоброго. Огонь с водой несовместимы! Что это у тебя в ящике?

Лаура (*выдвигает ящик*). Видишь, он все сюда совал!

Пастор (*заглядывает в ящик*). Господи боже! Твоя кукла. Твой крестильный чепчик. Бертина погремушка. И твои письма. И медальон. (*Утирает слезы.*) Как же он любил тебя, Лаура! Прятать такое!

Лаура. Да, когда-то любил, наверное. Все меняется!

Пастор. Что это за бумага такая большая? Распоряжение о похоронах. Да, лучше уж похороны, чем дом для умалишенных! Лаура! Признайся, нет ли тут твоей вины?

Лаура. Моей? В чем же тут моя вина, если он с ума сошел?

Пастор. Да-да. Я ничего никому не скажу! Все же мы с тобой родные!

Лаура. На что ты осмеливаешься намекать?

Пастор (*пристально на нее смотрит*). Послушай!

Лаура. Что такое?

Пастор. Послушай, Лаура! Не станешь же ты отрицать, что единовластное воспитание дочери не идет вразрез с твоими желаниями?

Лаура. Что-то в толк не возьму...

Пастор. Я, право, тобой восхищаюсь!

Лаура. Мной? Мм...

Пастор. И мне сделаться опекуном этого вольнодумца? Знаешь, я ведь всегда считал его плевелом на нашем поле!

Лаура (*подавляет короткий смешок; тотчас опять серьезно*). И это смеешь ты говорить мне — жене его?

Пастор. Сколько же силы в тебе, Лаура! Немыслимой силы! Ты как лисица в капкане — скорей лапу оторвешь, чем сдашься! Как из воров вор: никому не признаешься, даже перед собственной совестью. Поглядись-ка в зеркало! Ага! Не смеешь!

Лаура. Я в зеркало никогда не гляжусь!

Пастор. Не смеешь, не смеешь! Дай-ка сюда свою руку! Ни предательского пятнышка крови, ни следа коварного яда! Скромное, безобидное убийство, неподведомственное закону; непреднамеренное преступление. Непреднамеренное? Чудесная находка! Слышишь, как он там трудится наверху? Берегись, если он только вырвется, он тебя надвое распилит!

Лаура. Что-то ты слишком много говоришь, будто у самого совесть нечиста. Ну, донеси-ка на меня! А? Можешь?

Пастор. Не могу!

Лаура. Ну вот! Не можешь, стало быть, я невиновна! И займись-ка ты своим подопечным, а я позабочусь о своем! Но вот и доктор!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же и доктор.

Лаура (*встает*). Наконец-то, доктор. Вы хоть мне поможете. Правда? Хотя — что уж тут поделать. Слышите, как он там орудует наверху? Ну, теперь вы убедились?

Доктор. Убедился, что была грубая выходка, но остается вопрос — явилась ли она результатом гнева или безумия?

Пастор. Оставим эту выходку. Согласитесь же, что у него навязчивые идеи.

Доктор. Ваши идеи, господин пастор, на мой взгляд, еще более навязчивые.

Пастор. Мои стойкие убеждения относительно высоких понятий...

Доктор. Оставим эти убеждения! Сударыня, от вас зависит, упечем ли мы вашего мужа в тюрьму или в сумасшедший дом! Как сами вы рассматриваете поведение ротмистра?

Лаура. Я не могу вам так сразу ответить!

Доктор. У вас не имеется стойких убеждений относительно того, что выгоднее для семьи? А вы что скажете, господин пастор?

Пастор. В любом случае не миновать скандала... Да, трудно сказать.

Лаура. Но если его просто приговорят к штрафу, он же не уймется.

Доктор. А из тюрьмы его скоро выпустят. Так что всем выгоднее считать его сумасшедшим. Где няня?

Лаура. А что?

Доктор. Она должна надеть на больного смирительную рубашку, когда я поговорю с ним и подам знак. Но не раньше! Рубашка у меня там. (*Выходит в прихожую и возвращается с большим свертком.*) Будьте добры, позовите няню!

Лаура звонит.

Пастор. Ужасно! Ужасно!

Входит кормилица.

Доктор (*вынимает рубашку*). Смотрите! Вы эту рубашку наденете на ротмистра сзади, если я сочту нужным предотвратить какую-нибудь его опасную выходку. Как видите, рукава чрезвычайно длинные, они стесняют движения. Их завязывают за спиной. Здесь нет пряжки, через них идут ремни, вы их прикрепите к стулу ли, к дивану, неважно, как получится. Беретесь?

Кормилица. Нет уж, господин доктор. Не могу я этого. Не могу.

Лаура. А почему бы вам самому этого не сделать, господин доктор?

Доктор. Потому что больной мне не доверяет. Собственно, всего бы лучше сделать это вам, сударыня, но боюсь, он и вам не доверяет.

Лаура морщится.

Может быть, господин пастор...

Пастор. Прошу меня уволить!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Те же и Нойд.

Лаура. Отнес письмо?

Нойд. Как приказано.

Доктор. А, это ты, Нойд! Ты парень умелый, и ты знаешь, что ротмистр не в себе. Ты можешь выручить нас.

Нойд. Если я чего могу для ротмистра, так уж он знает — я это всегда.

Доктор. Ты на него наденешь вот эту рубашку...

Кормилица. Нет, пускай он его не трогает. Как бы больно ему не сделал. А уж я легонько, легонько! А Нойд пускай наготове постоит и пособит, если что... Это пускай.

В потайную дверь барабаны.

Доктор. Это он! Спрячьте рубашку под шалью на стуле и покамест уходите все, а мы с пастором его встретим. Дверь вот-вот вылетит. Уходите же!

Кормилица (*идет влево*). Господи Иисусе, помилуй нас!

Лаура запирает бюро и тоже идет влево, Нойд уходит в среднюю дверь.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Потайная дверь выломана, замок разлетается, стул падает на пол. Входит ротмистр с кипой книг в руках. Доктор, пастор.

Ротмистр (*кладет книги на стол*). Все это есть в книгах, во всех! И я не умалишенный! Вот, пожалуйста, «Одиссея», песнь первая, двести одиннадцатый стих. Телемак говорит Афине:

Мать уверяет, что сын я ему, но сам я не знаю:
Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам невозможно.

И это недоверие к Пенелопе, добродетельнейшей из жен! Прелестно! А? Далее, пожалуйста, у Иезекииля: «Безумец говорит: то отец мой. Но кто может знать, чьи чресла зачали его». Это же ясно! А тут что? История русской литературы Мерзлякова. Александр Пушкин, величайший русский поэт, пал жертвой не столько роковой пули, сколько слухов о неверности жены. На смертном одре он клялся, что она ни в чем не виновата. Осел! Осел! Как же в этом клясться?

Видите? Я книжки читаю! А, Юнас, ты тут как тут! И доктор, разумеется! Слыхали, что я ответил одной англичанке, когда она возмущалась, что ирландцы имеют обыкновение запускать горящими лампами в своих жен? «Господи, ну и женщины!» — я ей ответил. «Женщины», — лопотала она. «Разумеется, — сказала, — ужесли до того доходит, что муж, который любил, который боготворил свою жену, хватает горящую лампу и запускает ей в лицо, то, кажется, ясно?!»

Пастор. Что ясно?

Ротмистр. Ничего. Ничего никогда не ясно. Можно только верить, правда, Юнас? Блажен тот, кто верует! О, еще бы! Нет, я-то знаю, что вера приводит к мученьям. Знаю.

Доктор. Господин ротмистр!

Ротмистр. Молчи! Я не желаю разговаривать с вами; не желаю слушать, как вы раззваниваете тайное! Тайное! О, сами знаете! Послушай, Юнас, неужто ты веришь, что ты отец своих детей? Помнится, у вас в доме жил учитель с милой мордашкой, и ходили слухи...

Пастор. Адольф! Не смей!

Ротмистр. А ты пошупай у себя под париком, не обнаружатся ли там две такие шишечки. Господи, неужели побледнел? Ну-ну! Ведь это всего лишь слухи! Правда, слухи упорные. Смешные твари мы все — женатые люди. Верно, господин доктор? Кстати, как насчет вашего брачного ложа? Не околачивался ли в доме у вас некий лейтенантик, а? Погодите-ка, сейчас угадаю! Его звали... *(Шепчет доктору на ухо.)* Смотрите, и этот побледнел! Не стоит огорчаться. Она уж умерла, давно в земле лежит, прежнего не воротить! Я, между прочим, знавал его, и теперь он — смотрите на меня, доктор! нет, прямо в глаза смотрите! — майором у драгун! Видит бог, теперь-то и у него рога!

Доктор *(с мученьем).* Господин ротмистр, нельзя ли о чем-нибудь другом.

Ротмистр. Видите! Только я о рогах — ему сразу о чем-то другом поговорить надо!

Пастор. Знаешь ли, братец, ведь ты душевно болен.

Ротмистр. Это я прекрасно знаю. Но дайте-ка я немного займусь вашими венчанными лбами и живо вас обоих тоже упеку! Я сумасшедший, да, но из-за чего я сумасшедший? Это вас не касается! Никого не касается. Нельзя ли о чем-нибудь другом? *(Берет со стола альбом с фотографиями.)* Господи! Мое дитя! Мое? Этого ведать невозможно. Знаете, что надо бы делать, чтобы точно убедиться? Сначала ты женишься, приличий ради, потом тотчас разводишься; и делаешься любовником своей жены; а потом усыновляешь ребенка. Тогда хоть знаешь наверное, что это твой приемный ребенок. Что, неправда? Но зачем мне теперь это все? Зачем? Когда у меня отняли мою идею вечности, зачем мне наука, философия? Зачем, когда жить не стоит, да и можно ли жить, когда у меня отняли честь? Правую руку свою, половину мозга я привил к новому стволу, оттого что верил — мы срастемся в новое, лучшее дерево,

и вот является некто с ножом и подрезает ствол ниже прививки, и я остаюсь обрубок, а привитое дерево растет, вобрав мою правую руку и мозг, а я чахну без них, я гибну. Я умираю! Что хотите сделайте со мной! Меня больше нет!

Доктор шепчется с пастором; оба уходят налево; тотчас появляется Берта.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Ротмистр. Берта.

Ротмистр сидит у окна, уронив голову на руки.

Берта (*подходит к нему*). Папа, ты болен?

Ротмистр (*тупо смотрит на нее*). Я?

Берта. Ты знаешь, что ты сделал? Знаешь, что ты в маму лампу бросил?

Ротмистр. Я?

Берта. Да! А вдруг бы ты ей голову разбил?

Ротмистр. Ну и что из этого?

Берта. Ты не отец мне, если можешь говорить такое!

Ротмистр. Что ты сказала? Я тебе не отец? Откуда ты знаешь? Откуда? И кто же твой отец? Кто?

Берта. Только уж не ты!

Ротмистр. Вот опять — не я! Кто же? Кто? Ты, оказывается, знаешь? Кто сказал тебе? Дожил! Дочь является ко мне и бросает в лицо, что я ей не отец! Но понимаешь ли ты, что позоришь свою мать? Понимаешь ли, что если это так, то это для нее срам?

Берта. Не говори дурно о маме, слышишь!

Ротмистр. Нет, все вы заодно, все против меня! И всегда так было!

Берта. Папа!

Ротмистр. Не смей произносить это слово!

Берта. Папа! Папочка!

Ротмистр (*привлекает ее к себе*). Берта, девочка моя хорошая, ведь ты родная мне! Да, да! Иначе и быть не может! Все прочее — больные мысли, которые налетают как чума, как лихорадка. Ну взгляни на меня, и я увижу в твоих глазах мою душу! Нет, тут и ее душа! В тебе две души, одна любит меня, другая меня ненавидит. Ты люби одного меня! Пусть будет у тебя одна всего душа, иначе тебе не знать покоя, да и мне не знать его. Пусть будет у тебя одна только мысль, порождение моей мысли, и пусть воля твоя будет порождением моей воли!

Берта. Не хочу! Хочу быть сама собой!

Ротмистр. Нельзя! Понимаешь ли, я каннибал, и я тебя съем. Мать твоя хотела скушать меня, ан не вышло. Я — Сатурн, сожравший собственных детей, оттого что ему нагадали, будто иначе они его сожрут. Сожрать или сожранному быть? Таков вопрос. Не съем тебя — и ты меня съешь, вон уже и зубки показала!

Но не бойся, деточка моя любимая, я тебе не сделаю больно! (*Идет к стене, снимает револьвер.*)

Берта (*хочет бежать*). Мама, мамочка, спаси, он убьет меня!

Кормилица (*входит*). Господин Адольф, что же это такое?

Ротмистр (*осматривает револьвер*). Ты патроны вынула?

Кормилица. Да, убрала я их, а ты сядь-ка да посиди тихонько, я их тебе и отдам! (*Берет ротмистра за руку и усаживает на стул, он тупо покоряется. Тогда она вынимает смиренную рубашку за спиною у ротмистра.*)

Берта убегает влево.

Кормилица. Помните, господин Адольф, как вы малым дитятею были, а я, бывало, вас вечером в постельку-то уложу и господу молю за вас. И ночью, бывало, встану и напиться вам дам, помните? Или свечечку засвечу да сказки вам сказываю, чтоб от вас дурные сны отогнать. Помните?

Ротмистр. Говори, Маргрет, от слов твоих на меня не сходит такой покой! Говори же, говори!

Кормилица. Да, да, а ты только слушай меня! Помнишь, было раз, взял ты кухонный нож большущий и кораблик затеял вырезать, а я его у тебя обманом-то выманила, помнишь? Дитя ты был неразумное, вот и пришлось тебя обманывать, ведь не верил, что для твоей же пользы. Отдай, говорю, змея, а то ужалит! Ты нож-то и бросил! (*Отбирает у ротмистра револьвер.*) А как, бывало, намучаешься с тобой, пока оденешь. Сочиняешь, бывало, будто одежда у тебя это золотая, и я мол тебя как принца разряжу. Возьму я, бывало, лифчик, шерстяной такой — помнишь? — зелененький, держу перед тобой и говорю, а ну-ка всунь сюда разом обе ручки! А потом говорю — тихохонько сиди, пока я на спинке застегну. (*Надела рубашку.*) А потом говорю — встань-ка, пройдишь, а я погляжу, ловко ли одежда-то на тебе золотая... (*Ведет его к дивану.*) А потом говорю — а теперь бай-бай.

Ротмистр. Что ты сказала? Бай-бай? Одетому? Проклятье! Что ты со мною сделала? (*Вырывается из рубашки.*) Хитрая дьяволица! Вот не знал, что ты на такое способна! (*Ложится.*) Пойман в ловушку, в силки! И умереть не дадут!

Кормилица. Простите мне, господин Адольф, простите, это я ведь ребенка спасаючи!

Ротмистр. Зачем ты не дала мне ее убить? Жизнь наша ад, а смерть — царствие небесное, и детям уготовано место на небесах!

Кормилица. Почему ты знаешь, что нас ждет после смерти?

Ротмистр. Это всякий знает. Только в жизни мы ничего не знаем. О, знать бы с самого начала!

Кормилица. Господин Адольф! Смири жестокое сердце, проси милости у господу, ведь еще не поздно. Разбойник на кресте, и тот успел покаяться, и спаситель ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю!»

Ротмистр. Уже каркаешь над покойником, ворона старая!

Кормилица вынимает из кармана псалтырь.

(*Кричит.*) Нойд! Нойд, где ты?

Входит Нойд

Вышвырни ее вон! Она меня своей псалтырью в гроб вогнать хочет! Вышвырни ее в окно, выпусти в дымовую трубу, куда хочешь!

Нойд (*смотрит на кормилицу*). Не могу я, господин ротмистр! Вот вам перед богом! Воля ваша, не могу! Будь тут шестеро мужиков, а то ведь одна баба!

Ротмистр. Или ты до женщины не дотрагивался никогда?

Нойд. Дотрагиваться-то я еще как дотрагивался, да вот руку на них поднять — дело особое.

Ротмистр. Особое, говоришь? А на меня разве не подняли руку?

Нойд. Нет, не могу я, господин ротмистр! Это все равно как вы бы мне велели пастора ударить. Это все равно как против веры пойти. Не могу я, не могу!

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Те же и Лаура. Она делает знак Нойду уйти.

Ротмистр. Омфала! Омфала! Вот ты поигрываешь палицей Геркулеса, а он прядет твою шерсть!

Лаура (*подходит к дивану*). Адольф! Взгляни на меня. Неужели я враг тебе?

Ротмистр. Конечно. Все вы мне враги! Мать, не желающая меня, ибо боялась, что будет рожать меня в муках, была врагом моим, не питала, как следовало, робкий зародыш и едва не превратила меня в калеку! Сестра была мне врагом, требуя от меня подчинения. Первая женщина, которую я держал в объятиях, была моим врагом, заплатив мне за мою любовь десятью годами болезни. Дочь стала мне врагом, когда пришлось выбирать между мною и тобою. И ты, жена моя, была мне смертельным врагом и терзала меня, пока я не свалился замертво!

Лаура. У меня, кажется, и в мыслях не было ничего подобного. Впрочем, не знаю. Быть может, душой моей и владело темное желание от тебя избавиться, но вот ты усматриваешь в действиях моих сознательный план, но я сама не отдавала в нем себе отчета. Я не раздумывала ни о чем, все катилось словно по рельсам, которые ты же и прокладывал, и перед богом и перед совестью своею я чиста, пусть даже я и виновата. Ты был камнем у меня на сердце, и камень давил, давил, пока сердце не восстало против бремени. Вот как все было, и если я невольно причинила тебе боль — что же, тогда прошу прощенья.

Ротмистр. Да, все куда как правдоподобно! Но что мне-то проку? И кто же виноват? Уж не брак ли, основанный на родстве душ? Прежде брали жену, теперь берут в дом советчицу в ремесле либо селятся под одной крышей с приятельницей! А зачем брютчат советчицу, бесчестят приятельницу? И куда исчезла любовь, здоровая, чувственная любовь? Погибла на корню! И какой прибыток от этой любви на акциях без солидарной ответственности владельцев? И кто будет ответчиком в случае банкротства? И кто по плоти отец духовных детей?

Лаура. Что до твоих подозрений относительно нашего ребенка, они совершенно нелепы.

Ротмистр. В том-то и ужас! Если б они хоть не были нелепы, было б хоть за что ухватиться. А так — все тени, засевающие в кустах и оттуда хохочущие надо мною, все как воздух пустой, как стрельба холостыми патронами. Роковая правда подняла бы на борьбу все силы моей души, а так... мысли рассеиваются в пар и мучительно вертятся, вертятся в мозгу, покуда он не воспламенится! Положите мне под голову подушку! И укройте меня, я коченею! Мне холодно, холодно!

Лаура укрывает его шалью. Кормилица идет за подушкой.

Лаура. Дай мне руку, друг мой!

Ротмистр. Руку! Не ты ли мне ее привязала к спине? Омфала! Омфала! Но вот твоя тонкая шаль у губ моих; она теплая и нежная, как твоя ладонь, и от нее пахнет ванилью, как пахло от твоих волос, когда ты была молодая! Когда ты была молодая, Лаура, и мы брели по березняку, полному дроздов и одуванчиков, и как чудесно, чудесно брели! Как хороша была наша жизнь и что с нею случилось! Ты не хотела, я не хотел — и вот что с нею случилось. Кто же правит нашей жизнью?

Лаура. Бог единый правит...

Ротмистр. Бог борьбы, стало быть! Или, скорей, богиня! Уберите эту кошку, мне тяжело под нею! Уберите!

Кормилица входит с подушкой, снимает с него шаль.

Дайте мне походный мундир! Набросьте его на меня!

Кормилица снимает с вешалки мундир и укрывает ротмистра.

Вот она, моя львиная шкура, тебе ее не отнять. Омфала! Омфала! Лукавая поборница мира и разоружения! Проснись, Геркулес, пока у тебя не отняли палицу! А! Ты хочешь и у нас отнять доспехи, хочешь нас убедить, что это просто красивый убор. Нет, убор-то выкован из железа! Прежде доспехи ковал кузнец, это теперь их отделывает вышивальщица! Омфала! Омфала! Могучая сила пала перед низкой хитростью, и будь ты проклята, ведьма, будьте прокляты все вы, женщины! *(Приподнимается, хочет плюнуть, но валится навзничь на диван.)* Что это за подушка, Маргрет? Жесткая и какая холодная, холодная! Поди ко мне, присядь на стул со мною рядом. Ну вот. Можно, я положу голову тебе на колени?

Вот. Как тепло! Склонись ко мне, дай потрогать твою грудь! О, как сладко спать, припав к женской груди, груди матери или возлюбленной, но лучше к груди матери!

Лаура. Адольф, хочешь взглянуть на свою дочь?

Ротмистр. На свою дочь! У мужчины нет детей! Дети бывают у женщин, будущее принадлежит им, а мы умираем бездетными! Ты, господи, призванный к себе детей...

Кормилица. Слышите? Господа молит!

Ротмистр. Нет, тебя молю, убаюкай меня, я устал, я так устал! Покойной ночи. Маргрет, благословенна ты в женах! *(Приподнимается и тотчас с воплем падает лицом в колени кормилицы.)*

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Лаура идет влево и зовет доктора. Тот входит вместе с пастором.

Лаура. Помогите, доктор, если не поздно! Смотрите, он не дышит!

Доктор *(щупает пульс больного).* Удар!

Пастор. Он умер?

Доктор. Нет, возможно, он и очнется, но что ощутит при этом — нам знать не дано.

Пастор. Смерть — а потом суд.

Доктор. Никакого суда! Никаких обвинений! Вот вы верите, что бог вершит судьбами людей, так переговорите же с ним об этом частном деле.

Кормилица. Ах, пастор, он в смертный час обратился к господу!

Пастор *(спрашивает у Лауры).* Это правда?

Лаура. Правда!

Доктор. Если это так, о чем судить мне столь же трудно, как об истоках болезни, — мое искусство здесь бессильно. Попробуйте-ка теперь вы ему помочь, господин пастор.

Лаура. И это все, что вы нашли сказать у смертного одра, господин доктор?

Доктор. Это все! Остального я не знаю. Кто знает, тот пусть и скажет!

Берта *(вбегает слева, подбегает к матери).* Мама! Мамочка!

Лаура. Девочка моя! Моя родная!

Пастор. Аминь!

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»

Долго я пребывал в заблуждении — театр, как и искусство вообще, казался мне своего рода *Biblia pauperum* — иллюстрированной библией для тех, кто не умеет читать, а драматург — светским проповедником, который облачает современные идеи в популярную форму, настолько упрощенную, чтобы средний класс, который в основном-то и посещает театр, мог бы, не перенапрягаясь, понять, о чем идет речь. Поэтому театр всегда был народной школой для молодежи, для людей полуобразованных, для женщин, у которых еще сохранилась способность обманываться и позволять себя обманывать, питать иллюзии, находиться под гипнозом внушения писателя. В наше время, когда примитивное неразвитое мышление, разбуженное фантазией, очевидно, тяготеет к рефлексии, пробам, экспериментам, мне кажется, театр, как и религия, — на пути к краху, на стадии вымирания, и, чтобы возродить чувство наслаждения театром, требуются определенные усилия. В пользу моего предположения свидетельствует нынешний кризис театра и в не меньшей степени то обстоятельство, что в культурных странах, где вспыхнул гений самых великих мыслителей современности, а именно в Англии и Германии, драматургия мертва, так же, как, впрочем, и почти все другие изящные искусства.

В других странах еще верили в возможность создания новой драмы — надеясь сохранить старые формы драматического искусства, наполнив их новым содержанием. Правда, новые идеи еще не настолько проверены временем, чтобы их можно было облечь в популярную форму, доступную широкой публике. Политические страсти так накалили чувства, что не может быть и речи о чистом наслаждении искусством театра, ведь человек так заблудился в своих внутренних противоречиях, что аплодирующая или озвистывающая публика навязывает свое впечатление и делает это настолько открыто, насколько это возможно в зрительном зале. С другой стороны, еще не возникли новые формы для нового содержания, и поэтому позволю себе сравнение: молодое вино взорвало старые мехи.

В этой драме я и не пытался создать нечто новое — ибо это невозможно, — единственное, мне хотелось осовременить форму в соответствии с теми требованиями, которые, по-моему, люди нового времени должны предъявлять к этой форме искусства. И к тому же я выбрал или позволил себе выбрать мотив, который в общем-то далек от современных политических конфликтов, хотя и тема социального восхождения или падения, конфликт высокого или низкого, лучшего или худшего, конфликт между мужчиной и женщиной были, суть и будут представлять неизменный интерес.

Я взял сюжет из жизни, мне его рассказали несколько лет назад, тогда он произвел на меня сильное впечатление, и я счел его подходящим для драмы, ведь поистине трагичен крах счастливого человека, тем более гибель целого рода. Но возможно, наступит время, когда мы станем столь утонченными, столь просвещенными, что равнодушно будем наблюдать за грубой, циничной, бессердечной пьесой, которую играет сама жизнь, когда мы сумеем избавиться от своих примитивных, ненадежных аппаратов, которые именуются чувствами, — они будут лишними, — когда мы станем восприимчивее.

Героиня вызывает сочувствие, и оно продиктовано нашей слабостью — мы не в силах преодолеть чувство страха перед участью, которая может постичь и нас. Слишком эмоциональному зрителю, наверное, все-таки недостаточно сострадания, а человек с передовыми убеждениями, возможно, потребует каких-либо позитивных рецептов устранения зла, словом, своего рода программы. Но, во-первых, абсолютного зла не существует, ведь гибель одного рода — счастье для другого, который получает возможность выплыть на поверхность, и смена восхождений и падений — одна из самых приятельных черт жизни, ибо счастье познается только в сравнениях.

Человека, выдвигающего программу устранения досадных жизненных обстоятельств, например, когда хищная птица поедает голубя, а вошь поедает хищную птицу, я бы спросил: какой смысл? Жизнь не настолько рациональна, примитивна, что только великие поглощают малых, нередко пчела умертвляет льва или, по крайней мере, доводит его до бешенства.

Если моя пьеса многим кажется трагедией, то, значит, многие заблуждаются. Когда мы станем несокрушимыми, как первые французские революционеры, мы испытаем безграничную радость, наблюдая, как вырубает дряхлые обезжизненные деревья в королевском парке, которые слишком долго преграждали дорогу юным и сильным, цепляясь за свое прозябание, ведь исцеление от неизлечимой болезни — смерть.

Мою трагедию «Отец» упрекали в том, что она слишком мрачна; не правда ли, парадоксально, что зритель ждет веселых трагедий. Людям необходим оптимизм, и театральные деятели заказывают примитивные фарсы, словно издевки и насмешки над бесноватыми или идиотами могут кого-то развеселить.

А я считаю, что радость жизни — именно в ее сильных жестоких проявлениях, противоречиях, и я счастлив, когда что-либо открываю, постигаю, показываю. Именно поэтому я и выбрал столь необычный, но весьма поучительный случай, исключительный, одним словом, а ведь самые невероятные исключения лишь подтверждают правила, и это ранит тех, кто любит банальное. Примитивное сознание оскорблено тем, что я не просто однозначно мотивирую события, но и тем, что точек зрения на это событие может быть множество!

Каждое событие в жизни — и это почти открытие! — обусловлено обычно целым рядом более или менее значительных обстоя-

тельств, но зритель выбирает, как правило, те, которые ему наиболее доступны или наиболее подходящи для его убеждений. В драме совершается самоубийство. «Банкротство», — скажет буржуа. «Неразделенная любовь!» — скажут женщины. «Недуг!» — решит больной. «Разбитые надежды!» — скажет неудачник. Возможно, все это верно, а может, причина заключается совершенно в ином, и, наконец, подлинный мотив самоубийства может быть скрыт самим самоубийцей. Трагическую судьбу фрёкен Жюли я мотивировал рядом обстоятельств: изначально материнские инстинкты; неправильное воспитание отца; пробудившаяся природа; влияние жениха на слабый выродившийся мозг. И уже точнее — праздничное настроение в канун Иванова дня, отъезд отца; ее месячные; игры с животными; будоражащее воздействие танцев; ночные сумерки, пьянящий аромат цветов; и наконец, случайность, столкнувшая героев в одной комнате, плюс накаленная отвага соблазнителя.

Я попытался избежать односторонней физиологичности и не возводить в культ психологические причины, возлагая вину не только на наследственность матери, не только на роль месячных, не только подчеркивать «безнравственность», не поучать, не морализировать, я — не пастор, и моя аудитория — не кухарки.

Это многообразие мотивов — не могу не похвалить себя — очень современно! Я не первый, и другие делали это до меня, так что еще раз хвалю себя — я отнюдь не одинок в своих парадоксах, как обычно называют все открытия.

Что касается характерности, я представил своих персонажей почти «бесхарактерными» по следующим соображениям. Слово «характер» со временем обрело множество значений. Оно означает, вероятно, изначально доминирующие черты в душевном комплексе, и переплетается с темпераментом. Позднее средний класс подразумевал под словом «характер» автомат, который раз и навсегда сохранил свои врожденные склонности или приспособился к определенной роли в жизни, одним словом, личность, прекратившую свое развитие и застывшую на этой стадии. Опытные же навигаторы, лавирующие в океане жизни, плавающие без снастей, уносимые ветром, начинающие тонуть и все-таки выплывающие на поверхность, называются бесхарактерными. Причем, как правило, этому определению придется уничижительный оттенок, ведь бесхарактерное не поддается пониманию, оно зыбко и неуправляемо. Это буржуазное представление о душевной неподвижности переносится на сцену, а уж на сцене всегда господствует буржуазное. Характер царит здесь, он готов, зафиксирован, герой либо всегда пьян, либо всегда смешон, либо всегда мрачен. Требуются физические признаки характера: например, какое-нибудь телесное увечье, неуклюжесть, деревянная нога, красный нос. Или характер должен выражать себя в определенных клише типа «Ах, какая прелесть!», «С удовольствием» и все в таком духе. Эта однолинейность характера существует на сцене еще со времен великого Мольера. Гарпагон скуп, хотя Гарпагон может быть в то же время выдающимся финансистом, прекрасным отцом, образцо-

вым гражданином, и, что самое парадоксальное, его «уродство» крайне выгодно именно для его зятя и дочери, которые унаследуют его состояние и потому не должны порицать его, и к тому же им недолго осталось ждать своего часа. Вот почему я не верю в простые театральные характеры. И поверхностные оценки писателя — этот глуп, этот жесток, этот ревнив, этот скуп — должны быть пропущены через призму натуралиста, который чувствует, насколько сложен душевный комплекс, и который знает, что порок имеет обратную сторону, которая очень часто похожа на добродетель.

Мои герои современны, они живут в переходное время, время эклектичное, истерическое, по крайней мере по сравнению с предыдущим, поэтому персонажи охвачены сомнением, расколоты, в них черты старого и нового, и я не считаю это неправдоподобным, ведь современные идеи через газеты и дискуссии проникают в самые социальные низы. Поэтому и у лакея есть определенные сдвиги в сознании, несмотря на его генетически рабский комплекс.

И тем, кто не признает современную драму за то, что в ней мы позволяем героям говорить на языке Дарвина, ссылаясь на образец Шекспира, я советовал бы вспомнить могильщика в «Гамлете», говорящего на языке современной ему отважной философии Джордано Бруно (Бэкона), а ведь это было в эпоху, когда возможности распространения идей были гораздо более заторможены, чем сейчас. И между прочим, «дарвинизм» существовал во все времена, начиная с моисеевых скрижалей, с описаний самых низших видов животных существ до человека, а мы, оказывается, обнаружили и сформулировали это только теперь!

Мои души (характеры) хранят следы прошлых уровней культуры и одновременно подвержены влиянию современной, в них — обрывки книг и газет, лоскутки праздничных нарядов, превратившихся в жалкое тряпье, совершенно как залатанная душа. И к тому же я пытаюсь проникнуть к источнику этого явления, когда позволяю слабому герою заимствовать и репетировать выражения сильного, «брать» у него идеи, воспринимать так называемые внушения; от других, от среды, я заимствую метод «Gedankenübertragung»¹, использую символы (сапоги барона, бой часов) и, наконец, прибегаю к помощи «внушения во время бодрствования», воздействия на спящего, все это сейчас настолько просто и общепризнано, что не может вызвать насмешек или недоверия, как это было бы во времена Месмера.

Фрёкен Жюли — современный характер не только потому, что она мужененавистница, такие типажи существовали всегда, но потому, что сейчас она открылась, объявила о себе и наделала шуму. Жертва заблуждения, охватившего и передовые умы, что женщина, эта недоразвитая форма человеческого существа, вершина которой — мужчина, творец и создатель культуры, должна быть или может быть наравне с ним, она стремится к недостижимому и погибает. Невероятно, потому что недоразвитая форма,

¹ «Передача идей, внушение» (нем.).

несмотря на социальный уровень, всегда рождается недоразвитой и не может прыгнуть выше себя. Приведем пример: предположим, по формуле A (мужчина) и B (женщина) выходят из пункта C ; A (мужчина) со скоростью, например, 100 и B (женщина) со скоростью 60. Вопрос: когда B догонит A ? Ответ: никогда! И ни равная степень образованности, ни право участия в выборах, ни разрушение, ни трезвость ничего не меняют — все равно две параллельные линии не смогут пересечься. Полуженщина — тип, возникший сейчас, который продается отныне за власть, ордена, знаки отличия, дипломы, так же как раньше за деньги, и, таким образом, мы наблюдаем процесс вырождения женщины. Вырождается не лучший тип, но, как ни прискорбно, он плодится и обнажает собственное уродство, и вырождающиеся мужчины, кажется, вслепую выбирают их, так что они воссоздают себе подобных, существ неопределенного пола, которые не могут не страдать и, к счастью, либо погибают, не выдерживая дисгармонии с жизнью, от неизбежного взрыва подавленных стремлений, либо остаются с разбитыми иллюзиями, пытаясь дотянуться до мужчины. Тип трагический, вынужденный разыгрывать спектакль перед природой, вопреки ей, трагический, как романтическое наследство, которое сейчас натурализм проматывает в погоне за счастьем, во имя сильных и полноценных существ.

Но фрёкен Жюли — уцелевший осколок старой военной аристократии, не выдержавшей натиска новой, эмоционально и интеллектуально развитой элиты; жертва «преступления» матери, семейного разлада; жертва заблуждений эпохи, обстоятельств, своих собственных недостатков, и все это вместе равносильно старомодному «року» или вселенскому закону. Натуралист замолил грех перед богом, но следствия поступков, наказание, тюрьму или страх он не может замолить по той простой причине, что они остаются, независимо от него, ибо оскорбляющая часть человечества не столь кротка, как оскорбляемая. Если даже отец, вынуждаемый обстоятельствами, отказывается от мести, то дочь должна отомстить сама за себя, как она делает это в пьесе, из врожденного или приобретенного понятия чести, которое аристократы получили в наследство — откуда?

От варварства, от арийской первобытности, от средневекового рыцарства, все это прекрасно, но сейчас неуместно для существования рода как такового. Эта аристократическая иерархия, японский закон совести, который позволяет человеку вспороть себе живот, когда кто-то оскорбляет его, закон, который продолжает существовать в более современной форме — дуэли — привилегии аристократов. Поэтому жив лакей Жан, но фрёкен Жюли не может позволить себе жить, будучи обесчещенной. Преимущество раба перед ярлом в том-то и заключается, что он лишен этого смертельно опасного предрассудка — чести; во всех нас, арийцах, есть нечто от аристократа или Дон-Кихота, это они в нас сочувствуют самоубийцам, которые совершают бесчестный поступок, и раскаиваются, а мы достаточно аристократичны, чтобы страдать,

созерцая зрелище павшего величия и потом, когда оно, уже обезжизненное, восстает и отстаивает свою честь и побеждает. Лакей Жан создаст новый вид, в котором будут явственны социальные контрасты. Он — сын статара, получил достаточное самообразование, чтобы стать господином. Он восприимчив, развит и тонко — обоняние, вкус, взгляды, наделен чуткостью к красоте. Он уже пробрался наверх и достаточно силен, чтобы роль лакея его не ранила. Он уже чужак для своей среды, которую презирает как пройденный для себя этап. Он боится и избегает ее, ведь она знает его тайны, разгадывает его замыслы, с завистью взирает на его карабканье вверх и с вожделием предвкушает миг его падения. Отсюда его двойственный нерешительный характер, его симпатия к привилегированным и ненависть к тем, кто уже наверху социальной лестницы. Он — аристократ, по собственному мнению, он посвящен в светские тайны, не лишен внешнего лоска, но неотесан изнутри.

Он питает почтение к фрёкен, но боится Кристины, ведь она знает его опасные тайны; он достаточно бесчувствен, чтобы позволить ночным приключениям разрушить его планы на будущее. С грубостью раба и кровожадностью господина он созерцает кровь, он может пренебречь своим поражением; поэтому он выходит целым и невредимым из схватки и в конце концов становится хозяином гостиницы, и хоть румынским графом ему стать не удастся, но, по крайней мере, сын его получит университетское образование и, возможно, будет королевским фогтом.

Кстати, он очень точно подмечает важные особенности жизненной философии низов (все это он увидел изнутри), когда он откровенен, а это редко с ним случается; чаще он говорит то, что ему выгодно, чем то, что он действительно думает. Когда фрёкен Жюли высказывает предположение, что низшие классы страдают от угнетения, то Жан, конечно, с ней соглашается, тем самым добываясь ее симпатии, но тотчас внешне преобразуется, имитируя стиль одежды и манеры поведения господина, когда понимает, что ему выгодно отделиться от толпы.

Жан не только карабкается вверх, он возвышается и над фрёкен Жюли — ведь он мужчина. Принадлежность его к мужскому полу делает его аристократом, он наделен мужской силой, чувственно развит, инициативен. Его комплекс неполноценности возникает оттого, что он ощущает случайность своего пребывания в социальной среде, из которой он может вырваться, сняв с себя ливрею.

Лакейство проявляется в нем, когда он служит графу (чистит его сапоги); и к тому же он суеверен, как может быть суеверен только раб, но, служа графу, он прежде всего служит его титулу, о котором сам мечтает; эта мечта не оставляет его и после того, как он овладевает дочерью графа и обнаруживает пустоту за красивой оболочкой. По-моему, подлинные любовные чувства не могут связывать двух людей со столь разными душевными свойствами, и поэтому любовь фрёкен Жюли несколько покровительственная или как бы самооправдательная, а у Жана она могла бы возникнуть,

будь он в иных социальных обстоятельствах. Мне эта любовь напоминает гиацинт: чтобы расцвел цветок, нужно подрезать корни в темноте. А в драме он вырастает мгновенно, превращается в цветок, однажды дает семя и поэтому столь стремительно гибнет.

Кристина — рабыня, она совершенно несамостоятельна, неуклюжа, она нанята лишь для того, чтобы топить камин, в ней есть животное-инстинктивное лицемерие, ее мораль и вера полны ханжества, ей нужны козлы отпущения — а ведь сильной личности они не нужны, она сама может нести свой грех или замолить его! Она ходит в церковь, чтобы быстро и безболезненно получить отпущение своих мелких домашних грешков и снова зарядиться ощущением собственной невинности.

А вообще, она — второстепенный персонаж, я ее ввел в пьесу, так же как в «Отце» ввел пастора и врача, типичных провинциальных пастора и врача.

Мои второстепенные персонажи несколько абстрактны, и это обусловлено тем, что люди в повседневной жизни, исполняющие свои служебные функции, вообще несколько абстрактны, несамостоятельны, они как бы раскрываются с одной стороны, и до тех пор, пока зрителю неинтересно увидеть их с разных сторон, я очерчиваю их приблизительно, пунктирно, и мой пунктир верен.

Наконец, что касается диалога, то тут я отступил от традиций, я попытался избавиться от персонажей-схем, например, от персонажей, которые специально задают idiotские вопросы, чтобы в ответ последовала смешная реплика. Я избегал всяческой симметрии, математичности, свойственной диалогу, сконструированному на французский манер, и позволил своим персонажам высказываться и поступать так, как они это делают в действительности, в жизни ни один диалог не может исчерпать ни одной темы, а все люди взаимосвязаны и взаимосвязаны друг в друга, как в лентопротяжном механизме. И поэтому диалог в пьесе блуждает, в первых сценах намечено то, что потом получает развитие, репетируется, перекликается, звучит вновь, — диалог похож на тему музыкальной композиции.

Действие довольно сгущено, сконцентрировано, построено на взаимоотношениях только двух героев, единственный второстепенный персонаж — кухарка, да еще и отец, чья несчастная тень парит над всем происходящим. Мне хотелось выхватить именно самое примечательное в психическом облике человека нового времени, ведь наши любопытные души не довольствуются тем, что видят что-то происходящее, но и хотят постичь, как это происходит. Нам интересны именно нити, механизм, нам хочется обследовать шкатулку с двойным дном, при помощи волшебного кольца найти швы, заглянуть в карты, убедиться, не краплены ли они.

Образцом для меня служили монографические романы братьев Гонкур, которые я считаю самым значительным явлением современной литературы.

Я пыталась преодолеть традиционную технику композиции — устранить разделение на акты. Нашу оскудевающую фантазию

ослабляют антракты между актами и сценами, во время которых зритель получает передышку — возможность поразмышлять — и тем самым ускользает от магнетического воздействия писателя. Моя пьеса длится полтора часа, и уж если можно слушать лекцию, проповедь или доклад на конгрессе столь же долго или дольше, то я уверен в том, что полуторачасовая пьеса не должна утомить. Еще в 1872 году, в одном из моих первых драматических опусов, в пьесе «Изгнанник» я апробировал эту концентрированную форму, но моя попытка почти провалилась. Пьеса в пяти актах была завершена, и я тогда заметил ее фрагментарность, да и слишком она показалась мне мрачной. Я сжег ее, и из пепла ее возникла единая цельная одноактная пьеса объемом в пятьдесят напечатанных страниц, в час игрового времени. Эта форма была не нова, и все-таки мне она показалась открытием и соответствовала изменившимся вкусам современного зрителя. Отныне мне нужен был зритель столь подготовленный, чтобы он мог смотреть весь вечер непрерывный одноактный спектакль. Но, разумеется, при этом требуется создать определенные условия. Зрителю нужны паузы для отдыха, и актерам, кстати, тоже, и, чтобы соблюсти эти условия, не выпуская при этом зрителя из магнетического поля, я использую три формы драматического искусства — монолог, пантомиму и балет, первоначально принадлежавшие античной трагедии, ведь со временем монодия превратилась в монолог, а хор — в балет. Монолог сейчас отвергается реалистами как нечто неправдоподобное, но, взвесив все за и против, я счел его правдоподобным и, таким образом, использую его с выигрышем для пьесы. Разве не правдоподобно, если один из героев ходит в одиночестве по комнате и громко спорит сам с собой, не правдоподобно, когда актер вслух учит свою роль, когда служанка разговаривает со своей кошкой, мать лепечет со своим малышом, старая дева болтает со своим попугаем, спящий бормочет во сне? И чтобы хоть раз предоставить актеру возможность самостоятельного творчества, чтобы он высвободился от диктата и указующего перста писателя, я не расписывал монологи, а только наметил их пунктиром. В общем-то, не так важно, что говорится во сне или что адресовано кошке, это не влияет на действие, но одаренный актер, войдя в определенную ситуацию и в определенное настроение, наверняка сымпровизирует это лучше писателя, которому трудно предугадать и просчитать, сколько именно времени потребуется для той или иной сцены, чтобы не выпустить публику из поля зрения.

Как известно, итальянский театр в определенных сценах перешел к импровизации и тем самым выдвинул фигуру актера-творца, который дышит в унисон с писателем. Актер-творец может иметь успех, открывать новые возможности, по контрасту со старыми, совершать открытия.

Там, где монолог был бы неправдоподобным, я призываю на помощь пантомиму, и тут я предоставляю актеру еще большую свободу творчества. Все-таки при этом, чтобы не испытывать терпение публики дольше, чем она способна выдержать, я под-

ключаю музыку, естественно соответствующую происходящему на сцене, танцу летней ночи, и музыка усиливает атмосферу и дополняет немую сцену, и я прошу музыкального режиссера самому выбрать необходимый музыкальный фон, чтобы он не вторгся чужеродным мотивом в спектакль, не выявил ненужных ассоциаций, чтобы не было попури из современных оперетт или танцев или из каких-то этнографических народных мелодий.

Балет, который я вожу, невозможно заменить так называемыми массовыми сценами, ведь массовые сцены исполняются, как правило, плохо, и при этом многие участники их переигрывают, нарушая равновесие спектакля. Они не только не импровизируют, но и используют уже готовые трюки, которые могут быть двойственно истолкованы. Я не сочинял шуточных куплетов, я использовал почти неизвестный шуточный танец, который сам записал в окрестностях Стокгольма. Диалоги порой приблизительны, а не точны, но это сделано намеренно, ибо коварство (слабость) рабской психологии исключает прямогу высказываний. Поэтому никаких остроумничавших клоунов, никаких грубых ухмылок, когда пьеса завершается гибелью целого рода, когда крышка закрывает гроб.

Что же касается декораций, я использовал приемы асимметрии, разорванности, импрессионистской живописи, и мне это показалось вполне оправданным для подключения зрительской фантазии. Зритель не может увидеть всю комнату и всю мебель, его фантазия приводится в движение и домысливает недостающее. К тому же я избегал утомительных выходов актеров через двери, все сценические двери сделаны из холста и вибрируют от малейшего дуновения. Тем самым я лишая актеров всяческой возможности переигрывать, а вынуждаю их играть на нюансах. Я рассчитываю на единственную декорацию, которая помогает персонажам слиться со средой на сцене. Я вообще решил отказаться от декоративных излишеств. Но если уж на сцене всего одна декорация, пусть она соответствует всему происходящему.

Например, сделать комнату приблизительно похожей на комнату гораздо труднее, чем живописцу изобразить вулкан и водопад. Пусть стены будут из холста, но рисовать полки и предметы кухонной утвари — нет уж, увольте. Пора с этим покончить. У нас столько всяких других условностей на сцене, в которые мы обязаны поверить, что верить в намалеванные кастрюли — это уже чересчур.

Я решил разместить задник и стол чуть наискосок, чтобы актеры, сидя за столом друг против друга, играли лицом к публике или вполупоборот. Я видел косой фон в «Аиде» — он раздвигает сценическую перспективу в отличие от утомительной прямой линии.

Следующим новшеством было бы устранение ramпы. Эта традиционная подсветка снизу имеет целью укрупнить лица актеров — но, осмелюсь спросить, зачем? Из-за этого света снизу «пропадают» прекрасные черты лица — особенно нижняя часть лица, искажается профиль, затеваются глаза. Зрение актеров страдает от этого яркого нижнего света, и те сцены, которые построены на мимике, теряются. Свет ramпы попадает на ту часть

сетчатки, которая должна быть защищена (только моряки смотрят на солнце, отраженное в воде) от света. И поэтому нам почти недоступны выражение глаз и мимика; только когда актер смотрит в сторону или в зал, мы видим его расширенные белки, ловим его усталый рассеянный взгляд. Обычно актер смотрит на зрителя, если хочет сообщить ему что-либо о себе. Молча, в неестественной позе актеры — он или она — стоят непосредственно перед зрителем, и эта дурацкая привычка почему-то называется «приветствовать знакомых»!

Разве недостаточно интенсивного бокового света (с параболой и тому подобным), который откроет для актера новые возможности: обнажит до предела его мимику, лицо, взгляд?

Чтобы актер играл перед публикой, а не для нее, — конечно, это из области фантазии, я мог бы только мечтать об этом, но к этому надо стремиться. Конечно, видеть актера только со спины, например, в течение какой-то решающей сцены — тоже не интересно, но все-таки я хотел бы, чтобы ключевые моменты спектакля были сыграны изнутри, а не напоказ, у будки суфлера, словно дуэты, рассчитанные на аплодисменты; мне хотелось бы, чтобы каждая сцена была обязательной и точно соответствовала ситуации.

Итак, я не провел никаких реформ, просто несколько все осовременил, ведь сцена — это комната, в которой отсутствует четвертая стена, а часть мебели развернута от зала — это мешает восприятию.

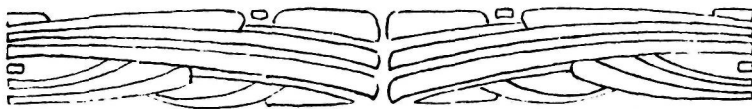
Что касается грима, я хотел бы, чтобы меня слышали актрисы, которым хочется быть прежде всего красивыми, а уж потом естественными. Актер не может не знать, что грим часто обезличивает его, лицо превращается в маску. Представим себе актера, который должен сыграть злого властелина и соответствующим гримом резко подчеркивает глаза, а в одной реплике ему нужно улыбнуться. Получается ужасная гримаса. И может ли лоб, бледный как бильярдный шар, выразить, скажем, гнев старого человека?

В современной психологической драме, где самые искренние движения души должны выражаться прежде всего мимикой, а не жестами или голосом (криком), может быть, стоит рискнуть направить сильный боковой свет на малую сцену и актера без грима или, по крайней мере, с минимальным гримом.

А раздражающий свет, направленный на оркестр, обращенный лицом к публике! Можно было бы поднять партер настолько, чтобы взгляд зрителя был на уровне взгляда актера. Можно было бы отказаться от авансцен, от ухмыляющихся, обедающих и ужинающих персонажей, можно было бы затемнить зал на время всего спектакля — от первой до последней сцены, можно было бы добиться малой сцены и малого зала. Вот когда возникла бы новая драматургия и театр стал бы, по крайней мере, зрелищем и развлечением для образованной публики.

И в ожидании рождения такого театра мы писали бы пьесы и готовили бы будущий репертуар.

Эта драма — всего лишь попытка! Если она не удастся, найдется время исправить промах!



ФРЁКЕН ЖЮЛИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Фрёкен Жюли, 25 лет.

Жан, лакей, 30 лет.

Кристина, кухарка, 35 лет.

Действие происходит на графской кухне в Иванову ночь.

Просторная кухня; боковые стены скрыты занавесом. Задняя стена слева направо косо перерезает сцену, ближе к левому углу на этой стене — две полки, уставленные медной, железной и цинковой утварью и украшенные по краям бумажными кружевами; правой на три четверти видны большие сводчатые двойные стеклянные двери, а за ними — фонтан с амуром, сирень в цвету и стройные пирамидальные тополя. Слева — угол большой кафельной печи и часть дымохода. Справа выступает край большого соснового стола для челяди и несколько стульев. Плита убрана березовыми ветками; по полу разбросан можжевельник. На краю стола — большая японская ваза с сиренью. Ледник, кухонный столик, раковина. Старинные часы с боем над дверьми, а слева от них — телефонная труба. Кристина стоит у плиты и что-то жарит; она в светлом ситцевом платье, в фартуке; входит Жан в ливрее, вносит сапоги со шпорами для верховой езды и ставит их на пол.

Жан. Сегодня фрёкен Жюли опять помешанная какая-то; совсем помешанная!

Кристина. А-а, ты тут уже?

Жан. Я проводил графа на станцию, шел обратно мимо гумна, зашел туда потанцевать, вижу — фрёкен с лесничим танцует. Замечает меня, бросается прямо ко мне и приглашает на вальс. И как танцевала! В жизни я такого не видывал. Нет, она помешанная!

Кристина. Да она и всегда такая была, а уж последние две недели особенно, вот как помолвка-то расстроилась.

Жан. Кстати — что за история? Он же славный малый, хоть и не из богатых. Ах! Все у них тонкости разные. *(Присаживается к столу.)* Но все-таки удивительно — чтобы барышня — хм — решила остаться дома, с людьми, когда отец звал ее вместе поехать к родне — а?

Кристина. Небось появиться стесняется, когда с женихом у нее такая катавасия вышла.

Жан. Может, и так! Зато уж он показал себя молодцом. Ведь знаешь, Кристина, как все у них было? Я же видел, только говорить не хотел.

Кристина. Ишь как — видел?

Жан. Ну да! Были они вечером в конюшне, и фрёкен его тренировала — так это у нее называлось. Хочешь знать, как она это делала? Заставляла его через хлыст прыгать, вроде собачонки. Два раза он прыгнул, и оба раза она вытянула его хлыстом, ну, а уж на третий раз он вырвал у нее хлыст, разломал на мелкие кусочки и был таков.

Кристина. Вот ведь как! Подумать!

Жан. Да, вот так-то! Ну, Кристина, чем же ты меня вкусным потчуетешь?

Кристина (*что-то накладывает со сковородки на тарелку и ставит ее перед Жаном*). Вот тебе — немного почек, я их из жареного тельца вырезала!

Жан (*понюхав*). Прелесть! Обожаю! (*Щупает тарелку*.) Только отчего тарелка не подогрета?

Кристина. Ишь капризничает — чище графа самого. (*Ласково треплет ему волосы*.)

Жан (*сердито*). Ой, не тни ты меня за волосы! Сама знаешь, я человек чувствительный!

Кристина. Ну ладно, ладно, небось ведь я это любя!

Жан принимается за еду. Кристина откупоривает бутылку пива.

Жан. Пиво — в Иванову ночь? Благодарю покорно! У меня найдется кое-что и получше. (*Открывает ящик стола и достает оттуда бутылку красного вина с желтой сургучной печатью*.) Видишь — желтая печать? Дай-ка мне бокал. На тонкой ножке, конечно, для благородного вина!

Кристина (*возвращается к плите, ставит на нее кастрюльку*). Боже сохрани от такого муженька! Экие капризы!

Жан. Не болтай лишнего! Сама рада-радешенька такого парня подцепить; и, думаю, ты не в обиде, что меня твоим женихом называют! (*Пробует вино*.) Славно! Очень славно! Только чуть-чуть переохладилось! (*Греет бокал в ладонях*.) Мы его покупали в Дижоне; по четыре франка литр без посуды; а ведь еще пошла! Что это у тебя там за стряпня? Запах убийственный!

Кристина. Чертовщина разная, которой фрёкен Жюли кормит Дианку.

Жан. Следила бы ты за своими выражениями, Кристина! Но почему это ты в канун святого праздника должна готовить варево для сучки? Больна она, что ли?

Кристина. Больна, как же! Снюхалась с барбосом дворовым — течка у нее — фрёкен про это и знать не желает.

Жан. Фрёкен иной раз бывает чересчур заносчива, а иной раз у нее не хватает гордости, вся в покойную графиню. Та любила

побыть в людской да в конюшне, зато уж ездила только цугом, ходит, бывало, в грязных манжетах, а непременно чтобы с графскими коронами на запонках. Фрёкен, кстати говоря, совсем за собой не следит. Я бы даже сказал, не хватает ей благородства. Вот когда в риге танцевала, она ж просто вырвала лесничего у Анны и сама его пригласила. У нас такого не водится. Когда господа корчат из себя простых — так уж до того делаются просты! Зато она стройная! Дивно! Ах! Плечи! И так далее!

Кристина. А, ладно тебе! Я-то слышала, что Клара говорит, а Клара ее одевает!

Жан. Ха! Клара! Все вы друг дружке завидуете! Я же с нею вместе верхом ездил... А танцует она как!

Кристина. Послушай-ка, Жан! А со мной-то ты потанцуешь, как вот я тут управлюсь?

Жан. О, разумеется.

Кристина. Обещаешь?

Жан. Обещать? Раз сказано, значит, так и будет! А за еду тебе спасибо. Дивно угостила! *(Затыкает бутылку пробкой.)*

Фрёкен *(появляется в дверях и кричит кому-то наружу).* Я сейчас! Подождите меня!

Жан сует бутылку в ящик стола; почтительно встает со стула.

Фрёкен *(входит и, стоя у зеркала, обращается к Кристине).* Ну? У тебя все в порядке?

Кристина знаком показывает ей, что здесь Жан.

Жан *(учтиво).* У дам, кажется, свои секреты?

Фрёкен *(бьет его платком по лицу).* Какой любопытный!

Жан. Ах, как нежно пахнуло фиалками!

Фрёкен *(кокетливо).* Бессовестный! Он, оказывается, и в духах разбирается? Танцевать — это он, правда, умеет... ну, нечего на меня смотреть! Уходите вон!

Жан *(бойко, учтиво).* Уж не варят ли дамы колдовской напиток по случаю Ивановой ночи? Чтобы не упустить свою счастливую звезду и свою судьбу не проглядеть?

Фрёкен *(резко).* Для этого главное — иметь хорошее зрение! *(Кристине).* Слей в бутылку, да получше закупори. А теперь пожалуйте со мной на экосез, Жан...

Жан *(в неуверенности).* Не хочется быть невежей, да только этот танец я уж пообещал Кристине...

Фрёкен. Ну она еще с кем-нибудь потанцует; да, Кристина? Ты ведь мне даешь Жана взаймы?

Кристина. Наше дело маленькое. Раз уж фрёкен кого почтила, негоже ей отказывать. Иди-ка с нею. Да благодари за честь.

Жан. Говоря откровенно, и чтобы вас не обидеть, может, не следовало бы фрёкен Жюли два раза подряд с одним кавалером танцевать, особенно если учесть, как здешний народ скор на всякие пересуды...

Жюли (*вспылив*). Какие еще? Какие еще пересуды? О чем вы?

Жан (*кратко*). Ежели фрёкен не угодно меня понять, выскажусь определенной. Нехорошо это отличать одного из своих подданных, когда и другие ожидают подобной же редкостной чести...

Фрёкен. Отличать? Ну и мысли! Я в изумлении! Я, хозяйка дома, оказываю своим людям честь, присутствую на их танцах, но если уж мне в самом деле хочется потанцевать, ясно — я буду танцевать с тем, кто умеет водить, чтоб не оказаться смешной.

Жан. Как прикажете, фрёкен. Я к вашим услугам.

Фрёкен (*нежно*). Не считайте это приказаньем! Сегодня все мы празднуем и веселимся и никаких нет чинов и отличий! Ну, дайте же мне вашу руку! Не тревожься, Кристина! Я не отниму у тебя жениха!

Жан подает фрёкен руку и уводит ее.

ПАНТОМИМА

Исполняется так, будто актриса и впрямь одна на сцене; когда надо, поворачивается к публике спиной; не смотрит на зрителей; отнюдь не спешит и нисколько не боится наскучить публике. Кристина одна. В отдалении тихие звуки скрипки. Экосез. Кристина подпевает, убирает со стола, моет тарелку после Жана, вытирает, ставит в шкаф. Потом снимает фартук, вынимает из ящика стола зеркальце, прислоняет к вазе с сиренью; зажигает свечу, греет на пламени спицу, подвигает локоны надо лбом. Потом идет к дверям, прислушивается. Возвращается к столу. Обнаружив забытый платочек фрёкен, подносит к лицу, нюхает; потом, будто забывшись, разворачивает платочек, разглаживает, складывает вдвое, вчетверо и т. д. ...

Жан (*входит, один*). Ей-богу, она сумасшедшая! Так отплясывать! А люди стоят на пороге и над ней потешаются! Что скажешь, Кристина?

Кристина. Так ведь месячные у нее, да она и всегда-то чудная. Ну, а со мною пойдешь танцевать?

Жан. Ты ведь не сердисься, что я тебя бросил...

Кристина. Нет! Нисколько. Да ты и не думаешь, будто я сержусь. Я-то свое место знаю...

Жан (*обнимает ее за талию*). Ты, Кристина, понятливая, из тебя славная жена выйдет...

Фрёкен (*входит; она неприятно поражена; прикидывается веселой*). Очаровательный кавалер — вдруг убегает от дамы.

Жан. Напротив того, фрёкен Жюли, я, как видите, поспешил к покинутой!

Фрёкен (*меняет тему*). Знаете, а ведь вы танцуете как никто! Только зачем такой вечер — и в ливрее? Сейчас же снимите!

Жан. Но тогда я должен просить фрёкен отлучиться на минуточку, мой черный сюртук висит вон там... (*Показывает направо.*)

Фрёкен. Это он стесняется? В сюртук при мне переодеться! Ну, так идите к себе и возвращайтесь! А то останьтесь, я отворюсь!

Жан. С вашего дозволения, фрёкен! *(Идет направо; видна его рука, когда он переодевается.)*

Фрёкен. Послушай-ка, Кристина; Жан, видно, правда твой жених, раз вы так накоротке?

Кристина. Жених? Ежели угодно. Мы так его называем.

Фрёкен. Называете?

Кристина. Ну, у фрёкен и у самой был жених...

Фрёкен. Мы-то были помолвлены...

Кристина. Ан ничего и не вышло...

Входит Жан; он в черном сюртуке и черной шляпе.

Фрёкен. Très gentil, monsieur Jean! Très gentil! ¹

Жан. Vous voulez plaisanter, madame! ²

Фрёкен. Et vous voulez parler français! ³ Где вы ему выучились?

Жан. В Швейцарии, я там официантом служил, в Люцерне, в самом шикарном отеле!

Фрёкен. Но вы в этом рединготе истинный джентльмен! *(Присаживается к столу.)*

Жан. О, вы мне льстите!

Фрёкен *(оскорбленно).* Льстить? И кому!

Жан. Природная моя робость не позволяет мне поверить, что вы от души говорите любезности такому, как я, а потому я и позволил себе допустить, что вы преувеличили, или, как это обыкновенно называют — что вы мне льстите!

Фрёкен. Где это вы научились так изъясняться? Верно, часто бывали в театре?

Жан. И там бывал! Где я только не бывал!

Фрёкен. Но родом вы из наших мест?

Жан. Мой отец был статаром у прокурора тут неподалеку, и я видывал фрёкен еще девочкой, хотя фрёкен меня не замечала!

Фрёкен. Неужто?

Жан. О! И особенно, помнится, однажды... нет, не могу этого касаться.

Фрёкен. Ой! Скажите! Ну! В виде исключения!

Жан. Нет, в самом деле, не могу. Может быть, в другой раз как-нибудь.

Фрёкен. Не надо мне вашего другого раза! Почему нельзя сказать теперь же? Что тут страшного?

Жан. Страшного ничего, но лучше отложить. Поглядите вон на нее. *(Показывает на Кристину, которая задремала на стуле у плиты.)*

¹ Очень мило, мсье Жан! Очень мило! *(фр.).*

² Вы изволите шутить, мадам! *(фр.).*

³ А вы изволите говорить по-французски! *(фр.).*

Фрёкен. Милая женушка будет! Верно, она и храпит вдобавок?

Жан. Она не храпит, зато говорит во сне.

Фрёкен (*цинично*). Почему вы знаете, что она говорит во сне?

Жан (*нагло*). Сам слышал.

Пауза. Они разглядывают друг друга.

Фрёкен. Отчего вы не сядете?

Жан. Не могу себе этого позволить в вашем присутствии.

Фрёкен. Но если я прикажу?

Жан. Мне останется повиноваться.

Фрёкен. Сядьте же! Нет, погодите! Не дадите ли вы мне сперва чего-нибудь выпить?

Жан. Не знаю, что тут в леднике найдется. Думаю, пиво одно.

Фрёкен. Пиво — это вовсе недурно! Вкус у меня такой простой, что я даже предпочитаю пиво.

Жан (*достает из ледника бутылку пива, откупоривает; ищет в шкафу стакан и тарелку, подает все это ей*). Угощайтесь!

Фрёкен. Благодарю. А вы?

Жан. Я до пива не охотник, но уж как прикажет фрёкен!

Фрёкен. Прикажет? Я полагаю, как любезный кавалер, вы должны составить даме компанию.

Жан. Это вы верно заметили! (*Откупоривает еще бутылку, берет стакан.*)

Фрёкен. Выпейте же мое здоровье!

Жан в нерешительности.

Он, кажется, робеет?

Жан (*опускается на колени, пародийно-рыцарски; поднимает стакан*). Здоровье моей повелительницы!

Фрёкен. Bravo! А теперь целуйте туфельку, и всё будет прелестно.

Жан колеблется, потом дерзко хватает ее ногу и легонько целует.

Фрёкен (*встает*). Превосходно! Вам бы актером быть.

Жан (*встает*). Так больше нельзя! Фрёкен! Вдруг войдут и увидят.

Фрёкен. Ну и что?

Жан. Пойдут болтать, только и всего! А если бы фрёкен знала, как они уже распустили языки...

Фрёкен. Ну, например? Что же они говорят? Перескажите! Да сядьте же вы, наконец!

Жан (*садится*). Не хочу вас огорчать, но они употребляют выражения... и высказывают соображения такого рода, что... да вы же сами можете понять! Вы уже не маленькая, и если даму застают, когда она пьет наедине с мужчиной — пусть даже с лакеем — ночью — так уж...

Фрёкен. Что — так уж? Да мы и не наедине к тому же, Кристина тут.

Жан. Да — спит!

Фрёкен. Так я разбужу ее. *(Встает.)* Кристина! Ты спишь?

Кристина *(во сне).* Э-э-э!

Фрёкен. Кристина! Вот соня!

Кристина *(во сне).* Сапоги графу почищены... поставить кофе... сейчас, сейчас — ох-ох — пф...

Фрёкен *(дергает ее за нос).* Да проснешься ли ты наконец?

Жан *(строго).* Нельзя беспокоить спящего!

Фрёкен *(резко.)* Что такое?

Жан. Кто весь день простоял у плиты, может и утомиться к ночи. И сон надо уважать...

Фрёкен *(меняет тон).* Высокая мысль и делает вам честь! Благодарю! *(Протягивает Жану руку.)* Пойдемте в сад, и вы нарвете для меня сирени!

Во время последующего разговора Кристина встает и, сонная, идет налево, чтоб лечь в постель.

Жан. Я — с вами, фрёкен?

Фрёкен. Со мной!

Жан. Невозможно! Никак невозможно!

Фрёкен. Не пойму я ваших мыслей. Неужто вы что-то вообразили?

Жан. Нет, не я. Люди.

Фрёкен. Что же именно? Что я влюблена в лакея?

Жан. Я человек не заносчивый, однако же ведь бывали примеры. Да и для людей нет ничего святого!

Фрёкен. А вы аристократ, как я погляжу!

Жан. Да, аристократ.

Фрёкен. Я лучше снизойду...

Жан. Не снисходите, фрёкен, вот мой совет! Никто вам не поверит, что вы сами решили снизойти; всегда скажут, будто вы пали!

Фрёкен. Я лучше вас думаю о людях! Идемте же, испытаем их! *(Долго смотрит на него.)*

Жан. А вы знаете, что вы очень смешная?

Фрёкен. Возможно! Но ведь и вы тоже! Впрочем, все на свете смешно! Жизнь, люди — все ведь это одна грязь, и она плывет, плывет по воде, пока вдруг не начнет тонуть, тонуть! Мне часто снится один сон; вот отчего-то вспомнилось. Будто я взобралась на высокий столп, а спуститься нет никакой возможности, как гляну вниз — сразу голова кружится, а мне надо вниз, и броситься не хватает духу; держаться мне не за что, и я даже хочу упасть, да вот не падаю. И я не могу успокоиться, пока не спущусь вниз, вниз, на землю! А если спустилась бы вниз, на землю, мне сразу захотелось бы в нее зарыться... Бывало с вами такое?

Жан. Нет! Мне часто снится, будто я лежу под высоким деревом в темном лесу. И меня тянет вверх, вверх, на вершину, и чтоб оттуда оглядеть светлую округу, залитую солнцем, и разорить птичье гнездо, где лежат золотые яйца. И я взбираюсь, взбираюсь,

а ствол такой толстый и скользкий, и до веток так далеко. Но я-то знаю, что мне бы только уцепиться за первую ветку, и там уж я поднимусь до самого верху легко, как по лесенке. Пока еще мне не случилось туда забираться, но я заберусь непременно — хотя бы во сне!

Фрёкен. Но что это я? Стою тут и с вами о снах болтаю... Идемте же! Скорее в сад! *(Берет его под руку, и оба идут к дверям.)*

Жан. Эх, выспаться бы на девяти разных травах в Иванову ночь — и сбудутся все мечты! Фрёкен!

Фрёкен и Жан оборачиваются в дверях. Жан трет рукою глаз.

Фрёкен. Дайте-ка посмотреть, вам что-то в глаз попало?

Жан. О — пустяки. Соринка. Сейчас пройдет.

Фрёкен. Верно, это я вас рукавом задела; сядьте, сейчас я вам помогу! *(Тянет его за руку и сажает на стул; берет в свои ладони его голову и запрокидывает ее назад; кончиком платка старается выудить из глаза соринку.)* Тихо же, не шевелиться! *(Бьет его по руке.)* Слушаться, я сказала! Что это? Такой сильный, большой — и дрожит? *(Щупает ему плечо.)* С такими плечами!

Жан *(предостерегающе).* Фрёкен Жюли!

Фрёкен. Да-да, мсье Жан?

Жан. Attention! Je ne suis qu'un homme!¹

Фрёкен. Будете вы тихо сидеть или нет! Ну вот! И вытащила! Целуйте ручку! Благодарите!

Жан *(встает).* Фрёкен Жюли! Послушайте меня! Кристина ведь ушла и легла в постель! Вы в состоянии слушать?

Фрёкен. Сначала целуйте ручку!

Жан. Послушайте!

Фрёкен. Сначала ручку!

Жан. Ну, так пеняйте же на себя!

Фрёкен. За что?

Жан. За что? Не ребенок же вы — в двадцать пять лет! Неужели вы не знаете, что играть с огнем опасно?

Фрёкен. Мне не опасно; я застрахована!

Жан *(смело).* Нет, не застрахована! А если бы и так — рядом с вами легко воспламеняющийся предмет!

Фрёкен. То есть вы, надо полагать?

Жан. Да! Не в том дело, что именно я, но поскольку я мужчина и молод...

Фрёкен. И хорош собою... Какое, однако, богатое воображение! Быть может, вы Дон Жуан? Или прекрасный Иосиф! Да-да, я уверена, он прекрасный Иосиф!

Жан. Вы уверены?

Фрёкен. Даже почти боюсь!

Жан смело подходит к ней и пытается обнять и поцеловать.

Фрёкен *(дает ему пощечину).* Не смей!

¹ Будьте осторожны. Все-таки я мужчина! *(фр.)*

Жан. Вы это в шутку? Или серьезно?

Фрёкен. Серьезно!

Жан. Стало быть, и раньше серьезно было! Слишком уж вы серьезно играете, смотрите, это опасно! А мне играть надоело, и прошу меня уволить, я должен вернуться к моим обязанностям. Надо вовремя подать сапоги графу, а сейчас давно уже за полночь.

Фрёкен. Оставьте вы эти сапоги!

Жан. Нет! Это моя служба, и я обязан ее нести, да я никогда и не метил к вам в развлекатели, и не буду никогда, я слишком хорош для этого!

Фрёкен. Вы гордый!

Жан. В иных случаях да, в других — нисколько.

Фрёкен. Любили вы когда-нибудь?

Жан. У нас это слово не в ходу, но мне многие девушки нравились, а один раз в жизни я даже просто заболел из-за того, что одна девушка для меня была недоступна. Заболел, знаете ли, прямо как эти принцы из «Тысячи и одной ночи» — не ел, не спал от любви!

Фрёкен. И кто же была она?

Жан молчит.

Кто же была она?

Жан. А вот этого вы не заставите меня сказать.

Фрёкен. Но если я прошу вас, как друга, как равного? Кто была она?

Жан. Это были вы!

Фрёкен (*садится*). Прелестно!

Жан. Да, если угодно! И даже смешно! Это, понимаете ли, та самая история, которой я не хотел касаться, но теперь уж я все расскажу!

Знаете ли вы, каким кажется мир, если смотришь на него снизу? Нет, откуда ж вам знать! Он кажется чем-то похожим на соколов и ястребов, у которых не видно спин, ведь они парят в вышине! Я рос в доме статара, нас было семеро детей, и одна свинья на сером поле, где не стояло ни деревца! Но из окошка я видел стену графского сада и яблони за нею. Как райский сад. И злые ангелы с огненными мечами его стерегли. Я да и другие мальчишки тоже нашли, однако же, путь к древу жизни — вы презираете меня?

Фрёкен. Ах, мальчишки вечно яблоки таскают.

Жан. Это вы только так говорите, а сами меня презираете! Ну, да все равно! Как-то раз я пришел в райский сад вместе с матерью, лук полоть. Там, где начинался сад, стоял турецкий павильон в тени жасминов, весь в кустах жимолости. Я не знал, для чего служит этот павильон, но в жизни еще я не видывал такой красоты. В него входили, из него выходили, весь день не закрывались двери. Я заглянул внутрь и увидел на стенах портреты императоров и королей, а на окнах красные гардины с бахромой — ну, сами понимаете. Я... (*отламывает ветку сирени и подает ее фрёкен*)

в замке не бывал, ничего не видел, кроме церкви, — но тут было красивей; и куда б ни уносился я потом в мечтах, я возвращался обратно — туда. И понемногу мной овладело желание хоть разок увидеть всю эту роскошь — словом, я прокрался туда, смотрел и дивился. И вдруг кто-то входит! Для господ в павильоне был только один выход, ну, а для меня сыскался другой, и мне ничего не оставалось, как им воспользоваться!

Фрёкен роняет ветку сирени на стол.

Потом я пустился бегом, пробрался сквозь заросли малины, потоптал клубнику и выбежал к розовым кустам. И там увидел я розовое платьице, белые чулочки — это были вы. Я затаился в сорняках, меня колот репейник, от земли ужасно воняло. А я смотрел, как вы проходите среди роз, и думал: если и вправду разбойнику можно было взойти на небо и очутиться среди ангелов, почему же сыну статара здесь, на божьей земле, нельзя войти в графский парк и поиграть с графской дочкой!

Фрёкен (*задумчиво*). И вы полагаете, каждый бедный ребенок так же точно подумал бы на вашем месте?

Жан (*сначала неуверенно, потом убежденно*). Каждый бедный... да! Конечно! Конечно!

Фрёкен. Страшное, вероятно, несчастье — быть бедным!

Жан (*с глубокой горечью, шаржированно*). Ах, фрёкен Жюли! Ах! И собаке дано лежать на графской кушетке, лошади дано ощущать мордую нежную ручку юной графини, но мальчишка... (*другим тоном*) да-да, кое у кого и хватит духу выкарабкаться, но часто ли это бывает! Словом, знаете, что я тогда сделал? Я, как был, во всей одежонке плюхнулся в мельничный ручей; меня оттуда вытащили и отодрали. Но в воскресенье, когда отец и все домашние собрались в гости к бабушке, я устроил так, чтоб остаться дома. И тут уж я вымылся мылом и теплой водой, разрядился, как мог, и отправился в церковь, где надеялся вас увидеть! Я вас увидел и пошел домой в полной решимости умереть; но умереть красиво и удобно, без боли. И тут я вспомнил, что вредно спать под кустами бузины. У нас был большой куст бузины, и как раз она цвела. Я всю ее оборвал, натолкал в ларь с овсом и улегся там спать. Замечали вы, как гладок овес? Нежный под рукой, словно человеческая кожа!.. Меж тем я закрыл крышку и задремал; проснулся я, и точно, совсем больным. Но не умер — как видите. Сам не знаю, чего я добивался! Вы были совершенно недостижимы — но я понял, глядя на вас, что для меня нет никакой возможности выбиться из того круга, в котором я рожден.

Фрёкен. А ведь вы прелестно рассказываете, знаете ли! Вы учились в школе?

Жан. Немного. Но я немало романов прочел и в театры хаживал. Вдобавок я часто слушал разговоры благородных господ и всего более от них научился.

Фрёкен. Значит, вы стоите и слушаете наши разговоры?

Жан. Конечно! И чего только я, к примеру, не наслушался! Когда на козлах сажу или на лодке гребу. Как-то раз слушал, как фрёкен Жюли разговаривала с подружкой...

Фрёкен. Да? И что же такое услышали?

Жан. Ха-ха, об этом лучше помалкивать; я даже удивился, откуда это вы таких выражений набрались. Может, в сущности-то, между людьми различие не столь и большое?

Фрёкен. Как не стыдно! Уж у нас не водится такого, как у вас, между женихом и невестой.

Жан (*пристально смотрит на нее*). Точно ли? Но, по мне-то, вам и незачем оправдываться...

Фрёкен. Я отдала свою любовь ничтожеству.

Жан. Это вы всегда так говорите — потом.

Фрёкен. Всегда?

Жан. Думаю, что всегда, поскольку много раз слышивал такие слова при подобных обстоятельствах.

Фрёкен. При каких обстоятельствах?

Жан. Как вышеозначенное! Последний раз...

Фрёкен (*встает*). Довольно! Я не желаю больше слушать!

Жан. Вот и она не желала! Примечательно. Впрочем, прошу позволения уйти и лечь спать.

Фрёкен (*мягко*). Спать — в Иванову ночь!

Жан. Да! Мне вовсе не хочется отплясывать в их компании.

Фрёкен. Так возьмите ключ от лодки и покатайте меня по озеру; хочу посмотреть на восход!

Жан. Разумно ли это будет?

Фрёкен. Можно подумать, вы боитесь за свою репутацию!

Жан. Почему бы нет? Я не хочу, чтоб меня подняли на смех, не хочу, чтоб меня прогнали без рекомендательного письма. И кажется, у меня есть кое-какие обязательства по отношению к Кристине.

Фрёкен. Ах, ну да, Кристина...

Жан. Но речь и о вас. Послушайтесь моего совета, идите ложитесь спать!

Фрёкен. Прикажете вам повиноваться?

Жан. На сей раз — да! Ради вашего же блага! Прошу вас! Глубокая ночь, ужасно спать хочется, горит голова! Идите ложитесь! К тому же, если я не ошибаюсь, сюда идут, это за мной! И если нас застанут — вы погибли!

Хор голосов (приближаясь):

Две девушки шли по дорожке!
Тридири-ра, три-ди-ра.
Одна промочила ножки!
Тридири — ра-ра.

Болтали о миллионах!
Тридири-ра, три-ди-ра,
А ветер пел в карманах!
Тридири — ра-ра.

Тебе венок сплетаю!
Тридири-ра — три-ди-ра.
Но о другом мечтаю!
Тридири — ра-ра.

Фрёкен. Я знаю народ и люблю его, да и они меня любят. Пусть войдут, вы сами увидите!

Жан. Нет, фрёкен Жюли, не любят они вас. Они едят ваш хлеб, но они и плюют на него! Поверьте! Послушайте, послушайте только, что они поют! Нет, лучше не слушайте!

Фрёкен (*вслушиваясь*). Да что они поют?

Жан. Песенку про вас сочинили!

Фрёкен. Это гадко! Фи! Эдак исподтишка!

Жан. Сброд всегда труслив. Но нам надо бежать!

Фрёкен. Бежать? Куда же? В сад нельзя! И к Кристине мы не можем!

Жан. Значит — ко мне? Нам ничего другого не остается. И вы можете положиться на меня, я же ваш истинный, верный и преданный друг!

Фрёкен. Но подумайте! А вдруг вас искать начнут?

Жан. Я дверь на засов запру, а станут ломиться — стрелять буду! Идемте же. (*Становится на колени.*) Идемте!

Фрёкен (*со значением*). Вы мне обещаете?..

Жан. Клянусь!

Фрёкен бросается вправо. Жан спешит за нею.

БАЛЕТ

Крестьяне в праздничных нарядах, с цветами на шляпах; впереди скрипач; ставят на стол большую бочку браги и маленький бочонок водки, разукрашенные зеленью; вынимают стаканы. Все пьют. Потом встают в кружок, танцуют и поют «Две девушки шли по дорожке». Затем уходят, продолжая петь.

Фрёкен входит одна; видит разгром на кухне; всплескивает руками; потом вынимает пудреницу и пудрится.

Жан (*входит, возбужденно*). Видите! И вы же слышали! И вы считаете, что можно здесь оставаться?

Фрёкен. Нет! Я этого не считаю! Но что же нам делать? **Жан.** Бежать, уехать, далеко-далеко!

Фрёкен. Уехать? Но куда?

Жан. В Швейцарию, на итальянские озера; бывали вы там?

Фрёкен. Нет! Там хорошо?

Жан. О, вечное лето, апельсины, лавры — о!

Фрёкен. Но что мы там делать будем?

Жан. Я открою отель самого высшего разряда для самых отборных посетителей.

Фрёкен. Отель?

Жан. Вот это жизнь — уж поверьте; без конца новые лица, разная речь; ни минуты свободной для тоски и нервного расстройства; не надо искать занятий — работы хватает; день и ночь

звенит колокольчик, свистит поезд, приходит и отходит омнибус, а золотые так и сыплются на конторку. Вот это жизнь!

Фрёкен. Да, жизнь. А как же я?

Жан. Хозяйка дома, украшение фирмы. С вашей-то внешностью... и вашим воспитанием — о! — верный успех! Колоссальный успех! Вы, как королева, сидите за конторкой, только жмете на электрический звонок и приводите в движение рабов; посетители проходят перед вашим тронem и робко слагают перед вами свои сокровища — вы не поверите, как люди дрожат, когда берут в руки счета — уж я им их подперчу, зато вы подсластите своей прелестной улыбкой — ах, уедем отсюда! *(Вытаскивает из кармана расписание поездов.)* Сейчас! С первым же поездом! Мы будем в Мальмё в шесть тридцать; рано поутру, в восемь сорок, — мы уже в Гамбурге; Франкфурт — Базель — это один день, и — до Комо по Готтардской дороге, постойте-ка — три дня. Три дня!

Фрёкен. Все это превосходно! Но, Жан, ты уж подбодри меня. Скажи, что любишь! Ну, обними меня!

Жан *(неуверенно)*. Хотел бы — да не смею! Не здесь. Я люблю вас — без сомненья — как можете вы сомневаться?

Фрёкен *(робко, по-женски)*. «Вы»! Говори мне «ты»! Какие теперь церемонии! Говори мне ты!

Жан *(с болью)*. Не могу! Церемонии остаются, пока мы здесь, в этом доме. Есть прошлое, есть граф — а я никогда ни к кому не питал такого почтения: только увижу на стуле его перчатки — и уже чувствую свое ничтожество, только услышу звонок наверху — и сразу вздрагиваю, будто пугливый конь, и сейчас вот вижу, как стоят его сапоги — прямо, дерзко — и у меня аж мурашки по спине! *(Толкает ногой сапоги.)* Да, суеверия, предрассудки, которые вдолбили вам с детства, но их ведь легко и забыть. Только уехать в другую страну, где республика, и там будет пресмыкаться перед моим швейцаром, да, пресмыкаться! Но сам-то я не таков! Я не рожден пресмыкаться, во мне есть твердость, есть характер, мне только уцепиться за первую ветку — и вы увидите, как я полезу наверх! Сегодня я слуга, а на другой год, глядишь, предприниматель, через десять лет стригу купоны, а там уеду в Румынию, выхлопочу орден и могу — заметьте, я говорю «могу», — кончить графским титулом!

Фрёкен. Прекрасно, прекрасно!

Жан. Ах, в этой Румынии графские титулы продаются, так что вы будете все равно графиня! Моя графиня!

Фрёкен. Зачем мне все, что я сама сейчас отрунула! Скажи, что любишь — не то... не то что же будет со мной?

Жан. Скажу, скажу, еще тысячу раз скажу, но потом! Не здесь! А покамест — никаких чувств, или все пропало! Мы должны смотреть на вещи холодно, как люди разумные. *(Берет сигару, обрезает и закуривает.)* Сядьте вот тут! А я сяду тут, и поговорим, будто ничего не произошло.

Фрёкен *(отчаянно)*. Господи! Что же вы, совсем бесчувственный?

Жан. Я-то? Да чувствительней меня никого нет; просто я умею сдерживаться.

Фрёкен. Только что целовал мои туфли — и вот!

Жан (*строго*). То — раньше! А теперь о другом надо подумать.

Фрёкен. Не говори со мной так жестоко!

Жан. Не жестоко! Просто умно. Одну глупость сделали, и довольно. Граф может явиться с минуты на минуту, и до тех пор надо решить нашу судьбу. Какого вы мнения о моих планах? Нравятся они вам?

Фрёкен. Планы неплохие, но вот вопрос: для такого большого дела требуется и большой капитал; есть он у вас?

Жан (*жует сигару*). У меня? Еще бы! У меня сноровка, мой неслыханный опыт, знание языков! Неплохой, я думаю, капиталец!

Фрёкен. На который не купишь и железнодорожного билета.

Жан Совершенно справедливо-с; потому мне и нужен антрепренер, который бы меня снабдил деньгами.

Фрёкен. Где же его так скоро найдешь?

Жан. Это уж вам искать, если вы хотите быть моим компаньоном!

Фрёкен. Нет, это я не могу, и у самой у меня ничего нет.

Пауза.

Жан. Тогда предприятие рушится...

Фрёкен. Ох...

Жан. Пусть все будет по-прежнему!

Фрёкен. Неужто вы думаете, что я останусь в этом доме — вашей наложницей? И буду смотреть, как в меня тычут пальцами! И осмелюсь взглянуть в глаза своему отцу! Нет! Прочь отсюда, от унижения, позора! Ох, что я наделала! Господи! Господи! (*Плачет.*)

Жан. Ну вот, начинается! Что вы такое наделали? Не вы первая, не вы последняя.

Фрёкен (*кричит, сама не своя*). И вы же и презираете меня! Я падаю, падаю!

Жан. Падайте на меня, я вас приподниму!

Фрёкен. Какой страшной властью меня к вам влекло? Что это было? Тяготенье слабого к сильному? Падающего к восходящему? Или то была любовь? И это — любовь? Да знаете ли вы, что такое любовь?

Жан. Я-то? О, уж не сомневайтесь! Думаете, я до вас и не был ни с кем?

Фрёкен. Какие слова, какие мысли!

Жан. Так уж я учен, таков уж я есть! Ну, не будем нервничать и благородство корчить, мы ведь одним миром мазаны! Послушайка, милочка, иди-ка сюда, я тебя винцом попотчую! (*Открывает ящик стола, вынимает вино; наливает в немывтые стаканы.*)

Фрёкен. Откуда у вас это вино?

Жан. Из погреба!

Фрёкен. Бургундское моего отца!

Жан. А для зятя его слишком жирно? Как?

Фрёкен. А я пью пиво!

Жан. Это доказывает лишь одно — что вкус ваш грубее моего.

Фрёкен. Вор!

Жан. Желаете на меня донести?

Фрёкен. Ох! Пособница домашнего воришки! Уж не напилась ли я, не во сне ли я все это сделала? Иванова ночь! Праздник невинных забав...

Жан. Да уж, невинных!

Фрёкен (*ходит по кухне*). Есть ли сейчас на свете человек несчастнее меня?

Жан. Отчего это вы так несчастны? После эдакой победы? Подумали бы хоть про Кристину! У нее ведь тоже небось чувства есть!

Фрёкен. Да, раньше я так думала, теперь уж не думаю. Нет, плебей остается плебеем!

Жан. А шлюха — шлюхой!

Фрёкен (*падает на колени, ломает руки*). Ох, господи, возьми ты у меня эту ненужную жизнь! Возьми меня из грязи, в которой я увязаю! Спаси меня! Спаси меня! Господи!

Жан. Не скрою, мне вас жаль! Когда я лежал на грядке с луком и смотрел, как вы гуляете среди роз, у меня... теперь-то уж можно признаться... были точно такие же нечистые мысли, как и у любого другого мальчишки.

Фрёкен. И вы хотели из-за меня умереть!

Жан. От бузины-то? Да это я так, наболтал.

Фрёкен. Вы солгали?

Жан (*сонно*). Вроде того! Собственно, я вычитал в газете историю про одного трубочиста, который улегся в дровяной ларь, набитый сиренью, когда его приговорили к уплате денег на ребенка...

Фрёкен. Вот вы, значит, какой...

Жан. А что мне было еще придумать; женщины, известное дело, падки на разные побрякушки!

Фрёкен. Негодяй!

Жан. Дрянь!

Фрёкен. Да, увидели ястреба со спины-с...

Жан. Ну, почему же со спины...

Фрёкен. И я оказалась первой веткой...

Жан. Ветка-то гнилая...

Фрёкен. И мне назначалось стать отелльной вывеской...

Жан. А мне — отелем...

Фрёкен. Сидеть за вашей конторкой, приманивать ваших клиентов, писать фальшивые счета...

Жан. Это я бы уж и сам...

Фрёкен. Какой же грязной может быть душа человеческая!

Жан. Вот бы и постирали ее!

Фрёкен. Лакей, слуга, встать, когда я с тобой говорю!

Жан. Лакейская полюбовница, подружка слуги, заткни глотку

и проваливай. Ты еще будешь упрекать меня в низости! Уж так низко, как ты себя сегодня вела, ни одна бы из простых девушек себе не позволила. Думаешь, наши девушки так лезут к мужчинам? Видала ты когда, чтоб девушка из простого звания так предлагалась? Такое я видел только у зверей да потаскух!

Фрёкен (*потерянно*). Да, правда, бей меня, топчи. Я лучшего не заслужила. Я дрянь. Но помоги мне. Помоги мне из этого выбраться, если только возможно!

Жан (*мягче*). Ну, соблазнил я вас, да, не стану отнекиваться от эдакой чести. Но неужто же вы думаете, что человек в моем положении осмелился бы на вас даже глаза поднять, если б вы сами его не поощряли! Я до сих пор изумлен...

Фрёкен. И горд...

Жан. Отчего бы нет? Хотя, должен признаться, победа далась мне чересчур легко, чтобы как следует опьянить.

Фрёкен. Добивайте!

Жан (*встает*). Нет! Напротив, вы уж извините мне все, что я тут наговорил! Я не быю безоружного, тем более женщину. Не буду отрицать, мне даже приятно было увидеть, что золото, ослеплявшее нас, оказалось сусальным, что спина-то у ястреба тоже серенькая, что нежные щечки напудрены, под полированными ноготками траур, что платочек-то хоть надушен, а грязноват... Но, с другой стороны, я разочарован, что предмет моих воздыханий не оказался повыше, покрепче, я с тоскою гляжу на то, как низко вы пали, стали ниже гораздо вашей кухарки; с тоскою гляжу, будто на моих глазах сорвало ветром осенние цветы и они смешались с грязью.

Фрёкен. Вы так говорите, будто вы уже выше меня.

Жан. А что же? Я бы еще мог из вас сделать графиню, а вы меня графом — никогда.

Фрёкен. Зато я рождена от графа, а это уж вам не дано!

Жан. Верно. Но от меня могли бы родиться графы — если б...

Фрёкен. Но вы вор. А я нет.

Жан. Вор — это еще не самое худшее! Бывает похуже! К тому же — когда я служу в доме, я себя почитаю в некотором роде членом семейства, я тогда как бы его чадо, и разве это воровство, если чадо сорвет одну ягодку с пышного куста! (*В нем вдруг снова пробуждается страсть.*) Фрёкен Жюли! Вы дивная женщина, вы чересчур для меня хороши! Вы оказались во власти опьянения и хотите скрыть от себя свою ошибку, воображая, будто любите меня! Не любите вы меня, ну разве что вас привлекает моя внешность... а тогда любовь ваша ничуть не лучше моей... но я-то никогда не соглашусь быть для вас просто животным, любви же вашей истинной мне не вызвать вовек.

Фрёкен. Вы убеждены?

Жан. Вы хотите сказать, что это возможно! То, что я мог бы вас полюбить — о да, это несомненно! Вы такая красивая, изящная (*подходит и берет ее за руку*), образованная, обходительная, когда пожелаете, и уж кто воспылет к вам, тот никогда не

погаснет. *(Обнимает ее за талию.)* Вы как горячее вино с пряностями, один ваш поцелуй... *(Пытается увести ее; она тихонько высвобождается.)*

Фрёкен. Пустите меня! Уж этак-то вы меня не завоюете!

Жан. Но как же? Не этак! Не лаской, не красивыми словами. Не заботой о будущем, спасеньем от позора! Как же?

Фрёкен. Как? Как? Ничего не знаю! Вы мерзки мне, как крыса, но куда мне от вас бежать!

Жан. Бежим вместе!

Фрёкен *(воспрянув).* Бежать? Да, бежим! Но я так устала! Дайте мне стакан вина!

Жан наливает вино. Она смотрит на часики.

Но прежде поговорим; у нас есть еще немного времени. *(Выпивает вино; снова протягивает ему стакан.)*

Жан. Нельзя так много пить, напьетесь пьяная!

Фрёкен. Ну и что же?

Жан. И что же? Это плебейство — напиваться! Так о чем вы хотели поговорить?

Фрёкен. Бежать! Бежать! Но сначала нам нужно поговорить, то есть это я буду говорить, вы уже достаточно наговорили. Всю свою жизнь рассказали, ну, а теперь я расскажу вам свою, нам нужно хорошенько друг друга узнать, прежде чем вместе пускаться в странствие.

Жан. Минуточку! Простите! Подумайте, как бы вам потом не раскаться, что выдали тайны вашей жизни!

Фрёкен. Разве вы не друг мне?

Жан. В некотором роде! Но не следует вам на меня полагаться.

Фрёкен. Это вы только так говорите. Да и к тому же — тайны мои ни для кого не секрет. Знаете ли — мать моя не из дворян, она из совсем простой семьи. Она воспитывалась в духе своего времени, напичкана идеями о равенстве, свободе женщины и тому подобное; и питала просто отвращение к браку. И когда отец посватался к ней, она ответила, что никогда не выйдет за него замуж, но... все-таки вышла. Я появилась на свет, насколько могу понять, вопреки ее воле. И вот она принялась меня воспитывать как дитя природы, да вдобавок учила еще всему тому, чему учат мальчиков, чтоб на моем примере, значит, доказать, что женщина не хуже мужчин. Меня одевали как мальчика, учили ходить за лошадьми и близко не подпускали к скотному; я чистила лошадей, запрягала, я ездила на охоту, меня даже с земледелием ознакомили! И вообще у нас мужчины делали женскую работу, а женщины — мужскую, и скоро имение наше начало разоряться, а вся округа смеялась над нами. В конце концов отец прозрел и восстал, и все переменялось по его воле. Мать заболела — что это за болезнь, не знаю, — но у нее часто бывали судороги, она пряталась на чердаке, в саду, иногда по целым ночам там оставалась. И тогда-то случился пожар, про который вы слышали. Дом сгорел, конюшни, скотный, и обстоятельства наводили на мысль о поджоге, потому

что несчастье произошло на следующий же день после того, как вышел срок квартальному платежу по страховке, а взнос, посланный отцом, задержался по нерадивости посыльного. *(Наполняет стакан и пьет.)*

Жан. Больше не пейте!

Фрёкен. Ах, да не все ль равно! Мы всего лишились, мы ночевали в каретах. Отец не знал, где раздобыть денег, чтоб отстроить дом. И тут мать дает ему совет взять займы у одного ее друга юности, хозяина кирпичной фабрики, тут неподалеку. Отец берет займы, и, к его великому изумлению, с него не требуют никаких процентов. Так и отстроили дом! *(Снова пьет.)* А знаете, кто поджег?

Жан. Госпожа матушка ваша!

Фрёкен. А знаете, кто был хозяин кирпичной фабрики?

Жан. Любовник вашей матушки?

Фрёкен. А знаете, чьи были деньги?

Жан. Постойте-ка... Нет, не знаю.

Фрёкен. Моей матери!

Жан. Стало быть, и графа, ведь так по брачному договору?

Фрёкен. Брачный договор ни при чем. У матери было свое небольшое состояние, она не хотела, чтоб отец наложил на него руку, и потому отдала... другу.

Жан. Который все и слямзил!

Фрёкен. Совершенно справедливо! Он оставил деньги себе! И вот все доходит до сведения отца, но не может же он начинать тяжбу, не платить любовнику жены, доказывать, что деньги ее! Так мать отомстила ему за то, что он взял власть над нею. Он тогда застрелиться хотел! Говорили, даже пытался, но неудачно! Но он остается жить, а мать расплачивается за свои поступки. В этом прошло пять лет моей жизни! Я любила отца, но была на стороне матери, я же ничего не знала. Она и научила меня презирать и ненавидеть мужчин — сама-то она, как вы сейчас слышали, их ненавидела, — и я ей поклялась, что никогда не стану рабой мужчины.

Жан. То-то вы и обручились с фогтом!

Фрёкен. Именно, чтобы сделать его своим рабом.

Жан. Ну, а он не захотел?

Фрёкен. Очень даже захотел, да не вышло у него. Он мне надоел!

Жан. Да, я все видел — в конюшне.

Фрёкен. Что вы видели?

Жан. А то и видел, как он помолвку порвал.

Фрёкен. Ложь! Это я порвала! Неужто он, подлец, утверждает, будто бы он порвал?

Жан. Никакой он не подлец! Вы, фрёкен, ненавидите мужчин?

Фрёкен. Да, обычно! Но иногда, когда на меня находят слабость, ох!

Жан. И меня, стало быть, ненавидите?

Фрёкен. Безмерно! Я бы вас велела пристрелить, как зверя...

Жан. Как стреляют бешеную собаку? Да?

Фрёкен. Именно так!

Жан. Но у вас нет ружья. Да и собаки здесь нет! Что ж нам делать?

Фрёкен. Бежать!

Жан. Чтоб вконец истерзать друг друга?

Фрёкен. Нет, чтобы два дня, восемь дней — сколько сможем — наслаждаться, а после — умереть...

Жан. Умереть? Какие глупости! Лучше уж открыть отель!

Фрёкен (*продолжает, не слушая его*). ...на озере Комо, где зеленеет лавр на рождество и апельсины рдеют.

Жан. На озере Комо вечно хлещут дожди, апельсины я там видел только в лавках зеленщиков; зато иностранцам там раздолье, влюбленным парочкам охотно сдают виллы, и это весьма выгодно — знаете отчего? О, контракт они заключают на полгода, а съезжают недели через три!

Фрёкен (*простодушно*). Почему же недели через три?

Жан. Да расходятся. А все равно платят! Виллу сразу же сдают снова. И так без конца — любви хватает, хоть она всякий раз и коротенькая!

Фрёкен. Вы не хотите умереть вместе со мной?

Жан. Я вообще не хочу умирать! Поскольку я люблю жизнь, а кроме того, я считаю самоубийство грехом против Провидения, даровавшего нам жизнь.

Фрёкен. И вы — вы — в бога веруете?

Жан. Конечно, верую! Я каждое воскресенье в церковь хожу. Но, говоря откровенно, я уже от всего этого устал, и сейчас я иду спать.

Фрёкен. И вы полагаете, я это допущу? Знаете ли вы, в каком долгу мужчина перед женщиной, которую он обесчестил?

Жан (*вынимает из бумажника и швыряет на стол серебряную монету*). Вот! Не хочу оставаться в долгу!

Фрёкен (*стараясь не замечать оскорбления*). Знаете ли вы, к чему обязывает закон...

Жан. К сожалению, закон не наказывает женщину, которая соблазнила мужчину!

Фрёкен. Видите ли вы какой-то иной выход, кроме того, чтоб нам уехать, обвенчаться и развестись?

Жан. А если я уклонюсь от такого мезальянса?

Фрёкен. Мезальянса...

Жан. Да, для меня! Сами поймите: мой род благороднее вашего, у нас поджигателей не было!

Фрёкен. Откуда вам знать?

Жан. Но и противоположного нельзя знать, у нас нет родословного древа — разве что в полиции! Зато насчет вашей родословной я вычитал в одной книжке в гостиной на столе. Знаете, кто основал ваш род? Мельник, с женой которого провел одну ночь король во время датской войны. Нет, у меня-то нет таких предков! У меня и вообще-то нет предков, я зато сам могу предком стать!

Фрёкен. Вот мне — за то, что я открыла сердце недостойному, предала фамильную честь...

Жан. Выдала позор семейный! Видите — я же говорил! Нечего пить, от спиртного язык развязывается. А кое-кому не следовало бы болтать!

Фрёкен. О, как я казню себя! Как раскаиваюсь! И если б вы хоть любили меня!

Жан. В последний раз спрашиваю — чего вам от меня надо? Рыдать мне, прыгать через хлыст, целовать вас, умыкнуть на три недели к озеру Комо, а после... Так, что ли? Чего вам надо? Это уже делается несосно! Да, нечего было совать нос в бабьи дела! Фрёкен Жюли! Я вижу — вы несчастны, я вижу — вы мучаетесь, но я не могу вас понять. У нас этих тонкостей не водится; но у нас и ненависти этой нет! Для нас любовь — игра, когда время позволяет, только мы же не болтаемся без дела день и ночь, как вы! По-моему, вы больная; вы просто-напросто больная.

Фрёкен. Вы не должны меня обижать; и наконец-то вы заговорили как человек.

Жан. Да, но будьте сами-то человеком! Сами на меня плюете, а не даете утереться — об вас!

Фрёкен. Помоги мне, помоги. Только скажи — что мне делать? Куда деваться?

Жан. Господи Иисусе, если б я знал!

Фрёкен. Я рехнулась, я с ума сошла, но неужто же мне нет никакого спасения!

Жан. Оставайся тут и успокойся! Никто ничего не знает!

Фрёкен. Нельзя! Люди знают! Кристина знает!

Жан. Ничего они не знают, они б даже и не поверили!

Фрёкен (*запинаясь*). Но ведь это может повториться!

Жан. Верно!

Фрёкен. А последствия?

Жан (*испугавшись*). Последствия! И где была моя голова! Да, тогда только одно — подальше отсюда! Сейчас же! Я с вами не еду, не то все пропало, езжайте одна — куда угодно!

Фрёкен. Одна? Куда? Не могу!

Жан. Надо! И скорей, пока не вернулся граф! Останетесь — сами знаете, что из этого выйдет! Кто однажды согрешил, станет рабом греха... И будет все смелей и смелей, и глядишь — попался! Скорей уезжайте! А после напишете графу и покаетесь во всем, только меня не выдавайте! Сам он не догадается! Да и не очень-то ему надо дознаваться!

Фрёкен. Я еду, если вы со мною!

Жан. С ума вы, что ль, сошли? Фрёкен Жюли удрала с лакеем! Послезавтра газеты все пропечатают, и графу этого не пережить!

Фрёкен. Не могу я ехать! И остаться не могу! Помоги! Я устала, я так безмерно устала... Приказывай! Подтолкни меня! Я уж ни думать, ни действовать больше не могу!..

Жан. Видите, какие вы скоты! И зачем только пыжиться и носы задирать, будто вы творцы мироздания! Ладно! Приказываю!

Идите к себе, оденьтесь. Захватите денег на дорогу и спускайтесь обратно!

Фрёкен (*тихо*). Пойдем со мной!

Жан. В вашу комнату? Ну вот, опять вы с ума сходите! (*Секунду помедлив.*) Нет! Живо идите наверх! (*Выводит ее за руку со сцены.*)

Фрёкен (*на ходу*). Жан! Не надо так со мной говорить!

Жан. Приказ — всегда грубость! Пора и вам это узнать! Пора!

Жан один. Он испускает вздох облегчения; садится к столу; вынимает блокнот и перо; вслух что-то подсчитывает; затем немая мимическая игра, пока не входит Кристина. Она приоделась, собирается в церковь, в руке у нее манишка и белый галстук.

Кристина. Господи Иисусе! Ну и картина! Что это вы тут делали?

Жан. А-а, это фрёкен людей завала. Ты что — так спала крепко? Неужели не слыхала ничего?

Кристина. Спала как убитая!

Жан. И уже для церкви разрядилась?

Кристина. И-и! А ведь и ты обещался со мной нынче к исповеди пойти!

Жан. Что верно, то верно! Ты уж, гляжу, мне и облачение принесла! Иди-ка сюда! (*Садится.*)

Кристина прилаживает на нем манишку и белый галстук. Пауза.

(*Он говорит сонно.*) Какое сегодня евангелие?

Кристина. Да будто б про усекновение главы Иоанна Предтечи!

Жан. Ух, это такая тягомотина! Ой, не царапайся! Ах, как спать хочется, как хочется спать!

Кристина. И чего это ты всю ночь-то не ложишься? Аж зеленый весь.

Жан. Я тут сидел и беседовал с фрёкен Жюли.

Кристина. А ей и невдомек, как полагается прилично себя вести!

Пауза.

Жан. Послушай-ка, Кристина!

Кристина. Ну, чего?

Жан. Да просто удивления достойно, как подумаешь... Она!

Кристина. Что — удивления достойно?

Жан. Да все!

Пауза.

Кристина (*видит на столе стаканы с остатками вина*). Так вы тут вдвоем выпивали?

Жан. Да!

Кристина. Фу-ты! А ну глянь-ка мне в глаза!

Жан. Да!

Кристина. Неужели же? Неужели?

Жан (*подумав*). Да! Именно!

Кристина. Ух! Вот уж не гадала! Нет! Ух!

Жан. Ты ведь меня к ней не ревнуешь?

Кристина. К ней-то! Да будь это Клара или Софи — уж я б тебе глаза повыцарапала! Такие дела. А почему — и сама не знаю. Ух, гадость-то какая!

Жан. Ты что — злишься на нее?

Кристина. Да на тебя же! Нехорошо, ах как нехорошо! Бедная! Нет, знаешь что! Не хочу я больше жить в этом доме, если тут не уважают собственных хозяев.

Жан. А за что их уважать-то?

Кристина. Да, скажи-ка, ты ведь у нас больно хитер! Небось и самому служить неохота тем, которые себя ведут неприлично? А? Даже стыдно, как я погляжу.

Жан. Да, но ведь это для нас утешенье, что другие ничуть нас не чище!

Кристина. Ничего не утешение; ведь если уж они не чище, так зачем и стараться-то почище стать. И про графа подумай! Сколько он, бедный, в свое время горя натерпелся! Нет, не хочу я больше оставаться в этом доме. Да вдобавок с таким, как ты! Добро бы еще с королевским фогтом; добро бы с кем почище...

Жан. Это еще что?

Кристина. Да! Да! Не так уж ты и плох, конечно, но нельзя же всех равнять! Нет! Я этого никогда не забуду! Фрёкен! Гордая фрёкен, так всегда не любила мужчин, я уж думала, она вовек ни с кем и не будет... и вот на! Дианку бедную пристрелить хотела за то, что та с дворовым кобелем снюхалась! И надо же! Нет, не останусь я тут и к двадцать четвертому октября уберусь отсюда.

Жан. Ну, а дальше что?

Кристина. Да, коли уж об этом речь зашла, пора бы тебе прискаты себе что-нибудь, раз мы собираемся пожениться.

Жан. Чего прискивать? Другого такого места мне женатому не видать.

Кристина. Уж это само собою! Но можно в швейцары наняться или куда-нибудь на фабрику в стороне. На казенных хлебах не больно разъешься, зато вернее они, да и пенсия жене и детишкам положена...

Жан (*поморщившись*). Все это прелестно, но не в моем это духе заранее думать о смерти ради обеспечения жены и детей. Признаться, у меня виды поинтересней.

Кристина. Виды! Скажите! У тебя небось и обязанности есть! Вот и подумай про них!

Жан. Не зли ты меня этими своими разговорами про обязанности. Без тебя знаю, что мне надо делать! (*Прислушивается*.) У нас еще будет время обо всем потолковать. Иди собирайся, и пойдем вместе в церковь.

Кристина. Кто там ходит наверху?

Жан. Не знаю. Может, Клара?

Кристина (*уходя*). Не граф же это, неужели же он вернулся и чтоб никто не слышал.

Жан (*испуганно*). Граф? Нет, не может быть, он бы сразу позвонил.

Кристина (*уходя*). Ох, господи! Ну и дела!

Уже взошло солнце, осветило макушки деревьев; постепенно свет разливается и входит в окна. Жан идет к дверям и подает знак. Фрёкен входит, она в дорожном платье, несет птичью клетку, прикрытую платком, и ставит ее на стул.

Фрёкен. Ну вот, я готова.

Жан. Тс-с! Кристина проснулась!

Фрёкен (*всю последующую сцену она очевидно нервничает*). Не догадалась?

Жан. Ничего не знает! Господи, что у вас за вид!

Фрёкен. Что такое? Какой вид?

Жан. Вы бледная как смерть, и — прошу прощенья-с, но у вас лицо грязное.

Фрёкен. Так надо умыться! (*Идет к умывальнику, умывается.*) Дай мне полотенце! О! Уже и солнце встало!

Жан. И ночному троллю пришел конец!

Фрёкен. Да, это все были его проделки! Но послушай меня, Жан! Едем вместе, у меня теперь есть средства!

Жан (*неуверенно*). И достаточные?!

Фрёкен. Достаточные — для начала! Едем вместе, одна я не могу сегодня ехать. Подумай — праздник, переполненный вагон, толчея, и все будут глазеть на меня. И надо торчать на станциях, когда поскорее улететь хочется. Нет, не могу, не могу! И еще воспоминанья. Детские воспоминанья об этом празднике. Церковь убрана зеленью — березовыми ветками и сиренью. Потом обед за праздничным столом. Родственники, друзья. Ужин в саду, танцы, музыка, цветы, игры! Ох! Бежишь, а воспоминанья следуют за тобой в багажном вагоне, и раскаянье, и угрызения совести!

Жан. Хорошо, я еду. Но немедленно, пока не поздно. Сейчас же!

Фрёкен. Тогда собирайтесь. (*Берет в руки клетку.*)

Жан. И никакого багажа! Не то мы погибли!

Фрёкен. Да, никакого. Только то, что можно взять в купе.

Жан (*берется за шляпу*). Но что это у вас такое?

Фрёкен. Это просто мой чижик! Я его не могу бросить!

Жан. Ну и ну! Тащить с собой птичью клетку! Да вы с ума сошли! Оставьте вы ее!

Фрёкен. Единственное, что я беру с собою из дому; единственное живое существо, привязанное ко мне, ведь даже Диана предала меня! Не будь таким жестоким! Позволь мне взять его с собою!

Жан. Сказано — оставьте клетку! Да не надсаживайтесь вы так — Кристина услышит!

Фрёкен. Нет, я не оставлю его в чужих руках! Уж лучше убейте его!

Жан. Ну, давайте сюда эту тварь, я сверну ей шею!

Фрёкен. Только чтоб не больно! Нет... не могу я, нет!

Жан. Давайте! Я зато могу!

Фрёкен (*вынимает птичку из клетки и целует*). Ох, Серина, миленькая моя, твоя же хозяйка тебя и убьет, да?

Жан. Премного буду вам обязан — не закатывайте мне тут сцен; речь идет ведь о вашей собственной жизни, о вашем благополучии! Ну, живей! (*Вырывает птицу у нее из рук, несет к разделочной доске и берет кухонный нож.*)

Фрёкен отворачивается.

Вам бы научиться цыплят забивать, чем револьвером баловаться (*рубит*), тогда вы б не падали в обморок из-за одной капли крови.

Фрёкен (*кричит*). И меня убейте! Убейте! Если вы недогнувшей рукой можете убить невинное создание. О, я ненавижу вас, вы мне гадки. Между нами — кровь! Будь проклят тот час, когда я вас увидела, будь проклят тот час, когда я родилась на свет!

Жан. Ладно, что толку проклинать! Идемте!

Фрёкен (*подходит к разделочной доске, будто ее тянет туда против воли*). Нет, мне не пора еще. Я не могу... мне надо посмотреть... Тс-с! Карета подъехала... (*Прислушивается, не отрывая глаз от ножа и доски.*) Так вы думаете, я не могу видеть крови? Думаете, я слабая... о! — увидеть бы твою кровь, твой мозг на плахе, увидеть бы, как все ваше проклятое семя плавает в таком вот море... так бы, кажется, и пила из твоего черепа, ноги мыла б в твоей грудной клетке, так бы зажарила целиком и сожрала твое сердце! Ты думаешь, я слабая, думаешь, я тебя люблю, раз нутро мое возжаждало твоего семени; думаешь, я стану носить под сердцем твое отродье и питать его своею кровью — рожу тебе ребенка и приму твое имя! Слышишь ты, как тебя там? Я в жизни и не слыхивала твоей фамилии — у тебя небось и нет ее! Я бы стала фру Сторож или мадам Лакей — ты пес, и ты носишь мой ошейник, ты холоп, заклеянный моим гербом, и чтоб я тебя делила со своей кухаркой, стала соперницей своей служанки! Ох! Думаешь, я струшу, я удеру! Нет, я останусь, и пусть ударит гром! Отец вернется... увидит взломанное бюро... хватится денег! Он позвонит — вот в этот самый звонок... позвонит два раза, призовет лакея, пошлет его за ленсманом... а я во всем признаюсь! Во всем! О, какое счастье — покончить со всем! Только бы покончить! С ним будет удар, он умрет! Вот и настанет конец... и покой... и вечный мир! И над его гробом сломают наш герб — графский род угаснет... а лакейское отродье попадет в приют, будет пожинать лавры под забором и кончит за решеткой!

Жан. Ага, королевская кровь заговорила! Bravo, фрёкен Жюли! А мельника подальше упрячьте!

Входит Кристина, придевшаяся для церкви, с молитвенником в руке. Фрёкен бросается к ней на грудь, как бы ища у нее защиты.

Фрёкен. Кристина, помоги! Спаси меня от этого человека!

Кристина (*холодно, невозмутимо*). Что это вы за представление затеяли в праздник! (*Смотрит на разделочную доску*.) И насвинячили-то как! Это зачем? А еще орете!

Фрёкен. Кристина! Ты женщина и ты мне друг! Берегись этого мерзавца!

Жан (*несколько смутившись, робко*). Если дамам угодно потолковать, я, пожалуй, пойду побреюсь. (*Ускользает направо*.)

Фрёкен. Ты должна меня понять. И ты должна меня выслушать!

Кристина. Не пойму я никогда этого ничего. По мне — так надо себя блюсти. И чего это вы дорожное платье надели, куда собрались? А он тоже в шляпе! А?

Фрёкен. Выслушай, Кристина! Выслушай меня, и я тебе все расскажу...

Кристина. Не хочу я этого знать...

Фрёкен. Ты должна меня выслушать...

Кристина. Да про что речь? Про баловство про ваше с Жаном? Мне-то какое до этого дело? А вот если вы затеяли его за собой сманить — тут уж ничего у вас не получится!

Фрёкен (*очень нервно*). Кристина! Постарайся успокоиться и выслушай меня! Я не могу здесь оставаться, и Жан не может здесь оставаться, значит, нам надо уехать...

Кристина. Гм...

Фрёкен (*вдруг ободрившись*). Знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Вот если б нам поехать всем вместе, втроем... за границу... в Швейцарию... И мы бы вместе открыли отель... знаешь, ведь у меня есть деньги... мы с Жаном вели бы все дело, а ты, я подумала, хозяйничала бы на кухне... Разве плохо! Скажи же — да! Едем вместе, и все устроится! Ну, скажи — да! (*Обнимает Кристину*.)

Кристина (*холодно и неуверенно*). Гм...

Фрёкен (*все быстрее*). Ты ведь никогда не путешествовала, Кристина, тебе надо увидеть мир. Ты не поверишь, Кристина, какая это радость — ехать в поезде — беспрестанно новые лица... новые места... и вот мы приедем в Гамбург, пойдем в Зоологический сад... тебе там понравится... потом в театр... в оперу... а потом приедем в Мюнхен — там ведь музеи, и там Рубенс, Рафаэль, два величайших художника, ты сама знаешь... Ты ведь слышала про Мюнхен, там жил король Людвиг, король, который еще потом с ума сошел... И мы увидим его замки, знаешь, у него замки совершенно как сказочные... а оттуда уже и до Швейцарии рукой подать, и там, подумай, там Альпы стоят под снегом среди лета, и там растут апельсины и лавры, они зеленые круглый год...

Жан показывается справа, он правит бритву, держа ремень зубами и левой рукой, он слушает и время от времени одобрительно кивает.

(Фрёкен говорит еще быстрее.) И там мы снимем отель... я сижу за конторкой, а Жан стоит, принимает гостей... ну, ходит за покупками... письма пишет... О, это жизнь, поверь... то поезд свистит, то омнибус приходит, то в номерах звонят, то в ресторане... а я пишу счета, и уж я сумею их подперчить... ты не поверишь, как люди дрожат, когда берут в руки счета! А ты... ты сидишь королевой на кухне... Конечно, тебе не придется самой стоять у плиты... и ты сможешь показаться на люди нарядная и аккуратная... и с твоей внешностью... нет, я не лъщу... ты в один прекрасный день подцепишь мужа... богатого англичанина, знаешь, их ведь так легко (медленней) пленить... и вот мы богаты... мы строим виллу на озере Комо... там, правда, иногда дожди, но (совсем вяло) иной раз и солнце проглянет... хотя и пасмурно... а то... можно и домой вернуться... (пауза) сюда... или куда-нибудь еще...

Кристина. Послушайте! Сами-то вы в это верите?

Фрёкен (уничтоженная). Верю ли я?

Кристина. Да!

Фрёкен (устало). Не знаю. Я теперь ни во что, ни во что не верю. (Падает на скамью, облачивается на стол и роняет голову на руки.) Ни во что! Ни во что!

Кристина (поворачиваясь направо, к Жану). Надо же! Удрать хотел!

Жан. Удрать? Зачем такие слова! Ты же слышала, какие планы у фрёкен, и хотя она устала после бессонной ночи, планы очень здравы!

Кристина. Ну-ка, послушай! Значит, я, по-твоему, должна кухарить на эту...

Жан (резко). Будь любезна, выбирай выражения, когда говоришь в присутствии своей госпожи! Ясно?

Кристина. Госпожи!

Жан. Да!

Кристина. Ах, скажите! Послушайте его!

Жан. Нет, это ты послушай, а говори поменьше! Фрёкен Жюли — твоя госпожа, а за то, за что ты ее презираешь, тебе бы следовало ведь и себя презирать!

Кристина. Себя-то я всегда так уважала...

Жан. ...что можешь презирать других!

Кристина. ...что никогда не роняла себя. Поди-ка кто скажи, что графская кухарка путалась с конюхом либо с пастухом! Скажи!

Жан. Ну, тебе достался кое-кто почище; тебе счастье подвалило!

Кристина. Кое-кто почище! Который овсом из графской конюшни торговал...

Жан. А теперь расскажи про того, кто наживался на овощах и получал взятки с мясника!

Кристина. Чего?

Жан. И ты еще будешь презирать своих хозяев? Ты! Ты!

Кристина. Идешь ты в церковь или нет? После эдаких подвигов добрая проповедь небось не повредит!

Жан. Нет, не пойду я сегодня. Иди сама, кайся в своих геройствах!

Кристина. А что ж, и покаюсь, и приду домой с отпущением грехов, так что и на тебя хватит! Спаситель терпел и умер на кресте за наши грехи, и если мы к нему приближаемся со страхом Божиим и с верою, так он весь наш грех берет на себя.

Жан. И по части овощей?

Фрёкен. Ты в это веришь, Кристина?

Кристина. Это моя живая вера, детская вера, я ее сохранила от юности моей, фрёкен Жюли. Если грех велик — велика и милость Божия!

Фрёкен. Ах, если б только я могла в это верить...

Кристина. Вера не дается просто так, а по великой милости господней, и не каждому дано верить...

Фрёкен. Но кому же дано?

Кристина. Тайна сия велика есть, фрёкен. И господь людей не разбирает, просто последние станут первыми...

Фрёкен. Значит, разбирает он все-таки, кто же последний?

Кристина. ...и легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное! Вот как, фрёкен Жюли! А я покамест пойду — одна — да скажу конюху, чтобы не давал лошадей, если кто захочет куда ехать, покуда граф не вернулся! Счастливенько оставаться! *(Уходит.)*

Жан. О, черт! И все из-за чижики!

Фрёкен *(вяло).* Чижику оставьте. Видите вы какой-нибудь выход, предполагаете какой-то конец?

Жан *(подумав).* Нет!

Фрёкен. Что сделали бы вы на моем месте?

Жан. На вашем? Постойте. Графского рода, женщина, и... падшая. Не знаю. Хотя... Знаю!

Фрёкен *(берет бритву, делает соответствующий жест).* Вот эдак?

Жан. Да! То есть я бы лично не стал этого делать. Заметьте. И тут вся разница!

Фрёкен. Оттого что вы мужчина, а я женщина? В чем же разница?

Жан. Та и разница, какая... вообще между мужчиной и женщиной.

Фрёкен *(с бритвой в руке).* Хотела бы! Но не могу! И отец не мог, когда ему нужно это было.

Жан. Нет, не нужно ему это было! Ему нужно было сперва отомстить!

Фрёкен. А теперь мать снова мстит. Мне.

Жан. Разве вы не любили отца, фрёкен Жюли?

Фрёкен. О, безмерно, но я ведь и ненавидела его. Конечно, ненавидела, сама того не сознавая! Это же он воспитал меня в пре-

зрении к моему полу, вырастил полуженщиной-полумужчиной! Чья вина в том, что со мной случилось? Отца, матери, моя собственная! Моя собственная? Но у меня нет ничего своего! Ни единой мысли, которую я бы не взяла у отца, ни единого чувства, которое бы не перешло ко мне от матери, ну, а эту последнюю блажь — что все люди равны — я взяла у него, у жениха, и за это я называю его мерзавцем! О какой же собственной вине может идти речь? Сваливать грех на Христа, как вот Кристина, — нет, для этого я чересчур горда и чересчур умна — спасибо отцовским наставлениям... А насчет того, что богатому не попасть в царствие небесное — так это ложь, и во всяком случае уж Кристина-то сама, у которой деньги есть в банке, туда не попадет! Кто же виноват? Ах, да не все ль равно! Мне одной отвечать и за грех и за последствия...

Жан. Да, но...

Резко звонят дважды. Фрёкен вздрагивает. Жан надевает ливрею.

Граф! А вдруг Кристина... *(Идет к разговорной трубе, слушает.)*

Фрёкен. Он уже видел свое бюро?

Жан. Это Жан! Господин граф! *(Слушает; зрителю не слышно слов графа.)* Да, ваше сиятельство! *(Слушает.)* Да, ваше сиятельство! Сию минуту. *(Слушает.)* Хорошо-с, ваше сиятельство! *(Слушает.)* Да-с! Через полчаса!

Фрёкен *(в тревоге).* Что он говорит? Господи Иисусе, что он говорит?

Жан. Желает кофе и сапоги через полчаса.

Фрёкен. Значит, через полчаса! Ах, как я устала. Ничего не могу — не могу каяться, не могу бежать, оставаться, жить не могу, не могу умереть! Помогите же мне! Приказывайте, и я буду слушаться, как собака. Окажите мне последнюю услугу, спасите мою честь, спасите его имя! Вы же знаете, чего мне надо хотеть, да я не хочу... Сами этого пожелайте и прикажите мне исполнить!

Жан. Не знаю... нет, теперь уж я тоже не могу... не понимаю... Будто из-за этой ливреи я сразу... я не могу вам приказывать... вот граф поговорил со мною, и я... трудно объяснить... никуда не денешься от своего рабства! Наверно, если б граф сейчас спустился... и приказал мне перерезать собственную глотку, я бы сразу послушался.

Фрёкен. Так вообразите ж себя на его месте, а меня на вашем! Вы давеча так славно играли роль, когда стояли передо мною на коленях — изображали рыцаря... или... видели вы когда-нибудь в театре гипнотизера?

Жан утвердительно кивает головой.

Он говорит медиуму: возьми метлу — и тот берет; он говорит — мети, и тот метет...

Жан. Но он же сперва усыпить его должен!

Фрёкен *(с восторгом).* Я сплю уже! Вся комната будто

в дыму, вы — будто печь железная... как кто-то длинный, черный, в цилиндре... и глаза ваши сверкают как угли, когда угасает пламя, и лицо — будто белая кучка золы. (*Солнечный луч падает на Жана.*) Как тепло, как хорошо (*потирает руки, словно греет у огня*) и как светло... и покойно!

Жан (*подает ей бритву*). Вот метла! Пока не стемнело... идите на гумно и... (*Шепчет ей на ухо.*)

Фрёкен (*очнувшись*). Благодарю! Скоро я отдохну! Только скажи... что и первые тоже сподобятся милости божьей. Скажи, даже если сам не веришь.

Жан. Первые? Нет, не могу! Хотя постоит... фрёкен Жюли... вот! Вы уже не среди первых... вы среди последних!

Фрёкен. Правда. Я среди самых последних. Самая последняя! О! Но я уже не могу уйти. Еще раз вели мне уйти!

Жан. Но теперь я тоже не могу! Не могу!

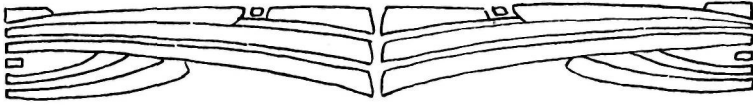
Фрёкен. И первые станут последними!

Жан. Не думайте, не надо! Вы всю силу у меня отнимаете, я делаюсь трусом... Что это? Мне показалось — звонок! Сейчас заткнуть его! Надо же — так дрожать, так бояться звонка! Но это не просто звонок... кто-то же звонит в него, чья-то рука его дергает... и что-то же дергает эту руку — да заткните же уши — заткните уши! Ох, как он его дергает! И будет звонить, пока не добьется ответа — но поздно! Ленсман придет, и... вот.

Раздается два резких звонка. Жан вздрагивает, распрямляется.

Ужасно! Но другого выхода нет! Ступайте!

Фрёкен решительно выходит за дверь.



КОММЕНТАРИИ

РОМАНЫ

КРАСНАЯ КОМНАТА

RÖDA RUMMET

Роман впервые был напечатан в 1879 году и принес Стриндбергу шумный успех и известность. Замысел произведения относится еще к 1875 году, когда Стриндберг впервые сообщает о своем намерении написать социальный роман. Книга основывается на личном опыте писателя, истории его вхождения в жизнь и столкновения с обществом. За вымышленными названиями газет, акционерных компаний, благотворительных обществ, о которых говорится в романе, угадывались их настоящие имена.

В литературном плане одним из импульсов, побудивших Стриндберга к написанию «Красной комнаты», было чтение Диккенса; особенно большое впечатление произвело на него описание «министерства околичностей» в «Крошке Доррит». Подобно Диккенсу, Стриндберг сатирически изображает жизнь государственных учреждений буржуазной Швеции, шведского парламента.

Роман озаглавлен по названию одной из комнат в ресторане Берна в Стокгольме. В 70-е годы в «Красной комнате» собиралась радикально настроенная часть шведской интеллигенции, там велись споры о политике и новых путях развития искусства. Сам Стриндберг на протяжении нескольких лет посещал салон Берна.

Стр. 5. Эпиграф к вступительной статье взят из книги М. Горького «Несобранные литературно-критические статьи» (М., 1941, с. 272) (статья-некролог «Август Стриндберг», 1912 г.).

Стр. 33. *Актурарий* — чиновник, регистрирующий и хранящий поступающие в учреждения акты.

Стр. 47. *Кристина* Августа (1626—1689) — королева Швеции с 1632 по 1654 г., дочь Густава II Адольфа.

Стр. 50. *Густавианум* — одно из зданий университета в Упсале, построенное по инициативе короля Густава II Адольфа, откуда и получило свое название.

Стр. 66. ...редактировали текст Аугсбургского исповедания. — Аугсбургское исповедание (конфессия) — изложение основ лютеранства в 28-ми статьях, на немецком и латинском языках.

Стр. 69. *Тегнель*. — Имеется в виду Эсайас Тегнер (1782—1846) — знаменитый шведский поэт-романтик, автор «Саги о Фритьерфе».

Эренишлегель. — Речь идет о Адаме Готлобе Эленшлегере (1779—1850), писателе-романике, главе датской романтической школы.

Стр. 70. *Густав Эрикссон* — шведский король Густав I Ваза (1496—1560).

Франке Август Герман (1663—1727) — немецкий богослов и педагог.

Ардт Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий писатель.

Стр. 71. *Ульрика-Элеонора* — сестра короля Карла XII (1682—1718), правила страной после его смерти с 1718 по 1720 г.

Стр. 72. *Змей Мидгорда* (Мидгарда) — в скандинавской мифологии змей Ёрмунганд, живущий в мировом океане и окружающий обитаемую землю — Мидгорд (Мидгард).

Он спас честь Гёрца. — Гёрц Георг Генрих (1668—1719) — немецкий государственный деятель, в 1716 г. перешедший на службу к Карлу XII. При жизни Карла XII пользовался большим влиянием в области внешней и внутренней политики.

Фредерик I — король Дании с 1523 по 1533 г.

Стр. 94. *Холмы Лютцена*. — Речь идет о генеральном сражении при Лютцене 6 ноября 1632 г., принесшем шведам победу в Тридцатилетней войне.

Стр. 109. *Карл IX* (1550—1611) — король Швеции с 1604 г. Начал войну против России и Кальмарскую войну 1611—1613 гг. с Данией.

Стр. 143. *Красивый, как Антигон!* — Очевидно, имеется в виду один из представителей династии царей Македонии (антигониды) (306—168 гг. до н. э.).

Стр. 160. ... в восемьсот двадцать девятом году состоялся *Никейский собор*... — На Никейском соборе были выработаны основы христианского вероучения, так называемый «символ веры».

Стр. 165. *Кронельм*. — Речь идет об известном шведском государственном деятеле, председателе шведской законодательной комиссии Густаве Кронельме (1664—1737).

Стр. 179. ...сыграл увертюру к *«Немой»*. — Имеется в виду опера французского композитора Франсуа Обера «Немая из Портучи» (или «Фенелла»).

Стр. 207. ...противодействовали... немецкому влиянию... при *Альбрехте Мекленбургском*... — При шведском короле Альбрехте Мекленбургском (1363—1389) значительно усилилось немецкое влияние. Попытка короля уменьшить привилегии шведской знати привела к тому, что она призвала в страну королеву Маргариту Датскую. В битве при Фальчёпинге (1389 г.) войска Альбрехта были разбиты, а сам он взят в плен.

Стр. 208. ...Тегнер... горько оплакивал в своей *«Швеции»*... — Имеется в виду программное произведение Эсайаса Тегнера — стихотворение «Швеция» (1811), в котором нашли отражение политические симпатии поэта.

Густав II Адольф (1594—1632) — шведский король с 1611 г., крупный полководец, выдающийся реформатор армии.

Сколько людей погубили Карл Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый... — Карл X Густав — шведский король с 1654 г. Занял престол после отречения своей двоюродной сестры Кристины. Опирался на мелкое дворянство и зажиточное крестьянство. Агрессивная внешняя политика Карла X привела к войне с Польшей, Данией, Россией, результатом чего было расширение шведских владений и укрепление шведского господства на Балтике. Карл XI (1655—1697) — король Швеции с 1660 г. (самостоятельно правил с 1672 г.). В 1680 г. установил в Швеции абсолютизм.

Стр. 209. *...появляется какой-то чудак... и наносит ужасный вред всему делу ликвидации национального самосознания.* — Речь идет о Георге Шёрнхельме (1598—1672) — выдающемся шведском поэте и ученом, авторе поэмы «Геркулес», сонетов, философских трактатов, реформаторе шведского поэтического языка.

Стр. 241. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Страстный проповедник, он выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму. В 1494 г. способствовал установлению республиканского строя. Вскоре после этого был отлучен от церкви и казнен.

...чего требовали иконоборцы в Константинополе? — Имеется в виду социально-политическое и религиозное движение в Византии в VIII—IX вв., направленное против почитания икон. Начало ему положил император Лев III Исаврийский, приказавший убрать иконы из церквей и частных домов или закрасить их.

Чего требовали анабаптисты в Нидерландах? — Анабаптисты (перекрещенцы) — участники народно-радикального сектантского движения эпохи Реформации, главным образом в Германии, Швейцарии и Нидерландах. Требовали вторичного крещения (в сознательном возрасте), отрицали церковную иерархию, осуждали богатство, призывали к введению общности имущества.

Стр. 242. *Мрачная реакция, наступившая после 1865 года...* — В течение 1865—1866 гг. в Швеции была проведена парламентская реформа, отражавшая интересы крупной буржуазии.

Стр. 244. *Лен* — административно-территориальная единица в Швеции, соответствует области.

ЖИТЕЛИ ОСТРОВА ХЕМСЁ

HEMSÖBORNA

Роман «Жители острова Хемсё» впервые был опубликован в 1887 году. Несмотря на то что это одно из наиболее известных произведений Стриндберга, сам писатель не воспринимал его достаточно всерьез. В письме к издателю Альберту Боньеру он называл роман «передышкой между битвами» и рассматривал свою работу над ним как подготовительный период к «художественному психологическому сочинительству», которое непременно должно заинтересовать читателей. Тематическим продолжением романа в дальнейшем явился сборник новелл «Жизнь в шхерах» (1888). В обеих книгах нашли отражение добрые воспоминания писателя о летних месяцах 1871—1883 годов, проведенных им на острове Чюмменд — любимом месте

отдыха Стриндберга. В дальнейшем (1889 г.) на основе романа Стриндберг создал пьесу («народную комедию») с одноименным названием.

Стр. 252. *...висела хёганесская фляга*. — Хёганес — промышленный центр на юге Швеции, известный производством жестяных изделий.

Стр. 254. *Густавбергский фарфор*. — В Густавберге находилась известная в Швеции фабрика по производству фарфора и керамики.

Стр. 266. *Лютер* Мартин (1483—1546) — вождь Реформации в Германии, основатель лютеранства.

Стр. 297. *Ленсман* — представитель местной власти в Швеции.

Стр. 298. *Вал* — мера улова, 80 штук рыбы.

Стр. 318. *Терцероль* — пистолет небольшого калибра.

Стр. 324. *Гуфеланд* Кристоф Вильгельм (1762—1836) — немецкий врач, популяризатор медицинских знаний, автор классических трудов «Искусство продления человеческой жизни» (1797) и «Руководство к практической медицине» (1839).

Стр. 336. *Болиндерский очаг* — назван так по имени промышленников братьев Болиндер, поставлявших шведскому населению каминные печи и очаги.

Стр. 339. *Билинская вода* — минеральная вода из источника близ города Билин в Богемии.

НОВЕЛЛЫ

ФРАНТ

EN SNOBB

Новелла входит в состав одного из самых ранних сборников новелл Стриндберга «От Фьердинга и Черного ручья», впервые опубликованного в 1877 году.

МУКИ СОВЕСТИ

SAMVETSKVAL

Рассказ принадлежит к циклу «швейцарских новелл», законченному к концу 1884 года и впервые опубликованному в 1885 году под названием «Утопии в действительности». В книгу входят предисловие и четыре больших рассказа — «Новь», «Возврат к прошлому», «Над облаками», «Муки совести». Новеллы написаны во время пребывания Стриндберга с семьей в Уши (Швейцария). Здесь Стриндберг интересуется общественно-политическими вопросами, изучает работы К. Маркса, Ж.-Ж. Руссо, французских социалистов-утопистов — Сен-Симона, Фурье, а также А. Бебеля и Ф. Лас-саля. Наибольшее впечатление произвел на него роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», с которым его познакомили в Швейцарии русские эмигранты-народники. Шведского писателя привлекает и вариант решения вопроса о равноправии женщин, который предлагает в своем романе Н. Г. Чернышевский. В предисловии к «Утопиям в действительности» Стриндберг затрагивает некоторые проблемы, волновавшие его во время работы над этим циклом новелл, а также первой книгой «Бракков».

Так с самого начала Стриндберг подчеркивает, что его критика направлена против «сверхкультуры», и говорит о недопустимости применения дарвинистских идей (о естественном отборе) к социальной жизни, справедливо замечая, что если человек в силу обстоятельств лишен средств к существованию, то это еще вовсе не означает, что он сам по себе плох. В его бедах виновато общество: «Что есть общество? Эксплуатация». Большое внимание в предисловии уделяется идеям атеизма и социализма, необходимости борьбы за новое общество: «Новое общество, которое не считается более с иллюзиями и идеалами, строится на единственно реальной основе: эгоизме» (имеется в виду «разумный эгоизм» в духе Н. Г. Чернышевского). Вводную часть заключают слова о задачах «Утопий в действительности»: «Эта книга повествует о работе, направленной на улучшение общества, и об уже удачно осуществленных попытках подобных реформ».

Новелла «Муки совести» в первый раз была напечатана в датской газете «За границей и дома», а затем в журнале шведских социалистов «Тиден» (1884). Сам Стриндберг очень высоко ценил эту новеллу и, посылая ее издателю Альберту Боньеру, утверждал в письме, что она «исключительно хороша».

Стр. 357. *После Седана миновало две недели...* — Неподалеку от французского города Седана германские войска во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. Напустили и разбили французскую армию, которой командовал император Наполеон III.

Стр. 358. *Гартмановская «Философия бессознательного».* — Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист, сторонник панпсихизма. Основой сущего считал бессознательное духовное начало — мировую волю.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

Стр. 375. *...Виктор Гюго творил свои... карающие песни о декабрьском предателе.* — После декабрьского контрреволюционного переворота 1851 г., приведшего к власти императора Наполеона III, Гюго эмигрирует из Франции и в течение 19-ти лет живет за границей. Он выпускает в 1852 г. свой знаменитый памфлет о «декабрьском предателе» — «Наполеон Малый», а в 1853 г. — сборник ярких политических стихов «Возмездие».

Здесь скрывался Горчаков из России... — Имеется в виду князь Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), известный русский дипломат и государственный деятель, живший одно время в Женеве.

Джон Рассел (1792—1878) — английский государственный деятель, лидер партии вигов.

Стр. 384. *...первый международный суд в Женеве завершил свою работу...* — Имеется в виду арбитражный суд между Америкой и Англией по поводу Алабамской распри (см. коммент. к с. 385).

Стр. 385. *Алабамская распря улажена не в пользу Америки, но в пользу справедливости...* — Алабамский спор — инцидент периода войны Северных и Южных штатов Америки (1861—1865). В английских гаванях были построены и снаряжены несколько военных судов для Конфедерации южных штатов. Эти суда наносили жестокий урон морской торговле Северных штатов, причем особенно отличалась канонерка «Алабама». Пра-

вительство Северных штатов потребовало от Англии возмещения убытков, причиненных действиями судна, снаряженного на английской территории. Спор тянулся несколько лет и был разрешен международным судом уже после победы Северных штатов. Согласно решению арбитражного суда в Женеве, 14 сентября 1872 г. Англия была присуждена к уплате Соединенным Штатам 15 млн. долларов.

Стр. 386. *...если только ты не монарх, как Бернадот.* — Жан Батист Бернадот (1763—1844) — маршал Франции (1804), в 1818—1844 гг. занимал престол Швеции под именем короля Карла XIV Юхана, основатель династии Бернадотов.

**ЛЮБОВЬ И ХЛЕБ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГА,
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ, ПОЕДИНОК, ОСЕНЬ**

(из циклов «Браки»)

**KÄRLEK, MÅSTE, ETT DOCKNEM,
TVEKAMP, HÖST**

На протяжении 1884—1886 годов Стриндберг создает два цикла новелл — «Браки I» и «Браки II». Первый сборник был опубликован осенью 1884 года в издательстве Альберта Боньера и включал в себя вымышленное интервью, предисловие и 12 историй о супружеских парах. Вторая книга «Браков» была написана в июне 1885 года и впервые опубликована в 1886 году; состояла из 18 новелл и предисловия. Несмотря на то что обе книги имеют общее название, они очень различны по содержанию и общему настрою.

Первая книга «Браков» создавалась Стриндбергом в Швейцарии параллельно с работой над «Утопиями в действительности». Для нее характерен интерес к социализму, переустройству общества, и вопрос о равноправии женщин решается именно в этом ключе. Книгу предваряет пространное предисловие, в котором автор говорит о задачах этого цикла новелл: «Показать довольно большое число историй взаимоотношений между мужчиной и женщиной — не несколько исключительных случаев, как это сделала фру Эдгрен, или несколько чудовищных случаев, как Ибсен, которые потом стали восприниматься как норма». Стриндберг утверждает, что «женский вопрос» в том виде, как «он существует теперь», — это проблема, стоящая лишь перед небольшой группой людей из культурных слоев общества. Называя себя «социалистом», как и «все просвещенные люди нашего времени», Стриндберг призывает рассматривать отношения мужчины и женщины с учетом общих условий жизни в буржуазном обществе: «...я нападаю на институт брака, каковым он предстает в *современных условиях*... Женщина не нуждается в моей защите. Она мать и потому — властительница мира. И в той свободе, которую она себе теперь требует, нуждается мы все!»

Вскоре после выхода в Швеции сборник «Браки I» был запрещен, а его автор обвинен в богохульстве из-за нескольких непочтительных строк о таинстве причастия в новелле «Награда за добродетель». Нераспроданные экземпляры книги были конфискованы полицией, а автору надлежало

предстать перед судом. В случае неяви писателя суд должен был состояться над издателем. Альберт Боньер настаивает на возвращении Стриндберга из Женевы. По приезде в Стокгольм Стриндбергу оказывает восторженную встречу радикально настроенная молодежь, а несколько позднее писатель был оправдан судом присяжных.

Тем не менее, несмотря на благоприятный исход, история с «Браками» стала сильным потрясением для Стриндберга, что не могло не сказаться на его отношении к «женскому вопросу». К тому же на характер нового цикла «Браков» повлияли и неурядицы в его собственной семье (отношения с женой Сири фон Эссен).

В сборнике «Браки II» писатель более нетерпим к людским недостаткам, действительным или мнимым, зачастую теряет объективность, женщина обвиняется им во всех смертных грехах и объявляется врагом мужчины. Сам Стриндберг назвал новеллы этого цикла «беспощадными». В качестве эпиграфов к книге приводятся цитаты из Шопенгауэра, Руссо, Аристотеля, Георга Брандеса, Герберта Спенсера и др. Характерно, что единственное из приводимых высказываний, принадлежащее женщине, тенденциозно цитируется неверно. Предисловие написано в резком тоне. Таким образом, уже многими нитями сборник «Браки II» связан с будущим романом «Слово безумца в свою защиту».

Вошедшие в настоящее издание новеллы «Любовь и хлеб», «Исполнение долга» и «Кукольный дом» взяты из сборника «Браки I»; новеллы «Осень» и «Поединок» — из сборника «Браки II».

Стр. 387. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк.

Стр. 401. *Берцелиус* Йенс Якоб (1779—1848) — шведский химик и минералог.

Стр. 430. *Лиспунд* — мера веса, равная 8,5 кг.

ПЬЕСЫ

ОТЕЦ

FADREN

Пьеса «Отец» наряду с пьесами «Фрёкен Жюли» (1888), «Товарищи» (1888), «Кредиторы» (1889) принадлежит к числу так называемых натуралистических драм Стриндберга. Текст пьесы впервые был опубликован в 1887 году. Премьера состоялась 12 января 1888 года в стокгольмском Новом театре и закончилась скандалом — во время третьего акта часть зрительниц в знак протеста покинула зал.

Стр. 456. *Стагнелиус* Эрик (1793—1823) — шведский поэт-романтик.

Стр. 464. ...как *фру* Альвина оплакивает покойного мужа... — Фру Альвинг — персонаж пьесы Г. Ибсена «Привидения».

Стр. 477. *Омфала* — по греческой мифологии, лидийская царица, у которой три года служил Геракл в наказание за убийство Ифита (одного из аргонавтов).

ФРЁКЕН ЖЮЛИ

FRÖKEN JULIE

Пьеса Стриндберга написана в 1888 году. Издатель Карл Отто Боньер, которому Стриндберг отсылает рукопись, отказывается ее публиковать. Признавая в письме несомненные достоинства Стриндберга как драматурга, он тем не менее отмечает, что новая пьеса «слишком смелая и слишком натуралистичная». Первое представление драмы состоялось частным образом в студенческом обществе. Главную роль исполняла жена Стриндберга Сири фон Эссен. Постановка не была удачной: были нарушены многие из требований самого Стриндберга. После этого «Фрёкен Жюли» в Швеции была на долгие годы запрещена цензурой. Лишь с 1906 года ее начали с успехом ставить на сценах стокгольмских театров.

Не меньшей известностью, чем сама пьеса, пользуется предисловие писателя к «Фрёкен Жюли» — своего рода программное выступление Стриндберга-драматурга. По своей значимости оно сопоставимо, пожалуй, лишь с его статьей «О современной драме и современном театре» и с «Открытыми письмами к Интимному театру». В этих работах Стриндберг предстает как интересный теоретик нового театра.

Стр. 516. *...последние станут первыми...* — Библейское изречение.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Неустров.</i> Художественный мир Стриндберга	5
КРАСНАЯ КОМНАТА. Роман. <i>Перевод К. Телятникова</i>	27
ЖИТЕЛИ ОСТРОВА ХЕМСЁ. Роман. <i>Перевод Ф. Золотаревской</i>	251

НОВЕЛЛЫ

Франт. <i>Перевод М. Аскольдовой</i>	354
Муки совести. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	357
Любовь и хлеб. <i>Перевод А. Афиногеновой</i>	387
*Исполнение долга. <i>Перевод Н. Крымовой</i>	395
Кукольный дом. <i>Перевод А. Афиногеновой</i>	409
Поединок. <i>Перевод А. Афиногеновой</i>	422
*Осень. <i>Перевод Н. Крымовой</i>	433

ПЬЕСЫ

Отец. <i>Перевод Е. Суриц</i>	444
Предисловие к «Фрёкен Жюли». <i>Перевод К. Мурадян</i>	480
Фрёкен Жюли. <i>Перевод Е. Суриц</i>	490
<i>Комментарии</i> Е. Соловьевой	519

Стриндберг А.
С85 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Пер. с швед.
/ Вступ. статья В. Неустроева; Коммент. Е. Соловьевой. — М.:
Худож. лит., 1986. — 527 с., портр.

Творчество А. Стриндберга (1849—1912), выдающегося шведского писателя-реалиста, знаменует собой важную веху в развитии мировой литературы. Лучшие произведения писателя проникнуты критикой социальной несправедливости, демократизмом, народностью.

В 1-й том избранных произведений А. Стриндберга входят романы «Красная комната» и «Жители острова Хемсё», пьесы «Отец» и «Фрёкен Жюли», новеллы из сборников разных лет.

С 470300000-029119-86
028(01)-86

ББК 84.4Шв
И(Швед)

АВГУСТ СТРИНДБЕРГ

Избранные произведения
в двух томах

Т о м 1

Редактор Э. Шахова

Художественный редактор И. Сальникова

Технические редакторы Л. Симицына, М. Плешакова

Корректоры Н. Усольцева, С. Колганова

ИБ № 3313

Сдано в набор 29.03.85. Подписано в печать 20.12.85. Формат 60x90^{1/16}. Бумага офс. 1. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33+1 вкл. = 33,06. Усл. кр.-отг. 33,06. Уч.-изд. л. 38,83+1 вкл. = 38,9. Тираж 150 000 экз.

Изд. № VI-1274. Заказ № 5-128. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Харьковская книжная фабрика «Коммунист», 310012, Харьков, 12, Энгельса, 11.